Литературные памятники и мемуары





# МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

В. А. ПОССЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ И МЕМУАРЫ

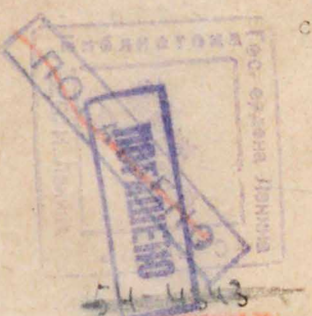
В. А. ПОССЕ

# МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

## ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1864—1917 гг.)

РЕДАКЦИЯ и ПРИМЕЧАНИЯ Б. П. КОЗЬМИНА

С ПОРТРЕТОМ АВТОРА



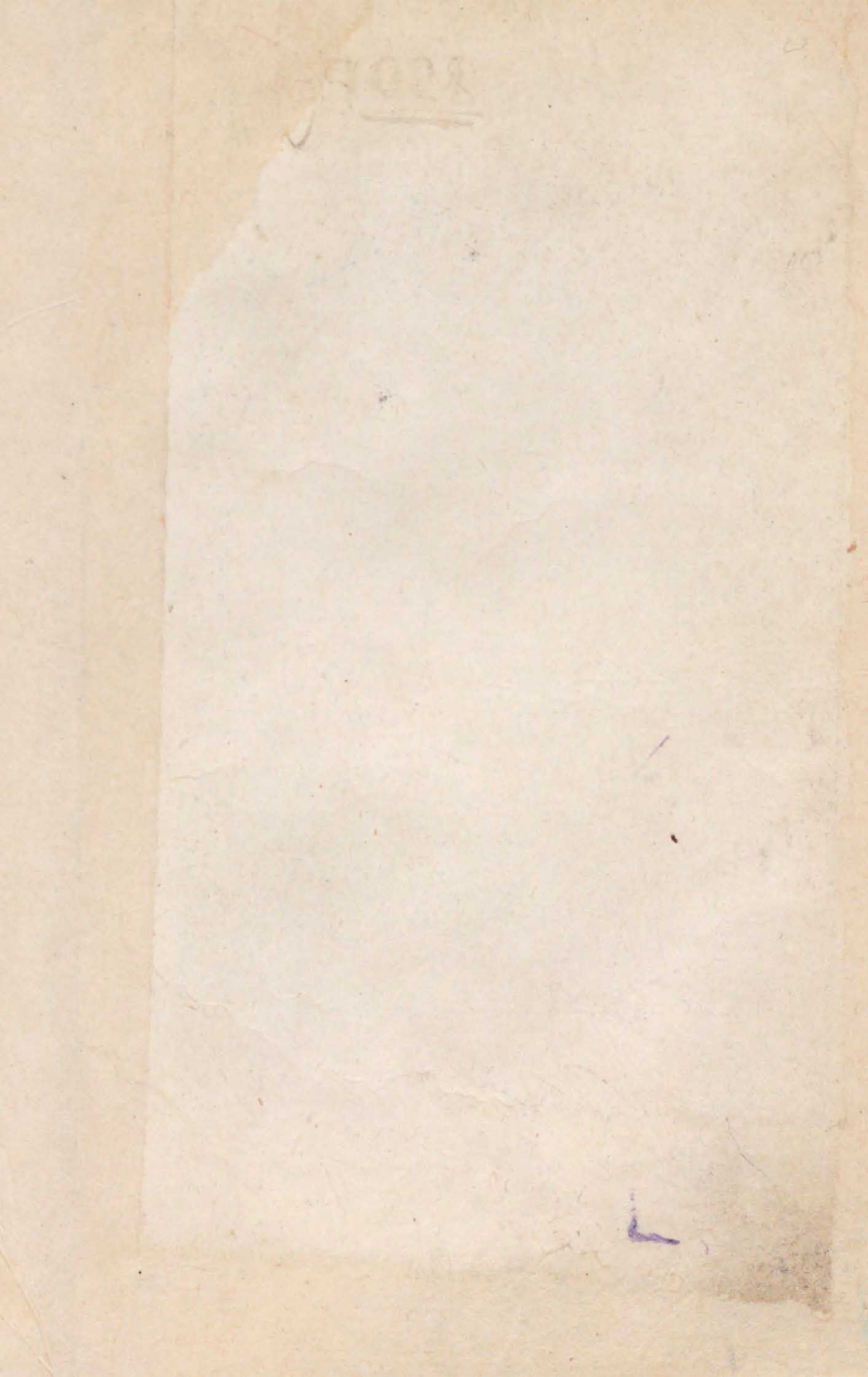




«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА—1929—ЛЕНИНГРАД

Обложка художника Л. Воронова
Отпечатано в гос. типографии изд-ва
„Ленингр. Правда“, Ленинград,
Социалистическая ул., 14,
в колич. 3000 экз., 35 л.
Главлит № А-26303







# МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

# ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
## (1864—1917 гг.)

## I

## ДЕТСТВО (1864 — 1874 г.г.).

Предсказание бабушки. — Кнут Поссе. — Смерть отца. — Мамка и няня. — Приживалка. — Учитель нигилист. — Молитвы. — Ганнибалова клятва. — Семейные драмы.

Родился я 10/22 мая 1864 года в усадьбе Петровском, Боровичского уезда, Новгородской губернии.

В этот день, после, казалось, установившейся весны, выпал сильный снег, покрывший толстым белым покровом зеленеющие луга и поля, опушивший белыми хлопьями только что распустившуюся листву берез.

Моя бабушка с материнской стороны Мария Александровна Козлянинова, смотря из окна комнаты, в которой я родился, на этот необычайный для меня зимний ландшафт, сказала: «Должно быть, этот ребенок будет человеком необыкновенным».

Предсказания бабушек не всегда исполняются.

Если моя жизнь и была не совсем обыкновенной, то ее необыкновенность, во всяком случае, была иной, чем надеялась бабушка, очень любившая своих внучат.

Мне почему-то кажется, что кто-нибудь из дворовых старушек тогда же возразил бабушке:

— Нехорошо, дорогая матушка-барыня, что родился он в мае месяце: не пришлось бы ему всю жизнь маяться.

Необыкновенным человеком, в смысле известности, знаменитости был не Владимир Поссе, родившийся в XIX веке, а Кнут Поссе, родившийся в XIV веке.

Кнут Поссе был родоначальником разветвленной фамилии Поссе, наиболее видные представители которой, графы и бароны, живут

в Швеции и одно время возглавляли шведскую консервативную партию.

Мой отец, Александр Федорович, происходил из ветви, плененной русскими при Петре I, и старательно служил русскому государству в качестве инженера (одного из «строителей» Николаевской железной дороги).

Кнут Поссе, напротив, боролся с русским государством, и шведская легенда ставит ему в заслугу, что он отстоял Выборг от русских полчищ, взорвав пороховые погреба выборгского крепостного замка, когда в него ворвались русские.

Про него рассказывали, что он ездил в Париж, где не только изучал разные науки, но и, подобно немецкому Фаусту, продал свою душу дьяволу. Плату за душу он получил очень высокую: каждое задуманное им предприятие немедленно и блестяще осуществлялось. Стоило ему, например, начертить на песке морского берега корабли, как они уже плыли по морю, гордо распустив свои белые паруса.

Вероятно, от Кнута Поссе я унаследовал страсть к различным предприятиям, страсть к составлению всевозможных планов, но, увы, при проведении их в жизнь счастье не сопутствовало мне, и я претерпел много горьких неудач.

Мать моя, как знатная помещица, детей своих только родила (этого никто другой сделать за нее не мог), вскармливали же своею грудью и взращивали их крепостные крестьянки, мамки и няньки.

Я был самым младшим; я родился через три года после отмены крепостного права, но и меня вскормила грудью крестьянка, еще не сознававшая себя свободной и считавшая, что она должна беспрекословно исполнять волю «своих» господ. Возможно, что муж ее, бедный крестьянин, да и сама она считали даже за счастье, что у них родилась дочка почти одновременно с появлением на свет сына у «их» барыни «Поссихи», и молоко крестьянки оказалось вполне подходящим для сына барыни. Ульяна (так, кажется, звали мою мамку) перешла из бедной избушки деревни Заболотье в барские хоромы Петровского. Девочка была посажена на рожок.

Кормила и пестовала меня Ульяна под наблюдением бабушки Марии Александровны, умершей, когда мне было полтора года. Это была очень добрая женщина, постоянно заступавшаяся за крестьян и в особенности за дворовых перед суровым и вспыльчивым дедушкой Яковом Петровичем.

В детстве мне все бывшие «дворовые» постоянно хвалили бабушку Марию Александровну, которая была для них «сущим ангелом-хранителем». Никогда не сидела она без дела и особенно любила вышивать

образа и картины шелками. Меня она благословила вышитым ею образком богоматери, много лет висевшим над моей детской кроваткой.

Жизнь ее была не из счастливых. Самым тяжелым ударом, подрезавшим ее жизнь, была смерть единственного сына Константина Яковлевича, храброго вояки, много раз раненого во время кавказской войны, и, наконец, убитого поляками в самом начале восстания 1863 года.

Я ее, конечно, совершенно не помню, но в душе у меня жило довольно долго какое-то нежное чувство, как бы память о ком-то очень добром, хорошо любившем меня. Вероятно, это влияние рассказов дворовых. Ее «образку» я, пока верил, молился горячо.

Любила меня и кормилица или «мамка».

Она приходила навещать меня, когда я уже бегал и хорошо говорил. Ясно вижу ее простоватое лицо, с сильно вздернутым носом и жалобными глазами, высоко подвязанную грудь в ситцевом желтом сарафане; чувствую особый деревенский запах овчины, парного молока, яиц, навоза; слышу ласковый певучий голос. Она нежно гладила меня по голове и совала мне черную ватрушку с тертым картофелем и желтое, луковыми перьями крашеное, яйцо. Иногда она приводила с собою худенькую, болезненную белобрысенькую девочку, которая робко жалась к ее ногам и прятала личико за передник.

Это была моя «молочная» сестренка, которую соска по счастливой случайности не убила.

Мне с «мамкой» было неловко, я рад был, когда она уходила, и я оставался с своей няней Марьюшкой. Она няньчила меня с двух до восьми лет. К ней я был привязан необычайно сильно. Дороже ее у меня не было никого на свете. Ей было, когда она меня няньчила, лет пятьдесят. Она считалась старой девушкой, но еще в детстве горничные рассказывали мне, что у «моей Марьюшки» был какой-то солдат и был какой-то мальчик, которого раз нашли повесившимся.

Моя горячая любовь к Марьюшке прерывалась страхом в те вечера, когда она ходила как-то особенно осторожно, смотрела на меня «недобрыми глазами», странно «жевала» губами и обдавала меня противным запахом сивухи и лука.

Я прятался от нее под одеяло, а когда она ложилась и засыпала, вставал на кроватке на колени и молился образку богородицы, чтобы скрыла от «мамаши» беду Марьюшки.

Часто я слышал, как «мамаша» (так я по примеру брата и сестер называл свою мать) кричала на Марьюшку и грозила прогнать ее.

Этого я боялся больше всего. Без Марьюшки мне казалось невозможно жить. Пила Марьюшка вместе с Марфушкой, главной горничной мамаши.

К Марфушке мамаша относилась с известным уважением, так как ее очень ценил отец, главным образом за то, что она умела по-настоящему приготовлять кофе, варить варенье, мочить морошку, мариновать грибы и т. д. Марфушка носила по утрам отцу сапоги и брала меня с собой, при чем я хотел непременно сам тащить «магй». Отец радовался моему приходу и ласкал меня. Об этом я знаю со слов Марфушки. Своих путешествий наверх с «магáми» я не помню.

Отец умер, когда мне было два года девять месяцев. Помню его смерть. Это мое первое воспоминание, первое сильное, на всю жизнь сохранившееся впечатление.

Полумрак... Кто-то тихо плачет.

Стою у края кровати и смотрю на бледную сухую ногу, вытянувшуюся из-под одеяла. На ноге большое черное пятно.

Затем вижу темную деревянную лестницу во второй этаж. Я сижу, скорчившись, на нижней ступеньке и плачу. Как будто вижу самого себя — на мне коричневая рубашка.

Последняя картина. Кто-то держит меня на руках у окна. На дворе люди в светлых одеждах и бархатных шапках. Блестящий ящик-гроб. Заунывное пение.

Кто-то говорит мне, что уносят папашу. Я плачу и злюсь на тех, кто уносит.

Мать моя, женщина не глупая и не злая, вышла замуж без любви и даже без влюбленности за человека с характером властным, и всецело подчинилась ему. Детей у нее было шестеро, из которых один мальчик умер на первом году жизни, а остальные пять дожили до старости.

Обо мне, оставшемся на третьем году полусиротой, мать думала больше, чем о старших, выросших под надзором отца и бабушки. Кажется, и любила она меня больше, чем старших детей, из которых брата под конец жизни побаивалась, как побаивалась и отца.

Любовь свою ко мне она проявляла очень боязливо, так как вскоре после смерти отца попала под власть своей приживалки Лупандиной, которая называла ее теткой, но распоряжалась ею, как рабой, и не разрешала ей быть заботливой и нежной матерью.

Курносая, прыщеватая, стриженая, с папироской в зубах, Лупандина напоминала разгульного парня. Она поглощала огромное количество пива, бутылки которого покорно носила ей «тетка». К ночи она ежедневно была пьяна, и ее часто рвало...

Лупандину никто не любил, не любил и я.

Брат и сестры не могли быть моими друзьями и товарищами, они были для меня «старшими». На брата я смотрел как на какое-то высшее существо. Я был ребенком, а он уже профессором такой непостижимой и недосягаемой науки, как высшая математика с ее дифференциалами и интегралами [1].

Кроме того, брат был замечательный музыкант. Все кругом восхищались его игрой на рояли. Играл он, действительно, лучше всех, кого я слышал. Он переживал то, что играл. И как переживал! Рояль пел, смеялся, рыдал, стонал, торжественно гремел, рассказывал что-то и жуткое и сладкое о иной, неведомой жизни...

Впечатление от музыки брата было так велико, что всегда, когда у меня возникает мысль, кем бы я хотел быть, немедленно появляется ответ — музыкантом. Впрочем, мне хотелось бы быть не только исполнителем, но и композитором. Творить этот прекрасный мир созвучий, мир чувств без жалких слов — какая радость!

Но у меня, увы, не было музыкальных способностей.

Из сестер больше других уделяла мне внимание старшая сестра Лидочка, вышедшая впоследствии замуж за известного профессора физики И. И. Боргмана. Она научила меня грамоте, которая мне далась как-то совсем просто и незаметно. По вечерам она иногда рассказывала мне сказки. Вспоминаю жуткое чувство, вызванное сказкой Андерсена о матери, которая, спасая жизнь своего ребенка, отдает неумолимой смерти не только свои прекрасные волосы, но и свои плачущие очи.

Еще более жуткое, прямо потрясающее впечатление произвела на меня чья-то сказка «Буря».

Волшебница Буря преследует двух детей — мальчика и девочку. Мне передалось чувство неизбежности гибели, невозможности скрыться от всесильной злобы.

В темноте меня охватывал страх. От страха не мог заснуть и довольно долго страдал мучительной бессонницей. Сердце мое падало, когда начинались сумерки, приближалась мучительная ночь.

В детстве я часто болел, болел опасно. От детских болезней, особенно от тяжелого крупозного воспаления легких, когда я был на волосок от смерти, осталось воспоминание скорее радостное, чем печальное. Во время болезни меня ласкали, жалели, одним словом — любили. Кроме того, наиболее тяжелые моменты болезни переживал я в бессознательном состоянии, и тем ярче в сознании выступали радостные моменты выздоровления. Свежий воздух, зелень сада, залитого солнцем, зигзаги ласточек и тихая радость на душе — вот одно из

воспоминаний выздоровления, когда меня в летний день в первый раз вынесли на балкон.

Зиму мы проводили в Петербурге, а лето в Петровском. Переезды из города в деревню были для меня большим событием. С поезда сходили рано утром на небольшой станции Угловке. В вагон еще на ходу врывался повар, он же управляющий, Кирилл, брал меня на руки и совал мне желтое пасхальное яйцо.

От Угловки до Петровского было всего восемь верст, но мне этот путь казался длинным и даже опасным. Ехать приходилось по весенней, размытой дождями дороге, на розвальнях, которые постоянно бухались в глубокие лужи, обдавая нас холодными брызгами. В двух верстах перед Петровским мы останавливались у небольшой речки Талки, где нас ожидала семья кузнеца Александра. Один за другим подходили христосоваться: сам Александр, высокий, худой мужик, с красивым энергичным лицом, жена его, маленькая, миловидная женщина, дед-столяр с шапкою седых, уже пожелтевших волос, перевязанных тонким ремешком, и шесть молодцов-сыновей в красных кумачевых рубашках. Все шесть были крестниками моей матери.

В Петровском я тотчас по приезде обегал все любимые уголки и обменивался зимними впечатлениями с маленькой поповной Верочкой, тоже мамашиной крестницей.

Петровское моя мать продала, когда мне было девять лет. Последнее лето в Петровском я провел со своим первым и самым лучшим другом Михаилом Егоровичем Державиным. Хорошо помню нашу первую встречу. Это было еще в Петербурге. Я вернулся от обедни в Греческой церкви, куда меня водила моя няня. Торжественность архиерейской службы произвела на меня сильное впечатление, и я побежал в гостиную, чтобы рассказать, как вели под руки архиерея... и остановился сконфуженный. В гостиной сидел какой-то незнакомый господин и о чем-то разговаривал с мамашей. Господин протянул мне свою большую костлявую руку, покрытую веснушками и рыжеватыми волосами. Руки его неловко высовывались из коротких рукавов черного сюртука. Лицо некрасивое, скуластое, в веснушках, жиденькая бородка, короткий, как бы срезанный нос и большой лоб с закинутыми назад русыми волосами.

Вспоминая это лицо, я вижу теперь, что Державин был очень похож на Белинского. Он улыбнулся мне своими добрыми голубыми глазами, а я начал, краснея и путаясь, рассказывать обо всем, что видел в церкви. Михаил Егорович внимательно слушал и продолжал ласково улыбаться.

Мне было грустно и жутко от Марьюшки переходить к Михаилу Егоровичу, но скоро я к нему привязался, гораздо сильнее, глубже и разумнее, чем к Марьюшке.

Очень быстро он вызвал у меня радость познания. Я начал проникать в жизнь природы. Мы гуляли по лесам и полям, беседуя о деревьях, цветах, животных.

Михаил Егорович только что тогда познакомился с еще совсем молодой теорией Дарвина и передавал ее мне с воодушевлением и вдохновением. Врезалась в память одна наша дружеская беседа об эволюции мира. По окончании ее мы с волнением пожимали друг другу руки. Еще и теперь как будто ощущаю, как моя крохотная ручонка скрывалась в его огромной костлявой руке. Я весь горел от волнения.

Кроме естествознания, Михаил Егорович знакомил меня с историей. Мы читали Маколея и Костомарова. Занимались и русской литературой, но к Пушкину Михаил Егорович, как верный ученик Писарева, относился отрицательно и утверждал, что какой-то теперь совсем забытый поэт Мартов [2] выше автора «Полтавы» и «Медного Всадника».

Он увлекался Гоголем и читал мне вслух «Мертвые Души», но при этом чтении бывало скучно.

Своих атеистических воззрений Михаил Егорович от меня не скрывал, и вначале это меня пугало. По вечерам я молился богу, чтобы он простил Михаилу Егоровичу его неверие, так как он все же очень хороший человек и очень любит Христа. Христа Михаил Егорович ценил, действительно, очень высоко, так как находился под влиянием модной тогда книги Ренана, которую с трудом читал по-фрнцузски [3].

В конце концов, и я перестал верить, но Евангелие читать любил, Нагорную проповедь знал наизусть и очень интересовался историей религиозных учений.

Как революционный народник, Михаил Егорович много рассказывал мне о страданиях народа, об издевательствах помещиков над крепостными крестьянами, о тяжелом труде фабричных рабочих и т. д.

Запомнился рассказ его о помещике, заставлявшем крестьянку кормить грудью щенят. Муж этой крестьянки не стерпел обиды и размозжил головы щенятам, за что был засечен розгами.

Я заражался его настроением, и помню, как-то во время прогулки на лодке по Валдайскому озеру, около которого мы жили после продажи Петровского, я дал Михаилу Егоровичу детскую клятву, что отплачу свой долг народу и отдам все свои силы на его освобождение.

Потихоньку я продавал подаренные мне книги в роскошных переплетах букинистам, а деньги отдавал Михаилу Егоровичу на дело

освобождения народа. Как-то раз зимою он взял меня на собрание своих друзей-революционеров. Помню мужчин с длинными волосами и женщин с коротко остриженными волосами. Все курили, бросая папироски в распиленный череп. У меня кружилась голова от дыма, и я робко прижимался к Михаилу Егоровичу.

Михаил Егорович занимался со мною около двух лет. Мои родные видели, что мое умственное развитие идет необычайно быстро, и это их радовало, но они испугались, когда заметили мою попытку распропагандировать нашу прислугу.

Меня отдали в частную гимназию Бычкова, а Михаил Егорович после этого вскоре был привлечен по политическому делу и посажен в Петропавловскую крепость [4].

Черными полосами в мои детские воспоминания врезались впечатления от семейных драм.

Одна из кошмарных семейных драм происходила в среде нашей прислуги, другая — в нашей семье.

Красивая горничная Лиза, сестра кузнеца Александра, вышла замуж за лакея Павла, пожилого вдовца. У Павла от первого брака была дочь, девочка Люба, моя сверстница. Из ревности к покойной жене Павла Лиза ненавидела Любу и нещадно била ее, часто без всякого повода. Красивое лицо мачехи искажалось яростью, на гладко выстриженную круглую головку Любы сыпались удары кулаком. Она пригибалась под этими ударами с перекошенным от ужаса лицом, но не смела ни плакать, ни кричать.

— У, гнида, у, гадина, когда ты издохнешь, — шипела Лиза, такая ласковая со мною и другими детьми.

Павел ревновал Лизу, кажется, ко всем мужчинам, но особенно к моему учителю Михаилу Егоровичу Державину. Ревность вырывалась дикими выходками. Бежит Лиза с распущенными волосами, в изодранном платье, а за нею гонится он, крупный бритый мужчина, гонится, скверно ругаясь, с поленом в руках.

В девичьей постоянно судачили о Павле и Лизе. Смеясь, рассказывали, что Павел, желая уязвить Лизу, написал ей письмо, адресовав его — Елизавете Александровне Державиной». Меня тогда очень мучил вопрос, при чем тут Михаил Егорович.

С Лизой дружила моя средняя сестра Машенька, которая была старше меня лет на десять. Машенька, как и Лиза, вышла замуж за вдовца, Бачманова, который был старше ее лет на двадцать пять. Бывший гусар, прокутивший часть своего состояния, он хотел поправить дела свои выгодной женитьбой. Наметил красивую семнадцатилетнюю Машеньку с приданым в двадцать пять тысяч рублей.

Ожиревший, облысевший, надушенный и все же нечистоплотный, Бачманов был противен мне, несмотря на то, что постоянно привозил мне коробки с дорогими конфектами.

Противен он был и Машеньке. Она решительно отклонила его предложение. Это не понравилось нашей матери, считавшей Бачманова очень хорошей партией. За Бачманова стояли и три поповны, околачивавшиеся около нашего дома. Им Бачманов, вероятно, обещал денежную благодарность, если они уговорят Машеньку выйти за него замуж.

И Машенька, в конце концов, согласилась, согласилась «par dépit», из досады, из-за невозможности выйти замуж за того, в кого она была влюблена.

Влюблена она была в морского офицера Страннолюбского, талантливого преподавателя математики на женских педагогических курсах [5]. В Страннолюбского влюблялись курсистки, и он, женатый человек, имел много любовных историй. Влюбилась в него и Машенька, и эта влюбленность усилила ее природную склонность к занятиям математикой.

Вероятно, она бы ему отдалась, если бы не вмешалась жена Страннолюбского, пришедшая к Машеньке и указавшая, что муж ее ухаживает за всеми хорошенькими курсистками, нисколько их не любя. Сорвав цветок, он его бросает, оставаясь законным супругом законной супруги.

Машенька после этого посещения долго плакала и затем послала сказать Бачманову, что она готова выйти за него замуж.

Свадьба была очень пышная, венчались в так называемом Морском соборе (Николы Морского), где дьяконом был брат поповен-приживалок.

Я был «мальчиком с образом» и стоял около «молодых» во время венчания.

Ярко освещенная церковь, масса нарядных дам и мужчин в мундирах и фраках. Громовое пение хора «Исайя ликуй»... И рыдания, тяжелые рыдания «молодой» в белом атласном платье, с гирляндой флер-д'оранжей в роскошных волосах.

Машенька во время венчания так неудержимо плакала, что шафер все время поддерживал ее, чтобы она не упала.

В качестве «мальчика с образом» я ехал с новобрачными в карете после венца, был и в купе первого класса, в котором они ехали в деревню справлять медовый месяц.

Бачманов, как старый кот, ластился к сестре, она с отвращением отстранялась от него.

Машенька прожила с Бачмановым недели две, а затем бежала от него, захватив большую часть своих денег.

Помню, она носила при себе морской кортик, может быть, подарок Страннолюбского, и говорила, что она заколет Бачманова, если тот будет ее преследовать. Ужас этого брака «из досады» я осмыслил уже в детстве, особенно благодаря пояснениям, которые давал мне Михаил Егорович.

## II

## ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ (1875 — 1884 гг.)

Издевательства.—Учитель-патриот.—Русско-турецкая война.—Выстрел Засулич.—Казенная гимназия.—Редкий законоучитель.—Учитель-комик.—Теорема Поссе.—Александр Храповицкий и Валерьян Агафонов.—Монахи-карьеристы.—Александр Богдановский.—Вера Богдановская.—Сережа Образцов.—К. П. Пятницкий.—Увлечение Достоевским.—Достоевский на литературном вечере.—Похороны Достоевского.—Подпольный журнал.—Первое марта 1881 года.

Гимназия Бычкова, в которую меня отдали, считалась образцовой. Но состав учеников оказался для меня самым неподходящим. Во втором классе, соответствующем четвертой группе нынешних школ, я был самым младшим и в то же время наиболее умственно развитым и знающим.

Великовозрастные купеческие сынки меня сразу не взлюбили. Я пробовал говорить о служении народу, о борьбе за свободу, пробовал разъяснять Нагорную проповедь, а мне отвечали скверными ругательствами и колотушками. Издевательства переходили прямо в пытки: выдергивали волосы из головы, всаживали в тело булавки, плевали в лицо и т. д.

Михаил Егорович не раз предупреждал меня, что нельзя жаловаться на своих товарищей, и, верный его заветам, я выносил издевательства, не рассказывая о них даже дома.

Иногда за меня заступался Овцын, самый великовозрастный и самый неспособный из учеников, а способный и маленький Митя Граве, бледный мальчик с черными курчавыми волосами, злорадно посмеивался, втихомолку подзадоривая хулиганов. Он видел во мне конкурента на место первого ученика.

Об истязаниях, наконец, узнали дома. Дети двух гостинодворских купцов, Демин и Офросимов затащили меня под ворота того дома, где я жил, связали мне сзади руки башлыком, повалили на землю и стали

методически бить по спине медными наугольниками своих щегольских портфелей.

На этом занятии их настигла Лупандина, возвращавшаяся домой, стремительно бросилась на истязателей и несколькими ловкими ударами обратила их в бегство, а меня освободила.

В этот момент я почувствовал, что она все же «своя», и тяжелые воспоминания о ней прорезываются одной светлой черточкой благодарности.

А светлые воспоминания о Михаиле Егоровиче прорезываются небольшой черточкой детской обиды. Помню, мы ходили с ним как-то за грибами. Грибов не нашли, и, вероятно, от скуки или досады я расшалился и стал бросать корзинкой в Михаила Егоровича. Он несколько раз останавливал меня и, наконец, рассердившись, сказал:

— Если ты еще раз бросишь, я выдеру тебя за уши.

Эта неожиданная угроза лишь подстрекнула меня. Корзинка вновь полетела в Михаила Егоровича: он схватил меня и чрезвычайно больно выдрал за уши. Я присмирел, но обида засела в душу навсегда.

Из гимназии Бычкова меня взяли, и я в течение года болтался без дела, читая все, что попадало под руку, а под руку попадали романы и стихи.

Затем меня отдали в реальное училище Гавловского, где состав учеников был еще хуже, чем у Бычкова, но я к тому времени уже поумнел, дурацких разговоров не вел и научился давать сдачи.

В своем умственном развитии я шел не вперед, а назад.

Через год взяли меня и от Гавловского, так как окончание его училища не давало права на поступление в университет.

Стали готовить в казенную классическую гимназию.

Готовил меня очень корректный, очень лойяльный кандидат историко-филологических наук Иван Алексеевич Козеко.

Занятия с ним совпали со временем русско-турецкой войны 1877—78 года. Козеко был настроен очень патриотически; ему удалось заразить и меня своим настроением.

С большим волнением следил я за ходом военных действий и торжествующе заносил в свой дневник сообщения о победах доблестных русских войск над «противными» турками. Восторгался отвагой белого генерала Скобелева.

В конце ноября 1877 года пришло давно трепетно ожидаемое известие о взятии Плевны. Вечером мы ходили с Иваном Алексеевичем по ярко иллюминованным улицам Петербурга. По Невскому медленно двигалась сплошная толпа, гремели оркестры, пели гимны, кричали «ура», качали «героев».

Козеко сиял и говорил мне:

— Воспоминание об этом ликовании нашего победоносного великого народа будет сопровождать вас всю жизнь.

Но у меня как раз в этот вечер начался перелом и ожили воспоминания о совсем иных, народнических заветах Михаила Егоровича.

Среди ликующей толпы мне сделалось тоскливо.

«Они здесь ликуют, — думал я, — а вокруг Плевны лежат десятки тысяч изуродованных трупов».

На другой день я пошел на набережную Невы и долго смотрел на Петропавловскую крепость, где томился Михаил Егорович, смотрел с горечью и благоговением.

От внешней войны мой интерес повернулся к борьбе внутренней, борьбе если не народа, то за народ.

Небольшая скромная фигура девушки, стрелявшей в опричника Трепова, заслонила фигуру белого генерала [6].

Сильно волновался, читая знаменитую речь защитника Веры Засулич Александрова, ликовал при известии об ее оправдании и своим ликованием заразил даже спокойного и умеренного Козеко.

Случайно я находился во Владимирской церкви в тот момент, когда туда хлынула толпа молодежи в косоворотках и пледах, требуя от священника, чтобы он служил панихиду по студенту, убитому во время стычки с жандармами, пытавшимися арестовать оправданную Засулич в момент выхода ее из окружного суда [7].

Среди этой возбужденной, волнующейся толпы, так странно протестующей панихидой, было мне и жутко, и радостно.

За схватками «Народной Воли» с самодержавием, последовавшими после выстрела Засулич, я следил уже будучи учеником второй Петербургской гимназии. Эта гимназия должна бы называться первой, так как она была старейшей в Петербурге и основана еще при Александре I.

Она гордилась многими из своих воспитанников, в том числе А. Ф. Кони. Окончил ее с золотой медалью и мой брат, и всегда вспоминал о ней с чувством признательности.

Я пробыл в ней шесть лет. Никакой признательности к ней не чувствую, вспоминаю о ней с полудосадой, с полуотвращением. Почти все, что я приобрел за эти шесть лет, я приобрел независимо от гимназии и даже несмотря на гимназию.

Из учителей с хорошим чувством я вспоминаю лишь о законоучителе протоиерее Дмитрии Тихомирове, который одновременно был профессором богословия Военно-Медицинской академии. Он мало считался с официальной программой: на уроках катехизиса разбирал тревожные

вопросы общечеловеческой морали, историю церкви превращал в историю христианства. Говоря о жизни Христа, он знакомил нас с еретическими взглядами Штрауса и Ренана. В основу морали он клал правдивость и так же, как атеист Михаил Егорович, особенно настойчиво советовал никогда не лгать, ибо ничто не принижает так человека, как ложь. Старался примирить науку с религией — попытка тщетная, но для меня в то время все же очень интересная.

Меня он очень любил и ценил, считая лучшим своим учеником. На экзамене он меня отстоял от нападок епархиального ревизора, видного черносотенного протоиерея, которому почему-то очень хотелось меня срезать. На все вопросы отвечал я обстоятельно и бойко. Пришлось, между прочим, объяснять значение таинства крещения.

— А скажите-ка лучше, — прервал меня ревизор, — каким свойством отличается освященная крещенская вода?

Я недоуменно молчал.

— Как же вы не знаете таких простых вещей, молодой человек? Она никогда не портится, сколько бы ни стояла, никогда не портится... Вижу по глазам, что вы этому не верите. Не верите?

— Не верю, — сказал я.

— Прекрасно-с!.. Вы, видно, из таковских, которые ничему теперь не верят.

— Я тоже не верю, — вмешался отец Дмитрий, — православная церковь не знает догмата о нетленности крещенской воды.

Ревизор что-то сердито буркнул, поднялся с кресла и демонстративно вышел из зала.

Краска негодования, а может быть, и стыда, залила лицо Тихомирова. Верил ли он в догматы православной церкви и мог ли он без «лжи» оставаться православным священником?!

Тогда я не задавался этим вопросом, — вернее, отгонял его от себя, потому что «батюшка» мне нравился, и на уроках его я отдыхал от гимназической казенщины.

Как теперь вижу этого старого ученого священника с жидкими прядями седых волос на лысеющей голове, с широким, некрасивым, но умным лицом, хорошее, серьезное выражение которого не мог испортить даже красный нос.

При выпуске наш класс поднес ему благодарственный адрес, под которым подписались и все иноверцы: лютеране, католики, евреи. Прощание было очень трогательное, батюшка прослезился, и со всеми, в том числе и евреями, обменялся христианским троекратным поцелуем.

Эта демонстрация обидела других учителей, в особенности нашего классного наставника, латиниста, Осипа Осиповича Кенига. Этот типичный баварский немец, тело которого было составлено из бочек и боченков различных размеров, был комиком поневоле. Я никогда не видел его смеющимся и даже улыбающимся, но он вызывал неудержимый смех своею комичною серьезностью.

Приготовишки прозвали его «пушкой». Когда Кениг громоздко прокатывался на своих ногах-бочках по гимназическим коридорам, писклывые голоса из разных углов кричали вдогонку:

— Пушка, пушка!

Кениг багровел от гнева и грозно заявлял:

— Ну, знаэтэ, помолчитэ-ка лучше, а то если эта пушка выстрелит, вы все вылетите из гимназии.

Взрослые ученики называли его «иностранной швиньей», потому что он как-то на уроке, приводя какой-то пример из римского права, сказал:

— Если иностранная швинья заберется на чужой участок, то считается собственностью его владельца.

Латинскую грамматику он обосновывал математикой. Для всех правил у него были алгебраические формулы и геометрические теоремы. Винительный падеж, по его мнению, объяснить можно было только при помощи высшей математики.

Однажды, когда я отвечал, стоя у классной доски, Кениг заметил, что для пояснения условных предложений есть алгебраические выражения, но нет выражения геометрического. Тогда я, полу-шутя, полусерьезно, заметил:

— А смежные углы?

Кениг минуту помолчал, а затем недовольным голосом сказал:

— Ну, вы, Поссе, слишком быстро хотите делать открытия. Такие вещи легко не даются. Садитесь!

На другой день Кениг пришел в класс как-то особенно торжественно и, сев на кафедру, внушительно провозгласил:

— Поссе! Вы сделали большое открытие. Я много думал над вашим указанием о смежных углах, как выражении условных предложений, и пришел к заключению, что это — верно, точно и красиво. Одно основание, взаимная зависимость и обусловленность. Угол $\alpha$ уменьшается, тогда настолько же увеличивается угол $\beta$. То же и в условных предложениях.

С тех пор выражение условных предложений смежными углами в грамматике Кенига фигурировало как грамматическая теорема Поссе, и я до конца курса неизменно получал по латыни пять.

Огорчал Кенига мой неудержимый смех. Иногда он подходил ко мне и укоризненно говорил:

— Поссе, ваша улыпочка мне фофсе не нравится, — а я давился, стараясь удержать взрывы смеха. И как было не смеяться, когда, например, Кениг, возмущенный давлением начальства в пользу какого-нибудь лодыря из влиятельной семьи, гневно восклицал:

— Ну, знаэтэ, мне надоели эти маленькие протеже, нэт, нэт, я нэ позволю себя изнасиловать. Директор, инспектор и Соков — все это одна шайка...

И вдруг, испугавшись собственных слов, пониженно робким голосом, озираясь по сторонам:

— Я ничего не сказал, слышите, так и знайте, я ничего не сказал.

Все же спасибо ему за этот смех, — всех остальных преподавателей не за что было благодарить.

Тупые, невежественные, пьяные, хрюкающие, полоумные и прямо безумные. Учитель словесности Курганович дослуживал до пенсии и не утруждал себя преподаванием. Целый час просиживал он на кафедре, не произнося ни слова, а только хрюкая, вследствие какой-то ненормальности в горле. Ученики устроили своеобразный спорт, стараясь наивозможно точно отметить крестиком каждое хрюканье.

Математик Стеблов приходил на уроки пьяный. Историк Свирелин продолжал преподавать, будучи уже болен прогрессивным параличом, и был увезен в сумасшедший дом только тогда, когда объявил себя богом, а директора открыто назвал мошенником, за бесценок купившим у Лебедева авторское право на ходкие учебники географии, в которой он ни бельмеса не понимал.

О директоре Свирелин сказал сущую правду, но подобная смелость не свойственна людям в здравом уме.

Когда перед выпуском мы выбрали девиз для выпускной группы, на которой сверху были помещены портреты директора, инспектора и преподавателей, а внизу портреты учеников, то я предлагал взять несколько измененные слова Поприщина из «Записок сумасшедшего» Гоголя:

— Что они с'нами делают? Они льют нам на головы холодную воду.

Мое предложение было, конечно, отвергнуто, и на группе красовались знаменитые слова Некрасова:

«Сейте разумное, доброе, вечное, — спасибо вам скажет сердечное русский народ».

Увы, огромное большинство моих товарищей было так же мало способно сеять разумное и доброе, как и наши преподаватели, лившие нам на голову холодную воду.

Вообще гимназическая среда была мне чужда и даже враждебна, но все же она выделила двух друзей, друзей моих на долгие годы, Александра Храповицкого и Валерьяна Агафонова.

Люди совсем разные и на меня не похожие, но через меня подружившиеся. Храповицкий был породистый, дородный малый, выраженный блондин с ярким румянцем на щеках круглого девичьего лица. Тонкий нос с горбинкой, серые ясные глаза, всегда смотрящие на собеседника прямо, просто и смело. Очень способный, но не талантливый, все воспринимал легко, но ни к чему не привязывался, ничем не увлекался.

Агафонов был высокий брюнет с подвижным лицом, с тонкими поджатыми губами, на которых постоянно играла насмешливая улыбка. Человек с вывертом. В противоположность Храповицкому, прирожденному первому ученику, всегда по всем предметам получавшему пятерки, и окончившему гимназию с золотой медалью, Агафонов учился плохо, оставался на второй год, и, наконец, был исключен за неспособность. Звали мы его Агашкой [8].

Храповицкий прошел жизненный путь честным земским деятелем, ничем особенно не выделяясь. Агафонов же добился профессуры и занял заметное место в областях: научной, литературной, общественной, и его перу принадлежит несколько книг.

В гимназии я больше ценил Храповицкого, чем Агафонова, выверты которого иногда резко критиковал. Любил обоих.

К Агафонову, сыну многосемейного смотрителя училища глухонемых, типичного петербургского чиновника, я ходил редко. В семье же Храповицкого, сына фактического директора крестьянского банка, бывал очень часто, иногда подолгу жил. Сделался «своим», привязался к отцу, народнику-славянофилу, и к матери, умной, доброй и очень остроумной женщине.

Три брата «Матреши», как я шутя называл своего товарища, Сашу Храповицкого, меня очень интересовали, но сблизиться дружески с ними не мог.

Старший, Владимир, с виду придурковатый, был ученым ботаником, второй, Борис, — дельный инженер, третий, Алексей, внешне блестящий, резкий, самолюбивый и тщеславный, еще на гимназической скамье поставил себе целью сделаться всероссийским патриархом, и на полях учебника русской истории Иловайского поносил царя Алексея и восхвалял патриарха Никона [9].

Правнук со стороны отца, знаменитого секретаря Екатерины II [10], внук какого-то видного генерала со стороны матери, Алексей Храповицкий выбрал карьеру монашескую.

Окончив гимназию с золотой медалью, он поступил в духовную академию и уже на втором курсе, двадцатилетним юношей, постригся в монахи. По окончании академии быстро пошел в гору и вскоре сделался самым молодым и самым популярным архиепископом.

Имя «Алексей» при пострижении он переменил на «Антония» и злился на меня, когда я его попрежнему называл Алешей. Жил он скромно, строго придерживаясь монашеских обетов, но в беседах с инакомыслящими был чрезвычайно резок и даже непристоен.

Любил рассказывать циничные анекдоты и оправдывал эту любовь своею ненавистью и презрением к плотским утехам. С ним я часто подолгу спорил и ставил в упор вопрос:

— Неужели вы, умный, образованный человек, искренне верите, что Христос вознесся на небо, и что просфора и вино превращаются в его плоть и кровь?

— Я не могу сомневаться, — отвечал Антоний, — если бы я усомнился, то мне бы не оставалось ничего другого, как броситься с Литейного моста в Неву вниз головой.

Встречался я у Храповицких и с другими молодыми монахами, в том числе с Чичаговым, сыном крестьянина, превратившимся впоследствии в архиепископа Серафима. Я даже присутствовал на пострижении его в монахи.

Он мне рассказывал, что еще в деревне, где ему, как бедному мальчугану, приходилось пасти коров, он мечтал о силе и славе. Около их деревни, в усадьбе жил генерал, а через деревню, в карете, запряженной четверкой лошадей, проезжал архиерей.

В мечтах своих мальчуган видел себя то генералом, то архиереем.

— Выбрал я духовную карьеру, а не военную, — простодушно говорил Чичагов, — потому что человеку простого звания легче сделаться архиереем, чем генералом.

Кроме «Матреши» и «Агашки» в хороших, если не дружеских, товарищеских отношениях я был еще с Александром Богдановским, сыном известного в свое время профессора хирургии, и Сережей Образцовым, сыном протоиерея, настоятеля Смоленского кладбища.

Богдановский, долговязый блондин, рано отрастивший бородку и длинные хохлацкие усы, просто и весело смотрел на жизнь своими грубыми глазами, добродушными и бесстыжими. Рефлексия его не разъедала. Без всяких сомнений и терзаний он безудержно предавался легким «любовным утехам», но грязь как-то не приставала к его душе. Меня он почему то очень любил и нежно называл «Поськой». Мне он тоже нравился своею примитивностью и непосредственностью. Я с ним довольно часто встречался в различные периоды

жизни, и ни разу ни в гимназии, ни после гимназии мы с ним не повздорили. Сколько раз своим открытым смехом он сгонял с моей души тревогу и тоску. Но раз он рассмешил меня своими слезами.

Вскоре по окончании гимназии он столкнулся, как соперник, при ухаживании за одной красивой барышней, с каким-то офицером. Дело дошло до вызова на дуэль. Секундантом пригласил он меня. Я согласился с тем, чтобы помешать дуэли. Ознакомившись с обстоятельствами дела, я убедился, что поединка избежать легко. Но мне захотелось попугать приятеля. Накануне «решительного» дня он ночевал у меня. Когда мы улеглись, я начал спрашивать, как мне действовать в случае несчастного для него окончания дуэли. Богдановский дрожащим от волнения голосом просил о своей смерти сообщить сначала одному только своему крестному отцу проф. Сорокину, который сумеет осторожно подготовить родителей к печальной вести, сделал много и других «предсмертных» распоряжений, свидетельствующих, что у него доброе и любящее сердце.

Смолкли. Я стал уже засыпать, как вдруг слышу странные звуки в роде отдаленного лая собаки. Приподнимаю голову и соображаю, что это рыдает Богдановский.

— Что с тобой?

В ответ особенно нежный, расслабленный голос:

— Поська, жить хочется, так хорошо жить. Жалко себя, невыносимо жалко.

Я весело рассмеялся.

— Полно тебе. Никакой дуэли не будет. Не умрешь. Жизнь тебя любит.

Богдановский учился сначала в Харьковском университете, потом в Вюртембергской агрономической школе. Пробовал осесть на землю, но скоро бросил эту затею. Служил в разных ведомствах, но старался приткнуться к живому делу — переселениям, землеустройству, горному делу и т. д. Сотрудничал в журналах, не претендуя на писательское звание. Лет пять тому назад встретился я с ним в Одессе. Он носился с мыслью устроить около Одессы образцовую сельскохозяйственную артель. В густых волосах и длинных усах блестели серебряные нити, но выглядел попрежнему молодым и жизнерадостным.

Вспомнив Александра Богдановского, невольно вспоминаю и сестру его Веру.

Когда она училась в Смольном институте, где шла первой ученицей, то казалась и внешне, и внутренне бесцветной: мы с Храповицким прозвали ее «салакушкой». Но по окончании института

и высших женских курсов она расцвела и развернулась в исключительно интересную женщину. Специализировалась по химии, написала несколько ценных работ, ездила совершенствоваться за границу, готовилась быть профессором химии.

Было в ней что-то общее с братом.

Говорили мы с ней как-то о нашумевшем в свое время парижском процессе бандита Прадо, отличавшегося большой жестокостью и окончившего жизнь на гильотине. На процессе выяснилось, что в Прадо влюблялись женщины «из хорошего общества». Среди них была интеллигентная американка, утверждавшая, что она почувствовала высшую радость жизни в тот момент, когда ее рука коснулась мощных и упругих мускулов Прадо.

— Как я ее понимаю, — сказала Вера. — Я сама думаю, что именно в прикосновении к мощным мускулам, а не в научных изысканиях высшая радость жизни.

В нее был влюблен один наш товарищ по гимназии. Парень не глупый, но с виду тщедушный.

Вера его ухаживания отклонила и совсем еще молодой вышла замуж за богатого, старого химика, известного своими изобретениями. Он устроил для нее на Урале образцовую химическую лабораторию, работами в которой она надеялась создать себе европейское имя. Но ей удалось проработать, если не ошибаюсь, меньше года.

Изготовляя какое-то новое, сильно ядовитое вещество, она поранила разорвавшейся колбой руку и умерла от отравления.

Сережа Образцов был маленький человечек с маленькой головой и кувшинным рылом, которое, когда у него под подбородком выросла мочалистая бородка, стало походить на козлиную морду.

Был он на редкость неспособный к ученью, в особенности к математике, но каким-то чудом кончил гимназию и даже добрался до последнего курса университета по естественному отделению физико-математического факультета. Кончить университета не смог, но держал себя так, как будто был оставлен при университете для занятия профессорской кафедры.

Брал апломбом. С людьми известными и солидными держался за панибрата. Всех похлопывал по плечу, хотя для этого иногда приходилось становиться на цыпочки. Одного известного профессора, про которого говорили, что он берет не столько талантом, сколько усидчивостью, Сережа похлопал и, добродушно улыбаясь своей козлиной мордочкой, сказал: «Эх вы, вечный труженик, никогда творец». В этот момент Сережа чувствовал себя Петром, а пораженный Сережиной наглостью профессор выглядел Тредьяковским.

Ко мне Сережа крепко прицепился, как только я догнал его в четвертом классе, где он застрял. Вошел, как свой, в нашу семью, ездил каждое лето в наше имение Кемцы, которое моя мать купила года через три после продажи Петровского.

В первый раз ехали мы вместе. Было нам тогда лет по четырнадцати.

Вышли вечером на станции Березайке, откуда до Кемец двадцать семь верст. Наняли парную подводу и покатили.

Возница наш, серенький мужичок, посматривал на нас боязливо. Одеты мы были в черные макинтоши с остроконечными капюшонами, которые надвинули на головы, когда въехали в темный сосновый лес.

Боязливость возницы подстрекнула нас, и мы стали говорить всякий вздор о нашем дяде-лешем, который давно просил притащить к нему православного мужичка, чтобы испробовать крови христианской, о сестрах-русалках, которые не прочь пощекотать православного, и т. д. Сережа при этом прекрасно использовал свой апломб. Мужичок трясся от страху и поминутно крестился, но все же попытался нас устрашить.

— Вот, схвачу топор, да тяпну по вашим башкам, — узнаете тогда лешего.

— Попробуй только тронуть топор, — у тебя рука сейчас отсохнет! — закричал Сережа.

И мужичок, как ужаленный, отдернул руку, затем перекрестился широким взмахом руки и, бросив вожжи, соскочил с козел своего самодельного тарантаса. Скрылся в лесу и оттуда закричал благим матом:

— Караул!

Я схватил вожжи, остановил лошадей, и мы начали в два голоса звать возницу, убеждая не бояться, так как мы просто шутили и никаких леших и русалок не знаем. Мужичок не поддавался на наши увещания и снова благим матом заорал:

— Караул!

Тогда я крикнул:

— Ну, тогда оставайся здесь с лешим, а мы поедем дальше.

Это подействовало, он взобрался на козлы, и мы поехали дальше. Молчали. Проехали лес, наконец въехали в деревню, уже уснувшую.

Наш возница быстро соскочил с козел, бросился к первой избе и стал стучать в окно кнутовищем. Мы поняли, что он хочет отдать нас на суд деревни, а это могло окончиться для нас очень плохо. Хорошо, что в избе спали крепко и никто не высовывался в окно.

Я крикнул:

— Полезай на козлы, а то сейчас укатим, останешься без лошадей.

Возница минуту колебался, потом щелкнул кнутом, вскочил на козлы, и мы благополучно проехали спящую деревню.

В Кемцы приехали, когда уж рассвело. Ночь была кошмарной и для нас, и для мужичка. Когда мы расплатились, возница с удивлением посмотрел на наши лица, как будто впервые узнав нас, и, плюнув в сторону, с досадой сказал:

— Мальчишки, а какого страху нагнали.

Сережа во всем старался подражать мне. Когда я влюбился в одну барышню, он тоже влюбился в нее, но втихомолку, так как, несмотря на свой апломб, меня он побаивался.

Пробовал он ходить со мной на охоту, но скоро бросил, так как здесь ему почему-то изменял его апломб, и он при вылете птиц только ахал.

Когда, будучи студентом второго курса, я вообразил, что влюбился в знаменитую оперную певицу Ван-Занд, и Сережа тоже вообразил себя влюбленным. Мы вместе провожали ее, когда она уезжала с Варшавского вокзала, и Сережа со свойственной ему непринужденностью, сняв с своей руки перчатку, бросил ее в окно, около которого сидела Ван-Занд, и закричал:

— Sur la mémoire, — вместо: Au souvenir.

Это, вероятно, доставило знаменитой певице несколько веселых минут.

После окончания университета и переезда за границу я потерял Сережу из виду, но от общих товарищей слышал, что он уехал на службу в Сибирь, там начал пить, опустился, но это не помешало ему жениться на очень красивой и милой девушке, которая, говорят, горячо его любила и оказалась заботливой матерью двух ребятишек.

В последний раз видел я его в 1910 году в Омске, где я читал лекции. Он пришел ко мне в номер, похлопал меня по плечу и, добродушно улыбнувшись, попросил двадцать пять рублей в долг без отдачи.

В годы военного коммунизма Сережа, жена его и дочь одновременно заболели сыпным тифом и почти одновременно умерли по пути из Сибири в Россию. Оставшийся в живых сын устроился на каком-то пароходе кочегаром.

Ни Богдановский, ни Сережа не имели на меня никакого влияния. Незначительно было влияние Храповицкого и Агафонова. Думаю, что скорее я влиял на них, чем они на меня.

Несомненно и сильно влиявшего на меня друга я нашел в лице семинариста Константина Петровича Пятницкого, сына священника

Кемецкой церкви. С ним я виделся во время летних и зимних каникул в имении Кемцах.

Мы познакомились и подружились четырнадцатилетними мальчиками, и с первого же дня стали называть друг друга по имени и отчеству и никогда не переходили на «ты», несмотря на пятидесятилетнюю дружбу.

С «Матрешей» (Храповицким) и с «Агашкой» (Агафоновым) мы были на равной ноге, а Пятницкому я в юношеские годы поклонялся, Пятницкого я немного побаивался. Все меня в нем поражало: и необычайная память, и необычайная сообразительность, и начитанность, и целомудренность, и даже большая физическая сила.

Пятницкий, несомненно, имел на меня сильное влияние: он, например, пробудил во мне интерес к творчеству Гете, особенно к его «Фаусту», к учению Спинозы и другим философским системам.

В своем увлечении я ожидал, я надеялся, что Пятницкий будет русским Гете или русским Спинозой. И не один я этого ожидал.

Огромные надежды возлагал на него и очень талантливый преподаватель философии Новгородской семинарии Раевский.

Но Пятницкий остался Пятницким, умным, образованным и оригинальным человеком с почтенным, но скромным именем.

Дружба с Пятницким оживила во мне интерес к серьезному творческому чтению. Из иностранных писателей я особенно увлекался Шиллером и Гете, из русских — Достоевским.

Достоевский в это время писал и печатал в «Русском Вестнике» свой последний роман «Братья Карамазовы»[11].

Очередные книжки журнала, по своему направлению мне чуждого и даже враждебного, ожидались мною с каким-то сладостно-тревожным волнением исключительно из-за романа Достоевского.

Казалось, что жизнь Карамазовых и всех лиц, связанных с ними, еще только развертывается, бурлит, поднимается, опускается, рвется и вновь завязывается где-то очень далеко и очень близко, в каком-то неведомом и родном городе.

Об этой жизни оповещает какой-то родной и неведомый летописец душ человеческих, сам не знающий дальнейшего хода событий, не знающий развязки сложных драм и трагедий, заставляющих трепетно биться его обнаженное сердце.

Чем спокойнее была внешняя форма повествования, тем сильнее волновало его содержание.

Достоевский не столько овладевал моею душою, сколько будоражил, бунтовал ее, вздымая муки и радости, упования и сомнения, сокрытые в самых глубоких тайниках ее.

В увлечении Достоевским я сходился с Алексеем (Антонием) Храповицким, но воспринимали мы его совершенно различно.

Алексея Храповицкого Достоевский укреплял в христианстве, православии, монашестве, меня он укреплял в атеизме, во мне он зарождал анархизм. Алексей Храповицкий ходил к Достоевскому и подолгу беседовал с ним. Друзья Храповицкого думали, что с него он пишет Алешу Карамазова.

Я не ходил к Достоевскому: мне казалось недопустимой дерзостью беспокоить его. Но я все же видел и слышал его.

Это было осенью 1880 года, в Петербурге, на литературном вечере в зале Кредитного общества.

В этом вечере, устроенном в пользу литературного фонда, участвовало много известных литераторов, считавшихся хорошими чтецами. Но я хорошо помню только Достоевского, помню так, что могу в любой момент вызвать в своей душе его образ, его голос, его манеру говорить.

На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный черный сюртук. Сильно поредевшие, но не поседевшие волосы аккуратно причесаны над высоким выпуклым лбом. Жиденькая бородка, жиденькие усы, сухое угловатое лицо.

В первую минуту, взглянув на Достоевского, я почему-то вспомнил свою старушку-няню, немного умилился, немного разочаровался. Но только в первую минуту.

Не успел он раскрыть книгу, по которой должен был читать, как я уже почувствовал силу его удивительных глаз, тревожных и взывающих.

Светлые глаза Толстого буравили того, на кого обращались. Темные глаза Достоевского всех звали заглянуть в тайники его раздвоенной, его непримиренной души.

Сначала Достоевский прочел сцену между Чичиковым и Собакевичем из «Мертвых Душ» Гоголя. Именно с Гоголя он и должен был начинать. Но лучше бы не с «Мертвых Душ», а с «Шинели». Прямо из гоголевской «Шинели» вышел его первый роман «Бедные люди».

Слабый огонек человечности, заложенный Гоголем в душу забитого Акакия Акакиевича, Достоевский раздул в вихрь искр любви, жалости, сорадости и сострадания, рвущихся из души забитого Макара Алексеевича Девушкина.

«Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив». Так начинается первое письмо Девушкина.

«Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя, вас увозят, вы едете! Да теперь лучше бы они сердце из груди моей вырвали, чем вас у меня...» Так начинается его последнее письмо.

Девушкин был родной Достоевскому. Но Достоевский мог понять и таких совершенно чуждых ему людей без человеческих чувств, как Чичиков и Собакевич.

Читал Гоголя Достоевский чрезвычайно просто, по-писательски или по-читательски, но, во всяком случае, совсем не по-актерски.

Думаю, однако, что ни один актер не сумел бы так ярко оттенить внешнюю противоположность вкрадчиво-настойчивого Чичикова и непоколебимо-устойчивого Собакевича при внутреннем единстве на основе тупой корысти.

За Гоголем следовал Алексей Толстой. Достоевский выбрал былину об Илье Муромце.

Раздалось сердитое ворчание обиженного князем мужика-богатыря. И не был ли этот «богатырь» такой же тщедушный с виду и такой же непомерно выносливый и сильный, как читавший о нем каторжанин?

Как-то особенно светло, с просветленным лицом, прочитал он две последние строфы:

...И старик лицом суровым
Просветлел опять.
По нутру его здоровым
Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой, и земляникой
Пахнет темный бор.

За Алексеем Толстым — Некрасов.

Некрасов стоял в лагере, враждебном Достоевскому, но Достоевский не мог разлюбить Некрасова, как он разлюбил и даже возненавидел Белинского.

Души Некрасова и Достоевского, души раздвоенные, надрывные, неизменно влеклись друг к другу.

Прочел Достоевский одно из первых стихотворений Некрасова, стихотворение его молодости, начинающееся словами:

Когда из мрака заблужденья...

И как прочел!.. Такого чтения я никогда больше не слыхал. В нервной игре бледного лица — страдание и восторженность, голос мягкий, слегка певучий. Слова нежно, молитвенно вырываются из глубины души, из глубины сердца.

Публики нет перед ним. Обращается прямо к страдающей душе, разбуженной «горячим словом убежденья», к душе женщины падшей и в то же время святой. Высоким напряжением любовного чувства преодолевает мучительный надрыв и голосом звенящим, голосом победы зовет притти к нему и «смело», и «свободно».

...В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи,
Скорбя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи к груди.
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди.

Смело и свободно ударил призыв в сердца всех присутствующих и не было больше «толпы пустой и лживой»... раскрылись души скорбные и любящие.

От этого призыва новый подъем к «Пророку» Пушкина, гений которого Достоевский воспринимал так чутко и восторженно.

Слушая «Пророка», казалось, что это к Достоевскому на перепутьи русской жизни явился серафим. Его «очей коснулся он» — и «разверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы».

Его «ушей коснулся он и их наполнил шум и звон», и внял Достоевский «неба содроганье, и горний ангелов полет, и дольней лозы прозябанье, и гад морских подводный ход».

У него вырвал он «язык и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие вложил десницею кровавой».

Ему «он грудь рассек мечом», но... увидев трепет бедного, страдающего сердца, серафим отказался выполнить последний завет пославшего его бога. Он не вырвал человеческое сердце и выронил из рук пророческий «угль, пылающий огнем».

И пошел по миру не пророк, глаголом жгущий сердца людей, а человек с глазами испуганной орлицы, человек, надрывающийся под тяжестью неизбывного людского горя, человек с рассеченною грудью и обнаженным сердцем.

Через несколько месяцев после этого вечера я шел за гробом Достоевского в торжественной процессии, неся на древке один из многочисленных венков.

Впереди высшее православное духовенство, затем колыхающийся над молодыми обнаженными головами гроб, за ним группа друзей, и среди них вдова в глубоком трауре, с детьми покойного, а дальше бесконечной вереницей делегации старых и молодых, больше молодых и совсем юных.

Колышутся венки. Развеваются ленты, черные, белые, красные. Золотые буквы говорят о «Бедных людях», «Униженных и оскорбленных», «Преступлении и наказании», о «Мертвом доме».

Разливаются по морозному воздуху печальные погребальные песни.

Я шел и думал о другой процессии, которая за тридцать три года перед тем шла по тем же улицам, но в обратном направлении, к Семеновскому плацу, где были приготовлены столбы для расстрела.

Думал о тех трагических пяти минутах, которые Достоевский пережил, ожидая казни.

Мучительное увлечение Достоевским совпало у меня со стремлением выявлять свои мысли и чувства в письменной форме. Дневника уже было мало. Начал писать рассказы, литературно-критические статьи и т. д.

Посылать в журналы не решался. Задумал сорганизовать свой ученический журнал. Уговорил Храповицкого, увлек Агафонова.

Название дали скромное: «Ученик». Но дело поставили широко. Завели гектограф и стали печатать журнал, «нелегальный», конечно, в нескольких десятках экземпляров, завязали связи с другими гимназиями и средними школами.

Один из номеров попал в руки Баталина, издателя бульварно-черносотенной газетки «Минута», и он забил тревогу.

«Коршуны революции, — писал он, — подбираются уж к колыбелям наших детей».

Всполошилось начальство, начались розыски, но довольно долго не могли нас «открыть», и мы, уже после статей Баталина, выпустили еще один номер.

Открыли нас случайно, вследствие моей редакторской неосторожности. Один из учеников нашего класса, недавно переведенный к нам из провинции, по фамилии Тамара, передал в редакцию стихотворение Козлова «Киев», выдав его за свое и подписавшись псевдонимом «Арамат» (перевернутое «Тамара»).

Я в ответах редакции заклеймил плагиатора, и, чтобы больше устыдить его, последнюю букву его псевдонима (т) написал как заглавную.

Попечитель учебного округа Дмитриев, читая внимательно наш журнал, обратил внимание на этот ответ редакции и вспомнил, что незадолго перед этим один из губернских предводителей дворянства Тамара хлопотал у него о переводе сына во вторую Петербургскую гимназию.

Тамара был подвергнут допросу и всех нас выдал.

Меня, Храповицкого и техника Нефедьева, изготовлявшего для нашего журнала гектограф, арестовали и рассадили по разным классам, где мы и просидели масляничные праздники.

Меня хотели исключить, но против этого энергично восстали отец Дмитрий Тихомиров и Кениг.

Агафонов не подвергся даже и отсидке, так как как раз в это время умерла его мать, и я в своих показаниях заявил, что он ушел из редакции после первого же номера и в дальнейшем не принимал никакого участия в нашем преступлении. Я не сказал при этом, что он ушел потому, что я отказался поместить его статью, в которой он предлагал прибегать к террору против наиболее злобных и подлых учителей.

Время тогда было очень тревожное, поэтому пустячный эпизод с нелегальным гимназическим журналом раздулся в целое политическое событие. Потребовалось особое правительственное сообщение, в котором, для успокоения якобы взволнованных родителей, опровергался слух о «коршунах революции», и указывалось, что в «Ученике» не усмотрено было ничего особо опасного.

Да, время было тревожное. В гимназии часто происходили молебны по поводу избавления помазанника божия от угрожавшей ему опасности.

Но вот грянуло «первое марта». Молебен сменился панихидой. Я шел по Невскому в фотографию Шапиро, чтобы купить портрет Федора Михайловича Достоевского. Когда я проходил по мосту через Екатерининский канал, в правой стороне раздался оглушительный взрыв. Не успел я дойти до конца моста, как раздался второй взрыв. И таково уже было тогда настроение, что я тотчас подумал: опять покушение на царя.

В самой глубине души слабый и неуверенный голос говорил: «Хорошо, если бы на этот раз удалось». Но голос, более сильный и уверенный, возражал: «Все равно, ничего из этого не выйдет, будут лишь новые казни, новые жертвы».

По Невскому пробежала как бы нервная дрожь.

— Покушение... Бомбы... Ранен... Невредим... Слава тебе, боже... Злодеи... — перебрасывались отрывочные слова.

Толпились почему-то около газетчика, который уже знал о бомбе Рысакова, разбившей карету, но не знал еще о бомбе Гриневицкого, убившей царя.

Какой-то старик-военный, убедившись из слов газетчика, что божий промысел снова отвел руку злодея от своего помазанника, снял фуражку и несколько раз перекрестился, смотря на Казанский собор.

Когда я подходил к тому дому на Фонтанке, где была квартира моего брата, у которого я жил, появились уже первые траурные листовки с извещением о мученической смерти царя-освободителя.

Листовки расхватывали нервными дрожащими руками, читали молча. Город как будто замер в ожидании чего-то еще более страшного, еще более трагичного.

Для меня этим более страшным и более трагичным была публичная казнь пяти народовольцев.

Помню это весеннее утро, когда со всех сторон к Семеновскому плацу, где воздвигнута была виселица, бежали дворники, кухарки и другие простые люди, таща с собою табуретки, скамейки и стулья, чтобы лучше видеть редкую казнь.

В гимназии, за исключением двух-трех человек, все одобряли казнь. Находились и такие, которые говорили, что злодеев мало повесить, их следовало бы медленно замучить.

Не встречал я сочувствующих народовольцам, жалеющих их и среди деревенского люда. Мои знакомые крестьяне очень осторожно, правда, говорили, что, наверное, царя убили баре, обозленные тем, что он дал волю и хотел дать землю. Таково же было настроение и у большинства петербургских рабочих.

Мне памятен день коронации Александра III. По Невскому шла тогда огромная толпа «мастеровых», как обыкновенно называли фабрично-заводских рабочих, и пела громко, но фальшиво, «боже, царя храни».

Все встречные поспешно снимали шляпы и фуражки, я не снял, и один из мастеровых, пустив скверное ругательство, злобно сбил с моей головы фуражку ударом кулака.

## III

## В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1884—1888 гг.)

Профессора-филологи и профессора-юристы. — Студенты-культурники и студенты-революционеры. — Братья Ольденбурги. — В. И. Вернадский. — Мякотин, Водовозов и Смидович. — А. И. Ульянов. — Лукашевич. — П. И. Шевырев. — М. В. Новорусский. — Л. И. Ананьина. — В. В. Бартенев. — Землячества. — Добролюбовская демонстрация 28 ноября 1886 года. — Первое марта 1887 года. — Finis Academiae! — Суд и казнь. — Исключение из университета и высылка из Петербурга. — Зима в деревне. — Охота. — Кандидатский экзамен. — «Малоземелье и крестьянский банк».

Поступая в университет, я колебался между естественным отделением физико-математического факультета, который без колебаний

выбрал Пятницкий, и историко-филологическим, который без колебаний выбрал Храповицкий.

В конце концов поступил на историко-филологический. Думал заниматься историей и литературой. Но больше всего заинтересовался сравнительным языковедением.

Курс сравнительного языковедения читал профессор Минаев, ученый с европейским именем. Лицо у него было лошадиное и читал он запинаясь и задыхаясь, как будто вез на гору тяжелую поклажу. Но лекции его были содержательны. Вопрос о происхождении языка, с которого он их начал, увлекателен. А главное, он побудил меня прочесть работы Гумбольдта, Штейнталя и других известных языковедов.

На историко-филологическом факультете в то время было еще несколько профессоров с громкими именами, но слушать их было скучно.

Профессор южно-славянских языков, Ламанский, напоминал мне гимназического Кургановича: на его лекциях дремали не только немногочисленные слушатели, но и он сам.

Другой профессор славянских языков Ягич читал очень бойко, но все же и очень скучно.

Профессор греческой литературы Никитин первые свои лекции превратил в уроки греческой грамматики, от которых я бежал без оглядки, вспоминая невыносимую скуку таких же уроков нашего тупого гимназического учителя Давиденкова.

Профессор древней истории Соколов, закрыв глаза, быстро и однотонно сыпал мелкими фактами, нисколько их не обобщая.

Профессор русской истории Замысловский производил впечатление человека тупого, человека в казенном футляре. У него была только одна «своя» идея, которой он, видимо, очень тщеславился: особенности русской истории объясняются тем, что в России всегда было много места и мало людей.

Логику читал профессор Владиславлев. Ожиревший человек с бесформенным обрюзгшим лицом, которому особенно неприятное выражение придавали косые глаза. К нему я, впрочем, относился с особым предубеждением, так как еще до поступления в университет читал о нем в «Вестнике Европы» статью Евг. Утина. Утин клеймил Владиславлева за то, что тот в своем курсе психологии измерял силу уважения, которое вызывает к себе то или другое лицо, величиной его каптиала, при чем утверждал, что русский император вызывает к себе чувство благоговения, независимо от всего другого, уже своим огромным капиталом. Несмотря на предубеждение, я все же с интересом слушал его введение в курс логики. Но когда началась сама логика, то я сбежал.

Историю русской литературы читал горбатый Орест Миллер, очень похожий на гнома. Против него у меня тоже было предубеждение, так как я читал статью Добролюбова, в которой была зло высмеяна его магистерская диссертация [12]. Читал он лекции с необычайным жаром, с большим пафосом, но жар был хотя и высокий, но одинаковой температуры, пафос однотонный, и никто из профессоров и ораторов не усыплял меня так быстро, как Орест Миллер. Не проходило и четверти часа, как его маленькая жестикулирующая фигура со сверкающими из-под очков глазами покрывалась туманом, и я должен был усиленно тереть глаза.

Человек Орест Миллер был хороший и справедливо слыл за стойкого защитника студенческих интересов. Главным образом его усилиями были устроены студенческая столовая и касса взаимопомощи. Ему, главным образом, была обязана своим существованием единственная тогда культурная студенческая организация, научно-литературное общество.

Вокруг этого общества группировались культурные силы студенчества всех факультетов. Там можно было встретить братьев Ольденбург, Сергея и Федора, восточника и филолога.

Сергей — коренастый, черноволосый, с ярко-красными щеками, Федор — длинный, сухой и как бы выцветший, но оба живые, хлопотливые, всем интересующиеся.

Там можно было увидеть добродушного, всегда ласково улыбающегося минералога Вернадского, очень мягкого на вид, но очень упорного в достижении раз поставленной цели.

Мне кажется, что Вернадский, как и Сергей Ольденбург, уже тогда поставили своей задачей сделаться не только профессорами, но и академиками. И сделались.

У Федора Ольденбурга цель была более скромная: быть хорошим педагогом. И он, окончив университет, много лет был прекрасным руководителем хорошей учительской семинарии в Твери.

На собрании летературного общества читал свои стихи Дмитрий Мережковский, прорывавшийся к литературной славе. Кстати сказать, одно из первых стихотворений Мережковского было помещено в нашем «Ученике».

В научно-литературном обществе появлялась изредка стройная фигура замкнутого в себе молодого зоолога Александра Ильича Ульянова [13]). У него было продолговатое бледное лицо, задумчивые умные глаза, высокий лоб, обрамленный шапкой черных вьющихся волос.

Не помню хорошенько, но вероятно в научно-литературном обществе принимали участие и три моих коллеги по факультету и курсу.

которых я сразу выделил из общей массы: В. В. Водовозов, В. В. Смидович и Мякотин.

Водовозов был небольшой, чрезвычайно подвижной блондин с резкими движениями и с резкими суждениями, очень начитанный и очень самоуверенный.

Помню, как он огорошил меня, когда я женился, еще будучи студентом третьего курса.

— Говорят, вы женились? — спросил он меня резко, встретив в университетском коридоре.

— Да, женился.

— Скажите, зачем вы сделали эту глупость?

Но я, пораженный этой резкостью, растерялся и ничего не сказал.

В. В. Смидович был похож на жизнерадостного птенчика с любознательным носиком и наблюдательными глазками. Казалось, он еще только обрастает перышками и только учится летать. Впоследствии у него выросли крепкие крылья, он умело использовал свою любознательность и наблюдательность, и поднялся на литературные высоты крупным писателем Вересаевым.

Мякотин выделялся своей высокой тощей фигурой с тонкой длинной шеей, на которую, как на палку, была посажена большая голова с длинными мочалистыми волосами. Большие глаза выкатывались из орбит и выражение лица было такое, что, казалось, его только что вынули из петли. Мякотин, как известно, вырос в известного публициста-народника и сделался одним из столпов «Русского Богатства».

На историко-филологическом факультете я пробыл только год. В 1885 году программа его была коренным образом изменена: история и литература отодвинуты на задний план, а на первый выдвинуты древние языки.

Студентам, недовольным этим изменением, было предоставлено право перейти со второго курса историко-филологического факультета прямо на второй курс юридического факультета. Я воспользовался этим правом и сделался студентом юридического факультета, а Храповицкий перешел на первый курс естественного отделения физико-математического факультета, где он и встретился с Пятницким и Агафоновым, только что поступившим в университет.

Таким образом, лучшие друзья мои были естественниками, и я больше вращался в среде их товарищей, чем среди юристов.

На юридическом факультете было тоже не мало профессоров с большим именем — Сергеевич, Градовский, Фойницкий, Мартенс и т. д. Но я их слушал еще меньше, чем профессоров историко-филологического факультета.

Учился по книгам, и притом таким, которые отнюдь не рекомендовались тогдашними профессорами.

Увлекался речами Лассаля, изучал Маркса и Энгельса. С большим интересом, но и большим внутренним протестом, читал философско-религиозные произведения Толстого, которые в то время нелегально издавались в литографированном виде кружком студентов.

Много времени уходило на общественную работу. Возникло и быстро развилось земляческое движение. Студенты различных высших учебных заведений организовывались в землячества по месту окончания средней школы, что обыкновенно совпадало и с местом рождения.

Основываясь на своем новгородском происхождении, я вошел в новгородское землячество, чтобы быть вместе с Пятницким.

Землячества объединялись советом из их делегатов; совет старался установить связи со студенческими организациями в других университетских городах. У каждого члена совета был заместитель или кандидат. Членом совета от нашего землячества был Новорусский, а кандидатом — я.

Михаил Васильевич Новорусский производил с первого взгляда не слишком приятное впечатление. Некрасивое лицо, окаймленное рыжеватой бородкой, было густо покрыто веснушками, над стальными ободками очков, как бы вдавливающих глаза, наискось приподымались рыжие брови, что придавало лицу выражение какого-то изумления.

Говорил скороговоркой, как бы делая обязательный и скучный доклад. Движения быстрые и решительные.

Первое неблагоприятное впечатление скоро проходило, и всякий, кто, как я, сближался с Новорусским, начинал высоко ценить его большой ум и разносторонние знания.

Сын бедного псаломщика в каком-то селе Старорусского уезда, Новгородской губернии, Михаил Васильевич попал в Новгородскую семинарию, которую окончил первым учеником, и был послан на казенный счет в Петербургскую духовную академию. Ее он также окончил блестяще, и был оставлен при академии по кафедре психологии.

Этот кандидат в профессора духовной академии по своему мировоззрению был такой же нигилист и революционер, как и мой учитель Михаил Егорович, тоже происходивший из духовного сословия, и тоже окончивший семинарию, но выбравший не духовную академию, а физико-математический факультет.

Надо заметить, что и Новорусский, старательно изучавший философию и богословие, гораздо больше интересовался естествознанием и литературой,

В новгородском землячестве под его руководством образовался кружок для изучения народного быта по произведениям беллетристов-бытовиков — Успенского, Левитова, Златовратского, Сергея Атавы и других. В этом кружке нередко обсуждались и вопросы чисто политические, вопросы о дальнейшей борьбе с гнетущей силой самодержавия.

Собирались мы в духовной академии у Новорусского. На стол он клал рукопись своей диссертации по психологии, чтобы в случае неожиданного визита объяснить собрание желанием ознакомить друзей со своей научной работой.

Около Новорусского обыкновенно сидела его гражданская жена, или, как ее почему-то называли, невеста, Лидия Ивановна Ананьина. Это была еще совсем юная женщина, лет восемнадцати, не больше.

Из других членов нашего кружка я вспоминаю славного и красивого малого, Троицкого, студента духовной академии, и деловитого студента военно-медицинской академии Журавлева.

Наиболее интересные знакомства у меня завязались со студентами других землячеств.

Я проник в тонкий слой революционно-настроенного студенчества. Студенты этого слоя, не только по воззрениям и настроению, но и по внешнему облику, отличались от культурников, руководивших научно-литературным обществом.

Революционеры одевались небрежнее, держались свободнее и посмеивались над корректностью и лойяльностью культурников.

Впрочем, вражды между этими двумя слоями не было, а напротив, между ними происходило нечто в роде осмоза.

В центре революционно-настроенного студенчества стояла невзрачная фигура естественника П. Я. Шевырева, перешедшего в Петербургский университет из университета Харьковского [14].

Вид у Шевырева был болезненный, чахоточный. Осматриваясь кругом ищущим взглядом, он говорил и не договаривал, как бы что-то наиболее важное пряча для себя.

Он выискивал человеческий материал для решительных революционных действий. Обратил внимание и на меня. Часто заходил ко мне и осторожно заводил речь о необходимости пополнить свежими силами поредевшие ряды народовольцев и возобновить террористическую борьбу. Но я был противником террора, и, в конце концов, между нами вспыхнул жаркий спор, в котором, как мне тогда показалось, Шевырев сдал свои позиции. Теперь я думаю, что просто он, наконец, убедился, что я неподходящий материал для террористической деятельности.

Гораздо большее сочувствие встретил он со стороны двух естественников, уже упомянутого Ульянова и Лукашевича, великана с тонким детским голоском [15].

Александр Ильич Ульянов, сын директора народных училищ в Симбирске, был членом симбирского землячества. Лукашевич, по происхождению литовец, был член землячества виленского.

Оба они очень старательно занимались наукой и их прочили в профессора.

У А. И. Ульянова, не достигшего еще совершеннолетия, была уже научная работа о каких то червях, за которую он получил золотую медаль [16]. Но научный интерес отступал перед революционным темпераментом и волей, протестующей против произвола над человеческой личностью.

Из других революционно-настроенных студентов вспоминаю Говорухина из Донского землячества, Евстифеева, Яковенко и Бартенова.

Особенно нравился мне Виктор Викторович Бартенев, высокий, сгорбленный, черный, с большими добрыми влажными глазами. Постоянно сосет папироску, покашливает и, улыбаясь, тихим грудным голосом говорит просто, искренне и метко.

Стараниями, главным образом, Шевырева из среды революционно настроенного студенчества выделилась народовольческая организация, поставившая своей целью возобновление террора.

Не знаю точно, когда она возникла, но, вероятно, она окончательно оформилась одновременно с демонстрацией 17 ноября 1886 года.

В этот день исполнилось 25 лет со дня смерти критика-революционера Н. А. Добролюбова, который тогда был еще властителем дум революционной молодежи.

Совет землячества решил в этот день устроить нечто в роде массового митинга на Волковом кладбище у «литературных мостков», где был похоронен Добролюбов.

Мне было поручено съагитировать в этом направлении студентов-юристов. Большого успеха я не имел, даже филологи оказались отзывчивее юристов, и многие их них приняли участие в демонстрации.

Естественники пошли очень дружно, и вместе со студентами-технологами составили, так сказать, ядро той многотысячной толпы, которая утром 17 ноября собралась у ворот Волкова кладбища.

Ворота оказались запертыми и перед ними выстроились в несколько рядов городовые и околоточные под командой частного пристава.

Первые ряды столпившейся перед полицейскими молодежи стали требовать, чтобы полицейские расступились и ворота была открыты. Пристав отвечал решительным отказом.

— Мы хотим отслужить панихиду, — раздались голоса.

— Безобразие! — крикнул какой-то студент деланно-негодующим тоном. — У нас в России не позволяют свободно даже богу молиться!

Тогда один городовой, что называется, не выдержал и укоризненно сказал:

— Ах, господин, господин, вам ли о боге говорить?

Видя безуспешность переговоров, толпа стала напирать на полицейских и придавила их к воротам. Этот довод оказался убедительнее ссылок на право свободно молиться, и пристав, в конце концов, разрешил делегациям, несшим венки, пройти на кладбище и возложить их на могилу Добролюбова.

Но митинга устроить не удалось. Организаторы демонстрации бросили тогда клич: «На Казанскую площадь!»

Казанская площадь еще в 1876 году получила свое революционное крещение, когда на ней был устроен первый в России революционный митинг под лозунгом: «Земля и воля» [17].

Толпа повернулась и хлынула по направлению к Невскому. Когда мы шли по набережной тогда еще не засыпанной Лиговки, перед нами внезапно выстроился отряд конных казаков с нагайками наготове. В то же время подъехал градоначальник, генерал Грессер, и, окруженный своей полицейской свитой, подошел к нам.

Он стал нас уговаривать спокойно разойтись, обещая, что никто не будет арестован.

Лишь очень немногие послушались этих увещаний. Большинство оставалось стойким и на увещания генерала отвечало резкими репликами.

— Молодой человек, — сказал Грессер, обращаясь к стоявшему впереди всех студенту-технологу, спокойно курившему папироску, — вам бы следовало быть поделикатнее и не пускать мне дым в лицо.

— Если вам мешает мой дым, — отвечал технолог, — то вам следует посторониться, тем более, что мы вас к себе не приглашали.

Раздался одобрительный смех, и толпа двинулась вперед. Грессер побагровел от злости.

В это время из теснившейся толпы случайно выдвинулась высокая, неуклюжая фигура студента-естественника, Михаила Ивановича Туган-Барановского.

Грессер бросил на него гневный взгляд и приказал полицейским арестовать его.

Как теперь вижу не испуганное, а скорее сконфуженное, типично-татарское лицо Михаила Ивановича, неуклюже пытавшегося вырваться из цепких рук городовых.

Туган-Барановского повели. Несколько человек молодежи двинулось было, чтобы его освободить, но отступили под ударами казацких нагаек.

Михаил Иванович впоследствии говорил мне, что этот арест спас его. Он был немедленно после ареста выслан из Петербурга, и, таким образом, порвалась его связь с революционным кружком, иначе он наверное принял бы участие в покушении 1 марта 1887 года, и возможно, что его постигла бы трагическая участь Александра Ильича Ульянова.

Грессер уехал, казаки остались. Один отряд стоял впереди толпы, другой — позади, отрезая ей путь к отступлению. С одной стороны были дома с открытыми воротами, откуда выехали спрятанные за ними казаки и куда как бы приглашались демонстранты, но куда они не шли, основательно опасаясь избиения нагайками.

С другой стороны протекала Лиговка, на противоположной набережной которой собралась большая толпа любопытных обывателей.

Мы стояли долго, несколько часов под холодным осенним дождем. Наступали сумерки. Настроение упало. Тогда снова появился Грессер и заявил, что он будет выпускать желающих отправиться домой группами в пятьдесят человек.

Не возражали, но многим было стыдно выходить первыми, поэтому роспуск шел довольно медленно.

Мы с Агафоновым вышли предпоследними, а последнюю группу, человек около пятидесяти, Грессер не выпустил, а велел арестовать, и арестованные были высланы из Петербурга.

Среди них не было никого из организаторов демонстрации. Они не считали возможным в данный момент рисковать своей свободой и ушли одними из первых, чтобы готовиться к более решительным действиям.

Подготовлялся террористический акт. Подготовления велись чрезвычайно конспиративно. Организаторы с самого начала были озабочены тем, чтобы не пострадали их товарищи, в террористическую организацию не вовлеченные.

В конце января или в начале февраля 1887 года я в студенческой читальне или в студенческой столовой, не помню хорошенько, подошел к Ульянову, но он как-то странно посмотрел на меня и, не приняв протянутой руки, прошел дальше, как будто был со мною незнаком. Это меня поразило и обидело.

На другой день ко мне зашел Шевырев, я рассказал ему о случившемся и спрашивал, не знает ли он, за что Ульянов решил разорвать со мною установившиеся товарищеские отношения.

— Он мне об этом рассказывал, — усмехаясь, сказал Шевырев. — Он в ваших интересах не хотел демонстрировать свое знакомство с вами перед коротконогим педелем, несомненным сыщиком, который вертелся около вас. Ульянов просил вас в течение ближайших недель не подходить к нему при встречах в университете.

Я, конечно, удовлетворился этим объяснением и не стал допытываться, чем объясняется такая осторожность.

Новорусский, живший в это время в Парголове у матери своей жены, нередко ночевал у меня, когда ему приходилось поздно вечером оставаться в Петербурге.

Помню, как-то раз, когда мы легли спать, и я уже начал дремать, Михаил Васильевич, долго перед тем молчавший, вдруг спросил меня:

— Как вы думаете, сдвинется ли страна с реакционной мертвой точки, если удастся убить Александра III?

Я ответил, что мало верю в спасительность террора, который, по-моему, обходится слишком дорого, уничтожая наиболее энергичных, наиболее искренних революционеров, так необходимых для пропаганды и агитации среди рабочих и крестьян.

— Можно обойтись без жертв, если действовать умно и осторожно, — заметил Новорусский, — или, во всяком случае, свести эти жертвы к минимуму.

— Смотрите, не ошибитесь, Михаил Васильевич, — сказал я, догадываясь, что Новорусский вошел в террористическую организацию.

— Может быть, вы и правы, но будем надеяться: бог не выдаст, свинья не съест.

В конце февраля, часов в двенадцать ночи, кто-то тревожно позвонил в нашу квартиру. Вбежала взволнованная Лидия Ивановна Ананьина и сразу, не здороваясь, стала нервно просить меня немедленно отправиться в квартиру Ульянова и узнать, все ли там благополучно?

— Но в чем дело? — спросил я.

— Ничего сказать не могу вам, но идите, идите скорее! Только смотрите, берегитесь засады!

Ульянов жил недалеко от меня, на Церковной улице, около Тучкова моста.

Подойдя к дому, я остановился в нерешительности. Передо мною стояла трудная задача: узнать, благополучно ли в квартире Ульянова, и, с другой стороны, не нарваться на полицейскую засаду.

Подумав минуту, я пошел к одному из друзей Ульянова Книповичу. Книпович меня успокоил, и тогда уже я поднялся по лестнице до

дверей квартиры, где жил Ульянов, и убедился, что тревога Лидии Ивановны была напрасной.

Но в мою душу с тех пор закралось тяжелое предчувствие надвигающейся большой и грозной беды.

Второго марта при входе в университет я встретился с Агафоновым. Он отвел меня в сторону и взволнованным шопотом стал рассказывать подробности неудавшегося покушения на Александра III и его семью.

— Метальщики и сигнальщики арестованы, — говорил он. — Шевырев и Говорухин согласно предварительному соглашению скрылись и, надо надеяться, находятся вне досягаемости [18].

— А Ульянов, Лукашевич, Новорусский? — спросил я.

— Они пока не арестованы, хотя и не скрываются.

Новорусский должен был у меня ночевать в ночь со второго на третье марта, но он не пришел, и это усилило мою тревогу.

Утром пришел ко мне Троицкий и сообщил об арестах в Парголове Новорусского и обоих Ананьиных. Пришел Агафонов и сообщил, что арестованы Ульянов и Лукашевич.

В университете началась паника. Говорили, что царь приказал закрыть навсегда петербургский университет, как очаг революции. Для спасения университета ректор, профессор полицейского права Андреевский, человек очень гибкий, с умной лисьей физиономией, решил устроить патриотическую демонстрацию и доказать верноподданнические чувства огромного большинства студентов [19].

Актовый зал был битком набит студентами-белоподкладочниками, как называли богатеньких студентов, носивших дорогие мундиры на белой атласной подкладке. Это были преимущественно юристы, в обычное время очень редко посещавшие университет, предпочитая обучаться в модных ресторанах и различных увеселительных заведениях. Но теперь они, как один человек, явились спасать свою alma mater.

Я с трудом пробился в двери актового зала в тот момент, когда Андреевский своим звонким голосом выкрикивал:

— Любовь к отечеству неразрывно связана с любовью к государю.

В ответ раздалось несколько резких голосов:

— Неправда, неправда!

Крики эти были заглушены громом рукоплесканий.

Андреевский на минуту, видимо, смутился, и уже менее звонко и решительно стал оправдывать университет, утверждая, что безумцы, замышлявшие страшное злодеяние, не были питомцами петербургского университета, и пришли в него со стороны.

По окончании речи ректора белоподкладочная толпа запела «боже, царя храни!» и, подхватив толстого инспектора, прозванного «боровом», начала его качать.

С тягостным чувством вышел я из университета вместе с В. В. Барteневым. Он еще ниже, чем обыкновенно, свесил свою курчавую черную голову, и лицо его не улыбалось, как обычно.

— Finis academiae, — сказал я.

— Ну, еще посмотрим, — раздался в ответ тихий грудной голос Виктора Викторовича.

В ночь на следующий день я проснулся от звонка и стука во входную дверь. Заспанный голос пожилой женщины, жившей у нас в квартире, спрашивал:

— Кто там?

— Телеграмма, — послышался ответ.

И через минуту в мою комнату и в комнату моей жены ввалилась ватага полицейских и понятых во главе с жандармским офицером и частным приставом.

Начался обыск. Это был первый пережитый мною обыск. И я с особенной остротой почувствовал тогда всю мерзость этого организованного надругательства над человеческой личностью.

Копаются не только в вещах, копаются и в вашем теле, ощупывая его грязными руками, копаются в вашей душе, читая ваши дневники и ваши интимные письма.

Тяжесть этого первого обыска усугублялась тем, что обыскивалась и моя беременная жена. Пережитые ею волнения самым пагубным образом отразились на родах и надолго подорвали ее здоровье.

Обыск продолжался целую ночь, но ничего предосудительного и подозрительного не нашли уж по одному тому, что обыска я ожидал и заблаговременно сжег даже невинную рукопись А. Г. Штанге о необходимости созыва земского собора[20].

С меня была взята подписка, что к девяти часам утра я явлюсь на Гороховую в охранное отделение.

В приемной охранного отделения я просидел целый день, ломая себе голову, как мне держаться на предстоящем допросе? Говорить или молчать, узнавать ли на карточках товарищей или нет?

Позвали меня в кабинет начальника охранного отделения лишь поздно вечером. В середине комнаты стоял в полной генеральской форме градоначальник Грессер, а за письменным столом сидел какой-то черноволосый штатский с типично-чиновничьей физиономией. Это был, как я потом узнал, директор департамента полиции знаменитый Дурново. Допрашивать меня не стали. Грессер назидательным тоном

заявил, что я вращаюсь в плохой компании, но, тем не менее, никто не хочет портить мне карьеру.

— Властям известно, — говорил он, — что вы пользуетесь среди студенчества большим влиянием и от вас до некоторой степени зависит спокойствие в университете. Вас оставляют в университете до первых беспорядков. При их возникновении вы будете немедленно арестованы, исключены из университета и сосланы в далекие края.

Грессер, видимо, увлекался своим красноречием и смотрел, так сказать, поверх моей головы. Но волчьи глаза молчавшего Дурново старательно ощупывали меня.

Грессер, вероятно, ждал, что я что-нибудь отвечу ему на его речь, но я не проронил ни слова. Он взглянул на Дурново, тот мотнул головой.

— Можете итти, вы свободны.

Свобода была нерадостна. Мучила мысль о судьбе арестованных товарищей. Особенно жаль было Ульянова, Новорусского и Л. И. Ананьину.

Судило их особое присутствие сената с участием сословных представителей: предводителя дворянства, городского головы и волостного старшины. Суд происходил при закрытых дверях, но я в общих чертах узнал о том, что делалось в зале суда.

На суде присутствовал известный криминалист, сенатор Н. С. Таганцев, часто бывавший у моего брата. Он рассказывал, что метальщики, студенты-донцы Осипанов, Генералов и Андреюшкин, держали себя «вызывающе», не проявляли ни малейшего раскаяния и выражали лишь сожаление, что покушение не удалось.

Сигнальщик Канчер трусил, каялся и на предварительном допросе, несомненно, выдавал.

Новорусский решительно отвергал свою виновность, уверял, что он о подготовке террористического акта не подозревал, и даже говорил о своих верноподданнических чувствах [21]. Это запирательство производило, по словам Таганцева, на судей очень неблагоприятное впечатление, чем и объясняется, что Новорусского не включили в число лиц, для которых суд испрашивал у государя замену смертной казни бессрочной каторгой. Особенно озлился на Новорусского волостной старшина, заявлявший, по словам Таганцева, что Новорусский «сам сатана», а остальные подсудимые лишь «бесенята».

В действительности Новорусский принимал лишь косвенное и отдаленное участие в приготовлении к покушению. В сущности, он лишь сочувствовал подготовляемому убийству царя и формально мог быть обвинен лишь за недоносительство [22].

Ульянов в своих показаниях всеми силами старался выгородить и Новорусского, и Лукашевича, не останавливаясь при этом перед усилением своей виновности. Он смотрел на судей, как на врагов, и пощады от них не ждал. Но и на врагов произвела сильное впечатление его смелая речь.

Характерный эпизод: когда обвинитель, обер-прокурор Неклюдов, в молодости участвовавший в студенческих волнениях и сидевший в Петропавловской крепости, спросил Ульянова, что могло побудить его, серьезно занимавшегося наукой, кандидата в профессора, пойти на такое страшное преступление, Ульянов отвечал:

— Пусть господин обер-прокурор вспомнит свою молодость, вспомнит то, что привело его в Петропавловскую крепость, тогда он, может быть, сам ответит на поставленный вопрос.

Неклюдов, говорят, побледнел, растерялся и некоторое время не мог попасть в надлежащий для обер-прокурора тон[23].

Подсудимых, насколько я помню, было пятнадцать человек. Почти все были приговорены к смертной казни. Но для некоторых суд испрашивал замену смертной казни другими наказаниями в порядке высочайшей милости. Безусловно к смертной казни были приговорены: Шевырев, Ульянов, Андреюшкин, Генералов, Осипанов, Новорусский и Лукашевич.

В университетских кругах рассказывали тогда, что о помиловании Ульянова хлопотал профессор государственного права А. Д. Градовский, выражавший желание взять его на поруки с ручательством превратить юного революционера в серьезного ученого.

Когда приговор был представлен на усмотрение Александра III, он особое внимание обратил на Новорусского и, пригласив Победоносцева, раздраженно сказал ему:

— Хорошие порядки в вашей духовной академии, если кандидат в профессора ее делается зачинщиком такого страшного злодеяния. Остальные мальчишки и, наверное, действовали под его влиянием.

Победоносцев в некотором замешательстве ответил:

— Нет никаких доказательств, чтобы Новорусский был зачинщиком. И вообще обвинение его основано на косвенных и довольно шатких уликах.

— В таком случае нельзя его вешать!

И заменил Новорусскому смертную казнь бессрочной каторгой.

Об этом эпизоде рассказывал мне мой зять, профессор Иван Иванович Боргман, преподававший физику детям Александра III, в том числе и будущему императору Николаю II.

Восьмого мая были казнены Шевырев, Ульянов, Осипанов, Генералов и Андреюшкин. Говорят, держались они очень мужественно, братски расцеловались и пошли к виселице с криком:

— Да здравствует народная воля! [24]

«Помилованные» Лукашевич и Новорусский были на долгие годы заперты в Шлиссельбургскую крепость.

Учебный год в университете закончился без студенческих волнений. Я перешел на последний курс. Летом в Кемцах через полицию мне было сообщено, что я исключен из университета без права поступления в другой университет, и мне запрещено жительство в столицах и во всех университетских городах.

Я остался на зиму в Кемцах. Осенью подзубривал университетские курсы, перечитывал русских классиков, но главным образом охотился.

С четырнадцати лет я стал охотиться. Охотился я с увлечением, со страстью. Страсть делала меня неутомимым. Дневал и ночевал в лесу, проходил по сорока верст в день, не боялся ни жары, ни холода.

Охота, несомненно, укрепила мое слабое здоровье и смягчила остроту целого ряда тяжелых переживаний так называемой личной жизни.

Но у охоты была и оборотная сторона, которая давала себя чувствовать все сильнее по мере роста моей сознательности. Убивать живое существо, убивать свободную лесную птицу или зверя с их горестями и радостями, столь понятными человеческому сердцу, отвратительно, если подумать об этом спокойно, бесстрастно. Особенно отвратительно добивать подранков. Сколько раз я чувствовал себя преступником, когда брал в руки раненого вальдшнепа, сердце которого так быстро билось, а прекрасные глаза смотрели так умоляюще.

Сколько раз я становился себе противен, когда подбитый моим выстрелом заяц вертелся на одном месте и жалобно пищал, совершенно так, как плачет больной ребенок.

И все же охотничий атавизм долго брал верх над этими протестами культурного человека.

В конце концов мое лучшее «я» справилось с этой страстью, и вот уже три десятка лет, как я не охочусь.

Зимой меня, как и всех других исключенных студентов, привлекли к отбыванию воинской повинности. Врачи освободили меня вследствие моей сильной близорукости. Но местный предводитель дворянства, председательствующий в Валдайском воинском присутствии, непременно хотел забрить крамольника, и я был отправлен в Новгород

в какой-то новгородский полк. Но здесь меня, как слишком близорукого, не приняли и положили на испытание в военный госпиталь.

В военном госпитале я пробыл около двух недель, пока не решили окончательно, что я годен только в ополчение.

Пребывание в госпитале дало мне много новых впечатлений, я сдружился с лежавшими там солдатами, и действительно больными и симулянтами. Выслушивал их бытовые рассказы о деревенской и солдатской жизни и совершенно свободно делился с ними своими знаниями и своими мечтами.

В университетах, между тем, начались студенческие волнения. Я с большим удовольствием читал письма из Петербурга Храповицкого и Агафонова, которые красочно описывали эти волнения.

Особенно мне понравился рассказ Храповицкого, как один наш приятель в ответ на патетическую речь студента-юриста Гурьева, призывавшего студентов к спокойствию и подчинению справедливым требованиям властей, плюнул в его бесстыжие лойяльные глаза. Тот утерся и замолчал.

Впоследствии Гурьев сделался чиновником особых поручений при Витте и писал для него доклады.

Крамольных студентов высылали из Петербурга. Два моих товарища, Тимофеев и Василий Семенович Голубев, были высланы в Новгород и отыскали меня в военном госпитале.

Маленький, черненький Голубев, похожий на жука, был одним из первых студентов-пропагандистов среди петербургских рабочих. До Новгорода я знал его мало, но в Новгороде оценил и полюбил его настоящим образом. Впоследствии Голубев сильно подался вправо, но симпатии мои к нему не ослабевали до самой его смерти.

Мы часто с ним вспоминали, как я в новгородском госпитале читал ему и нескольким солдатам «Дон-Карлоса» Шиллера.

Весной 1888 года я получил разрешение на въезд в Петербург. Разрешение мне выхлопотал Агафонов через известную либеральную великосветскую даму баронессу Варвару Ивановну Икскуль, которая флиртовала с директором департамента полиции Дурново и в то же время покровительствовала молодым революционерам [25].

Приехав в Петербург, я начал сдавать экзамены при университете на кандидата прав. В течение двух месяцев я сдал экзамены по всем предметам юридического факультета, в том числе и по всевозможным правам: гражданским, уголовным, международным, полицейским и т. д.

По всем предметам я получил высшую отметку (пять) и убедился, что курс юридических наук, на который полагается четыре года, можно пройти в несколько месяцев. Зубрил я, правда, отчаянно.

Напрягал свою память до последних пределов и, в конце-концов, довел себя до галлюцинаций.

Одна галлюцинация, впрочем, мне очень помогла. Чрезвычайно усталый после нескольких бессонных ночей, я должен был сдавать уголовное судопроизводство у очень требовательного профессора Фойницкого.

Вытащил билет, на котором были поставлены статьи уголовного судопроизводства, которые я должен был комментировать. Смотрю — и ничего не помню. Проходит несколько мучительных минут. Молчу я, молчит и Фойницкий, ядовито усмехаясь.

И вдруг перед моими глазами раскрывается толстый том курса уголовного судопроизводства, и как раз на том месте, где говорится о статьях моего билета. Я начинаю читать, кончаю, книга исчезает.

Фойницкий ставит мне пять и говорит:

— Вы прекрасно ответили, почему же вы так долго собирались с силами?

Я ничего не ответил, лишь устало улыбнулся.

Экзаменоваться большей частью приходилось вместе с выпускниками-студентами, большинство которых проскакивало при помощи жульнических комбинаций. Когда я пришел экзаменоваться у профессора гражданского права Дювернуа, то ко мне подскочил какой-то юркий субъект и спросил:

— Вы какой билет будете отвечать?

— Как какой? Тот, который я вытащу.

— Так нельзя, у нас все билеты распределены. Каждый отвечает свой билет. Вытаскивая билет, безразлично какой, он тотчас бросает его обратно, а профессору называет тот, который он выбрал и хорошо выучил. Дювернуа никогда не проверяет билетов.

Я решительно отказался поддерживать эту комбинацию. Ко мне присоединилось еще несколько совестливых студентов. Нас осыпали всевозможными оскорблениями, но мы оказались стойкими.

Когда Дювернуа явился, представители организованного студенчества потребовали, чтобы он отдельно экзаменовал лиц, внесенных в составленный студентами список, а затем уже нас, одиночек.

Дювернуа согласился, большинство студентов отвечало свои билеты.

На экзамене по учению о наказаниях профессор Фойницкий, зачем-то выходя на время из экзаменационного зала, обратился к экзаменующимся с такими приблизительно словами:

— Я оставляю на столе билеты, уверенный, что никто из вас не станет их подсматривать или делать на них какие-нибудь значки.

Вы не гимназисты. Через несколько месяцев многие из вас будут уже судебными деятелями. Но не успела исчезнуть за дверьми фигура Фойницкого, как несколько десятков кандидатов в судебные деятели бросилось к экзаменационному столу и стало орудовать с билетами. Осторожный профессор, вернувшись, принес программу с иным распределением билетов, и многих постигло жестокое разочарование.

По окончании экзаменов мне пришлось выбирать тему для кандидатской диссертации. Наиболее живые темы, как это ни странно, относились к полицейскому праву. Полицейское право делилось на полицию безопасности и полицию благосостояния. В программу полиции благосостояния входили профессиональные рабочие союзы, кооперативы, меры борьбы с пауперизмом, малоземельем и т. д.

Полицию благосостояния читал бездарный и беспринципный профессор Ведров. Скрепя сердце, пошел к нему, так как требовалось предварительное одобрение темы.

Заявил, что я хочу писать историю профессиональных союзов в Западной Европе. Ведров поморщился:

— Скользкая тема. Я попросил бы вас выбрать что-нибудь другое.

Я выбрал: «Малоземелье и крестьянский банк». На эту тему Ведров согласился.

Работой я увлекался. Отец моего друга, Саши Храповицкого, Павел Павлович, снабдил меня обширным материалом по деятельности крестьянского банка, дал мне возможность использовать неопубликованные доклады и обследования.

Использовал я и все имевшиеся в Публичной библиотеке материалы по земельной статистике. Усиленно работал целый год, и в результате получилась солидная работа с хорошо обоснованными выводами, которые, правда, очень не понравились Павлу Павловичу Храповицкому, стоявшему во главе крестьянского банка.

Цифры и факты непреложно доказывали, что крестьянский банк никакой помощи действительно малоземельному крестьянству не оказывает, а лишь усиливает мощь деревенских богатеев и ускоряет расслоение деревни.

Припоминая теперь свою работу, я думаю, что она заслуживала напечатания и была не хуже иных, не только магистерских, но и докторских диссертаций, представлявших нередко жалкую компиляцию.

Но мою работу постигла печальная участь. Являюсь со своим фолиантом к Ведрову.

— Боже, какую массу вы написали! Для чего это? У меня нет времени все это читать.

И даже не раскрыв рукописи, сделал на ней пометку: «Удовлетворительно. Принята. Ведров».

Обиженный и возмущенный, я отправился со своей рукописью в университетскую канцелярию, сдал ее в университетский архив и оформил право на получение кандидатского диплома.

Впоследствии, по просьбе Агафонова, я взял ее из архива и передал ее какому-то товарищу Агафонова, который использовал ее для какой-то своей работы, а затем, по его словам, затерял.

Меня тогда не интересовали уже более ни земельная статистика, ни крестьянский банк. Я весь отдался естествознанию и медицине.

## IV

## В ЮБИЛЕЙНОЙ ФРАНЦИИ (1889 г.)

Тяга к медицине. — Париж в столетнюю годовщину Великой Революции. — На митинге. — Луиза Мишель. — В Сент-Этьенне. — Катастрофа. — Оружейники и углекопы. — Суд в подземельи. — В монастыре. — В горах. — Горное солнце. — На Женевском озере. — В парижской медицинской школе. — Бернские студентки. — Первая напечатанная статья.

Мысль об изучении медицины зародилась у меня, когда я сидел у постели тяжело больной жены, которую, как мне казалось, врачебное знание и врачебное искусство отстояли от смерти. Мысль эта окрепла, когда передо мной, получившим диплом кандидата прав, стал вопрос: что же дальше?

Быть чиновником, простым или судейским, адвокатом, профессором?!

Разве все это возможно без того, чтобы не кривить душой, не порабощаться, не приспособляться к подлости? Врач, казалось мне, может быть свободным, независимым, может жить со спокойной совестью и радостным сознанием, что он приносит пользу, что он смягчает страдания, прогоняет слезы отчаяния.

И разве можно считать себя образованным в конце девятнадцатого века, не изучив основ естествознания? Медицина — надстройка над естествознанием, она предполагает его изучение.

Но не поздно ли садиться за учебу, можно ли просуществовать с семьей без заработка в течение еще полдесятка лет, когда от отцовского наследства, отчасти прожитого, отчасти розданного, остались жалкие крохи?

И где учиться? В Военно-медицинскую академию или в русские университеты «исключенного» и «неблагонадежного» не пустят, хотя

он и кандидат прав. Ехать за границу? Заманчиво, ужасно заманчиво! Но хватит ли на это средств? Как быть с языком? Ведь ни одного иностранного языка я не знаю в совершенстве.

Родные и друзья отговаривали меня, но эти отговоры лишь подстрекали мое желание. И я поехал. Поехал без семьи. Куда?

Разумеется, в Париж. Ведь в 1889 году он праздновал столетнюю годовщину Великой Французской революции. Ведь в нем еще живы были воспоминания о коммуне.

Изучать медицину в городе революции — какое счастье!

Не для изучения медицины, а для заграничного путешествия присоединился ко мне мой товарищ по университету Дмитрий Дмитриевич Протопопов. Высокий мужчина монгольского типа, с китайскими глазами и толстыми негритянскими губами. Человек спокойный, решительный и обладающий для путешествия драгоценной и редкой особенностью — превосходным знанием почти всех европейских языков и умением чрезвычайно быстро усваивать местные диалекты или наречия.

В Париже была всемирная выставка. В Париж стекались праздные люди со всех концов мира.

Париж сначала оглушил нас своим шумом, ослепил своею мишурой, обидел, да, именно обидел пошлостью своих бесчисленных увеселений со старомодным канканом и новомодной «пляской живота» на первом плане. Но это было лишь первое впечатление.

Когда мы побывали в рабочих кварталах, когда мы прислушались к речам на рабочих митингах, то мы почувствовали, что Париж в гораздо большей степени город труда и борьбы, чем город разврата и веселья.

Врезался в память митинг, на котором выступала знаменитая коммунарка и анархистка Луиза Мишель, недавно вернувшаяся из ссылки.

Митинг был созван в одном из рабочих предместий по поводу катастрофы в Сент-Этьеннских копях, когда погибло 216 углекопов.

С самого начала на митинге столкнулись различные политические течения и завязалась шумная схватка с аплодисментами и свистом между социалистами и буланжистами (сторонниками генерала Буланже, подготовлявшего военную диктатуру) [26].

Дело уже близилось к потасовке, как вдруг кто-то крикнул, что приехала Луиза Мишель.

Все стихает. Слышно, как муха пролетит. Через почтительно расступившуюся толпу мелкими шагами проходит к эстраде высокая пожилая женщина в черной кружевной наколке на голове, в черном гладком платье, похожем на капот.

Слегка поклонившись председателю, немедленно предоставившему ей слово, она становится на краю эстрады и с улыбкой окидывает взглядом залу, по которой пробегает рокот аплодисментов. Никакого сходства с тенденциозным портретом!

В этой простой, скромной одежде, с руками, сложенными вместо, пальцы в пальцы, и непринужденно опущенными вниз, с ласковой улыбкой на истомленном, но еще полном жизни лице, она напоминала какую-нибудь русскую барыню-помещицу, крестьянскую «благодетельницу».

И она заговорила душевным, мягким, слегка поющим голосом, чрезвычайно похожим на чарующий голос Сарры Бернар, и говорила просто, задушевно, «жалея», как «мать с детьми».

«Добрые рабочие, у парижан теперь так много дела, так много забот: им нужно подниматься на башню Эйфеля, смотреть «светящиеся водопады», есть и пить за десятерых на «конгрессных банкетах», где же им думать о таких пустяках, как взрыв в копях, убивший более двухсот человек?.. Да и правда, не пустяки ли это? Не гибнут ли ежедневно и здесь, в блестящем Париже, и всюду в очаровательной Франции от недоедания, от непосильной работы тысячи вас, бедных рабочих, ваших жен, а главное, ваших детей, которых вы, по словам ученых, так неразумно производите на свет...

«Ах, добрые друзья, когда же вы, наконец, поймете истину, когда же вы перестанете вертеться, как белка в колесе, надеясь то на Бонапарта, то на Гамбетту, то на Флоке, то, наконец... — она приостановилась, — на Буланже»...

По зале пробежала волна, в которой слышались удивление, порицание, одобрение.

— Менять людей, — спокойно продолжала Луиза Мишель, — и оставлять старый социальный порядок — это все равно, что класть пластырь на деревянную ногу. Добрые рабочие, надо в корне изменить весь порядок вещей, и тогда только... — и яркими красками она рисует картину анархической свободы.

Раздался сухой, долго несмолкающий треск рукоплесканий.

На эстраду быстро вбегает долговязый юноша лет восемнадцати-девятнадцати, с длинными руками, неуклюже высовывающимися из коротких рукавов коричневой куртки... На длинной тонкой шее сидит круглая безусая голова с жесткими волосами «петухом». Глаза лихорадочно блестят. В руках он мнет тетрадку.

Смешно вертясь из стороны в сторону, заглядывая в тетрадку, заикаясь, начал он что-то нескладное, какие-то бессвязные, громкие слова.

В зале — хохот, крики «довольно», «рано еще тебе» и т. д.

Юноша было растерялся, но, взглянув на сидевшую сзади и одобрительно улыбавшуюся Луизу Мишель, вдруг «вдохновился» и, закрыв тетрадку, начал импровизировать.

Бледный, с трясущейся нижней челюстью, нервно взмахивая руками, визгливым голосом проповедывал он убийство, поджог, взрывы.

«Довольно слов, пора к делу, пора взорвать всех этих эксплоататоров! Убивать, жечь, взрывать! Лучше вместе с ними взлететь в чистый воздух, чем гибнуть, копаясь в душной земле, собирая сокровища кровопийцам!»

Собрание слушало сначала молча, как бы удивленно, затем раздались отдельные, негодующие голоса, и многие из тех, которые горячо аплодировали Луизе Мишель, вдруг вскипели негодованием против этого безусого юноши.

«Молчи, — кричали они, — у тебя еще молоко не обсохло на губах, а ты уже хочешь пить кровь!»

«Тебе еще учиться надо, рано выскочил», и т. д.

Но юноша не унимался.

«Я молод, — кричал он, — но во мне бьется неробкое сердце... Свободы, свободы хочет оно!» — И он ударял своей длинной костлявой рукой в чахоточную впалую грудь.

Раздались аплодисменты, но возросло и негодование «умеренных». Несколько человек вскочило на эстраду и старались стащить с нее оратора, но он упирался, и на помощь ему протискивались ярые анархисты. Глухо пронеслись в воздухе страшные ругательства, визгливые крики и удары палками.

Видно посиневшее лицо юноши, которого чья-то мускулистая рука давит за горло, заставляя замолчать.

А Луиза Мишель сидит неподвижно, все в той же спокойной позе, но на лице ее уже нет улыбки.

Маленький председатель куда-то юркнул и скрылся, два же его могучих сотоварища пустили в ход кулаки и разнимают дерущихся. В конце концов их энергия увенчивается успехом. Бойцы расходятся, разглаживаясь и отдуваясь.

Председатель вновь появился и спешит закрыть собрание. Слышен звон бросаемых на металлическую тарелку денег... Начался сбор в пользу «сент-этьеннцев», и «пятаки» одинаково бросают социалисты, буланжисты и анархисты...

Отчасти под влиянием этого митинга, мы решили пойти в Сент-Этьенн, расположенный в нескольких сотнях километров к югу от Парижа.

Пошли мы пешком, сначала по берегу Луары, а затем по берегу Роны.

В Сент-Этьенне к нам присоединился Г. Г. Старицкий, молодой, корректный человек, хорошо знавший, что он сын важного сановника, члена государственного совета.

Сент-Этьенн — одновременно центр угольной и оружейной промышленности. И здесь можно было убедиться, как неоднороден рабочий класс.

Труд оружейников несравненно легче и осмысленнее труда углекопов, а заработок их значительно больше.

Мы видели в Сент-Этьенне два уклада жизни, два быта: оружейный и углекопный. Иной внешний облик, иные привычки, иная домашняя обстановка, иные увеселения, иные кабачки и трактиры.

Нас больше интересовала жизнь углекопов. Мы прежде всего постарались увидеть тов. Дюпре, единственного углекопа, оставшегося в живых из двухсот семнадцати человек, работавших в шахте, где произошла катастрофа, о которой говорили на парижском митинге.

Дюпре встретил нас очень любезно. Это был человек неопределенных лет, невысокого роста, страшно изможденный, с лицом южного типа, с большим прямым носом, круглыми глазами и сжатым лбом. Правая рука его была на перевязи, лицо отчасти обожжено и все испещрено мелкими черными рубчиками.

Он охотно согласился пойти с нами в ближайший кабачок, чтобы за стаканом вина рассказать нам все известное ему о катастрофе.

— Я, — рассказывал он, — шел с двумя лошадьми недалеко от отверстия подъемного колодца, как до меня донесся оглушительный грохот и в то же время кругом вспыхнуло пламя... Я лишился чувств... Когда я очнулся, я почувствовал страшную тяжесть на себе, рука ныла, внутри что-то нестерпимо жгло. Было совершенно темно. Понемногу я стал соображать, что произошел взрыв «grisou» (шахтенный газ), что лошади были убиты и упали на меня, чему я, вероятно, обязан своим спасением... С трудом освободился я от трупа лошадей. Около меня кто-то слабо стонал; я стал шарить кругом рукой и попал во что-то теплое, слизкое, мягкое... Это было сваренное мясо моего товарища, отпадавшее кусками... Меня нашли первым и вытащили на свежий воздух.

— Ну, что же, вам тотчас оказана была помощь? Я думаю, доктор компании ухаживал за вами изо всех сил? — спросил я.

— Ничуть. Доктор компании был у меня всего один раз, и то уже на четвертый день после катастрофы. Первой помощью я обязан г. Динону, вольнопрактикующему врачу, который и до сих пор лечит

меня безвозмездно. Никто из компании ни разу не посетил меня. Они злятся, что я не молчу о причине несчастья.

— Какая же причина?

— Пороховой взрыв, произведенный по приказанию инженеров.

— Но ведь это же безумно!

— Что выгодно, то не безумно: «grisou» ведь далеко не всегда в копях, к тому же жизнь углекопа ценится не слишком высоко, — заметил один из рабочих, сидевших за другим столиком.

— Но пенсию вы получаете? — спросили мы Дюпре.

— Да, обычную цифру — один франк в день, но что же сделаешь с одним франком, имея на плечах семью, здесь, в Сент-Этьенне, где жизнь значительно дороже, чем в Париже. И прежде было тяжело, трудно было жить на четыре франка восемьдесят сантимов, которые я зарабатывал, а теперь совершенно невозможно... И что я теперь могу делать с поврежденной рукой, совсем больной: внутри у меня все что-то жжет, я не могу есть ничего твердого...

— Давно вы работаете на копях?

— С детства, двадцать семь лет. И мой дед, и мой отец были углекопы. Оба убиты в копях «Sorette». Это у нас, как у большинства углекопов, наследственное занятие.

В это время к нам подошли несколько человек рабочих и присоединились к нашему разговору. У подошедших были чрезвычайно умные и энергичные лица; не было и следа той узости, той покорности судьбе, которыми запечатлены лица у большинства углекопов. Они, оказалось, недолгое время работали в копях и при первой возможности бросили эту тяжелую и худо оплачиваемую работу, сделавшись оружейниками. Они нам очень толково рассказали условия жизни своих бывших собратьев.

Жизнь южных углекопов значительно отличается от жизни северных (департаментов Nord и Pas-de-Calais), описанной Золя в его «Жерминале».

Работают на юге исключительно мужчины; женщины никогда не спускаются в шахты. Они занимаются домашними работами и возятся с детьми. Большинство углекопов женаты и сравнительно с другими рабочими (не говоря уже о богатых людях) многосемейны, бывает пять-шесть человек детей. О той половой распущенности, которую так расписывает Золя, нет и речи: по крайней мере, с кем бы мы ни говорили, все уверяли нас, что распутство составляет редкое исключение. Умственное развитие углекопов очень низко, отчасти оттого, что все более способные рвутся вон из темных шахт, но главным образом оттого, что думать и читать некогда. «Компания не дает

думать», — заметил один из рабочих. В несколько праздничных часов не до книг: хочется полежать на траве, погреться на солнышке, которое приходится видеть так редко.

Нам очень хотелось побывать в самих копях и посмотреть на работу углекопов. Мы обратились за советом в местную социалистическую газету. Там нам сказали, что добиться пропуска в шахты, особенно теперь, после катастрофы, совершенно невозможно.

Но мы были настойчивы, мы были русские, а русские во Франции были тогда в большой моде [27]. Один из нас (Старицкий) выглядел настоящим джентльменом, назывался в паспорте каким-то чином, громко звучавшим по-французски, — и невозможное сделалось возможным.

С запиской главного управляющего мы отправились к одному из инженеров. Инженер, дебелый и рыжеватый мужчина, похожий более на немца, чем на француза, встретил нас очень нелюбезно. Он начал ставить различные препятствия, но мы были настойчивы, так как знали, что просьба главного управляющего равна приказанию.

На другое утро, в костюмах рабочих — в синих блузах и панталонах, с круглыми черными войлочными шляпами на головах и с длинными предохранительными лампами в руках, тесно прижавшись друг к другу, стоим на площадке подъемной машины.

Вот что-то звякнуло вверху, и мы помчались книзу.

Странное ощущение охватило меня. Я почувствовал, что потерял почву под ногами и лечу куда-то в пропасть. Ощущение очень сходное с тем, которое иногда испытываешь во сне, когда кажется, что неудержимо валишься с постели. В ушах поднялся страшный шум от сильного давления воздуха. Холодная сырость проникала чуть не до костей. Перед глазами рябила желтоватая мокрая стена.

Сильное сотрясение... И площадка остановилась у верхней галлереи, мы перешли на другую, еще более неудобную и узкую площадку и понеслись еще глубже... Через несколько минут мы были на глубине пятисот метров под землею. Пожимаясь от неприятной сырости, сошли мы на мокрую землю...

Нас встретил надсмотрщик и зажег наши предохранительные лампы. Непривычный глаз с трудом различал довольно высокую темную галлерею, казавшуюся глубокой пещерой. Слышно было, как повсюду журчала пробивавшаяся вода; вдали что-то глухо, неопределенно грохотало. Надсмотрщик пошел впереди, за ним инежнер, затем двинулись уже и мы. Видны были лишь тусклые огоньки ламп...

Сначала было итти довольно удобно; но вот мы повернули в сторону, вошли в какую-то дверь, которая с шумом захлопнулась за нами.

и очутились в низкой, узкой галлерее с склизким полом. Здесь приходилось итти, сильно согнувшись, чтобы не разбить голову о треснувшие и свесившиеся балки boisage'а, и каждую минуту сторониться, чтобы не быть раздавленными тачками с углем.

На одном повороте инженер остановился и попросил нас подождать, пока он произведет маленькое следствие. Из его разговора с надсмотрщиком мы поняли, что на этом месте вчера расшиб себе голову о верхнюю балку один из рабочих, ехавший на тачке, что по правилам строго запрещено. Инженеру нужно было констатировать тот факт, что рабочий, действительно, ехал на тачке, — значит, расшибся по своей вине, а следовательно, ни он сам, ни его семья не имеют права требовать от компании пенсии. Начался допрос. Надсмотрщик выкликал по фамилиям рабочих-свидетелей. В полуосвещенном несколькими лампами пространстве одна за другой появлялись почти нагие, черные фигуры углекопов.

Все утверждали, что увидели разбившегося рабочего уже тогда, когда он был отнесен на тачке в сторону, и потому не в состоянии сказать, расшибся ли он, находясь на тачке или нет.

Наконец, появился тот рабочий, который первый нашел несчастного и по его положению мог легко судить, шел ли тот рядом с тачкой или ехал на ней. Но рабочий не хотел выдавать товарища и отказывался давать какие бы то ни было показания.

Этот маленький, худощавый, голый человек нехотя, как бы лениво вошел в освещенное пространство и злобно сверкнул своими белками, выдававшимися на черном фоне лица.

— Скажите, что вы видели? — спросил инженер.

Молчание.

— Какого вы мнения об этом происшествии?

Молчание.

— Ну, что же? Есть у вас собственное мнение на этот счет?

— Разумеется.

— Я не спрашиваю вас, как произошел этот случай, я хочу только знать ваше мнение.

— Я не скажу его, — проговорил глухо рабочий.

— Ну, в таком случае я прогоняю вас; вот и все!

Рабочий потупился, видимо, в колебании. Наступило гробовое молчание. Где-то невдалеке журчала пробившаяся струйка воды, кузнечик, этот добровольный товарищ углекопа, чирикал свою однообразную песенку; издали несся глухой, неопределенный подземный грохот отдаленных работ... Мы сидели на тачке, тесно прижавшись, не смотря друг на друга, но хорошо понимая, что творится в душе у каждого.

Тускло горели длинные лампы в наших руках. Легкий шорох высыпавшейся из boisage'а угольной пыли заставлял нас нервно вздрагивать. Так продолжалось несколько минут.

Наконец, инженер прервал молчание, вызвав громким голосом нового свидетеля. Этот единственный свидетель из рабочих, поклонившийся инженеру, заявил, что вчера запиравшийся рабочий теперь категорически заявлял, что разбившийся, без всякого сомнения, ехал на тачке.

— Вы сказали это? — обратился инженер к запиравшемуся.

Бедняга отвернулся, промолчал еще минуту и затем вдруг закричал нервным голосом:

— Да, да, я сказал.

Добившись «нужного» показания, инженер поднялся с места. Мы двинулись за ним. До сих пор мы шли по старым, уже истощенным галлереям, теперь вошли в новые, где производилась ломка угля. Здесь было еще ниже и уже, температура сильно повысилась. Инженер говорил, что было «около» 30 градусов по Цельсию, но мне кажется, значительно больше.

Здесь впервые мы увидели работающих углекопов: почти нагие, черные, как негры, одни из них, стоя на коленях, отбивали кирками уголь, другие тотчас клали его в тачки; некоторые, поджав ноги, сидели на земле и ели хлеб. Со злобой вскидывали они свои белые глаза на инженера и на нас; изредка перекидывались односложными словами, в голосе слышалось утомление, расслабленность.

Инженер, до допроса надутый и молчаливый, сделался теперь значительно любезнее и начал давать кое-какие разъяснения.

Он показал нам, между прочим, подземную конюшню, где в каком-то оцепенении стояло несколько лошадей. Одна из них, венгерка, по словам инженера, живет под землею уже двадцать лет и до сих пор работает.

Мы выразили свое удивление, как может животное так долго жить в таких неблагоприятных условиях.

— Чем же здесь неблагоприятные условия? — спросил не без наивности инженер.

— Да хотя бы полный мрак, — ответил один из нас.

— О, это, напротив, очень полезно, например, для глаз. Яркий солнечный свет чрезвычайно вреден. Недаром же в Сахаре развиваются разные глазные болезни. Вообще в обществе существует чрезвычайно преувеличенное понятие о вредности работы углекопов. Сравните ее с работой при ртутном и многих металлургических производствах, наконец с работой наборщиков в типографиях, — и вы увидите, что все эти отрасли несравненно вреднее.

— Но нельзя отрицать, — заметил мой приятель, что работа в каменноугольнях представляет непосредственной опасности для жизни больше, чем какая-нибудь другая.

— Пожалуй, — отвечал инженер, — но смерть в копях одна из приятнейших: она наступает неожиданно и покапчивает с человеком моментально. Это и при обвалах, когда рабочий задыхается от массы поднявшейся угольной пыли, и при взрывах «grisou». Большая часть piqueur'ов, погибших при последней катастрофе, не успели даже выпустить из рук кирок, а многие так и застыли, подняв руки кверху, готовясь отбить кусок угля.

— Также и материальное положение углекопов очень плохо, — не унимался мой приятель.

— Ну, этого не говорите, — отвечал инженер. — Знаете, что углекоп несравненно больший процент своего заработка тратит на удовольствия, чем, например, я? А как хорошо обеспечивается его семья в случае его гибели?! Женщинам, овдовевшим вследствие последнего несчастья, компания положила по тысяче двести франков ежегодной пенсии, и, кроме того, по шестьсот франков на каждого ребенка. А сколько еще пожертвований! Уже в настоящее время собрано более шестисот тысяч франков. Ведь это по две тысячи франков на семью. Эти вдовы заведут маленькие лавочки и будут эксплоатировать своих соседей. Шестьсот тысяч франков! — повторил он с каким-то сожалением. — Сколько бы хорошего можно было сделать на эти деньги! Нет, решительно, это сочувствие к якобы несчастным углекопам не имеет надлежащего основания. Все это влияние Золя.

— А, вы читали «Жерминаль»! Ну, как вам понравилось?

— Мне не может нравиться Золя. Между ним и содержателем публичного дома я не вижу разницы: оба спекулируют на разврате.

Мы не могли больше ни слушать, ни отвечать, так как галлереи сделались до того узкими, что приходилось почти ползти. Жара и духота были нестерпимы. Я постоянно спотыкался, пот катился градом, дыхание спиралось, в глазах зеленело... Несколько мгновений мне казалось, что я не выдержу и свалюсь без чувств. К счастью, инженер вскоре окончил обход и повернул в боковую дверь, откуда на нас хлынуло свежим воздухом. Мы обошли шахту кругом и теперь приближались к выходу с другой стороны по другим старым галлереям. Здесь ежеминутно были слышны протяжные предостерегающие крики, а лишь успевали мы отскочить в сторону, мимо нас с страшным грохотом, сотрясая все вокруг, проносились ряды пустых тачек, спускаемые по наклонной плоскости к выходу.

С облегченным сердцем вздохнули мы, когда снова поднялись на белый свет, который в первую минуту нас совершенно ослепил.

Как тяжело было нам пробыть под землею каких-нибудь пять-шесть часов, а сотни тысяч людей проводят там в тяжелой работе целую жизнь!

По выходе из колодца нам пришлось увидеть эпилог того «суда в подземельи», на котором мы только что присутствовали.

Инженера, шедшего с нами в контору, отозвал в сторону какой-то бледный молодой человек и о чем-то начал усиленно просить. Инженер сначала отказывался, но потом, повидимому, согласился.

— Узнали вы этого рабочего? — спросил он, подходя к нам с довольным лицом. — Это то самый, который отказывался от дачи показаний. Он просил меня не прогонять его сейчас и сознался, что его подучили запираться социалисты.

Теперь инженер вполне примирился с нами и, вытирая в конторе свое белое мягкое тело полотенцем с одеколоном, любезно расспрашивал нас о нашем путешествии. Он сам хотел бы попутешествовать, но его почему-то тянет в Америку и Сахару.

Мы вспомнили о «глазных болезнях в Сахаре» и заключили, что, вероятно, господин инженер недавно прочел интересную книгу об этой пустыне. Конец беседы был несколько испорчен неловким вопросом, который один из нас задал о причине катастрофы.

Инженер ответил сухим официальным тоном, что причина не выяснена.

Из Сент-Этьенна мы направились в старинный городок Виенну, лежащий на линии вечной зелени.

В Виенне нас заинтересовали различные постройки, сохранившиеся еще от времен Римской империи: остатки форума и цирка, храм Августа и Ливии и др.

Но у меня сохранилось воспоминание лишь о чудной южной ночи, которая встретила нас, когда мы приближались к городу.

Тысячи ночных огней блеснули в стороне, внизу, под нашими ногами. Они казались светящимися насекомыми, застывшими в неподвижном воздухе. Не хотелось двигаться. Мы с наслаждением вдыхали влажный ночной воздух, пропитанный ароматом абрикосов. Чуткое ухо различало среди тишины раздельные звуки.

Что-то нежное и тихо звенит, как серебряная струна... Раздалась чья-то могучая красивая песня и сразу оборвалась... Тяжело проскрипели колеса проезжающего воза; звонко стегнул погонщик бичом, и удар пронесся в горах троекратным эхом; жалобно свистнул

локомотив, и снова все стихло, только серебряная струна продолжает звенеть тихо и нежно.

В Виенне местный доктор, любезно показывавший нам достопримечательности города, посоветовал пройти в Швейцарию, куда мы держали путь, через Савойю и остановиться в старинном картезианском монастыре Шартрезе. По его словам, он объездил весь мир, но нигде не встречал ничего, что могло бы по красоте сравниться с горною дорогой от Варрона до Шартреза.

Мы послушались его, и не раскаялись. Дорога действительно необычайно красива. Помню, мы проходили по узкому ущелью, между высокими мрачными скалами, грозно нависшими над нашими головами. Было жутко.

Но несколько шагов... и скалы расступились. Перед глазами широкая цветущая долина. Серебряной змейкой вьется речка, в темнозеленых рощах краснеют игрушечные домики, пестреют игрушечные стада, а вдали, в синеватой дымке, высятся снежные вершины Альп.

Порыв восторга потряс все мое существо, я бросился на землю и поцеловал ее. Это было глупо, это было смешно, но это было искренне.

Впоследствии я видел много прекрасных и величественных картин природы. Я был в Крыму и на Кавказе, я подымался на ледник Казбека, но порыв восторга перед красотой природы никогда не повторялся. Видно, такой порыв переживается только раз в жизни, как раз в жизни переживается порыв первой любви.

В Шартрезе, основанном Бруно в одиннадцатом столетии, мы пробыли несколько дней [28]. Мы поднялись на вершину Grand-Som'a, у подножья которого расположен монастырь. Поднимались ночью, чтобы с вершины увидеть восход горного солнца. Вечером я не ложился спать. Сидел у открытого окна своей кельи. Темным великаном, уходящим в звездное небо, высился Гран-Сом. Монастырь спал. Тоскливо плескались фонтаны...

Вдруг звучно ударил монастырский колокол. Ему ответило эхо, и все снова смолкло. Но монахи услышали этот призыв к ночной молитве. По темным окнам монастыря пробежали огоньки.

Я вышел в темный коридор и с трудом пробрался на церковные хоры. В церкви было темно и тихо, только одна большая лампада розовым светом мерцала в воздухе.

Церковь, казалось, была пуста. Но вот откуда-то, точно из-под земли, раздался жалобный, протяжный не то стон, не то вопль... Что-то зашуршало, и во мраке по стенам церкви выросли белые фигуры монахов, освещенные потайными фонарями. Из груди их

вырвалась тоскливая мольба, снова что-то зашуршало и снова все погрузилось во мрак. Так несколько раз. Ни звука органа, ни торжественного мощного хора, а все один и тот же заунывный, сердце щемящий мотив...

Я вышел. Меня уже искал один из «братьев»: пора отправляться в путь. У ворот монастыря нас ожидал проводник и какой-то аббат. Изогнувшись в три погибели, приподняв свою широкую шляпу, аббат просил позволения присоединиться к нам. Мы, конечно, согласились и, вооружившись длинными горными палками, двинулись за проводником. Сначала аббат конфузился и молчал, но веселый овернский характер взял свое, и разговор завязался. Аббат, оказалось, не стоит в стороне от политики и очень интересуется исходом сентябрьских выборов.

— От них зависит наша судьба, — заметил он, — при настоящем режиме мы просто задыхаемся.

— Не думаете ли вы побывать на выставке? — вмешался мой приятель, желая переменить разговор.

— На выставке?! Никогда!

— Но почему же?

Аббат несколько замялся.

— Видите ли, там есть такие картины... Понимаете, нам... служителям бога... Притом надо помнить что̀ празднуется этой выставкой? Празднуется поругание церкви. Наш епископ негласным посланием решительно запретил посещать ее.

Наконец, нам удалось найти подходящую тему. Заговорили о музыке, о пении. Аббат прекрасным баритоном спел какую-то мрачную духовную песню и затем попросил нас спеть какую-нибудь народную песню. Мы затянули было «Вниз по матушке, по Волге», но это вышло так жалобно и жалко, что даже французская любезность аббата не смогла похвалить.

— Спойте-ка лучше вы какую-нибудь овернскую песенку, — стали мы его просить.

Он сначала упорно отказывался, но потом уступил, и ночной воздух огласился веселой, игривой песней. Мы хорошенько не разобрали содержания, но, судя по тому, что слова «la petite cousine» и «les cerises» повторялись очень часто, надо полагать, что оно было так же весело, как и мотив.

Незаметно прошли мы первую, «лесную» половину пути.

Теперь нужно было итти по скалам, и так как было еще темно, то проводник посоветовал нам несколько повременить в лачужке у пастуха. Пастух согрел нам у камелька кофе, и мы, попивая его

с шартрезом, с полчаса отдохнули. Когда мы вышли из лачуги, уже начинало светать. В сером сумраке страшными, фантастичными фигурами рисовались верхушки скал. Собака с заунывным воем залаяла на нас. Козы испуганно шарахнулись в сторону. Мы пробирались по узенькой тропинке, по самому краю пропасти; внизу клубился туман. Я остановился и, опершись на палку, стал смотреть вниз.

— Осторожнее, — крикнул мне проводник. — На этом месте сорвался один неаполитанец. Он стоял, как вы, палка соскользнула и он слетел вниз.

Я быстро сделал шаг назад.

— А скоро ли будут видны Альпы? — спросил я, желая скрыть невольный испуг.

— А вон посмотрите!

Налево от нас выступила белоснежная цепь гор с могучим Монбланом посередине... Мы остановились пораженные. Строго, холодно стояли снежные великаны, стояли, казалось, в нескольких шагах от нас. Длинный ряд ярко белых вершин. Внизу Монблан слегка заалел, вот вся цепь залилась ярким розовым светом, вот из-за спины великана вырвалось солнце и, вырвавшись, быстро завертелось, как бы радуясь своему восходу.

Минута, и оно разбросало вокруг свои блестящие лучи, — легкими слоями помчался прочь туман, и под ногами раскрылась широкая равнина. Вон игрушечные домики монастыря с небольшими темными холмиками по сторонам. Вон голубенькая ленточка Изеры, вон зеленые квадратики лугов и полей, а там, вдали, кучка беленьких домиков Сен-Лорана, а там, совсем далеко туманные очертания высоких зданий Гренобля...

Аббат пришел в восторг.

Его молодое, красивое лицо с блестящими черными глазами сияло. Он махал широполой шляпой, протягивая к солнцу руку, потом бросался к нам, тащил нас, то в ту, то в другую сторону, непрерывно повторяя: «Смотрите, смотрите!»

Мы уже стали с проводником спускаться книзу, гонимые нестерпимым холодом, а он все еще восхищался, размахивая своей шляпой.

На обратном пути проводник нам много рассказывал о жизни монахов. Жизнь их была в то время чрезвычайно суровая. В сутки бывало до четырнадцати служб, на сон оставалось не более пяти часов. Прогулка совершалась всего раз в неделю. Раз в год монахи отправлялись в горы на целый день для сбора трав, хотя, разумеется, это была только церемония, так как громадное количество трав, необходимое

для знаменитых шартрезских ликеров доставлялось монахам крестьянами.

Из Шартреза мы через Гренобль и Aix-les-bains прошли до Женевского озера. Мы не чувствовали ни малейшего утомления, так как разнообразные картины то величественно грозной, то нежно ласкающей природы вливали в нас все новые силы, все новую бодрость.

У Женевского озера я распрощался с товарищами. Они пошли дальше в Италию, а я поселился на французском берегу Женевского озера, в небольшом городе Сен-Женгольфе.

Помню, мне удалось устроиться чрезвычайно дешево в каком-то только что открытом отеле. За уютную комнату с окном, выходившим на Женевское озеро, равномерный плеск волн которого убаюкивал меня по вечерам, и за полный пансион (завтрак, обед, ужин) я платил в день три франка, т. е. по тогдашнему курсу около рубля. Вспоминаешь и сам себе не веришь. У нас теперь в иных гостиницах берут за самовар, т. е. просто за горячую воду, по шестьдесят копеек. А комнату, даже в провинциальном отеле, трудно найти дешевле трех рублей в сутки.

В Сен-Женгольфе я прожил около шести недель. Это были, кажется, самые спокойные недели в моей жизни. Точно распределенного времени хватало и на изучение французского языка по научным книгам и в беседах с одной швейцарской художницей, приехавшей в Сен-Женгольф с целым выводком своих детей, и на прогулки в горах, и на купанье, и на переписку с друзьями.

В сентябре я вернулся в Париж по железной дороге и был зачислен студентом Ecole de médécine, соответствующей нашим медицинским факультетам.

В этой школе я пробыл только один зимний семестр. Летом я был уже студентом Бернского университета.

С Парижем я расставался не без грусти. Я успел полюбить этот своеобразный город, в котором каждая площадь, каждая улица, почти каждое здание говорят о великих исторических днях; этот город, в архитектуре которого сплелось несколько эпох; этот город, живописные кладбища которого воскрешают память о борцах и гениях, о великих обще-человеках, родных каждому думающему и чувствующему человеку, какой бы нации он ни был.

Я успел полюбить этот многолюдный город, где можно раствориться в шумных потоках бульварной толпы и где можно спокойно предаваться своим мыслям, уходя в отдаленные аллеи парков и садов.

В Берне я попал в русское окружение. Медицинский факультет Бернского университета был в то время переполнен русскими студентами, вернее студентками, так как женщин было несравненно больше, чем мужчин.

Сюда устремлялись со всех концов России женщины, стремившиеся к знанию и независимости. Больше всего было евреек, но были и чистокровные русские. Были совсем юные, только что сошедшие с гимназической скамьи, но были и пожилые, с большим и тяжелым стажем семейных бед и тюремной неволи.

С этими женщинами мне приходилось каждый день встречаться, вместе учиться, вместе преодолевать первые трудности усвоения незнакомых наук, вместе горевать, радоваться, надеяться, и наблюдения над ними скоплялись в моей душе сами собою, помимо моей воли.

В результате я написал характеристики различных типов студенток. Здесь были девушки-цветки, девушки-нигилята, старые нигилистки, кумушки-сплетницы, тут были и тупые труженицы, и способные подвижницы науки.

Эти характеристики я подписал буквой С., имея в виду первую букву слова «студент», и послал в редакцию «Недели», которая в то время была органом провинциальной трудовой интеллигенции [29].

Характеристики были напечатаны в октябре 1890 года. Это была моя первая напечатанная работа. Она не прошла незамеченной. Ее цитировали другие газеты, ее перевел на латышский язык и поместил в рижской латышской газете один мой знакомый, латышский журналист.

Но меня этот маленький успех не порадовал. Прочитав свои характеристики в печати, я почувствовал, что обижаю многих из тех, которые относились ко мне с хорошим чувством, относились с полным доверием.

Но, как бы то ни было, начало было положено, появилась и укрепилась потребность не только писать, но и печататься.

Послал в «Русские Ведомости» свои впечатления от путешествия по Франции, и они были напечатаны. Послал еще несколько статей в «Неделю». Все они были напечатаны. Редактор «Недели», старый журналист, Павел Александрович Гайдебуров прислал мне письмо, очень ободряющее, с различными комплиментами, в особенности по адресу моего стиля.

Гонорар высылался аккуратно, — одним словом, я становился писателем.

Литературная деятельность не ослабляла моего желания во что бы то ни стало сделаться врачом.

## V

## В ГОРОДЕ УЧЕНЫХ (1890—1893 гг.)

Иена. — Эрнест Геккель. — Его «монизм». — Ученый герцог. — Бисмарк в оппозиции. — Бисмарк среди профессоров и студентов. — Испытания анатомического театра. — Литературная работа. — На электрической выставке.

Из Берна, где постоянное общение с русскими мешало мне должным образом усвоить немецкий язык, я перебрался в маленький немецкий городок Иену с его знаменитым университетом.

Удивительный это городишко! Нет равного ему в свете! Всего 14.000 жителей, а между тем он неразрывно связан с историей человечества, с религией, наукой и поэзией.

Лютер, Меланхтон, Лейбниц, Фихте, Гете, Шиллер, Гегель, Шлегель, Окен и т. д. — все они так или иначе связаны с Иеной. А сколько еще культурных работников средней руки! Имя им — легион. Старинные домики Иены положительно увешаны памятными дощечками с именами великих людей, живших в них.

В мое время ученым героем Иены был Эрнест Геккель, этот наиболее смелый и последовательный из друзей и учеников Дарвина, первый, высказавший и обосновавший гипотезу о происхождении человека от обезьяны. Я встретился с ним на другой же день по приезде в Иену. Я входил в зоологический институт, чтоб узнать, когда начинаются там лекции и занятия. Навстречу мне легко и быстро спускался по лестнице высокий, стройный господин, в длинном, черном сюртуке и мягкой, черной шляпе с широкими полями. Я тотчас почувствовал, что это Геккель, и невольно поклонился ему. Он весело взглянул на меня и, приподняв шляпу, тонким, совершенно детским голосом бросил мне приветливое: «Guten Morgen».

Прекрасное лицо! Широкий, благородный лоб, густые, белокурые волосы, откинутые назад, ясные, определенные глаза, прямой породистый нос, широкая, мягкая борода, окаймляющая маленький, добродушный рот; свежий румянец, пробивающийся сквозь нежную кожу щек. Ему было тогда уже 60 лет, но он неустанно работал с утра до вечера.

Первая лекция, прочитанная Геккелем крайне просто, произвела на меня сильное впечатление. Мне казалось, что он относился к науке с какой-то родственной любовью: в его голосе, когда он говорил об успехах науки за последние годы, как-будто слышалась гордость

отца, любующегося своим сыном-молодцом, оправдавшим возлагавшиеся на него надежды. Разумеется, я стал знакомиться с сочинениями Геккеля, и мне вскоре стало ясно значение его в науке.

Эрнест Геккель более чем кто-либо другой поработал над укреплением эволюционного учения.

Теорию эволюции Геккель связал с своим философским мировоззрением. Он был прежде всего философ, но философ, отрицающий метафизику и мистику. Философией он называл научную работу над разрешением основных вопросов о мире и отношении к нему человека.

Свое философское мировоззрение Геккель называл монизмом (учением об единстве). Его монизм очень близок к пантеизму, всебожию Спинозы и Гете.

«Единый дух, говорил Геккель, живет во всех вещах, и весь познаваемый мир существует и развивается по одному общему основному закону».

По его убеждению, нельзя провести резкой границы между неорганической и органической природой, нельзя признать и абсолютного различия между царством животным и царством растительным, между миром зверей и миром людей. Нет двух наук: науки о природе и науки о духе: обе — одно.

Три области охватывают его монизм: исследование природы, как познание истинного, этику, как воспитание к доброму, эстетику, как заботу о прекрасном.

Геккель был не только ученым исследователем, он был и неутомимым борцом за научные истины. Именно он пробил путь дарвинизму в немецкую науку, несмотря на упорное сопротивление таких крупных ученых, как Дюбуа-де-Реймон и Вирхов.

Любимым поэтом Геккеля был Гете: все, даже самые специальные сочинения Геккеля снабжены эпиграфами, взятыми из сочинений этого великого поэта и мыслителя Германии. Преклонение перед Гете снискало Геккелю расположение великого герцога веймарского, в семье которого неизменно поддерживается гетевский культ. Великий герцог не только приютил в своем иенском университете отчаянного дарвиниста, на которого сыпались со всех сторон тяжелые обвинения и в атеизме, и в шарлатанстве — он даже постоянно оказывал ему особенное покровительство и давал деньги на ученые экспедиции.

Геккель брал от герцога деньги на научные экспедиции, но он отказался принять от него чины (надворного советника, тайного советника и т. д.), которыми так гордятся выдающиеся немецкие ученые. Отказываясь, он скромно сказал:

— Достаточно того, что я Геккель.

Смущало почтенного монарха учение Геккеля о происхождении человека от обезьяны.

— Во всем я с вами согласен, профессор, — сказал как-то герцог ученому на придворном обеде, — но не могу переварить вашего утверждения, что мы произошли от обезьян.

— Не знаю, ваше высочество, произошли ли вы от обезьяны, — ответил, улыбаясь, Геккель, — но про себя я не сомневаюсь: посмотрите на мои заостренные уши, они прямое тому доказательство.

Как ни много Геккель работал для науки, про него все же нельзя сказать, чтобы он жил только ею. У него были и радости и горести личной жизни.

Совсем молодым он очень счастливо женился: жена его Агнеса была самым близким другом, разделяла его увлечения, помогала ему в его научных работах. Но Агнеса жила недолго. Она умерла, едва достигнув 30-летнего возраста.

Геккель был в отчаянии, он заперся в своей комнате и буквально бился головою о стену. Друзья с трудом удержали его от самоубийства. Но раз он остался жить, он хотел жить полной и радостной жизнью. На время он оставил свои занятия и, передав чтение лекций своему другу, знаменитому анатому Гегенбауеру, отправился в дальнее путешествие.

На обратном пути он познакомился с девушкой, которая напомнила ему его покойную Агнесу. Она сделалась его женой и другом.

У Геккеля я проработал больше года. О Геккеле я вспоминаю с чувством благодарности, так как он оформил мое миросозерцание, но все же и в Геккеле были странности и несообразности, которые отталкивали меня, с которыми я не мог и не могу примириться.

Несообразным казалось мне увлечение Геккеля «железным канцлером» Бисмарком.

В июле 1892 года ссора между императором Вильгельмом и князем Бисмарком достигла своего высшего напряжения [30]. Император запретил германскому посланнику в Вене принимать какое бы то ни было участие в празднествах по поводу свадьбы старшего сына Бисмарка, Герберта, и в телеграмме нового канцлера Каприви, сообщавшей о воле императора, было указано, что последний делает существенное различие между Бисмарком прежде и Бисмарком теперь. Телеграмма появилась в газетах и вызвала в обществе скрытое негодование против монарха и открытое сочувствие бывшему канцлеру. Особенно сильное брожение поднялось среди профессоров иенского университета, при чем Эрнест Геккель проявил себя самым горячим поклонником «человека железа и крови». Он, всегда говоривший, что для него

политика в вопросах, не касающихся свободы мысли,—tabula rasa, стал теперь во главе политической демонстрации в пользу Бисмарка. Из Иены была послана в Киссинген, где находился в то время Бисмарк, депутация от города и университета; во главе ее стоял Геккель.

Он обратился к Бисмарку с речью, в которой до небес превозносил заслуги «творца единой Германии» и, между прочим, заметил как бы в ответ на слова императора, что для него «нет различия между Бисмарком прежде и Бисмарком теперь». В конце концов он просил бывшего канцлера вместе с его супругою и новобрачными посетить Иену, где сумеют сделать достойный прием. Долго ломался Бисмарк, но в конце концов в Иену прилетела радостная телеграмма, что князь и вся его семья осчастливят город науки своим посещением.

Иена убралась флагами и цветами. От дома к дому через узенькие улицы перекинуты гирлянды из зелени и разноцветных фонарей, кое-где на балконах и в окнах бюсты и портреты Бисмарка, и повсюду назойливо режет глаза его пресловутая пустозвонная фраза: «Мы, немцы, боимся только бога, и больше никого на свете».

Наконец торжественный день наступил. Чего тут только не было! Процессия из детей и молодых девушек в белых платьях с венками на головах, факельцуги в несколько верст с участием всех студентов и учеников средних и низших учебных заведений, серенады, банкет с участием всех профессоров и наконец коммерс *) на открытом воздухе, в котором участвовало более десяти тысяч человек. Именитых гостей несколько раз возили по городу среди ликующего народа, при чем некоторые из известных профессоров красовались в цилиндрах на козлах коляски новобрачных. Говорили, кричали «hoch!» и «ура!», а главное — бесконечно пили. Бисмарк был тронут и позволял собою любоваться вдоволь. Он выходил на балкон вместе со своею любимою собакою и говорил собравшемуся народу речи; на коммерсе он чокался с кем попало, и многие маленькие граждане были осчастливлены его рукопожатием.

По правде сказать, из любопытства и я участвовал в коммерсе и даже удостоился рукопожатия «железного канцлера». Должен признаться еще в большем. И я любовался бывшим канцлером, когда он говорил речь народу с балкона гостиницы «У Черного Медведя».

Фигура поистине фундаментальная, как будто только что сошедшая со своего пьедестала. Громадный, но не долговязый. Большая голова крепко посажена на широкие плечи. Совершенно обнаженный череп. Над суровыми глазами большие дуги, покрытые густыми седыми

*) Торжественное собрание с тостами, речами и, главным образом, с пивом.

бровями. Под коротким носом резко очерченный жесткий рот и выдающийся энергичный подбородок.

Говорил Бисмарк просто, но внушительно; по временам останавливался, вынимал из заднего кармана платок и обтирал им свою лысую голову. В это время он как будто подбирал наиболее подходящие слова для той или другой мысли, и они потом летели в толпу, как снаряды, крепкие и отточенные.

Одет был Бисмарк в черный сюртук без всяких регалий, с красной гвоздикой в петлице. И жалко было смотреть на почтительно склонявшегося перед ним Геккеля во фраке, с какой-то лентой через плечо.

На банкете Геккель провозгласил Бисмарка первым из немцев. Мало того, он произвел его в сверх-человека.

Научное видовое название человека homo sapiens (человек мудрый), а Бисмарк, по словам Геккеля, должен называться homo sapientissimus (человек мудрейший).

В Иене я пробыл с 1890-го по 1893 год. За эти годы я интенсивно учился, интенсивно жил и интенсивно выявлял свою личность.

Изучение естественных наук и медицины было главным. В этом изучении я вырабатывался, я изменялся. Занятия медициной давались мне не легко. Потребовать большое усилие воли, чтобы заставить себя ежедневно по нескольку часов препарировать разлагающееся человеческое тело.

Впрочем, самыми тяжелыми часами в анатомическом театре были те часы, когда я должен был препарировать шейные мускулы совершенно свежего трупа старушки, ужасно напоминавшей мне мою няню Марьюшку.

Я перерезал вену, переполненную кровью, и мне приходилось ежеминутно собирать ее губкой, и все же кровь залила голову старушки, в рот которой был всунут крюк с привешенной к нему гирей, чтобы натянуть шейные мускулы. Нервничая, я весь измазался в крови. Кровь была даже на лице, за которое я хватался окровавленною рукою. В это время ко мне подошел профессор Фюрбрингер и бросил обычную фразу:

— Wie geht's? (ну, как ваши дела?).

— Nicht besonders gut (не особенно хорошо), — сказал я смущенно.

Фюрбрингер посмотрел на перерезанные мускулы старушки и на мое окровавленное лицо и сказал:

— Leider, kann ich nicht sagen — nicht besonders schlecht, sehr schlecht! (К сожалению, я не могу сказать — не особенно худо, — очень худо!)

В конце концов я научился препарировать и работал так усердно, что Фюрбрингер включил меня в число своих учеников, изредка приглашаемых на профессорский ужин.

Но естествознание и медицина не поглощали всех моих сил. Я находил время слушать лекции по философии у знаменитого нео-кантианца Липмана, следить за художественной литературой, знакомиться с политической жизнью Германии, в особенности с германским рабочим движением.

Во время каникул я ездил во Франкфурт на всемирную электрическую выставку, в Брюссель на социалистический конгресс, в Россию для лечения холерных больных.

Много писал по самым различным вопросам, и все мои статьи печатались на гостеприимных страницах «Недели» и ее «Книжек» [31].

Следя за литературой, я увлекся творчеством Ибсена и написал о нем критический очерк, который был напечатан в 1891 году в «Книжках Недели». Это была первая статья в русской печати о великом норвежском драматурге. Это была первая статья, которую я подписал своей полной фамилией.

За полной подписью появилась вскоре и моя статья о немецком драматурге и беллетристе Зудермане, тоже, если я не ошибаюсь, первая в русской печати.

В самой «Неделе» я продолжал писать, подписываясь инициалами В. П.

Воспользовавшись всемирной электрической выставкой во Франкфурте, я написал целый ряд очерков под общим названием: «Электротехнические письма». Описывая первый опыт передачи на расстояние механической силы падающей воды, силы, превращенной в электрическую энергию, я утверждал, что этим начинается новая электрическая эра, я предугадывал, что электричество скоро станет могучим социальным фактором и поможет превратить мир невежества и рабства в мир знания и свободы.

## VI

## НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ В БРЮССЕЛЕ (1891 г.)

Изгнание анархистов. — Мерлино. — Вопрос о войне. — Словесный поединок между Вильгельмом Либкнехтом и Домела Ньювенгуисом. — Бебель и Байер. — Бельгийские кооперативы. — Две идеи.

Поездка в Брюссель на конгресс дала мне возможность написать, кроме статьи о самом конгрессе, большую статью о «Вожаках и силах социалистов».

Брюссельские впечатления сыграли большую роль в росте моего сознания, в росте моей личности.

Брюссельский конгресс 1891 года был вторым конгрессом II Интернационала, тогда еще молодого и много обещающего. На конгрессе были представлены все страны Европы, за исключением России. Русской делегации не было. Приехало, правда, из Парижа два-три эмигранта, в том числе Рубанович, игравший впоследствии видную роль в партии социалистов-революционеров, но у них не было никаких полномочий, у них не было даже совещательного голоса.

Не было никого, кроме меня, и от русской печати. Вероятно, поэтому бельгийские социалисты встретили меня особенно радушно и дали мне возможность всесторонне изучить организацию рабочей партии, опиравшейся на рабочее кооперативное движение.

Аккуратно посещая заседания конгресса, я увидел и услышал наиболее видных представителей тогдашнего социализма. Я присутствовал при нескольких поистине драматических сценах, разыгравшихся на этом во всех отношениях поучительном конгрессе.

Кроме социалистов всех оттенков, признававших необходимость участия в работе буржуазных парламентов, на конгресс явилась группа анархистов в 12 человек с известным итальянским анархистом Мерлино во главе.

Эта группа отрицала парламентскую деятельность и все надежды возлагала на так называемые прямые действия и прежде всего на революционные всеобщие стачки.

Мандатная комиссия не признала полномочия анархистов, не признал их и пленум конгресса.

Анархисты не хотели подчиняться этому решению и настаивали на том, чтобы им было предоставлено право высказаться по каждому из вопросов, поставленных в порядок дня конгресса, в особенности по вопросу о войне.

Их требование было отвергнуто огромным большинством, и председательствующий на этом заседании бельгийской социалист Фольдерс потребовал, чтобы они покинули зал [32].

Мерлино, — небольшого роста, нервный брюнет с горящими черными глазами, — вскочил с своего места и крикнул, что анархисты настаивают на своем праве, завоеванном их революционной борьбой, не знавшей никаких компромиссов, и что добровольно они не уйдут.

Тогда произошла безобразная сцена: по приказу президиума рабочие-распорядители с красными бантиками на пиджаках при содействии добровольцев депутатов стали выталкивать анархистов из зала. Анархисты были выброшены на улицу, и Мерлино был немедленно арестован

бельгийскими полицейскими, как анархист, когда-то высланный из Бельгии.

Этот арест сконфузил многих членов конгресса, и Вольдерс счел себя вынужденным немедленно отправиться к министру внутренних дел хлопотать о Мерлино.

Возвратившись, он успокоил конгресс сообщением, что Мерлино, по его собственному желанию, высылается в Англию.

На другой день конгрессом была получена из Англии от Мерлино телеграмма, в которой он иронически благодарил депутатов за хлопоты перед министром внутренних дел и желал им как можно скорее самим добиться министерских портфелей.

Мерлино и его товарищи были удалены. Но осталась голландская делегация во главе с Домела-Ньювенгуисом, социализм которого уже и тогда был в значительной степени окрашен в анархический цвет [33].

Анархизм Домела сказался в его отношении к вопросу о борьбе с войной. По этому вопросу он столкнулся с Вильгельмом Либкнехтом, защищавшим резолюцию о войне, выработанную немецкими делегатами совместно с большинством французской делегации и принятую большинством комиссии.

Вильгельм Либкнехт вышел на трибуну под гром рукоплесканий. Сухой старик с длинным, худым лицом, красиво окаймленным седыми волнистыми волосами. Из-под высокого, хорошо вылепленного лба смотрят глаза, умные и еще совсем молодые.

Говорил Либкнехт мягким, низким голосом, просто, без всякой аффектации, несколько наставительно и как бы подталкивая фразы мерным движением правой руки.

— Рабочие-братья, — говорил он, — для социалистов не существует национальностей. Ошиблись те, которые думали, что французские рабочие, преисполненные желанием реванша, выступят против немцев. Ни о реванше, ни об Эльзасе и Лотарингии не поднималось даже вопроса в комиссии; этих вопросов не существует для социалистов. Враг немецкого рабочего — не француз, а немецкий буржуа; французский же пролетарий — его союзник. Близится война, перед которой война 1870 года была детской игрой. Задача пролетариата посредством неутомимой пропаганды помешать этой страшной катастрофе, но помешать ей можно лишь обеспечив победу социализма, потому что одна только социалистическая организация представляет гарантию против бедствий милитаризма.

От французов выступил Вальян. Речь его была чрезвычайно сходна, как он сам о том заявил, с речью Либкнехта; он только прибавил, что нельзя предписывать рабочим в каждой отдельной стране,

что им следует предпринимать, и потому следует предложить общую резолюцию, осуждая милитаризм и представляя каждому выбор средств для борьбы с ним.

Резолюция была составлена в самых общих выражениях. Она рассматривает милитаризм единственно как неизбежное следствие непрерывной войны, открытой и скрытой, навязанной обществу существующим режимом и следствием этого режима — борьбою классов. Она указывает, что никакие попытки (как бы они сами по себе ни были благородны) установить между народами постоянный мир ни к чему не приведут, если они не коснутся экономических источников зла; только социалистический строй положит конец милитаризму и утвердит окончательный мир. Называя партию международного социализма единственною партией мира, резолюция обращается с воззванием к рабочим всего мира, рекомендуя им бороться энергично и непрерывно против всех проявлений милитаризма и союзов, которые ему благоприятствуют, и добиваться торжества социализма, развивая международную социалистическую организацию. «Во всяком случае, — заканчивает резолюция, — конгресс перед историей и человечеством слагает на правящие классы ответственность за то, что может произойти» [34].

Речи и резолюции были встречены сочувственно. Докладчики и президент (на этот раз румын Милль) просят принять резолюцию par acclamation (единодушно без голосования). Прения спешат закончить, и вопрос о их закрытии ставится на голосование. Но против этого раздаются протесты. Председатель не обращает на них внимание, тем более, что со всех сторон слышится: «Cloture, cloture!» («Закрыть! Закрыть!»); но усиливаются и протесты. Несколько делегатов встают со своих мест и в возбуждении что-то говорят на разных языках. На трибуну подымается голландский делегат Домела Ньювенгуис, держа в поднятой кверху руке контр-резолюцию голландской делегации. Он требует, чтобы резолюция была прочтена прежде постановки вопроса о закрытии прений. Председатель не соглашается.

Протесты усиливаются: раздаются крики о партийности, о насилии большинства и пр.

Вандервельде дает председателю совет прочитать резолюцию. Тот наконец нехотя соглашается, но читает небрежно, как бы показывая, что такой вздор и читать не стоит.

Резолюция кратка; суть ее — в последнем предложении: Международный брюссельский рабочий социалистический конгресс объявляет, что социалисты всех стран ответят на объявление войны воззванием к народу, провозглашая всеобщую стачку. Минута молчания и взрыв

рукоплесканий. Закрытие прений отвергнуто. Первое слово принадлежит Домела. Все смолкает.

Домела когда-то был протестантским пастором. Церковную кафедру он сменил на трибуну рабочего агитатора, но в наружности его сохранилось нечто апостольское: благообразное лицо с правильными чертами лица, окладистая борода и длинные посеребренные волосы, отброшенные назад с высокого лба, из-под которого спокойно смотрели зоркие глаза.

Говорил Домела не на родном языке, а по-французски, и потому речь его лилась не слишком гладко, но в ней чувствовалась убежденность и большая искренность.

Речь Домела часто прерывается аплодисментами; многие в волнении встают с мест. Какой-то итальянец с бледным лицом и с черными, как уголь, глазами дрожит, как в лихорадке, нервно постукивая ногой.

— Есть легкий способ, — говорит Домела, — добиться единогласного решения в каком-нибудь собрании: для этого стоит только представить предложение, составленное в столь общих фразах, что они не обозначают ничего; стоит написать фразы и не вложить в них содержания. Так именно в этот раз поступила комиссия. Сам папа подписался бы под ее предложением, если бы в нем слово социализм заменить словом христианство. Заключительная фраза говорит, что рабочий класс перед историей человечества складывает ответственность за войну на правящие классы. Те в свою очередь складывают ее на нас.

Не выходит ли это похоже на двух поссорившихся мальчишек, которые обвиняют друг друга?

Не будем давать повода смеяться на наш счет. Выясним себе действительность, какова бы она ни была. Я всегда говорю правду в глаза, скажу ее и сегодня. Не все социалисты, не все здесь сидящие, в особенности не все немецкие социал-демократы чужды шовинизма, не все они полны чувств международной солидарности; это видно хотя бы из известной речи Фольмара [35].

Мне это тяжело сказать, потому что немецких социал-демократов я и уважаю, и люблю, но я должен это сказать, потому что этот шовинизм — великая опасность для партии. Мало говорить о чувстве международной солидарности — надо доказать его; мало ненавидеть войну — надо воспротивиться ей.

Мы объявили борьбу классов; скажем же теперь откровенно, что войне между нациями мы предпочитаем войну гражданскую, войну между пролетариатом и буржуазией. Народы не хотят войны и,

объявляя ее правительства совершают революционный акт, и мы тогда имеем право, — скажу больше, тогда наша обязанность ответить им революцией.

Задача конгресса помочь пролетариату осознать свою силу, силу забастовочной солидарности, которая легко может предотвратить или остановить войну. Если, например, железнодорожники объявят забастовку и приостановят железнодорожное сообщение в странах, правительства которых решились на войну, то никакие военные действия начаться не могут.

Огромное значение может иметь и отказ запасных явиться под знамена при объявленной мобилизации.

Домела вспомнил при этом какую-то голландскую секту, которую сам «маленький капрал» Наполеон I не мог заставить взять в руки оружие и воевать. Неужели революционный пролетариат слабее этих сектантов?

Речь Домела имела огромный успех. Он сошел с трибуны под гром долго не смолкавших аплодисментов.

Я думал, что немецкая резолюция провалилась и огромным большинством будет принята резолюция голландская, но я ошибся.

Был объявлен перерыв. После перерыва на трибуне снова появился Либкнехт.

Сначала Либкнехту не хотели давать говорить, потому что после речи Домела было постановлено прекратить прения. Но Либкнехт не сходил с трибуны. От волнения лицо его залилось краской, глаза заблестели, вытянутая вперед рука слегка дрожала.

Выждав, когда сторонники Домела несколько успокоились, он властно заявил:

— Нет такой силы, которая заставила бы меня молчать, когда затронута честь немецкой социал-демократии. Я буду говорить и докажу, что Домела лжет.

Эту фразу он сначала сказал по-немецки, а потом повторил по-французски с сильным немецким акцентом.

Зала стихла.

Овладев собою, резко, но спокойно начал Либкнехт свою атаку на Домела:

— Я рад, что Домела любит говорить правду. Он, значит, не посетует не меня за ту правду, которую я ему скажу сейчас. Эта правда в том, что все, что он сказал, — неправда. Он сказал, что сам папа подписался бы под резолюцией, если бы в ней слово социализм заменить христианством. Но я в первый раз слышу, чтоб папа и христианское

учение признавали борьбу классов. Домела, как бывшему пастору, следовало бы это знать лучше меня.

Далее он сказал, что наша резолюция — пустые фразы. Но что такое пустая фраза? Пустая фраза — это громкие слова, которые говорящий не может привести в исполнение, и в этом отношении не наша резолюция, а речь и резолюция Домела одна пустая фраза, потому что ни он, ни мы все не в состоянии в случае войны устроить всеобщей стачки. Нет, о революциях не говорят, но их делают; нельзя революции предписать декретами конгрессов. Наконец Домела сказал, что мы, социал-демократы, — шовинисты. Если бы была когда-нибудь не шовинистская социал-демократическая партия, то это немецкие социал-демократы.

Они это доказали своими страданиями, они доказали это, когда противились в 1870 г. продолжению войны с французами. Здесь в зале есть шовинист, и этот шовинист — Домела. (Домела смеется.)

Смейтесь. Только вы перестанете смеяться, когда услышите, что я сейчас скажу. В 1870 г., когда немецкие социал-демократы приносили громадные жертвы за своих братьев, французских рабочих, нашлась одна газета, которая осыпала их оскорблениями.

Эта газета — была газета... Домела-Ньювенгуиса.

Вот шовинизм, и шовинизм притом самый отвратительный! Я предлагаю собранию вотировать единогласно за нашу резолюцию, выражающую наши искренние убеждения: абсурдную и смешную резолюцию Домела предать всеобщему посмеянию.

Речь произвела очень сильное, но не вполне определенное впечатление.

Многие, видимо, не могли хорошенько собраться с мыслями и не знали, на чью сторону стать.

Некоторые, неистово аплодировавшие Домела, сидели теперь понуря голову, пристыженные, как будто наказанные. Несколько человек голландцев и англичан негодовали за личные нападки, допущенные Либкнехтом. Особенно горячился один английский матрос с открытым, но несколько глуповатым лицом. Он что-то кричал, сжимал кулаки, рвался вперед, его не пропускали, председатель звонил, слышались крики: «à la porte», «raus» (вон). Когда шум несколько стих, Домела поднялся в середине зала на стол, около которого он сидел. Его окружила группа голландских делегатов, настоящих пролетариев в бедных заплатанных одеждах с грубыми, изможденными лицами.

Все обернулись в их сторону. Прерывистым, взволнованным голосом Домела начал говорить о том, что недостойно Либкнехта, с которым он много лет был дружен и которого он всегда любил и уважал,

недостойно старого вождя немецкой социал-демократии спускаться до личных нападок, до личных оскорблений.

Он хотел сказать еще что-то, но, видно, нервная спазма сжала его горло, слезы покатились из глаз, он, махнув рукой, сошел со стола, поддерживаемый своими друзьями.

Резолюции голосовались по нациям. Большинство наций голосовало за немецкую резолюцию. Предложение Домела Ньювенгуиса провалилось.

В 1893 году на Цюрихском международном конгрессе Домела снова выступил со своим предложением всеобщей забастовки против войны и встретил на этот раз наиболее ожесточенного противника в лице русского делегата Плеханова [36].

Домела снова потерпел поражение и, вероятно, под влиянием его окончательно перешел в лагерь анархистов.

Интересно, что Домела нашел себе горячего сторонника в лице... Льва Николаевича Толстого.

Л. Н. Толстой, прочитав в «Неделе» мою статью о Брюссельском конгрессе, где я подробно изложил речь Домела, написал ему сочувственное письмо, которое, увы, не дошло по назначению.

Германская делегация была на конгрессе окружена особенным вниманием. Все поздравляли ее с победой над Бисмарком. «Железный канцлер» незадолго перед конгрессом «пал», и вместе с ним пал выработанный им закон против социалистов, которым он десять лет душил немецкую социал-демократию, но задушить не мог [37].

Вожди немецкой социал-демократии, съехавшиеся в Брюссель, выглядели именинниками. Особенно весел и жизнерадостен был самый талантливый и самый популярный из вождей Август Бебель.

Небольшого роста, коренастый, с лицом несколько грубоватым, но открытым и правдивым. Быстрая походка, решительные движения, смелый взгляд умных, проницательных глаз. Речь отчетливая, но чрезвычайно быстрая, можно сказать, пулеметная.

Приезда Бебеля с волнением ждал один старый немецкий эмигрант, живший в Брюсселе под псевдонимом Байера. Из Германии изгнал его закон против социалистов. Был он хороший портной, но зарабатывал мало, так как шил костюмы студентам-социалистам, с которых по-товарищески должен был брать очень мало, да и это малое часто недополучал.

Бебеля он знал с юных лет, считал его не только товарищем, но и другом.

С Байером я встретился и быстро подружился еще за неделю до открытия конгресса.

— Вот подождите, — говорил он мне, — приедет Август, зазову его к себе, познакомлю с вами, будем вместе пиво пить, о старом вспоминать, о новом толковать.

Я видел их первую встречу в зале конгресса. Жизнерадостный Бебель весело разговаривал с какой-то изящной делегаткой, когда к нему быстрыми шагами с распростертыми объятиями приблизилась неуклюжая фигура Байера с широко улыбающейся физиономией, густо обросшей седеющими волосами. Он хотел заключить Бебеля в свои объятия, но Бебель уклонился и даже не сразу узнал его.

Только после того, как Байер назвал себя и что-то еще сказал, Бебель учтиво, но холодно пожал ему руку.

Байер, видимо, был озадачен этою холодностью и, перебросившись несколькими фразами с Бебелем, отошел от него. Пройдя мимо меня и молча поздоровавшись, он ушел из народного дома, где происходили заседания конгресса.

Вечером я зашел к нему на его «чердак». Он сидел у стола, опустив свою лохматую голову на сложенные руки. Перед ним стояла пустая кружка от пива. Он поднял голову, и я понял, что это была далеко не первая кружка.

— Ты видел, — заговорил он, смотря на меня слезящимися глазами, — как отшил меня наш знаменитый вождь? Он теперь величина, победитель Бисмарка, а я лишь старый пьяный портной Байер. Зову к себе — говорит некогда; заседание комиссии. Чорт бы побрал все эти и комиссии, и конгрессы, и всех этих вождей! Придет когда-нибудь настоящая революция, тогда не сдобровать и этим ликующим вождям.

Я старался успокоить и утешить Байера, но мне это не удалось.

— Пойдем выпьем, — предложил он, но я отказался.

Конечно, обиделся Байер на Бебеля совершенно напрасно, но вот на Алльманя, вождя французских социалистов, возглавлявшего фракцию алльманистов, две русские курсистски обиделись совершенно основательно.

Это были две милые девушки, почти девочки, только что сошедшие с гимназической скамьи и пробравшиеся в Брюссель, чтобы поступить там на медицинский факультет.

Они были чрезвычайно обрадованы, что попали в Брюссель как раз к международному конгрессу, где увидят всех вождей.

От кого-то из бельгийских рабочих они узнали, что я русский журналист, и пришли познакомиться со мной, вероятно, в надежде, что я помогу им осмыслить происходящее на конгрессе.

Действительно, во время одного из перерывов они засыпали меня вопросами о личностях делегатов. Когда мимо нас проходила эффектная

фигура Альманя в черном сюртуке и в цилиндре, из-под которого высовывался большой романский нос, лица девушек как-то странно изменились. Они переглянулись, и одна из них неуверенно спросила:

— И это тоже делегат?

— Да, это известный французский социалист, именем которого называется целая фракция. Это — Альмань.

— Не может быть!

Я вопросительно посмотрел на девушек.

— Представьте, — сказала одна из них несколько сконфуженным голосом, — этот господин вчера вечером преследовал нас, когда мы проходили мимо биржи. Говорил нам разные пошлости и, вероятно, гнусности, которых мы хорошенько не поняли. Преследовал нас упорно и настойчиво, пока мы не прошли мимо полицейского и направились было к нему, чтобы просить защиты. Тогда только этот господин в цилиндре отстал от нас.

Впоследствии те же девушки через кого-то познакомились с Вандервельде, тогда еще совсем молодым человеком, только что окончившим университет, но уж пользовавшимся популярностью и продвигавшимся к депутатскому креслу.

О Вандервельде они мне рассказывали, как о человеке чрезвычайно деликатном и отзывчивом, без малейшего налета пошлости.

Вандервельде очень ценил русских учащихся женщин и оказывал им услуги, но на конгрессе он выступил против дарования женщинам избирательных прав, обосновывая это тем, что в Бельгии большинство женщин находится под влиянием католического духовенства, и дарование им избирательных прав усилит консервативно-клерикальную партию и разобьет надежды социалистов на завоевание парламентского большинства.

Заявление Вандервельде вызвало взрывы негодования со стороны если не всего конгресса, то значительной части его. Казалось возмутительным и нелепым говорить о недопущении к выборам женщин, говорить это на конгрессе, где присутствовала в качестве делегатки младшая и любимая дочь Карла Маркса, Элеонора.

Зная в совершенстве большинство европейских языков, Элеонора выступала переводчицей речей ораторов с одного языка на другой и делала это с поразительным искусством.

Как теперь вижу ее высокую, прекрасно сложенную фигуру, ее простое и приветливое лицо, над которым высилась шапка черных вьющихся волос, ее глаза, из которых лились потоки ума и любви.

Германские социал-демократы гордились своей победой над Бисмарком, своими успехами на парламентских выборах, бельгийские социалисты — своей кооперацией, к которой многие правоверные марксисты относились тогда пренебрежительно и даже враждебно.

Эта враждебность у многих марксистов, в том числе и у Бебеля, исчезла под влиянием тех кооперативных завоеваний, которые бельгийские товарищи умело показали иностранным делегатам конгресса.

Сам конгресс заседал в Народном доме (Maison de peuple), а народные дома в Бельгии — центры кооперативного движения и, конечно, всем делегатам была предоставлена полная возможность познакомиться с постановкой кооперативного дела в Брюсселе. Мало того, для членов конгресса, к которым в данном случае присоединился и я в качестве единственного представителя русской печати, была организована поездка в специальном поезде во фламандский город Гент для осмотра учреждений потребительно-производственного товарищества «Вперед» («Voruit»).

Поезд был украшен красными флагами, по линии стояли группы железнодорожных рабочих, приветствуя членов конгресса пением рабочей Марсельезы и Интернационала.

В Генте мы проходили между живыми стенами рабочих делегаций с красными знаменами, и гентские рабочие кооператоры старались всеми способами проявить свое товарищеское внимание к иностранным гостям.

Помню, как один рабочий, увидев, что я вытираю платком запотевшие очки, подбежал ко мне и подал большой кусок замши, объясняя на ломанном французском языке (он был фламандец), что он имеет какое-то отношение к изготовлению замши и что замшей лучше всего вытирать очки.

Мы осматривали многочисленные хозяйственные и культурные учреждения кооператива: пекарню, типографию, мастерские, лавки, библиотеку, читальню и т. д. Нас встречали рабочие со своими семьями, у женщин на руках были дети, которым они указывали на особенно выдающихся социалистов, хотя младенцы ничего, конечно, не понимали.

Настроение было такое приподнятое, что многие плакали от умиления.

В красивом главном здании кооператива в зале, на стенах которой были начертаны имена выдающихся социалистов всех стран и времен, в том числе Чернышевского, Анзель, вдохновитель и руководитель гентского «Вперед», произнес горячую речь о революционном значении кооперации и предвещал, что близится время, когда национальным

флагом Бельгии будет красное социалистическое знамя, а пестрые флаги, которыми украшены дома гентской буржуазии по случаю какого-то католического съезда, будут отправлены римскому папе для употребления чрезвычайно санитарного, но далеко не почетного.

Анзелю бешено аплодировали. В этот момент все делегаты конгресса были горячими сторонниками кооперации.

А у меня под влиянием всего того, что я видел в Генте, зарождалась мечта о создании когда-нибудь в родном и милом мне Петербурге кооператива, подобного гентскому «Вперед».

Уезжая из Бельгии, я увозил с собою две идеи: идею социалистической кооперации и идею всеобщей революционной стачки.

## VII

## В БОЛЬНОЙ РОССИИ (1892 г.)

В обители смерти. — Медицинская пытка. — «На пути». — Возвращенный к жизни. — Первая поездка по Волге. — Самара. — В. О. Португалов и Я. Л. Тейтель. — «Прежде» и «нонче». — Среди больных. — Смерть-освободительница. — На экзамене. — Спасенная Ариша. — Анюта. — Сектанты. — Возвращение за границу.

Летом 1892 года ко мне в Иену приехал Агафонов. Мы с ним собрались в Италию, которая меня манила к себе еще в дни моей ранней юности, когда я читал роман Гете «Вильгельм Мейстер».

Однако, по дороге, в Цюрихе мне неожиданно пришлось пережить тяжелую личную трагедию, которая перевернула всю мою душу, разбила стену, отделяющую от сознательного подсознательное, и в то же время пробудила общественную совесть. Стыдно сделалось ехать в прекрасную Италию, когда с родины приходят известия о свирепствующей там холере, пришедшей на смену голоду.

И вместо Италии я очутился в Петербурге.

Тотчас по приезде я по указанию доктора, составлявшего холерные санитарные отряды, направился в больницу Марии Магдалины для ознакомления с новейшими методами лечения холеры.

Молодой врач, заведующий холерным бараком, повел меня осматривать больных.

Мы вошли сперва в мужскую палату. В первую минуту мне показалось, что там царит какая-то особенная, торжественная тишина, — тишина смерти; мне даже показалось странным, неприятным, что шедший рядом со мной доктор говорит полным голосом и стучит сапогами.

Фигуры больных, лежавших на койках под серыми одеялами, казались застывшими, неподвижными... Но вот с одной из коек раздался слабый стон... Фигура зашевелилась, из-под одеяла высунулась посиневшая худая нога и судорожно скорчилась...

— Ой, батюшки, помогите, христа-ради... Судорга сводит! — прошептал сиплый голос.

Сиделка бросилась оттирать несчастного. Стон раздавался на другой кровати и как бы откликнулся в противоположном углу... Сиплые, истомленные голоса со всех сторон жалобно просили помощи... Высокий, страшно исхудавший рыжий мужчина, весь изгибаясь, попытался приподняться, но тотчас с жалобным стоном снова упал на постель...

Я стал обходить больных. Посиневшие лица, ввалившиеся глаза, странно приподнявшиеся над ними веки, изредка выражение тупой боли, по большей же части полумертвое бесчувствие, вполне безучастное отношение ко всему окружающему.

Из мужской палаты мы направились в женскую. Еще не входя в нее, я услышал странные за душу хватающие звуки: хрипение, всхлипыванье, крикливую икоту. В палате у самых дверей лежала в агонии молодая женщина. Голова была откинута назад, черные волосы в беспорядке рассыпались по подушке, из полуоткрытых глазных впадин страшно выглядывали белки глаз, грудь мучительно вздымалась, из посиневших, покрытых пеной губ вырывалось предсмертное хрипение; обнаженная рука что-то судорожно ловила в воздухе. Лежавшая рядом больная приподнялась на руках и с ужасом смотрела на умирающую. Еще несколько хрипений, еще одно мучительное трепетание груди, еще один судорожный взмах рукою, — и все утихло, и только рука, сжатая в кулак, еще несколько мгновений висела на воздухе и затем тихо опустилась рядом с безжизненным телом. Сестра милосердия накинула на умершую белую простыню. Соседняя больная еще несколько мгновений смотрела на покойницу испуганно-неподвижным взором и затем со стоном опустилась на подушки.

Мое сердце нервно сжалось. Это была первая холерная смерть, которую я видел, и, кажется, самая тяжелая.

Большинство холерных умирают, повидимому, довольно легко. Я, по крайней мере, видел несколько удивительно спокойных смертей. Помню, как в том же петербургском бараке один мужчина лет тридцати, сначала сильно мучившийся рвотой и судорогой, вдруг, повидимому, успокоился и тихо заснул. Я подошел к его кровати. Он сначала лежал совершенно неподвижно, потом слегка открыл глаза и вдруг быстро поднялся с кровати. Я хотел удержать его; но он отстранил мои руки, сделал несколько шагов по комнате, вернулся

обратно, сел на кровать и затем тихо, устало склонил голову на подушку. Я ждал несколько минут; больной не двигался; я приложил ухо к груди, — сердце не билось.

Помню также, как на моих глазах одна белокурая мощная красавица из забытья, в котором она находилась все время болезни, без стона, без предсмертного вздоха, тихо и незаметно перешла в вечный сон. Как раз в тот момент, когда она, по выражению больничной сестры, была «на пути», я сделал ей подкожное впрыскиванье, и мне почему-то до сих пор нередко мерещится ее белокурый локон, из-под которого блестит брильянтовая сережка.

В первый же день пребывания в бараке я практически ознакомился с лечением холеры по способу итальянского профессора Кантани. Кантани, предлагая свой способ, исходил из положения, что в холерном больном происходит борьба за существование между человеческим организмом и нападающими на него паразитами.

Следует поддержать организм и убить паразитов. Первой цели служат подкожные вливания соляного раствора (гиподермоклизмы), которые вознаграждают потерю больным жидких частей крови и препятствуют высыханию тканей; второй цели служат высокие танниновые клистиры (энтероклизмы), которые дезинфицируют кишечник и убивают сосредоточенных там паразитов.

От танниновых клистиров с прибавкою различных возбуждающих средств я постоянно видел превосходные результаты. Что касается подкожных вливаний, то, по словам доктора нашего барака, они давали результаты очень сомнительные, и я в своей самостоятельной деревенской практике к ним никогда не прибегал. У них есть очень существенный недостаток — мучительность и связанное с нею угнетающее психическое влияние на больного.

На меня применение гиподермоклизм производило впечатление медицинской пытки.

Первая больная, которой при мне делали подкожное вливание, была красивая крестьянка, лет двадцати. Холера точно пожалела ее красоту. Лицо ее было синевато-бледно, измучено, но все же прекрасно. Неподвижные, черные глаза из-под длинных ресниц устремились куда-то вдаль. Черная, полурасплетенная коса падала на высокую полуобнаженную грудь. К больной подошли доктор и служитель с эсмарховой кружкой и инструментами в руках. Глаза больной на минуту широко раскрылись, в них засветились страх и мольба; руки поднялись, как бы стараясь оттолкнуть подходившего доктора, но тотчас устало и болезненно опустились. Доктор откинул одеяло, рубашку, приподнял кожу на нижней части живота и в образовавшуюся

складку быстро воткнул заостренный конец стальной трубки, соединенной длинною кишкою с эсмарховой кружкой. Вода проникла в подкожную ткань, кожа кругом воткнутой трубки вздулась громадным пузырем. Больная видимо сильно мучилась, лицо ее было — само страдание, но это страдание выразилось у ней не криком, не ропотом, а нежным, ласкательным шопотом:

— Голубчик ты мой, соколик ты мой ясный, родимый ты мой, красавец ты мой! — шептал умоляющий голос.

Пузырь между тем вздувался все сильнее, больная понемногу теряла сознание, губы что-то шептали, но что — нельзя было понять.

Доктор вынул трубку, залепил отверстие пластырем и перешел к следующей больной.

Это была старуха с воспаленным красным лицом, на которое спадали пряди седых волос. Глаза смотрели мутно, безжизненно. Доктор откинул одеяло. Живот больной был покрыт широкими красными пятнами. — Это от горчичников? — спросил доктор «сестру», и, получив утвердительный ответ, шутливо заметил, что барышням вместо румян следовало бы употреблять горчичники.

Началась операция. Больная слабо, жалобно стонала. Веселое выражение не сходило с красивого, молодого лица доктора; он продолжал шутить.

— Надо стараться быть повеселее в больнице, — говорил он по адресу моего серьезного лица, — это поддерживает бодрость в больных и сестрах милосердия.

Я не согласен с доктором и нахожу неуместными шутки у постели тяжело больных; но я не возмущаюсь; я привык к худшему. Я видел в одной из клиник, как студенты гоготали над жалобными стонами беременной женщины, которой без хлороформа вырезали зоб. Нет занятия, которое требовало бы столько мягкости и самоотвержения, как медицина, но, к сожалению, среди врачей не мало черствых и грубых людей. Понятно, вполне понятно, но тем не менее печально, очень печально.

Из женской палаты мы с доктором направляемся делать вливания мужчинам. Сестра милосердия пожаловалась доктору на какого-то больного, у которого, как это нередко бывает, холера осложнилась психическим расстройством.

— Наш сумасшедший все продолжает куролесить, — говорила она, — вскакивает, кричит, ругается.

Доктор подошел к «сумасшедшему». Это был еще молодой человек лет двадцати пяти, похожий на еврея. Курчавые, черные волосы, маленькая голова, тонкая, худая шея. После психического припадка, он,

видимо, страшно ослабел. Грудь тяжело вздымалась, из полуоткрытого рта вырывалось легкое хрипение, полузакатившиеся глаза беспокойно, пугливо смотрели на доктора.

— Как тебе не стыдно сестер милосердия обижать! — говорит доктор. — Они — женщины, а к женщинам вообще нужно относиться с уважением; а они еще ухаживают за вами, ночей не спят...

Красноречие доктора, видимо, пропадает даром; больной не понимает, что ему говорят: заплетающийся язык сипло повторяет:

— Я... что же... я ничего, я рад, я что же... рад.

Чувствительность больного значительно понижена, и он почти не замечает кантаньевской пытки.

Но вот подходим к громадному мужчине атлетического сложения. Что за мышцы, что за грудь! Чистый Голиаф! И вдруг этот Голиаф, как маленький ребенок, начинает просить, чтоб подождали его «торкать».

— Подожди маленько, родимый, подожди; дай с силами собраться.

— Ну чего, милый, ждать! — возражает доктор. — Потерпи, скорее поправишься.

— Ох, какая уж тут поправка! — кряхтит бедняга. — Ну, уж торкай, что ли, скорее!

Большинство сестер милосердия служили в холерном бараке «по обязанности», и раз кончалось дежурство, они, конечно, спешили домой отдохнуть после трудной работы; но одна сестра милосердия (тоже сестра по ремеслу) всегда уходила с неохотой и часто отбывала в бараке два дежурства под-ряд.

— Идите же домой, отдохните, неужто вы не устали? — говорили ей.

— Ах, мне так тяжело уходить от своих детей! — отвечала она, — мне все эти больные кажутся детьми; мне их так горько покидать; они такие несчастные, беспомощные!

Я понимаю эту «сестру». К этим несчастным «холерным» невольно привязываешься, как к собственным детям, и трудно уходить из больницы, из этой обители смерти и страданий. В несколько часов переживешь здесь столько, сколько при обыкновенных условиях жизни не переживешь в течение нескольких лет. Вот несколько картин из одного памятного для меня дня.

Утро. В мужской палате. На одной из кроватей лежит под белой простыней труп только что скончавшегося; у соседней кровати стоит доктор и делает кантаньевское вливание; несколько поодаль — больничный батюшка в белом балахоне поверх рясы, с епитрахилью и дароносицей исповедует тяжело больного...

— Как зовут? Зовут-то как? — слышится громкий голос священника.

Больной силится что-то сказать, но из помертвелых губ слышится лишь слабый, непонятный шопот.

— Кузьмой, батюшка! — говорит за него «сестра».

— Ну, Кузьма, нет ли у тебя большого греха на душе? Покайся, скажи: господь милостив.

Больной молчит.

— Большого нет ли чего, — слышишь, большого?

— Грешен, батюшка, — вдруг довольно ясно слышится сиплый шопот.

Батюшка наклоняется к больному.

— Что же за грех-то? Облегчи душу, скажи. Слышишь, Кузьма?

Но Кузьма уже не слышит. Глаза его бессмысленно уставились на дароносицу, которую батюшка держит в руках.

— Он уж «на пути», — шепчет сестра.

Батюшка накрывает голову больного епитрахилью и шепчет молитву.

Тяжелая картина! Но вот рядом и радостная.

На кровати лежит мальчик, лет двенадцати, «из портерной». Вчера его привезли в больницу совсем слабого от страшной рвоты и поноса. У него был тогда ужасно испуганный вид; ему казалось, что его привезли «на смерть»; но через этот страх все же просвечивала сильная надежда, поддерживаемая молодым желанием жизни.

— Ваше благородие, может быть, я и не умру? — говорил он, — как вы полагаете, — ведь не умру?

Не умрешь, зачем умирать, — говорили ему вчера, и говорили правду, потому что сегодня он выглядит совсем молодцом.

— Ну, Митяй, как живешь? — спрашиваю я.

— Очень хорошо, ваше благородие, совсем хорошо, хошь сейчас вставай да беги...

Глаза мальчика блестели радостью, но потом вдруг в них проскользнул легкий страх.

— Ваше благородие, а живот «пороть» больше не будете?

— Не будем, зачем, — и так хорош.

Мальчик счастлив, и мы счастливы вместе с ним.

После обеда к больным являются родственники.

К «сумасшедшему», оказавшемуся купеческим сыном, явились оба родителя. Они поражены поистине ужасным видом сына. Старик-купец растерянно стоит и молча глотает слезы... Толстая купчиха волнуется и раздражается.

— Господин доктор, — обращается она ко мне, — что же это сделали с нашим сыном? Вылечите его: этак, право, нельзя... Непременно вылечите; вы должны вылечить...

— Мы делаем все, что можем.

— Как же это все, что можем? Здесь и ухода никакого нет. Мы ведь не какие-нибудь. Мы жаловаться можем.

— Старуха, старуха, — дергает ее за рукав купец. — Брось вздор-то толковать! Вы уж, господин доктор, сделайте божескую милость, не гневайтесь! Она с горя это брешет. Сынишка-то у нас один. По весне только женили. Жена-то брюхатой остается. Уж помогите нам, господин, век не забудем, в ноги вам кланяться станем, — и старик собирается стать на колени.

— Полно вам, полно! — удерживаю я его.

Старик стоит минуту, опустив голову, и потом вдруг усиленно твердым голосом спрашивает:

— А до утра-то проживет, как надо ждать?

— Может быть, не знаю.

— Пойдем, старуха, — говорит решительно старик и почти силой уводит жену из палаты.

Поздний вечер. В бараке «смертная тишина». Вхожу на цыпочках в женскую палату. На одной из коек ворочается маленькая, сморщенная старушка.

— Это ты, Арина?

— Я, батюшка.

— Что же ты не спишь? Ведь ты уже совсем, никак, поправилась?

— Поправилась, родимый, поправилась. Спасибо вам, родные мои, спасибо, ангелы мои, спасибо... От смерти меня вы спасли... Буду господа молить, святых угодников просить буду...

— Ну, полно, полно... Чего же ты не спишь-то?

— Да где же тут, родимый, спать-то? Ведь завтра я на выписку иду, — вот все и думаешь, думаешь. Глаза старушки блестят молодым, почти лихорадочным блеском. — Может, и увидеть-то не чаяли больше. То-то обрадуются, то-то заждались!.. — шепчет она.

Я смотрю на нее с грустной улыбкой. Она неожиданно, думаю я, встала от смерти к жизни. Это для нее великий, торжественный момент. Все внутри у ней так светло и радостно. Она думает, что и для всех других произошло что-то необыкновенное. Она ждет, что дома все встретят ее как-нибудь особенно торжественно и окружат особенным вниманием, особенной любовью. И какою грустью сожмется ее помолодевшее сердце, когда, быть может, дома ее встретят вполне спокойно, без всякой ликующей радости и торжества!

Я прощаюсь со старушкой и иду в мужское отделение.

Та же тишина, тот же полумрак. Митяй, мальчик «из портерной», сладко спит, заложив руку под пухлую розовую щеку. Смотрю я на него с непонятною для меня нежностью и опять-таки с грустью.

«Ты спасен, думаю я, но для какой жизни? Не лучше ли бы было тебе умереть теперь, пока не изгадил тебя еще Питер, пока на лице твоем играет еще невинный румянец. Ах, ужасно хороши бывают эти деревенские ребята в первый год их городской жизни! Так и пышут они удалью и жизнерадостностью! Но зато как быстро засасывает их питерская грязь и пошлость! Как часто из милого, удалого мальчика в несколько лет вырастает развратный, прогнивший лакей какого-нибудь загородного сада. Неужто и этот милый Митяй, который теперь спит так спокойно в этой обители скорби и смерти, неужто и он превратится в плешивого, испитого лакея во фраке и будет спать нездоровым сном на стуле у какого-нибудь отдельного кабинета?

Митя тихонько пошевелился, посмотрел на меня несколько удивленным взглядом, сладко потянулся и снова заснул.

Я тихо вышел из палаты.

В Петербурге я пробыл не больше недели. Этого времени было достаточно для ознакомления с лечением холеры, так как я старательно выполнял не только докторские обязанности, но и обязанности фельдшеров и сестер милосердия.

Вначале у меня была боязнь заразиться, но она совершенно и навсегда прошла после моего мнимого заболевания.

В то время, как я ставил высокую клизму одному холерному больному, на меня брызнули из прямой кишки его испражнения, окатив все мое лицо: попали в глаза, в нос, в рот. Минута была отвратительная. Я, конечно, умылся, выполоскал рот, но скверное ощущение во рту не проходило.

Когда я пришел домой, в нанятую мной меблированную комнату, я почувствовал боль в животе, тошноту и когда лег в постель, начались судороги в икрах, типичные для холеры.

Пришел Агафонов и хотел тотчас же бежать в больницу звать врача. Но я попросил сначала распорядиться, чтобы мне сделали горячую ванну. Она вскоре была готова, и я, просидев в ней минут двадцать, почувствовал, что все мои боли проходят, а через час я был уж совсем здоров и весело болтал со своим старым другом, распивая чай с красным вином.

В этот момент дверь комнаты отворилась, и на пороге показался старший врач больницы и один из ассистентов, которым о моем заболевании холерой сообщила хозяйка меблированных комнат. Мы

посмеялись, а затем серьезно поговорили о том, какую большую роль при болезнях играет мнительность, но и самая большая и даже обоснованная мнительность не может вызвать холеры, если коховские бациллы не проникли в кишечник, а лишь погостили во рту.

Из Петербурга я поехал в Самарскую губернию, где свирепствовала холера и откуда приходили известия о холерных беспорядках.

До Нижнего я ехал по железной дороге, а от Нижнего на пароходе. Это была моя первая поездка по Волге.

Волга сразу заполонила меня. Днем в голубых высотах яркое солнце; мерцающая полоса раскаленного золота в широкой водной глади, уходящей вдаль; бесшумный планомерный полет легких белых чаек; мерный плеск воды, разрезаемой пароходом. На душе ясно и спокойно; ни прошлого, ни будущего; ни дум, ни желаний — блаженная нирвана.

Ночью в холодном мраке причудливые силуэты проходящих судов, плавающие в пространстве разноцветные огни мачт, рев, свист, стон пароходов, порывы встречного ветра и ровное, непреклонное, безостановочное движение вперед. Иду по палубе, преодолевая бурный напор ветра, и мне кажется, что я часть той силы, которая непреклонно движет вперед громаду, разбрасывающую снопы белого электрического света в окружающий мрак.

В груди поднимается гордость, повелительная гордость человеческого разума и знания.

Утром подъехали к Самаре, красиво рассыпавшей свои церкви и дома по холмистому берегу Волги.

Не успел я выйти на пристань, как был окружен толпою нищих. Тут были сгорбленные, трясущиеся старики и старухи, точно связки грязных лохмотьев, тут были и молодые парни с одутловатыми, бледными лицами и слезящимися красными глазами, тут были и смуглые татарчата с черными, лукавыми глазенками — кого тут не было!

И все это назойливо клянчило милостыню на разные лады.

Я быстро роздал всю имевшуюся у меня «мелочь» и поспешил усесться на извозчика.

В эту минуту ко мне неуверенной походкой приблизился сгорбленный, сухой татарин. Он протянул темную, как бы засохшую руку и что-то забормотал потемневшими губами. Я взглянул ему в лицо. Неподвижные, черные глаза смотрели безучастно, безжизненно. Должно быть, он уже давно голодал...

«Мелочи» у меня больше не было, и я велел извозчику ехать. Извозчик уж взобрался на гору и ехал по улицам Самары, а голодное лицо татарина все еще стояло перед моими глазами. Мерзко сделалось

на душе: как мог я проехать мимо голодного человека и не помочь ему, потому что в кармане не нашлось мелочи, а были лишь крупные бумажки? Хотел вернуться обратно, но не сумел преодолеть глупой неловкости.

Проклятые мелкие неловкости, пошлые условности! Как путают они нас на каждом шагу!

Уныло смотрел я по сторонам на унылый город. Широкие улицы, новые деревянные дома, далеко отстоящие друг от друга, церкви с широкими площадями. Просторно, но неуютно, бивуачно: будто город отстроился после сильного пожара. Ни зелени, ни украшений, ни памятников старины. И вспомнил я свою родную, свою маленькую Иену, где вместо улиц — кривые переулки, где каменные серые домики причудливой толпой теснятся к старому Мюнстеру, где все дышит стариной, «жильем». Иена напоминала мне уютную комнатку Гретхен с ее «довольством, тишиной, порядком», а Самара показалась мне громадным балаганом, где холодно и пусто.

Впрочем, это впечатление быстро рассеялось под влиянием того радушия, которое я встретил в интеллигентных семьях Самары. В то время там было два культурных центра, два культурных дома — Якова Львовича Тейтеля и Вениамина Осиповича Португалова.

Они конкурировали своей культурностью, своим гостеприимством и недолюбливали друг друга. Оба еврея, но Португалов — крещеный, а Тейтель — некрещеный. Португалов — высокий, красивый мужчина с пышной рыжей шевелюрой и роскошной бородой, Тейтель — маленький, плотный, черный, с густыми усами и бритым подбородком. Португалов — врач и публицист, старый сотрудник «Недели», и ему, кстати сказать, как я узнал впоследствии, многими читателями приписывались мои статьи, подписанные инициалами «В. П.». Тейтель — был в то время судебным следователем, и следователем в своем роде единственным: в царской России, кроме Тейтеля, никогда не было ни одного судебного чина из некрещеных евреев. Португалов если не стыдился своего еврейства, то, во всяком случае, никогда о нем не упоминал. Тейтель гордился своим еврейством, и когда ему министр юстиции Манассеин предложил значительное повышение по службе под условием крещения, Тейтель, не колеблясь, резко ответил:

— У человека должно быть что-нибудь не продажное. Я не торгую своим богом.

Для Тейтеля еврейский бог был гением еврейского народа, был тем, что объединяет в единое национальное целое евреев, разбросанных по всему земному шару. Безукоризненно выполняя свои служебные обязанности, сначала судебного следователя, а затем члена окружного

суда, Тейтель находил время и силы для помощи еврейской бедноте, для возможного смягчения их горькой участи. Но Тейтель отнюдь не был узким еврейским националистом. Он интересовался и русскою жизнью, он любил русскую литературу, был знаком чуть не со всеми значительными писателями и лучше, чем кто-нибудь другой, знал их интимную жизнь. Менее всего Тейтель интересовался самим собою, в противоположность Португалову, который был положительно влюблен в себя. Когда по моем возвращении в Петербург П. А. Гайдебуров спросил меня, как мне понравился Португалов, я ответил, мне кажется, довольно основательно:

— Ничего худого о нем я сказать не могу, а все хорошее о себе он, наверное, рассказал вам сам.

Из Самары я во главе небольшого санитарного отряда отправился в одно из сел Николаевского уезда, откуда бежал врач, испугавшийся холерных волнений.

До Хвалынска мы ехали на пароходе. В Хвалынске переправились на другую сторону на лодке, а затем несколько десятков верст на лошадях.

В Хвалынске незадолго перед тем был зверски убит толпою доктор Молчанов, которого обвиняли в том, что он отравляет народ ядовитыми порошками.

Проезжая по самарской степи, я думал не о том, сумею ли я справиться с холерой, а о том, сумею ли я победить власть деревенской тьмы?

Дорога была унылая. Хлеб и трава уже сняты. На все стороны раскинулась черная, безжизненная степь. Ни птицы, ни зверя, только клубья сухого ковыля, как серенькие зверьки, перекатываются, подпрыгивают, останавливаются и, гонимые ветром, быстро уносятся вдаль.

— Что, водится ли у вас тут какая-нибудь дичь? — спрашиваю я ямщика.

— Прежде всякой много водилось: и дроф, и стрепетов, и куропаток, а нонче что-то не видать...

Проезжаем большим селом с белоснежными, ярко-сверкающими церквами и рядом высоких ветряных мельниц, мерно кружащих свои громадные крылья.

Группы парней и девушек в праздничных рубахах и сарафанах расступаются перед нашей тройкой и вежливо кланяются нам. Из высоких, хорошо построенных тесовых домов выглядывают добродушные крестьянские бороды и веселые детские лица.

— Видно, здесь богатый народ, — говорю я ямщику.

— У, богачи были, государственные, более двух тысяч десятин снимали. А нонче сильно пообеднели, не та уж линия пошла.

Опять это сопоставление между прекрасным «прежде» и печальным «нонче»! С кем ни поговоришь и о чем ни поговоришь, всегда это сопоставление. Выпахавшаяся земля, обмельчавшие реки, исчезающая рыба и дичь, ослабевающее и нищающее население... И все это, думал я, еще в диком крае, который только еще собирается жить культурной жизнью, в глубь которого еще только начинают пробиваться первые лучи знания.

Поздно вечером приехали мы к месту назначения. В нашем селе жили не государственные, а барские крестьяне, а потому никаких следов «богачества» заметно не было.

Больных много. И сразу пришлось приняться за работу. Страшна была не столько холера, сколько общая болезненность населения.

В избу, где я остановился, ввалилась куча баб с больными детьми на руках. Сифилис, английская болезнь, собачья старость, диспепсия, золотуха и т. д. Ручки и ножки, как плетки; вздутые животики; помертвевшие позеленевшие личики; жалобный писк. И у матерей лица нездоровые, усталые, замученные. Многие из них только и ждут, чтобы милосердный господь поскорее прибрал к себе больных ребят.

Иные, приходя к доктору, может быть, надеются, что он в этом отношении подсобит милосердному господу богу.

За время своей деревенской практики я много раз сталкивался с откровенным желанием крестьян и крестьянок поскорее избавиться от больных детей и стариков.

Помню, как-то раз я возился около одной холерной больной. В тесной избе было много народу, и я попросил всех выйти на улицу. Все послушались; осталась только одна старушка, вероятно, соседка, с маленькой, хорошенькой девочкой. Эту девочку она старалась поставить как можно ближе к больной, которую беспрерывно рвало.

— Что ты делаешь, бабушка? Ведь девчонка-то заразиться может, — заметил я.

— Да и дай-то господи! Затем-то я и пришла, голубчик. Авось-либо господь бог смилостивится, приберет к себе Машутку-то.

— Что ты, старуха, не греши!

— Да ведь у меня их, родимый ты мой, целых восьмеро сиротинок на руках осталось. Ни батьки, ни матки; так как же я их всех прокормлю-то, как усмотрю за ними за всеми? Другие-то хоть здоровые, а у Машутки-то вот ничего внутри не держится, все на пол валит, а изба-то у нас маленькая — духу не перевести.

Бедная Машутка, видимо, не понимала, о чем идет речь, и боязливо прижималась к бабушкиной юбке; а та нежно гладила ее белокурые волосики своей костлявой рукой.

На другой день по приезде я пошел вместе с фельдшером и санитаром осматривать больных. Их было очень много. Приходилось заходить в каждый дом. Но в большинстве случаев я находил совсем не холеру, а тиф, цынгу и, главным образом, малярию. Среди холерных запомнился караульщик, брошенный на грязный навозный пол сеней в одной из изб.

— Зачем же вы больного бросили, как собаку? — сказал я раздраженно. — Внесите его в избу.

— Родимый! — раздался около меня жалобный бабий голос, — не делай ты этого, не вели его вносить к нам в избу; пожалей нас, горемычных! Я сама только что на ноги поднялась после эфтой же болести; еле ноги волочу... Ребятишек у меня пять душ, избенка наша маленькая, самим сунуться некуда, а у него из всех концов так и несет.

— Да что же он — чужой, что ли?

— Чужой, родимый, совсем чужой, он здесь всем чужой; он — караульщик, по очереди у всех ночует; у нас его схватило, и никто его теперича к себе от нас не берет... Мы что же? Мы терпим, не гоним, стараемся округ него, все как следует даем; сегодня он вон второй ковшик квасу выпил... Но только пожалей ты нас, не вели его в избу нести; невмочь это нам, право, невмочь; взгляни, родимый, сам духу ведь не переведешь...

— Ну, молчи... Дай-ка лучше свету...

Баба принесла лучину, и я наклонился, чтобы осмотреть несчастного; но тотчас невольно отвернулся: передо мной лежало какое-то чудовище, какой-то квазимодо. Горб, посиневшее бесформенное лицо, громадное бельмо на одном глазу, изуродованный кусок красного мяса вместо руки; грязные лохмотья, пропитанные испражнения: отвратительный запах...

Я, однако, пересилил себя и начал рассматривать больного.

— Ему бы хоть клизму из таннина поставить, — обратился я полувопросительно к своему «коллеге», военному фельдшеру Шеншинову, который, несмотря на мои протесты, упорно называл меня «вашим благородием».

— Не иначе как, ваше благородие, что клизму, а только он и так помирает, ваше благородие; вон уж и пульса никакого не замечается, — возразил с философским спокойствием Шеншинов.

— Не трожь, — просипел караульщик, — не трожь меня, брат, прошу я тебя, брат... Помру, и так помру... Кваску бы только, маненько, кваску.

Баба наклонилась к нему с ковшиком; я постоял несколько мгновений в раздумье, потом махнул рукой и молча вышел на улицу вместе с Шеншиновым и санитаром Петром Исааковичем.

— Что это, ваше благородие, там вон на углу никак народ собирается, — не нас ли поджидают? — заметил Шеншинов, указывая на толпу мужиков, стоявших в конце улицы. — Не лучше ли нам, ваше благородие, переулочком пройти, оно и ближе будет.

— Вот еще вздор, — возразил я; — с чего ты выдумал, что нас ожидают? Вероятно, идут землю делить или что-нибудь в этом роде... какое им до нас дело? Пойдем прямо!

Но Шеншинов оказался прав. Мужики ждали нас и заступили нам дорогу...

Мы подошли ближе...

Со стороны картина, должно быть, выходила оригинальная...

Мы втроем в длинных белых халатах, с клизмами и лекарствами в руках, стоим, как три каких-нибудь мага, а перед нами — серая толпа мужиков... Стоим и молчим.

Я с любопытством рассматриваю толпу. Большинство — в шапках; только несколько стариков обнажили свои серебристые головы. Иные, кто помоложе, лезут вперед, другие, кто постарше, напротив, сторонятся и, видимо, чувствуют себя не совсем ловко: покачивают головами, разводят руками, как бы говоря: «пустое мы, ребята, затеяли, да мир, — против мира нельзя».

— Что же, у вас дело какое, что ли, до меня? — прервал я молчание.

— Совершенно верно понимать изволите, господин дохтор, ваше благородие... не знаем уж, как вас называть полагается... — заговорил стоявший впереди всех вертлявый, чернявый молодой мужик с живыми, хитрыми глазами.

— Что же вам от меня надо?

— Мы собственно на тот счет, чтоб сумлений никаких не было, значит, и хочим просить вас, не соизволите ли сказать, откуда вы пожаловать соизволили?

— Из Петербурга.

— Так-с, из самого, значит, Санкт-Питербурга. Точно так и от Петра Исааковича слыхали. А не изволили ли вы в Санкт-Питербурге знавать князя Владимира Андреевича Оболенского?

Случайно я знал Оболенского, знал и его товарища, Всеволода Дмитриевича Протопопова, брата моего спутника в путешествии по Франции.

Оболенский и Протопопов в 1891 году во время голода как раз в этой местности устраивали народные столовые и, вообще, оказывали помощь голодающим. Они оставили о себе очень хорошую память, и вся толпа колыхнулась в мою сторону, когда я сказал, что хорошо их знаю.

Но все же полное доверие мне было оказано лишь после того, когда я удовлетворительно ответил на целый ряд вопросов-ловушек о петербургском адресе Протопопова, о его наружности и т. д.

В моей тогдашней холерной практике было не мало несчастных смертных случаев. Они больно ударяли по моей психике: пилила мысль, все ли я сделал, что нужно, чтоб отстоять больного от смерти, не допустил ли я какой-нибудь ошибки.

Бодрость, необходимая для усиленной работы иногда в течение целых суток, могла бы пропасть, если б ее не поддерживали случаи счастливые.

Из таких случаев особенно памятно мне выздоровление десятилетней девочки Аришки, которую сразу схватила и скрутила молниеносная холера.

Вызванный взволнованным отцом, у которого Аришка была единственным ребенком, я немедленно отправился к больной, но застал ее уже посиневшей, без пульса.

Час тому назад Ариша еще весело бегала по ярмарке с соленым огурцом в руке, а теперь она лежала полумертвой. Около нее стояло несколько баб, и когда я стал ее осматривать, на меня со всех сторон посыпалось: «Не трожь; вишь, помирает; чаво мучить-то? Бог захочет — и так выздоровит. Чаво копаться, уж и духу в ней нет» и т. д.

Аришка, казалось, лежала без сознания; но в ту минуту, когда я приложил к груди стетоскоп, чтобы выслушать сердце, она зашевелилась и заговорила сиплым голосом:

— Не трожь, уйди! Не режь меня, пожалей меня!.. Ой, батюшки, он уж резать меня собирается!

Удивительно: пульса почти нет, сердце еле бьется, а полное сознание и даже ясное воспоминание рассказов о «докторах-живодерах».

Дело было плохо, но я решился энергично воевать с холерой и употребить все усилия, чтоб отстоять бедную Аришку. Одному в таких случаях справляться трудно, на родных рассчитывать нельзя: от недоверия ли к медицине или от полной непривычки разумно ухаживать

за тяжело больными, не только мужики, но и бабы в большинстве случаев поразительно вяло, неловко помогают в решительные минуты при лечении трудных больных: еле ноги волочат, все у них из рук валится, ничего с первого раза не поймут.

Я послал за работавшей в этой деревне фельдшерицей Александровой, и мы принялись вместе энергично бороться с холерой: оттирания, согревание, возбуждающие средства и, главное, горячие клизмы с танином. Жизнь поддерживалась, на минуту появлялся пульс, на минуту становилось лучше, но настоящего, продолжительного успеха не замечалось... Родные же начинали ворчать и все усиленнее и усиленнее просить, чтобы мы оставили Аришку спокойно умереть. Бабы, я уверен, просто выгнали бы нас, но их «сдерживал» хозяин. Умный мужик видел, что мы действительно стараемся, что попусту мы не стали бы возиться больше трех часов. Однако в конце концов и его взяло «сумление»: он мрачно замолчал. Это придало бабам энергии.

— Душу всю из нее машинками выкачали, — заворчала одна старуха, — дать ей напиться квасу.

— Квасу! — просипела Ариша.

Старуха бросилась к ней с ковшиком.

Я терял энергию, уставал от ворчанья окружающих.

— Не бросить ли? — обратился я к Александровой.

— Ни за что! — заметила та, — попробуем поставить еще клизму.

— Попробуем.

Мы стали подготовлять клизму из горячей воды, таннина, валерьяна и мускуса. Бабы просто заорали от негодования, мужик угрюмо заметил: «Да уж не надо бы, никак, больше».

— В последний раз, — сказал я, — даем слово, как поставим эту машинку, так сейчас и уедем. А бог даст, она поможет: в ней сильные лекарства.

Все промолчали в полунадежде, в полусомнении.

Клизма была поставлена, пульс тотчас усилился, но мы хотели сделать, как обещали: мы оставили кой-каких лекарств, укутали Аришу и вышли из избы.

Угрюмо проводили нас хозяева, угрюмо встретила нас темная ночь. Ни зги не видно; дождь как из ведра, ветер злобно бушует. С трудом забрались мы в давно ожидавший нас тарантас и поехали домой молча, с тяжелым сердцем.

Не без страха входил я на другой день в Аришину избу. В избе было тихо, и в первую минуту она показалась мне совершенно пустой. Я взглянул на широкую досчатую кровать, где ночью происходила трагическая борьба между жизнью и смертью. Кровать была завешана

ситцевым пологом. Я откинул его и с величайшей радостью увидел Аришу спокойно спящей.

Она была худа, под глазами широкие, темные круги, скулы выдаются, но нет зловещей синеватой окраски, и, главное, ровное, спокойное дыхание. Она была спасена...

В это время в избу вошла мать Ариши. Она рассказала, что последняя машинка держалась у Аришки больше получаса, что ей с каждой минутой становилось лучше и что, выпустив воду, она тотчас заснула крепким сном и спит до сих пор. Пришли и другие бабы, пришел и хозяин. Все были со мной очень приветливы, все приписывали выздоровление нашему лечению и особенно последней машинке, поставленной так торжественно. Хорошо, что так! А то ведь они могли рассуждать иначе, и выздоровление Аришки приписывать тому, что мы ушли.

Я объяснил родителям, что хотя главная опасность миновала, но все же надо держать ухо востро, и просил их кормить Аришу лишь тем, что я ей буду присылать. Приказания мои исполнялись в точности, тем более, что главным моим сторонником сделалась сама Ариша. Поправка пошла быстро, и дней через десять я имел действительное счастье пить вместе с Аришей чай и любоваться ее румяными щеками. Она играла роль хозяйки и всячески угощала и ублажала меня.

— А помнишь, Ариша, как ты меня боялась, думала, что я пришел тебя резать?

Ариша сконфузилась.

— Да ишь ведь эфто все бабы баяли: режут да режут. Пускай-ка теперича попробуют.

И она сделала очень сердитую рожицу. Потом посмотрела на меня исподлобья, прыгнула ко мне на колени и обвила мою шею своей худенькой, смуглой ручонкой.

С воспоминанием об Аришке у меня тесно связано воспоминание о другой очень дорогой мне пациентке — семнадцатилетней девушке Анюте.

В ту памятную ночь, когда мы с Александровой возились около умирающей Ариши, ко мне подошла какая-то баба и стала просить, чтоб я зашел в одну из соседних изб взглянуть на ее племянницу, которая болеет уже более трех недель и эту ночь, кажись, совсем собралась помирать. Я согласился. Больная — молоденькая девушка — действительно выглядела очень плохо. Исхудалое восковое лицо, закрытые глаза, стиснутые челюсти. Около постели стояли три бабы и причитали:

— Помирает наша красавица-то... Как мертвенькая лежит, горемычная! Анюта-та наша желанная, почто покидаешь ты нас?—и т. д.

Я попросил их помолчать и начал расспрашивать о ходе болезни и осматривать больную. Насколько я мог судить, у нее был брюшной тиф, и положение ее было бы не слишком скверно, если бы не причитанья баб. Они ее прямо-таки загипнотизировали, и очень вероятно, что в конце концов зажалели бы до смерти. Я уверен, что слабых больных можно добить сожалениями и уверениями в их безнадежном состоянии.

Необходимо было освободить Анюту от бабьего гипноза и, напротив, внушить ей, что вскоре она совершенно выздоровеет.

— Как вам не совестно, — сказал я громким голосом, — глупости болтать! Совсем она не опасно больна: смотрите, через неделю совсем здорова будет.

Бабы притихли. Анюта пошевелилась, неподвижное лицо ее слегка дрогнуло. Я положил ей на голову руку и проговорил решительным, уверенным тоном:

— Ты наверно выздоровеешь, через неделю встанешь. А теперь открой глаза и смотри на меня весело!

Анюта повиновалась: она открыла глаза, и исхудалое лицо ее осветилось тихой улыбкой.

С этого вечера я каждый день заходил к Анюте, продолжал свое психическое лечение. Оно ли подействовало, или правильная диэта, которую я ввел, но через неделю Анюта действительно встала и не только улыбалась, но и весело смеялась. Привязалась она ко мне так же хорошо, так же по-детски, как и Ариша.

В Николаевском уезде я проработал всего шесть недель, но за эти шесть недель я воспринял впечатлений больше, чем за обычные шесть лет.

Мне удалось заглянуть в глубь деревенской жизни. Она сделалась для меня как бы прозрачной. Прежде я знакомился с жизнью крестьянина, как охотник, у которого всегда завязываются дружеские отношения с охотниками деревенскими, но это знакомство было поверхностное. Только теперь, в качестве чернорабочего врача, переходя из избы в избу, просиживая по целым часам у постели больных, я понял всю сложность мужицкой жизни.

Я увидел под кажущимся однообразием великое разнообразие характеров и устремлений. Особенно интересен был сдвиг моральный, проявлявшийся в сектантстве и разделявший одну и ту же семью на два если не враждебных, то, во всяком случае, чуждых друг другу лагеря.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Лечил я мальчика у одного местного молоканина Степана Егорыча. Лечение это было для меня своего рода отдыхом. Входя в его дом, я попадал в атмосферу покоя, уюта, любви. Чувствовалось, что здесь живут в согласии и взаимном уважении. Что-то ласковое и вежливое чувствовалось в обращении хозяев между собою и в отношении их ко мне.

И у всех тех, которые заходили к Степану Егорычу, чтобы вместе почитать евангелие и побеседовать на религиозные темы, лица были ясные, открытые, взоры твердые, спокойные.

Спорить Степан Егорыч не любил, но я как-то не удержался и, откровенно сказав, что не верю в божественность Христа и считаю евангельские повествования о его жизни вымыслом, полным противоречий и нелепостей, резко поставил вопрос, чем обосновывают молокане свою уверенность в подлинности и божественности евангелия?

Степан Егорыч посмотрел на меня с печалью и сожалением, как на тяжело-больного, и сказал внятно и раздельно:

— Представь ты себе, Владимир Александрович, что ты слепой, слепой от рождения... И вот идешь ты по дороге, и мочит тебя дождик, всего смочил, холодно тебе, сыро; и вот вдруг что-то начинает тебя греть, — тепло, хорошо становится тебе, и спрашиваешь ты у зрячих, что это греет тебя так хорошо? А зрячие и говорят тебе, что это солнышко. Скажи: стал бы тогда верить в это солнышко и любить его? Ведь стал бы. Так и мы... Шли мы холодные, иззябшие, но как стали мы читать и понимать евангелие христово, так стало внутри у нас и светло, и тепло, как будто засветило нам солнышко, и нет у нас сумлений, что все написанное в святом евангелии правда, и правду эту сказал нам сам господь бог. Нутро наше говорит нам это, и не надо нам никаких иных свидетельств!

Наша беседа была неожиданно прервана шумом и гамом, раздавшимся в сенях. Дверь распахнулась, и в избу ввалилась пьяная толпа, внося с собой характерный запах перегорелой водки.

Впереди всех шла, приплясывая, пожилая женщина, сильно навеселе.

— Простите уж, сватушки, — начала она низко кланяясь и разводя руками, — простите меня, глупую, што явилась я к вам непрошенная... Не звали вы меня, не ждали, а я все же вот явилася... Что уж, гоните меня, глупую, ведьму старую, турите меня вон взашеи!

— Полно, сватья! Не гоже такие речи вести... Пришла — так садись, милости просим, выпей чайку.

— Чайку, сватушки, все чайку! Чарочку бы лучше поднесли! Ох, сватушки, грех вам, большой грех, не спасет вас чаек-то... Грех вам, што не слушаетесь вы родителев своих. Ах, родимые мои сватушки, послушайте вы меня, бабу глупую... Смиритесь вы! Ну-ка чарочку... да гармонийку... Я и стара, а на радостях с вами в пляс пойду... Ну-ка, сватушки: «Верея ль ты верея, ты вереюшка, удержи ты меня, бабу пьяную, разуда-алую!»

И баба начала притоптывать, таща за руку Степана Егорыча.

Тот вырвал руку и серьезно остановил разыгравшуюся сватью.

— Нехорошо, негоже... Небось царица-то небесная плачет теперь о тебе.

Сватья перестала петь и пригорюнилась.

— Да вот она, матушка царица небесная, о-хо-хо... Сватушки милые, грех вам, истинно грех!..

— Стой, сватья, — прервал бабу один из пришедших мужиков, — дай-ка мне к ним речь держать.

Все взглянули на говорившего, с важностью выступившего вперед. Это был молодой мужик-красавец, одетый в новую поддевку синего сукна. Тонкие черты лица, белокурая бородка клином, бесстыжие, масляные глаза — одним словом, один из тех, перед которыми не в силах устоять ни одна деревенская красавица.

— Да, да, пущай, пущай Андрюха их хорошенько проберет, — раздалось в толпе, — он, небось, за словом в карман не полезет.

Андрюха откашлянулся, приосанился и, выпятив грудь вперед, начал свою «речь»:

— Сваты, вот хочу я к вам речь держать. Вот вы толкуете, что живете вы по-христову, по-божьему, значит, а сами против первейшей, что ни на есть, заповеди, што господь на горе Синае приказал... Чти, сказал он, отца твоего и матерь твою и долголетен ты будешь...

— Так, истинно так, — заговорила сватья, сидевшая, пригорюнившись, у стола. — Истинно так. Вот он, господь-то бог... Без родителев не прожить, сватушки, ох, не прожить, родимые. И спаситель-то наш чтил матерь свою, и все угодники святые...

— Постой, сватья, помолчи, дай мне речь до конца довести... Так-то, сваты! А вы разве чтите родителев? Разве слушаетесь их? Отец-то небось, и просил, и грозил сраму не делать, а вы все же, как нехристи какие, к родной сестре на свадьбу не пошли. Язычники вы, а не то што христиане...

— Так их, так! Молодцá, Андрюха, молодцá. Припекай их, заворачивай им! Ироды они, истинно ироды! — ревел пьяный голос одного из мужиков.

Но «ироды», видимо, не унывали: они смотрели на Андрюху спокойно, с усмешкой.

— Не ругайтесь, не гоже так, — заговорил Степан Егорыч. — Верно ты, сват, сказал, что господь заповедал любить и слушаться родителев, но еще бо́ле заповедал он любить и слушаться самого его. И если Христов закон от нас того требует, мы можем не слушаться родителев наших, можем оставить их и возненавидеть то, што они нам велят... Так сам Христос сказал... Вот постой я тебе эфто место сейчас сыщу. — И Степан Егорыч стал перелистывать евангелие.

— И не ищи лучше, — раздавалось в толпе, — хошь сто годов ищи, а таковского места не найдешь. Ишь ты, чаво вздумал... Не, брат, не дождешься, чтоб эфтакое да вдруг у господа написано было.

— А вот слушайте...

И Степан Егорыч раздельно и внятно прочел известные слова спасителя:

«Не думайте, что я пришел принести мир на землю: не мир пришел я принести, но меч: ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее́, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня».

Толпа притихла, только кто-то вполголоса проворчал:

— Да хто е знает, так ли ен читает, да и писание-то у него заправдашнее ли? Ведь он тоже мазура.

Андрюха спустил несколько своей важности, но не потерялся.

— Ладно, сват, — заговорил он снова, — пущай по-твоему. Ты вот заповедей, што бог на горе Синае дал, знать не хошь, Христом прикрываешься: а ну-ка, поищи то место, где Христос на свадьбе в Кане Галилейской воду в вино претворил... Вон Христос-то к чужим людям на свадьбы ходил, и коли вина не хватало, так из воды вино делал, а вы, христиане, к родной сестре на свадьбу не пошли, а вина и в рот не берете; вино-то, небось, тоже господом послано...

— Да у евреев не такая свадьба была, как у вас; у них не было ни гармоник, ни срамных песен, — возражал Степан Егорыч.

— Ну, уж каковская у евреев свадьба была, нам эфтого неизвестно, — ты петель-то не мечи!

— Да мы это тебе сичас в книге покажем.

Не знаю, удалось ли бы Степану Егорычу выпутаться из затруднительного положения, если бы старый сват (отец жениха), сильно подвыпивший, не дал всему спору совершенно неожиданный оборот.

— Дать им раза́, да и вся тут недолга́! — заревел он сиплым голосом.

Добродушное выражение тотчас исчезло с лица Степана Егорыча. Глаза глядели строго. На лбу между густыми черными бровями образовалась сердитая складка. Он поднялся со своего места, и вместе с ним поднялись оба младших брата.

— Если так, — сказал он решительным голосом, — то все тотчас вон!.. Я не позволю грозить себе в своем собственном доме. Я вас не звал, вы сами пришли ко мне, я вас не гнал; но теперича, когда вы стали говорить непутевые слова, теперича, — вон!

— Ишь ты, как осерчал... Чаво еще вздумал!.. — заворчало несколько голосов, но в сущности все были сконфужены, а старый сват, предлагавший дать раза́, совсем потерялся.

— Да ты не серчай, чаво серчать? Я ведь так только, к слову. Нешто я што таковское и взаправду?

— Все равно, не гоже, не гоже... Ступайте вон!

— Да ты не серчай! Обругай — и шабаш!

— Я не ругаюсь.

— Ну, коли не ругаешься, так не серчай. Што же, коли я виноват, так я и прощенья просить могу... Я и в ноги поклониться готов.

— Бог простит, бог простит, сват.

И Степан Егорыч удержал старика, собиравшегося упасть ему в ноги.

— Ступайте к отцу, — продолжал он, — там пейте, пляшите, ругайтесь, деритесь, а нас оставьте... Мы здесь хозяева.

Молча стали уходить один за другим пришедшие; только сватья не хотела добровольно уходить и все повторяла: «Грех вам, сватушки, грех вам, родимые». Но и ту силой увел муж.

В избе снова остались одни «христьяне».

— Тяжело вам иногда бывает, — сказал я.

— Нет, ничего, Владимир Александрович. Мы сами в пустые разговоры никогда не пускаемся, никого сами не трогаем, ну они и начинают привыкать понемногу.

— А отец?

— Отец серчает, но уж и он понятие получает, что мы худого никому не хочем. Господь поможет, и он Христов закон познает.

Не знаю, познал ли отец Степана Егорыча Христов закон, но я знаю, что далеко не все молокане были похожи на Степана Егорыча, знаю, что многие из них жили не лучше православных.

Поздней осенью холерная эпидемия в Самарской губернии прекратилась, и я поспешил в Иену, чтобы поспеть к зимнему семестру.

## VIII

## СНОВА ЗА ГРАНИЦЕЙ (1893 — 1894 гг.)

Первая книга. — Экзамен и докторская диссертация.

Приехав в Иену, я под свежим впечатлением от пережитого оформил свои русские впечатления в ряд бытовых полу-беллетристических очерков, которые были напечатаны в первых шести книжках «Недели» за 1893 год под общим названием «На холере».

П. А. Гайдебуров писал мне о них с большой похвалой и сообщил, между прочим, что некоторые из очерков переведены на французский язык и печатаются в парижском «Фигаро». Сообщил он также, что очерки чрезвычайно заинтересовали читателей «Недели», которые запрашивают редакцию, кто скрывается под инициалами В. П.

Но критика молчала. В обозрениях толстых журналов о моих очерках не упоминалось ни слова, и это меня огорчало. Я не знал тогда, что очерки с большим интересом читали два человека, мнением которых я дорожил неизмеримо больше, чем мнением всех критиков, взятых вместе.

Эти два человека были: Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов.

О мнении Толстого я узнал в начале 1895 года, когда ко мне явилась Ольга Константиновна Дитерихс, сестра жены Черткова, Анны Константиновны, и невеста сына Толстого, Андрея Львовича, с просьбой разрешить выпуск моих очерков отдельной книжкой в издании «Посредник».

Она сказала мне, что это желание Льва Николаевича Толстого, которому очерки очень понравились.

Я, конечно, с радостью согласился.

О мнении А. П. Чехова я узнал лишь в 1918 году, т.-е. через 25 лет после того, как напечатаны были мои очерки, и через 14 лет после смерти Чехова.

Осенью 1918 года я сидел в полтавской тюрьме.

Доктор Волькенштейн, чтобы развлечь меня, прислал мне том с письмами Чехова. Каково же было мое изумление, когда в одном из писем Чехова к А. С. Суворину за 1893 год я прочел отзыв о моих очерках.

Чехов сообщал Суворину, что он читает «Книжки Недели», которые считает наиболее интересным журналом, и обосновывал это тем, что в них, между прочим, печатаются очерки «На холере» какого-то заграничного врача. Очерки эти, писал Чехов, должен прочитать всякий, даже такой чрезмерно занятой человек, как Суворин.

Не буду скрывать, что в этот день полтавская тюрьма, вообще не плохая, показалась мне превосходной.

Закончив очерки «На холере», я в течение двух лет почти ничего не писал, так как все мое время было поглощено усиленными занятиями медициной.

По примеру немецких студентов я переходил из университета в университет, чтобы поучиться у возможно большего числа выдающихся ученых.

Последние три семестра я пробыл в Баденском Фрейбурге, от медицинского факультета которого получил зимой 1894 года степень доктора медицины.

Я специализировался по психиатрии и писал докторскую диссертацию под руководством профессора Эммингхауза. Мне хотелось разработать какой-нибудь вопрос, касающийся прогрессивного паралича, но пришлось подчиниться обычаю немецких университетов и взять тему, предложенную профессором. Тема эта: «Истерия при органических заболеваниях центральной нервной системы».

Эммингхауз был очень доволен моей работой, но я ею недоволен, и мне до сих пор стыдно, что я работал под его указкою, сознавая, что указка эта иногда направляет меня на ложный путь.

Докторские экзамены я сдал очень удачно, с высшим отличием — «summa cum laude», как напечатано в моем докторском дипломе.

В тот вечер, когда декан медицинского факультета, знаменитый гинеколог Хегар, от имени факультета торжественно провозгласил меня доктором медицины, я был счастлив.

Вспоминаю ярко освещенную залу, сонм профессоров, один другого знаменитее, сидящих в креслах за длинным столом, небольшую стройную фигуру Хегара, молодого, несмотря на свои 72 года, и свою собственную фигуру, отраженную в большом зеркале. Себя я не узнаю.

Согласно обязательному обычаю в немецких университетах, я экзаменовался во фраке и белых перчатках. Мы пожимаем с Хегаром друг другу руки, и мое сердце наполняется гордостью, когда он называет меня «дорогой коллега».

Прощаясь со мною, профессор Эммингхауз выражал уверенность, что я составлю себе крупное научное имя, и он вскоре услышит о моих научных трудах. Увы, он жестоко ошибся! Никакого имени я себе не составил, и от моих занятий медициной, которой я 35 лет тому назад так увлекался, которую я так искренне любил, остался только титул доктора медицины, а все остальное поглотила работа литературная, преимущественно редакторская, общественная, революционная.

## IX

# В КОСТРОМСКОЙ ГЛУШИ (1895 г.)

Быт костромских крестьян. — Четыре типа интеллигентных женщин. — Творческое чтение Штирнера. — Что дал мне Штирнер. — Появляется Горький. — Борьба двух школ. — Посланный от Победоносцева. — Побежденный священник. — Переезд в Петербург.

Из Германии я проехал в Петербург, а из Петербурга в глушь Костромской губернии. Поселился у знакомых, в запущенной усадьбе Высокое, на галичском тракте, в девяноста верстах от Костромы и в тридцати верстах от Галича, через который тогда еще не проходила железная дорога.

Много писал, собирая и оформливая свои заграничные впечатления и сопоставляя их с впечатлениями русскими.

В «Неделе» за это время был напечатан ряд моих политических статей, в которых была дана обстоятельная характеристика всех германских партий от консерваторов до социал-демократов.

В «Книжках Недели» печатались мои полу-беллетристические очерки «От Бадена Швейцарского до Галича Костромского». В них с одной стороны обрисовывалась культурная жизнь Запада с ее научными и политическими светилами, с другой — глухая жизнь нашего севера.

Наблюдений и впечатлений и здесь было много. В качестве бесплатно практикующего медика я мог познакомиться с бытом костромского крестьянства, значительно отличающимся от быта не только самарского, но и новгородского.

Наблюдал я не одних крестьян. В Высоком в то время жили интеллигенты, и интеллигенты высокой квалификации. Достаточно сказать что в той семье, которая меня приютила, были две сестры, долго жившие за границей и занимавшиеся там философией и естествознанием у известных немецких профессоров. Муж одной из них, живший тогда тоже в Высоком, был интеллигентный швейцарец, имевший титул доктора философии.

Замужнюю сестру звали Еленой, незамужнюю — Анной. Обе — красивые брюнетки.

Елена — высокая, гибкая. Ее небольшое лицо с большими, темными глазами было привлекательно, несмотря на слишком большой рот, в котором при улыбках видны были два ряда крепких, свежих зубов.

Анна была ниже ростом, фигура ее была грубовата, но лицо с блестящими черными глазами привлекало яркостью своих красок.

Их старшая сестра Екатерина, единоутробная, но не единокровная, старая девушка лет под сорок, тоже сильная брюнетка с густыми бровями и довольно заметными усиками, была исключительно добрым и самоотверженным человеком. Она отказалась от всех радостей личной жизни, не знала покоя ни днем, ни ночью, чтобы выжать из небольшого имения достаточный доход для своих сестер и брата, которые ни в чем себе не отказывали.

Контрастом этим трем брюнеткам была жившая в Высоком подруга Елены, полу-немка, полу-еврейка Альма, красивая блондинка, разносторонне образованная, любившая и понимавшая музыку поэзии Гете, Шиллера, Гейне, Шамиссо и поэзию музыки Бетховена, Шопена, Шумана.

Елена и Альма, не говоря уже об Екатерине, были женщины, смотрящие на жизнь, в том числе и на любовь, серьезно. Анна, напротив, на все смотрела легко, никогда настоящим образом полюбить не могла, со всеми флиртовала и находила особенное удовольствие в том, чтобы разбивать мещанское семейное счастье и увлекать «примерных мужей». В деревне она отдыхала и как бы набиралась сил, а затем, «изголодавшись» по флирту, уезжала в Петербург или за границу и там бросалась в любовный бой, многих побеждая, но никому не отдаваясь. Она суеверно хранила свое «сокровище», рассчитывая отдать его сверх-человеку или «единственному», но в конце концов как я услышал впоследствии, она отдалась какому-то грубому, сильному и довольно безобразному ветеринарному врачу, человеку женатому, который, правда, ради нее бросил свою семью, но зато и ее превратил в свою рабу и, как рассказывали соседи, нещадно бил. Анна должна была сбросить модное платье, должна была перестать душиться опьяняющими духами и в затрапезном платье мыть полы и доить коров.

Но я ее знал, когда она еще хранила свое «сокровище» и была изящна и свободна. Ее я вспоминаю потому, что она в Костромской глуши обратила мое внимание на Штирнера, о котором я до тех пор не имел никакого понятия.

Я в то время с большим увлечением читал Ницше. Анна же читала Штирнера. Мы спорили. Я сначала посмеивался над ее увлечением «Единственным», отрицающим все до истины включительно и в то же время гордо заявляющим, что ему принадлежит весь мир. Но в конце концов я заинтересовался этим философом, на первый взгляд еще более парадоксальным, чем Ницше.

С захватывающим интересом прочел я единственную книгу Штирнера — «Единственный и его собственность». Ни одна книга не имела на меня такого сильного влияния, как «Единственный». Она наполнила мою душу бодростью и дерзанием. Я сознал себя единственным, равного которому не было и не будет. Таким же осознает себя и каждый вдумчивый читатель Штирнера.

Осознав себя единственным, я оправдал любовь к себе. Я понял, что бороться и творить может лишь тот, кто любит себя и кто развивает и повышает эту любовь до пределов альтруизма, до предела любви к другим, а любовь эта в том, чтобы все сделались «единственными», чтобы все сделались свободными. Я отвергнул любовь-жертву, ту самоотверженную любовь, которая стремится поработить и обезличить любимого.

Овладеть миром захотел я, овладеть знанием и борьбою со всеми формами насилия, в особенности насилия организованного, насилия узаконенного.

Я нашел у Штирнера гениальное предвидение революционного и освобождающего значения всеобщей забастовки, я нашел у него смелое провозглашение права на преступление, на тот явочный порядок, которым только и можно завоевать свободу слова, свободу собраний и все другие свободы, которые так старательно ограничиваются самыми либеральными законодательствами.

Я нашел у Штирнера предвидение и великой роли кооперации, организующей новый, свободный строй на развалинах старого государства, разрушенного стачкой и преступлением. Ведь не чем иным, как кооперативами, является «союзы эгоистов» Штирнера.

Конечно, я не подчинился и Штирнеру, я не сделался штирнерианцем, я не захотел быть рабом и его «истины». Я взял у него то, что было мне родственно; я читал его творчески.

Творческое понимание Штирнера я старался впоследствии передать в некоторых своих публичных лекциях, в особенности в лекции «Трагедия одиночества», и я всегда чувствовал, что мое творчество передается слушателям, что они превращаются в «единственных», что в них поднимается бодрость и дерзание и ко мне несутся волны сочувствия и солидарности.

Анна обратила мое внимание на Штирнера, Елена — на Горького.

Мы как-то беседовали о современной русской литературе, и я высказал удивление и сожаление, что наше время оскудело талантами, что он не выдвигает новых, крупных писателей.

На другой день после этой беседы Елена принесла мне только что полученную с почты очередную книжку «Русского Богатства».

— Я уже ее просмотрела, — сказала она, — и под впечатлением нашей вчерашней беседы прочла рассказ «Челкаш», подписанный именем, которого я еще ни разу не встречала в печати. Вероятно, псевдоним, но псевдоним оригинальный — «Горький». И рассказ оригинальный. В нем чувствуется что-то свежее и, пожалуй, дерзкое. Кто знает, может быть, как раз этот неизвестный Горький и будет тем новым сильным писателем, об отсутствии которого вы вчера тосковали.

Я прочел и взволновался тою радостью, которую я всегда испытывал и испытываю, когда в произведении какого-нибудь неизвестного до тех пор мне автора я улавливаю своеобразие, свежесть, смелость,— одним словом, талант.

Такую радость я испытал, когда, еще будучи студентом петербургского университета, я прочел в «Новом Времени» рассказ Чехова «Ведьма».

Помню, я тогда стал говорить товарищам о появлении нового, большого таланта, но вскоре должен был замолчать под градом насмешек: надо мной издевались, что я в каком-то фельетонисте паскудного «Нового Времени» усмотрел новую литературную силу.

Такую же радость я испытал впоследствии, уже будучи редактором «Жизни», когда прочел рукопись рассказа Леонида Андреева «Рассказ о Сергее Петровиче».

Белокурая Альма не довольствовалась музыкой и литературой, она не умела сидеть, сложа руки. Она помогала мне при лечении моих довольно многочисленных пациентов и, кроме того, устроила в одной из комнат высоковского дома нечто в роде свободной школы грамоты. Я помогал ей в этом деле.

К нам охотно шли ребятишки из соседних деревень и охотно учились, делая значительные успехи.

Но это не понравилось местному священнику, Дмитрию Нарбекову, в церковно-приходскую школу которого крестьяне перестали посылать своих детей.

Про эту церковно-приходскую школу ребятишки, бывавшие там, рассказывали нам разные ужасы, которым и верить не хотелось.

Говорили, например, что отец Дмитрий бьет детей, издевается над ними, а сын его, учитель школы, забавлялся тем, что «прижигал» детей, гася об их голое тело папироски.

Столкновение между нашей школой и школой Нарбекова было неизбежно. Наступление начал Нарбеков.

Сначала он явился ко мне в качестве пациента с целью рекогносцировки. Вид у него был отталкивающий. Серое кривое лицо, злые

косящие глаза, фальшивая улыбка. Жаловался на боли в груди, но я сразу понял, что он притворяется; все же выслушал и выстукал его и сказал, что никаких болезненных явлений не нахожу. Тогда он стал жаловаться на зубную боль. Зубы у него были действительно скверные, но в данное время, вероятно, и они не болели. Я не без коварства положил в дупло одного из зубов вату, намоченную так называемым бальзамом Бормани, приготовляемым из горчицы, перца и спирта. Это крепкое средство вызвало такую острую боль, что батюшка буквально завертелся на месте и запел что-то среднее между «Иже херувимы» и «Достойно есть».

Уходя, он все же успел заглянуть в соседнюю комнату, где в это время Альма учила детей.

На следующий день он явился одетый в новую рясу не как пациент, а как официальное лицо, как наблюдатель за местными школами грамоты.

— У вас в доме, — заявил он, — учат детей. Я, как местный иерей, обязан удостовериться, правильно ли их обучают.

— Какой же неправильности вы боитесь? — спросил я.

— А кто знает? Может быть, здесь приготовляют новых Рысаковых, новых цареубийц.

Я сообразил, что больше разговаривать не следует и нужно дать решительный отпор.

— Ступайте вон! — сказал я повышенным тоном.

Батюшка опешил.

— Как это вон?

— А очень просто. Вот в эту дверь. И чтоб вашего духа больше здесь не было!

Пробормотав какую-то угрозу, Нарбеков подобрал рясу и шмыгнул в указанную дверь.

Дня через два мне сообщили, что Нарбеков, написав какую-то бумагу, отправился с ней в Кострому и, уезжая, говорил писарю на почтовой станции, что меня скоро уберут из Высокого.

Тогда я в сопровождении бывшего учителя церковно-приходской школы, замененного сыном Нарбекова, обошел крестьян, дети которых учились в церковно-приходской школе, и собрал против Нарбекова убийственный материал. Многие крестьяне приглашали меня к себе, когда я ходил по деревням, и жаловались на Нарбекова не только как на заведующего школой, но и как на священнослужителя, который даже в церкви ругается, если ему, по его мнению, платят недостаточно.

Наиболее яркие показания я записывал, и грамотные крестьяне их подписывали.

На основании собранного материала я написал резкую обличительную корреспонденцию, подписал ее своей полною фамилией и вместе с показаниями крестьян отправил ее в редакцию «Недели».

Корреспонденция была напечатана и произвела переполох, так как она ударяла по церковно-приходским школам, в которых, как я писал в своей корреспонденции, воскресают нравы дореформенной бурсы, описанной Помяловским, а это было время обостренной борьбы между школою земскою и школою церковно-приходскою.

Известный публицист К. К. Арсеньев перепечатал ее в своем внутреннем обозрении, которое он вел в «Вестнике Европы». Внутреннее обозрение Арсеньева читали в то время все сановники, читал их и Победоносцев.

Как-то поздно вечером, когда уже все спали, а я засиделся за какой-то литературной работой, к крыльцу нашего дома подлетела тройка и раздался стук в двери.

Через несколько минут передо мной, одетым в поношенную кумачевую рубашку и серые валенки, предстала солидная фигура петербургского чиновника в мундире с Владимиром на шее.

— Могу я видеть г-на Поссе?

— Я самый.

— Очень приятно. Это вы изволили написать корреспонденцию о здешней приходской школе и священнике Нарбекове?

— Да, я.

— Позвольте представиться: статский советник Полозов. Я прислан непосредственно его высокопревосходительством, господином обер-прокурором святейшего синода. Он прочел вашу корреспонденцию в «Вестнике Европы», и она его так взволновала, что он даже заболел. Он прислал меня сюда с тем, чтобы я произвел самое тщательное, беспристрастное расследование всех сообщаемых вами фактов. Если они подтвердятся, то, по желанию его высокопревосходительства, священник Нарбеков должен быть предан суду, а если не подтвердятся, то против вас должно быть возбуждено судебное преследование за клевету и распространение ложных сведений.

Я молчал, одобрительно покачивая головой.

Статский советник продолжал, почему-то скорбно вздохнув:

— Должен признаться, что я уже был здесь и негласно собирал сведения, которые, увы, подтвердили все то, что вы писали, так что, повидимому, придется начать дело против Нарбекова. Это еще больше

огорчит его высокопревосходительство. Ах, напрасно, напрасно, уважаемый господин Поссе, вы это сделали! Зачем вам было писать корреспонденцию. Гораздо было бы проще и лучше, если бы обо всем этом непосредственно написали его высокопревосходительству, который так близко принимает к сердцу интересы народного образования.

— Я написал корреспонденцию, а не донесение господину обер-прокурору, потому, что я свободный публицист, а не чиновник.

— Ах, вот что? В таком случае позвольте откланяться.

Через несколько дней в Высокое приехала какая-то административно-церковная судебная комиссия, в которую входили, между прочим, протоиерей галичского собора и местный исправник.

Началось следствие. Вызвано было в качестве свидетелей до ста крестьян, и все они показывали против Нарбекова, подтверждая факты моей корреспонденции.

Помню, что Нарбеков, несмотря на холод, в одной ряске суетился около дверей дома, где производилось следствие, стараясь уговорить столпившихся крестьян вступиться за него, но все напрасно.

Мне, по правде сказать, было его жаль, но все же, вызванный комиссией, я дал исчерпывающие показания.

По окончании следствия ко мне подошел исправник и сказал:

— Ну, и кашу же вы заварили! Протоерей, когда вы вышли после своих показаний, пробурчал: «Да это не человек, это сам сатана».

Сатана в данном случае победил. Церковно-приходская школа была временно закрыта, сын Нарбекова — лишен права учительствовать, а сам Нарбеков расстрижен.

По окончании дела ко мне приехал исправник и сказал:

— В данном случае вы победили. Но все же я советовал бы вам уехать из наших краев. Уж больно вы всех восстановили против себя своими корреспонденциями. Добро бы вы пробрали священника Нарбекова, а то вы пробираете и председателя управы, и земского начальника; того гляди, и до меня доберетесь.

Я очень сожалел, что совет исправника совпал с такими обстоятельствами моей личной жизни, которые заставили меня покинуть костромскую глушь и поселиться в Петербурге.

Проезжая через Кострому, я узнал, что по распоряжению Победоносцева назначена ревизия всех церковно-приходских школ Костромской губернии.

Ожидался большой скандал, так как многие школы существовали только на бумаге.

# X

# РУССКИЕ НАРОДНИКИ (1896 г.)

В. П. Гайдебуров. — М. О. Меньшиков. — Разрыв с «Неделей». — Н. А. Рубакин. — В народническом «Новом Слове». — С. Н. Кривенко. — В. П. Воронцов. — А. М. Скабичевский. — Поездка за границу. — Раздоры в «Новом Слове». — Переход «Нового Слова» ко мне и Семенову.

По приезде в Петербург я немедленно отправился в редакцию «Недели». Там уже не было Павла Александровича Гайдебурова.

Этот дельный и чуткий редактор, умевший крепко привязывать к своим изданиям сотрудников, которых он считал ценными, скоропостижно умер за своим редакторским столом в конце 1893 г.

Своим наследникам он оставил «Неделю» с ее «Книжками» в блестящем состоянии, с большим числом подписчиков и с очень солидным доходом.

Вдова Павла Александровича, Эмилия Карловна, относилась ко мне очень хорошо, и ей даже хотелось, чтобы я сделался фактическим редактором «Недели». Но на это не мог согласиться старший сын Павла Александровича, Василий Павлович, взявший в свои руки бразды правления после смерти отца.

Вид у В. П. Гайдебурова был худосочный: точно его долго мочили, потом выжали и высушили. Самомнение огромное. Планы широкие. Но способности слабенькие. Хороших редакторских свойств он от отца не унаследовал, но воспринял у него одну скверную привычку: изменять названия присылаемых в редакцию литературных работ, не спрашивая согласия автора.

На этой почве у меня произошло с ним первое «недоразумение». Я прислал в редакцию очерк жизни и творчества Адальберта Шамиссо, чистокровного француза, ставшего одним из любимых национальных поэтов Германии. Очерк этот я назвал попросту «Жизнь и творчество Шамиссо», а в печати он появился под заголовком «Добрый поэт».

— Почему вы назвали его «Добрым поэтом»? — спросил я у Гайдебурова, еще не читая печатного текста. — У меня нет ни одного слова о его доброте.

— Совершенно верно. Но я, чтобы оправдать название, написал сам страничку о его доброте и вставил в ваш очерк.

— Но вы сами-то читали произведения Шамиссо?

— Нет, по правде сказать, ничего не читал.

Я сдержал свое возмущение, но на другой день, прочитав гайдебуровскую страничку о доброте Шамиссо, страничку изрядно пошлую, я пришел в редакцию и сказал Гайдебурову:

— Вы написали такую страничку, что теперь читатели моей статьи будут говорить: поэт-то, может быть, и добрый, а критик, который писал о его доброте, наверное глупый.

Еще при жизни Павла Александровича в «Неделе» обосновался М. О. Меньшиков. Этот тщедушный человечек изливал из себя бесконечные потоки статей на всевозможные темы. Стиль у него был ровный, гладкий, закругленный, но чрезвычайно водянистый. Убеждений он в то время держался толстовских, при чем учение о непротивлении злу доводил до абсурда. Даже в бегстве зайца от преследующего его волка он видел противление: зайцу не следовало бежать, а лечь перед волком и, помахивая лапками, делать ему умильную рожицу; тогда волк бы его пощадил. Это был, конечно, символ, но символ много говорящий в тогдашних русских условиях.

В редакции Меньшикова все не любили. Эмилия Карловна прямо его не выносила. Но с Меньшиковым приходилось считаться, так как статьи его нравились большинству подписчиков «Недели» уже по одному тому, что были написаны хорошим русским языком и местами не лишены красочности.

Я не могу пожаловаться на плохое отношение к себе Меньшикова. Могу скорее сказать, что Меньшиков переоценивал мои литературные способности, утверждая, что у меня несомненный беллетристический талант, который я забиваю публицистикой. Он мне советовал писать не полу-беллетристические бытовые очерки, а чисто художественные повести и романы.

К этим советам я прислушивался уже по одному тому, что мною еще за границей был задуман и даже продуман роман, в котором я хотел вывести человека высоко одаренного, заболевающего в момент разгара своего творчества прогрессивным параличом. Я хотел показать, как постепенно вместе с разрушением наиболее тонких элементов головного мозга разрушается личность человека, при чем прежде всего исчезают самые тонкие проявления культурности и морали.

Очень вероятно, что я, действительно, и пошел бы по пути беллетристики, если бы остался постоянным сотрудником «Недели». Но я не ужился с Василием Павловичем Гайдебуровым, и последнее столкновение с ним произошло потому, что он отложил до следующего номера какую-то мою статью, пустив вместо нее статью Меньшикова.

В этом столкновении я был чересчур придирчив. Эта придирчивость объяснялась тем, что у меня нарастало недовольство

направлением «Недели». При Павле Александровиче Гайдебурове «Неделя» была органом демократическим с налетом прогрессивного народничества. Под редакторством Василия Павловича она постепенно теряла всякое направление.

Разорвав с «Неделей», работа в которой меня вполне обеспечивала, я должен был искать заработка.

В последний раз передо мною встал вопрос о выборе между медициной и литературой. И я выбрал литературу.

Но о романе приходилось забыть, так как он, по моему плану, требовал большой и долгой подготовительной работы, а мне нужен был немедленный заработок, немедленный гонорар, чтобы семья моя не голодала.

Этот заработок я нашел в народническом «Новом Слове», вокруг которого группировались наиболее правоверные из народников, сотрудничавших прежде в «Отечественных Записках», а затем в «Русском Богатстве».

Из «Русского Богатства», в котором главную скрипку играл самый талантливый из публицистов «Отечественных Записок» Николай Константинович Михайловский, они были вытеснены свежими народническими силами, в том числе Владимиром Галактионовичем Короленко.

Самым молодым и самым талантливым из сотрудников «Нового Слова» был Николай Александрович Рубакин. Он в то время редактировал издания Ольги Николаевны Поповой, богатой дамы-просветительницы, на средства которой было куплено у Баталина, того самого Баталина, который писал доносы на мой гимназический журнал, захудалое «Новое Слово» и преобразовано в толстый народнический журнал.

С Н. А. Рубакиным я познакомился, если не ошибаюсь, в кружке по народному образованию, собиравшемся у Александры Михайловны Калмыковой. Рубакин был очень живой, разносторонне образованный молодой человек, коренастый, с большой русой головой, поставленной, как бы без шеи, прямо на широкие плечи.

Отец его был, кажется, купцом, и на нем самом был какой-то купеческий отпечаток, у него самого была коммерческая предприимчивость, но она как бы переродилась в предприимчивость просветительную под влиянием страстной любви к хорошей книге.

Рубакин всегда жил и до сих пор живет среди книг, но книгами своими и чужими он связался с широкой читательской массой.

Н. А. Рубакин, узнав о моем выходе из «Недели», уговорил меня войти в число сотрудников «Нового Слова», которому, по его словам,

был необходим приток свежего воздуха. Он познакомил меня с О. Н. Поповой и фактическим редактором «Нового Слова» Сергеем Николаевичем Кривенко [38].

Они встретили меня радушно и предложили мне редактировать отдел «писем из провинции» и давать обзоры детской и педагогической литературы. Это было совсем не то, чего я желал бы, но все остальные отделы были прочно заняты старыми сотрудниками.

Раз в неделю устраивалось нечто в роде редакционного совещания, в котором принимали участие все постоянные сотрудники журнала. Совещания эти производили на меня впечатление чего-то унылого: мне казалось, что здесь хоронят умершую идею народничества с его верой в особые пути русского народа, пути, ведущие к социализму, минуя капитализм, с его верою в русскую общину и русскую артель, как ячейки социалистического строя.

Поругивали марксистов, но поругивали вяло. Оживленнее поругивали друг друга.

Сергей Николаевич Кривенко, тяжеловесный человек южного типа, с лысеющей головой, со смуглым лицом, обросшим густою, черною растительностью, с большими, густыми бровями, из-под которых смотрели глаза, не то испуганные, не то сконфуженные, занимал, обыкновенно, оборонительную позицию. Он ежился, как от щекотки, когда на него наскакивал Василий Павлович Воронцов, составивший себе имя под инициалами В. В.

Василий Павлович Воронцов в молодости окончил медицинский факультет и был недолгое время земским врачом, но вскоре совсем забросил медицину и отдал все свои силы изучению экономических вопросов и, специально, хозяйственной жизни России. Он написал ряд серьезных работ о своеобразных судьбах русского капитализма [39]. Это был человек убежденный, искренний. И наружность у него была славная. Уже немолодой, с сединой, почти скрывшей рыжий цвет волос, с нервным лицом, с умными, честными, но как бы усталыми глазами.

Он жестоко критиковал журнал, находя его недостаточно боевым и слишком скучным, но сам же подбавлял балласту своими тяжеловесными экономическими статьями.

Молчаливою бонзою сидел толстый, опустившийся А. М. Скабичевский. Жирное, лоснящееся лицо, жидкая мочалистая бородка, как бы приклеенная, длинные, бесцветные, прямые волосы, спускающиеся на плечи, маленькие заплывшие глаза, покрытые красными жилками. Он, казалось, всегда дремал и, когда к нему обращались с вопросом, вздрагивал и что-то невнятное бурчал своим беззубым ртом.

Он заведывал беллетристическим отделом и писал бесцветные критические статьи, в которых суконным языком излагал произведения разбираемых авторов.

Бесцельно вертелся беззаботный старичок В. А. Тимирязев, соединявший обязанности столичного мирового судьи с обязанностями переводчика английских романов и составителя иностранных обзоров, в которых преобладали мелочи и курьезы заграничной жизни.

Иронически поглядывал самодовольный Щепотьев, солидный чиновник министерства финансов и случайный литератор.

Хорохорился бездарный профессор В. Яроцкий.

Солидно и скромно держался примирительно улыбающийся, рослый и статный Евгений Дмитриевич Максимов, занимавший какой-то видный, но политически-безобидный пост в Министерстве Внутренних дел. Писал он много и длинно, как под своей фамилией, так и под псевдонимом «М. Слобожанин».

Впрочем, все сотрудники «Нового Слова» писали так много и длинно, что перед составлением каждой книжки С. Н. Кривенко в отчаянии хватался за голову, не зная, как упрятать в толстый журнал массу «обязательного» материала. Конечно, материал этот был обязателен не в глазах читателей, а в глазах авторов, но Сергей Николаевич, человек десятка не храброго, считался не с читателями, а с писателями, которые на него наседали и ругали, если статьи их не помещались или сокращались.

Особенно настойчиво наседал на С. Н. Кривенко Леонид Егорович Оболенский, коротконогий, толстый и лысый господин, в моменты раздражения и волнения смешно жестикулировавший своими короткими руками, с толстыми растопыренными пальцами. Он был когда-то основателем и редактором «Русского Богатства», и считал себя обиженным и непризнанным если не гением, то большим талантом в области философии и критики.

Из беллетристов на собраниях бывали великолепный Василий Иванович Немирович-Данченко с прекрасно окрашенными черной краской волосами, аккуратно разделенными прямым пробором, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, увесистый мужчина с типичным лицом алкоголика, Н. Пружанский, старый еврей с серым измятым лицом под шапкой курчавых седых волос, совершенно выцветший худощавый старик Засодимский и другие. Из молодых начинающих беллетристов помещали свои рассказы И. Бунин, А. Серафимович, В. Савихин и др. Появился и М. Горький, приславший рассказ «Тоска».

Я прочел «Тоску» еще в рукописи. Она утвердила мое убеждение, что в лице М. Горького выступает свежий талант, своеобразно

освещающий мало обследованные области русской жизни, талант, выявляющий новые типы и замечающий новые черты в старых типах.

Как раз в это время я был приглашен А. Я. Острогорским вести «Журнальное обозрение» в его «Образовании», которое он хотел постепенно превратить из журнала специально педагогического в общественно-литературный.

Чуть ли не первое обозрение я посвятил «Челкашу» и «Тоске» Горького. Это была первая статья о Горьком в русской печати.

В ней я, между прочим, указал, что Горький, вероятно, человек из народных низов, человек, прошедший, а, может быть, еще и проходящий тяжелый путь нужды. Было бы печально, — писал я, — если бы развитие его таланта приостановилось из-за недостатка материальных средств, из-за недостатка досуга, необходимого для серьезного художественного творчества.

Вскоре после напечатания этой статьи в редакцию «Образования» на мое имя пришло письмо от одного из нижегородских врачей, фамилию которого я, к сожалению, забыл. Он писал, что я угадал тяжелое материальное положение А. М. Пешкова, пишущего под псевдонимом М. Горький.

Молодой писатель, по словам врача, болен тяжелой формой туберкулеза, ему необходимо лечиться, необходимо ехать на юг, а средств нет.

Получив это письмо, я через своего брата обратился в Литературный фонд. Горькому было выслано пособие в 800 рублей. У меня, в связи с письмом нижегеродского врача, завязалась переписка с Горьким, вскоре приобревшая дружеский характер.

Но об этом речь впереди. Возвращаюсь к «Новому Слову». Книжки его пухли, но подписка не росла.

Н. И. Скороходов, владелец типографии, где когда-то печатались «Отечественные Записки», а теперь «Новое Слово», заходя в редакцию, зловеще говорил Сергею Николаевичу Кривенко:

— Смотрите, как бы ваше детище не умерло от водянки. Берите качеством, а не количеством.

Но где взять это качество?

Сергей Николаевич конфузился и ежился все сильнее, тем более, что его начал довольно грубо «щекотать» уже не Василий Павлович Воронцов, а муж издательницы О. Н. Поповой — Александр Николаевич Попов, подписывавший журнал, как официальный редактор.

Этот неглупый, энергичный и деловой человек с военной выправкой бывшего офицера и с прогрессивными взглядами бывшего боевого

земца, благоговел перед своей тщеславной и капризной супругой, но все же не одобрял слишком дорогих литературных затей.

«Новое Слово» съело уже более 40.000 рублей из капитала, полученного Поповой после смерти ее очень богатой матери, а аппетит его все возрастал. Убытку не видно конца.

А. Н. Попов запротестовал. Закапризничала и Ольга Николаевна, сердито подбирая губы, когда Сергей Николаевич боязливо прикладывался к ее ручке.

Я старался поддерживать добрые отношения как с С. Н. Кривенко, так и с Поповыми, но невольно стал причиною обострения их отношений.

Поповы хотели, чтобы я принял возможно более деятельное участие в журнале, а С. Н. Кривенко, внешне друживший со мною, боялся меня, как марксиста, могущего нарушить цельность направления.

Чтобы разрядить атмосферу и набраться новых впечатлений, я отправился за границу с поручением переговорить с рядом германских ученых о сотрудничестве в научном отделе «Нового Слова».

Мне удалось заручиться согласием профессоров Геккеля, Ферфорна, Циэна, Рейна и др.

Попутно я собрал материал для своих статей о жизни тогдашней Германии. Я присутствовал на нескольких заседаниях рейхстага, из которых одно считалось «историческим», целую неделю провел на съезде (партейтаге) германской социал-демократической партии в Готе, следя с огромным интересом за внутрипартийной борьбой, побывал на рабочих собраниях и т. д.

Неделя, проведенная на Готском партейтаге, не прошла для меня бесследно. Она закрепила мои социал-демократические убеждения.

В Россию я возвращался социал-демократом, но социал-демократом не догматиком, а диалектиком, желающим учиться не столько у авторитетов, сколько у самой, противоречиями развивающейся, жизни.

В этом духе были написаны мои статьи о «Жизни современной Германии», напечатанные в ноябрьской и декабрьской книжках «Нового Слова» за 1896 год.

Эти статьи очень понравились А. Н. Попову.

— Вы открыли, — говорил он мне, — дверь в наш затхлый журнал, и в него ворвались волны воздуха и света.

Зато народники были очень недовольны. Открыто недовольство высказал, насколько помню, один только Щепотьев.

Между тем конфликт между редакцией и Поповыми все обострялся. В основе конфликта лежали не принципиальные разногласия, а убыточность журнала.

Поповы в данном случае справедливо думали, что капитал их может найти лучшее и более полезное для народного просвещения назначение, чем поддержка журнала, не имеющего ни влияния, ни успеха.

В январе 1897 года О. Н. Попова заявила Сергею Николаевичу Кривенко, что она отказывается от своих издательских прав и обязанностей и готова передать ему журнал в собственность, не требуя возмещения произведенных затрат.

Для ответа был установлен какой-то довольно короткий срок.

Заявление Поповой поставило Кривенко в крайне затруднительное положение, тем более, что отказ Ольги Николаевны от издательства сопровождался отказом Попова от оффициального редакторства.

Найти редактора достаточно благонадежного для утверждения его Главным управлением печати было не легко, но еще труднее было найти капитал для продолжения убыточного издания.

Е. Д. Максимов сделал попытку примирить Поповых с Кривенко, но она потерпела неудачу.

Срок истек, Кривенко молчал.

В редакции между Кривенко и ближайшими сотрудниками шли какие-то таинственные переговоры, от которых я был устранен. Все же я нашел нужным поговорить с Кривенко и посоветовать ему сначала взять журнал у Поповой, а затем уже искать капитал и редактора.

Но Кривенко ежился и на это решиться не мог. Попова же надумала подарить журнал Литературному фонду или даже передать его Н. К. Михайловскому, хотя после раскола в «Русском Богатстве» была с ним в натянутых отношениях.

Между тем, у меня зародилась мысль, не взять ли журнал в свои руки и не попытаться ли создать из него первый марксистский журнал.

Полу-шутя, полу-серьезно я заговорил об этом с молодым провинциальным сотрудником «Нового Слова» Михаилом Николаевичем Семеновым, приехавшим на время в Петербург из Рязанской губернии.

Это был высокий белокурый парень, с длинным скуластым лицом, без усов и бороды, с уверенным и, пожалуй, даже несколько наглым взглядом больших голубых глаз.

Побочный и, вероятно, заброшенный сын либерального сенатора, Семенов законченного образования не получил, читал много, но беспорядочно, корреспонденции писал довольно красочно; считал себя марксистом, хотя Маркса и не читал. Называл он себя народным учителем, но учительствовал очень недолго, и теперь тянулся к писательству. Побывав на собраниях сотрудников «Нового Слова», объявил народничество мертвечиной.

Мне он почему-то нравился, и мы почти сдружились.

За мою мысль взять в свои руки «Новое Слово» он радостно ухватился и рассеял все мои сомнения.

— Надо знать, чего хочешь, — говорил он. — А раз знаешь, то надо действовать быстро и решительно. Редактор? Редактором согласится остаться Попов — он вас любит и ценит. Средства? Подписка поднимается, в розницу пустим. В крайнем случае я свою «Алмазовку» продам. Мне от отца досталось именьице «Алмазовка».

«Алмазовка» была для меня доводом наиболее убедительным, но я до сих пор не знаю хорошенько, существовала ли эта «Алмазовка» в действительности, и если существовала, то мог ли ею распоряжаться Михаил Николаевич Семенов.

Во всяком случае ничем реальным «Алмазовка» себя не проявила, но, как миф, она сыграла не маловажную роль.

Наш разговор происходил в столовой Александрова на углу Знаменской и Невского. Эту столовую когда-то указал мне С. Н. Кривенко, и мы в ней с ним несколько раз обедали. Вспомнил я это, и в душе поднялось чувство какой-то неловкости.

Но Семенов не дал мне долго раздумывать.

Прямо от Александрова мы поехали к Поповой, которая занимала особняк на Каменноостровском.

Наше неожиданное предложение купить журнал сначала удивило и смутило Поповых.

— Откуда вы, — спрашивали они, — возьмете средства на дальнейшее ведение журнала? Да и отдать его нам совсем даром — обидно. Кривенко — дело другое; с ним особые счеты. Литературный фонд — дело общественное, а вы, конечно, люди милые, хорошие, но все же...

Тут на сцену снова появилась рязанская «Алмазовка» и произвела надлежащий эффект.

— Мы не хотим брать журнал даром, мы его покупаем, — заявил Семенов. — Мы обязуемся вернуть все ваши затраты. Сколько вы понесли убытков?

— Сорок восемь тысяч!

— Хорошо, мы их обязываемся выплачивать вам в рассрочку, начиная с будущего года из подписки, а если подписка пойдет слабо, то я продам свое рязанское имение «Алмазовку».

Попова согласилась.

При составлении договора я настоял на внесении в него пункта, по которому мы с Семеновым освобождались от выплаты понесенных Поповой убытков в случае закрытия журнала правительством. Кроме того А. Н. Попов обязался остаться официальным редактором журнала.

С подписанным договором мы с Семеновым, радостно взволнованные, поехали ко мне на квартиру.

— Милый человек, — сказал Семенов, обращаясь к нашему извозчику, — знаешь ли ты, кого ты везешь?

— Почему мне знать?

— Ты везешь людей, которые только-что купили толстый журнал, понимаешь ли, — журнал, и журнал этот они сделают таким смелым и сильным, что он всю нашу жизнь перевернет. Понимаешь, брат?

— Где нам понимать? Видим только, что господа вы простые и веселые.

На другой же день Семенов поехал к Кривенко и сообщил ему о приобретении журнала и о том, что фактическое редакторство поручается мне.

Вечером ближайшие сотрудники «Нового Слова» собрались в редакцию на совещание. Редакционный сторож рассказывал мне, что собрание было очень бурное.

— Бедного Сергея Николаевича, — говорил он, — совсем заклевали.

На этом собрании, как вскоре выяснилось, было решено поместить в газетах заявление о коллективном выходе из состава сотрудников «Нового Слова» и привлечь Ольгу Николаевну Попову к суду чести, который незадолго перед тем образовался при союзе писателей.

Заявление о выходе из состава сотрудников, помещенное 13-го февраля 1896 года в «Новом Времени» и др. газетах, было подписано С. Кривенко, А. Скабичевским, В. В., В. Тимирязевым, В. Яроцким, Вас. Немировичем-Данченко, Н. Рубакиным, Я. Абрамовым, Л. Оболенским, К. Тимирязевым, К. Станюковичем и С. Щепотьевым.

Судили Попову известный адвокат и писатель, бывший профессор Военно-Юридической академии Спасович, профессор Военно-Медицинской академии, редактор «Врача» Манассеин и профессор физики в Петербургском университете Фандерфлит.

Суд продолжался несколько дней. Ольга Николаевна Попова не явилась, ссылаясь на болезнь, и ее замещал Александр Николаевич Попов.

В качестве обвинителей выступали Скабичевский и Абрамов. Свидетельские показания давали Кривенко и ближайшие сотрудники «Нового Слова», в том числе, конечно, и я.

Не помню всех перипетий этого суда. У меня сохранилось только впечатление, что наиболее жалкая роль выпала на долю бедного Сергея Николаевича Кривенко, против желания которого была устроена вся эта судебная комедия.

Скабичевский, помню, жаловался на то, что ему были обещаны золотые годы, а вместо того он получал лишь жалкие сто рублей в месяц жалованья.

Филиппики Оболенского против Поповой, не дававшей ему хода, были оборваны А. Н. Поповым, представившим суду письмо С. Н. Кривенко, в котором тот говорил о необходимости сократить слишком плодовитого Оболенского.

О. Н. Поповой было вынесено порицание голосами Манассеина и Фандерфлита против голоса председателя суда Спасовича, который остался при особом мнении, не находя никаких оснований для обвинения Поповой в нарушении каких бы то ни было обязательств, обещаний или правил писательской этики.

Манассеин и Фандерфлит свое порицание мотивировали какими-то шестью нравственными основаниями.

После суда А. Н. Попов выпустил брошюру, в которой основательно высмеял эти шесть нравственных оснований [40].

От меня С. Н. Кривенко и ближайшие сотрудники «Нового Слова» сначала шарахались, как от зачумленного. Но впоследствии с большинством из них у меня наладились хорошие отношения.

В 1899 году, когда я сделался редактором «Жизни», С. Н. Кривенко передал мне через одного из моих друзей дружеский привет и пожелание успеха.

С Василием Павловичем Воронцовым мы встретились в 1901 году за границей и дружески беседовали.

Н. А. Рубакин сделался сотрудником редактируемой мною «Жизни для всех» и очень положительно отзывался обо мне, как писателе, в своем труде «Среди книг».

Хорошее отношение я встречал и со стороны Василия Ивановича Немировича-Данченко и В. А. Тимирязева.

Что касается до народнической молодежи, то она вообще не порывала со мной отношений.

С группой этой молодежи я особенно сблизился летом 1896 года, когда мы вместе жили в деревне около станции Сиверской. Это были

юноши и девушки, приехавшие из Сибири, где их в народническом духе распропагандировали бабушка революции Е. К. Брешко-Брешковская, Зайчневский и другие ссыльные революционеры.

Из этой молодежи впоследствии образовалась одна из первых, если не первая, ячейка партии социалистов-революционеров.

Руководящую роль играл тогда В. В. Леонович, безусый юноша, малообразованный, но очень стойкий в своих революционно-народнических убеждениях и тогда уже готовый к самым решительным действиям. Леонович принимал впоследствии участие в боевой дружине социалистов-революционеров.

Один из главных руководителей политической полиции при царском режиме Л. А. Ратаев в одном из своих донесений директору департамента полиции Зуеву, донесении, опубликованном «Былым», дает довольно верную характеристику Леоновича.

«Я давно хорошо знаю этого Леоновича. Знаю, что он фанатик, изувер, террорист, все что угодно, но знаю *также*, что в общепринятом смысле он человек искренний и чистый, совершенная противоположность другому близкому приятелю Азефа — Борису Савинкову».

Такая характеристика еще более подходила к другому юному народнику — Мельникову, студенту Горного Института.

У блондина Леоновича в мелких и расплывчатых чертах лица было что-то девичье. У черноволосого, смуглого Мельникова в резко очерченной нижней части лица и в черных глазах, притаившихся за узкими щелями век, было что-то мрачное и суровое.

Леонович любил поспорить и придавал не малое значение своим «пробам пера», не выходившим за пределы мелких журнальных заметок и рецензий. Мельников был молчалив, внимательно слушал, но не возражал, оставаясь при своем мнении.

Оба с азартом играли в лапту.

Леонович пошел в ссылку. Мельников, судившийся вместе с Гершуни, — в многолетнюю каторгу, где, кажется, и погиб.

Будущего лидера социалистов-революционеров В. М. Чернова на Сиверской не было. Он жил в Тамбове, откуда корреспондировал в «Новое Слово».

С. Н. Кривенко очень ценил его и говорил, что такие юнцы, как Чернов, «вскоре заткнут нас, стариков, за пояс».

Чернов не вышел из числа сотрудников «Нового Слова»: его «письма из Тамбова» печатались и при новой, «марксистской» редакции.

## XI

## У ИСТОКОВ ЛЕГАЛЬНОГО МАРКСИЗМА (1897 г.)

Марксистское «Новое Слово». — П. Б. Струве. — А. М. Калмыкова. — «Коновалов» М. Горького. — Струве об утопистах. — Мои «Иностранные обозрения». — Ленин об успехе «Нового Слова». — Статьи Ленина о Сисмонди и о народниках. — Плеханов о «судьбах русской критики». — С. Н. Булгаков. — В. Я. Богучарский. — «Инвалиды» Чирикова. — Последняя книжка «Нового Слова». — Адрес Эмилю Золя. — Ответ Струве Михайловскому и Мякотину. — Закрытие «Нового Слова». — Струве о «разделении труда».

Народническое «Новое Слово» умерло. Смерть его дала жизнь марксистскому «Новому Слову». Первый марксистский журнал! Знаменательная веха не только в истории русской журналистики, но и в истории революционного движения.

После того, как переход «Нового Слова» был оформлен, при чем из цензурных соображений издателем в Главное управление по делам печати был заявлен один только Семенов, я отправился к Петру Бернгардовичу Струве для переговоров об организации новой редакции и о привлечении в «Новое Слово» сотрудников-марксистов.

Струве я знал, когда он был еще гимназистом, так как одна из моих сестер была замужем за его старшим братом Василием Бернгардовичем, директором Московского Межевого Института.

Высокий юноша с большими отвислыми ушами, которые впоследствии старательно прятались под пышной рыжей шевелюрой, ходил несколько сгорбившись. Вид у него был важный, как у человека, который «дум великих полн».

На собеседника смотрел сначала рассеянно, но быстро оживлялся, и лицо его освещалось милой детской улыбкой. Эту улыбку Петр Бернгардович сохранил и в зрелые годы, когда лицо его обросло густою рыжею бородою, а осанка стала еще более ученой.

Говорил он, запинаясь, как бы с трудом выдавливая каждое слово, оттого, несмотря на все свои старания, хорошим оратором сделаться не мог.

Много и серьезно читал и очень рано встал в оппозицию к своей матери, бывшей губернаторше, урожденной баронессе Розен. Дедом с отцовской стороны, знаменитым астрономом, очень гордился [41], а столбовым дворянством слегка тщеславился: по крайней мере, свои немецкие статьи подписывал не просто Peter Struve, а Peter von Struve (Петр фон Струве), как дозволяется только дворянину.

Немецкий язык знал так же хорошо, как и русский; сначала учился в Германии, в Штутгарте, где жили его родители, после того, как отец сенаторской ревизией был устранен от должности пермского губернатора [42].

По возвращении в Россию поступил в одну из петербургских гимназий и после смерти отца ушел от матери и поселился у своего товарища Калмыкова, сына сенатора. Жена сенатора Александра Михайловна Калмыкова, дама просвещенная, интересующаяся делом народного образования, оценила и полюбила талантливого юношу. Сенатор вскоре умер, молодой Калмыков по окончании образования куда-то уехал. Молодой Струве и сенаторша Калмыкова жили вместе, были неразлучны.

Калмыкова говорила Струве «ты» и называла «Петей»; он говорил ей «вы» и называл «Александрой Михайловной». Влияние было взаимное. Сначала сильнее было влияние Калмыковой, но вместе с ростом личности Струве возрастало и его влияние на Александру Михайловну. Не Калмыкова сделала Струве марксистом, а, наоборот, Струве сделал Калмыкову марксисткой. Маркса Калмыкова не изучала, но она, так сказать, всей душой поверила в марксизм из любви к Пете. Поверила и оказалась более стойкой марксисткой, чем Струве.

С Калмыковой я встречался чаще, чем со Струве, так как в конце 80-х годов принимал участие в ее кружке народного образования, от которого юноша Струве держался в стороне.

В первый раз серьезно побеседовать со Струве мне пришлось уже по моем приезде из-за границы после окончания медицинского образования. Струве, тогда еще, если не ошибаюсь, не окончивший университет, уже приобрел известность своими «Критическими заметками», первой русской легальной книгой, направленной против народничества.

Книга эта, с ее призывом «итти на выучку к капитализму» и «вывариваться в фабричном котле», с ее утверждением, что при русских условиях возвращение к крепостному праву — меньшая утопия, чем установление социалистического строя, — казалась мне одновременно и революционной, и реакционной. Не мог я также осмыслить утверждения Струве, что интеллигенция является «quantité négligeable» — «невесомой величиной», с которой можно не считаться, и что личность не играет никакой роли в истории. Как раз по поводу роли личности в истории у нас и загорелся жаркий спор.

Помню, я ставил вопрос приблизительно так: Неужели такая сильная личность, как Петр I, облеченная неограниченною властью,

не сыграла никакой роли в смысле ускорения хозяйственной, а вместе с тем и общественно-политической жизни России?

Струве отвечал приблизительно так: зато после Петра I было затишье, и в результате получилось то, что было бы и без гениальной личности Петра.

Такой ответ показался мне мало убедительным.

К соглашению мы не пришли, и Струве закончил спор хорошо запомнившейся фразой:

— Как бы то ни было, мы, марксисты, правы, потому что мы стоим на крайнем левом фланге. Кто левее, тот и правее.

Эта фраза мне понравилась. Она вертелась в моей голове, когда я шел к Струве для переговоров об организации марксистского «Нового Слова».

Струве выслушал меня внимательно. Несомненно обрадовался, но старался не показать этого. Ничего определенного не сказал: надо, мол, раньше посоветоваться с Александрой Михайловной и Михаилом Ивановичем Туган-Барановским, тоже уже известным «учеником» Маркса.

Через несколько дней у Калмыковой состоялось совещнаие, в котором, кроме Струве, Калмыковой, Туган-Барановского и меня, принял участие приглашенный Калмыковой инженер - предприниматель Н. Г. Михайловский, поместивший в «Русском Богатстве» автобиогрифическую повесть «Детство Темы», под псевдонимом Гарина.

Про Михайловского-Гарина в журнальных кругах говорили, что он, беря на подряд постройку железных дорог, «зарабатывает» бешеные деньги и бросает десятки тысяч на кутежи; говорили также, что он сочувствует марксизму.

«Детство Темы» я читал, и оно мне понравилось, но автор его Н. Г. Гарин-Михайловский не понравился. Изящный, красивый, с бледно-желтым изношенным лицом, с усталыми глазами, он производил впечатление человека, избалованного женщинами, самовлюбленного. Пахло от него шампанским и хорошим обедом.

На совещании он взял командный тон, вообразив себя хозяином журнала, и сразу назначил Струве радактором. Много говорил о себе. Называл себя «истинным» марксистом, марксистом не на словах, а на деле, уже по одному тому, что он строит железные дороги и, таким образом, способствует развитию капитализма в России. Когда речь зашла о материальных средствах, необходимых для журнала, Н. Г. Михайловский совсем распоясался, хвастался громадными капиталами, которыми он ворочает, наобещал с три короба, но не дал ни копейки и на следующее совещание не явился. Пришлось раскошелиться

Александре Михайловне, которая считала, что у Пети должен быть «свой» журнал, чтобы он мог настоящим образом развернуть свой талант.

Мы пришли к соглашению, что редакция будет состоять из пяти лиц: Струве, Калмыковой, Туган-Барановского, Семенова и меня. Главным редактором, своего рода премьер-министром, был признан Струве. Мне поручался отдел иностранной жизни; кроме того, я в начале заведывал отделом беллетристическим, который вскоре должен был уступить Калмыковой; Семенову дали отдел писем из провинции; Туган-Барановский был министром без портфеля, но вместе со Струве просматривал статьи научного характера.

Первая книжка «Нового Слова» под новой редакцией вышла в марте 1897 года. Она начиналась рассказом М. Горького «Коновалов».

Мне стоило не мало труда убедить Горького остаться сотрудником «Нового Слова» после происшедшего переворота. Горький тогда не сочувствовал марксизму, который, по его мнению, принижал человеческую личность. Горький писал мне, чтобы и я не шел к марксистам, «на совет нечестивых». Но в конце концов все же из дружеского чувства ко мне оставил «Коновалова», присланного еще в редакцию старого состава.

Мне тогда очень нравился этот превосходный рассказ, да и до сих пор я считаю его одним из лучших произведений Горького.

Струве, напротив, находил его мало художественным и «авторитетно» заявлял, что повесть эстонского писателя Вильде «Задаток жениха», перевод которой был помещен в той же мартовской книжке, во всех отношениях неизмеримо выше рассказа Горького.

Уверен, что огромное большинство читателей — и марксистов, и не марксистов — было в данном случае на моей стороне, а не на стороне Струве, и большой успех, выпавший на долю мартовской книжки «Нового Слова», отчасти объясняется именно тем, что ее, так сказать, возглавлял «Коновалов» Горького.

Конечно, не в этом рассказе нужно было искать новое направление журнала. Новое направление ярче всего было выявлено в статье Струве «Наши утописты», которой он под псевдонимом «Novus» начинал ряд своих публицистических статей под общим названием: «На разные темы».

Написана она была блестяще. В ней сказался весь тогдашний Струве с его ясной головой, огромной эрудицией и публицистическим талантом. Сжато и ярко обрисовал он духовное творчество Маркса, в котором, как в мощном потоке, сплелись великие умственные течения: идеалистическая немецкая философия и ее позитивистическое

отрицание в лице Фейербаха, французский социализм и английская политическая экономия.

Одновременно Струве нанес убийственные удары и Слонимскому, который «опровергал» Маркса, и Николаю-ону, который признавал и восхвалял Маркса, но не понимал его, и Южакову, который приписывал Марксу свои собственные никудышные мысли.

Досталось и В. В. (В. П. Воронцову), про которого Струве зло заметил:

«Когда я думаю о нем, мне всегда приходят в голову слова: «So klein du bist so gross bist du Phantast». А в вольном переложении на русский язык и в ближайшем применении к г. В. В. это значит: Ты большой фантазер, но фантазия у тебя небольшая. Так, примерно: хозяйственный мужик и прогрессивные течения, да немножко артелей из благонадежных в экономическом и прочих отношениях кустарей».

М. И. Туган-Барановский поместил в первой книжке довольно вялую, но марксистски выдержанную статью «О влиянии низких хлебных цен».

В обзоре заграничной жизни я старался на примере «разрешения» великими державами восточного вопроса показать всю лживость и лицемерие хороших слов о всеобщем благе и мире, которыми прикрывается всегда хищная дипломатия. Я рассказал о голоде и чуме, которые свирепствовали тогда в Индии, и о многолюдном лондонском митинге, на котором не только индусы, но и лучшие представители английского рабочего класса требовали освобождения Индии от проклятого английского ига.

Я приводил речь социал-демократа Гайндмана, который возлагал на английское правительство ответственность за восемь миллионов жизней, уносимых голодом, и речь Томаса Мена, призывавшего индусов вести агитацию против английского правительства повсюду: и в городах, и в деревнях, по дорогам и в мастерских.

Я рассказывал о том, как германскому министру иностранных дел барону Маршалю пришлось бежать от интриг политической полиции под защиту гласного суда. Я приводил прения в германском рейхстаге по поводу военного бюджета, во время которых прозошел словесный поединок между Бебелем и пушечным королем Штумом.

Я приводил данные о выборах в австрийский рейхсрат, при которых рабочая партия одержала очень значительные победы. Коснулся я и французской политической жизни, где в то время шла борьба с католическим духовенством.

Я старался как можно шире охватить заграничную жизнь, возможно ярче нарисовать отрицательные стороны капиталистического

гнета и в то же время подчеркнуть возможность легальной борьбы с их наиболее отвратительными проявлениями, той борьбы, которая была так затруднена при самодержавном режиме.

В том же направлении я вел и последующие обзоры заграничной жизни, которые я, начиная с майской книжки, стал называть «иностранными обозрениями».

Эти обозрения, которые я подписывал инициалами «В. П.», судя по письмам в редакцию и отзывам моих друзей и товарищей, усиленно читались передовою молодежью и считались марксистскими, но Плеханов, по словам Струве, нашел в первом из них что-то очень еретическое. Это был первый выпад Плеханова против меня, потом их было очень много в течение всей моей общественной и литературной деятельности; я, впрочем, не оставался в долгу.

Главному управлению по делам печати мои обозрения очень не нравились, как об этом заявил нашему официальному редактору А. Н. Попову начальник главного управления Соловьев, вызывавший его в связи с конфискацией августовской книжки.

Не помню уж, какое место моего августовского обозрения показалось главе цензурного ведомства особенно опасным, так как страницу с этим опасным местом мы должны были вырезать и заменить ее другой, чтобы освободить конфискованную книжку [43].

И у меня сохранился только экземпляр уже исправленный.

Но и в урезанном виде мое тогдашнее обозрение поражает меня теперь своим «вольным духом».

Когда августовская книжка вышла в свет, в редакцию пришел Лонгин Федорович Пантелеев, старый друг Чернышевского, сильно встревоженный. Увидя меня, он с радостным изумлением воскликнул:

— Как, вы на свободе? А я был уверен, что вся редакция арестована после того, что вы написали в своем «Иностранном обозрении»!

Возможно, что мое обозрение было бы сильно урезано, если бы августовскую книжку выпускал осторожный П. Б. Струве. Он, вероятно, кроме того, усмотрел бы в нем анархический уклон. Но Струве в это время был за границей, и выпустил книжку я, в качестве заместителя главного редактора. Характерно, что начальство обозлила как раз эта книжка, в которой не было ни одной строки Струве и которая им не составлялась.

В августовской книжке, кроме моей статьи, начальством, как зловредное, была отмечена еще статья молодого публициста Сергея Андреевича Гарюшина, писавшего еще в старом «Новом Слове» [44].

Гарюшин, маленький, стремительный человек с резкими манерами и резкими суждениями, почему-то напоминал мне топор. Когда его

как-то арестовали, и на допросе жандармский офицер задал обычный тогда вопрос: «Вы народник или марксист?», — Гарюшин тяпнул его резким словом: «я анархист».

Надо заметить, что анархистов в то время не особенно боялись, так как не было ни одной сколько-нибудь серьезной анархической организации или группы, и потому ответ Гарюшина скорее послужил ему на пользу, чем во вред.

Возвращаясь к общей характеристике марксистского «Нового Слова», нужно сказать, что оно, пополняясь новыми сотрудниками, неуклонно держалось марксистского историко-материалистического направления, в котором была составлена первая мартовская книжка.

От начала до конца, с марта по декабрь, когда «Новое Слово» было закрыто постановлением четырех министров, это был орган выдержанного направления, но направление это не было одноцветным, в нем были различные оттенки и уклоны.

Выдержанность основного направления умел понять и оценить Ленин. В письме к Потресову от 27 апреля 1899 года он, критикуя выходившее тогда под редакцией Струве «Начало», писал:

«... Я не забываю, конечно, что при российских условиях нельзя требовать от журнала допущения одних genossen и исключения остальных, — но ведь такой журнал, как «Начало», все же не альманах, допускающий марксизм собственно из моды (à la «Мир божий», «Научное Обозрение» и пр.), а орган направления. Поэтому для такого журнала обязательно бы налагать некоторую узду на ученых наездников и на всех «посторонних» вообще. Только тем и объясняется громадный успех «Нового Слова», что редакция вела его именно как орган направления, а не как альманах».

К «Новому Слову» Ленин примкнул после выхода первой же книжки. Уже в апрельской книжке появилась первая часть его большой статьи: «К характеристике экономического романтизма». Подписана она была К. Т—н.

Известно, что В. И. Ульянов-Ленин начал писать под псевдонимом Тулина. Под этим псевдонимом в 1894 году появилась его первая работа «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» [45].

Струве из предосторожности, чтобы цензура не узнала автора, находившегося тогда в ссылке, сократил псевдоним, оставив только первую и последнюю буквы.

В своей большой работе, которая растянулась на четыре номера журнала и могла бы составить целую книгу, Ленин, разбирая взгляды

швейцарского экономиста Сисмонди, писавшего в начале XIX столетия, подвергает обстоятельной критике учение русских народников.

Взглядам Сисмонди и народников Ленин противопоставлял то, что писали и говорили Маркс и Энгельс в сороковых годах XIX столетия, но имена их, из предосторожности, не упоминаются.

В октябрьской книжке «Нового Слова» под тем же сокращенным псевдонимом была помещена небольшая статья «По поводу одной заметки».

В этой статье Ленин разоблачает утопизм известного устроителя сельскохозяйственных артелей Н. Левитского.

Высмеивая проект Левитского о введении «обязательного взаимного страхования жизни всего крестьянства», Ленин говорит, что «Манилов сидит в каждом народнике».

«Пренебрежение к реальным условиям действительности и действительной экономической эволюции, нежелание разбирать реальные интересы отдельных классов русского общества в их взаимоотношении, привычка сверху судить и рядить о «нуждах» и «судьбах» отечества, чванство теми жалкими остатками средневековых союзов, которые имеются в русских общинах и артелях, в связи с пренебрежительным отношением к несравненно более развитым союзам, свойственным более развитому капитализму, — все эти черты вы найдете в той или другой степени в каждом из народников».

Одновременно с Лениным в «Новом Слове» появился и тогдашний глава русской социал-демократии Г. В. Плеханов. До тех пор Плеханов появлялся в легальной печати под псевдонимами Бельтова и Волгина. В «Новом Слове» Струве окрестил его из предосторожности Н. Каменским. Но у Плеханова стиль такой своеобразный, что всякий, кто раньше читал Бельтова и Волгина, с первых же строк статьи Каменского мог угадать настоящего автора.

Плеханов дал «Новому Слову» ряд философско-критических статей под общим заголовком: «Судьбы русской критики».

В майской книжке появляется молодой московский ученый Сергей Николаевич Булгаков, с виду маленький, черненький, невзрачный, но с большими знаниями в области философии и экономики и еще с бóльшим самомнением.

Как ученый, он подписывал статьи своею полною фамилией, и Струве его фамилии не боялся, так как Булгаков хотя и считался правоверным марксистом, но был человеком вполне благонадежным, и одной ногой, ногой правой, стоял уже на профессорской кафедре. Вскоре поставил он на кафедру и левую ногу.

Публицистические статьи в «Новом Слове» Булгаков подписывал латинским псевдонимом «Nemo», и в этом чувствовалось как бы подражание Струве.

Между Булгаковым и Струве было нечто общее, несмотря на совершенно различную наружность. Правда, в первой своей статье, напечатанной в «Новом Слове», о «Законе причинности и свободе человеческих действий» Булгаков полемизирует со Струве, но эта полемика лишь подчеркивает общность их научных интересов и сходство их характеров и настроений.

Недаром Струве свой ответ Булгакову, помещенный в той же майской книжке «Нового Слова», заканчивает так:

«А засим в заключение не могу не заметить, что напечатанное выше возражение г. Булгакова было первой полемической статьей, принесшей мне полное и очень глубокое удовлетворение. Наши разногласия оказались либо мнимыми, либо несущественными, наше согласие — очень реальным и весьма существенным. Чего же лучшего желать от полемики?»

Как публицист, Булгаков был значительно слабее Струве, и Nemo, даже становясь на цыпочках, не мог дотянуться до Novus'а.

Как ученые марксисты, они были равноценны.

Кроме Булгакова, в майской книжке впервые появились И. Гурвич, живший тогда, если не ошибаюсь, в Америке, но писавший в «Новом Слове» не только о северо-американской жизни, но и о капитализме в русском землевладении [46]; Плохоцкий, польский социалист, писавший под псевдонимом Л. Василевского; и провинциальный журналист Василий Яковлевич Яковлев, писавший под псевдонимом В. Богучарского.

В. Богучарский, с которым мне приходилось и после закрытия «Нового Слова» часто встречаться и беседовать, будучи еще офицером, примкнул к народовольцам, побывал в тюрьме и в ссылке; получив свободу, начал сотрудничать в провинциальных газетах. Болезненный, с впалою грудью, он постоянно потряхивал своей белобрысой головой, склоненной набок, нервно поправлял волосы и обо всем говорил с добродушным смешком.

Привлек его в журнал М. Н. Семенов. Кроме Богучарского, Семенов привлек и своего земляка, Павла Николаевича Милюкова, который, однако, благоразумно остался лишь на обложке журнала в списке сотрудников, а в самый журнал не дал ни одной строчки, пристально присматриваясь к «совету нечестивых».

Богучарский, по убеждениям радикал, сочувствующий марксизму, помещал в «Новом Слове» обзоры провинциальной жизни. Писал

по-старинке, по-провинциальному, «обличительно», от общего направления не отставал и народникам шпильки подпускал.

В последующих книжках «Нового Слова» были напечатаны, кроме уже упомянутых авторов, статьи Веры Ивановны Засулич, которую Струве окрестил В. Ивановым, Ю. Цедербаума-Мартова, окрещенного А. Егоровым, А. Потресова за подписью А. П—р, Б. Кистяковского, Д. Овсянико-Куликовского, московского статистика В. Г. Михайловского, Е. Смирнова (Гуревича), Л. Кржнвицкого, Е. Лозинского, В. Лазаревского, Н. Дружинина, А. Никонова и др.

Особого внимания заслуживает помещение большой статьи К. Качоровского «Разложение общины под влиянием малоземелья». Качоровский считался народником [47], и статью свою прислал еще в старую, народническую редакцию «Нового Слова», но после переворота не взял ее обратно, а М. И. Туган-Барановский, прочитавший ее, признал ее вполне подходящей для марксистского журнала, так как, по его мнению, многочисленный фактический материал, собранный Качоровским, дает возможность вполне определенно ответить на поставленный в конце статьи Качоровским вопрос: «сохранится ли община в России?» Ответ — решительное «нет».

В беллетристическом отделе десятки книжек марксистского «Нового Слова» были помещены, кроме «Коновалова» Горького: «Бывшие Люди» того же Горького, «Инвалиды» Чирикова, «В горах» В. Серошевского, «В одиночку» В. Вересаева, «Два типа» Г. Мачтета, «Курайщик» А. Федорова, «В приюте» К. Баранцевича, «В вратах эдема» В. Светлова, «Сын народа» В. Быстренина, «Париж» Эмиля Золя, «Листопад» Немоевского и др.

Кроме того, был закончен начатый в народническом «Новом Слове» большой роман К. Ельцовой «В чужом гнезде».

Начаты были и не закончены два большие романа: И. Потапенко «Светлый луч» и «Под знаком Сатурна» Н. Энгельгардта, выбравшего для этого романа псевдоним Платон Буглима.

Против принятия этих двух романов я решительно возражал на редакционных совещаниях, но Калмыкову, которая тогда заведывала беллетристическим отделом и придавала большое значение появлению в «Новом Слове» этих двух романов, поддерживали Струве и Туган-Барановский, и романы были приняты.

Я возражал, главным образом, потому, что Потапенко и Н. Энгельгардт были в то время постоянными сотрудниками суворинского «Нового Времени», которое еще Салтыков-Щедрин правильно окрестил «помоями». И «помои» эти были запаха остро-реакционного и антисемитского.

Потапенко писал в «Новом Времени» фельетоны под псевдонимом Фингала, а Энгельгардт — статьи на разные темы под своей собственной фамилией.

На мои заявления, что невозможно в марксистском «Новом Слове» помещать произведения постоянных сотрудников антисемитского «Нового Времени», Калмыкова возражала, что со мной можно было бы согласиться, если бы Потапенко писал в «Новом Времени» под своей фамилией, а Энгельгардт под псевдонимом Буглима.

— Но ведь в «Новом Времени» Фингал и Энгельгардт, а у нас — Потапенко и Буглима.

Независимо от связи с «Новым Временем» я возражал и потому, что содержания этих романов мы не знали, не знала и Калмыкова, так как авторы представили только первые главы и предполагали писать во время печатания.

Потапенко, получавший очень высокий гонорар, в три раза превышавший гонорар Горького и Чирикова, обещал, что роман его будет не больше шести листов, но появилось уж чуть не восемь листов, а конца романа не видно. Тогда Калмыкова, которая была заинтересована больше, чем кто-нибудь другой, в финансовой стороне дела, запротестовала и спросила Потапенко, когда же он, наконец, кончит?

— Вы желаете, чтобы роман кончился? — сказал остроумный Потапенко. — Будь по-вашему. В следующей же книжке герой будет убит копытом своей любимой лошади. Но он воскреснет в «Вестнике Европы», и жизнь его станет там особенно интересной.

Из беллетристических произведений, помещенных в «Новом Слове», не по вине Калмыковой, особенно читались и комментировались «Инвалиды» Чирикова. Повесть эта, где народники были выведены идейными инвалидами, задела народнических публицистов сильнее и больнее, чем публицистические статьи Струве и Булгакова.

Скабичевский в «Сыне Отечества» буквально изругал Чирикова, Мякотин в «Русском Богатстве», ссылаясь на сочувственный отзыв об «Инвалидах» консервативного «Русского Вестника», сознавался в бессилии своей воли назвать настоящим именем трогательное единение между «Русским Вестником» и «Новым Словом» и т. д.

Нападки эти были совершенно несправедливы.

Тип старого народника, бывшего ссыльного Крюкова, обрисован Чириковым с тонкой, незлобивной иронией и с трогательной любовью. Трагическая судьба Крюкова вызывает не смех, а грусть, которая поглощает первоначальную улыбку.

В декабре 1897 года марксистское «Новое Слово», тираж которого по сравнению с тиражем народнического «Нового Слова» увеличился

более, чем в три раза, было закрыто постановлением четырех министров (министра внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора святейшего синода).

«Новое Слово» выходило без предварительной цензуры, но чтобы избежать постоянных конфискаций и до некоторой степени предупредить окончательное закрытие, редакция через посредство М. Н. Семенова вошла в соглашение с цензором, которому поручено было Главным управлением по делам печати просматривать книжки журнала в момент их выхода и в случае обнаружения «преступных мыслей» делать доклад о конфискации.

Цензором «Нового Слова» был Африкан Африканович Елагин, отъявленный взяточник. Ему Семенов отвозил ежемесячно по сто рублей и давал на просмотр особенно «опасные» статьи.

Не помню хорошенько, заведен ли был такой порядок до конфискации августовской книжки или после этой конфискации, но, во всяком случае, взятки не спасли «Нового Слова».

Елагин, убедившись, что высшее начальство решило покончить с «Новым Словом», поспешил сам составить доклад о его вредном направлении.

Распоряжение о закрытии журнала последовало в момент выхода декабрьской книжки, которая была конфискована и не получила распространения. Удалось спасти только несколько экземпляров.

В этой книжке были помещены статьи Струве, Туган-Барановского, Плеханова, Мартова, Потресова, С. Булгакова, В. Г. Михайловского, Е. Смирнова, Л. Крживицкого, Е. Лозинского, В. Зомбарта. В отделе писем из провинции было помещено из Тамбова письмо будущего лидера социалистов-революционеров Виктора Чернова, а из Калуги — письмо будущего наркома земледелия С. Середы.

Значительную часть своего декабрьского иностранного обозрения я посвятил делу Дрейфуса, которое тогда волновало всю Францию, и не только Францию [48]. Я в то время был ярым «дрейфусаром», т.-е. человеком, убежденным в невинности Дрейфуса и придававшим огромное значение его оправданию, которое, как мне казалось, будет в то же время жестоким ударом по антисемитизму. Я восхищался смелостью Эмиля Золя, который бросил свое «Я обвиняю» в лицо тогдашнему правительству и большинству палаты депутатов, который вскрывал интриги влиятельных негодяев и бичевал подлые предрассудки толпы, рискуя не только своей популярностью, но и своей жизнью.

Незадолго до закрытия «Нового Слова» я на каком-то студенческом вечере сказал речь о значении дела Дрейфуса и предложил

присутствующим подписывать составленный мною вместе с несколькими товарищами (Агафоновым, Березиным и др.) адрес Золя. Это была моя первая публичная речь. До тех пор я выступал с речами лишь в небольших студенческих кружках.

Мой призыв встретил отклик, адрес был покрыт сотнями подписей и послан Золя.

Струве в декабрьской книжке отвечал на полемические стрелы, пущенные в «Новое Слово» из «Русского Богатства».

Долго раздумывал Н. К. Михайловский, прежде чем пустить свою стрелу в марксистов «Нового Слова», и все же промахнулся. Струве был прав, когда, отмечая выпад Михайловского, писал, что в нем «отсутствует всякий комический эффект», в нем нет и «никакой попытки серьезно развить или, по крайней мере, наметить свою собственную точку зрения».

Струве ловит Михайловского на незнании такого классического произведения, как «Манифест Коммунистической Партии», составленный Марксом. Струве в одной из своих статей приводил из «Манифеста» то место, где говорится о том, что «буржуазия вырвала значительную часть населения из идиотизма сельской жизни».

Михайловский, возмущаясь этим «грубым» местом, писал, что он не знает, откуда взяты эти слова, но, во всяком случае, по его мнению, это просто бутада.

И Михайловский, и Мякотин нашли много противоречий во взглядах сотрудников «Нового Слова». Отвечая на это обвинение, Струве писал:

«Противоречия во взглядах сотрудников «Нового Слова» есть и будут, хотя для «Русского Богатства», как для тех многих, о которых говорит г. Михайловский в своей последней статье, вероятно было бы очень удобно, если бы существовало только два цвета — черный и белый, или только две страны света, напр. Север и Юг, или — только взаимно-перпендикулярные линии и т. п.». Для удобства наших противников мы не станем стремиться «к этой фантастической скудости красок, линий, очертаний». Не будем мы также в угоду нашим противникам вести полемику между собою. Но если такая полемика по ходу дела окажется необходимой в интересах наших читателей, то мы не замедлим ее открыть».

«Единство практических взглядов и лежащих в основе их теоретических идей — вот что необходимо для каждого серьезного органа общественной мысли, представляющего интересы известной общественной группы. Но на этой почве мы стоим достаточно твердо. Nos amis

les ennemis — своими детскими и недетскими указаниями на «противоречия» лишь помогут нам с окончательной ясностью отграничить эту общую почву от тех областей, в которых безусловно желательно и необходимо возможно большее богатство «красок, линий, очертаний».

Увы, полемическим мечтам Струве не суждено было исполниться. Тяжелая рука царского правительства обрушилась на «Новое Слово», и сотрудники его рассыпались в разные стороны. И никогда уже больше все вместе они не собирались под одной и той же редакционной крышей.

Рабочее движение, быстро развивавшееся особенно после знаменитых петербургских стачек 1896 года, не могло удовольствоваться легальным марксизмом. Революционно-настроенным рабочим нужен был свой свободный нелегальный орган. Такой орган возник осенью 1897 года. Эта была «Рабочая Мысль», выходившая от имени «союза борьбы за освобождение рабочего класса» [49].

Подполью не хватало литературных сил.

Подполье старалось установить связь с легальным марксизмом.

Союз борьбы за освобождение рабочего класса обратился ко мне с предложением написать воззвание в связи с пятидесятилетней годовщиной появления Манифеста Коммунистической Партии. Предложение это передала мне Екатерина Николаевна Лосева, жившая у меня в качестве воспитательницы моих дочерей и в то же время работавшая в подпольных рабочих кружках Петербурга.

Мне казалось тогда, что такое воззвание лучше меня напишет П. Б. Струве, о чем я и сказал Лосевой. Меня попросили переговорить со Струве, как с моим товарищем по «Новому Слову». Струве сделал кислую физиономию.

— Следует придерживаться разделения труда, — сказал он. — Нельзя смешивать легальную работу с нелегальной.

— Хорошее разделение труда, — возразил я. — Одни вывариваются в фабричном котле, другие задыхаются в тюрьмах и мерзнут в тундре, а третьи сидят в редакторском кабинете и редактируют легальные журналы.

Мое замечание задело Струве, и он дал принципиальное согласие, но раньше захотел повидаться с представителем союза борьбы. Я дал ему «явку».

Во всяком случае Струве отказался от своей теории «разделения труда», и вскоре появился сильно написанный им «Манифест Российской Социал-Демократической Партии».

## XII

## «ЗНАНИЕ» И «ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ» (1897—1901 гг.)

Коллектив «Знание». — В. Д. Протопопов. — Фальборк и Чарнолуский. — В. С. Миролюбов. — Вильде. — Невольная похвала Толстого.

После закрытия «Нового Слова» я, продолжая вести журнальное обозрение в «Образовании», начал работать в книгоиздательском товариществе «Знание» и в «Журнале для всех».

Товарищество «Знание» образовалось из нескольких моих друзей и знакомых, приглашенных сначала Ольгой Николаевной Поповой для редактирования ее изданий.

О. Н. Попова, порвав с народниками, разошлась и с Н. А. Рубакиным, который заведывал ее издательством. Рубакина должен был заменить наш коллектив, в который кроме меня вошли К. П. Пятницкий, братья Протопоповы (Дмитрий и Всеволод), Г. А. Фальборк и В. И. Чарнолуский.

К. П. Пятницкий, как я уже писал, был другом моей юности, с Д. Д. Протопоповым я учился в Петербургском университете и затем совершил путешествие по Франции, с братом его Всеволодом Дмитриевичем, нервным молодым человеком, неглупым и правдивым, но не знавшим, куда себя приткнуть, я сблизился, когда он гостил у меня в Иене в 1892 году и много со мною беседовал, надеясь, что я укажу ему смысл жизни. С ним я ездил во Франкфурт на электро-техническую выставку и в Брюссель на международный конгресс. Ко мне он привязался, видимо, совершенно искренне, и я о нем всегда вспоминаю с теплым чувством. Фальборк и Чарнолуский были в то время неразлучными друзьями, хотя и представляли собой два противоположных типа.

Фальборк, невысокий брюнет с длинными, густыми волосами и широкой бородой, закрывающей пол-лица, с широко-раскрытыми рачьими глазами, был необычайно подвижен и говорлив. Фантазия у него была майнридовская, и после каждого сенсационного сообщения или сногсшибательного рассказа он уставлялся в собеседника своими рачьими глазами и нервно спрашивал: «А! Что?!»

Вид у него в это время был всегда несколько растерянный и даже испуганный: как будто он чувствовал, что перехватил через край, и ожидал, что собеседник скажет: Ну и наврал же ты, братец мой! Собеседники это очень часто думали, но не говорили уже по одному

тому, что Фальборк, в сущности, был человек очень милый, никому не вредил, а пользу приносил, участвуя в различных культурных начинаниях, расшевеливая сонных, организуя против бюрократизма общественность в Вольно-экономическом обществе, в комитете грамотности, в городской думе и т. д.

Друг Фальборка В. И. Чарнолуский был настолько же рыжим, насколько Фальборк черным. Спокойный, уравновешенный, он говорил очень мало и казалось, что говорить ему трудно, и речь его была отрывистая, произношение неясное, и нужно было делать усилия, чтобы понять его. Но говорил он всегда только дело и только правду. Как и Фальборк, он придавал огромное значение народному образованию и работал в его области, собирая материалы и составляя различные справочные сборники. Будучи сыном богатого помещика, Чарнолуский по окончании университета занял должность земского начальника, если я не ошибаюсь, в Черниговской губернии. Письмоводителем он пригласил Фальборка. Вместо того, чтобы начальствовать над крестьянами и мерами увещательными и карательными воспитывать их в духе любви и преданности престолу, Чарнолуский и Фальборк стали организовывать крестьянскую общественность и поощрять крестьян к отстаиванию своих интересов. В результате Чарнолуский был, конечно, уволен и чуть не угодил под суд. Служить государству он больше не пытался.

Наш коллектив, в который на равных правах была приглашена и Ольга Николаевна Попова, вскоре ее испугал, так как она поняла, что вместе с передачей коллективу руководства своим издательством она перестает быть хозяйкой того дела, которое она продолжала считать своим. Она хотела просто разорвать соглашение с нами, и я готов был на это согласиться, но мои товарищи оказались не столь уступчивыми.

Особенно твердо держал себя Константин Петрович Пятницкий, и в результате наш коллектив, отделившись от книгоиздательства Поповой, организовался в самостоятельное книгоиздательское товарищество, названное «Знание», при чем Поповой пришлось внести пай в сорок тысяч рублей. А мы вносили по пять тысяч рублей, и то в рассрочку.

Мне этот пай внести было особенно трудно, и я бы, вероятно, оказался несостоятельным, если бы на помощь не пришел успех той первой книги, которую я издал под фирмою «Знания».

Мы все, в том числе, конечно, и Попова, являлись не только пайщиками, но и редакторами. Каждый издавал книги по своему выбору и под своей материальной ответственностью, получая в свою

пользу и весь чистый доход от изданной им книги, за вычетом 10%, которые шли на общие организационные расходы товарищества.

С идейной стороны каждая предлагаемая пайщиком-редактором книга должна была получить одобрение большинства пайщиков товарищества.

Мы распределили между собою издание по отделам. Пятницкий взял себе естествознание, Фальборк и Чарнолуский — народное образование и философию, мы со старшим Протопоповым — историю и вообще общественные науки, младший Протопопов — искусство.

О. Н. Попова, вошедшая в «Знание» не по доброй воле, а до известной степени по принуждению, от своего права на издание отказалась, продолжая усиленно издавать книги под своей фирмой, при чем для заведывания отделом общественных наук пригласила П. Б. Струве.

Беллетристику решено было не издавать. Но такова ирония судьбы, что в конце концов «Знание» сделалось издательством почти исключительно беллетристики.

Нужно было выбрать директора-распорядителя, и все считали, что им должен быть К. П. Пятницкий. Он почему-то решительно отказался, отказались и все другие. Чтобы не губить начатое дело, я согласился быть директором-распорядителем, хотя мне этого и очень не хотелось. Вскоре было устранено то, что мешало К. П. Пятницкому согласиться быть директором-распорядителем, и я с большой охотой уступил ему это место.

Дела «Знания» с самого начала пошли очень хорошо и в материальном, и в идейном отношении. Пятницкий наметил большую и стройную научно-популярную библиотеку по естествознанию и, как первый номер, выпустил прекрасную книгу Клейна «Астрономические вечера» со множеством иллюстраций, которых не было в немецком издании, и со своими дополнениями.

Фальборк и Чарнолуский наметили обширную библиотеку по народному образованию и педагогике и, кроме того, приступили к изданию полного собрания сочинений французского философа Гюйо. Д. Д. Протопопов издал «Исторический материализм» Бернштейна и «Аграрный вопрос» Каутского. В. Д. Протопопов начал издавать выпусками под редакцией А. Бенуа обширный труд по «Истории живописи XIX века» известного немецкого художественного критика Р. Мутера. Я наметил издание историко-политической библиотеки и, как первый номер ее, выпустил перевод тогда только вышедшей на французском языке работы Ш. Сеньобоса «Политическая история современной Европы».

Я иллюстрировал ее портретами выдающихся политических деятелей XIX века, чего не было во французском издании, и дополнил обзором событий, протекших между выходом французского и русского издания.

Книга эта до 1908 г. выдержала 4 издания, при чем мои дополнения с каждым изданием разрастались и в конце концов достигли тридцати печатных листов, т.-е. почти половины истории Сеньобоса. С третьего издания мною введена была в «Историю» Сеньобоса составленная мною история современной России.

Кроме того, мною были изданы под фирмой «Знания» небольшие работы Каутского и Зомбарта, «История швейцарского народного законодательства» Курти, «История Англии XIX века» Гиббинса и написанная мною «Германия и ее политическая жизнь». Эта книга была издана как сочинение Л. В. Новгородцева. Я должен был скрыться под этим псевдонимом, так как во время издания «Германии» (1903 г.) я был эмигрантом, и мое настоящее имя считалось нелегальным и опасным.

К постоянному сотрудничеству в «Журнале для всех» привлек меня Виктор Сергеевич Миролюбов, купивший этот рублевый журнал у какого-то беспринципного предпринимателя [50].

Предприниматель получил разрешение на издание такого дешевого журнала с уплатой за пересылку его подписчикам всего 10 коп. в год (вместо 40 коп.) лишь потому, что обещал издавать его в православно-самодержавном духе. Журнал не пошел, и он продал его Миролюбову вместе с правом на льготную пересылку.

Миролюбов решил сделать из «Журнала для всех» популярный прогрессивный орган, доступный широким народным массам не только по цене (1 р. за 12 книжек с пересылкой!), но и по содержанию, и по форме изложения статей. Журнал вышел любопытный, да и сам Миролюбов — фигура любопытная. Гигант, с которым даже высоким людям приходится говорить, загибая голову назад и глядя снизу вверх. Красивая рыжевато-русая голова; на фоне бледно-нежной кожи лица, окаймленного тщательно подстриженной бородой, темным блеском отливаются карие глаза, вокруг которых собираются веера морщинок, когда они лукаво улыбаются, а это бывает очень часто. Глаза для лукавства, а тонкий правильный нос для недовольства: он морщится и гнусавит. В обычное время нос в разговоре участия не принимает, и тогда приятный бас скупо дарит собеседника тщательно взвешенными словами.

Миролюбов, когда я с ним работал, не любил рассказывать о себе, но очень любил расспрашивать других о их жизни, стараясь

проникнуть в ее интимность, и лицо его тогда становилось лукаво-любопытным.

Обладая сильным бархатистым басом, Миролюбов начал свою жизненную карьеру оперным певцом. «Поставив» свой голос в Италии, он под псевдонимом Мирова с большим успехом пел в Московском Большом театре. Пел он в «Евгении Онегине» небольшую партию кн. Гремина с его знаменитой арией: «Любви все возрасты покорны». Но дальше Гремина не пошел. Помешала какая-то неуверенность в себе, мнительность, боязнь потерять голос; не закончив изучения партии Марселя в «Гугенотах», он бросил сцену и занялся издательством. Сам он никогда ничего не писал, но обладал хорошим литературно-художественным вкусом и уменьем не только подбирать сотрудников, но и выуживать у них именно то, что нужно было для его журнала. В «Журнале для всех» помещали свои рассказы А. П. Чехов, М. Горький, Леонид Андреев, А. Куприн, Е. Чириков, М. Арцыбашев и мн. др.

Миролюбов один из первых угадал Леонида Андреева и Арцыбашева. Он поставил свой журнал на такую высоту, что начинающие авторы считали большой честью для себя попасть в сотрудники «Журнала для всех».

Ловко лавируя, он умел ладить с цензурой. Журнал его выходил под предварительной цензурой, но она была почему-то мягче, чем, напр., в «Жизни», о которой речь будет дальше.

С самого начала до своей эмиграции летом 1901 г., т.-е. приблизительно $3\frac{1}{2}$ года, я вел в «Журнале для всех» иностранное обозрение, которое, согласно утвержденной Гл. Упр. по делам печати программе, называлось «политической хроникой».

Подписывался я выбранным специально для «Журнала для всех» псевдонимом Вильде, что в переводе на русский язык значит «дикий». «Дикими» («Wilde») назывались в германском рейхстаге беспартийные депутаты. Под тем же псевдонимом помещал я в «Журнале для всех» и отдельные статьи. Тайну моего псевдонима Миролюбов хранил очень бережно, так как справедливо боялся, что моя фамилия может погубить журнал в глазах начальства. Но в литературных кругах многие догадывались, кто скрывается под всевдонимом Вильде.

Помню, я получил от В. В. Леоновича, находившегося тогда в ссылке, письмо, в котором он ругал меня за то, что я, превратившись в Вильде, стал писать так же реакционно, как Южаков в «Русском Богатстве». Моя вина была в том, что я назвал честным человеком убитого президента Сев.-Амер. Соед. Штатов Гарфильда [51]. По мнению

Леоновича, президент, как и царь, и в особенности президент убитый, честным быть не может. Возможно, что Леонович прав, но я до такого радикализма никогда не мог дойти. И до сих пор, если не Гарфильда, то тоже убитого президента Сев.-Амер. Соед. Штатов Линкольна считаю честным человеком и думаю, что он для прогресса человечества сделал больше, чем вся эсэровская боевая организация с Азефом во главе. Мои «политические хроники» вызывали отклики, и очень сочувственные, и очень отрицательные.

Мне Миролюбов как-то прочел длинную филиппику против Вильде и сказал, что она исходит от одного ученого и в то же время публициста. Я долго ломал голову и, наконец, догадался, что это был известный позитивист Лесевич, которому показалось, что я идеализирую Христа. Зато мне пришлось услышать очень хороший отзыв о Вильде от Л. Н. Толстого, который не знал, что под этим псевдонимом в «Журнале для всех» скрываюсь я. Летом в 1900 г. мы были с Горьким у Толстого в Ясной Поляне. Разговор зашел о китайцах, которых тогда европейцы колотили броненосными кулаками.

— Прекрасную статью, — сказал Толстой, — о насилиях над китайцами прочел я недавно в «Журнале для всех». Там пишет какой-то Вильде. Его всегда с интересом читаю. Он один только совершенно правильно и безбоязненно освещает и критикует организованные разбои, именуемые международной политикой. Вот у вас, Владимир Александрович, в «Жизни» выходит слабовато.

— Да ведь в «Журнале для всех», — воскликнул Горький, — пишет он же. Ведь Вильде — это псевдоним его, Владимира.

Горький, в то время искренне меня любивший, очень обрадовался, что Толстой меня похвалил, но еще больше обрадовался сам Лев Николаевич. Лицо его осветилось милой улыбкой.

— Вот как это хорошо вышло. Принято похвалить в глаза человека, не зная, что хвалишь. Да и он не подумает, что ему льстят.

Отрицательным отзывом о своих «обозрениях» в «Жизни» я не огорчился. Над подцензурной «Жизнью» тяготела рука Африкана Африкановича Елагина, который почему-то меня не выносил и, зная, что «Иностранные обозрения» пишу я, с каким-то сладострастием заливал их красными чернилами, так что до читателей доходили только жалкие обрывки. В «Жизни» я был не писателем, а редактором, редактором единоличным, хотя в силу своей «неблагонадежности» не мог поставить своей фамилии ни под одной книжкой.

## XIII

## НАЧАЛО «ЖИЗНИ» (1898—1901 гг.)

Умирающая «Жизнь». — Мечты о новой, сильной «Жизни». — Мытарства с хлопотами об издании «Очерков и рассказов» Горького. — С. П. Дороватовский и А. П. Чарушников. — Д. Е. Жуковский. — Первый арест Горького. — Поездка в Нижний. — Первая встреча с Горьким. — Первая книжка «Жизни». — Чириков. — Чириков и Чернышевский. — Вересаев. — Е. А. Соловьев-Андреевич. — Статьи В. Ильина (Ленина). — «В овраге» Чехова. — Письмо Чехова о «Жизни».

В 1896 г. нескольким чиновникам Мин. Внутренних дел, собравшимся за карточным столом, пришла в голову довольно нелепая мысль издавать журнал. У некоторых из них был писательский зуд. За организацию взялся прыткий журналист И. А. Гофштеттер, именовавший себя государственным социалистом с народническим уклоном. Журнал по совету К. Ф. Окуневой, жены либерального мирового судьи, решили назвать «Жизнью». Разрешение получили легко. Журнал выходил три раза в месяц под предварительной цензурой. Первые книжки вышли в январе 1897 года. Успеха журнал не имел, и уже в июне 1897 г. нечем было платить за типографские работы. «Государственному социалисту» удалось преодолеть кризис, заманив в пайщики журнала трех мировых судей: М. П. Глебова, Н. А. Окунева и П. Н. Ге.

Мировые судьи не только внесли деньги, но и привлекли несколько ценных сотрудников, в том числе Н. А. Рубакина и А. А. Вербицкую. Чиновники постепенно от журнала отошли; остался только официальный редактор-издатель Д. М. Остафьев.

Мною в середине 1898 г. в «Жизни» были помещены обзоры политической жизни Западной Европы.

Осенью 1898 г. пайщики предложили мне фактическое редактирование журнала в надежде, что я его спасу. «Жизнь» в это время дышала на ладан. Подписчиков было не более 500.

Я согласился, надеясь создать марксистский журнал несколько иного типа, чем «Новое Слово».

Вокруг «Жизни, — думал я, — должны сгруппироваться не только марксистские ученые и публицисты, но и наиболее талантливые молодые беллетристы, поэты, художники, журнал с постоянным художественным отделом и хорошими иллюстрациями. Успех журнала, казалось мне, будет обеспечен его «направлением» и постоянным сотрудничеством Горького.

С Горьким у меня шла оживленная переписка, и наша дружба закрепилась устроенным мною изданием его «Очерков и рассказов». Это же издание облегчало отыскание необходимых средств для создания задуманного журнала; я говорю «создания», а не преобразования, так как старая «Жизнь» могла дать только свое хорошее название, разрешение на издание и временно официального редактора в лице Остафьева, одного из чиновников ее первых хозяев.

История первого издания «Очерков и рассказов» Горького мне очень памятна. Она должна бы найти место не столько в моей автобиографии, сколько в объективной и беспристрастной биографии Горького, которой до сих пор нет.

Вскоре после закрытия «Нового Слова» Горький прислал мне пачку газетных вырезок и несколько журнальных оттисков. Это были его рассказы и очерки, напечатанные в столичных журналах и в различных, в том числе и очень жалких, провинциальных газетах.

Горький спрашивал меня, стоит ли все эти очерки издавать отдельной книгой.

Если стоит, то он просил похлопотать об их издании и получить от издателя аванс, на который он мог бы съездить полечиться в Крым.

В противном случае он просил попросту бросить их в корзину. Сам он, судя по письму, был о своих произведениях совсем не высокого мнения.

Я немедленно и не без волнения начал читать газетные вырезки, где были неизвестные мне произведения Горького.

Боялся, что натолкнусь на вещи слабые. Но тотчас волнение боязни и сомнения сменилось волнением радости и почти восторга. Еще бы! Среди газетных вырезок были: «Песнь о соколе», «Старуха Изергиль», «Однажды осенью», «На плотах», «Макар Чудра», «Ярмарка в Голтве».

Стал думать, какого издателя осчастливить предложением издать Горького? Я не сомневался, что каждый издатель сочтет счастьем выпустить в свет книжку с такими своеобразными, свежими, высокохудожественными произведениями.

Я остановился на О. Н. Поповой. Попова, казалось мне, заслуживала быть издательницей рассказов Горького за то, что под ее фирмой вышло много хороших, полезных книг по разным отраслям знания.

Отправился к ней и стал с увлечением передавать содержание тех новых для меня произведений Горького, которые я прочитал на газетных обрывках. И в заключение предложил издать все те очерки и рассказы, которые прислал мне Горький.

Попова, к моему удивлению, не обрадовалась, но все же согласилась и обещала, что на-днях вышлет Горькому 500 рублей.

Я тотчас сообщил об этом Горькому. Уверенный, что Попова выполнит свое обещание, я со спокойной совестью уехал к своим друзьям в Высокое, где когда-то я прочел «Челкаша» Горького.

Недели через две я получил в Высоком от Горького письмо, точнее, письмо Поповой к Горькому с его пометкой. Попова писала Горькому, что она с большим интересом прочитала его рассказы, что она очень хотела бы ему помочь, так как слышала о его серьезной болезни, но, к сожалению, в настоящее время она издать его рассказов не может, так как затрачивает большие средства на издание полного собрания сочинений Дарвина.

Мелкий дамский почерк был пересечен крупным, прямым, нажимистым почерком Горького. Надпись была краткая, но выразительная:

«Видно, что у этой женщины золотое сердце. М. Горький».

Получив это письмо, я тотчас же вернулся в Петербург и отправился к Поповой, чтобы потребовать объяснения. Она выслушала меня, обиженно сморщив свои губы, и заявила, что виновата не она, а я, который плохие фельетоны провинциальных газет принял за художественные шедевры. Издавать Горького — понапрасну бросать деньги: рассказов его никто покупать не будет, совершенно не расходятся даже рассказы Бунина, который несравненно талантливей Горького.

Я взял обратно оттиски и вырезки и отправился к Александре Михайловне Калмыковой и предложил ей издать Горького. Калмыкова, приняв грустный вид, сказала, что Горький писатель талантливый, издать его следовало бы, но у ней для этого нет средств.

— Да вряд ли, — прибавила она, — вы найдете для этих рассказов издателя. Беллетристика теперь не идет, и никто не рискнет затрачивать деньги на издание мало известного автора. Попробуйте обратиться к Суворину. Возможно, что он издаст. У него денег много, да и художественное чутье есть. В свое время он издал и поддержал Чехова.

Но к Суворину я не пошел, а пошел к своим сотоварищам по «Знанию», предлагая, в виду исключительного дарования Горького, отступить от решения не издавать беллетристики и на общие средства напечатать очерки и рассказы Горького. Но и здесь встретил решительный отпор.

Кто-то из товарищей, я помню, насмешливо сказал:

— Вот если бы вы предложили издать Толстого, тогда другое дело. А то — какого-то Горького!

Горько мне стало.

Встретился с М. Н. Семеновым, который после закрытия «Нового Слова» задумал открыть книжный магазин, случайно выбрав для него то же название, как и мы для нашего издательского товарищества,— «Знание».

Рассказал ему о своих неудачах. Семенов тотчас согласился издать Горького на тех же условиях, на каких соглашалась О. Н. Попова, а именно по 50 р. за печатный лист на одно издание. За два тома по 10 листов — выходило 1000 р. 200 р. Семенов должен был немедленно перевести Горькому; 300 р. через несколько дней; остальные 500 р. после выхода первого тома. Заключили письменное условие. Написал Горькому. Через неделю получаю от Горького письмо — никаких денег нет. Иду к Семенову. Тот что-то путает. Опять какая-то «Алмазовка». Если у Поповой сердце было золотое, то у Семенова прямо алмазное.

Отправляюсь к своему свояку С. П. Дороватовскому, которому когда-то оказал большую услугу. Собираюсь попросить взаймы рублей 200 и помочь Горькому.

У Дороватовского встречаю его старого друга, инспектора одного волжского пароходства Александра Петровича Чарушникова, принимавшего в молодости участие в революционном движении [52].

Рассказываю о своих злоключениях и бросаю несколько горьких и жестких слов по адресу нашей передовой интеллигенции, не умеющей во-время притти на помощь крупному таланту, поднимающемуся со дна жизни.

— А, что, Сергей Павлович, — говорит Чарушников, — не издать ли нам с вами Горького?

— А почему бы нет.

Издать рассказы Горького Дороватовский и Чарушников согласились на тех же условиях, как Попова и Семенов, но часть денег дали мне тут же — не помню хорошенько — 500 р. или только 200 р.

В этот момент не только было обеспечено издание очерков и рассказов Горького, но и положено начало новому идейному издательству С. П. Дороватовского и А. П. Чарушникова, которое с 1898-го по 1914 год издало много хороших и полезных книг.

Незадолго до выхода в свет «Очерков и рассказов» я получил от жены Горького, Екатерины Павловны, письмо, прямо ошеломившее меня:

«Что за ужасная ночь была сегодня. В 12 ч. явились жандармы с обыском, перерыли все, забрали письма и увели Алексея. Как, за что и почему? Решительно не понимаю. Прокурор говорит, что

обыск и арест — требование тифлис. жанд. управления; завтра Алексея отправляют туда для разбора дела [53]. Я вчера так была поражена, что не расспросила как следует прокурора. Теперь жду 10 ч., чтобы отправиться в жандармское и передать для Алексея денег, если удастся достать где-нибудь. У нас как на зло было в доме 40—50 к., так что он отправился без гроша.

Да, пожалуйста, скажите Дороватовскому, чтоб он выслал остальные 300 р. сейчас; необходимо выслать мужу, да и самой с сынишкой жить. Написала бы ему сама, да не знаю адреса — увезли, верно, с письмами, — а Алексей не мог вспомнить и сказал, чтобы я обратилась к вам.

А вы, Владимир Александрович, все-таки приезжайте хоть на день, поговорим о муже. Скажите, что мне делать? Я ровно ничего не понимаю в этих делах. История эта должна, конечно, объясниться и его оправдают? А вдруг нет? Страшно боюсь за него; последние дни он чувствовал себя нехорошо, и вдруг — арест. В каких условиях ему придется жить? Не представляю. Напишите мне.

Е. Пешкова.

А Дороватовского попросите выслать деньги почтой, на мое имя».

С этим письмом я отправился сначала к Дороватовскому, прося его немедленно послать деньги, а затем к брату, надеясь воспользоваться его связями, чтобы облегчить участь Горького. Брата не застал дома; он был на каком-то юбилейном обеде.

Пошел на обед, кажется, к «Контану». Обед уж кончился, и обедавшие перешли в ресторанный сад для непринужденной беседы. Брат разговаривал со своим старым другом Н. С. Таганцевым, сенатором и членом Государственного Совета. Это было очень кстати.

Я прочел письмо Екатерины Павловны, рассказал о болезни Горького и яркими чертами обрисовал его своеобразное дарование.

В это время к столику, где сидел брат, подошло еще несколько ученых, и вместе со мной и братом стали уговаривать Таганцева заступиться за Горького. Шутя напоминали Таганцеву, что он по происхождению пензенский мужик, и ему особенно должен быть дорог Горький, который выходит тоже из простого народа.

Таганцев дал слово телеграфировать прокурору тифлисской судебной палаты о скорейшем рассмотрении дела Горького и, по возможности, освобождении его.

Брат посоветовал мне обратиться еще к А. Ф. Кони, который в то время был обер-прокурором сената. Я поехал к Кони, который

принял меня очень любезно и обещал сделать все возможное для освобождения Горького.

Вероятно, и Таганцев, и Кони выполнили свое обещание. Горький пробыл в тифлисской тюрьме очень недолго [54], был освобожден и отправился в Самару на кумыс, так как в тифлисской тюрьме туберкулезный процесс в легких у него обострился и он чувствовал себя очень плохо. Туда же приехала и Екатерина Павловна с сыном. Но и в Самаре ему не становилось лучше.

«Недели полторы тому назад, — писала мне Екатерина Павловна, — ему сделалось так скверно, что я даже испугалась за его жизнь. Температура к вечеру повышается до 40,4, а утром около 36 и ниже; ослаб страшно, так что даже не мог держать в руках пера. Такое состояние разрешилось сильным кровохарканием, после которого ему стало лучше»...

Через несколько дней после этого письма Горький с семьей вернулся в Нижний.

Он и Екатерина Павловна усиленно звали меня приехать к ним погостить.

«...А знаете, Владимир Александрович, — писала мне Екатерина Павловна, — было бы очень хорошо, если бы вы приехали теперь к нам в Нижний. А то ведь дело еще не кончилось и Алексея опять могут куда-нибудь потащить, пожалуй, даже сошлют куда, да и здоровье у него скверное. Может быть, лечиться придется ехать. Так и не встретимся...»

Если я не ошибаюсь, как раз к этому времени появились давно жданные два скромных сереньких томика его «Очерков и рассказов». Первым шел «Челкаш».

К сожалению, с внешней стороны издание оставляло желать очень многого: плохая бумага и, главное, довольно много опечаток. До сих пор не могу простить себе, что я положился на Дороватовского и не продержал последней корректуры. Дороватовский, человек очень занятой, передал технику издания и чтение последней корректуры Николаю Матвеевичу Глаголеву, самонадеянному юноше.

Но, как бы то ни было, очерки были изданы, и вместе с тем Горький прорвался к славе. Успех «Очерков и рассказов» Горького был огромный, ошеломляющий.

В журналах появились критические статьи, в общем довольно сдержанные.

Написал о Горьком и я в ноябрьской книжке «Образования», и написал, конечно, без всякой сдержанности. Свою статью я озаглавил «Певец протестующей тоски», и оправдывал это название тем, что

в творчестве Горького, как в творчестве многих других крупных русских писателей, чувствуется тоска, но тоска Горького не ослабляет, не угнетает, а бодрит.

Это тоска по свободе и творчеству, тоска по вольной и красивой жизни, тоска — протест против угнетения человеческой личности, протест против повседневных мелочей, засоряющих душу.

Я предвещал могучий рост таланта Горького, предвещал, что творчество его будет охватывать и высь, и глубь человеческой жизни.

Но не критика создавала успех Горькому. Успех создавали сами читатели, заражая друг друга интересом к новому писателю, к новому властителю дум.

Уже наборщики, набиравшие в типографии Богельмана «Очерки и рассказы» Горького, прерывали работу, складывали гранки, сообща читали и с восторгом говорили:

— Вот это, действительно, наш писатель. Это за живое задевает. Это тебе не Пушкин.

Издание Горького принесло Дороватовскому и Чарушникову не только почет, но и материальную выгоду.

Вот почему я со спокойной совестью обратился к ним с предложением принять участие в издании задуманной мной «Жизни». Они согласились внести паи, размер которых, если я не ошибаюсь, был установлен в пять тысяч.

Трое мировых судей — Михаил Павлович Глебов, Николай Александрович Окунев и Петр Николаевич Ге, — которым фактически принадлежала старая «Жизнь» после отхода обанкротившегося Калитина[55], тоже вошли пайщиками, при чем в пай были зачислены их прежние затраты на журнал, а Михаил Павлович внес еще сверх того пять или десять тысяч, уже не помню хорошенько.

Привлек в пайщики я еще Дмитрия Евгеньевича Жуковского, молодого неврастеника с солидным наследственным капиталом, который колебался в то время между различными мировоззрениями и направлениями, но склонялся больше к марксизму. С ним я познакомился в Брюсселе, куда он приезжал из Парижа, чтобы посмотреть на вожаков социализма, съехавшихся на международный конгресс.

Человек он был неглупый, образованный, ищущий смысла жизни, но, к сожалению, чрезвычайно нервный и мнительный. Его влажные глаза смотрели то печально, то недоверчиво, а на сером лице с жидкою растительностью играла, обыкновенно, меланхолическая улыбка.

От марксизма он вскоре совершенно отошел и сделался мистиком в духе Бердяева.

Пайщиком «Жизни» он оставался недолго и в первый же год издания потребовал деньги обратно, но к созданию ее он если не свою руку, то свои деньги приложил. И за то спасибо!

Наладив материальную сторону дела, я отправился в Нижний-Новгород к Горькому, чтобы переговорить с ним о его сотрудничестве и совместно наметить план издания.

Переписка уже давно познакомила меня с Горьким, но я его еще не видел и не вполне ясно представлял себе его наружность.

Первая встреча с Горьким была для меня большим событием. Я был так захвачен его интересною личностью, так увлечен беседою с ним, в которой мы со стремительной поспешностью передавали друг другу то, что наиболее интересовало каждого из нас, так безудержно радовались совпадению мыслей и чувств, что для объективного наблюдения не хватало восприятия.

Помню, что некрасивое его лицо, как будто вырубленное топором, с криво поставленным ноздрястым носом, поразило меня необычайно быстрой сменой выражений. Оно хорошо играло, аккомпанируя его речи, грубоватой, но всегда оригинальной. Иногда оно освещалось улыбкой и становилось тогда простодушным, наивным, детским.

Говорил он густым басом, покручивая правой рукой рыжеватый ус. Руки у него были красивые, белые, с длинными пальцами. Ходил сгорбившись, слегка опустив голову.

Жена его, Екатерина Павловна, миловидная брюнетка, выглядела тогда гимназисткой старшего класса, хотя была уже матерью годовалого карапуза, очень похожего на своего отца. С карапузом больше возилась мать Екатерины Павловны, еще не старая, обстоятельная женщина. Сама Екатерина Павловна больше заботилась о «своем Алексее», как она называла Горького.

Простая и молчаливая, она внимательно следила своими ясными и зоркими глазами за игрой его лица, внимательно прислушивалась к каждому его слову.

Квартира у них была небольшая, провинциальная, но уютная. В одной из комнат висели клетки с птицами, которые пели и чирикали на разные лады. Вылетали из открытых клеток и садились на плечо к Горькому.

На следующий день после моего приезда, вечером собрались у Горького его нижегородские друзья и знакомые, большинство которых Горький считал людьми недюжинными. О всех отзывался мне с похвалой, но в каждую похвалу ввертывал меткое и колкое словечко, которое только и запоминалось, а похвала забывалась.

Про одного своего знакомого он наговорил много чрезвычайно лестного, но в конце ввернул такое замечание: «Только вот зад у него очень самодовольный».

Беседа вечером была оживленная. Горький, помнится, говорил о Ницше, «Заратустру» которого ему переводил его знакомый студент Васильев. Ницше ему очень нравился, и, читая мне то или другое место в переводе Васильева, Горький довольным тоном басил: «это, братец ты мой, здорово сказано!»

Мой план издания «Жизни» Горький принял с восторгом и дал слово впредь помещать все свои произведения исключительно в «Жизни».

Впоследствии, отступление от этого сделано было только для «Журнала для всех», и то с моего согласия.

Расстались мы еще бо́льшими друзьями, чем встретились.

По возвращении в Петербург, я немедленно стал приглашать сотрудников и собирать материал для первых книжек.

По соглашению с пайщиками редактирование журнала предоставлялось единолично мне. Я мог по своему усмотрению приглашать сотрудников, принимать или не принимать рукописи по всем отделам журнала, составлять книжки и т. д. Такое единоначалие казалось мне совершенно правильным, так как оно позволяло мне проявить редакторское творчество и создать журнал не только выдержанного направления, но и выдержанной архитектуры.

Первая моя забота была о хорошей беллетристике, художественно отражающей современную русскую жизнь во всем ее многообразии.

Основа — Горький. На него главная надежда.

Нижегородская встреча убедила меня, что в Горьком неистощимый запас переживаний и впечатлений. Переживаний очень серьезных, о чем свидетельствовали два рубца, один на груди, другой на спине от большекалиберной пули, которой Горький хотел погасить разлад своей души.

Впечатления яркие, так как Горький исходил пешком большую часть России, переменил больше десятка профессий и обладал уменьем присматриваться и прислушиваться, запоминая яркие образы и меткие слова.

Во время одной из бесед со мной у него зародилась мысль превратить в большую повесть подслушанную им историю о молодом купце с протестующей тоской, купце, взбунтовавшемся против своего сословия и умершем босяком.

Тотчас после моего отъезда он засел за эту повесть, которая разрослась у него в большой роман. Это был всем известный теперь «Фома

Гордеев». Начало его не поспело к январской книжке. В ней были напечатаны два небольших очерка Горького: «Кирилка» и «О чорте».

Горький для первых книжек дал много, но, разумеется, нельзя было строить литературный отдел на нем одном.

Рядом с Горьким в первых книжках появились Баранцевич, Вересаев и Чириков.

Баранцевич был уже старый писатель; как раз к моменту выхода январской книжки он отпраздновал двадцатипятилетие своей литературной деятельности. Но он охотно и радостно вошел в среду молодых товарищей, сознавая без всякой зависти, что они в истории русской литературы займут более видное место, чем он.

Евгений Николаевич Чириков пришел в «Жизнь» со своими «Чужестранцами». В этих очерках, пронизанных тонким юмором, Чириков с задушевной простотой обрисовал жизнь кучки интеллигентов, живущих не хлебом единым, и притом часто совсем без хлеба, интеллигентов, окруженных пошлой чиновничьей средой провинциального города.

С Чириковым я подружился, когда еще было живо «Новое Слово», и когда он недоуменно допрашивал меня, почему такое возмущение благородных писателей вызвали его «Инвалиды»?

Сила Чирикова в юморе. Про юмористов говорят, что они обычно мрачные люди. Но про Чирикова этого никак нельзя было сказать. Чириков был воплощенная жизнерадостность. Когда он говорил своим надтреснутым голосом, все его лицо смеялось игриво и лукаво. Смеялись не только из-под очков японские глаза, смеялся маленький, слегка вздернутый нос, смеялся рот, опушенный редкою растительностью, смеялась каждая черточка подвижного лица. И во всей фигуре, даже в большом белом банте галстука было что-то игривое.

Чириков любил жену, выглядевшую молоденькой барышней, несмотря на четверых детей, любил своих ребят, любил тещу, любил товарищей и сослуживцев, и был бы счастлив, если бы не травили его критики.

— Критики меня никогда не любили, — писал он мне как-то, — но теперь особенное внимание обратили и горячатся. Только почему? Шекспиром я себя никогда не считал, и что они и на что сердятся — понять не могу; словно я занял какой-то ответственный министерский пост?! Уж, кажется, веду себя скромно, а вот поди же...

Да! Шекспиром Чириков себя не считал.

Помню, раз в редакции «Жизни» кто-то из сотрудников рассказал о «толстовце», который читал одного только Толстого и говорил, что никого больше читать не следует.

— Ну, это что! — ядовито заметил Е. А. Соловьев (Андреевич), а вот я хотел бы посмотреть, как выглядит человек, который читает одного только Чирикова?

Все засмеялись, засмеялся и сам Чириков.

Посмеиваясь над самим собой, рассказывал Чириков о знаменательном совете, данном ему Чернышевским.

В восьмидесятых годах Чириков, исключенный из университета, был выслан в Астрахань, куда незадолго перед этим был переведен из Сибири величайший из революционных народников, автор «Что делать?» Николай Гаврилович Чернышевский [56].

Чириков, первый рассказ которого «Свинья» был напечатан в «Астраханском Листке», пошел представляться ветерану русской революции.

— Вам что от меня нужно? — не слишком приветливо спросил Чернышевский, сурово посмотрев из-под очков.

— Я — Чириков, — смущенно улыбаясь, ответил молодой писатель.

— Ну, что же, что Чириков?

— Я напечатал в здешней газете небольшой рассказ. Может быть, вы, Николай Гаврилович, читали; хотел бы знать ваше мнение...

— Да, да, припоминаю... «Свинья». Очень недурно написано. Пишите, молодой человек, пишите! Но вот мой совет: можете хорошо писать о свиньях, и пишите о свиньях; не можете хорошо писать о людях — не пишите о людях...

— Ну, что ж? Я поблагодарил и ушел, — заканчивал свой рассказ Чириков.

И он много и хорошо писал, как о свиньях в зверином образе, так и о свиньях в образе человеческом.

Но было бы большой несправедливостью сказать, что он не умел писать и о настоящих людях.

И в «Инвалидах», и в «Чужестранцах» на ряду со «свиньями» есть и люди, живые, думающие, чувствующие, страдающие.

Писал Чириков легко и быстро, не заботясь о тщательной отделке своих вещей, писал, подгоняемый думою о своих «пяти душах с их десятью ногами, с десятью башмаками». «Выдерживать» и «высиживать» и «вынашивать» не мог, да, видимо, и не умел.

В этом отношении полною противоположностью ему является Викентий Викентьевич Смидович, известный под псевдонимом Вересаева, от которого мне удалось для первых книжек «Жизни» получить продуманную, тщательно отшлифованную повесть из быта петербургских ремесленников «Конец Андрея Ивановича».

Вересаев свои вещи «вынашивает» и «выдерживает», пишет медленно, с усилием, взвешивая и облюбовывая каждую фразу.

Вересаев не просто писатель, он литератор, и литератор ответственный. Литературу он любит и легкомысленного отношения к ней не допускает. Строг к себе и строг к другим. Крайне щепетилен и даже нетерпим там, где дело идет о нарушении литературной порядочности или действительном, а иногда и только кажущемся нарушении традиций передовой части русской журналистики. Ту же щепетильность, ту же почтенную нетерпимость проявлял он и как врач, что сказалось в его известных «Записках врача», которые и до сих пор еще волнуют медицинский мир.

Евгений Андреевич Соловьев, писавший в «Жизни», как под своей настоящей фамилией, так и под псевдонимом Андреевич, был тем, что французы называют «enfant terrible» (несносным ребенком). Много он доставил мне, как редактору, огорчений, но тем не менее я не раскаивался и не раскаиваюсь, что пригласил его в сотрудники «Жизни», так как, несмотря на все свои недостатки и личные, и литературные, он был человек талантливый, хорошо знающий и любящий русскую литературу.

Писал он увлекательно, затрагивал жгучие вопросы и заставлял молодых читателей думать и творить. Беда его и беда всех тех, кому приходилось с ним иметь дело, была в том, что он, как и многие другие талантливые русские люди, страдал запоем. Вид у него был болезненный, расхлябанный. Зеленовато-бледное одутловатое лицо с жалкими кустиками волос на подбородке, под глазами мешки, веки как бы парализованы и обычно полуприкрывают темные глаза; выражение глаз часто меняется: то жалкие, то наглые, то грустные, то злые.

Иногда он приходил в редакцию пьяный и устраивал скандалы, ругая сотрудников, которых почему-нибудь недолюбливал. В трезвом состоянии часто щеголял цинизмом. И все же было в нем что-то очень хорошее.

В статьях его были противоречия, были ошибки, но в большинстве из них ключом била жизнь и слышался бодрый призыв к труду, к творчеству. Он страстно любил то, чего ему не хватало, любил силу, здоровье, красоту.

В «Жизни» он, между прочим, поместил целый ряд статей о семидесятых годах, где дал яркую, быть может, несколько одностороннюю характеристику народничества, но тяготел он больше к годам шестидесятым, к Чернышевскому и Добролюбову.

К «Жизни» вместе с ее развитием, которое не могла затормозить цензура, примыкали все новые и новые силы. Особенно рад был я,

когда получил первую статью самого непоколебимого из ортодоксальных марксистов, Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

В декабрьской книжке за 1899 год Владимир Ильич поместил «Ответ П. Нежданову», а в январской и февральской книжках за 1900 год две статьи «Капитализм в сельском хозяйстве». Подписывал он свои статьи в «Жизни» Владимир Ильин.

Из переписки Ленина с Потресовым, опубликованной ныне в Ленинских сборниках, видно, что Ленин, будучи в ссылке, внимательно следил за «Жизнью» и «Жизнь» ему нравилась.

«Недурной журнал! — пишет он 27 апреля 1899 года Потресову — Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!»

Думаю, что беллетристика в «Жизни» за все два с половиной года ее существования была «лучше всех». И лучшим беллетристическим произведением из всех, напечатанных в «Жизни», была повесть Антона Павловича Чехова «В овраге».

Чехов с большой симпатией относился к «Жизни».

Он прислал для январской книжки 1900 года «В овраге», едва ли не лучшее из всех своих произведений.

«В овраге» появилось в той же книжке, где была напечатана первая статья Ленина «Капитализм в сельском хозяйстве». Уверен, что Ленин читал повесть Чехова с таким же восторгом, как и все мы.

— Это, друг мой, у Антона Павловича поразительно хорошо вышло, — говорил мне Горький. — И есть у него что-то новое; что-то бодрое и обнадеживающее пробивается сквозь кромешный ужас жизни.

Радость и гордость, что Чехов прислал в «Жизнь» такую превосходную вещь, как «В овраге», эту поистине трагедию обыденной жизни, были в значительной степени подорваны непростительной неряшливостью, допущенной нашей типографией.

Как раз с января 1900 года «Жизнь» перешла в свою типографию, и я надеялся, что благодаря этому, техническая сторона журнала, и раньше не плохая, будет теперь доведена до совершенства. А на деле... повесть Чехова была напечатана без поправок, сделанных во второй корректуре автором, несмотря на то, что я настойчиво просил управляющего типографией и корректора особенно тщательно исправить замеченные опечатки.

Конечно, был виноват и я, не проверивши лично, исправлены ли опечатки. Правда, это было начало года, и я был завален работой, но все же и до сих пор у меня всегда подымается в душе неприятное чувство досады, когда я вспоминаю эту оплошность.

Чехов был ужасно огорчен.

«Такое обилие опечаток для меня небывалая вещь и представляется мне целой оргией типографской неряшливости, — простите мне это раздражение...» — писал он мне из Ялты.

Я тотчас написал Чехову, что огорчен не меньше его, и одновременно послал ему отдельное издание «Фомы Гордеева», которого Горький, как известно, посвятил Чехову, в изящном переплете. В ответ получил письмо, чрезвычайно характерное для Чехова по своей мягкости и деликатности.

«Многоуважаемый Владимир Александрович, — писал он, — «Фома Гордеев» да еще в превосходном переплете — это ценный, трогательный подарок, благодарю вас от всей души. Тысячу раз благодарю! Я читал «Фому» только урывками, теперь же прочту, как следует. Печатать Горького урывками и по частям нельзя; или он должен писать короче, или же вы должны помещать его целиком, как это «Вестник Европы» делает с Боборыкиным. Кстати сказать, Фома имеет успех, не только у умных, начитанных людей, у молодых также. Я раз подслушал в саду беседу одной дамы (петербургской) с дочерью: мать бранила, дочь хвалила.

За опечатки я сердился не на вас, а на типографию. Теперь у меня отлегло, я забыл про них, но мною руководил не столько гнев, сколько рассуждение, что типографии необходимо пробирать почаще. Типография и контора — это всегдашняя оппозиция журналу, т.-е. редакции, ибо редакции трудно и почти невозможно, при нашей культурной отсталости, иметь и в типографии и в конторе **своих** людей. Добрых людей много, но аккуратных и дисциплинированных совсем мало. Надо бороться и с опечатками, и со шрифтом, и проч., иначе эти мелкие назойливые промахи станут привычными, и журнал постоянно будет носить на себе некоторый, так сказать, дилетантский оттенок. А бороться, по-моему, можно только одним способом: постоянно заявлять о замеченных ошибках.

Во всяком случае вы не огорчайтесь очень, не сокрушайте ваших нервов, а, напротив, торжествуйте, так как дела ваши великолепны. «Жизнь» сильно читают.

Ох, я все о том же: пришлите мне хоть пять оттисков. Мне это нужно, нужно прежде всего для Маркса, потом заграничным переводчикам.

Гонорар я получил, спасибо. Итак, не огорчайтесь и простите, что я своим сердитым письмом нагнал на вас дурное настроение.

Больше не буду писать таких писем. Желаю всего хорошего.

15/II. Ялта. Преданный А. Чехов».

Перечитываю это письмо, смотрю на изящные, тонкие наброски мелких букв, незаконченных и все же ясных и понятных, и становится грустно, невыносимо грустно, что никогда уже больше не услышу тихих речей Антона Павловича и не увижу его тихих глаз.

## XIV

## АНДРЕЕВ, ГОРЬКИЙ И ЧЕХОВ

«Ты» и «вы». — С Горьким на пароходе. — Горький и баронесса Икскуль. — Горький о Чехове. — Горький и священник Григорий Петров. — Первая встреча Горького с Андреевым. — «Харя» Андреева. — «Рассказ о Сергее Петровиче». — «Жили-были». — Разгадка «Моих Записок». — Андреев и Толстой. — Моя последняя встреча с Андреевым. — Почему Горький не кончил «Мужика». — Гимн труду. — Мои беседы с Чеховым. — «Черный кот». — Чехов о творчестве Горького. — Чехов и Горький в Московском Художественном театре. — Чехов об игре Станиславского в «Чайке». — Письма Чехова ко мне. — Моя лекция о Чехове.

В годы издания «Жизни» в России мы с Горьким не только вели оживленную переписку, но и часто виделись: я приезжал к нему в Нижний и в Васильсурск, где он провел одно лето, он ко мне в Петербург, встречались и в Москве, где увлекались Художественным театром, вместе ездили в Ясную Поляну к Толстому и в Ялту к Чехову, прокатились как-то по Волге и т. д.

Дружба наша крепла, хотя раза два были острые недоразумения и даже надрывы.

При первой встрече в 1898 году в Нижнем мы были еще на «вы», но в письмах после этой встречи без всякого брудершафта как-то само собой перешли на «ты», и «ты» вполне естественное. Когда впоследствии в 1915 году мы встретились после четырнадцатилетней «размолвки» и попробовали заговорить на «вы», то тотчас же невольно по старой привычке сбились на «ты», хотя, увы, и не сделались вновь прежними друзьями. Горький был последний друг и товарищ, с которым я перешел на «ты». За последние тридцать лет, которые отделяют горьковское «ты» от настоящего момента, я со многими мужчинами был в товарищеских и дружеских отношениях, но ни с одним не перешел на «ты». Я был как будто в обиде на это «ты», что оно не охранило нашей дружбы с Горьким.

В моем жизненном пути горьковская полоса памятна и значительна. Было в ней хорошее, было и худое. Худого не обойдешь, но сначала выдвигаются воспоминания хорошие, светлые...

Вот мы едем по Волге на старом однопалубном «купце». Сидим в большой каюте, тускло освещенной слабой электрической лампочкой. Горький сидит у стола, облокотившись на левую руку, и под торопливый нервный стук машины и баюкающий плеск волн читает по рукописи продолжение «Фомы Гордеева», которого нетерпеливо ждет очередная книжка «Жизни». Большая тень его перегнулась со стены на потолок. Читает Горький глухо и монотонно, но он читает «свое», и выходит сильно, значительно.

Читает, как после взрыва бешеного протеста-разгула Фома падает в мутный, горячий поток.

«... И вот его охватили темные волны, похожие на эти тучи в небе, охватили и несут куда-то, как ветер тучи... Во тьме и в шуме, окружавшем его, он смутно видел, что вместе с ним несутся еще какие-то люди... сегодня не те, что вчера, каждый день новые, но все одинаковые и одинаково жалкие, противные...» Из мутного потока подымается образ Саши с душой спокойной, холодной, темной, как ее глаза.

Саша поет какую-то особенную, удивительно грустную песню, а Фома плачет, как ребенок...»

Горький читал долго, я слушал напряженно, изредка вздрагивая от криков и стонов пароходов.

Кончил. Мы оба молчали.

— Ну, что, как? — спросил, наконец, Горький, отбрасывая со лба жесткие, упрямые волосы.

— Превосходно.

И мне тогда действительно казалось, что изобразительной силой Горький превосходит всех других писателей.

Направлялись мы тогда из Васильсурска в Козьмодемьянск, чтобы пересесть на встречный самолетский пароход, на котором ехала пресловутая баронесса Варвара Ивановна Икскуль фон-Гильдебранд.

У баронессы был изысканный литературный вкус, и она считала своим долгом знакомиться с каждым писателем, входящим в моду. Проезжая по Волге, она дала телеграмму Горькому, что едет тогда-то на таком-то пароходе и просит его выехать ей навстречу, чтобы можно было прокатиться вместе и побеседовать.

В Козьмодемьянске нам пришлось пробыть около суток. Ночевали мы в какой-то харчевне, где стояла одна узкая кровать. Горький, несмотря на мои протесты, заставил меня лечь на постель, а сам растянулся на полу.

Мы не скоро заснули и по обычаю русских товарищей долго обменивались мыслями.

Достоевский говорил, что когда соберутся русские люди, они непременно заговорят о боге. Чехов говорил, что когда русские люди соберутся, они непременно заговорят о женщинах и о возвышенных материях.

Мы с Горьким никогда не говорили ни о боге, ни о возвышенных материях; очень редко говорили о женщинах. Мы больше всего говорили с ним о «Жизни», о литературных планах и о том времени, когда, наконец, можно будет писать свободно обо всем, что наболело на душе.

На другой день мы ехали уже на самолетском пароходе. Горький сидел с баронессой в ярко освещенном салоне первого класса, а я с темной палубы в окно наблюдал их.

Баронесса, когда-то хорошо созданная, а теперь хорошо сделанная, затянутая в дорогое платье, с лицом, искусно подправленным, щекотала Горького своими лукавыми глазами и что-то оживленно говорила ему, изящно раскрывая свой ротик.

Горький сидел перед нею, вытянув вперед шею, потирал ладонь к ладони свои длинные белые руки и смущенно улыбался, при чем все его лицо морщилось, точно он глотал, что-то одновременно и очень кислое, и очень сладкое.

— Ну, и баба! — сказал Горький, когда мы улеглись в своей каюте. — Сразу начала говорить о том, что я необыкновенно тонко и верно описал состояние Фомы при его первом сближении с женщиной. Видно, ей не раз приходилось наблюдать такие переживания.

И тут мы стали говорить уже не о «Жизни», а о женщинах, но высоких материй не касались.

Помню другую весну, когда мы с Горьким катались на лодке по улицам Нижегородской ярмарки, залитой волжским разливом. Странно было ездить по этому мертвому городу с длинными, неуклюжими, скучными зданиями, обвешанными разнообразными вывесками, на которых красовались мне неизвестные, а Горькому хорошо известные имена и фамилии именитого российского купечества.

Горький сначала рассказывал о ярмарочном разгуле, а потом разговор свернулся на нашу любимую тему, на литературу. Горький говорил, что необходимо добиться фактического сотрудничества Чехова, необходимо добиться, чтобы Чехов писал только в «Жизни».

— Чехов, — говорил он, — это силища и наш общий учитель. Он создал новый стиль и далеко шагнул вперед по сравнению с Тургеневым.

— Неужели ты ставишь Чехова выше Тургенева? — спросил я.

— А ты, что же, этого не понимаешь? Тургенева скоро читать перестанут, а Чехов еще весь впереди, его еще не раскусили.

Заговорили об отдельных рассказах Чехова. Горький, помню, восхищался рассказом Чехова «Володя большой и Володя маленький», а я считал его «пустяком». Теперь я думаю, что Горький был ближе к истинной оценке Чехова и Тургенева, чем я.

Кажется, этою же весною мне пришлось присутствовать при встрече Горького со священником Григорием Спиридоновичем Петровым, проповедями которого в то время увлекались в Петербурге даже многие неверующие.

При выборах в Первую Государственную Думу Петров вмешался в политику, занял левую позицию и вынужден был снять рясу. Проповедь он сменил на лекции и сделался одним из самых популярных лекторов в России.

Но тогда он еще носил рясу, которая очень шла к нему. И, хотя говорил уже очень либерально, но продолжал служить обедни, превращать вино в кровь, просфору в тело господне и давать уроки детям великих князей.

Он проезжал через Нижний «на голод» в сопровождении одной из моих племянниц, молоденькой курсистки, за которой слегка ухаживал, играя красивыми глазами и потряхивая черными кудрями.

Я жил у Горького. Ко мне зашла моя племянница и попросила меня узнать, не примет ли Горький Григория Спиридоновича, который очень высоко ценит его талант?

— Пусть приходит, — сказал Горький.

Встретились в столовой, где стол по случаю пасхальной недели приятно ухмылялся бутылками и разными вкусными яствами. Молча пожали друг другу руки, Петров — приветливо улыбаясь, Горький — почему-то хмурясь.

Петров уселся против Горького и, видимо, несколько растерялся под хмурым взглядом хозяина. Затем начал говорить о том, что ему уже давно хотелось познакомиться с Горьким, что он с огромным интересом прочел два тома его рассказов, и далее, в том же духе.

Горький молчал и, свертывая папироску, изредка бросал взгляды на священника.

Петров заговорил о голоде, о равнодушии власти к положению голодающих, о необходимости создания оппозиционного общественного мнения, и далее, в том же духе.

Вдруг Горький прервал Петрова и, глядя на него в упор, спросил своим глухим басом:

— А позвольте узнать, какого это ведомства на вас одет мундир?

Петров совсем смутился и тоном провинившегося школьника тихо сказал:

— Я — священник.

— Так-с! Почему же вы, будучи попом, не поповские речи говорите?

В ответ на это бедный Петров мог только нервно поиграть висевшим на черной рясе золотым наперсным крестом.

А с Горького хмурость сошла, сарказм исчез, лицо осветилось ласковой улыбкой, и он ободрил смущенного гостя какой-то любезной фразой.

А через несколько часов он уже беседовал с ним почти как с другом и, прощаясь, крепко расцеловался.

— Умный батя, — говорил он мне после отъезда Петрова. — И пишет хорошо. Я, вот, посмотрел книжонку, что он мне подарил. Немножко елейно, но все же умно и красиво.

Со священником Петровым Горький подружился, а вот с нижегородским архиереем не поладил.

Отыскал Горький в Нижнем какого-то татарина и решил, что из него может выйти большой певец, чуть ли не Шаляпин, и придумал провести его через певчие: певчих музыкальной грамоте обучают, да и в консерваторию легче попасть, чем прямо из грузчиков.

Уговорил татарина креститься и сам пошел к архиерею хлопотать, чтобы лишних проволочек не было. На беду, в разговоре с архиереем чертыхнулся. Архиерей обиделся.

— Прошу в моем присутствии так не выражаться!

— Простите, ваше преосвященство, это у меня, чорт возьми, такая уже привычка.

— Ну, так и оставайтесь с вашей привычкой и с вашим татарином. Нам мнимых и поддельных верующих не нужно.

— Это, чорт побери, вы совершенно правы. У вас их и без того слишком достаточно.

Так ничего и не вышло.

Весной 1900 года мы поехали с Горьким в Ялту, чтобы навестить Чехова. С нами поехал В. С. Миролюбов.

В Москве, на Курском вокзале, к Горькому подошел очень красивый молодой человек, похожий на художника, в черной бархатной тужурке и мягкой серой шляпе, из-под которой выбивались волнистые русые волосы. Изящный овал лица, изящная борода, изящные усы, тонкий, прямой нос с хорошо вырезанными ноздрями, высокий лоб — и все это, как оправа к большим, прекрасным карим глазам,

в которых, когда он смотрел снизу вверх на неуклюжую фигуру Горького, стоявшего на площадке вагона, сменялись и смешивались выражения восторга и какой-то печали, а в самой глубине таилось что-то зловещее.

Это был сотрудник небольшой московской газеты «Курьер», Леонид Николаевич Андреев, пришедший к Горькому с просьбой, не разрешит ли тот прислать ему для просмотра несколько небольших рассказов, напечатанных в «Курьере» в виде фельетонов.

Горький, конечно, согласился и, кроме того, посоветовал прислать какой-нибудь новый рассказ в редакцию «Жизни».

Когда поезд тронулся, Горький, усаживаясь рядом со мною, сказал:

— А знаешь ли, из этого Андреева выйдет большущий писатель.

— Это почему ты так думаешь?

— Да больно уж у него харя писательская.

Этот парадокс Горького часто мне вспоминался, когда я читал «Мысль», «Мои записки», «Черные маски», «Иуду из Кариота», «Анатему», «Савву», «Красный смех», «Житие Василия Фивейского».

Все эти мощные и почти гениальные произведения создавались не только сознательным, но и подсознательным Андреевым; из подсознательного выплывала страшная харя и застилала красивое лицо сознательного.

Андреев нередко творил свои вещи в каком-то «трансе».

Его творчество иногда было похоже на творчество во время сна. У каждого человека сновидения, иногда чрезвычайно сложные, с тонкой обрисовкой лиц и характеров, слагаются какой-то силой, независимой от сознательной воли. Между силой, творящей сновидения, и тем, что называется творческим вдохновением, есть если не тождество, то большое сходство.

Впрочем, творчество Андреева чрезвычайно сложно и разнообразно. Он творит то как Чехов («Жили-были», «Большой шлем», «В темную даль», «Случай» и т. д.), то как Ибсен («К звездам», «Океан»), то как Достоевский («Мысль», «Житие Василия Фивейского», «Иуда из Кариота», «Савва» и т. д.). Но у него во всех произведениях есть и свое, чисто андреевское. Душа его кощунственна: в ней есть святое, но над этим святым он сладострастно издевается. Из его подсознательного лезут в сознательное омерзительные, мохнатые маски. В нем подымается бунт не только против «мирового порядка», не только против ограниченности человеческого разума, но и против бога, как «абсолютного совершенства», и против добродетели.

Проститутка Люба (в рассказе «Тьма»), ударяя по лицу чистого, девственного, идейного революционера, выкрикивает:

«Как ты смеешь быть хорошим, когда я такая плохая!»

Этот бунтарский удар по добродетели чрезвычайно характерен для Андреева.

Андреев, следуя совету Горького, послал в редакцию «Жизни» «Рассказ о Сергее Петровиче».

Беллетристические рукописи во время моей поездки в Крым просматривал Е. А. Соловьев. Он рассказ Андреева забраковал.

— Это не художественное произведение, а какой-то протокол, — сказал он мне, когда я спросил, почему рассказ Андреева не принят.

— Это такой же протокол, как «Смерть Ивана Ильича» Толстого, — возразил я. — Во всяком случае, это протокол жизни, протокол много дающий и много обещающий.

«Рассказ о Сергее Петровиче» был помещен мною в октябрьском номере «Жизни» 1900 года. В этом рассказе есть целый ряд намеков на будущее творчество Андреева. Это «протокол» не прошлого, а «протокол» грядущего.

После «Сергея Петровича» Андреев прислал в «Жизнь» свой рассказ «Жили-были». Рассказ пришел, когда в редакции сидел Горький. Он взял рукопись и тут же стал читать. Читал не отрываясь, пока не кончил, потом пошел ко мне в комнату и молча подал рукопись.

— Ну что, как? — спросил я.

— А ты прочти.

Я начал читать, несмотря на спешную корректуру, и не мог оторваться, пока не кончил.

— Ну что, как? — в свою очередь спросил Горький.

Я посмотрел на него и молча улыбнулся. Он ответил такой же улыбкой. И в слиянии наших улыбок была радость сознания, что появился новый, большой талант.

Кажется, в тот же день мне была передана толстая тетрадка в темнокрасной обложке, на страницах которой были наклеены фельетоны Андреева, уже напечатанные в «Курьере». Здесь, между прочим, были «Большой шлем» и «В темную даль».

Эти «фельетоны», несравненно более художественные, чем большинство повестей, печатавшихся тогда в толстых журналах, произвели на меня почти столь же сильное впечатление, как в свое время провинциальные фельетоны Горького.

Стал хлопотать об издании очерков и рассказов Андреева отдельной книгой.

Горький тогда был уже пайщиком «Знания», и пайщиком почетным. При его содействии мне, правда, не без труда, удалось убедить других товарищей, что можно с успехом издавать не только Горького, но и Андреева.

Небольшой томик рассказов Андреева я получил от него с дружеской надписью, в которой он говорил о неугасающей ко мне симпатии.

В 1900—1901 году я встречался с Андреевым в Москве, но сколько-нибудь серьезных бесед мне с ним вести не пришлось.

Я внимательно следил за ростом его творчества и ростом его славы. Но многое и внешнее, и внутреннее разделяло нас.

Вновь встретились мы в конце 1908-го или в начале 1909 года в Финляндии, в его вилле «Белые Ночи». Перед встречей мы перекинулись письмами.

Ко мне как-то явился сотрудник «Руси» и стал меня интервьюировать, расспрашивая, как я отношусь к современным русским писателям? Зашла речь об Андрееве и об его новом произведении «Рассказ о семи повешенных». Я сказал, что рассказ мне не нравится, кажется надуманным.

— А как вы относитесь, — спросил интервьюер, — к тому, что Андреев отказался от авторских прав на этот рассказ?

— Этим Андреев только подчеркнул, что он не отказывается от авторских прав на все другие свои произведения, — заметил я.

В напечатанном интервью мое отношение к Андрееву было представлено, как в высшей степени злобное. К тому, что я действительно говорил, прибавлено то, чего я не говорил.

Андреев, привыкший к похвалам, страшно озлился.

— Леонид Николаевич слышать о тебе спокойно не может, — говорил мне Чириков, друживший с Андреевым. — Самообладание теряет, рвет и мечет.

Тогда я написал Андрееву письмо, в котором указал, что мои слова были переданы в «Руси» далеко не точно.

Он мне ответил любезным письмом и пригласил приехать к нему в «Белые Ночи». Но мой приезд доставил ему, вероятно, еще большую неприятность, чем мое интервью в «Руси».

Дело в следующем. Незадолго перед этим в каком-то альманахе, кажется, в «Шиповнике», появилась загадочная повесть Андреева «Мои записки». На эту повесть мое особенное внимание обратил старый студент А. М. Маркер, очень недолюбливавший Андреева.

— Прочтите, — говорил он, — это возмутительный пасквиль на Толстого.

Я не хотел верить Маркеру, так как одновременно с появлением в печати «Моих записок» Андреев посвятил «Рассказ о семи повешенных» Толстому и послал ему телеграмму, в которой просил разрешить ему приехать в Ясную Поляну. Телеграмма была составлена в выражениях восторженного преклонения перед великим писателем.

Прочел я «Мои записки» и не без ужаса, — именно, ужаса, — должен был признать, что Маркер прав.

Несомненно, Андреев думал о Толстом, когда писал «Мои записки». Но можно ли это назвать пасквилем? Нет, это что-то иное, неизмеримо более сильное и более страшное. Здесь кощунственная радость надругательства над тем, что не только всем миром, но и самим Андреевым считается великим и святым. Преклоняясь перед Толстым, он издевается над ним; издеваясь, преклоняется.

Может быть, мы ошиблись с Маркером?

Вскоре после прочтения «Моих записок» зашел ко мне друг Андреева В. В. Брусянин. Речь зашла о последних произведениях Андреева.

— Тайну «Моих записок» мир узнает, — сказал Брусянин, — лишь после того, когда умрет и Толстой, и Андреев.

— Я знаю ее и теперь, — сказал я. — В лицемерном профессоре-отцеубийце Андреев изобразил Толстого.

— Кто это вам сказал? — спросил с испугом Брусянин.

— Мне это сказали «Мои записки».

— Ну, раз вы угадали, то я могу сообщить вам одну интересную подробность. Леонид Николаевич рассказывал мне, что когда он создавал «Мои записки», то до такой степени перевоплотился в Льва Николаевича, что у него даже изменился почерк, и он их написал почерком, очень похожим на почерк Толстого.

Отправляясь в «Белые Ночи», я не хотел касаться тайны «Моих записок». И все же коснулся.

Говоря с Андреевым о современной литературе, я упомянул о рассказе, который мне принес Василевский (Не-буква), прося поместить его в «Новом Журнале для всех», который я в то время редактировал. В рассказе этом выводится молодая революционерка, которая отдается сыщику, зная, что он сыщик, и так подчиняется ему, что позволяет себя сечь розгами. Затем она делается содержанкой жандармского офицера и чувствует себя вполне счастливой.

При обрисовке революционерки Василевский, видимо, пользовался трогательными письмами Софии Перовской к матери и с каким-то особенным сладострастием смешал это святое и прекрасное с самыми омерзительными подробностями половых извращений.

Этот рассказ я с возмущением вернул обратно Василевскому и думал, что такое же возмущение подобный рассказ должен вызвать в Андрееве.

Но, к моему удивлению, Андреев стал защищать Василевского и сказал:

— Я помню этот рассказ. Василевский приносил его в «Шиповник». Я настаивал, чтобы его поместили, и он был даже набран, но другие товарищи не решились. Мне понравилось у Василевского его крайнее дерзновение, с которым он не побоялся показать, какую грязь можно поднять со дна души даже самой чистой девушки.

Защита Василевского затронула меня за живое, и я сказал Андрееву:

— Да, вы любите кощунственные дерзновения. Это видно по «Моим запискам». Скажите, как вы решились так надругаться над тем, кого вы чтите?

Андреев стоял в своей бархатной тужурке, с каштановыми волосами, откинутыми с высокого белого лба, стоял, заложив руки назад, прислонившись к кафельной печке. Лицо его было освещено лампой — оно побледнело, а глаза... смотря на эти глаза, я вспомнил глаза Христа, о которых художник говорил автору «Моих записок».

Андреев ничего мне не ответил.

Несколько минут мы молчали. Вошла жена Андреева, заговорили о каких-то пустяках, и я спешно стал собираться, чтобы не опоздать на ближайший поезд.

С тех пор я Андреева больше не видел.

Возвращаюсь в вагон скорого поезда, который мчится на юг, в Севастополь.

Горький мне и Миролюбову читает по рукописи продолжение своего «Мужика». Начало этой повести, или, по терминологии автора, «очерков», появилось уже в мартовской книжке «Жизни» за 1900 год. Продолжение печатается в апрельской книжке, а та порция, которую преподносит нам Горький, предназначается в май. Порция солидная, мы с Миролюбовым глотаем ее без особого аппетита. Я отчасти потому, что «Мужик» Горького врезался в «Воскресение» Толстого. «Воскресение» незадолго перед этим вышло отдельным изданием, но я его еще не читал. На вокзале купил его и в вагоне начал читать. Сразу был захвачен гением Толстого. Не без усилия оторвался, чтобы послушать «Мужика».

В «Мужике» Горький задался целью представить русскую интеллигенцию, так сказать, в сословном разрезе.

Он пытался показать тот характерный отпечаток, который на каждого интеллигента кладет его сословное или социальное происхождение — крестьянское, мещанское, дворянское, духовное и т. д. Разносословных интеллигентов он сводит вместе и заставляет их в спорах выявлять свои мировоззрения. В центре он ставит мужика — архитектора Шебуева.

К мужику, сделавшему карьеру, автор «Челкаша» должен был бы, казалось, отнестись отрицательно, а между тем из Шебуева он делает строителя новой, здоровой жизни; в его уста он вкладывает свои горьковские речи:

«... Канты и Спинозы — только огромные головы, Бетховены — только изумительно развитые уши и пальцы. А жизнь хочет гармоничного человека, человека, в котором интеллект и инстинкт сливались бы в стройное целое. Нужен человек, все способности которого были бы приведены в строй равномерный и, одна другую оттеняя, всегда все и всегда гармонически откликались бы на каждое впечатление бытия. Нужен человек не только умный, но и добрый, не только все понимающий, но и все чувствующий...

... Человек должен быть всесторонен, и лишь тогда он будет жизнеспособен и жизнедеятелен, т.-е. будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее условия сообразно росту своего „я"...»

Шебуев говорит много и красиво, пожалуй, даже слишком много и слишком красиво.

Другие интеллигенты с «напряженным вниманием» слушают его «уверенные» речи, затем и сами начинают говорить, и тоже не глупо и вполне литературно.

В тех главах, которые были напечатаны в мартовской и апрельской книжках «Жизни», литературные речи заслоняли, заливали слабо очерченную жизнь внутреннюю и внешнюю. Слышно, что люди говорят, но не чувствуется, чем они живут, каковы их радости и печали, каковы их комедии и трагедии. А если у них нет ни комедий, ни трагедий, то зачем их слушать?!

Выходило литературно, но тягуче.

Я ожидал, что в дальнейших главах Горький развернется, и в «Мужике» начнутся действия и переживания.

Но и в том втором «продолжении», которое он читал в вагоне севастопольского поезда, продолжали тянуться разговоры. Появился, помнится, новый говорун из дворян, но оживления не внес.

От Горького ожидалось тогда иное. Вот почему, когда он кончил, мы с Миролюбовым промолчали. Молчание вышло неловкое и Горькому неприятное.

Желая рассеять неловкость, я лишь сгустил ее, заговорив о «Воскресении» Толстого. Моя оценка была очень высокой, а Горький резко срезал ее, заявив, что «Воскресение» произведение слабое, надуманное, старческое. Художественной ценности роман не имеет, но Толстому можно сказать спасибо за последнюю часть, где он с большой любовью обрисовал русских революционеров. Это имеет огромное общественное значение, это Толстому зачтется, за это можно простить нехудожественность всего романа...

Миролюбов, слушавший Горького с лукавой улыбкой, довольно добродушным тоном заметил:

— Ишь, как разделывает Толстого! Не завидно ли стало?!

Горький нахмурился и ушел из вагона на площадку. Долго не приходил, а, когда пришел, угрюмо буркнул:

— Хотел бы знать, кому из вас первому пришла в голову нелепая и подлая мысль, что я завидую Толстому?..

Не помню хорошенько, как мы на это реагировали. Кажется, Миролюбов сказал, что никому никакой мысли не приходило, а так, попросту, подразнить захотелось.

Нависшая туча рассеялась, но «Мужик» был убит.

Горький заявил мне, что прочитанное «продолжение» он уничтожит и больше «Мужика» писать не будет.

Решение было окончательное и непоколебимое.

Читатели «Жизни» с нетерпением ждали продолжения «Мужика», и кто-то попытался зло подшутить над ними и над редакцией.

Меня в Петербурге не было. Замещал меня Е. А. Соловьев. Получаю от него радостное сообщение, что Горький прислал продолжение «Мужика». И я обрадовался, так как был, по правде сказать, очень огорчен, что невольно толкнул Горького к решению, быть может, слишком поспешному и неправильному.

И вдруг получаю второе письмо Соловьева:

«Н-да, бывают обстоятельства, что не только затылок, а и всякое другое место почешешь... Писал я вам, что пришел «Мужик» Горького с надписью «на июль». На июль было поздно, я сказал, чтобы сейчас же отправили на август. Набрали, сверстали. В то же время пишу Горькому по другому поводу и мимоходом упоминаю о «Мужике». Вдруг от Горького письмо, что «Мужика» он не писал и ничего в «Жизнь» не посылал. Оказался, действительно, плагиат. Конечно, прочтя рукопись, я бы увидел нечто неладное (я еще не читал), но все же был бы в затруднении. Кто-то хотел положить основательную дубину в колесо «Жизни», но бог решил иначе. Кто — вот вопрос?»

Вопрос этот до сих пор остается без ответа.

В Севастополе Миролюбов от нас отделился.

Мы пробыли там сутки. Катались на лодке по бухте, подъезжали к стоявшим там броненосцам. Впечатление получалось подавляющее. Переночевали в гостинице близ Морского собрания, в котором в 1854 г. был главный перевязочный пункт. Утром Горький рассказал мне, что видел во сне с необычайной яркостью уличное сражение.

Бежали измученные, запыленные солдаты под лучами жгучего солнца. Трещали ружья, щелкали пули по каменной мостовой. Падали убитые и раненые.

Горький сел и под свежим впечатлением сна написал рассказ «Солдаты». Вышло довольно сильно, но напечатать этот рассказ почему-то не захотел и, кажется, уничтожил.

В Ялту поехали на лошадях.

Перед выездом из Севастополя внимание Горького привлек отдельно стоявший белый дом казенной архитектуры. На нем крупными черными буквами написано было одно только слово:

Тюрьма.

— Вот это я понимаю, — сказал, ухмыляясь, Горький, — просто и внушительно: никаких определений, никаких дополнений — тюрьма — и баста.

И Горький долго ухмылялся под влиянием целого ряда мыслей, разбуженных этой лаконической вывеской.

А нас уже захватывала свобода крымской природы, горы которой не теснят, а манят вдаль к беспокойному, изменчивому, но всегда прекрасному морю.

Из небесной синевы весело и свободно лились потоки солнечного тепла и света: свободно и весело резвился вокруг весенний ветерок.

И вдруг Горький заговорил о труде, заговорил о гимне труду, о гимне, который ему хочется написать. Мне показалось, что понятия тюрьмы, свободы и труда невольно ассоциировались в его душе: из тюрьмы к свободе через труд.

— Здесь, — говорил Горький, — одних слов недостаточно, здесь, кроме слов, нужна музыка, и музыка совсем особенная: здесь нужна своего рода опера в постановке Художественного театра.

Занавес развертывается, и перед зрителем картина кипучей работы. Под ударами могучего молота летят сверкающие искры от раскаленного железа, кружатся веретена, гудят маховые колеса, визжат быстро мелькающие пилы, свистит паровик, и все это сливается в одну трудовую симфонию, под аккомпанемент которой раздается гимн труду. В нем нет стона, нет жалоб, в нем нарастающая, непобедимая

творческая сила. Слова должны вылетать, как куски раскаленной стали...

Труд — творец жизни, а его песня должна быть боевой, требовательной, гордой, радостной.

Таков был смысл слов Горького.

В Ялте я пробыл дней десять. Каждый день виделся с Чеховым. Днем встречались на набережной и гуляли вместе. Вечером мы с Горьким приходили к нему на его виллу. Обыкновенно приходил и Миролюбов. С Чеховым я чувствовал себя легко и просто. Был он тихий и ласковый. Ни капли рисовки. Умные глаза смотрели внимательно, но не назойливо. Грусть сменялась усмешкой. Сам больной хлопотал о неимущих больных. Помню, особенно озабочен был судьбой какого-то чахоточного студента, приехавшего без всяких средств лечиться в Крым. С Чеховым жила его мать, маленькая, худенькая старушка, такая же тихая и ласковая, как сын. Видно было, что он любит и ценит ее.

Раза два мне пришлось побеседовать с Антоном Павловичем наедине. Не было ни Горького, ни Миролюбова и никого посторонних. Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке, на диване. Говорили об общественных настроениях, о литературе, о «Жизни». Потом беседа приобрела более интимный характер. Помолчали каждый со своими мыслями.

— А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на актрисе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича.

Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил: — Право, не знаю, думаю, что мог бы.

— А я вот не могу! — И в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал.

Видно, не без борьбы пришел Чехов к решению жениться на Книппер.

Интимная жизнь Чехова почти неизвестна. Опубликованные письма не вскрывают ее. Но, несомненно, она была сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не раз не только увлекался, он и любил, любил «горестно и трудно».

Только любивший человек мог написать «Даму с собачкой» и «О любви», где огнем сердца выжжены слова:

«Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне:

— Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть.

Прекрасна, возвышенна мысль о любви, возрастающей с течением времени, но низменно сравнение женщины с вином. Смешение возвышенного с низменным — пошлость. Пошлость не была чужда Чехову. Да и кому она чужда?! Если бы в душе Чехова не смешивалось иногда возвышенное с низменным, то он этого бы смешения, этой пошлости не мог бы замечать и в душах других, а замечал он хорошо.

Чувствуя себя далеко не безгрешным, Чехов никогда не кидал камня в человека, нарушившего заповеди половой нравственности. Горький, напротив, в этом отношении был очень строг.

Как-то раз, гуляя по Ялте, мы встретили местного книгопродавца караима Синани, которого знали все и который знал всех и обо всех. Он рассказал нам, что в одном из отелей остановился известный опереточный баритон, увезший из родительского дома влюбившуюся в него юную гимназистку.

— Сидят у окна и напоказ всем целуются.

— Эх, повстречать бы мне этого баритона, — сурово сказал Горький, — исковеркал бы я ему морду.

— А я бы поздравил его с победой, — заметил, улыбаясь, Чехов.

— А о девчонке-то вы подумали? Что с ней будет?

— Вероятно, они разойдутся, но у нее останется приятное воспоминание о радостных моментах свободной любви.

— Ну, это не так просто.

И, действительно, оказалось не так просто.

Вскоре в газетах появилось сообщение, что гимназистка, увезенная опереточным баритоном, покончила жизнь самоубийством.

Расспрашивал меня Чехов о Московском Художественном театре и о постановке «Дяди Вани», которую он тогда еще не видел.

— Как вам мой «Дядя Ваня» понравился? — спросил он между прочим.

Я сказал, что «Дядя Ваня» в постановке Художественного театра оставляет сильное впечатление.

— Не понимаю только, зачем вы заставляете дюдю Ваню два раза стрелять в спину профессора Серебрякова? И неестественно выходит. Два раза Вишневский целится, стреляет почти в упор в широченную спину Лужского, и хотя бы оцарапал!

— Стрелять дядю Ваню я заставил, чтобы пробудить внимание публики. Мне казалось, что к моменту объяснений между дядей Ваней и профессором публика должна быть утомлена и может даже заснуть. Необходимо потревожить ее выстрелом. Но целиться в спину Лужского я Вишневского не уполномачивал.

В политических разногласиях Чехов не разбирался, вернее, не хотел разбираться. Улучшения жизни он ожидал от того, что лежит глубже этих разногласий.

Когда мы с Горьким стали нападать на «Новое Время», специально на Суворина и Меньшикова, косвенно упрекая Чехова, что он с ними не порывает связи, Чехов заметил, что не видит особенной разницы между направлением «Нового Времени» и так называемых либеральных газет.

— Ну, а антисемитизм? А позиция «Нового Времени» в «деле Дрейфуса»?

Чехов согласился, что Суворин по отношению к делу Дрейфуса держал себя подло.

— Помню, — рассказывал при этом Чехов, — мы сидели в Париже в каком-то кафе на бульварах: Суворин, парижский корреспондент «Нового Времени» Павловский и я. Это было время разгара борьбы вокруг «дела Дрейфуса». Павловский, как и я, был убежден в невиновности Дрейфуса. Мы доказывали Суворину, что упорствовать в обвинении заведомо невиновного только потому, что он еврей, как это делает «Новое Время», по меньшей степени, непристойно. Суворин защищался слабо, и, наконец, не выдержав наших нападок, встал и пошел от нас. Я посмотрел ему вслед и подумал:

«Какая у него виноватая спина!»

Вероятно, в тот момент у Чехова тотчас сложился рассказ «Виноватая спина».

Чехов говорил мне, что страдает от наплыва сюжетов, порождаемых впечатлениями зрительными и слуховыми. Сюжеты и фабулы слагались в его голове необычайно быстро. Характерный случай рассказывал мне Горький.

Гуляли они с Чеховым по набережной Ялты и разговаривали о большей или меньшей легкости писательской «выдумки». В это время мимо пробежал черный кот.

— Вот, — сказал Горький, — придумайте, Антон Павлович, рассказ на тему «Черный кот».

И Чехов тотчас без раздумья сочиняет рассказ:

В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом. Черная узкая лестница, на которой скверно пахнет кошками.

На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. Налево от двери в комнатушке, отделенной досчатой перегородкой от кухни, сидит курсисточка и читает «Эмансипацию женщин» Милля.

А рядом в кухне старуха-прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой.

— Нет, ты со мной не спорь! Я женщина старая, бывалая. Что я скажу, то уж истинная правда. Коли ты хочешь, чтобы кто там ни на-есть от тебя не отстал, то вот мой совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке. Вынь у него дужку, да ею потихоньку и ткни того, кого хочешь, чтобы не отстал. И не отстанет, моя милая. Так и прилипнет — не отдерешь. Ты уже мне поверь. Я зря говорить не буду. Женщина я старая, бывалая.

И вот курсисточка закрывает «Эмансипацию женщин» Милля и идет ловить черного кота.

К Горькому и его творчеству Чехов относился с большой симпатией. Появление каждого нового таланта его радовало. Он старался поддерживать начинающих писателей. Многих направлял ко мне, почему-то доверяя моему чутью.

Его собственные критические замечания бывали всегда своеобразны и порой очень метки. Вот, например, что он писал мне о творчестве Горького:

«... «Фома Гордеев» написан однотонно, как диссертация. Все действующие лица говорят одинаково; и способ мыслить у них одинаковый. Все говорят не просто, а нарочно, у всех какая-то задняя мысль, что-то недоговаривают, как будто что-то знают; на самом же деле они ничего не знают, а это у них такой façon de parler — говорить и недоговаривать. Места в «Фоме» есть чудесные. Из Горького выйдет большущий писателище, если только он не утомится, не охладеет, не обленится.

«Трое» Горького в январской книжке мне, чрезвычайно понравились по тону письма. Девки неверны; таких нет, и разговоров таких никогда не бывает. Но все же приятно читать. В декабрьской книжке мне не так понравилось, чувствовалось напряжение. И напрасно Горький с таким серьезным лицом творит, надо бы полегче, немножечко бы свысока».

Во время моего пребывания в Ялте Чехов редактировал собрание своих сочинений, которые он, как известно, сравнительно дешево продал издателю «Нивы» Марксу.

Когда я уезжал, он попросил меня свезти корректуру в Петербург и передать ее лично Марксу.

— Боюсь, — сказал он при этом, — что я недостаточно строг к своим рассказам и пускаю в собрание сочинений вещи, этого не заслуживающие. Во всяком случае, все то, что не попало в собрание сочинений, никуда не годится, и я надеюсь, что оно никогда не появится на свет божий.

Как известно, эта надежда Чехова не исполнилась. После смерти его в издании того же Маркса появилось, если я не ошибаюсь, целых двенадцать томов забракованных Чеховым очерков и рассказов. Нельзя, конечно, всегда выполнять волю писателя в отношении посмертных изданий, нельзя, например, не приветствовать, что после смерти Толстого были изданы «Хаджи-Мурат», «Живой труп» и другие произведения, которые он считал не заслуживающим напечатания; но волю Чехова в данном случае следовало бы выполнить, так как дополнительные тома понижают впечатление, получаемое от тех томов, которое были изданы при жизни автора.

Осенью того же года я встретился с Чеховым в Москве. Был вместе с ним и с Горьким в Художественном театре, на представлении «Чайки».

Я до этого вечера не видел и даже не читал «Чайки». В одном из антрактов я подошел к Чехову, который стоял в вестибюле, прислонившись спиной к колонне, несколько закинув назад голову. Вид у него был унылый. Я подошел к нему и сказал:

— Антон Павлович, хочется вас поблагодарить за ту смелость, с какой вы решились крупного писателя, почти равного Тургеневу, вывести таким пошляком, как Тригорин.

Я тотчас почувствовал, что сказал что-то неладное. Чехов слегка вздрогнул, побледнел и резко сказал:

— Благодарите за это не меня, а Станиславского, который действительно сделал из Тригорина пошляка. Я его пошляком не создавал.

Когда я впоследствии прочитал «Чайку» и вдумался в Тригорина, то понял, что Тригорина Чехов создавал в известной степени по образу и подобию своему.

Во время следующего антракта мы сидели с Чеховым за кулисами. Когда после второго звонка мы шли к себе в ложу через фойе, то увидели Горького, окруженного толпою, преимущественно молодежи.

Горький что-то говорил своим глухим басом, затем раздался смех и аплодисменты. Оказывается, что Горького, проходившего по фойе, узнали, окружили и стали приветствовать аплодисментами. Горький вместо того чтобы раскланяться и поблагодарить, сказал приблизительно следующее:

— Чего вы, господа почтенные, на меня уставились? Что я, утопленник или балерина? Подумали бы лучше о той замечательной пьесе, которую вы пришли смотреть.

Характерно, что такая отповедь не обидела почитателей Горького, а лишь увеличила его популярность.

Популярность, разумеется, не особенно тяготила Горького. Когда я с ним встретился в Нижнем, после его второй поездки в Крым в 1899 году, когда нарасхват брались два томика его очерков и рассказов, Горький с шутливым самодовольством говорил:

— Удивительная это штука — сделаться знаменитостью! Ходишь по улице, а на тебя все как на крокодила смотрят. Кодаки так и щелкают. На обеды с поклоном зовут; а от приглашений на чай — отбою нет.

После осени 1900 года я с Чеховым больше не виделся. Несколько раз он собирался приехать в Петербург, но здоровье не позволяло.

«Кашель у меня свирепый, уж пять, шесть дней, но в общем здравие мое хорошее, грех пожаловаться», — писал он мне с горькой иронией 3 марта 1901 года.

Настроение у него в это время было довольно унылое.

«Будьте добры, — писал он, — вспомните, что я одинок, что я в пустыне, сжальтесь и напишите, во-первых, что нового в цивилизованном мире, во-вторых, где теперь Горький, куда ему писать, и в-третьих, не думаете ли вы приехать в Ялту отдохнуть?»

К «Жизни», к Горькому и ко мне лично отношение его было неизменно дружеским.

21 мая 1901 года Чехов, которому я писал, если я не ошибаюсь, из «предварилки», ответил мне так:

«Дорогой Владимир Александрович. Ваше письмо пошло в Ялту, оттуда в Москву, где я нахожусь ныне, оттого я получил его только вчера; не сердитесь же, что так запаздываю ответом. Вас выпустили? Горький уже выпущен дня четыре назад; он весел и здоров, под домашним арестом будет не больше десяти дней [57]. Я видел доктора, который его свидетельствовал, и Миролюбова, который ездил в Нижний хлопотать у Святополка-Мирского; и сведения от обоих получил весьма успокоительные.

Я чувствую себя недурно, но все же, как оказывается, здоровье мое сильно подгуляло, и я должен ехать на кумыс. Это все равно, что ехать в ссылку. Пробуду я на кумысе месяца два, и если бы вы выслали мне туда майскую и июньскую книжки «Жизни», то я был бы благодарен вам — не знаю как! Свой кумысский адрес вышлю вам в пятницу, в день отъезда.

Рассказ непременно пришлю. Непременно! Зарежьте меня, если не пришлю.

Ваша статья про Московский Художественный театр мне очень понравилась. Но почему в Питере «Одинокие» Гауптмана пришлись так не по вкусу? Почему они нравились в Москве?

В будущем сезоне пойдет моя «Чайка».

Надо бы с вами повидаться этим летом — как вы думаете? В июле я буду ехать обратно из Уфимской губ., буду тогда в Москве. И не заехать ли в Петербург? Я давно уже не был в Петербурге, кстати сказать. Напишите, где вы будете летом, что и как, авось и повидаемся.

Будьте здоровы и благополучны, отдыхайте после предварилки и набирайтесь здоровья. Крепко жму вашу руку. Ваш А. Чехов».

Когда после закрытия «Жизни» правительством, я решил продолжать ее издание за границей на вольном станке и обратился к старым сотрудникам с просьбой поддержать мое начинание, одним из первых откликнулся Чехов, откликнулся совершенно просто, без малейшей боязни скомпрометировать себя в глазах русского правительства.

«Дорогой Владимир Александрович, — писал он мне 22 декабря 1902 года, — я был нездоров почти весь месяц, теперь поправляюсь и скоро засяду за работу. Я пришлю вам повесть листа в два или полтора, только не к февральской книжке, а, вероятно, к апрельской, или даже майской.

Это вы хорошо задумали — и дай бог вам полного успеха.

Живу я в Ялте, вдали от мира, от цивилизации, как монах, скучаю; жена моя в Москве, играет в Художественном театре. Летом я и она думаем поехать за границу.

Крепко жму вам руку и шлю тысячу хороших пожеланий. И с новым годом поздравляю кстати.

Душевно ваш А. Чехов.

Л. Толстой живет в Гаспре (почт. адрес: Кореиз, дача Паниной), верстах в десяти от Ялты. Крым ему очень нравится, он в восторге. Здоровье его недурно, но старчески недурно. Горький в Олеизе; тоже пока незаметно, чтобы он скучал. Его адрес почтовый тоже Кореиз».

Быстро развивавшийся туберкулезный процесс не позволил Чехову выполнить свое обещание написать рассказ для свободной «Жизни». Последние полтора года своей жизни он вообще, кажется, ничего не писал.

При жизни Чехова я его очень любил и как человека, и как писателя, но все же настоящим образом творчество его я оценил спустя пять-шесть лет после его смерти.

В 1909 году я читал публичные лекции в Грозном. Читал о Толстом и Достоевском. Ко мне явились гимназистки старшего класса местной гимназии и просили прочитать лекцию о Чехове. Но я отказался, откровенно заявив, что Чехова я читал, но не изучал. Они очень огорчились и, уходя, добродушно сказали:

— Вы уж, пожалуйста, Чехова хорошенько изучите: он нам гораздо ближе Достоевского и Толстого.

Я послушался гимназисток и, вернувшись в Петербург, стал серьезно изучать Чехова. Я понял тогда, что он не комик, а трагик обыденной жизни.

Трагедии Мисаила в «Моей жизни», художника в «Доме с мезонином», доктора в «Палате № 6», Кати и профессора в «Скучной истории», Липы в «Овраге», Якова в «Скрипке Ротшильда» и многих других не менее значительны и гораздо понятнее и ближе нам, чем трагедии героев Шекспира.

Я увидел у Чехова не придуманную и не прикрашенную, а настоящую мужицкую правду, я понял, почему Чехов мог предвидеть революционную бурю, которой суждено было стряхнуть с нас лень и поднять в нас уважение к творческому труду.

Когда я прочел лекцию о Чехове, как трагике обыденной жизни, в Томске, то ко мне подошел профессор Боголепов и, пожав руку, поблагодарил за то, что я открыл ему Чехова, которого раньше он не знал.

Когда ту же лекцию я прочел в Грозном, то генерал, сидевший в первом ряду, вскочил и, потрясая в мою сторону кулаком, вскричал:

— Это не революционер, это хуже — это бунтовщик!

Генерал, в сущности, грозил не мне, он грозил понятому мною Чехову.

## XV

# ТОЛСТОЙ.

Познание мира, как познание самого себя. — Любовь к себе и любовь к миру. — Толстой, Штирнер и Ницше. — Первая встреча с Толстым. — Толстой о Николае II. — «Один из любимых писателей» Толстого». — Первая встреча Горького с Толстым. — Толстой о творчестве Горького. — Толстой о юморе. — Толстой о молодежи. — Ибсен и Мопассан. — Поездка с Горьким в Ясную Поляну. — Толстой и Горький под «деревом бедных». — Толстой о «Живом Трупе». — Моя брошюра «Граф Л. Н. Толстой и рабочий народ». — Ответ на нее Толстого. — Примирение с Толстым. — Поездка в Ясную Поляну в 1909 году. — Терпимость Толстого. — Толстой и нищий. — Кого позабыл Толстой. — Душан Петрович Маковицкий. — Дневник Софьи Андреевны. — Ее настойчивость. — Толстой о трех суевериях. — Толстой, отрицающий евангелие. — «В мире нет виноватых». — Толстой и сумасшедший. — Толстой об истинно-просвещенных людях. — Письмо польской женщине. — Совместное письмо Льва Николаевича и Софьи Андреевны. — Толстой о самоубийстве. — Письмо Петра Мельникова. — Уход Толстого из Ясной Поляны. — Смерть Толстого. — Мои лекции о Толстом.

Первым властителем моих дум был Достоевский, вторым Л. Н. Толстой. «Толстовцем» я никогда не был, но влияние Толстого на меня было очень сильное. Его жизнь вторглась в мою жизнь. Задолго до того, как я увидел его, как я в первый раз пожал его руку, он уже стоял передо мной, как человек. Человек и человек мне близкий выделялся и в художнике, и в мыслителе.

Познание Толстого было для меня познанием человека и познанием самого себя. Нет ничего человеческого, что было бы чуждо душе его. И эта душа открывалась, развертывалась передо мной, как и перед миллионами его читателей всех национальностей. Она открывалась не только в «Исповеди», «Первых воспоминаниях», дневнике, автобиографических записках, не только в религиозно-этических работах, но и во всех художественных произведениях. Открывалась отчетливо и ярко.

Толстой изображал людей самых различных положений, самого различного склада, он изображал войну и мир народов, он старался проникнуть в прошлое и будущее человечества, но все это ради уяснения своего собственного духа, все это ради разрешения загадки своей собственной жизни.

Он познавал мир, чтобы познать себя.

Но ему необходимо было каждый шаг познания сообщать миру, чтобы облегчить душу, переполненную кипучими чувствами и мыслями.

Толстой — самый откровенный из великих писателей.

Недаром в «Отрочестве» Нехлюдов говорит Иртеневу-Толстому: «Знаете, отчего мы сошлись с вами? Отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество — откровенность».

Исповедь была потребностью Толстого; она доставляла ему особенное удовлетворение, своеобразную радость. Ему, по его собственным словам, «радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках»...

Но исповедь перед священником была для него исключением; правилом же была исповедь перед своими читателями, перед целым светом; и в этой исповеди ему приходилось выворачивать не столько «грязь» души, сколько ее рост, ее стремление к совершенствованию.

Познание себя вытекало у Толстого из любви к себе и любовь эту укрепляло.

Из всех произведений Толстого, в том числе и произведений художественных, ключом бьет любовь к себе.

Толстой знал, что в основе его альтруизма, в основе любви ко всем и каждому лежит любовь к самому себе.

Мне как-то рассказывал П. И. Бирюков, что Толстой незадолго перед смертью, перечитывая Паскаля, натолкнулся на его утверждение, что каждый человек больше всего любит самого себя.

— Как это верно! — воскликнул Лев Николаевич. — Я всю жизнь больше всего любил самого себя.

Эгоистическое учение Толстого казалось мне продолжением эгоистического учения Штирнера и связывалось тоже с эгоистическим учением Ницше о сверх-человеке. У всех трех в основе мировоззрения стоит «я».

У Штирнера «я» стремится подчинить и поглотить весь мир, как свою собственность; у Ницше «я» отдает себя, как орудие для создания нового мира, мира сверх-человека; а у Толстого «я» сливается с миром любви, миром, охватывающим вечность и бесконечность.

Был период в моей жизни на рубеже двух столетий, когда субъективно я в своем мировоззрении синтезировал мировоззрения Штирнера, Ницше и Толстого. Объективно же считал себя сторонником марксизма, как научного метода изучения общественных явлений.

Первый раз я увидел Толстого в 1895 году. Толстому, как я уже упоминал в одной из предыдущих глав, пришлись по душе мои очерки «На холере», и друзья Льва Николаевича говорили мне, что он был бы рад лично познакомиться со мною. Но я, зная, как много отнимают у Толстого драгоценного времени назойливые посетители, долго не решался поехать к нему. Подтолкнула меня просьба составителей адреса молодому царю Николаю II, адреса, в котором русские литераторы просили царя дать русскому народу свободу слова, совести и собраний и созвать народных представителей [58].

Составителям адреса желательно было, чтобы под ним была подпись великого писателя земли русской. Мне поручалось просить об этом Толстого.

Мне очень не нравился адрес, не нравилась и самая идея подачи адреса царю, но я все же согласился исполнить это поручение уже по одному тому, что мне было крайне интересно узнать, как отнесется Толстой к затее радикальных литераторов. Я говорю радикальных, так как инициатива адреса исходила от сотрудников «Русского Богатства».

Толстой жил в Москве, в Хамовническом переулке. Кто-то из прохожих указал мне его особняк. Я подошел. Как раз в этот момент из дверей вышел Лев Николаевич. Я его тотчас узнал, хотя видел раньше только его портреты и фотографии. Он нес на руках какого-то господина небольшого роста в судейской форме. Усадил его на пролетку и дружески распрощался. Приподняв шляпу, я подошел к Льву Николаевичу. Он был в серой блузе и мягкой серой шляпе. Ниже ростом, чем я его представлял по портретам. Немного сутуловатый. Лицо, окаймленное седой бородой, прорезано резкими, глубокими линиями. Большой широкий нос между буграми верхних челюстей. Мягкое очертание старческого беззубого рта. Из глубоких орбит с нависшими густыми бровями, как из пещер, смотрели и пронизывали меня стальные глаза. Пронизывали сурово и вопросительно. Я назвал свою фамилию. Суровое выражение слетело и сменилось приветливо-ласковым.

— Очень, очень рад вас видеть. А я вот провожал своего старого друга... Ноги у него отнялись, и все же приехал меня навестить. Как ребенка приходится носить.

Говоря это, Лев Николаевич держал в своей руке мою руку, не торопясь прервать первое дружеское рукопожатие.

— Пойдемте, побеседуем! — И он повел меня в свой кабинет.

Мы беседовали довольно долго, но, странное дело, я совершенно не помню, о чем мы говорили. Был я очень взволнован, и, вероятно,

вследствие этого было ослаблено укрепление (фиксация) впечатлений мыслительных.

Помню только, что просьба о подписании адреса царю была Льву Николаевичу неприятна. Читать при мне адреса он не захотел и попросил притти на другой день за ответом.

И во второй раз встретил меня Лев Николаевич так же приветливо, как и накануне. Но адрес подписать решительно отказался.

— Такого адреса я подписать не могу, — сказал мне Лев Николаевич, — хуже написать было трудно. Вы им этого не говорите, не обижайте их. Но так писать несчастному молодому человеку не годится.

Они ему пишут, что он все может, что он может теми или другими законами и распоряжениями осчастливить свой народ. Это значит — обманывать и себя и его. Он ничего не может. Так ему и следует написать: «Ты ничего не можешь сделать, пока ты царь. Единственное, что можешь сделать для народа и для себя лично — это отказаться от престола, перестать быть царем». Они пишут: нормально ли, что голос народа не доходит до царя? Это и есть самое нормальное. Нет, адреса я подписать не могу. Пусть на меня не обижаются. Я, может быть, напишу Николаю письмо и скажу в нем то, что думаю.

Лев Николаевич пригласил меня с ним позавтракать. Во время завтрака завязалась оживленная беседа. Заинтересовался моим мировоззрением, в связи с этим речь зашла о марксизме.

— Меня вот все упрекают, — сказал Лев Николаевич, — что я пишу о том, как лучше устроить жизнь, не зная экономической науки, не зная, что сказал и что открыл Карл Маркс. Ошибаются. Я внимательно прочел «Капитал» Маркса и готов сдать по нему экзамен. Но ничего нового я у него не нашел. Неприятно поражает, что он самые простые вещи говорит запутанно, мудреными словами.

Но, конечно, не «запутанность» изложения отталкивала Толстого от Маркса, а отсутствие «религиозного жизнепонимания».

Лев Николаевич стал говорить о значении истинной религии и о единственном законе, для всех обязательном, о «законе любви».

В столовую вошла стройная, красивая брюнетка. Я думал, что это одна из дочерей Льва Николаевича.

— Познакомься, Соня, — сказал Лев Николаевич, — это Владимир Александрович Поссе, один из любимых моих писателей.

Я понял, что это была жена Льва Николаевича, Софья Андреевна.

Она начала говорить мне что-то очень милое и любезное, но я плохо понимал.

«Один из моих любимых писателей», — звучали в ушах слова Льва Николаевича.

Сам я в то время не решался считать себя и просто «писателем», и вдруг «великий писатель земли русской» называет меня «одним из своих любимых писателей».

Не шутил ли? Нет, на такую злую шутку Лев Николаевич не способен. Сказал серьезно и искренне. Ему, действительно, нравились мои очерки в книжках «Недели», нравились, вероятно, потому, что я не «творил» и даже не «производил», а просто записывал свои наблюдения и свои переживания.

Ушел от Толстого я в приподнятом настроении. Сердце радостно билось. Походка сделалась особенно легкой. Мне нравились лица прохожих. Я улыбался им. И так хотелось мне всем крикнуть:

— Посмотрите на меня, я человек счастливый! Я был у Толстого, я беседовал с ним, и он назвал меня одним из своих любимых писателей.

Но я не только не крикнул этого, но никогда никому, кроме двух-трех самых близких мне людей, не рассказывал о том, что сказал мне Толстой. Теперь я старик, теперь я старый неудачник. Теперь можно.

О первых двух встречах с Толстым я почти не рассказывал, о первых двух встречах я не писал; отчасти потому они сохранились в моей памяти с большими пробелами.

Напротив, о встречах с Толстым в 1900 году я много рассказывал, и свои впечатления о них я записал тогда, когда они были еще свежи и ярки в моей памяти.

Встречи в 1900 году в Москве и в Ясной Поляне я считал историческими, потому, что был у Толстого не один, а с Горьким. В то время я надеялся, что Горький будет вторым «великим писателем земли русской», и мне казалось очень важным, чтоб он как можно раньше познакомился с первым «великим писателем земли русской».

Весной 1900 года мы вместе с Горьким были в Москве. Я написал Льву Николаевичу письмо, не позволит ли он приехать к нему вместе с моим другом, молодым писателем Алексеем Максимовичем Пешковым, пишущим под псевдонимом М. Горький?

В ответ я получил письмо от дочери Льва Николаевича, Марии Львовны, которая сообщала, что Лев Николаевич болен; но все же, узнав, что мы с Горьким в Москве лишь проездом, просит нас приехать к нему.

Нас очень радушно встретила семья Льва Николаевича, во главе с Софьей Андреевной. Лев Николаевич лежал у себя в спальне, но, узнав о нашем приезде, поднялся и пришел в столовую. Помню, на

сгорбленные плечи его был накинут большой шерстяной платок. Показался он мне еще меньше ростом, чем раньше, и сильно постаревшим. Рука его была бледная и горячая.

Осторожно пожимая ее, я спросил:

— Ну, как себя чувствуете, Лев Николаевич?

— Хорошо, хорошо, — сказал он тихим и усталым голосом, — все ближе к смерти, это хорошо; пора уж.

Но не прошло и получаса, как Лев Николаевич сбросил с себя и усталость и хворь, оживился и оживил всех присутствующих.

Говорил о политике, о литературе, о религии. Лев Николаевич подсмеивался над собой, что никак не может равнодушно относиться к известиям о войне англичан с бурами, и невольно радуется победам буров, хотя знает, что это нехорошо и грешно, так как буры, подобно англичанам, занимаются массовым убийством.

Потом Лев Николаевич прочел какую-то небольшую рукопись о буддизме и попутно указывал, что сущность буддизма совпадает с сущностью христианства и учение Будды даже выше учения Христа.

Горького Лев Николаевич несколько раз просверлил своими пытливыми светлыми глазами и затем стал смотреть на него с ласковой усмешкой.

Горький ему, видимо, очень понравился, но он успел заметить, что Горький писатель уже захваленный и потому поднес ему небольшую горькую пилюлю.

Что Горький Льву Николаевичу понравился, я заметил в тот момент, когда Горький чиркнул спичкой, чтобы закурить папироску, и вдруг остановился, заметив на стене надпись: просьба здесь не курить.

— Закурить захотелось? Ничего, не обращайте внимания на надпись. Кури, коли хочется.

Особенно характерно было это прорвавшееся «кури» вместо «курите». И Горький закурил. Ободренный простотой Льва Николаевича, он спросил:

— Читали вы, Лев Николаевич, моего «Фому Гордеева»?

И тут-то получил горькую пилюлю.

— Начал читать, но кончить не мог. Не одолел. Больно скучно у вас выдумано. А все выдумано. Ничего такого не было и быть не может.

— Вот детство Фомы у меня, кажись, не выдумано.

— Нет, все выдумано. Простите меня, но не нравится. Вот есть у вас рассказ «Ярмарка в Голтве». Этот мне очень понравился. Просто, правдиво. Его и два раза прочесть можно.

Горький был озадачен.

«Фоме Гордееву», как своему первому крупному произведению, он придавал большое значение. Сценку же «Ярмарка в Голтве» считал совершенным пустяком.

Но, с другой стороны, совершенно понятно, что Толстой, желая указать на необходимость правдивости в творчестве и простоты в изложении, из всех очерков Горького выделил «Ярмарку в Голтве».

В ней отразилась сама жизнь.

Читателя охватывает атмосфера украинской ярмарки, он заражается настроением «человіков», их ленивым юмором и тяжеловесной веселостью.

И не только «человікі»... Цыган, еврей, ярославец — все, как живые. Живая, яркая картина, полная воздуха и зноя...

«Ярмарка в Голтве» напомнила Толстому Гоголя с его удивительным юмором.

— Куда только девался наш юмор и как мало его у современных писателей. Был он у Чехова, но в последних произведениях его уже нет юмора. А юмор — большая сила. Ничто так не сближает людей, как хороший, безобидный смех. А в сближении людей главная задача искусства.

— Вот у вас в журнале, — обратился ко мне Лев Николаевич, — появился, видимо, молодой писатель, Чириков, я его раньше не встречал. У него пробивается настоящий гоголевский юмор. С большим удовольствием прочел его рассказ «В лощине меж гор».

— Ну, это просто анекдот, — вставил Горький.

— Что же, что анекдот?! — возразил Толстой. — Вот «Коляска» Гоголя тоже анекдот, а между тем ее, пожалуй, будут и тогда читать, когда нас с вами забудут.

Из рассказов, помещенных в «Жизни» за 1899 год, более всего Толстому понравился рассказ Л. Николаевича «Отслужил». Он указывал на него, как на вещь образцовую.

— Вот как надо писать! — говорил он. — Бесхитростно, но правдиво, жизненно, значительно.

При мне Толстой дал уже сильно потрепанную декабрьскую книжку «Жизни» за 1899 год рабочему, пришедшему за разъяснением какого-то наболевшего вопроса, и просил непременно прочитать рассказ «Отслужил».

Автор рассказа, подписанного псевдонимом (Л. Николаевич), молодой вышневолоцкий рабочий Мельницкий. Это, если не ошибаюсь, его первое и последнее произведение. Оно было передано мне Вересаевым.

Помещая этот простой и правдивый рассказ из рабочей жизни, я был уверен, что на него обратит внимание Толстой. Я надеялся, что на него обратят внимание и литературные критики.

Относительного Толстого я не ошибся, но из критиков никто не заметил рассказа.

Не оттого ли, что это совсем простой, безыскусственный рассказ о жизни рабочего, износившегося за тридцатипятилетнюю фабричную работу и отставленного за негодностью?

Смысл рассказа в трогательной совестливости рабочего человека, которому и на старости лет стыдно жить без работы.

Возвращаясь к беседе Толстого с Горьким, вспоминаю, что Лев Николаевич спросил Алексея Максимыча, долго ли тот думает пробыть в Москве?

— Хотелось бы поскорее уехать, да вот еще заставляют читать на литературном вечере.

— Что, разве Алексей Максимович особенно хорошо читает вслух? — спросил с улыбкой Толстой, обращаясь ко мне.

— Нет, не особенно.

— Так зачем же вы выступаете публично? Напоказ, что ли? — обратился Толстой к Горькому.

— Да мне и самому не хочется, да вот молодежь пристает...

— Ах, молодежь, молодежь! — сказал Толстой. — Хороша она, когда не думает о том, что она «молодежь», что она что-то особенное.

В деревнях бывают такие девки, которые вечно носятся со своею девственностью, стараясь выставить ее напоказ.

«Я девственница, я девственница!» (Толстой здесь употребил вместо «девственница» деревенское выражение, которое считается нецензурным).

— Грош цена такой девственности. Девственность девушки хороша, когда она о ней не думает и даже не знает...

Так и с молодежью...

Нет, кто бы ни просил, а выставлять себя напоказ не надо.

Мне вот только раз пришлось выставить себя напоказ, да и то невольно.

Был здесь в Москве съезд врачей и естествоиспытателей. Пошел я с К. А. Тимирязевым послушать. А он и приведи меня прямо на эстраду. Публика увидела и начала хлопать в ладоши. Сильно хлопали.

Климентий Аркадьевич шепчет мне: — Кланяйтесь, Лев Николаевич. Это вам аплодируют.

Но тут уже я запротестовал:

— Чем я перед ними провинился, чтобы кланяться?

На Горького первая встреча с Толстым произвела не особенно хорошее впечатление [59].

— Ну, как тебе понравился Толстой? — спросил я Горького, когда мы ехали из Хамовнического переулка.

— Да как тебе сказать?.. Финляндия какая-то... Ни родное, ни чужое, да и холодно.

Но Толстому Горький понравился [60].

— В нем есть что-то мужицкое, — говорил Толстой, а это у него высшая похвала.

На другой день после первого знакомства Горького с Толстым, я снова был в Хамовниках, на этот раз один.

— Я, кажется, вчера обидел вашего приятеля, — сказал мне Толстой. — Я не сказал ему главного. За ним всегда останется крупная заслуга. Он показал нам живую душу в босяке. Достоевский показал ее в преступнике, а Горький — в босяке. Жаль только, что он много выдумывает. Я говорю, разумеется, не о фабуле. Фабулу можно выдумывать. Я говорю о выдумке психологической. Допустим, вы пишете роман и рассказываете в нем, что ваш герой отправился на северный полюс и, встретив там свою возлюбленную, обвенчался с ней. Выдумка вполне допустимая. Но если вы описываете душевное состояние приговоренного к смертной казни и заставите его думать и чувствовать так, как он при данных условиях не может, то это будет выдумка недопустимая, выдумка вредная.

В дальнейшей беседе о творчестве Горького я упомянул о силе его изобразительной способности при описании природы.

Но Толстой со мной не согласился.

— Нет, описывать природу Горький не умеет. «Море смеялось», «небо плакало» и т. д. — все это ни к чему. Не следует смешивать явления природы с проявлениями человеческой души.

— Но ведь именно это смешение, — возразил я, — и лежит в основе всей народной поэзии.

Толстой на минуту задумался, но затем решительно сказал:

— Тогда это было нужно, а теперь не нужно.

Здесь Толстой почему-то вспомнил Николая Успенского.

— Николай Успенский, — сказал Толстой, — писал просто и художественно. — Был он несравненно талантливее, чем Глеб Успенский, а теперь почему-то совсем забыт.

Беседа перешла на иностранных писателей.

Я спросил Льва Николаевича, как он относится к творчеству Ибсена, которого я очень высоко ценил и высоко ценю до сих пор.

— Не нравится он мне, — сказал Толстой. — Пишет не просто, туманно, загадками, которые сам, вероятно, не сможет разгадать. Прочел я недавно его «Морскую женщину». Ничего не понял. Какой-то соблазнитель с океанами вместо глаз...

Вот Гюи де Мопассан — это другое дело. У него все просто, ясно, сильно. Большой талант!

— Но у Мопассана — заметил я, — есть рассказы, в которых эротизм сбивается на порнографию. Они не должны бы вам нравиться.

— Верно, верно. Но знаете... — тут Толстой минуту помолчал и потом вдумчиво сказал:

— У настоящего таланта два плеча: одно плечо — этика, другое — эстетика. И если этика слишком подымается, то эстетика опустится, и талант будет кривобокий.

Осенью того же года мы с Горьким поехали в Ясную Поляну.

В вагоне вместе с нами тоже к Толстому ехал со своею дочерью директор одного из московских банков Дунаев, считавший себя толстовцем. Рано утром мы вышли на станции Засека, от которой до Ясной Поляны версты четыре. Директор банка спросил, высланы ли за ним лошади из Ясной Поляны, и остался очень недоволен, получив отрицательный ответ.

В это время к Дунаеву подскочил какой-то живой и плотный старичок в высоких сапогах, тоже направляющийся в Ясную Поляну, и заявил, что он быстро добежит до Ясной Поляны и скажет, чтобы выслали лошадей. Дунаев с дочерью остались ждать лошадей, а мы, вслед за услужливым старичком, пошли пешком.

Дорога была грязная, ноги наши вязли, но утро было хорошее; шли мы весело. В позолоченных березовых рощах раздавались выстрелы, волновавшие мое сердце, еще не излечившееся от охотничьей страсти.

Это Лев Львович стрелял вальдшнепов в тех самых рощах, где в молодости охотился Лев Николаевич.

Сыновья Льва Николаевича заразились от отца его охотничьей страстью, но не заразились сменившим эту страсть отвращением ко всякому убийству, в том числе к убийству птиц и животных.

В ясно-полянском доме нас встретила Софья Андреевна и после первых же приветствий рассказала, что летом была получена телеграмма: «Иду к вам. Горький».

— Никакой телеграммы я не посылал, — сказал Горький. — Очевидно, ее послал какой-то жулик.

— Какая досада, — заметила Софья Андреевна, — а еще за доставку пришлось заплатить рубль тридцать пять копеек.

Вскоре пришел и Лев Николаевич, бодрый, веселый, помолодевший. Встретил он нас приветливо, радостно, но тоже упомянул о телеграмме и о том, что за доставку ее пришлось уплатить.

Помню, нас с Горьким эта мелочь неприятно поразила. Она нам показалась откликом расчетливости хорошего хозяина, которому досадно, если даже рубль вылетит попусту.

Вскоре приехали в коляске и Дунаевы. Директор банка в присутствии Льва Николаевича сразу превратился в опростившегося толстовца. Не курил, хотя в вагоне курил усиленно, не ел мясного, кажется, даже костюм переменил, а тон разговора переменил наверное.

Горький все время недружелюбно щупал своими глазами опростившегося директора банка.

— Заметил ты, — говорил он мне после обеда, — как благоговейно и самоотверженно жевал директор морковку и картошку, отказавшись от индейки?

Дунаев заметил недружелюбное отношение Горького, и когда мы поздно вечером ждали на Засеке поезда на Москву, подошел к Алексею Максимовичу и, с наслаждением закуривая папироску, стал рассказывать, как ему удалось спасти и направить на честный путь какую-то шансонетную певичку, с которой он познакомился в известном московском шантане, у «Омэна».

— Думаю, — заключил елейным голосом свой рассказ Дунаев, — что это маленькое хорошее дело мне зачтется, что оно покроет часть моих прегрешений.

— Я полагаю, что на том свете для вас подготовлена тропическая температура, — сказал глухо и сурово Горький, покручивая правый ус.

— То-есть как тропическая? — спросил Дунаев, не сразу поняв, что Горький направляет его в ад.

— Да так, очень просто: тропическая и баста.

Вообще, Горький в этот день был не в духе. Ясно-полянская обстановка ему не нравилась.

Это чувствовал Лев Николаевич, которому, видимо, Горький нравился все больше и больше [61].

Горький сидел хмурый в кресле. Толстой подошел к нему, похлопал по плечу и с доброй улыбкой спросил:

— Не любите вы меня, Алексей Максимович?

— Не люблю, Лев Николаевич, — полушутя, полусерьезно ответил Горький.

Не скрыл Горький от Толстого и своего отрицательного отношения к «Воскресению», отметив, правда, что справедливое, а потому

и доброжелательное отношение Толстого к «государственным преступникам» должно иметь огромное общественное значение.

За Горьким в Ясной Поляне все «ухаживали». Софья Андреевна свое хорошее отношение к нему отметила тем, что сняла его, и сняла очень удачно, вместе с Львом Николаевичем в ясно-полянском парке, под «деревом бедных» [62].

У меня было настроение хорошее, радостное, хотя за мной никто не «ухаживал». Обрадовало меня, между прочим, то, что Лев Николаевич, как я уже об этом упоминал, очень похвалил политические обозрения Вильде, не зная, что это мой псевдоним.

Но хорошо и весело мне было главным образом потому, что хорош, весел и бодр был Лев Николаевич.

Во время прогулки он ловко перепрыгивал через канавы, перелезал через изгороди, и я с трудом за ним поспевал.

За обедом он руководил беседой, которая вращалась преимущественно около китайского вопроса. Толстой говорил, что китайский народ не менее даровит, чем так называемые культурные народы Запада. Он указывал, что из среды китайского народа вышли величайшие мудрецы, у которых многому должны бы научиться такие философы, как Владимир Соловьев.

— Вы хорошо сделали, хотя и очень огорчили меня этим, — сказал он, обратившись ко мне, — что привели в одном из своих обозрений стихотворение Владимира Соловьева, восхваляющее императора Вильгельма:

Перед пастию дракона
Крест и меч одно.

Ведь это прямо ужас! И Соловьев, приравнивающий меч Вильгельма к кресту Христа, считает себя не только философом, но и верующим христианином [63].

После обеда Лев Николаевич изящно и неутомимо играл с Александрой Львовной в волан.

Весело было смотреть на него!

Такими, вероятно, будут старцы (а не старики) будущего идеального строя!

Как лучи от солнца, шли от него во все стороны лучи любви и привета. Они грели и добрых и злых, и правых и виноватых, и близких и дальних.

Простившись с радушными хозяевами, поздно вечером мы вместе с другими гостями поехали на длинной линейке, запряженной парой рысаков, на Засеку. Впереди скакал верховой с пылающим факелом, освещающий нам дорогу.

И у меня было такое чувство, как будто мы ехали из усадьбы графов Ростовых еще в те давние времена, когда хохотунья Наташа заливалась серебристым смехом, когда хорошенькая Соня наряжалась гусаром и жженой пробкой делала себе усы, когда жив был еще бедный вояка Петя...

Я ехал в Ясную Поляну с намерением попросить у Льва Николаевича для «Жизни» драму «Живой труп» или какое-нибудь другое еще ненапечатанное художественное произведение, хотя бы и не законченное.

О «Живом трупе» я слышал от пайщика «Жизни», Петра Николаевича Ге, сына известного художника, друга Льва Николаевича.

Намерения своего я не выполнил: совестно было выявлять свою редакторскую заинтересованность. Но, вернувшись в Петербург к редакционной работе, я все же написал Льву Николаевичу, что он всем нам — и сотрудникам, и читателям «Жизни» — доставил бы большую радость, если бы согласился напечатать в «Жизни» свою драму.

Лев Николаевич ответил, что я, видимо, введен в заблуждение. Никакой драмы у него нет. Есть лишь набросок, не разработанный и совершенно непригодный к печати.

Мне показалось, что Лев Николаевич недоволен моей нескромностью, моей редакторской настойчивостью, с которой я добиваюсь напечатания того, что он сам решил не опубликовывать.

Написал Льву Николаевичу, чтобы он на меня не сердился. В ответ получил милое и доброе письмо:

«Владимир Александрович,

Ваше посещение, как и прежние мои отношения с вами, оставили во мне только самое приятное впечатление. Я не только не сержусь на вас, но очень истинно сожалею, что пока не могу исполнить вашего желания.

Пожалуйста, вы не сердитесь на меня.

Рукопись, забытую Горьким, я выслал в редакцию.

Живы будем, и вы будете в Москве, то надеюсь, что вы побываете у нас.

Лев Толстой. 14 октября».

Через два года после этого письма наши отношения с Львом Николаевичем круто изменились в худшую сторону.

Лев Николаевич жил в это время в Крыму, с трудом поправляясь от тяжелой болезни. Я жил в Женеве и редактировал «Жизнь», закрытую правительством в России и перенесенную мною за границу,

где она выходила, как орган социал-демократической организации «Жизнь».

«Жизнь» ставила главною своею задачею социалистическую пропаганду и агитацию среди рабочих. А Лев Николаевич обратился к рабочему народу с воззванием, в котором называл социалистов «мнимыми друзьями народа» и советовал не стремиться к изменению всего теперешнего устройства: завладению орудиями труда и землею, и свержению теперешнего правительства, и установлению нового, а постараться самим жить лучше, по закону бога братскою жизнью, делая другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе [64].

На ряду с этим он предлагал для устранения всех общественных бедствий проведение в жизнь «единой подати» или единого поземельного налога по плану американского экономиста Генри Джорджа [65].

Меня обращение Толстого «к рабочему народу» возмутило особенно тем, что в нем совершенно неверно изложены были программы и требования социалистов.

Моя любовь к Толстому в данном случае как бы подстрекнула к резкому ответу на это «обращение».

Ответил я сначала публичным докладом в Женеве на тему: «Граф Л. Н. Толстой и рабочий народ».

Доклад этот очень обидел толстовцев. Мне рассказывали, что присутствующая на докладе жена П. И. Бирюкова даже расплакалась от обиды.

В защиту обращения «к рабочему народу» выступил с особым рефератом «толстовец» Г. Харазов, озлобленно критиковавший мой доклад.

Свой доклад я напечатал в № 6 «Жизни» за 1902 г., но, под впечатлением известия об ухудшении болезни Льва Николаевича, вырезал его.

Затем, узнав, что Лев Николаевич поправился от тяжкой болезни, я выпустил доклад отдельной брошюрой, поместив в ней и само обращение Толстого «к рабочему народу» и свой ответ на реферат Харазова.

Толстовцы в «Свободном Слове», издававшемся в Англии В. Г. Чертковым, изрядно меня потрепали, но Лев Николаевич и здесь проявил свою незлобивость.

В «Свободном Слове» было помещено его письмо, в котором он писал: «С удовольствием прочел брошюру Поссе: даже трогательно, как он нападает на истину, чувствуя ее».

Я как-то встретил доктора, лечившего Льва Николаевича в Крыму, он рассказывал мне, что моя брошюра взволновала Льва Николаевича до слез, но он не обмолвился обо мне ни одним резким словом.

Моя брошюра была переведена на болгарский язык.

После революции 1905 г. у меня неоднократно просили разрешения переиздать ее, но я отказывал.

Я тогда уже понял, что так, как я писал, о Толстом писать нельзя.

Думаю также, что долю истины почувствовал Толстой и в высказанной мною надежде, что он когда-нибудь преклонит свою гениальную голову перед теми безвестными девушками, которые подвергают себя в тюрьмах пыткам голода, протестуя против насилий над уголовными преступниками.

Более шести лет я не виделся и не переписывался с Толстым.

Нас сблизил протест против смертной казни.

Я в лекциях и в статьях по мере своих слабых сил протестовал против смертных казней. Толстой написал свое могучее «Не могу молчать», от которого вздрогнули и заколебались сановные палачи.

Я написал Толстому сочувственное письмо с выражением искреннего желания возобновить прежние добрые отношения. Одновременно я просил его написать статью о Гоголе для юбилейного Гоголевского номера «Нового журнала для всех».

В ответ на это я получил письмо от секретаря Льва Николаевича Н. Н. Гусева. Гусев писал:

«... Лев Николаевич просит написать вам, что рад был получить ваше доброе письмо. На вашу просьбу написать о Гоголе он просит ответить, что писать пошлости о Гоголе ему не хочется, а мысли его направлены теперь в другую область, и потому серьезного написать о Гоголе он не будет в состоянии. Впрочем, теперь Лев Николаевич перечитывает Гоголя, и на мой вопрос о том, не вызовет ли в нем это перепечатывание желания написать о Гоголе, отвечал, что может быть, и напишет, но обещать ничего не может».

К письму Гусева Лев Николаевич своим характерным, крупным, тонким, узористым почерком сделал такую приписку:

«Рад был получить ваше письмо и еще более был бы рад, если бы удалось написать то, что думаю о нем. Боюсь только, что то, что думаю, и не юбилейно и не цензурно. Лев Толстой».

Письмо помечено 4 марта 1909 года. С этого времени возобновились наши добрые отношения и не прерывались до самой смерти Льва Николаевича.

В июле 1909 года я поехал в Ясную Поляну, чтобы повидаться и побеседовать с Львом Николаевичем. Вышел я на станции Щекино, зашел в Телятники, усадьбу Черткова, где было нечто в роде Толстовской колонии, а оттуда пошел в Ясную Поляну.

День был ясный, солнечный. Кругом простор волнующихся нив спелого хлеба, огибающих березовые рощи и уходящих в голубую даль.

А вот и Ясная Поляна!

Трудно было бы придумать лучшее название для того места, где протекала жизнь Л. Н. Толстого.

Ясна природа этой поляны. Ясна усадьба с ее белым домом под зеленою крышей, с ее парком из вековых лип, с ее благоухающим цветником, с ее скромной речкой, заросшей камышом, с ее «оврагом старого Заказа», на краю которого в раннем детстве играл Лев Николаевич, отыскивая «зеленую палочку всеобщего счастья», и где теперь покоится его прах [66].

Ясен с этого места вид на зеленую даль!

Девять лет не видел я Толстого.

За это время, время тяжелых болезней и тяжелых потрясений, он, конечно, изменился, но дряхлым его никак нельзя было назвать.

Какая тут дряхлость, когда он ежедневно по нескольку часов работал, отвечал на массу получаемых писем, беседовал с посетителями, гулял, ездил верхом!

На красивой караковой лошадке, весело перебирающей ногами и задорно подымающей кверху голову, Лев Николаевич выглядел молодцом, «настоящим джигитом».

Его верховой посадке, его уменью «срастись с лошадью» мог бы позавидовать иной молодой наездник.

Старость замечалась лишь при прогулках пешком. Не было прежней ловкости в походке, и не мог он перепрыгивать через канавы и изгороди, как делал лет десять тому назад.

Душа Льва Николаевича изменилась больше, чем его тело. Стал он мягче, терпимее. Взгляд его глаз уже не пронизывал, в нем была какая-то скорбь, часто показывались слезы. Особенно скорбно было выражение его лица, когда он читал письма двух заключенных в арестантские роты за отказ от военной службы.

Арестованные писали, что чувствуют себя бодрыми, и живется им не слишком плохо, только вот вши заедают.

— Их, вот, вши заедают, а я на балконе кофе со сливками пью, — сказал Лев Николаевич, прочитав письма, и на глазах появились слезы.

— Сидели вы в тюрьме? — спросил он меня.

— Сидел, — ответил я. — Да это не особенно худо.

— Худо ли?! — живо подхватил Лев Николаевич. — Вот чего мне не хватает, это тюрьмы. Как было бы хорошо, если бы вместо этих

молодых людей посадили бы в тюрьму меня, в тюрьму настоящую, тюрьму хорошую, сырую, темную, вшивую!

— Не думаете ли вы, — спросил я Льва Николаевича, — что близится время общественного пробуждения к более разумной жизни?

— Не знаю, не знаю, — сказал Лев Николаевич с печальной задумчивостью. — Я этого сказать не могу. Если трудно предвидеть перемену в отдельном человеке, то насколько труднее предвидеть в целом обществе.

Отдельные люди и теперь, как раньше, идут по пути к истине, не страшась препятствий и мучений, но идет ли все общество, — не знаю.

Прав Рёскин, который где-то сказал, что человечество похоже на ослиную голову. В одно ухо влетело, в другое—вылетело.

И все же у Толстого была неискоренимая потребность говорить этому человечеству, говорить о том, как легко и просто устроить жизнь без злобы, без насилий, на основе всеобщей любви. Стоит только захотеть. А вот люди почему-то не хотят.

И это мучило Толстого.

Он собирался поехать в Стокгольм на конгресс друзей всеобщего мира, чтоб и там сказать, как просто создать всеобщее братство, раз навсегда отказавшись от всяких вооружений. Софья Андреевна была очень против этой поездки и просила даже меня, чтобы я постарался отговорить Льва Николаевича ехать в Стокгольм. Она боялась, что организм Льва Николаевича не выдержит морского путешествия и волнения, связанного с публичным выступлением на конгрессе.

И Лев Николаевич не поехал, чтобы не огорчать Софью Андреевну, чтобы не обострять с ней отношений.

Должен сказать, что я ни разу не заметил не только враждебного, но даже раздраженного отношения Льва Николаевича к Софье Андреевне, а Софья Андреевна часто подпускала шпильки по адресу Льва Николаевича.

Мы сидели как-то на балконе. Кроме Льва Николаевича, Софьи Андреевны и меня, был тогда еще известный скульптор И. Я. Гинцбург, маленький, живой, черный еврей.

К балкону подошел деревенский парень в лаптях, с мешком за спиной и стал просить милостыню.

Лев Николаевич заволновался и, обратившись к нам с Гинцбургом, спросил:

— Нет ли у вас денег? У меня сейчас нет, я потом вам отдам.

Я торопливо опустил руку в карман за кошельком, но Гинцбург успел предупредить меня и протянул Толстому серебряный рубль.

Лев Николаевич сунул его в руку парня, который перекрестился и, низко поклонившись, пошел прочь.

— Ну, посмотрите на него, — с досадой сказала Софья Андреевна, показывая на сконфуженного Льва Николаевича. — Где же тут последовательность? Сколько он говорил и писал, что деньгами никому помочь нельзя, а теперь всем, кто ни попросит, сует деньги, и добро бы свои, а то у гостей занимает. Привадил к нам нищих, отбою нет. Сплошное противоречие!

Лев Николаевич смущенно молчал и, засунув руки за пояс своей рубашки, стал смотреть в сад.

— Можно понять Льва Николаевича, — вмешался я. — Владимир Соловьев говорил, что он подает нищим из деликатности. Стыдно, когда видишь, что человек вынужден унижаться и протягивать руку за милостыней. И если ничего не положишь в эту протянутую руку, то усилишь унижение.

Лев Николаевич при этих словах быстро повернулся к нам и радостно сказал:

— Верно, верно! Я это чувствовал, но не умел выразить. Да, да, я подаю нищим, если не из деликатности, то из-за стыда.

За обеденным столом подавались блюда мясные и вегетарианские. Лев Николаевич, как известно, вегетарианствовал и до мясных блюд не дотрагивался.

И. Я. Гинцбург тоже выбирал исключительно вегетарианские кушанья и сказал при этом, что он уже более года не ест мясной пищи.

— Ах, как это хорошо! — заметил Лев Николаевич. — Рад за вас.

— Но я должен сознаться, что вегетарианствую не по убеждению, а по предписанию врачей.

— Ну, это совсем худо! — разочарованно сказал Лев Николаевич.

Заговорили о вегетарианстве. Лев Николаевич вспомнил при этом рассказ Мечникова о каком-то людоеде, которого европейский путешественник спросил, неужели ему не противно есть человеческое мясо?

Людоед отвечал:

— С солью даже очень вкусно.

— Так и наши мясоеды, — добавил Лев Николаевич, — оправдывают себя тем, что с хорошим соусом и горчицей даже очень вкусно.

— За сообщение о людоеде я очень благодарен профессору Мечникову, — ядовито заметил Лев Николаевич. — Но в общем он произвел на меня впечатление совершенно непросвещенного человека. Озабочен какими-то бактериями в кишечнике, приносящими нам старость и смерть. Проповедует против них какое-то кислое молоко, а не

может понять, как можно устроить жизнь без частной собственности на землю. Ему кажется, что мир погибнет, если земля станет свободной.

Беседа захватила вопрос о социализме. Кто-то упомянул о Плеханове.

— Простите, — сказал Лев Николаевич, — я знаю, что я сейчас себя осрамлю в ваших глазах, так как выявлю невероятное невежество. Скажите, кто такой Плеханов, о котором вы упоминаете, как о личности всем известной? Я об нем ничего не знаю.

Вероятно, Лев Николаевич слыхал о Плеханове и знал раньше, кто он такой, но забыл. В памяти Льва Николаевича замечались пробелы.

Помню, как-то Софья Андреевна заговорила о каком-то родственнике Толстых. Лев Николаевич, выслушав ее, сказал:

— Но кто он такой, когда мы с ним виделись?

— Ну, как же ты, Левушка, не помнишь? Он у нас бывал, и ты с ним как-то еще спорил.

— Не помню, не помню, — твердил Лев Николаевич, и лицо его улыбалось. — Многое я забыл, и это меня радует. Забыл я как раз самое ненужное; забыл, например, многих своих родственников, а нужное помню, да, помню.

По просьбе Льва Николаевича я рассказал, какую роль в революционном движении играл Плеханов, и, между прочим, упомянул о борьбе между большевиками и меньшевиками.

Мой рассказ очень заинтересовал Льва Николаевича, и он несколько раз задумчиво повторил:

— Очень интересно, очень интересно. Одна и та же программа, одни и те же цели, бывшие товарищи — и такая ожесточенная вражда!

— Ну, а с кадетами они враждуют?

— Да, враждуют.

— А как кадеты относятся к нам, к людям наших взглядов? — спросил Лев Николаевич, обратившись к своему секретарю Н. Н. Гусеву.

— Неопределенно, — ответил Н. Н.

— Да, да, — сказал, улыбаясь, Лев Николаевич. — Социалисты к нам относятся враждебно, а кадеты — снисходительно.

Во время той же обеденной беседы кто-то заговорил о памятнике Гоголю работы Андреева, только что поставленном на Арбатской площади в Москве. Одни хвалили, другие хаяли, а Лев Николаевич заметил только, что памятник должен гармонировать с той площадью, где он поставлен, и теми зданиями, которые его окружают.

Вероятно, по ассоциации с этим разговором, Лев Николаевич после обеда сказал Гусеву, что он просил бы своих друзей протестовать против постановки памятника ему, Толстому, если после его смерти у кого-нибудь появится такая мысль.

Сказал он также, что боится, как бы Гинцбург не стал его уговаривать позировать. Ему позировка перед художниками и скульпторами чрезвычайно тягостна, но и отказывать в просьбе тяжело.

Гусев сказал об этом Гинцбургу, и тот не просил Толстого позировать, но все же втихомолку сделал набросок карандашом в то время, как Лев Николаевич читал вслух статью из «Русского Богатства» о крестьянском банке.

В этой статье, кстати сказать, доказывалось, что крестьянский банк приносит деревенской бедноте больше вреда, чем пользы, и статья эта очень понравилась Толстому [67].

В этот мой приезд в Ясную Поляну я познакомился со многими друзьями Льва Николаевича Толстого, из которых больше всего мне пришелся по душе доктор Душан Петрович Маковицкий, словак по происхождению. Человек удивительно скромный и незлобный, горячо привязанный к Льву Николаевичу, как к близкому, родному человеку, а не как к великому писателю и проповеднику. Душан Петрович хорошо изучил организм Льва Николаевича, и его медицинским советам Лев Николаевич доверял.

Доверяли Душану Петровичу и крестьяне окружных деревень, которых он лечил охотно и, конечно, бесплатно.

Ходили мы с Душан Петровичем купаться, и по дороге он показал мне то место, где Лев Николаевич просил похоронить его тело.

Лев Николаевич бросил купаться года за два перед этим. Душан Петрович рассказывал, что, выйдя из воды, он почувствовал слабость и сказал:

— Видно, больше нельзя.

Вообще, по словам Душана Петровича, Лев Николаевич как-то инстинктивно остерегался всего того, что вредило его здоровью. Вегетарианствовал он по моральным соображениям, но при мясной пище он умер бы гораздо раньше.

Идя после купанья, мы с Душан Петровичем заговорили о самоубийстве.

Я говорил, что каждый человек имеет право убить себя, а Душан Петрович доказывал, что самоубийство так же недопустимо, как и убийство, и что человек, не зная, что ожидает его в будущем, ни при каких условиях не может самовольно прерывать нить своей жизни.

Но, увы, такова ирония судьбы: я жив до сих пор, а Душан Петрович вскоре после смерти Льва Николаевича покончил жизнь самоубийством [68].

Поздно вечером Душан Петрович проводил меня на почлег в ту комнату, которая прежде служила спальней Льва Николаевича.

Долго не мог я уснуть, продумывая пережитое за этот памятный день.

Не только Лев Николаевич, но и Софья Андреевна, Татьяна Львовна, Александра Львовна и все другие яснополянцы были так просты и так радушны, что я, пробыв одни сутки, уже чувствовал себя старым знакомым, почти другом этих хороших людей.

На другой день перед обедом Софья Андреевна читала мне свой дневник, не пропуская самых интимных мест.

К дневнику она добавляла много интересных воспоминаний. Рассказала она, между прочим, с каким трудом ей удалось добиться снятия цензурного запрещения с «Крейцеровой Сонаты». Через графа Олсуфьева она добилась аудиенции у императора Александра III, хотя тот по правилу никогда не принимал в аудиенции женщин.

Картинно описывала она дворцовую обстановку с массою придворной челяди в шутовских нарядах, изумление придворных лакеев и флигель-адъютантов, мимо которых она проходила в кабинет императора.

Александр III спросил ее:

— Как можете вы, графиня, добиваться опубликования произведения, в котором проклинается брачная жизнь и которое должно быть оскорбительно для вас, как жены графа и матери его детей?

— Ваше величество, — отвечала Софья Андреевна, — вы в данное время видите перед собою не жену графа Толстого, а издательницу сочинений величайшего русского писателя. Я привыкла наилучшим образом делать все то, за что я берусь. А что значит наилучшим образом издать сочинения гениального писателя? Это значит издать их так, как он их написал. Имеем ли право мы решать, что вредно и что полезно из творений гениального человека?

Слова Софьи Андреевны произвели на Александра III большое впечатление, и он снял цензурное запрещение, разрешив напечатать «Крейцерову Сонату» в собрании сочинений Толстого без всяких сокращений.

Он спросил еще Софью Андреевну, принимает ли участие Лев Николаевич в нелегальном печатании и распространении своих статей, направленных против церкви и государства?

Софья Андреевна ответила отрицательно.

— Я верю вам, — сказал Александр III, — и обещаю, что личность Льва Николаевича будет неприкосновенна.

— После аудиенции, — не без самодовольства рассказывала Софья Андреевна, — император сказал графу Олсуфьеву:

— Сегодня я говорил с умнейшей женщиной в России.

Софья Андреевна знала себе цену.

— На своем я умею настоять! — говорила она.

Хотелось мне устроить сына в один из полков, но командир полка не хотел его принимать и уверял, что никто не заставит его сделать то, что он считает неправильным.

— А я заставлю, — сказала я ему.

Поехала к великому князю Сергею Александровичу и так поставила вопрос, что он позвонил командиру по телефону и велел принять сына, и сын был принят.

А вот другой случай. Из Москвы высылали евреев. Одна молодая еврейка, для которой высылка была почти равносильна гибели, обратилась к нам за помощью.

Я отправилась к «всесильному» полицмейстеру Власовскому и просила его не высылать этой еврейки.

Он решительно отказал.

— Хорошо, — сказала я, — тогда эта еврейка переселится в наш дом, и вам, чтобы выслать ее, придется совершить насилие не только над ней, но и над графом Толстым и надо мной. На это, я думаю, вы не решитесь.

Власовский промолчал.

Еврейка поселилась у нас в доме и осталась в Москве.

Продолжая читать интимный дневник, Софья Андреевна, между прочим, заметила, что Лев Николаевич, начавший половую жизнь 15-ти лет и до брака интимно знавший много женщин, ни разу не изменил ей, Софье Андреевне.

— Как вы думаете, почему? — И сама ответила: — Думаю, потому, что я свято исполняла свой материнский долг, что я все силы отдавала деторождению и кормлению детей.

— Так жаль, — добавила она, — что никто из детей не похож на Льва Николаевича.

Только последний, Ваня, умерший восьми лет, был вылитый отец. И способности совершенно исключительные. Он, вероятно, унаследовал гений Льва Николаевича. Как любил его Лев Николаевич! Когда он умер, Лев Николаевич не выдержал. Опустил седую голову на руки и с отчаянием прошептал:

— Нет, с этим примириться нельзя!

Во время чтения дневника в комнату вошел Лев Николаевич.

— Что это? Софья Андреевна вам свой дневник читает?

— Да. И я слушаю с большим интересом. Хорошо пишет Софья Андреевна.

— Верно. Она пишет, действительно, очень хорошо, — не без гордости согласился Лев Николаевич.

На второй день после обеда Лев Николаевич пригласил меня погулять с ним и побеседовать.

В первый день он ко мне точно присматривался.

И, видно, присмотрелся и приблизился.

Гуляли мы долго. Иногда Лев Николаевич присаживался на свою палку, рукоятка которой раскидывалась в виде сиденья, и отдыхал.

Он расспрашивал меня, чем я живу, что делаю, чем интересуюсь.

Я тогда жил и болел созданным мною первым свободным рабочим кооперативом, петербургским «Трудовым Союзом».

С большим вниманием выслушал Лев Николаевич все то, что я говорил о кооперативном движении, и затем как бы предостерегающе сказал:

— Мне кажется, что вы, Владимир Александрович, как и Иван Михайлович Трегубов, грешите суеверием строительства. Есть три суеверия: религиозное, научное и суеверие строительства, суеверие общественное. Суеверие строительства заключается в том, что люди надеются победить зло изменением внешних форм общежития.

Но все же кооперативным движением Лев Николаевич заинтересовался очень серьезно.

Очень сочувственно отнесся Лев Николаевич и ко всему тому, что я говорил о всеобщей забастовке рабочих, солдат и плательщиков налогов, как средстве борьбы с государственным насилием. Особенно полюбилась ему мысль о бойкоте водки, который мог бы подрезать один из главных источников государственного дохода.

В спасительности «единой подати» Генри Джорджа Лев Николаевич начал уже сомневаться. Но с тем большим ударением говорил он, что первым условием правильного устройства народной жизни является уничтожение частной собственности на землю.

— Было бы лучше всего, — добавлял он, — если бы вообще исчезла всякая собственность. У меня в последнее время постоянно вертится в голове фраза Прудона: «La propriété c'est le vol» (собственность — это воровство).

Из революционеров Лев Николаевич особенно интересовался П. А. Кропоткиным.

— Прочел я, — говорил он, — недавно его книгу о французских тюрьмах. Умная, поучительная книга, прекрасно выявляющая лицемерие республиканской власти. Очень хотелось бы мне лично познакомиться с Петром Алексеевичем Кропоткиным, но, видно, не придется, как не пришлось мне познакомиться с Федором Михайловичем Достоевским. Чем больше я живу, тем сильнее чувствую, как близок мне по духу Достоевский, несмотря на то, что наши взгляды на государство и церковь кажутся прямо противоположными.

Достоевский, Кропоткин, я, вы и все другие, ищущие истины, стоим на периферии круга, а истина в середине. Разными путями приближаемся мы к ней.

Зашла речь о христианстве. Меня поразило, что Лев Николаевич с какой-то особенной резкостью стал нападать на христиан всех толков.

— Не следует называть себя христианином, — говорил он, — потому, что нет никакой особой христианской истины. Нет ничего в христианском учении, чего бы не было в других религиях, особенно в буддизме; кроме того, так называемые христианские истины мы можем найти более углубленными и лучше выраженными у древних мудрецов, особенно у мудрецов китайских.

— Пора перестать, — продолжал Лев Николаевич, — ссылаться и на евангелие, в котором много противоречий и много нелепых суеверий.

Я указал в ответ на эти слова, что евангелие ценно не поучениями Христа, а трогательно, просто, потому и художественно, рассказанной историей жизни и страданий человека, поверившего в силу любви.

Но Лев Николаевич продолжал нападать на христианство и евангелие.

— Страшно подумать, — говорил он, — сколько совершено злодеяний, убийств и обманов именем Христа и на основе евангелия.

Тогда я припомнил где-то сказанные слова Льва Николаевича, что церковное христианство является предохранительной прививкой против восприятия евангельских истин, как дефтеритная сыворотка предохраняет от заболевания дифтеритом.

— Нет, вы ошибаетесь, вы приписываете мне то, чего я не говорил. Неужели я мог так хорошо сказать? А сказано хорошо! — И лицо Льва Николаевича озарилось лукаво-радостной улыбкой.

Надо заметить, что Лев Николаевич в последние годы своей жизни часто не узнавал себя, то-есть не признавал за свое то, что было им раньше написано.

Незадолго до моего приезда Н. Н. Гусев читал Льву Николаевичу вслух мою статью в «Слове» о «Рассказе о семи повешенных» Леонида Андреева. В этой статье я писал, что Андреев не мог правдиво передать настроение осужденных к смертной казни, что он это настроение выдумал. И в противовес этой выдумке я привел правдивый «рассказ Кириллова» о повешении двух политических из «Воскресения» Толстого.

Когда Гусев прочитывал выписки из «Воскресения», Лев Николаевич подумал, что это выписки из «Рассказа о семи повешенных», и заметил:

— Нет, Поссе не прав, Андреев здесь написал очень правдиво. Так и следует писать.

— Лев Николаевич, но ведь это писал не Андреев, это взято из вашего «Воскресения».

Лев Николаевич добродушно рассмеялся.

В связи с критикой христианства Лев Николаевич затронул вопрос о безнравственности самой идеи возмездия.

Эта идея возмездия делала для него совершенно неприемлемым и учение теософов.

— В мире нет виноватых, — сказал он, видимо, забыв, что это слова шекспировского Лира.

— Если у меня хватит еще сил, то я на эту тему напишу рассказ, а может быть, и целый роман.

И затем по какой-то ассоциации мыслей и впечатлений заговорил о стражнике, присланном по просьбе Софьи Андреевны для охраны Ясной Поляны.

Присутствие стражника, видимо, очень мучило Льва Николаевича.

— Подошел я к стражнику, — рассказывал Лев Николаевич, — и спрашиваю его: Что это у тебя сбоку висит? Нож, что ли?

— Какой нож? Это не нож, а тесак.

— Что же ты им будешь делать? Хлеб резать?

— Какой там хлеб?!

— Ну, так мужика, который тебя хлебом кормит.

— Ну что ж, и буду резать мужика.

— Ведь сам ты тоже мужик. Как же тебе не совестно резать своего брата-мужика?

— Хоть совестно, а резать буду, потому такова моя должность.

— Зачем же ты пошел на такую должность?

— А затем, что вся цена мне в месяц шестнадцать целковых, а платят мне тридцать два целковых, потому и пошел на эту должность.

— Ответ стражника, — с усмешкой заметил Толстой, — объяснил мне много непонятных вещей в жизни. Взять, хотя бы, Столыпина. Я хорошо знал его отца, и его когда-то качал на коленях. Может быть, и ему совестно вешать, а вешает, потому что такова его должность. А на эту должность пошел, потому что красная цена ему даже не шестнадцать целковых, а, может, ломаный грош, получает же он — тысяч восемьдесят в год.

И таковы все эти порядочные люди, из так называемого высшего общества. Милы, любезны, учтивы, пока дело не коснется должности, а по должности — звери и палачи. Таков, например, был известный шеф жандармов Мезенцов, убитый за свои зверства революционерами. А вне должности был премилый и добродушный человек; я его хорошо знал.

Свою терпимость Лев Николаевич распространял и на сумасшедших.

Заговорили мы о Фридрихе Ницше. Я, между прочим, указал, что Фридрих Ницше одновременно с Толстым и независимо от него определил истинную сущность христианства совершенно так же, как она определена Толстым в его книге «В чем моя вера». Ницше в «Антихристе» писал, что ключ к пониманию христианства в словах евангелиста Матфея: «Не противься злу». То же самое писал и Толстой.

Я рассказал при этом Толстому, что у меня как-то был паровозный машинист, помешавшийся после железнодорожного крушения и утверждавший, что близится какой-то огненный поток. Этот машинист считал пророком огненного потока Фридриха Ницше, которым с упоением зачитывался. Ко мне он пришел, побывав у Толстого, и возмущался, что Толстой не хотел его понять, а главное, назвал Ницше «сумасшедшим немцем». Машинист, по его словам, не стерпел такого оскорбления и резко отпарировал: — Кто дал вам право называть Ницше «сумасшедшим немцем»? Может быть, сумасшедший не Ницше, а вы сами.

— Помню, помню, — весело улыбаясь, сказал Лев Николаевич.— Хорошо он меня обогрел, так и следует — заслужил. По совести говоря, мы хорошенько не знаем, кто сумасшедший, кто в здравом уме, и лучше всего никого не называть сумасшедшим.

Под вечер, когда мы вернулись с прогулки, к Льву Николаевичу подошел какой-то человек и о чем-то заговорил, сильно жестикулируя.

Несколько минут Лев Николаевич ходил с ним по дорожкам цветника, видимо, внимательно прислушиваясь к тому, что рассказывал незнакомец.

Затем они вместе подошли ко мне, и Лев Николаевич познакомил нас, при чем рекомендовал незнакомца, как астронома, сделавшего какое-то необычайное открытие и изобревшего какие-то указатели вращения земли, ее возрождения и жизни на луне.

Незнакомец немедленно стал мне объяснять свои изобретения, показывая фотографию, на которой он снят со своим указателем, сделанным из двух стеклянных конусов.

Я тотчас понял, что это сумасшедший; раньше меня понял это, конечно, и Лев Николаевич, но, тем не менее, вполне серьезно сказал:

— Я в этих астрономических тайнах мало разбираюсь. Это дело Николая Александровича Морозова [69]. Я вам дам к нему рекомендательную карточку. А теперь пойдемте поужинать.

И он добродушно похлопал сумасшедшего по плечу.

За ужином Лев Николаевич усадил с одной стороны меня, а с другой астронома и старался направить разговор подальше от астрономии. Но астроном быстро и громко стал говорить о том, как он убедился в присутствии живых существ на луне. Все замолкли, смущенно слушая бред сумасшедшего.

Наконец, Лев Николаевич мягко и ласково, вполголоса сказал:

— Брось...

— Нет, не брошу! — яростно крикнул сумасшедший и даже стукнул рукой по столу.

— Ну, не бросай, — так же ласково и мягко сказал Толстой, — а дыню все-таки покушай.

И сумасшедший дыню покушал, успокоился и ушел, дружески простившись со Львом Николаевичем.

Собрался уезжать и я. Лев Николаевич и Софья Андреевна уговаривали меня остаться подольше погостить, но я решил все же уехать, так как почему-то боялся понизить силу переживаний этих двух памятных дней в моей жизни.

За эти дни я полюбил Льва Николаевича крепко и навсегда.

Но в моей любви не было преклонения. Скорее к ней примешивалась жалость.

Да, Льва Николаевича было жалко. Я видел, что ему живется не легко, и та комфортабельная обстановка, которую так часто ставили в вину Толстому, его давила и угнетала. С какою радостью он отказался бы от всех удобств и, взяв посох, пошел бы в народ!

Его от этого удерживала боязнь причинить смертельное огорчение Софье Андреевне. Мягкая и любящая душа Льва Николаевича не могла не считаться с той, которая когда-то вверила ему свою

молодую жизнь и почти пятьдесят лет заботилась о нем, искренне думая, что он не мог бы прожить без ее забот.

Прощаясь, мы обнялись и расцеловались с Львом Николаевичем.

— Прощайте, дорогой мой, — сказал Лев Николаевич, — может быть, в этой жизни мы больше с вами не встретимся.

Вскоре после возвращения в Петербург из Ясной Поляны я задумал издавать журнал «Жизнь для всех», к участию в котором я хотел привлечь не только профессиональных писателей, но также рабочих и крестьян. Считал очень важным, чтобы в первом номере журнала появилась какая-нибудь статья Льва Николаевича Толстого. Написал Душану Петровичу Маковицкому, прося его переговорить об этом с Львом Николаевичем.

В ответ я получил от Душана Петровича письмо, датированное 27 августа 1909 года.

«Дорогой Владимир Александрович! — писал Маковицкий. — Лев Николаевич с тех пор, как кончил письмо «О науке» и написал «Заявление об аресте Гусева», ничего не пишет, кроме коротких писем — ответов и дневника. Пятый год, как здесь живу, не было такого долгого промежутка в писании Льва Николаевича. Говорит, что пора бросить писание, и он чуждается литературных интересов.

Когда сообщил Льву Николаевичу вашу просьбу к нему, Лев Николаевич ответил, что он желал бы вам сделать приятное и полезное, но весьма мало вероятно, чтобы успел и по слабости, и — добавил как бы для себя — по отпору к литературным затеям...

Пишучи это письмо, я вспомнил, что у Л. Н. есть «Письмо Польке» (ответ на анонимное письмо, которое Льву Николаевичу почтой возвращено, как «nicht behoben» (адрес: до востребования, «Польке»).

Я отыскал и предложил его Льву Николаевичу, не согласится ли его послать вам. Лев Николаевич не только охотно согласился, но стал поправлять его, и вот пятый день прошел, и Лев Николаевич все еще поправляет, дополняет, наверно, не скоро кончит. Сегодня потребовал книжки о славянах. Я Черткову написал, что «Письмо Польке» Лев Николаевич определил для вашего журнала».

10 сентября я получил от Душана Петровича второе письмо, в котором он, между прочим, сообщал, что «Письмо Польке» разрослось в целую статью.

«Лев Николаевич, — писал Душан Петрович, — третьего дня вечером прочел нам ее вслух. Произвела очень сильное впечатление. Ее можно считать оконченной, раз была прочтена вслух. Поправки кое-какие еще будут, но только в течение нескольких дней. Напомните

Льву Николаевичу, что «Письмо Польке» взялся разработать для первого номера вашего журнала, и попросите прислать вам его...»

Я написал Льву Николаевичу, попросив его прислать письмо польской женщине, и довольно подробно изложил те цели, которые я преследовал, основывая новый журнал.

Между тем, на пути организации журнала встретились большие препятствия. Найти материальные средства оказалось гораздо труднее, чем я предполагал.

Известные писатели, к которым я обращался с просьбой о сотрудничестве, отвечали уклончиво.

Не легко было найти и ответственного редактора, а сам я подписывать журнал не мог, так как был привлечен к суду по 129 статье за «Библиотеку Рабочего». Один из моих друзей, Лев Станиславович Козловский, на поддержку которого я особенно рассчитывал, прислал мне письмо, в котором дружески советовал отказаться от непосильной затеи издавать без капитала дешевый журнал, затеи, несомненно обреченной на провал.

После тяжелых дум в бессонную ночь я согласился с Козловским и решил отказаться от мысли издавать журнал.

Но как раз в это утро почтальон принес мне толстый конверт, взглянув на который я сразу узнал характерный почерк Льва Николаевича. В конверте была довольно большая статья Льва Николаевича «Ответ польской женщине», было приложено и самое письмо к Льву Николаевичу польской женщины, но в данный момент всего важнее для меня было дружеское письмо Льва Николаевича ко мне.

Прочитав его, я воспрянул духом и вспомнил тот девиз, который я выбрал себе еще в юности, по которому, увы, не всегда умел следовать.

«Quand même!» Во что бы то ни стало!

В декабре 1909 года вышел первый номер «Жизни для всех», просуществовавший до июля 1918 года.

Очень рад буду, — писал мне Лев Николаевич, — исполнить ваше желание. Когда Душан Петрович предложил мне послать это письмо к польской женщине вам, я пересмотрел его и невольно кое-что прибавил, от чего, боюсь, оно стало еще более нецензурно, чем было. Во всяком случае, посылаю его вам, предоставляя вам делать в нем все те сокращения, какие найдете нужными. Буду рад, если оно в каком бы то ни было виде пригодится вашему изданию, которому, по тому, что вы пишете об его задачах, всей душой сочувствую.

Хотя я и не считал бы это письмо «Польской женщине» заслуживающим того, чтобы оно одновременно было напечатано за границей,

(считаю незаслуживающим, потому что в нем много повторений, много раз сказанного), В. Г. Чертков просит вас списаться с ним о времени выхода, если вы захотите печатать письмо.

Очень мне полюбилось то, что вы пишете о привлечении к сотрудничеству в вашем журнале рабочих и, главное, крестьян. Я столько знаю серьезных, истинно-просвещенных людей в этой среде, что сотрудничество их очень, очень желательно. Дружески жму вашу руку.

Лев Толстой.

12 сент., 1909 г., Крекшино.

Прилагаю и письмо польской женщины. Вы сделайте с ним, что найдете нужным. Все оно длинно и мало интересно. Может быть, вы найдете нужным сделать из него извлечения. Л. Т.».

Я поместил в первом номере, как «Ответ» Льва Николаевича, так и само письмо польской женщины; и в том, и в другом пришлось сделать большие сокращения, так как иначе первая книжка, наверное, погибла бы, а может быть, погиб бы и журнал.

Правда, первая книжка «Жизни для всех» все же была конфискована, но не за статью Толстого, а за довольно безобидный очерк Муринова «Одиночество», в котором усмотрено было восхваление Парижской Коммуны.

«Одиночество» было вырезано и заменено каким-то рассказом. После этого арест был снят, и первый номер был разослан подписчикам и поступил в продажу с «письмом польской женщины» и «ответом» Толстого.

До последних дней своей жизни Лев Николаевич живо интересовался «Жизнью для всех» и по мере сил поддерживал ее и способствовал ее распространению.

После поражения революции 1905 года среди молодежи началась эпидемия самоубийств. Я написал Льву Николаевичу, прося его высказаться по этому поводу на страницах «Жизни для всех», сказать молодежи свое предостерегающее и в то же время ободряющее слово, или хотя бы прислать то, что он, вероятно, раньше писал о самоубийствах.

В ответ на это я получил письмо, написанное совместно Софьей Андреевной и Львом Николаевичем.

«Какое вышло удивительное совпадение! — писала Софья Андреевна. — Вы пишете Льву Николаевичу о том, не найдется ли что-нибудь в его писаниях против самоубийства. А я только сегодня послала в «Русское Слово» именно такую статью под заглавием: «О самоубийстве», написанную Львом Николаевичем еще в 1900 году.

Вчера, пересматривая разные русские и иностранные брошюры со статьями Льва Николаевича, я совершенно случайно нашла в середине книжечки эту статью. Перечла ее, и, также как вы, возмущаясь и скорбя душой о тех молодых жизнях, которые ежедневно погибают по собственному желанию, я просила Льва Николаевича позволить мне напечатать его мысли, на что он охотно согласился.

Не знаю, напечатает ли «Русское Слово» эту статью; не знаю и того, удобно ли вам будет тоже ее напечатать. На всякий случай посылаю вам точную копию того, что я сегодня послала в «Русское Слово». Поступайте по своему усмотрению, как хотите с этой статьей...»

Здесь письмо Софьи Андреевны прерывается, дальше следует написанное рукою Льва Николаевича:

«В самом деле, это странная случайность. Я перечел эту забытую мною статейку, но она мне показалась стоящей напечатания. Я ничего сейчас не сумел бы написать лучшего. Любящий Вас Л. Толстой».

А дальше опять идет написанное рукой Софьи Андреевны:

«И сейчас Лев Николаевич велел вам еще передать, что он очень рад, что его статья будет у вас напечатана, и что он благодарит вас за предложение посылать ваш журнал по его указанию.

Очень рада буду, если посылаемая мной статейка вам пригодится; жалею, что ваше письмо не пришло днем раньше.

Желаю вам всего лучшего. Преданная вам София Толстая».

Письмо датировано 7 марта 1910 года.

Небольшая статья Льва Николаевича «О самоубийстве» была, конечно, мною напечатана.

Отношение Толстого к «Жизни для всех» характеризуется, между прочим, тем, что он хотел помещать в ней наиболее интересные из получаемых писем со своими на них ответами. Но этому помешала обострившаяся трагедия его личной жизни.

Он прислал мне только одно письмо рабочего с Божьего Промысла в Баку Петра Мельникова. Петр Мельников мучился, именно мучился вопросом: в чем смысл жизни? и обратился за разъяснением к Льву Николаевичу. Лев Николаевич послал ему свои религиозно-философские сочинения, но он не нашел в них ответа на проклятые вопросы, мучившие его, и снова написал Льву Николаевичу письмо, которое можно назвать криком отчаяния.

Несколько слов, которыми Лев Николаевич сопроводил письмо Мельникова, было последнею вестью от него. Через несколько дней после этого все думающее и чувствующее в мире было потрясено известием об уходе Льва Николаевича из Ясной Поляны.

Вслед за этим весь мир облетело тревожное сообщение о том, что тяжкая болезнь остановила Льва Николаевича на станции Астапово.

А через три дня мир узнал, что 7 ноября в 6 часов 5 минут перестало биться сердце Льва Николаевича.

До меня эта весть долетела в тот момент, когда я собирался выйти на эстраду концертной залы Тенишевского училища для прочтения лекции о Чехове. Этой вести я ждал, но все же слезы хлынули из глаз. Собравшись с силами, я все же вышел на эстраду и сообщил о смерти Толстого.

Волнение охватило присутствующих; все встали с своих мест.

«Тревожный сон Льва Николаевича Толстого прерван, — сказал я. — В эту торжественную минуту хочется верить, что был прав великий старец, когда говорил, что за смертью-пробуждением начинается новая, лучшая жизнь.

Но скорбь все же сжимает сердце. Осиротела Россия, и с нею осиротел каждый из нас. Осиротела Россия, не осиротел ли весь мир?

Никто не в праве сказать про Толстого — он наш, а не всех. Не могут того даже сказать толстовцы. Весь мир охватил он духом своим, духом разумной любви.

И всему миру принадлежит он, миру не только в настоящем, но и в будущем.

Миру принадлежит он, но для каждого он может быть близким, родным. И каждый, самый слабый, может принять участие в толстовском творчестве истины.

Постараемся, чтобы Толстой жил в каждом из нас.

Постараемся, чтобы любовь к нему была бы любовью между нами. Постараемся, чтобы любовь просветила даже ненавидящих его.

Постараемся, чтобы слились, наконец, жизнь и любовь.

Да будет скорбь наша возвышенной!

Да живет и оживляет нас человеческий гений Толстого!»

Затем я начал читать лекцию о Чехове, но в этой лекции постарался подчеркнуть то, что сближало Чехова с Толстым, а сближало их многое. Недаром Чехов говорил: «Если бы я мог верить, то вера моя была бы толстовская».

Я не поехал в Астапово и в Ясную Поляну на похороны Толстого. Я знал отрицательное отношение Льва Николаевича к похоронным церемониям и сам не любил и не люблю их. В трупе уже не было Толстого. Он был и останется в мыслях и чувствах тех, которые читали и любили его.

Я поехал по сибирским городам читать лекции о Толстом. Они проходили с большим подъемом.

Особенно памятна мне лекция в Омске. Когда я кончил ее, отдернута была занавесь, скрывавшая портрет Толстого, и взглянули на нас из-под густых седых бровей глаза Льва Николаевича, и казались они нам любящими и скорбными.

Все встали. Воцарилась благоговейная тишина. Слышались сдержанные рыдания... И вдруг раздался резкий звон шпор. Жандармский полковник, присутствовавший на лекции, не выдержал и пошел к выходу через расступившуюся толпу.

И я подумал, не является ли он символом насилия, которое, в конце концов должно уйти от жизни под пронизывающим взглядом любящих и скорбных очей Толстого.

## XVI

## ВОКРУГ «ЖИЗНИ» (1899—1901 гг.)

Творчество редактора. — Цензура. — Пайщики «Жизни». — В гостях у Юза. — Пушкинский банкет. — Горький среди петербургских литераторов. — Клевета Глаголева. — В. Г. Короленко. — Первое публичное выступление Горького. — Д. С. Мережковский. — Горький становится пайщиком «Знания». — Что понравилось Горькому в Петербурге? — Первые гастроли Московского Художественного театра. — Демонстрация 4 марта 1901 г. — Протест литераторов. — Провокаторы. — Барятинский, Яворская и Арабажин. — Протест в театре Суворина. — Рост «Жизни». — Против Струве. — Поездки в Англию. — Беседа с П. А. Кропоткиным. — Английские впечатления.

Желая дать цельный образ Толстого, я соединил в одну главу воспоминания о нем из различных периодов своей жизни и потому забежал вперед. От «Жизни для всех» приходится вернуться к «Жизни».

Я редактировал «Жизнь». Редактирование идейного журнала — своеобразное творчество. Необходимо подобрать кадр постоянных сотрудников, определить роль каждого из них. Из массы материала, присылаемого случайными сотрудниками и начинающими писателями, выделить все ценное, все подходящее для журнала, уловить проблески таланта, ободрить робких, одернуть самомнительных. Составляя книжку журнала, необходимо так подобрать материал, чтобы у нее была определенная физиономия, чтобы от прочтения ее оставалось цельное впечатление. Кроме того, каждая книжка должна быть до известной степени злободневной, должна отражать интересы текущего момента.

Между книжками должна быть органическая связь; журнал должен быть определенной архитектуры, с гармоничным сочетанием разнообразных частей.

Идейный журнал не должен и не может быть журналом для всех. Он из массы читателей подбирает свою группу, своих друзей. Журнал воспитывает своих читателей, но и сам находится под их воздействием.

Разрешить все эти задачи при редактировании «Жизни» было чрезвычайно трудно. «Жизнь» была изданием подцензурным. При составлении книжек приходилось прежде всего думать о «цензурности». Пройдет — не пройдет!? Хорошо еще, что большинство цензоров брали взятки, но давать взятки противно.

Пайщики, по моему настоянию, ходатайствовали об освобождении «Жизни» от предварительной цензуры, но ходатайство было отклонено. При составлении плана издания намечался выпуск в месяц трех книжек: литературной, научной и политической; но уже в марте 1899 года пришлось перейти к выпуску ежемесячно одной толстой книжки, — так как книжки научная и политическая выходили слишком тощими вследствие цензурных запрещений. Кроме того, Африкан Африканович Елагин, приставленный цензором к «Жизни», подолгу задерживал не только «гранки» (корректурные листы), но даже и обложки. Книжки сильно запаздывали.

Не удалось бы выпускать и по одной книжке в месяц, если бы новый начальник Гл. упр. по делам печати кн. Шаховской, сменивший полоумного Соловьева, не внял моим жалобам на Елагина. Шаховской захотел щегольнуть своим беспристрастием и, признав мои жалобы основательными, передал цензирование «Жизни» добродушному старику Воршеву.

С Воршевым я сумел поладить. Человек он был мнительный, и я, воспользовавшись этим, предложил ему свои услуги, как врач. Выстукивал, выслушивал его, давал различные безобидные советы и, в конце концов, добился того, что Воршев сказал мне:

— Знаете, Владимир Александрович, я человек старый, плохо разбираюсь в новых литературных и политических направлениях, и мне трудно решать, что при современных условиях допустимо печатать и что недопустимо. Я буду подписывать все, что вы мне ни пришлете, но прошу вас не подвести меня и проявлять величайшую осторожность.

Таким образом, в течение трех-четырех месяцев, пока цензором «Жизни» был Воршев, она выходила фактически без предварительной цензуры.

За это время выходившие книжки меня радовали, как радует добросовестного акушера рождение здорового ребенка.

Я старался быть очень осторожным и не подводить Воршева.

«Слабость» Воршева была вскоре земечена теми, кому замечать полагается, и «Жизнь» вновь оказалась под надзором Африкана Африкановича Елагина.

Умилостивлять его поехал один из пайщиков, Александр Егорович Колпинский. Сначала он повез конфекты его жене, затем пригласил его поужинать в отдельном кабинете какого-то дорогого ресторана. Здесь он предложил ему сто рублей в месяц за «редакционные советы» и выложил первую сотню. Елагин не брал. Колпинский совал ему деньги в карман. И они друг за другом протанцовали вокруг стола три тура, пока утомленный Елагин не согласился, наконец, милостиво взять «катеринушку».

Месяца через два он уже требовал авансов.

Когда тот же Александр Егорович Колпинский в качестве заведующего издательством О. Н. Поповой дал Елагину триста рублей за пропуск I тома «Капитала» К. Маркса, то тот укоризненно сказал ему:

— Эх, Александр Егорович, Александр Егорович, ничего-то вы не понимаете. Можно ли за такую солидную вещь, как «Капитал» Маркса, давать каких-то триста рублей. Он и тысячи стоит, но я по дружбе на пятистах помириться могу.

Получая «жалованье», Елагин давал «Жизни» жить, но мои «обозрения» попрежнему черкал беспощадно.

— Следовало бы вам отделаться от этого свистуна Поссе. Вон посмотрите, как солидно пишет иностранные обозрения Южаков в «Русском Богатстве». Его не приходится черкать.

Советовал Елагин отделаться не только от меня, но и от «направления», превратить «Жизнь» в журнал, подобный «Ниве» или «Родине».

Но пайщики «Жизни» за доходами не гнались и поддерживали журнал совершенно бескорыстно.

Состав пайщиков в первый же год издания изменился. Ушли, получив паи обратно, С. П. Дороватовский, А. П. Чарушников и Д. Е. Жуковский. Вступили вновь О. Н. Попова, В. Я. Муринов, А. Е. Колпинский и М. С. Ермолаев. В 1900 г. в число пайщиков вступил еще П. В. Каменский. Оставались пайщиками с начала до конца три мировых судьи: Михаил Павлович Глебов, Петр Николаевич Ге и Николай Александрович Окунев. Дороватовский, Чарушников и Жуковский ушли вследствие какого-то нелепого и мелочного недоразумения.

После их ухода в течение двух лет до закрытия «Жизни» мы жили дружно, без всяких недоразумений. По отношению ко мне и всем сотрудникам журнала пайщики держали себя безупречно. Ни малейшего давления ни в отношении направления журнала, ни в отношении гонорара и вообще вознаграждения сотрудников. Не вмешиваясь непосредственно в редактирование журнала, пайщики помогали мне не только деньгами и советами, но и личным участием в работе по изданию журнала. Особенно ценна была помощь Михаила Сергеевича Ермолаева, согласившегося подписывать журнал в качестве официального редактора-издателя.

Чиновник Мин. внутр. дел Д. Остафьев, бывший раньше официальным редактором-издателем «Жизни», попросил заменить себя другим лицом, как только вышла первая мною редактированная книжка, и он, конечно, был прав: совместить официальное редактирование марксистского журнала и службу в Мин. внутр. дел было невозможно.

На утверждение меня официальным редактором-издателем не было никакой надежды. Требовалось лицо не только благонадежное, но и с солидным общественным положением.

В поисках такого лица я добрался даже до профессора химии, академика Н. Н. Бекетова, известного своей отзывчивостью к каждому идейному начинанию.

Н. Н. Бекетов, маленький, живой, добродушный старик, принял меня крайне любезно и готов был в крайнем случае согласиться сделаться официальным редактором «Жизни», но посоветовал раньше переговорить со своим дальним родственником, саратовским помещиком и земцем Михаилом Сергеевичем Ермолаевым.

Ермолаев, оказавшийся старым знакомым моего брата, без колебания согласился быть официальным редактором-издателем и войти в число пайщиков «Жизни».

Это был высокий сухощавый старик с лицом старообразным, но глазами удивительно молодыми и добрыми.

С Михаилом Сергеевичем и его женой Анной Владимировной, полной дамой с энергичным и умным лицом мужского склада, я быстро подружился. Много я с ними пережил и радостного, и горестного, но наша дружба ни разу не пошатнулась.

Ермолаевы были на редкость незлобивы и деликатны.

Александр Егорович Колпинский, инженер-технолог, был человек с предпринимательской жилкой. Он взял на себя хозяйственную часть издания, ездил к цензору, устраивал юбилейные празднества и т. п.

Познакомившись в «Жизни» с О. Н. Поповой, он приобрел ее доверие и одно время заведывал ее издательством.

Ходил он развалистой походкой, размахивая длинными цепкими руками. Лицо у него было птичье, нос похож на клюв; из-под очков блестели черные лукавые глаза. Говорил громко; часто смеялся смехом грубоватым. В общем человек веселый, жизнерадостный и, что называется, не вредный. На жизнь смотрел легко, но кончил жизнь трагически. В 1917 г. финляндские белогвардейцы расстреляли его в Выборге, приняв за русского большевика; между тем он политикой не занимался и в Выборг приехал для закупки дров.

Петр Николаевич Ге, сын известного художника, красивый, изящный брюнет, всегда в черном сюртуке, заведывал в «Жизни» художественным отделом. Статьи его по искусству были суховаты, но обстоятельны. Они иллюстрировались снимками с картин и скульптур иностранных и русских художников, как старых, так и современных. Превосходно исполненные и отпечатанные на отдельных листах меловой и слоновой бумаги иллюстрации были одной из особенностей «Жизни».

Михаил Павлович Глебов, председатель петербургского съезда мировых судей, привлекал к себе своею прямотой и правдивостью.

Третий мировой судья, маленький и подвижной Николай Александрович Окунев, специализировался по разбору дел малолетних преступников и проявлял при этом много такта и гуманности.

Человек общественно-активный, он мог бы принять активное участие в «Жизни», но он понял, что я веду журнал не в том направлении, к которому примыкал он, и потому корректно держался в стороне, не навязывая своих статей.

За два с половиной года в «Жизни» были напечатаны только две заметки Н. А. Окунева.

Владимир Яковлевич Муринов вошел в «Жизнь» и как пайщик, и как беллетрист. Пай он внес из средств своей жены Алевтины Михайловны, женщины умной и энергичной, но почему-то не желавшей непосредственно принимать участие в общественных и литературных начинаниях. Влияние ее, впрочем, чувствовалось там, где принимал участие ее муж, очень считавшийся с ее мнением.

У Владимира Яковлевича было очень небольшое художественное дарование и очень большое желание сделаться большим писателем. В «Жизни» он поместил повесть «Воскресники» и рассказ «Григорий Ефимович». Вещи серенькие. «Жизнь» ничего не потеряла бы, если бы их не было, но и вреда они ей не принесли.

Как пайщик он держал себя всегда вполне корректно. При вступлении в «Жизнь» был он убеждений неопределенных, не то либеральных, не то народнических, но затем, постепенно левея, сделался

почти социал-демократом и после закрытия «Жизни» подцензурной сделался деятельным участником заграничной социал-демократической организации «Жизнь».

Полный, мешковатый, с большой круглой головой, в синих очках, с торчащими светлыми усами под маленьким носом и над большим ртом, он напоминал мне сома. По рассеянности я иногда его называл не Владимир Яковлевич, а Сом Яковлевич.

С Петром Валерьевичем Каменским меня познакомил проф. Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский, близко принимавший к сердцу интересы «Жизни».

Каменский — богатый екатеринославский помещик и губернский предводитель дворянства — согласился вступить в число пайщиков «Жизни» из уважения к своему бывшему профессору Овсянико-Куликовскому, а также из тщеславного сознания, что поддерживает издание, в котором пишут Чехов, Горький, Бальмонт, Чириков и др. известные писатели.

В направлении «Жизни» он не разбирался.

Я ездил для переговоров к нему в его имение Красногоровку. Он познакомил меня с Юзом, директором Юзовских заводов. В сопровождении молодого инженера, сына Юза, я ознакомился с работой на металлургическом заводе. Огнедышащие пасти железоплавильных печей, огненные змеи рельс, разрезаемых механическими пилами, мощные удары гигантского молота по раскаленным болванкам и снующие вокруг изможденные, покрытые потом и углем, полуголые люди — вся эта картина навсегда врезалась в мою память.

Осмотрел я и жалкие рабочие жилища, душные и грязные казармы. Какой контраст с комфортабельным английским «котэджем» Юзов, где мне отвели чистую, уютную комнату, предложив отдохнуть, помыться и переодеться перед обедом. Обед был изысканный, с дорогими винами и шампанским. Все Юзы — и старые, и молодые — выглядели такими здоровыми, чистыми, красивыми. Полгода они жили в Юзовке, полгода в Англии. Хорошо говорили по-русски. Во время обеда рассказывали о постановке дела в заводской школе и заводской больнице.

Я невольно допустил бестактность, спросив о красном здании, построенном на небольшом холме и как бы наблюдающим за Юзовкой. Мне сухо ответили, что это — казарма для сотни казаков. Казаки, как я потом узнал, содержались на счет хозяина Юзовских заводов — английской акционерной компании с Юзами и Бальфуром во главе.

Каменскому нравились юзовские порядки, нравилась и «Жизнь», в направлении которой он разобрался лишь тогда, когда вся редакция

была арестована и посажена в «Кресты». Но пока не разобрался, был в «Жизнь» влюблен и почти с благодарностью внес на ее издание шесть тысяч рублей.

«... Считаю себя глубоко-обязанным Д. Н. Овсянико-Куликовскому, — писал Каменский мне, — за то, что он дал мне возможность познакомиться с вами, войти с вами в отношения, которые мне очень и очень дороги, и приобщиться «Жизни».

Если бы я не был стар, я бы сказал, что влюбился в «Жизнь». Во всяком случае я ею поражен и очарован. Каюсь, я никак не думал, чтобы спешное издательское дело могло сосредоточить столько добросовестности, обдуманности и талантливости. Очень и очень буду счастлив быть в рядах людей, работающих на процветание «Жизни».

В Красногоровке я познакомился, между прочим, с сестрой Петра Валерьевича, красивой, изящной, но уже немолодой девицей, ярой католичкой. Она тоже захотела способствовать успеху «Жизни» и предложила свои услуги для переговоров с римским папой, которого она знала лично.

— Святейший отец, — сказала она, — человек всесторонне образованный и высоко-гуманный. Он, наверное, согласится написать статью для «Жизни».

Я ответил, что, разумеется, статья святейшего отца, написанная специально для «Жизни», была бы большой сенсацией и способствовала бы успеху «Жизни», но я, к сожалению, должен отклонить любезное предложение, так как боюсь, что статью святейшого отца не пропустит русская цензура: известно, что русское правительство опасается успехов католической пропаганды.

Со мной, насколько помню, согласился Петр Валерьевич.

Вспоминая отношение Петра Валерьевича к «Жизни» и ко мне лично, должен сказать, что был он человек все же милый, насколько может быть милым губернский предводитель дворянства.

Когда я был арестован, он от меня не отрекся, хлопотал о моем освобождении и даже написал мне в тюрьму сочувственное письмо.

Я с ним впоследствии не встречался, но по газетам следил за его карьерой. Выбранный в Государственную Думу, он примкнул к фракции октябристов, сделавшись одним из лидеров ее левого крыла. Он довольно энергично выступал за веротерпимость.

«Жизнь» не ограничивала своей задачи выпуском ежемесячных книжек; она стремилась организовать общественную оппозицию против самодержавно-бюрократического режима и, прежде всего, воспользовалась для этого столетием со дня рождения Пушкина.

Майский номер «Жизни» за 1899 год был посвящен памяти Пушкина. В нем были помещены статьи о Пушкине проф. Д. Н. Овсянико-Куликовского, проф. А. Н. Веселовского, проф. Н. Д. Кашкина, проф. Н. П. Некрасова, А. Мицкевича, Е. Соловьева, М. Славинского, А. Изгоева, П. Н. Ге и стихотворения Мицкевича и Тана. Книжка была иллюстрирована портретами Пушкина и снимками с картин из его жизни.

Но выпуском книжки мы не ограничились. Мы устроили банкет в помещении петербургского яхт-клуба, на который пригласили наиболее известных «оппозиционных» писателей и общественных деятелей. Почти все приглашенные явились на банкет. Собралось более 100 человек. Тут были В. Г. Короленко, Н. К. Михайловский, Н. Ф. Анненский, Ф. И. Родичев, П. Н. Милюков, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, А. В. Пешехонов, А. М. Калмыкова, О. Н. Попова и мн. др., в том числе все сотрудники «Жизни», находившиеся в то время в Петербурге.

Тан (В. Г. Богораз) прочитал свои стихи, посвященные Пушкину, стихи довольно барабанные, но всем понравившиеся своей яркой оппозиционностью. Начались речи; говорили Короленко, Анненский, Родичев, Струве и др. Говорили ярко и смело. Самую красивую речь произнес В. Г. Короленко, а самую смелую и яркую Н. Ф. Анненский; свою речь он закончил стихотворением Пушкина «Арион». Струве говорил о завоеванном литературой влиянии и, как доказательство этого влияния, указал, что Толстого, что бы он ни писал, арестовать нельзя.

Горького на пушкинском банкете не было. С него тогда не был еще снят «гласный надзор», установленный в связи с «тифлисским делом», и потому приехать в Петербург он не мог.

Первый раз Горький приехал в Петербург в сентябре 1899 года и остановился у меня; я жил тогда на Надеждинской улице.

Чтобы ввести Горького в петербургский литературный мир, задумал я устроить банкет в редакции «Жизни», которая незадолго перед тем из небольшой квартирки на Бассейной перешла в большое помещение на Знаменской улице.

Пригласили не только сотрудников «Жизни», но и всех наиболее видных представителей как марксистского, так и народнического направления. Некоторых литераторов (Н. К. Михайловского, К. С. Баранцевича и других) мы с Горьким поехали приглашать лично. Горького повсюду встречали, конечно, очень радушно.

Банкет прошел оживленно, но не без неловкостей. В ответ на приветственные речи, в которых отмечался крупный талант Горького, он скромно заявил, что успех его объясняется тем, что «на безрыбье

и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин». А перед ним сидел цвет русской литературы с Владимиром Галактионовичем Короленко во главе.

Какую-то еще большую неловкость допустил Евгений Николаевич Чириков, какую — уж не помню, а помню лишь общее смущение и больше всего смущение самого Евгения Николаевича.

Обиженным, впрочем, никто себя не считал. Николай Константинович Михайловский нашел даже нужным подчеркнуть свое хорошее ко мне отношение присылкою мне, на другой день после банкета, полного собрания своих сочинений с соответствующей надписью.

Вскоре после банкета Горький должен был выступать вместе с другими петербургскими литераторами на вечере, устраиваемом в память Чернышевского, в пользу политического Красного Креста.

Официально, конечно, цель вечера не была указана. Ответственность за вечер взял на себя К. С. Баранцевич, фактическими устроителями были представители революционно настроенной учащейся молодежи.

Среди других петербургских литераторов к участию в вечере был приглашен и я. Но когда появилась афиша, то моей фамилии среди участников вечера не было. Подозревая что-то неладное, я спросил студента Горного института, приглашавшего меня участвовать в вечере, почему на афише нет моей фамилии? Тот, путаясь, стал меня уверять, что градоначальник не разрешил к чтению те отрывки из моих сочинений; которые я хотел прочесть на вечере. Я увидел, что он врет, и обратился за объяснением к Баранцевичу. Тот ответил мне, что моя фамилия вычеркнута без его ведома, и, насколько он мог понять из объяснений фактических устроителей вечера, вычеркнута потому, что у них имеются какие-то сведения, компрометирующие меня.

Мне тоже не удалось узнать, каковы эти сведения, я узнал лишь, что эти сведения сообщены бывшим секретарем «Жизни», Николаем Матвеевичем Глаголевым. Глаголев был юноша, вышедший, кажется, из третьего класса гимназии. Познакомился я с ним летом 1896 года на даче около Сиверской. Он почему-то ко мне сразу привязался, следовал за мной, что называется, по пятам, вошел, как свой человек, в мою семью, оказывал мне разные мелкие услуги, писал мне восторженные письма с клятвами в безграничной любви и преданности.

Я тоже относился к нему хорошо, хотя мне иногда надоедала его навязчивость. Помню, на всех студенческих вечерах и вечеринках, куда меня приглашали, около меня всегда стояла его фигура. Лицо у него было смуглое, как у мулата, губы толстые, волосы черные и длинные. Ходил он походкой усталой и часто принимал вид человека

в чем-то разочарованного. Говорил медленно, как бы нехотя, сильно картавя.

Ни малейшего литературного таланта у него не было. Но его почему-то интересовали литераторы и он любил сообщать различные литературные сплетни.

Когда я организовывал «Жизнь», Глаголев исполнял некоторые мои поручения и, в конце концов, сделался секретарем редакции, что ему, конечно, очень льстило. Свои обязанности он исполнял, как мне казалось, добросовестно, но вскоре некоторые сотрудники стали мне указывать, что Глаголев задирает нос и проявляет пристрастие при передаче мне рукописей. Рукописи тех сотрудников, которым он почему-нибудь симпатизировал, передавались мне для прочтения в первую очередь, а другие задерживались.

Заметил я также, что он отвечает на письма от имени редакции, предварительно не переговорив со мной, хотя я этого и требовал.

Сотрудники и пайщики не раз мне указывали, что семнадцатилетний юноша без всякого образования, без всякого литературного стажа, лицо не подходящее для секретаря такого журнала, как «Жизнь». Но я, видя, как крепко Глаголев вцепился в свое секретарство, не мог решиться освободить его от секретарских обязанностей.

Пришлось решиться, когда я от редактора одного прогрессивного московского журнала получил вызов на третейский суд, вследствие того, что Глаголев от имени редакции, отсылая сотруднику этого журнала рукопись, присланную им для «Жизни», написал, что рукопись возвращается нерассмотренной, так как «Жизнь» принципиально не может печатать произведения лиц, участвующих в таком-то журнале. (Названия этого журнала я не помню, но помню, что в нем принимали участие многие известные писатели левого направления.)

Я потребовал объяснений у Глаголева, и оказалось, что он спутал прогрессивный журнал с каким-то черносотенным изданием. Посоветовавшись с Колпинским и другими пайщиками, я написал Глаголеву письмо в дружеском тоне, что он не может более оставаться секретарем «Жизни», но что я обещаю ему достать другое место в книжном деле, более ему подходящее. Выражал надежду, что наши личные отношения не испортятся. Дополнительно, я послал ему еще приглашение притти ко мне пообедать и познакомиться с только что приехавшим Горьким.

Но Глаголев страшно озлился, написал мне грубое письмо, что порывает со мною всякие отношения, и пустился клеветать. До сих пор хорошенько не знаю, в чем заключались его «доносы» революционной молодежи, но, кажется, он намекал, что я с одной стороны

провокатор, а с другой — обманул издателей Горького, Дороватовского и Чарушникова.

Горький, узнав, что меня вычеркнули из списка участников литературного вечера, потребовал, чтобы вычеркнули и его. Произошел переполох. Горький был главным козырем вечера; кроме того, отказ Горького побудил и других литераторов выявить свое отношение к этой гнусной истории.

Вслед за Горьким отказался Вересаев. После некоторых колебаний отказались Струве и Туган-Барановский.

Нашлись, правда, литераторы, которые воспользовались этим случаем, чтобы выявить ко мне затаенную раньше неприязнь, и шушукались, защищая Глаголева, как обиженного молодого радикала.

К Горькому явилась делегация от молодежи, прося его взять обратно отказ от выступления на вечере, имеющем большое политическое значение, но Горький оставался непоколебим, и когда ему говорили, что Глаголев заслуживает доверия, то он спрашивал, достаточно ли длинны у Глаголева волосы, чтобы можно было за них его хорошенько отодрать.

Вечер был сорван или, вернее, отложен на неопределенное время. Он состоялся уже после отъезда Горького из Петербурга.

Ко мне, помню, приезжал Владимир Галактионович Короленко и убеждал меня написать Горькому, чтобы он вернулся хоть на день в Петербург, для участия в этом вечере. Я любил и уважал Короленко, но исполнить его просьбу все же отказался, так как считал, что в данном случае Горький поступил совершенно правильно.

С В. Г. Короленко я встречался много раз. Всегда он на меня производил такое же хорошее впечатление, как и его произведения. Ясный и спокойный, он напоминал мне горное озеро, окруженное тенистыми рощами. Глубокое, прозрачное — виден каждый камешек на дне. Ни бурь, ни волнений. Духовный взор его как будто не воспринимал дурных людей. Он знал «хороших людей на дурных местах», но дурных людей не знал. В этом отношении он был противоположностью Толстому, который против воли замечал и всего ярче воспроизводил дурные свойства людей. И Толстой, и Короленко ужасались смертными казнями; но Толстого ужасали, главным образом, палачи; Короленко ужасала участь смертников, а палачей он почти не замечал.

Вид у Короленко был спокойный, уравновешенный, счастливый. Тюрьма и ссылка не отразились на нем. Ведь и там он видел лишь хороших людей на дурных местах.

Его считали революционером, но по натуре он был мирнообновленцем.

Как-то С. А. Гарюшин от имени какой-то подпольной организации попросил меня написать прокламацию, бичующую жестокость и самодурство самодержавия. Я посоветовал лучше обратиться к В. Г. Короленко, надеясь, что он напишет ярче меня. Отправились к нему вместе. Он охотно согласился, но написал так мягко, что и подпольная организация не захотела печатать такой миролюбивой прокламации. Ведь для Короленко и царь был хорошим человеком на дурном месте.

Возвращаюсь к воспоминаниям о первом пребывании Горького в Петербурге.

На «глаголевском» вечере он не выступал, но согласился читать на литературно-музыкальном вечере, устроенном, если не ошибаюсь, студентами Лесного Института. Одним из устроителей этого вечера был студент Лесного Института Смидович, двоюродный брат Вересаева.

Когда на эстраду в своей косоворотке вышел Горький, все поднялись с своих мест и устроили ему овацию.

Около меня стоял свирепый цензор Африкан Африканович Елагин и аплодировал Горькому так же горячо, как и я. Это было первое публичное выступление Горького. Прочел он свой рассказ «Однажды осенью». Гром рукоплесканий. Горький выходит снова и читает начало очерка «Еще о чорте». Овация.

Я познакомил Горького со всеми близкими мне людьми, в том числе с братом и К. П. Пятницким.

На брата Горький произвел неблагоприятное впечатление, вероятно, потому, что щегольнул своею грубостью. Пятницкий, напротив, очень высоко оценил Горького и как человека, и как писателя.

Побывали мы с Горьким и у Мережковских, где собирались мистики и богоискатели. Горький с усмешкой, но не без интереса прислушивался к их разговору, сам говорил мало и, конечно, не так, как желательно было богоискателям.

Зинаида Венгерова недовольно бросила:

— Горький ломается, он уверяет, что не верит в бессмертие души.

Гости Мережковского меня не интересовали, но с Мережковским я любил беседовать, несмотря на то, что наши мировоззрения были совершенно различны. И Мережковского почему-то тянуло ко мне. Особенно часто приходил он ко мне не в редакцию, а на дом, когда его стали травить за нападки на Толстого [70].

Вид у него был такой, как будто он хочет сообщить какой-то секрет и предупредить о какой-то опасности.

— Иду к вам, — говорил он мне, — и озираюсь, не следит ли за мной какой-нибудь либеральный городовой.

Пророчествовал он о гибели европейской культуры, о торжестве китайского позитивизма, который сотрет с лица земли все мистическое и все духовное, если иудейство не породит нового пророка.

В Струве, Булгакове и других марксистах он угадывал скрытых мистиков.

Запомнился мне его остроумный афоризм о четырех литературных стилях.

— Можно, — говорил он, — писать о понятном — понятно, о непонятном — непонятно, о непонятном — понятно и о понятном — непонятно. Самый скверный способ писания последний, и он в настоящее время самый распространенный.

Подружился с Горьким, конечно, и Колпинский, которому очень хотелось перетянуть издание сочинений Горького от Дороватовского и Чарушникова к Поповой. Попова теперь восторгалась творчеством Горького и считала за великую честь быть издательницей его произведений.

Перетянуть Горького от Дороватовского и Чарушникова было не трудно, так как те не собирались платить ему гонорар, соответствующий его успеху. Колпинский после какого-то ужина стал уговаривать Горького передать право на издание всех своих сочинений Поповой, заранее соглашаясь на какие угодно условия.

Горький сказал, что ему важно лишь иметь постоянное обеспечение для себя и для семьи, чтобы работать, не думая о куске хлеба на завтрашний день. Он был бы удовлетворен, если бы издательство обязалось ему ежемесячно высылать по двести рублей. Колпинский тотчас согласился, предложив со своей стороны зачислить ежемесячные двести рублей в счет дохода от сочинений Горького. Доход этот получает Горький за вычетом лишь 10%, идущих на организационные расходы издательства.

Думаю, что никогда еще ни одному писателю издатель не предлагал таких выгодных условий, какие предложил Горькому Колпинский от имени О. Н. Поповой.

Горький спросил моего совета. Я сказал, что считаю предлагаемые Колпинским условия выгодными; но ничего советовать не решаюсь. Колпинский написал условие. Горький подписал его.

К. П. Пятницкий и братья Протопоповы, узнав о состоявшемся соглашении, напали на меня за то, что я, не переговорив с товарищами по «Знанию», способствовал заключению соглашения между Горьким и Колпинским. Горького, по их мнению, должно издавать «Знание», которое готово предложить еще более выгодные условия, чем Колпинский и Попова.

Под сильным «товарищеским» натиском я написал Горькому письмо, в котором указал, что считаю его в праве отказатсья от соглашения с Поповой и Колпинским, раз «Знание» предлагает более выгодные условия.

С этим письмом Д. Д. Протопопов отправился в Нижний, куда уже уехал Горький.

В результате Горький вступил в число пайщиков «Знания», под фирмой которого и стали выходить его сочинения.

Колпинский был сильно раздосадован победой «Знания».

— Э! Чорт! — крикнул он и с размаху бросил шапку на пол. Но он остался в прежних хороших отношениях и с Горьким и со мною. Никаких каверз он нам не строил. Точно так же и Попова.

Провожая Горького, на Николаевском вокзале я спросил его, что ему больше всего понравилось в Петербурге.

— Три вещи понравились мне в твоем Петербурге, — сказал он мне: — во-первых, копченый сиг; во-вторых, Мережковский за то, что он всерьез верит в бессмертие души, и, в-третьих, зубы П. Н. Милюкова, которыми он когда-нибудь всех нас съест.

У Милюкова зубы, действительно, славно блестели, когда он улыбался своей дипломатической улыбкой, но съесть ими он сумел одного только Штюрмера [71].

Во второй раз Горький приехал в Петербург в начале 1901 года и опять остановился у меня. Его пребывание в Петербурге совпало с первыми гастролями Московского Художественного театра.

С руководителями и артистами Художественного театра я познакомился еще во время своих поездок в Москву. Вместе с Горьким мы ходили на репетиции, а во время спектаклей за кулисы, как свои люди. Мне казалось, что все они были спаены в дружную не актерскую, а любительскую семью.

Это были любители в истинном и высоком значении слова. Они горячо любили свое дело, не щадя времени и сил на разучивание и срепетовку пьес, и добровольно подчинялись требованиям разумной дисциплины. Они не были отдалены от жизни затхлой закулисной атмосферой; вступив в театр, они продолжали оставаться людьми и гражданами, принимающими живое участие в общественной, внетеатральной жизни. Не актеры, а интеллигентные люди с артистической душой. Не все играли одинаково ярко, но никто не играл пошло и глупо.

Московский Художественный театр мог взять своим девизом — «ум, образованность, изучение», что, по мнению Белинского, создает «общность и цельность игры».

Как «первый среди равных» выделялся стройный красавец К. С. Станиславский с серебряной шапкой волос и с черными, как

смоль, усами. Он умел преображаться в разные типы. Лучшим его созданием я считал доктора Стокмана во «Враге народа» Ибсена. Изумительную гибкость творчества проявляли и маленький Москвин, тогда еще совсем юный, и увесистый Лужский. Москвин был и комик, и трагик. Лужский был типичным проф. Серебряковым, нудным себялюбцем и столь же типичным извозчиком Геншелем, простодушным добряком, Качалов только что вступил в труппу и был еще в тени. Я его видел тогда лишь в незначительной и маловыигрышной роли царя Берендея (в «Снегурочке»). У Мейерхольда, тонкого, изящного интеллигента, было больше ума, чем изобразительного таланта. Играл умно, но суховато.

«Жизненцы», то-есть прежде всего Горький, считал московских «художественников», приехавших в Петербург, до известной степени своими гостями. После спектаклей мы приглашали артистов к «Палкину» поужинать и побеседовать.

По нашей инициативе был устроен большой банкет не то у «Донона». не то у «Контана», на котором петербургские литераторы чествовали московских артистов-художественников. Банкет был назначен на 4 марта 1901 года. На этот же день подпольные студенческие организации назначили на Казанской площади демонстрацию протеста против сдачи студентов в солдаты в виде наказания за участие в «беспорядках». О предполагавшейся демонстрации я узнал, когда приглашения на банкет были уже разосланы и отменить его было невозможно. Устройство банкета было поручено Лонгину Федоровичу Пантелееву и мне, но все мое внимание было поглощено предстоящей демонстрацией. Я знал, что тогдашняя «власть» в лице министра внутреннил дел Сипягина, министра народного просвещения Боголепова и градоначальника ген. Клейгельса щадить демонстрантов не будет и направит для избиения их орды полицейских и казаков. Именно поэтому нам с Горьким казалось, что на демонстрацию должны явиться и «старшие», видные литераторы и общественные деятели, чтобы своим присутствием ослабить «энергию» полицейских. По моей инициативе 3 марта вечером в Союзе писателей состоялось совещание редакторов и сотрудников прогрессивных журналов, на котором обсуждался вопрос, итти ли писателям на демонстрацию или нет?

К моему удивлению, против участия в демонстрации высказался Николай Федорович Анненский. Но когда большинство участников в совещании высказалось за то, чтобы итти на Казанскую площадь, Анненский просто спросил: «Где и когда завтра собираться?» И пришел первым и на демонстрации проявил смелости и самоотвержения более всех остальных.

На демонстрацию пришли почти исключительно студенты и курсистки высших учебных заведений. Рассчитывали на рабочих, но они на этот раз почему-то не поддержали студентов: пришли единицы.

Часть демонстрантов заранее собралась в Казанском соборе, откуда вышла на паперть и площадь, к ним стали присоединяться группы и одиночки, приходившие с разных частей города. Появились плакаты; с паперти кто-то начал речь... На площадь ринулись отряды полицейских; из ворот Николаевского сиротского института выехала многочисленная конница. Прогарцовал на коне сам Клейгельс. Демонстранты были окружены тесным вооруженным кольцом. Началось побоище. Городовые и околоточные хватали студентов и курсисток, бросали их на землю и затем избивали кулаками. Казаки стегали нагайками. Старик Анненский с красным лицом, всклокоченной седой бородой и горящими глазами бросился к Клейгельсу, гордо восседавшему на своем великолепном коне, и грозя безоружной старческой рукой, требовал прекращения побоища. Полицейский кулак ударом по лицу свалил старого литератора на землю. Огромный синяк вокруг заплывшего глаза на его лице сыграл свою революционную роль, когда вечером в Союзе писателей Анненский снял повязку. Избит был и Пешехонов, но удары ему пришлись в спину. Мы с Горьким сначала держались вместе, но потом в суматохе и свалке потеряли друг друга из виду.

После побоища начались аресты.

Измученный и подавленный пришел я домой. На диване лежал только что вернувшийся Горький, злой и мрачный. Было около шести часов вечера, как раз время итти на банкет. Итти или не итти? Первая мысль у обоих: чорт с ним, теперь не до банкетов. Но затем, немного успокоившись, решили, что итти следует. Следует воспользоваться банкетом, чтобы пробудить общественную совесть литераторов и артистов. Когда мы пришли, все были уже в сборе и толпились вокруг красиво убранных столов. Около каждого прибора лежал небольшой букет живых цветов — подарок О. Н. Поповой.

Пантелеев встретил меня упреками за опоздание, но сразу замолк, когда я в двух словах рассказал, что̀ произошло на Казанской площади.

После того, как все насладились кулинарным искусством французского повара и подано было шампанское, начались речи. Не помню кто и что говорил. Вероятно, прославляли искусство «художественников». Но вот поднялся М. С. Ермолаев с меховой шапкой в руках.

— Не забудем, — сказал он, — тех несчастных, которые сегодня избиты и арестованы на Казанской площади. Посильно поможем им, — и, положив крупную бумажку в шапку, пустил ее по рукам.

Тогда встал я.

— Не могу, — сказал я, — согласиться с моим другом Михаилом Сергеевичем, назвавшим избитых и арестованных на Казанской площади несчастными. Несчастные не они, а мы, услаждающие себя вкусными блюдами и винами, но не способные открыто и смело протестовать против царящего в России произвола. Избитые и арестованные молодые люди и девушки счастливы. Они знают, что их страданиями, их неволею достигается свобода всех трудящихся. Угнетатели свирепствуют, предчувствуя свою гибель. Пора и нам сказать открыто и смело свое протестующее слово!

Присутствующие заволновались. Раздались аплодисменты, но несколько человек демонстративно встали и ушли. Известный артист, премьер Александринского театра Сазонов, уходя, громко сказал:

— Я шел на праздник искусства, а не на политическую демонстрацию.

С банкета часть писателей, в том числе Горький и я, отправились в Союз писателей. Здесь было составлено обращение к обществу с резким протестом против насилий, совершенных на Казанской площади. Обращение было подписано сорока четырьмя литераторами. Некоторых колеблющихся заставил подписать синяк на лице Н. Ф. Анненского.

«Обращение» было послано за границу для напечатания. В России оно во множестве распространилось путем переписки и гектографа. Оно побудило написать протест и солидных общественных деятелей, в том числе и пайщиков «Жизни» с председателем мирового съезда М. П. Глебовым во главе.

Поэты протестовали стихами.

К. Д. Бальмонт, лучший поэт «Жизни», написал четверостишие:

То было в Турции, где совесть — вещь пустая,
Где царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый, маленький султан.

Поэтесса «Жизни» Галина написала стихотворение, начинавшееся словами: «Лес рубят, молодой зеленый лес»... Стихотворения эти заучивались наизусть.

За «Жизнью» после 4 марта был установлен усиленный надзор. У входа был поставлен посыльный с омерзительной шпиковской рожей. Мы его быстро «вскрыли». Проходя мимо него, Горький, вытаскивая из кармана пальто платок, как бы нечаянно выронил какую-то исписанную бумажку, разумеется, невинного содержания. Затем мы свернули в ближайший переулок, притаившись за выступом дома, стали

наблюдать. «Посыльный», оглядевшись вокруг, подбежал к бумажке, схватил ее, разгладил и бережно положил в записную книжку. На другой день мы дали ему отнести письмо. Он добежал до угла Бассейной и передал его другому, настоящему посыльному.

Изнутри шпионил редакционный сторож Василий.

Как-то вечером я один занимался в редакции. Позвонили в телефон. Я подошел.

— Откуда?

— Это Василий?

Я, уже подозревавший Василия, ответил: — Он самый.

— Приказано завтра в 9 часов утра притти на Гороховую.

— Зачем? — Но нас разъединили, и ответа не последовало.

Когда пришел Василий, я спросил его, зачем его требуют на Гороховую, где, как известно, помещалось охранное отделение.

Василий смутился и стал что-то плести о какой-то куме.

Через несколько дней после этого Василий, придя с почты, где он должен был получить большую сумму подписных денег, заявил, что жулики вырвали у него деньги и скрылись.

Не понимаю, почему мы так долго церемонились с ним. Кажется, потому, что у него были очень хорошие рекомендации.

Наконец, он напился пьяным, нагрубил секретарю редакции С. А. Гарюшину и был уволен.

Вскоре он уже красовался в жандармской форме на Финляндском вокзале и имел наглость делать мне под козырек и молодцовато рапортовать: «Здравия желаю, Владимир Александрович».

Из «министерских сфер» доходили до меня предупреждения, что и среди ближайших сотрудников «Жизни» есть провокатор. Но у меня не было и нет ни на кого ни малейшего подозрения. Провокаторы в литературной среде, конечно, были, но в среду сотрудников «Жизни» они не проникли. Самым видным «литературным» провокатором был Михаил Иванович Гуревич или, как он себя именовал, Гурович. Помогала ему в провокации его жена Воейкова.

Гурович в 1899 году основал марксистский журнал «Начало», пригласил в фактические редактора П. Б. Струве. А. М. Калмыковой поручили, как и в «Новом Слове», беллетристический отдел. Ей удалось залучить Мережковского с его «Воскресшими богами». Ни Горький, ни Чехов, ни Чириков никакого участия в «Начале» не принимали и не числились его сотрудниками. Не имел никакого отношения к «Началу» и я. Л. Клейнборт в своих «воспоминаниях», напечатанных несколько лет тому назад в «Былом», утверждает, что я был постоянным посетителем литературных журфиксов у Гуровича. Это ложь.

Ни разу в жизни я не переступал порога ни квартиры Гуровича и Воейковой, ни редакции «Начала». Но сняться в одной группе с провокатором Гуровичем мне пришлось. Попал я туда по настойчивому приглашению Вересаева и не менее настойчивым уговорам П. Б. Струве.

Вересаев, бывший в 1899 г. одновременно сотрудником «Жизни» и «Начала», но более сочувствовавший последнему, явился к нам с Горьким и от лица сотрудников «Начала» просил сняться вместе с ними на одной группе, так как, мол, желательно, чтобы фотография запечатлела память не только «Начала», но и первого марксистского органа «Новое Слово».

Сниматься с редакцией «Начала» мне крайне не хотелось, но Горький свое согласие ставил в зависимость от моего согласия. Ссориться с Вересаевым мне не хотелось, а он, наверное, был бы очень раздосадован, если бы я своим отказом лишил «начальцев» удовольствия сняться с Горьким. И я согласился.

Вся затея, вероятно, была инспирирована Гуровичем, которому нужно было показать своему начальству, что он держит в плену и нас с Горьким.

Собрались в фотографии Мрозовской, стали составлять группу. В середине за стол посадили Горького, а по бокам его усадили двух марксистских дам: Марью Ивановну Водовозову во внимание к таланту ее рано умершего мужа, Николая Васильевича Водовозова, и так называемую марксистскую богородицу, Александру Михайловну Калмыкову. Когда стали размещаться хотя и уважаемые, но не столь почтенные, как эти две дамы, марксисты, в комнату большими шагами вошел высокий солидный мужчина и, как власть имущий, встал в середине группы, возвышаясь своей примечательной головой над всеми остальными. Лицо у него было примечательно-отталкивающее. Широкая, алебастровая маска с темными стеклами вместо глаз, как будто приклеенные блестящие черные волосы, гладко зачесанные назад, и такая же блестящая черная борода. Мне он показался поддельным и крашеным. И мое первое впечатление было правильным: впоследствии выяснилось, что натуральный цвет волос сего блестящего мужа был ярко-рыжий.

— Это кто? — спросил я у Струве, выходя из группы.

— Это наш редактор-издатель, Михаил Иванович Гурович.

Я невольно вспомнил отзыв о нем Алевтины Михайловны Муриновой:

«Эта фальшивая маска зеленеет, когда видит меня; хотел подвести меня, подсунув мне нелегальщину, — не удалось. Жаль, что и мне не удастся разоблачить его».

«Надо уйти», — подумал я и постарался незаметно ускользнуть из фотографии. Но мое бегство заметил Струве и поймал меня.

— Куда вы?

— Не хочу я сниматься. У вас тут своя компания, я же чужой. Вашего редактора-издателя вижу в первый раз, неудобно сниматься с людьми незнакомыми.

Струве, понимая, что мой уход может создать большую неловкость, стал усиленно уговаривать меня остаться. И уговорил, как это нередко случалось и раньше, не словами, а своей милой улыбкой.

Удивительно хорошо умел, — а может быть, и до сих пор умеет, — улыбаться Петр Бернгардович.

Детскою наивностью, простодушием освещается его ученое лицо, и выходит очень трогательно!

Улыбнулся, взял меня за руку и посадил около себя на крайний левый фланг. Аппарат щелкнул, и группа была готова. Интересная группа! Известные русские писатели-марксисты группируются вокруг певца босяков и бывших людей, а возглавляются провокатором и агентой тайной полиции. Горький сидит внизу, съежившись, а Гурович стоит высоко над всеми с гордо поднятой головой. Думаю, что очень хорошие наградные получил Гурович за эту группу.

Так сказать, официально разоблачен был Гурович (он же Гуревич) года через полтора после создания этой исторической группы. Разоблачить его было ух как трудно! Злостные провокаторы умеют влезать в души наиболее уважаемых и авторитетных революционеров так основательно, что их оттуда и щипцами не вытащишь.

Для меня причастность Гуровича к тайной полиции сделалась почти несомненной после следующего таинственного случая, который может послужить хорошим сюжетом для заправского беллетриста.

В 1900 году в петербургских литературных кругах в качестве сборщицы на политический Красный Крест часто появлялась курсистка Смирнова. Была она очень красива, красота ее была не русская: волосы слишком черны, окраска щек слишком ярка, глаза слишком блестящи. Красота помогала ей не столько при сборе денег в фонд политического Красного Креста, сколько при хлопотах за политических заключенных в разных департаментах и управлениях. Непродажная, неприступная красота и на жандармов действует сильнее, чем продажная и доступная.

Вскоре после демонстрации 4 марта 1901 года Смирнова пришла ко мне в редакцию «Жизни» и попросила уделить ей час времени для «очень серьезного разговора».

Мною как раз в это время был приглашен один провинциальный писатель, и я уклонился от беседы со Смирновой. Она не настаивала. Но, подойдя к двери кабинета, остановилась как бы в нерешительности.

— Мне уж не придется рассказать вам то, что наболело у меня на душе; верно, и не надо. Напрасно я пришла к вам. Не почуяли вы меня. Скажу только одно: через два дня вы узнаете, что меня нет в живых. Не поминайте лихом...

Не дожидаясь, что я скажу, она быстро вышла из кабинета.

После минуты оцепенения я встал и пошел, чтобы вернуть ее, но она уже успела уйти из редакции.

Махнул рукой и подумал: от намерения до исполнения путь длинный, одумается.

Но она не одумалась. Как раз через два дня у себя на квартире я получил из Ямбурга телеграмму без подписи, всего из трех слов: «Сегодня Смирнова застрелилась».

Не успел я хорошенько освоиться с этим известием, как снова явился телеграфный рассыльный и попросил вернуть телеграмму, так как вручена она мне по ошибке.

— Это не вам телеграмма, а господину Гуровичу, — сказал рассыльный.

И действительно, телеграмма была адресована «Гуровичу, Петербург», без указания улицы и дома.

У меня в это время был в гостях А. А. Васильев, хороший знакомый Гуровича.

Беседуя с ним о странном недоразумении, я узнал от него, что Смирнова постоянно бывала у Гуровича и, повидимому, была с ним очень дружна.

Через несколько дней в газетах появилось сообщение, что в Ямбурге найдены три трупа: студента, вольноопределяющегося и курсистки, и делалось предположение, что все трое покончили самоубийством по взаимному уговору.

Гурович счел нужным приехать ко мне, чтобы объяснить мне недоразумение с телеграммой. По его словам, ему доставляются телеграммы даже без адреса с одной фамалией, так как он сделал на почтамте соответствующее заявление и уплатил соответствующую сумму. В этот раз при доставке произошла путаница: одного редактора смешали с другим редактором.

Характерно, что Гуровича смешивали с другими редакторами и литераторами не одни только телеграфные рассыльные.

Через несколько месяцев после истории с телеграммой группа петербургских литераторов была вызвана к начальнику охранного

отделения Пирамидову, который каждому из приглашенных предъявлял постановление какого-то совещания о высылке из Петербурга на разные сроки с запрещением жительства в тех или других местностях России.

В числе приглашенных были, между прочим, и многогрешный, только накануне выпущенный из дома предварительного заключения, мой сотоварищ по редакции «Жизни» присяжный поверенный А. А. Никонов и бывший редактор-издатель «Начала» М. И. Гурович.

Никонову было предъявлено постановление о высылке его из Петербурга на два года с запрещением жительства в столицах.

Прочитав постановление, Никонов в ответ на предложение расписаться в том, что постановление ему сообщено, написал: «протестую против возмутительного произвола».

Пирамидов взял листок, прочел протест, приятно улыбнулся и ласково сказал:

— Очень мило.

Вслед за Никоновым был вызван Гурович, а затем Никонова снова попросили в кабинет «полковника». В первый раз от Пирамидова Никонов явился победителем и не без гордости рассказывал, как он расписался, но во второй раз он вернулся, что называется, повесив нос.

— Чорт возьми! — сказал он мне, выходя из кабинета. — Представьте, я по ошибке свое возмущение излил не на своем постановлении, а на постановлении, предназначенном для Гуровича. Меня же высылают не на два года, а на три, и притом с запрещением жительства чуть ли не во всех городах России.

— Ну что же, вы и на своем постановлении излили свое возмущение?

— Чорт с ними. Просто расписался.

Один из фокусов Гуровича удалось совершенно случайно узнать Горькому. Приехал Гурович в Нижний, чтобы повидать Горького. Остановился в гостинице, где у него и был произведен тщательный обыск по распоряжению жандармского управления. Этот обыск должен был, конечно, повысить доверие к Гуровичу со стороны Горького и других политически неблагонадежных.

Но и охранное отделение не может всего предусмотреть. На другой день после обыска, у нижегородского вице-губернатора собрались гости, составилась партия винта, и за карточным столом жандармский полковник рассказал своим партнерам о необычайном случае из своей практики.

— Удивительный казус пришлось мне вчера пережить, — рассказывал он, тасуя карты. — Приехал сюда с секретным поручением

видный петербургский охранник, и нам дается распоряжение произвести у него тщательный обыск... для отвода глаз, разумеется. Представьте наше положение: производить обыск у своего, можно сказать, начальства, ибо при теперешних нововведениях мы, по сравнению с этими штатскими охранниками или почетными сотрудниками, мелкие сошки, несмотря на то, что вторую четверть века верой и правдой служим царю и отечеству.

Сообщая о казусе, жандармский полковник не принял во внимание, что его слушают не одни только «свои люди».

При рассказе присутствовал, кажется, сам Горький. Во всяком случае Горькому рассказ полковника сделался известен, и он написал мне за границу, что Гурович — вне всяких сомнений охранник. Вскоре сообщение о том, что Гурович служит в тайной полиции, появилось в газете финских революционеров, выходившей в Стокгольме.

Гурович явился в Париж и потребовал товарищеского суда. Один из судей, бывший сотрудник «Жизни» Е. Смирнов (Гуревич), допрашивал меня; я рассказал все, что знал, но на судью мой рассказ не произвел никакого впечатления, и Гурович, оправданный и обеленный, вернулся в Россию.

Вскоре после его отъезда из Парижа туда приехали делегаты одного из местных комитетов партии социалистов-революционеров со столь неопровержимыми доказательствами службы Гуровича в охранном отделении, что его бывшим друзьям и сотоварищам пришлось согласиться огласить имя бывшего редактора «Начала», как несомненного провокатора и охранника. Это не помешало Гуровичу занять пост заведующего политической полицией на Кавказе. После революции 1905 года он открыто жил в Петербурге.

Где он теперь, жив ли или попал под карательные пули — не знаю [72].

Менее видным «литературным» провокатором был Панкратьев, сотрудник «С.-Петербургских Ведомостей». Разоблачил его пом. присяжного поверенного Бжозек, бывший его приятель. Бжозек и Панкратьев ухаживали за одной и той же девицей. Девица, отдававшая предпочтение Бжозеку, рассказала ему, что Панкратьев показывал ей какой-то документ, в котором он именовался агентом 1-й степени охранного отделения. Бжозек стал об этом рассказывать всем своим знакомым. Панкратьев написал ему письмо, в котором угрожал убить его за распространение клеветы. Бжозек подал на Панкратьева жалобу в мировой суд, приложив угрожающее письмо.

Помню, что председатель мирового съезда М. П. Глебов был в большом затруднении, как отнестись к этому делу, и советовался со мной,

спрашивая, можно ли доверять Бжозеку. Бжозека я знал, как вполне порядочного, оппозиционно, если даже не революционно настроенного человека, но, с другой стороны, трудно было поверить, что «агент 1-й степени» станет разоблачать себя во время ухаживания за девицей из среды учащейся молодежи. Так именно я ответил Глебову. Между тем Панкратьев предложил Бжозеку решить дело третейским судом, а дело в мировом суде приостановить. Бжозек согласился. При выборе третейских судей Панкратьев остановился на мне, что меня крайне изумило, так как я с ним не был даже знаком. Пришел он ко мне на квартиру с рекомендательным письмом от официального редактора «Всходов», бывшего одно время официальным редактором и «Журнала для всех». С ним я был немного знаком, и производил он на меня хорошее впечатление. Фамилию его теперь я уже забыл. Писал он мне, что знает Панкратьева с детства, чуть ли даже не крестил его, и ручается, что в охранном отделении он не служил и не служит. Панкратьев произвел на меня странное и неприятное впечатление. Маленький, с большим острым носом и весь какой-то колючий. Похож на Мефистофеля, но Мефистофеля второй степени, помельче Гетевского. Держался сдержанно, говорил мало. Я согласился принять участие в третейском суде, но под условием, что от каждой стороны будет не по одному, а по два судьи. Вторым судьей я посоветовал пригласить Владимира Ивановича Чарнолуского. Бжозек со своей стороны выбрал Мякотина и Лесгафта. Субарбитром мы выбрали ветерана петербургской адвокатуры Дмитрия Васильевича Стасова.

Панкратьев пришел ко мне еще раз, чтобы сообщить о согласии Чарнолуского, и передал мне большой пакет, перевязанный бечевками, скрепленными сургучною печатью. В этом пакете, по его словам, были документы, разъясняющие все дело. Пакет может быть распечатан лишь в присутствии всех судей на первом совещании. Совещание должно было состояться на квартире Д. В. Стасова. О дне и часе совещания известил меня письмом Мякотин. Но совещание не состоялось, так как накануне его и я и Мякотин были арестованы. Об обыске и аресте я был предупрежден за несколько часов. «Подготовляясь» к обыску, я не знал, что мне делать с пакетом Панкратьева. Прятать было некуда и некогда, так как каждую минуту ждал «непрошенных гостей». В конце концов сжег его, не распечатывая, вместе с другими сомнительными бумагами и письмами. Сознаю, что поступил неправильно: следовало распечатать пакет. Там, вероятно, оказалась бы нелегальная литература, подготовленная агентом 1-й степени для обыска. Панкратьев хотел, вероятно, удружить

своему третейскому судье. Письмо Мякотина «о совещании по делу Бжозека и Панкратьева» я впопыхах забыл уничтожить. Жандармский офицер, руководивший обыском, прочел письмо, но не заинтересовался им. Забрал самые невинные письма, а подозрительное письмо Мякотина оставил на столе, пробормотав: «Ну, это дело частное».

Через несколько недель после этого П. Н. Милюков передал мне через мою жену, что ему во время одного из допросов удалось заметить на столе начальника охранного отделения донесение, подписанное агентом 1-й степени Панкратьевым.

Бжозек оказался прав. В русской революционной печати Панкратьев был опубликован, как провокатор. На время он совершенно скрылся с горизонта. После поражения революции 1905 года он занимал какую-то не секретную, но довольно важную должность в Департаменте полиции.

Кроме Гуровича и Панкратьева под подозрением был еще Л. Рума, писавший экономические статьи в марксистском направлении. Две из них под инициалами Л. Р. были напечатаны в «Новом Слове». С ним я часто встречался у одного своего товарища по гимназии.

Рума производил впечатление человека неглупого и начитанного. Чувствовалось, что он носит в душе что-то тяжелое, его подавляющее.

Хотел он сотрудничать в «Жизни», но я это под каким-то предлогом отклонил, так как из «подполья» получил предостережение, что Рума серьезно подозревается в том, что выдал своих товарищей по московской социал-демократической организации.

Последний раз встретил я его в начале 1918 г. на Невском в Петербурге. Выглядел он сильно постаревшим, опустившимся и облезшим. В глазах затаенный испуг. Года через два после этого я встретил своего товарища по гимназии, через которого познакомился с Рума.

— Где теперь Рума? — спросил я.

— А разве ты не знаешь, что он расстрелян?

Что-то неясное было и в прошлом Константина Ивановича Арабажина, видного журналиста.

В 1899 году он редактировал в Петербурге газету «Северный Курьер», в которой участвовали Струве, Богучарский и ряд других марксистов из «Начала». Официальным редактором «Северного Курьера» был князь В. В. Барятинский, друг детства Николая II. Фактически вел газету Арабажин, подписывавший ее, как второй редактор.

Барятинский начал свою литературную карьеру в «Новом Времени», где писал легкие «аристократические» фельетоны под псевдонимом Lolo. Женился он на артистке Суворинского (Малого) театра Яворской. Яворская была в большой дружбе с Арабажиным, и под

их давлением князь решился на издание газеты с марксистским направлением.

Ни я, ни Горький никакого участия в «Северном Курьере» не принимали, но нам приходилось встречаться с неразлучной троицей: Яворской, Арабажиным и Барятинским.

Худенький, маленький белобрысый и бледнолицый князек мне почему-то нравился, а Яворская и лебезивший около нее упитанный черноволосый Арабажин были не симпатичны. Когда Яворская своим неприятным сиплым голосом говорила заученные радикальные фразы, князь полунасмешливо, полупечально тихим голосом повторял: и так далее, и так далее!

Я был зачем-то Яворской нужен, и она грубовато со мной кокетничала. Как-то раз, когда мы с Горьким были у Барятинских в гостях, она, приглашая нас к ужину, сама сунула свою левую руку под мою правую, и я «под ручку» повел ее к столу.

— Ах, как у вас бьется сердце! — кокетливо говорила Яворская, прижимая мою руку к своей груди.

— Неужели у Владимира Александровича сердце переместилось на правую сторону? — ядовито заметил князь, шедший сзади нас.

Яворская бросила на него свирепый взгляд. Барятинский чувствовал свое глупое положение и в конце концов не выдержал. Стрелялся, пробил легкое, но остался жив. Мы как-то встретились с ним в театре тотчас после его выздоровления. Мне было жаль его. Инстинктивно я обнял его и поцеловал. Это его тронуло, и он, видимо, с трудом удержался, чтобы не расплакаться.

Где-то он теперь?

Яворская поссорилась с Сувориным. Чем-то он ее обидел, и она решила ему отомстить. Воспользовалась для этого постановкой в его театре пьесы «Контрабандисты». Про пьесу эту говорили, что на ней налет антисемитизма. Яворская принялась за организацию общественного протеста против постановки этой пьесы. Дело было легкое, так как в то время против Суворина у всех порядочных людей достаточно накипело на душе. В подготовке протеста приняла участие и редакция «Жизни». Перед первым представлением «Контрабандистов» все билеты были заранее куплены организаторами протеста и распределены между протестующими. Верхние ярусы были в руках учащейся молодежи, раздраженной «Маленькими письмами» Суворина. У «Жизни» были две ложи в бельэтаже, против сцены.

Как только занавес поднялся, начался оглушительный свист и шиканье. Артисты, загримированные евреями-контрабандистами, что-то говорили, но видно было только движение губ; не слышно

ни звука. Занавес пришлось опустить. Через несколько минут он снова открылся. Свист и шиканье еще сильнее. Так несколько раз.

Появились наряды полиции. На галлерее городовые и околоточные пытались арестовывать и выводить студентов и студенток. Те сопротивлялись. Произошла свалка. Я предложил нескольким журналистам пойти за кулисы и требовать отмены спектакля. Нас встретил взволнованный режиссер Евтихий Карпов, автор народных пьес, примыкавший к народникам.

Я накинулся на него, выкрикивая, что стыдно народнику режиссировать антисемитские пьесы и доводить дело до того, что полиция в театре избивает курсисток. Он отвечал, что виноваты те, кто подготовил эту демонстрацию, не зная даже содержания пьесы. Формально был прав он, а по существу были правы мы. Протестовали не столько против неизвестного нам антисемитизма, а против хорошо известного антисемитизма «Нового Времени» и его издателя.

Мы вернулись в ложу. Занавес больше не поднимался. Полиция удалилась. На сцене перед открытым занавесом появился некто в черном и объявил, что спектакль отменяется. В ответ раздался оглушительный гром рукоплесканий. Не часто публика выходила с таким чувством нравственного удовлетворения, как в этот раз. Яворская торжествовала. Но скоро и ей пришлось пережить поражение. Правда, удар был нанесен Арабажину, но косвенно он задел и ее.

В одном из либеральных домов, — если не ошибаюсь, у Д. В. Стасова,— собралась оппозиционная интеллигенция, чтобы выслушать доклад М. И. Туган-Барановского. Об этом собрании проведала полиция и явилась, чтобы переписать всех присутствующих. Арабажин при этом вместо своей фамилии назвал фамилию одного из служащих в редакции «Северного Курьера». Это сделалось известным и вызвало возмущение многих литераторов. Арабажин оправдывался тем, что он этим поступком оберегал не себя, а «Северный Курьер», редактором которого он состоял. Со служащим, именем которого он назвался, у него на этот счет было будто бы соглашение. Оправдание не уменьшило возмущения. К тому же стали припоминать, что в молодости где-то на Украине Арабажина судили товарищеским судом за какой-то политически предосудительный поступок.

Между тем как раз в это время была выставлена кандидатура Арабажина в члены Союза писателей. Началась борьба вокруг его имени. Против Арабажина было «Русское Богатство», за Арабажина Струве, Туган-Барановский и другие марксисты. Противников оказалось больше, и при баллотировке Арабажин был провален огромным

большинством голосов. Я голосовал за Арабажина, но провалом его не был особенно огорчен. Против Арабажина особенно энергично агитировал Лонгин Федорович Пантелеев, а он, как я не раз замечал, умел разбираться в людях.

Яворская, узнав о результате голосования, пришла в ярость. Стала организовывать протест против этого голосования. Я, как голосовавший за Арабажина, был приглашен на совещание о формах протеста. Я пошел на это совещание, устроенное на квартире сотрудника «Северного Курьера» толстовца Хирьякова, чтобы высказаться за неуместность протеста в данном случае. На совещании было несколько незнакомых мне лиц. Из знакомых помню, кроме Хирьякова, Калмыкову, сидевшую с характерным для нее разочарованным видом. Меня сейчас же окружили и стали настойчиво просить, чтобы я первый подписал сочувственный адрес Арабажину; адрес этот был в то же время и протестом против забаллотировавших его членов Союза писателей. Льстили мне, что моя подпись сто́ит десятка или даже сотни других подписей. Но я не соглашался. Вдруг дверь комнаты, где мы спорили, с шумом раскрывается, и на пороге появляется эффектная фигура белокурой Яворской в черном шелковом платье и в изящной, тоже черной шляпе. Сдернув красивым жестом длинную черную перчатку с правой руки, она берет в руки перо и протягивает его мне.

— Подписывайте! Вы должны подписать. Я этого требую. Нет, я прошу вас. Вы должны это сделать для меня, — и т. д. и т. д.

Она по-театральному пожирала меня глазами. Но эффект получился обратный, чем она ожидала.

Бросив перо, всунутое мне в руку, я вскочил и крикнул: — Ничего вы не добьетесь своим возмутительным насилием!

Ни с кем не простившись, я быстро пошел в переднюю. Проходя мимо Хирьякова, я мельком взглянул на его лицо. Оно было, как обычно, совершенно деревянным, без всякого выражения. За мной пошла Калмыкова и пыталась успокоить меня и уговорить остаться. Но потом сама одела пальто, и мы вместе вышли на улицу. Вдохнув полной грудью свежий воздух, я уже спокойным голосом сказал:

— Это контрабандисты какие-то!

Калмыкова промолчала.

«Жизнь» росла и развивалась. Круг читателей расширялся. В 1899 г. подписчиков было около четырех тысяч; в 1900 г. около восьми тысяч; в 1901 г. около пятнадцати тысяч. Тираж «Жизни» превысил тираж старых журналов. По числу печатных листов «Жизнь»

была не меньше самых «толстных» журналов, но была она не «толстая», а плотная. Успех ей создавал не кто-нибудь один, даже не Горький, а вся совокупность сотрудников. Некоторые пришли к «Жизни» уже со своей известностью, в полном расцвете своих сил, другие на ее страницах развивали свой талант и приобретали известность; третьи, вложив в общую сокровищницу иногда очень ценный вклад, оставались неизвестными и даже уходили от литературы. Больше всего было вырабатывающих себя на ее страницах.

За два с половиной года в «Жизни» поместили свои повести, стихи, статьи и очерки около двухсот русских авторов. Кроме того, были помещены переводы боле пятидесяти иностранных писателей.

Направление журнала определялось с одной стороны критическими статьями Соловьева-Андреевича, с другой стороны многочисленными социологическими статьями марксистов.

«Жизнь» выходила как раз в момент появления критицизма и бернштейнианства, в момент отхода Струве от марксизма. «Жизнь» первая обстоятельно ознакомила читателей с бернштейнианством в обстоятельных статьях С. Штейнберга и П. Берлина. Даже и Ленин как видно из его письма к Потресову, впервые ознакомился с бернштейнианством по его изложению в «Жизни» [73].

И Струве была дана возможность высказаться «против ортодоксии», но на тех же страницах «Жизни» и дан был ему суровый отпор ортодоксами. Ярче всех ответил Струве Юл. Адамович в обстоятельной статье, напечатанной в январской книжке «Жизни» за 1901 год. Статья эта проскользнула сквозь цензуру, главным образом, потому, что носила скромное название «Письмо в редакцию».

Автор, как профан, выяснял эволюцию Струве за шесть лет — от 1894 года, когда появились его «Критические заметки», к 1900 году, когда он на страницах «Мира Божьего» звал к строгому и несгибаемому идеалистическому существу Гегеля и Фихте.

Адамович умело показал, что Струве принадлежал к тем марксистам, которые могли быть сторонниками экономического материализма до тех пор, пока шла борьба с мировоззрением народничества. Но они должны были отойти от учения Маркса, когда необходим стал положительный базис. Он не подходил к их классовой психологии.

Под псевдонимом Адамовича скрывался тогда еще совсем юный публицист В. Воровский.

Большинство социологов, писавших в «Жизни», твердо стояли на твердой основе исторического материализма. Таковы были В. Ильин (Н. Ленин — В. И. Ульянов), П. Нежданов (псевдоним Липкина),

впоследствии более известный под псевдонимом Череванина, П. П. Маслов, Н. Рожков, Инсаров (Х. Г. Раковский) и др.

Любопытно, что во второй январской книжке за 1899 год была помещна ортодоксально-марксистская статья будущего лидера социалистов-революционеров В. М. Чернова, в которой он не плохо доказывал, что так называемые противоречия «трудовой теории стоимости» являются мнимыми [74].

В период подцензурной «Жизни» я два раза ездил в Англию: летом 1900 года и зимою 1901 года.

Путешествия по Англии дали мне много новых впечатлений. Я ознакомился не только с Лондоном во всех его разительных контрастах, но и с поразительным по красоте севером Англии с его знаменитыми горными озерами, побывал и в Шотландии, откуда проехал морем в Германию, а затем в Петербург.

Английские впечатления как-то разорваны в моей памяти. С трудом вызываю я то тот, то другой обрывок. Но цельным сохранилось английское настроение или ощущение. Ощущение свободы. В то время Англия была более свободной страной, чем теперь.

В Лондоне я познакомился со старыми русскими эмигрантами: Волховским, Гольденбергом, Чайковским, Черкезовым; побывал я и у Петра Алексеевича Кропоткина, жившего в городке Бромлее, недалеко от Лондона.

Чудесный был он старик! И наивный, как ребенок.

Невысокий, стройный с военной выправкой. Красивую голову с мягкой седеющей бородой держит высоко, слегка закинув назад, и смотрит через очки широко открытыми молодыми глазами, как бы приглашая заглянуть через них в душу, где все ясно, определенно, где нет надрыва и темного подполья. Крепкое рукопожатие, приветливая улыбка, и начинается беседа сразу интересная, не только живая, но и жизненная. Кропоткин умел говорить, но умел и слушать. Об этом мне отчасти пришлось пожалеть в первое мое посещение. Кропоткин все время расспрашивал меня о России, жадно слушал и сам поэтому мало говорил.

Более двадцати лет не был Кропоткин в России, вращался в интернациональной среде, писал и читал лекции не по-русски, а по-английски и по-французски, и тем не менее остался чисто русским, без всякого иностранного налета. Даже квартирка его в английском городке походила на квартирку небогатого русского интеллигента в провинциальном русском захолустьи. И семья его, состоявшая из жены, типичной передовой русской женщины, простой

и оригинальной, и дочери, живой, молоденькой девушки, напоминала русскую интеллигентную семью, осевшую в провинции, но горячо интересующуюся столичною жизнью. Все трое меня расспрашивали не только об общественно-политической жизни, но и о новых течениях в русской литературе. Особенно интересовались личностью и творчеством Горького.

Меня поразило, что Кропоткин придавал большее значение русской либеральной оппозиции, чем революционному рабочему движению. Как будто воспоминание о России превращало старого анархиста в молодого конституционалиста, каким Кропоткин был в начале 70-х годов, когда работал в кружке Чайковского [75].

Он, например, видимо, сочувствовал Струве, уходившему тогда от социал-демократов к либералам.

— Что Струве не масон?—спросил меня, между прочим, Крапоткин·

— Кажется нет, — ответил я с улыбкой, думая что Кропоткин шутит.

Но оказалось, что он спрашивал совершенно серьезно, и сожалел, что русские либералы игнорируют масонство. По мнению Кропоткина, русским либералам следовало бы завязать связь с высшим обществом, особенно с придворными сферами.

Род князей Кропоткиных ведет свое начало еще от Рюрика, и у князя Петра Алексеевича, несмотря на его анархо-коммунизм, нет-нет да и проявлялась вера в аристократическую идейность или в идейную аристократичность.

Сочувствуя либералам, Кропоткин не сочувствовал социал-демократам и их учителю Карлу Марксу. За Марксом он не признавал никаких научных заслуг и с милою наивностью уверял, что основные положения марксизма опровергнуты его другом, анархистом Черкезовым [76]. Конечно, и со стороны социал-демократов Кропоткин не ожидал к себе сочувствия.

— Если я вернусь в Россию, когда у власти будет Николай II, — говорил он шутя, — то меня, вероятно, пошлют на Сахалин, но не в ссылку, а для геологических исследований. Если же у власти будет Плеханов, то, пожалуй, повесят.

Во Франции Кропоткин сидел в тюрьме, из Франции он был выслан; в Англии он нашел гостеприимное убежище, но все же больше любил Францию, чем Англию, и думал, что во Франции совершится победоносная коммунистическая революция.

Он с горечью говорил мне, как много в свободной Англии нищих и бездомных, как тяжела жизнь чернорабочих и сельско-хозяйственных батраков.

И мне далеко не всем приходилось восхищаться в Англии. Многое не только не восхищало, но возмущало меня. Как раз летом 1900 года Англия праздновала свои первые победы над бурами. Противен был крикливый шовинизм и восторженное преклонение перед героями войны, Робертсом, Китченером, Фрэнчем и другими, имена которых я успел уже забыть.

## XVII

## ПОЧЕТНАЯ ТЮРЬМА И КОНЕЦ ПОДЦЕНЗУРНОЙ «ЖИЗНИ» (1901 г.)

Соглашение 26 февраля 1901 г. — Горький о «программном человеке». — Арест Горького, Ермолаева и Гарюшина. — «Буревестник» Горького. — Мой арест. — «Кресты» и «предварилка». — П. Н. Милюков в тюрьме. — Тенета Гуровича. — За границу.

Горькому не приходилось жаловаться на цензуру. Даже Елагин проникся уважением к его таланту и не черкал красными чернилами его произведений. Не пропустил он только одного очерка «Васька Красный», где в сильно натуралистических тонах была нарисована своеобразная трагедия публичного дома.

Но Горького все же тянуло к вольному станку. Ему тогда хотелось быть не только беллетристом, но и публицистом, а публицисту, как это я чувствовал на себе, под цензурным прессом было невыносимо тяжко.

Зимою 1901 года, когда Горький гостил у меня в Петербурге, зашла у нас речь о том, долго ли просуществует «Жизнь», долго ли будет терпеть ее правительство? Горький сказал, что не следует особенно дрожать за жизнь «Жизни». Если ее закроют, то мы перенесем ее за границу на вольный станок, и только тогда она воистину сделается органом грядущей русской революции.

Я возражал сначала Горькому и высказывал сомнение в осуществимости такого плана. Прежде всего, откуда взять средства? Заграничная «Жизнь» потребует их гораздо больше, чем «Жизнь» русская, тем более, что на подписку рассчитывать будет невозможно.

— Деньги — это вздор, — говорил Горький. — Я напишу несколько пьес, которые дадут большой доход. Могу, наконец, продать право на свои сочинения Сытину. Средства найдутся.

В конце концов и меня увлекла мечта о вольной «Жизни».

Мы решили теперь же завязывать связи с подпольными организациями, отбросив в сторону излишнюю осторожность. Конечно, мы

могли предполагать, что нас арестуют, и потому сговорились, что, в случае ареста одного из нас и закрытия «Жизни», другой отправится за границу и организует там издание свободной «Жизни». Если же мы будем арестованы оба, то за границу должен ехать тот, который первый будет освобожден, а другой последует за ним, когда тем или иным способом получит свободу.

По окончании беседы мы крепко пожали друг другу руки, и я сказал:

— Дело это не шуточное. Помни, что это не простой разговор, а взаимное обязательство, нарушать которого нельзя.

Беседа эта происходила вечером 26 февраля 1901 года в моей комнате на Надеждинской улице.

Памятный для меня день!

У Горького в Петербурге завязались связи с революционными кружками. Определенной программы Горький в то время не придерживался. Отрицательное отношение к марксизму у него прошло, но правоверным марксистом он, во всяком случае, не был.

Из марксистов в то время, как это ни странно, он больше всего симпатизировал П. Б. Струве, как человеку не застывшему, а чего-то ищущему. Струве как раз на страницах «Жизни» начал отрекаться от Маркса, выступив со статьей, озаглавленной «Против ортодоксии». Я ее напечатал, зная, что эта статья даст возможность другим марксистам выяснить ортодоксальную точку зрения, но эволюции Струве я не сочувствовал.

Другое дело Горький. Его неопределенность, его шатания казались мне тогда предисловием для выработки твердого мировоззрения.

Помню, к Горькому, незадолго перед демонстрацией 4 марта, явился какой-то студент и стал развязно допрашивать его, какой программы он придерживается.

Горький придавил его насмешливым взглядом и, покручивая правый ус, сурово промычал:

— Молодой человек, программный человек мне почему-то всегда напоминает бревно.

О своих связях и переговорах Горький не болтал. Даже и мне не все говорил. Я спал с Горьким в одной комнате. Проснувшись как-то утром, я увидел, что постель, на которой спал Горький, была пуста. Я оделся и пошел в редакцию, где, как оказалось, происходило какое-то тайное совещание, в котором принимал участие и Горький.

Во второй половине марта Горький уехал в Нижний, где вскоре был арестован и посажен в нижегородскую тюрьму. Одновременно в Петербурге были арестованы официальный редактор-издатель

«Жизни» Михаил Сергеевич Ермолаев и секретарь редакции Сергей Андреевич Гарюшин.

Я оставался на свободе и успел еще сдать в печать материал для апрельской книжки. Последней вещью, которую я сдавал, был только что полученный от Горького, написанный им перед арестом, его знаменитый «Буревестник».

С. А. Венгеров в биографии Горького, помещенной в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, говорит, что «Буревестник» погубил «Жизнь». Это неверно.

«Жизнь» погубило то, что она сделалась одним из центров если не революционного, то оппозиционного движения. Во всяком случае, «Жизнь» скорее погубило то, что делал Горький, чем то, что он писал.

«Буревестник» был напечатан, пройдя через предварительную цензуру Елагина, который не усмотрел в нем ничего революционного. Не могли усмотреть в нем ничего революционного и цензора, стоящие над Елагиным.

Революционность «Буревестника» нельзя понять, ее можно только почувствовать; и почувствовать может только тот, кто сам в душе революционер. Если начать разъяснять и разбирать аллегорию «Буревестника», то вся сила его исчезнет.

В той же апрельской книжке непосредственно за «Песнею о Буревестнике» была помещена моя статья о «Московском Художественном театре». Это была единственная статья в «Жизни», которую я подписал полным своим именем. Ее не коснулись красные чернила цензора и мне не приходилось за нее краснеть.

В ней я не только дал оценку Художественного театра, но и постарался критически разъяснить «Врага народа» Ибсена и пьесы Чехова.

Иностранного обозрения я написать не успел. На другой же день после ареста М. С. Ермолаева племянница его Е. А. Бекетова отправилась к товарищу министра и шефу жандармов Святополк-Мирскому, чтобы выяснить причину ареста дяди.

— За что вы арестовали моего дядю? — спросила она. — Разве может быть революционером он, старый человек, крупный землевладелец, почетный мировой судья?

— А за то, что он дружит с таким людьми, как Поссе, — ответил Святополк-Мирский.

— Но что же страшного в Поссе? Он ведь на свободе.

— Как на свободе?! — воскликнул Святополк-Мирский. — Это какая-то непростительная оплошность!

Об этом разговоре Е. А. Бекетова поспешила сообщить мне, и я, конечно, не сомневался, что оплошность будет быстро исправлена.

И действительно, поздно вечером, через несколько часов после разговора с Бекетовой, раздался звонок и стук во входную дверь. На вопрос прислуги: «кто там?» — последовал стереотипный жандармский ответ: «телеграмма».

И через минуту в квартиру ворвалась орда полицейских, сыщиков и понятных с жандармским ротмистром во главе. Началось разрывание постелей, раскрытие шкапов, столов и комодов. Старательно ощупывалось и мое тело. Приведенная понятая ощупывала мою жену. Подняты были с постелей дети, и под их матрацами и подушками тоже искали улик моей зловредности.

Но ничего предосудительного не нашли. Это был уже третий пережитый мною обыск, и он не произвел на меня такого гнетущего впечатления, как первый обыск в студенческие годы. Но противно было терпеливо выносить, как жандармский ротмистр просматривал письма и мои дневники. Перелистывая дневник, он все время укоризненно повторял:

— Эх-хе-хе, эх-хе-хе... На каждой странице борьба и борьба. Далась вам эта борьба.

Обыск продолжался до позднего утра. Мои дочери ходили тогда в гимназию, и старший дворник спросил на ухо жандарма, читавшего мой дневник:

— Барышни хотят итти в пансион, можно пропустить?

— Пропусти, — снисходительно бросил ротмистр.

Уходя с полицейскими, жандармский ротмистр оставил караулить меня двух сыщиков. С моим арестом почему-то медлили. Я успел взять ванну и плотно позавтракать, когда, наконец, появился какой-то полицейский чин и повез меня на обыкновенном извозчике в Кресты.

Обыск произвел сильное впечатление на моего трехлетнего сынишку:

— У нас сегодня ночью были разбойники, — говорил он знакомым, — и увели с собою бедного папочку. Когда я выросту большой, я их всех перестреляю.

Бедный мальчик! И грустная была его жизнь, и рано добровольно ушел он из нее...

В Крестах, после того, как за мной захлопнулись железные ворота, я прошел через всю процедуру культурной, усовершенствованной тюрьмы. Измеряли меня по всем правилам науки, залезали пальцами в рот, считая зубы, фотографировали, заполняли анкету и так далее.

Водворили меня в одну из камер пятого этажа. Все камеры в Крестах в то время были одиночные. Окно было небольшое и высоко, с решеткой, но все же в него пробивались иногда лучи солнца, и, взобравшись на табурет, я мог видеть Неву и уголок Литейного моста.

Койка с жестким тюфяком, но без насекомых, небольшой стол, табурет, электрическая лампочка над столом и закрытая «параша», которую рано утром выносил уголовный. Жить можно.

Пища была скверная, но я в ней не нуждался; меня прямо засыпали передачами: закуски, фрукты и живые цветы. Я прямо сгорал от стыда. Старался делиться с другими, но при одиночном заключении это было не легко. Пользовались больше тюремные надзиратели.

На прогулках в тюремном дворе я увидел Ермолаева, Гарюшина и многих знакомых литераторов, в том числе А. А. Корнилова, имевшего чин статского советника и орден Владимира 3-й степени.

Среди апрельского улова 1901 года было так много крупной и дорогой рыбы, не привычной для Крестов, что тюремное начальство сильно подтянулось и прямо старалось перед нами выслужиться.

В первый же день моего пребывания в Крестах ко мне явился помощник начальника тюрьмы, просил не стесняться вызывать надзирателей, если мне что нужно, и вообще заявлять о всех своих желаниях, которые, по возможности, будут немедленно удовлетворяемы.

Через несколько часов после помощника начальника явился начальник тюрьмы вместе с каким-то другим должностным лицом. Неучтиво с их стороны было только то, что входили, не постучавшись, и застали меня в том единственном положении, в каком, как, смеясь, говорил Лев Николаевич Толстой, его никогда не снимал Владимир Григорьевич Чертков.

Быстро установились связи с другими политическими заключенными записками, которые передавали уголовные, приходившие за парашей, переговорами через открытые форточки, перестукиваниями и т. п. Перестукивались сравнительно мало, так как рядом с политическими сажали уголовных.

Вскоре разрешены были и свидания, и я узнал, что «Жизнь» пока не запрещена, и апрельская книжка готовится к выходу.

Несмотря на привилегированное положение, тюрьма все-таки чувствовалась мною, как оскорбление личности, как насилие над ней. Чья-то чуждая воля выбрала мне эту камеру, и что бы я ни делал, она выпустит меня из нее только тогда, когда ей это заблагорассудится.

В Крестах я просидел недели две или три, а затем меня перевезли в дом предварительного заключения. Камера здесь была больше, чем

в Крестах, но тюремный режим чувствовался сильнее. Посадили меня сначала в камеру довольно темную, куда не доходили солнечные лучи, но вскоре помощник начальника тюрьмы, который, по его словам, очень любил русскую литературу, перевел меня в самый верхний этаж, в камеру на солнечную сторону.

— Ох, — говорил он, — перевожу вас против своей служебной совести. Уж больно неподходящий у вас сосед.

Соседом оказался Павел Николаевич Милюков, сидевший в предварительном заключении уже месяца два или три [77].

Надзиратель тотчас, как меня перевели в эту камеру, шепнул мне:

— С правой стороны сидит ваш хороший знакомый профессор Милюков. Будут с вами перестукиваться.

Вечером, когда «предварилка» перешла на ночное положение, в тюремной тишине со всех сторон до меня стали долетать таинственные постукивания, то быстрые, то замедленные, то близкие, то далекие. Осторожно застучала и правая стена моей камеры, за которой сидел Милюков.

Я не отвечал, так как говорить выстукиванием не умел. Милюков стал стучать громче и громче, в его стуке уже чувствовалось раздражение, но я отвечать не мог.

На другой день он переслал мне азбуку стуков, я попробовал вечером учиться стучать и слушать, но напряжение, связанное с этим, так издергало меня, что я всю ночь не мог сомкнуть глаз. На другой день Милюков напрасно вызывал меня своим стуком, я больше учиться стучать не стал. Нервы мои в то время были в большом беспорядке.

Конечно, если бы мне пришлось просидеть несколько месяцев, то я, наверное, научился бы стучать, так как при долгом одиночном заключении перестукивание — великое благо.

Но я в доме предварительного заключения просидел тоже не больше трех недель, и после предтюремной суеты полное одиночество с книгами и думами было для меня настоящим отдыхом.

Из моей камеры можно было видеть двор, где гуляли заключенные, и я часто наблюдал, как важно шагал Павел Николаевич Милюков, углубившись в какую-то книгу. В его осанке было тогда что-то министерское. Возможно, что он уже тогда предугадывал, что через тюрьму для многих русских людей проложен путь к министерским креслам.

В середине мая меня выпустили на свободу. Одновременно со мной вышел и М. С. Ермолаев, тоже переведенный из Крестов в «предварилку».

На другой день после освобождения нас потребовали в охранное отделение, в приемной которого было не мало литераторов и общественных деятелей. Начальник охранного отделения, полковник Пирамидов, всех приглашенных принимал лично и любезно предлагал расписываться в получении постановления какого-то совещания, устанавливавшего, кому где нельзя жить.

Мне запрещалось в течение трех лет жительство в столичных губерниях, в рабочих районах, университетских городах и т. д., так что для меня Российская империя сильно сжималась. Правда, гостеприимно открывали свои объятия обширные тундры Сибири, но я туда ехать не хотел.

Я уехал в Финляндию и выжидал решения участи «Жизни». Она была приостановлена, но не закрыта официально.

Е. А. Соловьев писал мне в Финляндию 8 июня, что заходил в цензурный комитет, и там ему говорили, что «Жизнь» только попридержат, а потом дадут жить под условием благонравного поведения. Очень он на это надеялся и даже усиленно работал над сборником «Девятнадцатый век», который подписчики «Жизни» должны были получить в виде бесплатного приложения.

Подготовляли свои статьи для этого сборника и многие другие, как литераторы, так и ученые, в том числе К. Тимирязев, И. И. Боргман, В. Ф. Тимофеев, И. И. Лапшин, А. Н. Веселовский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Н. А. Рубакин и мн. др. Горький хотел написать для этого сборника вступительную статью.

Но — увы! — в самый разгар надежд опубликовано было постановление четырех министров о запрещении «Жизни» навсегда. Постановление было помечено 8-м июня 1901 года.

В период приостановки вокруг меня вертелся М. И. Гурович, сумевший сблизиться с А. Е. Колпинским. Колпинский говорил мне, что у Гуровича есть какие-то связи, и можно бы выхлопотать мне возвращение в Петербург и спасти «Жизнь», но в награду за хлопоты Гуровичу придется предоставить какую-нибудь работу в редакции. Он говорил, что у Гуровича очень широкие планы, он предполагал бы привлечь к сотрудничеству в «Жизни» видных эмигрантов, с которыми у него, будто бы, установлены связи еще во время «Начала».

Со стороны того же Гуровича выплывал проект создания какого-то нового бесцензурного журнала под названием не то «Европейский Вестник», не то «Европейская Жизнь».

Но я от всяких переговоров с Гуровичем уклонялся. Недоверие к нему у меня все более возрастало. Я думал теперь о поездке за границу и о возобновлении там запрещенной навсегда «Жизни».

С разных сторон я получал сочувственные письма, которые показывали, что у «Жизни» есть не мало друзей.

Горький был выпущен из тюрьмы, но лишен права свободного передвижения. Мне, конечно, следовало с ним повидаться после того, как «Жизнь» была закрыта, но как раз в это время из двух источников мне было сообщено, что на-днях я буду вновь арестован и на этот раз засяду основательно.

Решил поспешить уехать за границу. Для заработка у меня было предложение московского «Курьера» писать из-за границы корреспонденции на очень хороших материальных условиях. Но нужно было запастись еще паспортом, так как хотелось уехать легально.

М. С. Ермолаев дал мне рекомендательное письмо своему хорошему знакомому, правителю канцелярии новгородского губернатора. Я поехал в Новгород и правитель канцелярии выдал мне немедленно паспорт, не сносясь с жандармами и, вообще, тайной полицией. С этим паспортом я, заехав в Кемцы, чтобы проститься с матерью, братом и сестрами, направился в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе сел на пароход, отправляющийся в Стокгольм.

Пробыв в Стокгольме два дня, я отправился в Берлин.

Началась новая полоса моей жизни...

## XVIII

## МЕЖДУ ДВУМЯ «ЖИЗНЯМИ» (1901 г.)

Сотрудничество в «Курьере». — Упадочное настроение. — Дружеское письмо Горького. — Переезд в Англию. — В. Г. Чертков. — А. К. Черткова. — С. А. Толстая. — Борьба из-за Толстого. — Е. И. Черткова. — Человек без софизмов. — Д. В. Странден. — Г. Пунга. — Ф. Розин. — Весман. — Войцеховский. — Иосиф Пилсудский. — Его «социализм». — Моя некорректность. — Л. Плохоцкий. — Буркот. — И. М. Трегубов. — Статья о всеобщей стачке. — «Безденежные» люди. — В. Д. Бонч-Бруевич. — Встреча с Г. А. и М. А. Куклиными. — В лондонских банках. — Социал-демократическая организация «Жизнь». — Жизнь и смерть Хилкова. — И. И. Сергеев. — А. А. Сац. — В. М. Величкина. — Горький о западно-европейской культуре. — Горький о Шаляпине. — Скиталец. — Анафема членам Синода. — Триумфальный путь Горького. — Поездка Альмы в Ялту. — Последнее дружеское письмо. — Горький не желает подражать Герцену. — Отступать нельзя.

В Берлине я пробыл с июля по сентябрь 1901 года. Следил за политической жизнью, собирал материал для задуманной мною книги о Германии и усердно корреспондировал в московский «Курьер», подписываясь В. Шведов. «Курьер» выходил без предварительной

цензуры, и все мои корреспонденции печатались без сокращений. В. Д. Протопопов писал мне, что корреспонденции Шведова обращают на себя внимание, но почти никто не знает, кто скрывается под этим псевдонимом.

Под впечатлением «Потонувшего колокола» Гауптмана в исполнении «Немецкого театра» написал рассказ «Потонувший колокол», который тоже под псевдонимом В. Шведова был напечатан в «Курьере».

Читал Фихте и Гейне. По-разному, но оба увлекали меня. Хотелось настоящим образом перевести их на русский язык. Колебался, которого из двух выбрать.

Литературная работа давала известное удовлетворение, давала и достаточный заработок, но голову сверлила мысль о возобновлении «Жизни» на вольном станке.

Надо мной тяготело соглашение 26 февраля 1901 года, когда мы с Горьким обязались друг перед другом сделать все возможное, чтобы возобновить «Жизнь» за границей в случае ее закрытия в России.

Ждал Горького. Думал, что и его сверлит мысль о возобновлении «Жизни». Надеялся, что Горький, выпущенный из тюрьмы одновременно со мной, сумеет хотя бы нелегально перебраться за границу. Но Горький не только не приезжал, но и не писал мне. Мои письма оставались без ответа. Настроение мое было упадочное, и написал я Горькому письмо упадочное.

Упомянул в нем, что «без религии жить нельзя», при чем, конечно, имел в виду не церковные религии, а устремление к совершенству, к идеалу, нечто в роде того «богостроительства», которым впоследствии увлекался и Горький.

На это письмо Горький ответил. За искание религии он дал мне нагоняй, но все письмо было проникнуто таким дружеским чувством, такою, как мне казалось, искренней ко мне любовью, что настроение мое сразу поднялось на высоту моего девиза.

«Дорогой друг! — писал Горький мне. — Я несколько раз начинал отвечать тебе на твои письма, но не мог и решил совсем не отвечать. Лишь один пункт твоего письма необходимо требует ответа. Ты пишешь — «ты, может быть, дружен с воображаемым мной, а не с действительным». Я дружен — и люблю в тебе живую, пылкую душу: я дружен с человеком, который способен увлекаться и увлекать: чуткий, нежный, немножко разбитый—он великолепно улавливает живые звуки грядущей, новой жизни и горячо умеет передать их людям. Люблю в тебе бойца, организатора, умницу и думаю, что все эти качества я осязал в тебе. Тем обиднее и нелепее было мне слышать

такой возглас: «без религии нельзя жить!» Без какой? Вот Струве и Бердяев и иже с ним пытаются создать религию. Жалкие люди! Они унюхали, что в жизни, в действительной жизни, — в сердцах людей, — родился практический идеализм, идеализм здоровых существ, почувствовавших себя людьми в истинном смысле слова, и вот, чтоб не отстать от жизни, П. Б. Струве подводит под готовое знание мещански прекраснодушный фундамент, в виде идеализма, занятого у Фихте. На кой чорт мне этот кислосладкий киселек, когда я могу самого Фихте снабдить идеализмом, сидящим в крови моей, в мозгу, в душе? Я не знаю Фихте, чорт бы его драл, но я никуда назад не хочу итти, ни даже к Платону! Я хочу, чтобы мое настроение было моей философией, то-есть тем руководящим, что они хотят назвать религией. Жизнь мне нравится, жизнь я люблю, я чувствую удовольствие жить— понимаешь? Объясни мне это — и вот появится новая философия, и не нужен Фихте. На кой чорт тебе какая-то религия, если ты не чувствуешь себя в силе создать свою? И как можешь ты принять что-то чужое, раз ты сам — и бог, и Кант, и источник всякой мудрости и пакости?

Существует только человек, все же прочее есть мнение. Ты говоришь, что «сознательное существо — недоразумение природы». Пускай; но оно существует, стало быть оно есть реальный факт и — только оно сознает, стало быть оно вольно творить себе жизнь по желанию своему, бога же по образу и подобию своему создал человек? И жизнь создает, как пожелает.

Что ты скис — не удивляюсь. Я бы, может быть, удавился, покинув Россию. А утрату «Жизни» я пережил молча и все сожаления гордо отвергал. И ежели у меня умрет сын — что люблю всего больше, — тоже буду молчать, и тоже пошлю ко всем чертям всех сожалеющих. Нет, я не хочу доставлять удовольствия мещанам, а сожаление есть их удовольствие.

Ты читаешь и, может быть, сердишься: он меня учит! Я тебя уговариваю только. Ты мне дорог, ибо ты в глазах моих — величина, нужный жизни человек, ты — огонь; и многое не только осветить и согреть, но сжечь можешь. Тебя ударили — ты ослаб, а должен бы был рассердиться, ибо последнее больше идет к тебе и ценнее.

Мне твое письмо — как нож было, я не ожидал, что ты так взвоешь от боли, без гордости. Ты скажешь — я писал товарищу! А ты и от товарища скрой свои раны, как я не раз скрывал от тебя. Ранами надо гордиться перед смертью; не раньше.

Письмо вышло нескладное. Не хотел я отвечать, а ответил как-то невольно. Жалею. Не надо бы. Ну и до свидания пока. Скоро еще напишу.

Пиши на жену. Она очень кланяется тебе.

Что же будешь переводить, Гейне или Фихте? Ей-богу, лучше первого! Хотя, повторяю, второго я не знаю иначе, как по истории философских систем и — увы! — хотя бы его десять раз перевели — не узнаю! Неохота. Ей-богу, брат, в немецких книжках философия далеко не первого сорта, первого сорта философия в русской жизни.

Работаешь ли ты над своей книгой?

Пиши, друг, но не кричи. Буду аккуратно отвечать».

Получив это письмо, я поехал в Англию.

В Англии у меня были хорошие отношения с живущими там русскими эмигрантами, в особенности с талантливым сотрудником «Жизни» Д. В. Соскисом-Сатуриным, в Англии было хорошо налаженное издательство «Свободного Слова», в Англии я надеялся выяснить вопрос о технической стороне «вольного станка» и о транспорте литературы в Россию, в Англии, стране, где сильны еще были демократические традиции и незыблемым считалось право убежища, должна была, по моей мысли, возобновиться «Жизнь».

Я поселился на южном берегу, в Борнемаусе, в двух часах езды по железной дороге от Лондона и в нескольких километрах от Крайстчерча, где жил со своей семьей В. Г. Чертков и где издавались и печатались сочинения Толстого, запрещенные русской цензурой.

С Владимиром Григорьевичем Чертковым я познакомился еще в Петербурге в середине девяностых годов. Человек крупный, породистый, лицом несколько напоминающий Герцена, но без герценовской скорби и тревоги. Аристократ высшей марки. В былое время ходили слухи, что он сын императора Александра II, у которого, как известно, было не мало романов с красивыми придворными дамами. Но если эти слухи и неверны, то все же в Владимире Григорьевиче кровь «голубая». Род Чертковых старинный и богатый, давший русскому государству не мало сановников и генералов. Официальный, а, вероятно, и фактический отец — генерал-адъютант. Мать из рода графов Шуваловых, сестра одного из русских послов при английском правительстве. Владимир Григорьевич проводит детство при дворе королевы Виктории, играет с ее детьми. Затем поступает в Пажеский корпус, по окончании которого делается офицером Кавалергардского полка. Красивого и богатого аристократа ожидает блестящая карьера. Но он много читает и думает. Увлекается сначала Достоевским, затем Толстым. Бросает службу, женится на идейной девушке демократического уклада, которая когда-то послужила моделью для знаменитой «Курсистки» художника Ярошенко, сближается с Толстым, круто изменяет образ жизни, становится вегетарианцем. Вместе с женой, Бирюковым

и Горбуновым-Посадовым организует издательство «Посредник», выпускающее книги и картины, как для «народа», так и для интеллигентных читателей в духе толстовского учения. Распространяет запрещенные сочинения Толстого, протестует против насилий над духоборцами и принимает участие в помощи их переселению в Канаду. Несмотря на заступничество своей матери, имеющей большой вес в придворных кругах, ссылается в Прибалтийский край, откуда уезжает в Англию, где мать покупает для него небольшое имение с большим и удобным домом.

«Тёктенхаус», как называли дом Чертковых, служил притягательным центром не только для толстовцев, но и для эмигрантов-революционеров самых различных направлений и национальностей. Некоторые из них находили себе заработок в типографии и экспедиции «Свободного Слова».

Жена Черткова, Анна Константиновна, болезненная женщина, с бледным исхудалым лицом, окаймленным черными локонами, с большими черными выразительными глазами, была его верным другом и помощницей. Оба были фанатичными сторонниками взглядов Толстого, у обоих были характеры сильные и настойчивые.

Как мыслитель, Владимир Григорьевич был под влиянием Л. Н. Толстого, но как человек он скорее подчинял себе Толстого, чем подчинялся ему. Толстой любил Владимира Григорьевича, но как будто и боялся. Чертков иногда заставлял Толстого делать то, что тому было не по душе, что даже шло против его убеждений, как это особенно ярко сказалось в составлении духовного завещания.

Сильная воля Черткова в борьбе из-за Толстого сталкивалась с сильной волей Софьи Андреевны. Они друг друга не выносили. И при жизни Льва Николаевича, и после его смерти Софья Андреевна говорила мне о Черткове с нескрываемой злобой.

— Чтобы побороть свою ненависть к Черткову, — сказала она мне в 1911 году, когда я заезжал к ней в Ясную Поляну, — я даже мясо перестала есть.

Чертков тоже не щадил ее и открыто заявлял, что у Толстого не было злейшего врага, чем Софья Андреевна. Чертков не страдал излишней снисходительностью к людям. Своим приятным тенором спокойно, но увесисто он указывал на недостатки и близких и дальних. Грешный человек не мог себя чувствовать с Чертковым так просто, как он чувствовал себя с Толстым.

Бывали у Черткова припадки и самобичевания. Во время этих припадков он замечал, что жизнь его далеко не вполне соответствует учению Толстого, но у него находилось достаточно софизмов, чтобы

вновь обрести душевное равновесие. Так, например, он очень любил ездить на велосипеде, но вдруг его стала мучить мысль, что велосипед непозволительная роскошь, и он решает продать его, чтобы на полученные деньги издать полезную книжку. Мать уговаривает его не делать этого. Но Владимир Григорьевич непоколебим. Тогда она покупает у него велосипед и затем дарит его ему. Чертков издает полезную книжку и продолжает ездить на велосипеде. Людям с такими убеждениями, как у Черткова, без софизмов прожить трудно.

Софизмы были и у матери Черткова Елизаветы Ивановны, высокой, благообразной старухи, одетой во все черное. Она принадлежала к аристократической секте пашковцев [78] и утверждала, что вера в божественность Христа спасает каждого человека, как бы он ни жил и что бы он ни делал. Может быть, я жестоко ошибаюсь, но из бесед с Елизаветой Ивановной, которая хотела и меня привлечь в свою секту, я понял лишь одно, что вера и без дел жива, в противоположность апостольскому утверждению, что вера без дел мертва.

Вот Иосиф Константинович Дитерихс, брат Анны Константиновны Чертковой, в софизмах не нуждался. Сын генерала, но генерала небогатого. Иосиф Константинович, пройдя военную школу, сделался казацким офицером и еще совсем молодым человеком получил чин есаула, но военная служба была ему не по душе, он бросил ее и уехал к Чертковым в Англию. Здесь он принялся работать на огороде и выполнять различные черные работы по хозяйству. В свободные минуты помогал и в издательском деле, приводил в порядок и бухгалтерию. Одним словом, оказался прекрасной рабочей силой и до известной степени семейным кормильцем. Не пил, не курил, вегетерианствовал и был целомудренен в половом отношении, но все просто, без борьбы и показу. Толстовцем себя не считал, но когда Толстого отлучили от церкви, тотчас написал в Синод заявление, чтобы его тоже больше не считали православным христианином. Полюбил в Англии девушку, полу-испанку, полу-англичанку и хотел жениться, но против этого восстали Чертковы, да и родители девушки требовали, чтобы Джозе, как обыкновенно называли Иосифа Константиновича, раньше обеспечил себе определенный заработок. У Черткова он работал, разумеется, бесплатно, по-семейному. И Джозе сначала отложил женитьбу, а затем и совсем отказался от мысли устраивать личное счастье.

Мы с Джозе быстро подружились, и я очень советовал ему не считаться с протестами «старших» и жениться. Писал ему об этом из Парижа, после своего отъезда из Англии, но влияние Чертковых оказалось сильнее.

«Спасибо вам большое за выраженное доброе пожелание успеха,— отвечал он мне, — но, при всем старании, его — мнится мне — не иметь. Уж очень обстоятельства житейские одолевают. Обидно подумать, но выходит на поверку, что с одним добрым желанием не много сделаешь и что пошлый, поганый вопрос о материальной обеспеченности выступает во всей своей гнусности на первый план.

Выходит, что все хорошее и честное должно уступать место этому меркантильному и дрянному. В жизни своей не один горький урок имел и не одну утрату перенес, — понесу еще!.. Но несмотря на то, что безденежье является, как главное препятствие осуществлению счастья, — во мне ни на минуту не шевельнулось чувство сожаления по утраченному обеспеченному положению или желания быть богатым, и это очень для меня утешительно. В царство божие не стремлюсь, но с богатством мне счастья не иметь — в это твердо верю!..»

После революции 1905 года, когда Чертковы вернулись в Россию, Джозе отправился на Кавказ и там занялся пчеловодством и шелководством. Я встретился с ним во время одной из своих лекционных поездок, кажется, в 1910 году. Такой же здоровый, красивый блондин, но налет грусти, бывший и раньше, теперь значительно усилился. Остался целомудренным холостяком.

Года через два после этой встречи услышал о его смерти. Вспомнил, что он писал как-то мне, что ему хотелось бы иметь смерть «непостыдну». И смерть и жизнь его были «непостыдны». Мало таких людей, людей без лукавства встречал я на своем пути.

Что-то общее было у Джозе с другим обитателем «Тёктенхауса, Дмитрием Владимировичем Странденом.

Странден, человек разносторонне образованный, прекрасно владеющий языками, в особенности английским, был учителем сына Чертковых Димы. Небольшого роста, блондин, в очках, Странден производил впечатление человека чрезвычайно застенчивого. Говорил мало, тихо и улыбался как бы сконфуженно. Как и Джозе, не пил, не курил, не ел ни мяса, ни рыбы и был целомудрен в половом отношении. Находился в подчинении у своей матери, женщины с большим характером. Выдержав с нею большую борьбу, женился на простой девушке-англичанке, но вскоре разошелся с нею, видимо, под влиянием ревнивой матери. Был убежденный теософ, встречался с знаменитой теософкой Анни Безант, переводил теософские сочинения, но своих взглядов никому не навязывал.

Странден был учителем Димы, а воспитателем его следует считать латыша Пунгу. Рослый прекрасно сложенный юноша с светло-золотистыми волосами, всегда изящно одетый. Не пил, не курил, у Чертковых

конечно, вегетерианствовал, но на воле с аппетитом пожирал бифштексы и ростбифы. Рвался в жизнь, как в радостный бой. Всеобщий любимец, но особенный успех имел у замужних женщин молодых и старых. Убежденный социал-демократ, отрицательно относящийся к толстовству, и тем не менее друживший с Владимиром Григорьевичем и в особенности с Анной Константиновной. Революционер и тем не менее любимец монархистки Елизаветы Ивановны Чертковой.

Через Пунгу я познакомился с латышами Розином и Весманом.

Розин, один из основателей латышской социал-демократической партии, происходил из бедной латышской крестьянской семьи, не раз сидел в тюрьме и вид имел пролетарский. Небольшого роста, худощавый, с вечной трубкой в зубах, вероятно, при случае и выпить не дурак, легко усвоил теорию Маркса и крепко держался пролетарской линии, никогда не впадал в уныние и разочарование. Прекрасный популяризатор, Розин написал несколько хороших агитационных брошюр и редактировал газету «Латышский работник» и сборники «Социал-демократ», выходившие за границей на латышском языке.

Весман, молчаливый, чрезвычайно замкнутый интеллигент, ничего не писал, отдавая все силы транспорту нелегальной литературы в Прибалтийский край и поддержанию связей с подпольными латышскими организациями. Он нередко нелегально переезжал русскую границу и к риску попасться и засесть в русскую тюрьму относился совершенно спокойно, без волнения и рисовки.

У латышей в Крейстчерче была своя небольшая типография. Не помню, работали ли они также в типографии Черткова. Но хорошо помню, что там в качестве наборщиков работали поляки-эмигранты, в том числе Войцеховский, будущий президент Польской республики. Мне не раз приходилось с ним говорить в то время, как он набирал какую-нибудь толстовскую брошюру.

Высокий брюнет, с лысеющей головой, с лицом серьезным и умным, производил он впечатление человека солидного, человека с весом. Говорил он спокойно, раздельно, как бы взвешивая каждое слово. Полною противоположностью ему был Иосиф Пилсудский, будущий маршал и диктатор Польши. Чрезвычайно нервный, порывистый, резкий, он иногда производил впечатление человека психически ненормального. Арестованный в конце 80-х годов, если не ошибаюсь, в связи с делом 1 марта 1887 г. [79], он симулировал сумасшествие, добился перевода в психиатрическую больницу Николая чудотворца, откуда бежал, а затем эмигрировал в Англию. Симулировать сумасшествие ему было не трудно. Как-то раз мне пришлось обедать

вместе с ним и другими эмигрантами. Он сидел против меня, а рядом со мной Соскис.

Соскис долго и внимательно всматривался в Пилсудского, который надменно бросал взгляды по сторонам.

Спокойное, красивое еврейское лицо Соскиса, окаймленное черной бородой, осветилось лукавой улыбкой, и, наклонившись ко мне, он шопотом спросил: «не боитесь ли вы, что Пилсудский вдруг вскочит и запоет петухом?»

Это было очень метко. Впоследствии при встречах с Пилсудским у меня постоянно поднималось тревожное чувство: «вот-вот закричит: кукареку».

С Пилсудским, бывшим тогда одним из лидеров Польской Социалистической партии («П. П. С.»), у меня сначала установились хорошие отношения. Он навещал меня в Борнемаусе один и вместе с женой. Но хорошие отношения продолжались не долго. Заговорили мы как-то о грядущей русской революции и соотношениях между русскими и польскими революционерами.

— Русским революционерам, — сказал Пилсудский, — придется отдавать полякам ключи от русских крепостей в Польше, большего мы от них не требуем.

— Революция, — продолжал Пилсудский, — окончится полным крушением и распадом Российской империи. Образуется целый ряд самостоятельных республик: польско-литовская, латышская, эстонская, финляндская, грузинская, быть может татарская. Все они заключат между собой союз и затем железным кольцом сдавят и задушат Московию...

Так куражился Пилсудский. Я прервал его и спокойным голосом сказал: — Но вы забываете, товарищ, что у Московии есть старая и верная союзница.

— Это кто же? Германия?

— Нет, не Германия, а старушка история. Московия многих давила, а ее пока еще никто задавить не мог.

— История меняется, — возразил с досадой Пилсудский. — Будущее принадлежит наиболее одаренным и культурным народам. Таковы поляки. Сравните нашу шляхту с вашими дворянством, наших ксендзов с вашими попами.

— Так вы за шляхту и ксендзов! — воскликнул я. — Хорош социалист!

— Польскому ксендзу и польскому шляхтичу интересы польского народа ближе, чем русскому рабочему или крестьянину.

Вмешалась жена Пилсудского.

— Ни один русский революционер не в состоянии встать искренне на защиту свободы польского народа. Я считала другом польского народа Герцена. У меня на стене висел его портрет. Но когда я настоящим образом познакомилась с его отношением к польскому вопросу, то разорвал портрет его на мелкие клочья.

До этого момента я сдерживал себя, но тут не выдержал и допустил большую некорректность.

— Если вы такого скверного мнения о всех русских, зачем же вы сидите у меня в доме, как гости, как друзья и товарищи?

Пилсудские встали и ушли. С тех пор мы не встречались.

Разрыв с Пилсудским не отразился на моих хороших отношениях с другими членами польской социалистической партии или так называемыми пепеэсовцами. Кроме уже упомянутого выше Войцеховского, в то время пепеэсовца, я познакомился еще с Л. Плохоцким, писавшим в русских легальных журналах под псевдонимом Л. Василевского, и с Буркотом.

Плохоцкий, всегда изысканно вежливый, в беседах со мной выдвигал то, что нас объединяло, и никогда не проявлял враждебного отношения к русскому народу. Он сделался постоянным сотрудником заграничной «Жизни».

Буркот, профессиональный наборщик, был прекрасным товарищем каждого революционера, независимо от его национальности. Не прочь был перехватить лишнюю рюмку крепкой виски, что не мешало ему быть дельным работником. Он сделался заведующим типографией «Жизни».

Из видных толстовцев жил в то время в «Тёктенхаусе» Иван Михайлович Трегубов. Небольшой и неуклюжий, с прямыми, длинными седеющими волосами, с широкой, редкой бородой, в стальных очках, вдавленных в курносый нос, походил он на какого-нибудь старообрядческого начетчика. Происходил из духовного звания, был учителем полтавской духовной семинарии, затем увлекся учением Толстого и сделался ярым противником православной церкви и православного духовенства. Но и толстовство его не удовлетворяло. Он метался между разными сектами и пытался организовать что-нибудь новое. Его, как и меня, Лев Николаевич упрекал в «суеверии строительства». Человек увлекающийся и наивный, Иван Михайлович в своей фантазии примирял непримиримое и часто оказывался в смешном положении, чего, впрочем, не замечал.

Со мной его сблизила идея всеобщей забастовки. О всеобщей забастовке я вскоре по приезде в Англию написал небольшую статью в «Свободном Слове», подписав ее псевдонимом «Чужак».

«Рабочее движение, — писал я, — выставляет на своем знамени устранение насилия человека над человеком, насилия, лежащего в настоящем социальном строе, насилия, совершаемого в семье, на фабрике, в казармах, в церкви, на эшафоте и на поле сражения. Самым действительным оружием в борьбе с этим «строем насилия», несомненно, будет стачка, в понятие которой входит и бойкот, стачка рабочих, стачка солдат, стачка плательщиков налогов, великая тройственная международная стачка, эта пассивная революция с самыми активными и действительными результатами...»

«Стачка против собственных правительств — вот настоящий путь к стачке международной, к стачке революции...»

Статья эта привела Трегубова в неописанный восторг, и он начал меня уговаривать немедленно приступить к осуществлению тройственной стачки, надеясь увлечь этой идеей сектантов всех толков.

Моя статья понравилась и Черткову. Он просил меня написать еще статью о Кропоткине и Победоносцеве в связи с полемикой, возникшей между этими двумя антиподами русской жизни на страницах одного американского журнала.

Прочитав эту полемику, я отказался от предложения Черткова, так как убедился, что Победоносцеву удалось уличить Кропоткина в противоречиях и непоследовательности.

Вспоминая обитателей «Тёктенхауса», я не могу пройти молчанием пожилой крестьянской девушки, кажется, Тульской губернии, Аннушки, на обязанности которой лежало приготовление вкусных вегетарианских блюд для хозяев и многочисленных гостей «Тёктенхауса». Аннушка в Англии очень культивировалась. Ездила на велосипеде, говорила по-английски, читала книжки, интересовалась революционным движением. Работать ей приходилось очень много, но она с этим мирилась и лишь изредка добродушно-насмешливо замечала:

— Ох, уж эти итинги, — играя английскими словами «мит» (meet) встречаться и «ит» (eat) — есть.

Познакомился я в Борнемаусе и Крайстчерче со многими интересными англичанами. Один из моих сыновей, родившийся в Англии, первый год своей жизни провел в семье борнемаусского социал-демократа, сапожника Раймонта. Дом Раймонта, названный в честь знаменитого английского философа и моралиста «Рескинхаус», был небольшим домом отдыха для небогатых лондонских социалистов: рабочих, учителей, журналистов.

У Раймонта встретился я с одним из представителей английской секты «non money men» (безденежные люди). Секта эта отказывалась от пользования деньгами, обменивая свою работу и продукты своего

труда на другие продукты и услуги без посредства денежных знаков. Моему знакомому «безденежному человеку» удалось как-то обзавестись даже велосипедом.

Без денег жить было очень трудно, но еще труднее оказалось жить без одежды. Отвергнув одежду, «безденежные люди» стали появляться на улицах Борнемауса в костюмах Адама и Евы до грехопадения. Но полиция немедленно напомнила им о грехопадении и привлекла их к ответственности за нарушение общественной нравственности. Первый донос был сделан англиканским пастором.

В беседах со своими новыми и старыми знакомыми в Борнемаусе, Крайстчерче и Лондоне, где я часто бывал у Соскиса, я выяснял те трудности, которые стояли на пути возобновления «Жизни». Все обливали меня холодной водой пессимизма. Нашелся только один человек, который горячо ухватился за мысль о возобновлении «Жизни» и взглянул на дело оптимистически. Он не имел никакого отношения к закрытой «Жизни», до встречи в «Тёктенхаусе» имел обо мне самое смутное представление и тем не менее проникся убеждением, что найдутся для «Жизни» деньги, «Жизнь» оживет и будет иметь огромное революционное значение. Человек этот Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Бонч-Бруевичу не было тогда еще тридцати лет, но казался он старше. Англичане на улицах Лондона почему-то принимали его за бура. Среднего роста, широкоплечий, с рыжей бородой лопатой. Крупные черты лица и небольшие глаза, прикрытые очками. Выражение лица у Бонча чаще всего было приятно-довольное, как будто он съел что-то очень вкусное. С особым смаком Бонч рассказывал об успехах близкого ему дела и самым близким своим делом он считал революционное движение, в которое включал и движение сектантское. Энергичный и разносторонний, он, с одной стороны, как социал-демократ, был в хороших отношениях с видными марксистами, в том числе с Плехановым, с другой, как исследователь сектантства, дружил с толстовцами, религиозными проповедниками и разными «братьями во Христе». Сопровождал духоборцев в Канаду и поддерживал с ними связь перепиской. Интерес к сектантству сблизили его с князем Дмитрием Александровичем Хилковым. Дружеские отношения Бонча с Хилковым помогли возобновлению «Жизни».

Бонч написал Хилкову, жившему в Женеве, о моем намерении возобновить «Жизнь» и просил его посодействовать этому. Хилков как раз в это время познакомился с молодыми супругами Георгием Аркадьевичем и Марией Алексеевной Куклиными, только что приехавшими из Петербурга в Женеву.

Г. А. Куклин привез с собою огромную библиотеку и более сто тысяч рублей в русских процентных бумагах. Уехал он из России из болезненного страха перед воинской повинностью, хотя она ему, имевшему льготу первого разряда, почти не угрожала. Приехав за границу, он захотел принять участие в «политической жизни», но не знал, к какой партии или группе примкнуть. Стотысячный Куклин был желанным для каждой организации. Куклиных охаживали со всех сторон. Первым с визитом к ним явился Плеханов, надеявшийся склонить их в сторону «Зари» и «Искры». Но Плеханов им не понравился. Наилучшее впечатление произвел на них Хилков, с которым их познакомил старый народник Клеменц. С Клеменцем они вместе ехали из Петербурга в Женеву.

Хилков, под влиянием письма Бонча, посоветовал Куклиным повидаться со мной и предложить мне свою помощь для возобновления «Жизни». Куклин с охотой пошел навстречу этому предложению, так как был подписчиком и поклонником «Жизни».

В один осенний вечер ко мне в Борнемаус явился Бонч, одетый по-дорожному, и торжественно заявил:

— Собирайтесь! Поезд отходит через час. Едут деньги для «Жизни». Их нужно встретить в Соутхемптене. Здесь их может перехватить Чертков, ему очень нужны деньги для «Свободного Слова». О подробностях расскажу по дороге, теперь некогда.

Возражать не приходилось, и мы поехали. В Соутхемптене переночевали в небольшом портовом отеле, а рано утром отправились на пристань встречать пароход, прибывающий из Гавра.

В толпе пассажиров, хлынувших с парохода, мы тотчас угадали Куклиных. Их наружность Хилков описал в письме к Бончу, но и без этого мы их наверное узнали бы. Вид у них был истинно-российский, и они резко отличались от всех остальных пассажиров. Куклин в дешевом светло-коричневом пальто и старой помятой круглой шляпе с цветным вязаным шарфом на шее походил на молодого купеческого сынка из небогатых. Пухлое лицо с бахромой русых волос, узкий лоб и довольно большие, сильно-косящие глаза. Улыбается полунасмешливо, полусмущенно.

Куклин был маленького роста, а Куклина еще меньше и походила на просвирочку. Одета не по-модному, а по-старинке, дешево и просто. Лицо некрасивое, но милое. Голубые глаза смотрят приветливо и умно. Куклину было двадцать один год, а Куклиной — двадцать пять. Знала нужду, много читала и училась, занималась на курсах Лесгафта и была два года сельской учительницей.

Куклиным, видимо, очень хотелось поехать ко мне в Борнемуас на берег моря, но командовал Бонч, и мы отправились прямо в Лондон. Остановились в дешевом немецком отеле, где я бывал уже раньше. Для Куклиных взяли большую комнату во втором этаже, а для себя какую-то каморку на самом верху. Началось совещание. Я вкратце изложил план возобновления «Жизни», а Бонч умело его приукрасил.

Куклин, выслушав нас и переглянувшись с женой, заявил, что может немедленно дать десять тысяч, и вынул из бокового кармана десятитысячную облигацию Крестьянского поземельного банка. Бонч взял ее, развернул, рассмотрел, вновь сложил и преспокойно опустил в боковой карман своей тужурки, которую старательно застегнул на все пуговицы.

— Так-то вернее будет, — говорил весь вид его.

Затем он начал рисовать картины будущей деятельности нашей организации. Издательство — это только часть дела. При достаточных материальных средствах можно будет принять непосредственное участие в борьбе с самодержавием. Среди наших друзей не мало решительных людей, которые сумеют, например, организовать экспедицию для освобождения шлиссельбуржских узников. Вообще, Бонч нарисовал такие широкие революционные перспективы, что у Георгия Аркадьевича щеки разгорелись, левый глаз совсем закатился, а правый заблестел и завертелся. У Марьи Алексеевны выражение лица сделалось тревожным.

Когда мы с Бончем поздно вечером поднялись к себе наверх, он тотчас напустился на меня.

— Эх, вы, глухая тетеря! Недослышали, как он, после того, как я пустил шлиссельбургскую экспедицию, шепнул жене: «Маня, не дать ли нам еще 25 тысяч?» Надо было сейчас меня поддержать, сказать, что необходимы большие средства, а вы как раз промямлили, что пока десяти тысяч вполне достаточно. Ну, ничего. Получим и двадцать пять тысяч, теперь они от нас не уйдут.

На другой день мы вчетвером отправились продавать облигацию Крестьянского поземельного банка. Ни в одном из частных банков ее не покупали, и провожали нас, как людей подозрительных. Пришлось итти в знаменитый английский банк. В дверях дорогу нам загородил величественный швейцар в красном одеянии, шитом золотом, в трехуголке, с булавой. Учинил допрос. Я объяснил, что мы хотим продать русскую процентную бумагу. Потребовал, чтобы ее ему показали. Накинул на нос пенснэ и долго рассматривал, но, видимо, ничего не понял. В конце концов пропустил, и мы, пройдя через ряд клэрков, попали, наконец, в кабинет к какому-то важному лицу, которое, окинув

нас подозрительным взглядом, заявило, что облигация может быть куплена лишь в том случае, если два джентльмена, заслуживающие доверия, засвидетельствуют, что она попала в наши руки законным путем. Так и не удалось нам в этот раз продать облигацию. Впоследствии ее продал Пунга от имени В. Г. Черткова, имя которого в Англии значило очень много.

Англия очень не понравилась Куклиным, и они очень просили, чтобы редакция «Жизни» находилась в Женеве или Париже, а не в Лондоне.

Я стоял за Лондон, но в конце концов должен был согласиться обосноваться в Париже, так как за Париж высказался и В. Я. Муринов, перебравшийся за границу и решивший принять деятельное участие в освобожденной «Жизни».

Для издания «Жизни» образовалась социал-демократическая организация, в которую вошли, кроме меня и Бонч-Бруевича, Г. А. и М. А. Куклины, В. Я. Муринов, Д. В. Соскис-Сатурин, М. Е. Ермолаев, оставшийся в России, но приезжавший за границу на организационные совещания и съезды, три латышских социал-демократа: Розин, Весман и Пунга, Д. А. Хилков и молодой интеллигентный крестьянин из сектантской среды Иван Иванович Сергеев. Заочно в члены организации зачислена была жена Бонч-Бруевича Вера Михайловна Величкина, находившаяся в момент образования социал-демократической организации «Жизнь» в России в тюрьме. К моменту выхода первой книжки в организацию вошла еще Александра Александровна Сац, сопровождавшая духоборцев в Канаду.

Большинство участников организации я характеризовал уже раньше. Новыми являются Хилков, Сергеев, Сац и Величкина. Хилков — фигура красочная. Невысокий, стройный, изящный, с маленькими породистыми руками. Красивая голова с тонкими чертами лица, ласковыми близорукими глазами, прикрытыми легким пенснэ, с высоким лбом, уходящим в благородную плешь, окаймленную мягкими, слегка вьющимися волосами пепельного цвета.

Но самым примечательным в наружности Хилкова была его борода. Борода длинная, почти до пояса, пышная, мягкая, легкая, пепельного цвета с серебряными нитями, похожая на какой-то необыкновенный, но несомненно очень дорогой мех. И любил же князь свою бороду. С нежностью перебирал он ее своими длинными, тонкими пальцами. Ни за что бы с ней не расстался.

Жизненный путь Хилкова совершенно необычаен. Окончив Пажеский корпус, Хилков поступил в Лейб-Гусарский полк и, как подобает аристократу, быстро сделал блестящую военную карьеру. Еще совсем молодым человеком он принимает участие в Русско-Турецкой войне

1877—78 годов, выделяется лихими разведками, получает много отличий и в 25 лет производится в чин подполковника. После войны он много читает, знакомится с учением Толстого и постепенно разочаровывается в военной службе.

Это были 80-е годы, когда, по словам Чехова, «у нас в обществе и печати заговорили о непротивлении злу, о праве судить, наказывать, воевать, когда кое-кто из нашей среды стал обходиться без прислуги, уходил в деревню пахать, отказывался от мясной пищи и плотской любви».

Хилков выходит в отставку, отдает большую часть своей земли крестьянам, а на небольшом участке, оставленном себе, сеет, пашет, косит, как заправский крестьянин. Познакомившись и подружившись с Львом Николаевичем Толстым, он делается его убежденным последователем. Отвергая таинства и обряды, живет невенчанный с интеллигентной женщиной и не крестит детей. Ведет толстовскую пропаганду среди окружных крестьян Харьковской губернии; завязывает связи с сектантами различных толков. Начинаются преследования. Его ссылают на Кавказ. Матери Хилкова, суровой старухе старых традиций, удается добиться высочайшего распоряжения о передаче ей на воспитание внуков, которых в силу этого распоряжения похищают у родителей. Похищение детей было тяжелым ударом для Хилковых, но Дмитрия Александровича оно не сломило. Продолжает жить и работать по-крестьянски, сближается с духоборцами, поддерживает их в их борьбе против военной службы и принимает деятельное участие в устройстве переселения духоборцев в Канаду.

Но в конце 90-х годов Хилков резко изменяется. Бросает крестьянскую жизнь, перестает проповедывать толстовские идеи, отказывается от вегетарианства и... предлагает свои услуги русскому правительству для руководства войною с Китаем. Подает докладную записку, в которой обещает разгромить Китай, если ему будут даны неограниченные полномочия. Предложение Хилкова отклоняется, и он уезжает за границу в Женеву, где сближается с представителями крайних революционных течений, увлекаясь в то же время аристократическим учением Ницше о сверхчеловеке. Начинается пропаганда беспощадного террора. В этом духе Хилков издает брошюрки для распространения среди сектантов революционных идей.

Вступив в организацию «Жизнь», становится социал-демократом, продолжая быть сторонником террора. Террор он теперь понимает по-якобински.

«Террор, — писал он мне 25 июня 1902 года по поводу моей статьи о Балмашеве в номере 3-м «Листков Жизни», — как одни политические

убийства — не только отжил свой век, но никогда века и не имел — для дела народного освобождения. Террор «красный» — это была целая система, — куда входило и установление «максимума» на хлеб...

... Революции без насилия не бывает. Насилие и есть террор. Совокупность всех насильственных деяний, связанных в одно целое — вот что такое террор. И в этом смысле не мыслим революционер из рабочей или крестьянской среды, который не был бы террористом»...

После ликвидации организации «Жизнь» Хилков примыкает к социалистам-революционерам.

После революции 1905 года Хилков еще раз круто повернул вправо. Вернувшись в Россию, он поселился на своем хуторе, но уже не революционером и не толстовцем. Отбросил он и ницшеанство. Углубился в чтение священного писания, стал ходить в церковь и, наконец, душой и телом приобщился к православию со всеми его таинствами и обрядами. Признал православие истинным выражением духа народного. Вместе с тем и войско снова стало для него христолюбивым.

При объявлении войны с Германией его старое военное сердце загорелось патриотическим огнем и воинской удалью. Почти юношей, выйдя в отставку, он прервал блестящую военную карьеру; теперь стариком, на седьмом десятке лет, он поступает в действующую армию добровольцем. Его назначают командиром небольшого кавалерийского, если не ошибаюсь, казачьего, отряда.

Уходя на войну и прощаясь с одним из своих друзей, старым толстовцем, князь, держа в руке револьвер, на момент снова становится непротивленцем и клянется, что из этого револьвера никто не будет убит. Спешит на передовые позиции, вероятно, собственноручно никого не убивает, но совершает отчаянно-смелые разведки, постоянно находясь под огнем. Как будто ищет смерти. И скоро находит ее.

Шальная пуля пробила его красивую голову с чудесной бородой в тот момент, как он, стоя на холме, изучал в бинокль неприятельское расположение.

И. И. Сергеев, рослый статный парень с открытым лицом, постоянно освещаемым радостной улыбкой, при чем обнажались его белые, крепкие зубы, взял на себя опасную работу по перевозке в Россию литературы и по сношениям с русскими подпольными организациями; ту же работу выполняла А. А. Сац, молодая медичка, умный и энергичный человек, прекрасная переводчица, талантливая пианистка. Они оба действовали под руководством нашего красного почтмейстера Весмана.

В. М. Величкина, близорукая брюнетка, приехала за границу уже перед концом «Жизни» и участвовала лишь на последнем съезде нашей организации.

Редактировалась «Жизнь» в Париже, а печаталась в Лондоне, где нами была устроена своя типография, при чем нам удалось приобрести, между прочим, и тот шрифт, которым когда-то набирался «Колокол» Герцена. Заведывал типографией Буркот, близко принимавший к сердцу интересы «Жизни», но как пепеэсовец официально не вступавший в нашу организацию. В качестве ответственного редактора журнал подписывал Розин, фактическим редактором был выбран я, секретарем В. Д. Бонч-Бруевич.

Когда техническая сторона была налажена, я решил сделать все возможное, чтобы побудить Горького приехать за границу, где, как я думал, он может на свободных страницах «Жизни» настоящим образом развернуть свой талант.

Участие Горького, думал я, обеспечит «Жизни» сотрудничество и всех других крупных русских беллетристов и публицистов, с которыми я, впрочем, старался завязать связи и независимо от Горького.

Горький, между тем, о нашем решении во что бы то ни стало возобновить «Жизнь», видимо, забыл и о поездке за границу не думал. В то самое время, когда образовывалась социал-демократическая организация для возобновления «Жизни», он писал мне о плане некоего Головинского, пытавшегося подменить «Жизнь» своим «Вестником Всемирной Истории».

К Головинскому Горький не пошел, но и о возобновлении «Жизни» не упоминал ни слова.

«Дорогой товарищ! — писал мне Горький. — Редактор «Вестника Всемирной Истории» Головинский Матвей Васильевич прислал мне письмо, которое я воспроизвожу здесь с буквальной точностью и со всеми — очень характерными — подчеркиваниями г. Головинского.

«Многоуважаемый А. М.

С живой радостью узнали мы все здесь о том, что вам разрешено переехать в Ялту. Говорю уже «мы» потому, что постепенно кругом нашего журнала собирается все более и более сотрудников «Жизни». В ближайших номерах вы прочтете статьи Сатурина, Суркова, Коврова, Гурвича, Инсарова, Берлина, Фальковского и т. д. Не можем пока получить ответ от В. А. П. и не знаем — что сие означает? Говорят, ему плохо живется, и ни слова от него. Посылаю вам стихотворение ему посвященное, которое будет напечатано в последней 12-й книге «Вестника». Вербицкая прислала нам также интересную

вещицу. Только вы еще все молчите. Во время нашей короткой беседы в Нижнем вам, конечно, было трудно притти к определенному выводу, но теперь ведь у вас наш журнал за весь год, и вы едва ли не могли составить себе определенного заключения. Многое, конечно, можно улучшить, но — все-таки, вы сами знаете — наше издание последний приют многих. Неужели вы не поддержите это убежище и выгоните на улицу большинство тех, которых я перечислил выше, т. е. иностранных корреспондентов. Буквально на улицу — больше итти некуда и ждать нечего. Мне лично не надо ничего, кроме друзей... в эту минуту. Без вас мы не можем, — говорю это прямо, — и если вы не заявите о себе в нашем издании, не пришлете чего-либо, не разрешите указать на ваше сотрудничество — я буду считать не достигнутой цели воссоздания вновь разрушенного и, говорю вам прямо, также откажусь от всего. Я два года несу почти единолично на своих плечах всю тяжесть издания единственно ради идейных целей — это знают все, — и если и теперь, когда прямо жизненные интересы ваших же бывших друзей поставлены на очередь от вашего согласия или несогласия участвовать в «Вестн.», если и теперь я не встречу ответа с вашей стороны, я уйду с сознанием, что сделал все возможное. Итак, А. М., отвечайте скорей же, т. е. можно ли вас указать как сотрудника «Вестн.» или «нет», тогда и не быть «Вестн.», потому что его не надо.

М. Головинский».

Письмо это я нахожу неприличным и оскорбительным для товарищей из «Жизни». Подчеркнутые места свидетельствуют или о том, что этот Гол. глуп, или же он — прохвост. При свидании с ним он показался мне и тем, и другим. Со мною он обошелся так — в объявлении о «Вестн.» поместил фразу: «мы — редакция — надеемся дать конец одного беллетр. произведения, которым» и т. д. Напечатав это, он явился просить конец «Троих». Приведенное мною его письмо производит на меня такое впечатление: г. Голов. очень мало дела до судеб иностран. «корреспондентов» и зовет он их лишь для того, чтобы заманить в журнал твоего покорного слугу. За сим: в журнале была помещена статья Меньшикова — дрянная, воспоминания Микешина-художника о Лорис-Меликове — тоже чорт знает какие и вообще — дряни в нем — куча. Лишь с последних книжек заметно желание подыграться под «Жизнь» и ее тон.

Я заметил несколько хороших рецензий о книгах, довольно интересную статью о Герцене и Тургеневе и письма Гурвича о испано-американской войне. Стихи, посвященные тебе, — дубовые. Получил ли ты

от Г. приглашение? Как относятся к журналу Сатурин, Ковров и вообще все вы? Сообщи мне твой взгляд на это дело подробно, ибо ты, конечно, понимаешь, что это очень серьезно. Речь идет о возобновлении «Жизни», не меньше, так думает публика, — бывшие наши подписчики, — которым разослана 10-я книга «Вест.». Где они взяли адреса — не знаю, но взяли все — это факт. Пиши мне на знакомых без передачи. Ялта, доктору Леониду Валентиновичу Средину или доктору Александру Николаевичу Алексину.

Затем: я имею сказать тебе, дружище, несколько слов по поводу «писем из-за границы», корреспонденций и проч. литературы в этом роде. Возьмем, для примера, письма Гурвича в «Вест.» об испано-американской войне. Автор сих писем занимается усердным обличением пакостных порядков в американской армии, ругает интендантство, медицинскую часть и т. д. Все сие делает большую честь его благодарным чувствам, но производит на меня впечатление политической бестактности. Дело в том, друг мой хороший, что русский обыватель, читая подобные описания несовершенств европейской жизни, с полным правом заключает: «а ведь и в Америке не лучше, чем у нас», и, сделав такое заключение, спокойно ложится дрыхнуть. Это — верно, и очень печально. Нужно писать о том, что хорошо в Европе, о том, что может вызвать у обывателя жадность, зависть, обиду за себя и другие подобные прогрессивные эмоции и чувства. Нужно, чтобы обыватель в каждой корреспонденции из-за границы прежде всего видел преимущества европейского строя жизни. Прости, что я позволяю себе говорить об этом, но, видишь ли, теперь такое время, что каждая мелочь может иметь известное возбуждающее значение. Дело в том, что у обывателя такое настроение «чтобы протестовать». В этом следует ему помочь, ибо это хорошее настроение. Вот у нас, — как ты уже должен знать из газет, — начались «события» в Харькове. Хороший город Харьков! Распоряжение Ванновского об изгнании 150 ветеринаров [80] он — его общество — встретило отлично! И вообще в городе этом творится нечто особенное: девицы, например, отказываются танцовать с военными, а на улицах «публика» обижает полицию. И, знаешь, крепко обижает.

Да! Если Головинский пришлет тебе приглашение, ты можешь спросить его о том взгляде на тебя, который существует у начальства и, о возможности свободного возвращения сюда — буде это понадобится для тебя. Он хвастался мне, что может узнавать такие вещи. Почему может и как может — не знаю, но думаю, что не по той причине, по которой сие может быть известно нашему общему знакомому Гуровичу. Все, что тебе расскажут о последнем, — истина, так и знай.

Ну, пока до свидания! Жду писем от тебя. Будь щедр, пиши больше».

Из этого письма я, между прочим, увидел, что Горький недоволен тоном моих корреспонденций в «Курьере». Не говорит об этом прямо и приплетает Гурвича, так как боится открыть мое сотрудничество в «Курьере» «охранке», в случае, если бы она перехватила и прочла письмо.

В своих корреспонденциях я старался правдиво изображать заграничную жизнь, не заботясь о подъеме настроения российского обывателя. Германская военщина выходила у меня не лучше русской, берлинский разврат не чище петербургского и т. д.

В 1906 г. Горький, впервые окунувшись в европейскую и американскую демократию, начал «плевать в глаза» «прекрасной Франции», чего я никогда не делал, а в американской культуре увидел только «желтого дьявола».

Вскоре после письма о Головинском я получил от Горького письмо о Шаляпине, с которым он только что тогда познакомился в Нижнем и сразу подружился.

Характеристику Шаляпина он дал восторженную.

«Летом был у меня, — писал Горький, — Б. — не понравился. Блоха какая-то. Но был здесь Шаляпин. Это человек, скромно говоря, — гений. Не смейся надо мной, дядя. Это, брат, некое большое чудовище, одаренное страшной, дьявольской силой порабощать толпу. Умный от природы, он в общественном смысле п о к а еще младенец, хотя и слишком развит для певца. И это с л и ш к о м позволяет ему творить чудеса. Какой он Мефистофель! Какой князь Галицкий! Но все это не столь важно по сравнению с его концертом. Я просил его петь в пользу нашего народного театра. Он пел: «Двух гренадеров», «Капрала», «Сижу за решеткой в темнице», «Перед воеводой» и «Блоху» — песню Мефистофеля. Друг мой — это было нечто необычайное, никогда ничего подобного я не испытывал. Все — он спел 15 пьес — было покрыто, разумеется, рукоплесканиями, все было великолепно, оригинально... но я чувствовал, что будет что-то еще! И вот — Блоха! Вышел к рампе огромный парень, во фраке, перчатках, с грубым лицом и маленькими глазами. Помолчал. И вдруг — улыбнулся и — ей-богу! — стал дьяволом во фраке. Запел, не громко так: «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила»... Спел куплет и до ужаса тихо захохотал: «Блоха? Ха, ха, ха!» Потом властно-королевски властно! — крикнул портному: «Послушай, ты! чурбан!» И снова засмеялся дьявол: «Блохе — кафтан? Ха-ха! Кафтан? Блохе? Ха-ха!» И — этого невозможно передать! —

с иронией, поражающей, как гром, как проклятие, он ужасающей силы голосом заревел: «Король ей сан министра и с ним звезду дает, за нею и другие пошли все блохи в ход». Снова смех, тихий, ядовитый смех, от которого мороз по коже подирает. И снова негромко, убийственно-иронично: «И са-амой королеве и фрейлинам ее от блох не стало мо-о-очи, не стало и житья». Когда он кончил петь, кончил этим смехом дьявола, — публика — театр был битком набит, — публика растерялась. С минуту — я не преувеличиваю! — все сидели молча и неподвижно, точно на них вылили что-то клейкое, густое, тяжелое, что придавило их и задушило. Мещанские рожи побледнели, всем было страшно. А он — опять пришел, Шаляпин, И снова начал петь — блоху! Ну, брат, ты не можешь себе представить, что это было!

Пока я не услышал его — я не верил в его талант. Ты знаешь, я терпеть не могу оперы, не понимаю музыки. Он не заставил меня измениться в этом отношении, но я пойду его слушать, если даже он целый вечер будет петь только одно — «Господи, помилуй!» Уверяю тебя — и эти два слова он так может спеть, что господь — он непременно услышит, если существует — или сейчас же помилует всех и вся, или превратит землю в пыль, в хлам — это уж зависит от Шаляпина, от того, что захочет он вложить в два слова.

Лично Шаляпин — простой, милый парень, умница. Все время он сидел у меня, мы много говорили, и я убедился еще раз, что не нужно многому учиться, для того, чтобы много понимать. Фрак — прыщ на коже демократа, не более. Если человек проходил по жизни своими ногами, если он своими глазами видел миллионы людей, на которых строится жизнь, если тяжелая лапа жизни хорошо поцарапала ему шкуру — он не испортится, не прокиснет от того, что несколько тысяч мещан улыбнутся ему одобрительно и поднесут венок славы. Он сух — все мокрое, все мягкое выдавлено из него, он сух, и чуть его души коснется искра идеи, он вспыхивает огнем желания расплатиться с теми, которые вышвыривали его из вагона среди пустыни, как это было с Шаляпиным в Ср. Азии. Он прожил много, не меньше меня, он видывал виды не хуже, чем я. Огромная, славная фигура! И свой человек! Ну, ты прости меня, что я так расписался. Пиши почаще, голубчик Владимир. Я посылал тебе четыре письма, а не одно. Но я не удивляюсь. Когда адрес на конверте написан моей рукой, письмо попадает не туда, куда адресовано. Меня травят довольно усердно. Но меня это мало беспокоит. Когда идешь к возлюбленной, не чувствуешь укусов комаров. Крепко обнимаю тебя, Владимир! Очень рад, что ты бодр. Что делаешь? Ну, до хорошего свидания!»

В этом письме о «Жизни» не было ни слова. Затем пришел первый отклик на мой призыв приехать за границу.

«Дружище Владимир! — писал мне Горький. — Поездка за границу — дело не выполнимое. Не пустят. Даже в Ялту — не хотят пускать. Из Нижнего мне предложено выехать до конца следствия в Арзамас. Я отказался, послав прошение министру о разрешении ехать в Ялту и частное письмо князю Святополку, в котором указал на бесполезность излишних придирок ко мне. Письмо ему, говорят, не понравилось. Но это уже не касается меня. Придираются ко мне — сильно.

Видеть тебя мне очень нужно, страшно хочется; с каким бы удовольствием я тебя обнял, славный мой друг. А видно, придется подождать с этим. Настроение прекрасное и у меня, и вообще. Много и толково работается. Много хорошей литературы. Книжка Андреева имеет солидный успех. Моя пьеса, по отзывам знатоков театра и сцены, удалась. Московский Художественный — очень рад. Но я думаю, что ее не пропустят, хотя Немирович уверенно возражает. Когда я обработаю ее совершенно, пришлю тебе рукопись, только ты не давай никому переводить.

Пишу еще пьесу. Герой — еврей-сионист, героиня — жена присяжного поверенного, бывшая курсистка, дочь прачки. Издаю сборник «Рассказы еврейских беллетристов». Интересная будет вещь! Какие чудесные ребята есть среди писателей евреев! Талантливые, черти! Видел ты сборник в пользу голодающих евреев «Помощь»? Не дурная вещь. Вообще, за последнее время я очень сошелся с еврейством, думаю сойтись еще ближе, изучить их и нечто написать.

Со скрежетом зубовным и скрепя сердце послал в «Мир Божий» рассказ Скитальца «Сквозь строй». А. Б. расхвалил его, но я не очень ценю эту вещь. Три месяца тюрьмы подействовали на Скитальца очень благотворно: он стал сразу серьезнее, глубже и тоньше. Живет в Самаре, пишет в «Сам. газ.» недурные фельетоны. Печатает много неуклюжих, но сильных стихов, написал сказку «Газетный лист» и едва не погубил ею газету. Помнишь — я тебе надоедал со стихотворениями в прозе некоего Корнева? Следи за этим псевдонимом, он будет хорошо писать. Много обещает Яблочков, помнишь «Смерть Мюллера»? Он сухо, но талантливо и светло, вернее, резко, пишет маленькие рассказики и, думаю, скоро напишет большой. Из «Курьера», кажется, выкурили Гольцева и Ермилова за юбилей Сытина. Если не выкурили еще — выкурят. Леонид — хороший воин»...

Скиталец (С. Г. Петров), о котором упоминает в этом письме Горький, сделался сотрудником «Жизни» в начале 1901 года, когда

была напечатана его повесть «Октава». Ей он начал свою литературную карьеру. Горький его любил и ему покровительствовал. За кулисами Московского Художественного театра, куда он проникал вслед за Горьким, его шутливо прозвали «Подмаксимкой». Вид у него был довольно нелепый. На голове нечто в роде папахи, из-под которой висят длинные волосы, на плечах плед, на носу пенснэ; ходит, как будто палку проглотил. Из бывших певчих; пел, говорил и писал, как повести, так и стихи, густым басом. Жил одно время в редакции «Жизни» и очень смущал солидного швейцара, не желавшего пропускать его парадным ходом. Еще более он смущал председателя Союза писателей Петра Исаевича Вейнберга, и не без основания. Вскоре после отлучения Льва Николаевича Толстого от церкви Скиталец в зале Союза протодьяконским басом провозгласил поочередно анафему всем «смиренным» митрополитам и архиереям, подписавшим отлучение.

Как теперь, вижу библейскую фигуру Петра Исаевича с его белым, сухим лицом и длинной, белой бородой. Привлеченный басом Скитальца, он высунул голову, покрытую черной шелковой ермолкой, в дверь из соседней комнаты и замер в ужасе.

— Анафема! — гремело все громче и страшнее.

Эта «анафема», вероятно, была одной из причин закрытия Союза писателей.

Хотя, по словам Горького, письмо его Святополку-Мирскому не понравилось, но поехать в Ялту ему все же разрешили. Поездка была триумфальная. Об этом триумфе он мне подробно сообщил в письме, привезенном моим близким другом Альмой, с которой я когда-то лечил крестьян и учил деревенских ребятишек в Костромской глуши. В 1902 году она жила в Борнемаусе и по моей просьбе отправилась в Россию для переговоров с сотрудниками «Жизни» и главным образом с Горьким.

Горькому я написал письмо, в котором подробно изложил, как обстоит дело с возобновлением «Жизни», сообщил о деньгах Куклина, об устройстве типографии, подготовке транспорта, указал, что латыши могут почти без риска перевезти его через границу и так далее. Письмо я зашифровал, сообщив ключ шифра Альме. Мало того, письмо было мистером Раймонтом умело заделано в подошву одного из ботинок, одетых в дорогу Альмой. Конечно, и помимо письма наша делегатка знала все подробности наших планов.

Пассажирский пароход, на котором она переезжала через Ламанш, в густом тумане столкнулся с военным крейсером и пошел ко дну.

Пассажиры были спасены, спасена была и Альма, но ботинки с письмом Горькому погибли.

Несмотря на катастрофу, Альма продолжала путь и добралась до Горького. Горький, по ее словам, встретил ее крайне приветливо, обрадовался сообщению о возобновлении «Жизни» и обещал свою поддержку. Что касается до переезда за границу, то он находил, что с этим нужно еще повременить. Ей удалось склонить на свою сторону Екатерину Павловну, и она уехала с надеждой, что Горький приедет за границу к выходу первой книжки «Жизни».

Однако, привезенное ею письмо, в котором Горький из осторожности ни одним словом не упоминал о «Жизни», меня сильно разочаровало. Видимо, он писал его в ином настроении, чем говорил с Альмой. Поездку за границу он откладывал на год или даже на два.

«Очень рад был получить вести о тебе, — писал мне Горький, — скучаю о твоей милой роже. Ехать лечиться за границу считаю преждевременным. Нездоровье мое не особенно сильно, а погода здесь, право, не дурная, и я думаю год или, даже, два подождать с переездом в Италию. Из Нижнего я уехал 7-го ноября с большой помпой. Задавали мне ужины, читали адреса, делали подношения, точно артисту, а в заключение устроили на вокзале демонстрацию с пением Марсельезы и всякой всячины в этом стиле. Полиция была очень смущена и благоразумно бездействовала. Проводив меня, демонстранты с вокзала отправились пешком в город, прошли по всему нижнему базару, по всей Б. Покровке, всю дорогу пели и на площади около думы говорили речи, принятые публикой очень сочувственно. Народу было около 400. По дороге в Москву я узнал, что и в этом городе готовится встреча, а так как я боялся, что подобная штука преградит мне дорогу в город, в котором мне необходимо было прожить дня три-четыре, то и слез с поезда на станции Обираловка в расчете, что демонстранты, не дождавшись меня, разойдутся. Поступил глупо, ибо на Рогожской поезд, в котором я ехал из Обираловки, был остановлен жандармами, в мой вагон явился ротмистр Петерсон и спросил меня, куда я еду? — В Крым. — Нет, в Москву. — Т.-е. в Крым, через Москву. — Вы не имеете права ехать через Москву. — Это вздор, другого пути нет. — Вы не имеете права въезда в Москву. — Чепуха, у меня маршрут через Москву. — Я уверяю вас, что не могу допустить посещения вами Москвы. — Каким образом сделаете вы это? — Он пожимает плечами и указывает мне на окно вагона. Смотрю, на станции масса полиции, жандармов. — Вы арестуете меня? — Да. — Ваши полномочия? — Я имею словесное приказание. — Ну, что ж? Вы, конечно, арестуете меня и без приказания, если вам вздумается.

но только будьте добры сообщить вашему начальству, что оно действует не умно, кроме того, что беззаконно. Тут меня, раба божия, взяли, отвели в толпе жандармов в пустой вагон второго класса, поставили к дверям его по два стража, со мной посадили офицера и отправили с нарочито оставленным поездом в г. Подольск, не завозя в Москву. Когда меня вели по станционному двору, какие-то люди, видимо, рабочие, кланялись мне, большая толпа народа стояла молча и угрюмо, видимо, недоумевая, что такое творится?

«Видите, — сказал я жандарму, — как вы содействуете росту моей популярности? Разве это в ваших интересах? Вы поступили бы гораздо умнее, если б дали мне орден или сделали губернатором, — это погубило бы меня в глазах публики». Он засмеялся и сказал: «Знаете, я тоже не считаю этого задержания остроумным». Жена в это время была отведена в трактир на Рогожской и там ожидала поезда в Москву. Сидя в трактире, она видела, как на Рогожскую пришла большая толпа демонстрантов с адресом и большим портретом Л. Толстого, презназначенным к подношению мне. Пошумев и узнав, что меня увезли куда-то, они возвратились в Москву, а вслед за тем со всех дворов высыпала масса полиции и последовала за ними. Обошлось, как и в Нижнем, без драк и арестов. Впрочем, в Нижнем 9 ноября арестована курсистка Богуш за то, что в театре, во время спектакля крикнула публике о моем задержании. 11-го в Нижнем, в театре же, была вновь маленькая манифестация. Шла пьеса Гауптмана «Перед восходом солнца». Когда Лот в разговоре с Еленой начал перечислять «несправедливости», с галерки кто-то закричал: «Несправедливо выслали Горького!» Раздались дружные аплодисменты — чему? Вообще, Нижний вел и ведет себя прекрасно. Ну, еду дальше. Везде на вокзалах масса жандармов и полиции. В Харькове мне предложили не выходить из вагона на вокзал. Я вышел. Вокзал пуст. Полиции — куча. Пред вокзалом большая толпа студентов и публики, полиция не пускает ее. Крик, шум, кого-то, говорят, арестовали. Поезд трогается. Час ночи, темно. И вдруг мы с Пятницким, стоя на площадке вагона, слышим над нами во тьме могучий, сочный, такой, знаешь, боевой рев. Оказывается, что железный мост, перекинутый через станционный двор, весь усыпан публикой, она кричит, махает шапками — это было хорошо, дружище! Мост высоко над поездом и крик был такой бурный, дружный, бодрый.

Все сие рассказывается тебе, товарищ, не ради возвеличения Горького в твоих глазах, а во свидетельство настроения, которым все более проникается лучшая часть русской публики. Будируют всюду и при всяком удобном случае, иногда даже смешно будируют. Одни

лишь бедняжки либералы чувствуют себя не важно. Скверно у них положение! От «эпохи великих реформ» с каждым днем понемножку отламывается, введение магистрата в Питере и Москве свидетельствует о серьезном намерении начальства окончательно облагодетельствовать Русь, и у либералов совершенно ускользает почва из-под ног. Охранять им нечего. Остается одно: или, примиряясь с фактами, отходить направо, или же — не мириться и итти налево. Быть же либералом уже невозможно, нет середины! Они, несчастные мечутся из стороны в сторону и говорят о необходимости конституции. (Есть слухи, что будто бы питерское начальство тоже бы не прочь дать плохонькую конституцию, но не видит, кому можно ее дать? И действительно, кроме Стаховича — некому). В ответ на их мечты и платонические желания им говорят: «Валяйте, просите!» А вы? А мы — посмотрим, что вам дадут. Вы, как будто, враждебно относитесь к нам? «Безразлично, ибо вы — бессильны. А когда вам дадут хоть 1/1000 конституции — вы схватитесь за этот призрак, станете консерваторами, усилите престиж начальства и будете нашими врагами».

Они этого не любят, злятся, топорщатся, и все сильнее растет их желание получить конституцию.

Более серьезно, чем либералы, заняты вопросом о «ней» старообрядцы. Пока они предлагают хлопотать об автономной церкви, с представителями в синоде. Некто из их числа написал любопытный проект о необходимости учреждения «министерства вероисповеданий» и устранения свят. синода. Вообще, в этой области творится очень много любопытного и даже такого, что уже совсем невероятно. Ты, впрочем, знаешь, что Русь-матушка привыкла издавна жить слухом, а не делом.

В Питере гг. Мережковский с женой, Розанов, Меньшиков, Скворцов — известный прохвост из миссионеров православия, редакт. «Миссионер. Обозрения», и наш друг Миролюбов затевают некое религиозное общество. Так как ты тоже однажды писал мне, что «без религии жить нельзя», то я считаю долгом товарища известить тебя о затее сей достопочтенной компании юродивых и жуликов, дабы ты, душечка, понял, кому именно без религии нельзя жить. Очень прошу тебя отметить в сердце твоем тот факт, что по нынешним дням склонность к религии сильно растет и что основателями религиозных обществ являются всегда либо прохвосты и мерзавцы, либо безличные, а то юродивые людишки. В Москве основано теософическое общество гг. Батюшковым и Философовым. Г. С. Петров

сотрудничает в сытинском «Русском Слове» под псевдонимом «Русский» и очень восхваляет «русское общество», основанное Грингмутом-Комаровым-Сувориным.

А. П. Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: «чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного». Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять-пятнадцать додерутся до конституции. Путь не быстрый, но единственно верный и прямой. Вообще, А. П. очень много говорит о конституции, и ты, зная его, разумеется, поймешь, о чем это свидетельствует. Вообще — знамения, все знамения, всюду знамения. Очень интересное время. Гора пыжится, топорщится — посмотрим, какова будет новорожденная мышь.

Познакомился с Бальмонтом. Дьявольски интересен и талантлив этот нейрастеник! Настраиваю его на демократический лад, ибо жить здесь скучно. Я очень проиграл, забравшись сюда. Нужно было ехать в Вятку, Вологду, Пермь, куда-нибудь в город. Здесь я пока чувствую себя не у дел, за штатом, что после довольно бурно прожитого лета утомительно и обидно. Пиши мне на Ялту доктору Леониду Валентиновичу Средину. Без передачи. Пришли Средину какую-нибудь (одну-две) хорошую фотографию Борнемауса, не наклеенную и небольшую. Ты повергнешь его этим в восторг, а мне облегчишь кое-что. Если тебе понадобятся деньги для себя — спроси у Пятницкого. А для других надобностей — я буду хлопотать.

До свидания, товарищ. Тороплюсь кончить, ибо уезжает она.

Твой друг верный».

Письмо меня разочаровало, но все же из него было видно, что Горький хочет поддерживать возобновленную «Жизнь» и собирается хлопотать о приискании для нее денег. Важны были не деньги, их было достаточно у Куклина; важно было непосредственное участие Горького, как писателя. Ждал от него сильного рассказа, созданного свободным порывом, и задерживал печатание первой книжки «Жизни». Но от Горького не приходило ни рукописей, ни денег, ни писем. Мы направили к нему нового делегата, которому я, между прочим, сообщил шифр для конспиративной переписки, взяв ключом фамилию шефа жандармов «Святополк-Мирский». Этого делегата Горький принял уже недружелюбно и в ответ на мое письмо, в котором я говорил о своих надеждах на революционную роль «Жизни», если одним из руководителей ее будет Горький, ответил письмом, написанным незнакомым мне, видимо, женским почерком и подписанным буквою А.

Письмо было написано в грубом тоне для того, чтобы отбить у меня охоту посылать новых делегатов и вообще напоминать о «Жизни».

«Ты, видимо, — писал Горький, — не получил моих писем или, получив, плохо читал. Но пререканиями заниматься некогда ни мне, ни тебе, я думаю. Героические слова тоже не советую говорить, теперь у нас обилие таких слов, они дешевы, а мне слушать их нет надобности, ибо они никогда ни в чем меня не убеждали. Вообще не горячись, будь попроще, похладнокровнее — этак-то больше сделаешь. Зачем нам с тобой фейерверки друг перед другом пущать?

Пойми: отсюда я тебе помогать не буду, к тебе поеду лишь тогда, когда окончательно потеряю возможность работать здесь. Вероятно, этого не долго ждать, к сожалению.

Мое искреннейшее убеждение можно выразить так: если бы в данный момент некто — Горький — был убит где-нибудь во время уличной драки, — этот факт был бы более полезен для так называемого русского общества, чем если бы тот же Горький задумал играть в Герцена, даже при условии успешного исполнения этой роли.

Ты над этим подумай. И пока, до поры до времени оставь меня делать мое дело, а сам делай свое, памятуя твердо, что и твоя, и моя дорога — обе к Риму ведут.

Возможно, что когда ты получишь это письмо, Льва Толстого уже не будет в живых. Первый раз еще в России умирает такой великий человек, как Лев Толстой, и умирает он в момент очень высокого подъема духа в русском обществе. Положение его, — Льва Толстого, — безнадежно. Безнадежно и положение русского самодержавия по словам сведущих лиц. Старик Ключевский, апологет Александра III [81], на-днях сказал: «поскольку я знаю русскую историю и историю вообще, я безошибочно могу сказать, что мы присутствуем при агонии самодержавия». Возможно, что старик ошибся, но не в этом дело.

Приезжал ко мне некто Л. Сказал, что от тебя. Я был с ним откровенен. Ты видишь — я везде откровенен и со всеми. Этот Л. сообщил мне о Свят.-Мирск. Напиши—правда? Живу я—бойко. Много вижу людей из разных мест. Пиши на жену и на другого доктора — помнишь?

В заключение должен сказать, что всей этой канители с перепиской между нами не было бы в том случае, если бы ты немножко раньше поговорил со мною о деле, которое затеял, и на первых порах твоей жизни в Борнемаусе не присылал бы печальных писем с заявлениями о твоем стремлении воротиться назад.

И как я тебя ни люблю, а должен сказать вот что: путаник ты, брат! До свидания. А».

И другие ближайшие сотрудники подцензурной «Жизни» ограничились туманными обещаниями, но никакой поддержки «Жизни» не оказали. Если бы я предвидел это раньше, то вероятно, не стал бы возобновлять «Жизнь», но теперь отступать было уже поздно.

С тех пор прошло двадцать шесть лет. Можно беспристрастно оценить эту первую и последнюю попытку перенести на вольный заграничный станок журнал, «совершенно прекращенный» русским правительством.

Думаю, что раскаиваться в этой попытке мне не приходится. С признательностью вспоминаю всех своих товарищей по свободной «Жизни», в особенности тех, которые, как М. С. Ермолаев, Весман, Г. Пунга, И. И. Сергеев и А. А. Сац, рисковали при этом своею свободой.

## XIX

## ОСВОБОЖДЕННАЯ «ЖИЗНЬ» (1902 г.)

Гусев-Оренбургский. — Воззвание «Жизни». — Отклик из тюрьмы. — Возмущение литераторов. — Бебель о Бернштейне. — Пролетариат и армия.— Удар по столпам либеральной печати.—Удар по франко-русскому союзу.— Предательство Мильерана. — Убийство Сипягина. — Задачи свободной школы. — Бонч-Бруевич о революционном значении сектантства. — Наш нейтралитет. — Отношение к заграничной «Жизни» Ленина и Плеханова. — Листки «Жизни». — Автор русского «Интернационала» и «Пролетарской Марсельезы». — Национальные революционные партии. — Вандервельде и Роза Люксембург. — А. И. Шингарев о революционной роли крестьянства. — Мой ответ Шингареву. — Пролетарий и крестьянин. — Струве и его «умеренные отцы». — «Константин, принц русский». — Программа «Жизни». — Письмо Фридриха Лесснера.

Социал-демократическая организация «Жизнь» образовалась в конце 1901 года, первая же книжка «Жизни» вышла лишь в апреле 1902 года. Печатание ее задерживалось, главным образом, из-за ожидания рукописей из России. Ожидание было тщетное. К первой книжке пришли только стихотворения Галиной, из которых подходящим для революционного журнала я счел лишь одно: «Богатство мое, дорогая свобода!» Оно напечатано под псевдонимом «Л. Шустова».

После выхода первой книжки прислал небольшой рассказ «Вечер» К. С. Баранцевич, но я долго не решался его печатать, так как жена Баранцевича прислала мне слезное послание, прося не помещать этого рассказа, чтобы не погубить ее семью. В конце концов, снесшись

еще раз с Баранцевичем, я напечатал этот рассказ в шестой книжке «Жизни», поставив под ним инициалы «К. Б.».

Лично в «Жизнь» передал рассказ из жизни духовенства С. И. Гусев-Оренбургский, приезжавший вместе со своим другом А. И. Матовым в Париж весною 1902 года. С Гусевым-Оренбургским я познакомился в ноябре 1898 года, когда я сделался фактическим редактором «Жизни».

Пришел в редакцию захудалый провинциальный попик в потертой рясе с заурядным лицом, сильно изрытым оспой, и робко попросил поскорее просмотреть небольшую рукопись и в случае принятия ее дать небольшой аванс. Видно было, что он сильно нуждался и даже, может быть, голодал. В рассказе описывались мытарства бездомного и голодного провинциала в столице.

Рассказ я принял и выдал Гусеву тридцать рублей авансом, что его страшно обрадовало. Кажется уже тогда Гусев подал заявление о снятии с него иерейского сана. Но без рясы я впервые его увидел в Париже в редакции освобожденной «Жизни».

В подцензурной «Жизни» было напечатано, кажется, только два очерка Гусева-Оренбургского. Он держался в стороне, вероятно, вследствие враждебных отношений с Горьким. У них были какие-то старые самарские счеты и, помнится, Горький упрекал Гусева в том, что он спекулирует на смешении себя с известным публицистом С. Гусевым (С. Глаголем). Гусев, парируя это обвинение, стал прибавлять к своей фамилии приставку «Оренбургский» и в конце концов сделался гораздо более известным, чем С. Гусев (Глаголь). С Горьким они впоследствии помирились.

В свободной «Жизни» Гусев свой очерк «Спорное дело» подписал псевдонимом С. Лебедев.

Стихотворение Галиной и два очерка Баранцевича и Гусева — вот все, что дал цвет русской поэзии и беллетристики, группировавшийся вокруг подцензурной «Жизни», — «Жизни», от цензуры освобожденной.

Большие надежды мы возлагали на воззвание к сотрудникам и подписчикам «Жизни», выпущенное нашей организацией в феврале 1902 года и довольно успешно распространенное в России. Воззвание это, являвшееся в то же время и политической программой нашей организации, было по поручению товарищей написано мной и ими единодушно одобрено.

Воззванием начиналось торжествующим заявлением, что «директор департамента полиции Зволянский и руководимые ими министры

Сипягин, Победоносцев, Муравьев и Ванновский не убили «Жизни», а, напротив, освободили ее».

«Такова ирония судьбы, в скрижали которой огромными, для самых близоруких глаз видными буквами вписана свобода слова, свобода мысли и совести, во всем мире, не исключая России».

Затем шло выражение уверенности, что «все наши товарищи, все наши братья-писатели, все наши друзья-читатели, все понявшие и признавшие идеи, которым служит «Жизнь» и которые, увы, мерцали так слабо сквозь ее подцензурность, вместе с нами вздохнут теперь свободно и воскликнут: «Наконец-то! Давно пора выйти из атмосферы подцензурного разврата, растлевающего мысль и совесть как писателя, так и читателя».

Подцензурному разврату отчасти приписывался даже кризис русского марксизма.

«При большой свободе слова «марксисты» вместо того, чтобы нападать на основы теории Маркса, занялись бы выяснением насущных нужд русского народа, в частности вопросом о положении трудящихся масс».

Указывалось, что цензура развращает не только публицистов, но и писателей-художников, беллетристов и поэтов.

«Для литературного художника должно быть нестерпимо творить применительно к полицейской цензуре, между тем большинство наших беллетристов при выборе тем, художественных образов, даже способов выражения, считаются прежде всего с цензурными условиями и «творят» не то, что нужно, не то, что бурлит и клокочет в родниках жизни, а то, что дозволено цензурой. Не позорно ли отдавать в распоряжение сыщиков не только свои произведения, но и свои мысли, свои чувства, свое художественное вдохновение?!»

Говоря о задачах, которые ставит себе освобожденная «Жизнь», воззвание указывает, что они определяются с одной стороны признанием основных положений международной социал-демократии, с другой — историческим моментом, переживаемым современной Россией.

«Как социал-демократы, мы стремимся к замене существующего капиталистического строя строем коммунистическим, основой которого является обобществление орудий производства.

Мы считаем эту замену неизбежно вытекающей из развития мирового хозяйства. Только социалистический строй, думаем мы, может устранить основное зло культурного человечества — угнетение человека человеком — и установить истинное равенство в смысле равной для всех возможности свободного и гармоничного развития

человеческой личности. Замена капиталистического строя насилия и угнетения социалистическим строем равенства и солидарности может быть совершена лишь на международной почве трудящеюся и неимущею массой, солидарной, сорганизованной и проникнутой сознанием своих классовых интересов, совпадающих с высшими интересами всего человечества.

Организация трудящихся и неимущих масс возможна лишь при политической свободе, не совместимой с самодержавно-бюрократическим правлением.

Предварительным условием замены капиталистического строя социалистическим мы считаем установление правления демократического, при котором носителем державной воли является сам народ.

Переходя к современному положению России, мы видим прежде всего, что русский самодержавно-бюрократический строй является самой существенной помехой для организации русского рабочего класса и самой серьезной угрозой всемирному социал-демократическому движению.

В то же время мы верим, что момент крушения этого строя близок, что устои его шатаются. Против него растет недовольство во всех слоях русского народа, при чем пролетарии-рабочие и пролетарии-интеллигенты проявляют это недовольство активно. Против него сгущаются также тучи на окраинах, среди угнетаемых народностей.

Утверждая, что запрещенное слово падает на весы истории тяжелее слова разрешенного, и что оно в настоящее время является для России самым целесообразным орудием революционной борьбы, участники свободной «Жизни» выражали уверенность, что скоро грянет буря и им представится возможность вступить в ряды борцов, проливающих свою кровь за освобождение родины и человечества.

Воззвание заканчивалось последними строфами «Буревестника» Горького.

Наше воззвание проникло в царские тюрьмы и вызвало ликование политических заключенных.

«Если бы вы знали, — писал мне впоследствии один из них, — с каким восторгом приветствовали прошлой весной заключенные в С.-Петербургской пересыльной тюрьме листок-проспект «Жизни», дошедшей до них в каменные норы. Возрождающаяся «Жизнь» была для них символом широкого роста движения, для которого отдали они свою свободу».

Попало воззвание и в руки русских властей и вызвало их злобное возмущение.

— Этого Поссе повесить мало, — говорил Н. П. Дурново одному из знакомых М. С. Ермолаева.

Совсем иначе, но, может быть, еще сильнее воззванием были возмущены руководители и сотрудники легальных журналов и газет. Нападки на подцензурный разврат были приняты ими, как неслыханное оскорбление. Мне передавали, что особенно негодовал Н. К. Михайловский. Возмущались и многие из бывших сотрудников «Жизни».

Так что еще до выхода первой книжки освобожденной «Жизни» в литературных кругах ей был объявлен бойкот.

Перечитывая теперь наше воззвание, я должен сознаться, что его резкие нападки на всю легальную печать были и бестактны, и несправедливы. Они ведь били и по «Новому Слову», и по легальной «Жизни», а культурное и революционное значение этих двух органов не подлежит сомнению.

Первая книжка заграничной «Жизни» была очень толстой (510 страниц), очень содержательной, очень разнообразной, строго выдержанной в смысле направления, но для нелегального журнала, читаемого тайком, наспех, слишком тяжеловесная.

За неимением русской беллетристики, мы поместили перевод драмы Гауптмана «Ткачи». Предварительно я написал Гауптману письмо с просьбой разрешить помещение в «Жизни» перевода его драмы.

Он ответил любезным согласием и, между прочим, просил передать Горькому свой искренний привет.

Как программную статью мы поместили переведенную мною речь Бебеля о Бернштейне на ганноверском партейтаге. По поводу помещения этой речи я списывался с Бебелем, и он не только охотно согласился на ее помещение, но и прислал по моей просьбе свой портрет с автографом.

Речь эта — блестящий и популярный ответ на бернштенианскую критику марксизма. Она может служить прекрасным введением к изучению революционного учения Маркса и мне не жаль было отдать для нее шестьдесят восемь страниц журнала.

Очень ценной была статья известного французского синдикалиста Лагарделя «Пролетариат и армия». Статья эта была написана им специально для «Жизни». Лагардель в этой статье сообщил много интересного и поучительного о способах антимилитаристической пропаганды во французских войсках.

С Лагарделем меня познакомил Х. Г. Раковский (Инсаров), очень сочувственно относившийся к «Жизни» и старавшийся привлечь к сотрудничеству в ней иностранных социалистов.

Внутреннее обозрение написал В. Я. Муринов, и написал блестяще. Оказалось, что в бездарном беллетристе скрывается талантливый публицист. Но это обозрение, резко высмеивающее либеральную половинчатость, подлило масла в огонь озлобления легальных литераторов, огонь, зажженный уже нашим «воззванием». Муринов ударил не только по земцам, не смеющим громко произнести слово «конституция», но и по таким столпам либеральной печати, как «Вестник Европы», «Русские Ведомости» и «Русская Мысль». Он их не называл, но образованный читатель легко узнавал «Вестник Европы» в той машине, которая аккуратно каждое первое число «вытягивала наружу свое жерло, ставило его так, чтобы видно было и правительству, и частной публике, что почище, — и выбрасывала свою «законность». Не трудно было узнать и «Русские Ведомости» в чистеньком, полированном старом учителе танцев в каком-нибудь женском благородном пансионе.

Иностранное обозрение было написано мною. В нем я прежде всего ударял по франко-русскому союзу, что было вполне своевременно, так как в то время газеты были переполнены сообщениями и статьями о визитах президента французской республики Лубэ в Петергоф, а Николая II в Компьен.

Рассказывая историю этого «дикого и несчастного союза», выясняя его реакционный характер, я называл Николая II тапером, который по нотам композитора Витте барабанит канкан, бешено откалываемый истеричной Францией. Оживлению способствует веселый хор французской печати, которой Витте бросает гроши из денег истеричной танцовщицы.

Говоря о франко-русском союзе, я попутно рассказал историю предательства Мильерана, этого первого министра-социалиста, который когда-то горячо защищал русских террористов, а сев в министерское кресло, с поклоном принял орден Белого Орла от русского царя.

В «Шутках русской жизни», помещенных мною в той же апрельской книжке, я путем целого ряда политических анекдотов высмеивал самодержавие и бюрократию.

В тот момент, когда я, сидя в нашей типографии в Лондоне на Блайт-Вэле, подписывал к печати последний лист первой книжки освобожденной «Жизни», пробежавший мимо окон мальчик - газетчик выкрикнул сенсационное известие об убийстве русского министра Сипягина, который одному из влиятельных друзей легальной «Жизни» выкрикнул:

— Не хочу ничего больше слышать об этой «Жизни», вокруг которой собралась банда злоумышленников. Она должна быть закрыта навсегда!

— Можно набрать и вверстать еще две страницы? — спросил я Буркота. — Важно, чтобы первый номер вышел с нашей оценкой убийства Сипягина.

Буркот кивнул головой, и я быстро набросал небольшую статью.

«Мы не сторонники политических убийств, — писал я. — Мы верим лишь в массовое движение сознательного пролетариата. Отдельным революционным поступкам мы не придаем большого значения, но мы понимаем их и преклоняемся перед героизмом совершающих их.

Выстрелы, убившие вчера Сипягина, были неизбежным следствием его низкой и зверской тактики в борьбе с непобедимым стремлением всех сознательных элементов русского народа к политической свободе. Полиция, направляемая глупым министром-полицейским, нанесла за последние два года столько тяжких оскорблений чутким и нервным натурам, что было бы странно, если бы не нашлось людей, неспособных оставить эти оскорбления без ответа.

Были люди, которые под влиянием полицейских издевательств, кончали свою жизнь самоубийством. Понятно, должны быть и люди, люди с более естественной и жизненной натурой, разрешающие свое невыносимое душевное состояние выстрелами в главных виновников массового оскорбления.

Для русского освободительного движения, специально для движения пролетарского, устранение Сипягина имеет мало значения. Его заместителем, надо думать, будет человек более умный и способный, так как вряд ли можно найти министра столь же тупого, как был убитый; но и этому новому министру-полицейскому не удастся, разумеется, остановить колесо истории, приближающее Россию вместе со всем остальным человечеством к свободе и социализму.

В событии 2 (15) апреля, кроме устранения Сипягина, есть еще другая более важная сторона, а именно — геройская смелость и решительность одного из русских людей. Она, как и геройская смелость Карповича, временно может усилить русское революционное настроение, хотя и не может изменить соотношения общественных сил и хода исторического развития. В правительственных кругах удавшееся покушение на главного полицейского вызовет, вероятно, некоторое смущение, но и там вряд ли будут жалеть этого тупого человека тактика которого была опасна не только для него самого, но и для других министров (полицейского просвещения, полицейского синода, полицейского суда и пр.)».

Упомянув далее о злобном отношении Сипягина к «Жизни», я писал:

«Смерть как раз во-время избавила его от неприятности узнать, что ненавистная ему «Жизнь» не умерла, а освободилась.

Смерть избавила его еще от больших неприятностей, которые готовила ему великая жизнь, жизнь без ковычек.

Эта жизнь чревата миллионами неприятностей для всех русских министров и поддерживающих их капиталистов.

Да здравствует эта жизнь, с ее благою вестью для всех трудящихся и неимущих, жизнь, непрерывно идущая вперед к общечеловеческому счастью, да здравствует жизнь с ее борьбой, ее героизмом, ее освежающими страданиями во имя свободы и любви!»

Вопросу воспитания и образования была посвящена моя статья «Свободная школа». Написана она была по поводу помещенного в той же книжке «воззвания матерей-эмигранток» об устройстве за границей школы для детей русских эмигрантов. Сочувственно относясь к этой мысли, я старался выяснить основы свободного воспитания и образования.

«Свободная школа, — писал я, — должна с одной стороны научить наблюдать и осмысленно (мозгами) читать и писать, то-есть дать основу для свободного мышления, в чем главная задача образования, с другой стороны развить работоспособность и помочь выработке самообладания и вообще сильного характера, в чем главная задача воспитания.

В свободной школе «преподаватели» заменяются друзьями-руководителями, уроки — беседами, совместным чтением, прогулками, экскурсиями, обозрением музеев, ботанических и зоологических садов, заводов, ферм и т. п.

Учебники вытесняются произведениями русских и иностранных писателей и ученых.

Классы из душных комнат переносятся в поля, леса, горы, сады и музеи.

Каникулы — это единственное спасение при казенной системе — становятся совершенно ненужными, так как в свободной школе нет места ни переутомлению, ни отвращению к занятиям. Об отметках и всевозможных поощрениях, этих детских орденах, не может быть и речи. Известная дисциплина — необходима, но в основание ее должно быть положено не наказание, а взаимное уважение и любовь».

Излагая программу занятий, я указывал, что необходимо стремиться к соединению между собой различных отраслей знания.

избегая деления на «предметы». Другими словами я высказывался за то, что впоследствии стало называться комплексным методом.

В. Д. Бонч-Бруевич поместил в первой книжке начало своих воспоминаний о пребывании в закрытом учебном заведении, где не столько обучали, сколько растлевали. Кроме того, он поместил большую статью по своей специальности о значении сектантства для современной России.

Бонч придавал большое значение сектантским общинам и организациям в деле революционизирования крестьянства. Он надеялся через сектантские организации создать «крестьянские союзы, объединенные ненавистью к современному порядку вещей, объединенные жаждой воли и полной земельной независимости от государства и помещиков». Он надеялся, что нелегальная социалистическая литература «претворит в умах крестьян - сектантов коммунистические идеи, унаследованные ими из смысла всей христианской морали, — в чисто широконародные социал-демократические убеждения».

Я не разделял сектантских увлечений Бонча, не верил в претворение унаследованной христианской морали в социал-демократические убеждения, почему-то именуемые «чисто широконародными», но я не хотел из-за этого создавать конфликта и предоставлял Бончу без всякой помехи высказывать свои взгляды, отстаивая то же право и для себя.

Много места в первой книжке было отведено хроникам революционного движения.

И. И. Сергеев дал исчерпывающие сведения о пострадавших в революционной борьбе, начиная с 1900 года.

Пунга написал хронику латышского революционного движения с 1897 года по 1902 год. Представитель П. П. С., скрывшийся под буквами «Рж», нарисовал картину борьбы польского пролетариата во всех частях разорванной Польши.

Хронику рабочих волнений и стачек мы поручили вести Г. А. Куклину. Он добросовестно собрал фактические данные о рабочем движении, начиная с 1896 года, но связно изложить эти данные он оказался не в состоянии. Мне пришлось переделать его хронику с начала до конца, против чего он, надо отдать ему справедливость, не протестовал.

В редакционном заявлении, которое дополняло воззвание или проект-программу «Жизни», упоминалось о нашем союзе с заграничными представителями латышских социал-демократов и с заграничным представительством польской социалистической партии,

указывалось на товарищеское отношение еврейского Бунда. Упоминалось об установившейся связи с социалистами Англии, Франции и Германии, в особенности с синдикалистской группой «Le Mouvement socialiste» (социалистическое движение).

Сообщалось также, что с двумя большими заграничными группами Российской Социал-Демократической Партии «Рабочим Делом» и лигой «Искры», «Зари» и «Социал-демократа» мы пока не пытались устанавливать никакой связи.

«Мы перенесли, — писал я от имени редакции «Жизни», — наш журнал за границу в момент обострившихся несогласий между этими группами, из которых каждая, по нашему мнению, имеет свои заслуги в борьбе за освобождение рабочего класса. Мы не беремся быть судьями их спора, мы готовы товарищески протянуть руку обеим сторонам в уверенности, что великое дело освобождения трудящихся масс от буржуазно-капиталистического ига должно в конце концов объединить всех искренних борцов его».

Это заявление о нашем нейтралитете чрезвычайно не понравилось Плеханову, и он даже собирался нас за это «наказать».

Ленин относился к заграничной «Жизни» не только терпимо, но даже сочувственно. Он, видимо, собирался написать положительный отзыв о «Жизни» после выхода нескольких ее книжек и листков, но его остановил Плеханов.

В третьем ленинском сборнике напечатано письмо Плеханова к Ленину, датированное 6 августа 1902 года.

«...«Жизнь», — писал Плеханов, — на каждой почти странице говорит о Христе и о религии. Я собираюсь обозвать ее в какой-нибудь заметке органом христианского социализма. Это будет зло, но справедливо. Врагов у нас, точно, много. Но щадить христианское ханжество невозможно: «религия — опиум народа», говорит Маркс. Вообще я очень прошу вас не писать благосклонно о «Жизни»: или третировать их, как христианских социалистов, или вовсе игнорировать, другого ничего нельзя придумать.

Вы забыли, что они игнорировали нас по случаю нашей ссоры с «Рабочим делом» и осмелились печатно заявить об этом игнорировании. За это они должны быть наказаны»...

Раздражение удивительным образом исказило зрение Плеханова, и он видел на страницах «Жизни» то, чего там совсем не было. За все время существования «Жизни» в ней не было ни одной статьи, ни одной заметки, написанной с христианской или вообще религиозной точки зрения. Христос упоминался лишь в цитате из известной сказки Щедрина «Христова ночь», которой я воспользовался, чтобы

заклеймить предательство Мильерана, да в некоторых выдержках из сектантских заявлений, которыми Бонч пользовался в своих статьях о сектантстве. Конечно, Бонч излишне увлекался революционностью сектантства, но во всяком случае он его оценивал не с религиозной, а с социал-демократической точки зрения. Кстати, Бонч, единственный из сотрудников «Жизни», касавшийся вопроса о религии, пользовался большим расположением Плеханова и был по его рекомендации принят в заграничную лигу социал-демократов. Бончу же группой Плеханова было поручено после закрытия «Жизни» редактировать социал-демократический журнал «Среди сектантов».

Называть «Жизнь» органом христианских социалистов и обвинять ее редакцию в ханжестве было бы так же нелепо, как называть «Искру» органом православного духовенства на том основании, что редакция «Искры» с удовольствием и без всяких возражений напечатала письмо какого-то православного священника, который утверждал, что «ваша программа» (то-есть программа «Искры» и «Зари») вполне соответствует духу православной церкви».

Ленин удерживал своих товарищей по редакции от нападок на «Жизнь». Это видно из письма к нему Потресова от 26 мая 1902 года:

«Вы правы, — писал Потресов Ленину, — что лучше пока не задевать «Жизнь», как это ни соблазнительно. Надо вообще обнаружить сугубую кротость, чтобы стать regierungsfähig»...

После закрытия «Жизни» в письме к Плеханову от 28 января 1903 года Ленин, советуя взять с Куклина контрибуцию в 10.000 рублей за то, что «Искра» не ругала «Жизнь», замечает в скобках:

«Не напрасно я ее защищал ее легкомыслием».

Обвинение в легкомыслии справедливо. Легкомысленно было с крайней резкостью обрушиваться на всю легальную оппозицию, на земцев, на либеральную радикальную печать, легкомысленно было возлагать огромные надежды на революционность сектантов, легкомысленно было устраивать редакцию в Париже, а типографию в Лондоне, а затем по личным соображениям некоторых членов организации переносить и редакцию, и типографию в Женеву и т. д.

Кроме журнала, наша организация выпускала «Листки Жизни», в том числе большой иллюстрированный номер, посвященный 1-му мая. В этом номере приняли участие своими товарищескими приветствиями иностранные социалисты: Август Бебель, Карл Каутский, Энрико Ферри и Гюберт Лагардель.

В «Листках Жизни» впервые был напечатан тот перевод «Интернационала», который сделался официальным гимном и который вот

уж десять лет распевается миллионами советских граждан. Принес мне его юный еврей, маленький, черненький, скромный и застенчивый. Не помню, назвал ли он мне свою фамилию, во всяком случае она не сохранилась в моей памяти. Кроме «Интернационала», он еще принес «Пролетарскую Марсельезу». «Интернационал» был очень свободным переводом французского текста, а «Пролетарская Марсельеза» была самостоятельным творчеством, но написана была так, что могла исполняться под музыку французского гимна.

Юноша очень обрадовался, когда я обещал напечатать его «Песни», не заикнулся о гонораре и не выбрал для подписи их никакого псевдонима. Больше я его не встречал. Жив ли он и знает ли, какая высокая честь выпала на долю его творчества? [82]

Прежде, чем напечатать «Интернационал» и «Пролетарскую Марсельезу», я показал их Петру Алексеевичу Кропоткину. «Интернационал» ему понравился, но мы вместе сожалели, что в припеве опущены слова французского текста «grouppons nous» (объединимся»). Французский припев «Интернационала» выразительнее припева русского:

C'est la lutte finale,
Grouppons nous
Et l'Internationale
Sera le gens humain

(это есть последний бой, объединимся, и станет Интернационалом род людской).

Следовало внести соответствующие исправления, но мне не хотелось этого делать без автора, а автор больше не появлялся.

«Пролетарская Марсельеза» Кропоткину не понравилась, но мне она казалась и кажется до сих пор написанной очень сильно и выдержанно. Кропоткину, она, вероятно, инстинктивно не понравилась, потому что в ней ярко сказывается марксизм и почти буквально приводятся лозунги Манифеста Коммунистической Партии.

... Силен наш враг, буржуазия!
Но вслед за ней, на грозный суд,
Как беспощадная стихия,
Ее могильщики идут...
Она сама рукой беспечной
Кует тот меч, которым мы,
Низвергнув власть позорной тьмы,
Проложим путь к свободе вечной!
Пролетарии всех стран,
Соединяйтесь в дружный стан!..
. . . . . . . . . . .

...Не устрашит нас бой суровый:
Нарушив ваш кровавый пир,
Мы потеряем лишь... оковы,
Но завоюем — целый мир!..

Всех «Листков Жизни», не считая майского, мы выпустили двенадцать, книжек «Жизни» — шесть и, кроме того, двадцать брошюр под общим названием «Библиотека Жизни». Таков был вклад в революционную литературу нашей организации, просуществовавшей всего только год. По количеству печатного материала мы дали больше, чем другие революционные организации, существовавшие несравненно дольше. Что касается качества, то, мне кажется, теперь, через двадцать шесть лет, я могу быть судьей беспристрастным. В «Жизни» были страницы слабые, лишние, но были страницы яркие, нужные и не потерявшие своей ценности до сих пор. Не было ни одной страницы, за которую мне, как редактору «Жизни», пришлось бы краснеть.

Во второй книжке «Жизни» был помещен ряд статей о борьбе с русским самодержавием различных народностей, придавленных русской империей. Статья о «Бунде» была написана членом его заграничного комитета, статья об «Эволюции политических настроений польского общества» Плохоцким, о Финляндии — Погореловой, о латышском революционном движении — Пунгой. Международное революционное движение освещалось статьями немецкого социал-демократа Манфреда Виттиха и Эмиля Вандервельде.

Вандервельде дал одностороннюю оценку всеобщей политической стачки в Бельгии. Мне в иностранном обозрении пришлось тоже подробно остановиться на этой исторической стачке, и я примкнул к ее оценке Розой Люксембург, а не Вандервельде. Вандервельде уже тогда находился под сильным влиянием бельгийской буржуазии и его тянуло к союзу с либералами, а между тем будущее рабочего движения в Бельгии, как справедливо замечала Роза Люксембург, в значительной степени зависело от того, насколько бельгийские социалисты сумеют освободиться «от удушающих объятий либерализма».

Муринов во втором «внутреннем обозрении», написанном не хуже первого, обстоятельно выяснил те внутренние силы, которые делали крушение самодержавия неминуемым в недалеком времени.

Написал он так убедительно, что, я думаю, у многих сторонников самодержавия, читавших его обозрение, прошел холодок по спине.

Верную оценку дал Муринов крестьянским волнениям, происходившим в марте и апреле 1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях.

Крестьянскому вопросу во второй книжке посвящена была чрезвычайно интересная статья Андрея Ивановича Шингарева, будущего

министра временного правительства, министра, несомненно, самого дельного и самого честного.

Шингарев приезжал весной 1902 года в Париж, где мы и познакомились с ним. В то время это был молодой, живой врач-общественник, много работавший в деревне и хорошо знавший ее нужды. По своим политическим убеждениям он был тогда близок к социал-демократам. Первая книжка освобожденной «Жизни» ему очень понравилась и он полагал, что его взгляды на крестьянский вопрос совпадают с взглядами редакции. Статья его называлась «Русский социал-демократизм и крестьянство» и подписана была «Голос из деревни».

Я охотно поместил статью Шингарева, но счел необходимым в той же книжке «Жизни» напечатать и свою заметку о революционной роли крестьянства, так как мысли, высказанные Шингаревым, казались мне недостаточно «марксистскими» и потому не совсем правильными. Моя заметка была одновременно ответом и Бонч-Бруевичу, который, по моему мнению, излишне увлекался революционностью крестьян-сектантов.

В ней я предлагал не преувеличивать значение «деревни», не преувеличивать и значение самодержавия, которое, как неуклюжая машина, неспособная справляться со все осложняющейся русскою жизнью, может рухнуть и без перетасовки земельной собственности.

Из статей по рабочему вопросу наиболее ценной во второй книжке «Жизни» была статья «Полицейский социализм и социал-демократия», в которой давался верный и обстоятельный анализ так называемой зубатовщины.

Вторая книжка «Жизни» охватывала и освещала революционное движение так же всесторонне, как и первая, но, к сожалению, была и так же громоздка.

Из статей в последующих книжках «Жизни» особенно ценен был очерк петербургского рабочего движения девяностых годов, написанный по личным воспоминаниям одним из деятелей Союза Борьбы за освобождение рабочего класса, редактором нелегальной «Рабочей Мысли» К. Тахтаревым, подписавшимся псевдонимом «Петербуржец». Чрезвычайно интересна была и напечатанная в третьей книжке статья Д. В. Соскиса (Сатурина) — «Экономическая политика г-на Витте и революционные задачи дня». Статью эту мне пришлось сопроводить обширным редакционным примечанием, так как Соскис не ограничился мастерским анализом финансовой политики Витте, но и пытался дать оценку революционным силам, борющимся с самодержавием. Силы самодержавия он чрезмерно преувеличивал, а силу революционеров

чрезмерно уменьшал. Почти с отчаянием он заявлял, что «после шести лет рабочего движения и двух лет политических демонстраций приходится констатировать, как это ни тяжело, что устои самодержавия все еще не расшатаны, что жизненные ресурсы его все еще колоссальны».

На это я отвечал:

«Шесть лет движения, два года демонстраций! Ведь для истории это — совершенно ничтожный период времени; другое дело, если бы мы не могли указать никаких ни внутренних, ни внешних успехов после шестидесяти лет движения и двадцати лет демонстраций. Сильной немецкой социал-демократической партии потребовалось целых двенадцать лет, чтобы справиться с исключительным законом, а мы приходим в отчаянье, не сломив самодержавия после шести лет «движения». По нашему времени, для такого ничтожного времени успехи русской социал-демократии, успехи, правда, не столько внешние, сколько внутренние, поразительны, прямо необычайны. Россия покрылась сетью социал-демократических кружков и организаций, социал-демократическая нелегальная литература расцвела и распространяется в огромном количестве экземпляров, в требованиях рабочих, при учащающихся стачках, чувствуется быстрый рост классового сознания и т. д. и т. д.».

Террористические акты Соскис считал показателями отчаяния и слабости, а я в них видел повышенную чувствительность к оскорблениям у представителей интеллигентного и рабочего пролетариата Я указывал в то же время на необычайную популярность террористических актов, что, по-моему, доказывало рост революционного настроения. Единственное спасение для революционного движения Соскис усматривал в крестьянских бунтах. Про социал-демократов, к которым он причислял и себя, Соскис говорил, что они остановились на распутьи со словами заклинаний против террора и с пустой программой в руках, а в стороне от них делает настоящую революцию мужик. Вот почему революционной задачей дня он считал пропаганду и агитацию среди крестьянства.

«Мы, конечно, — писал я в радакционном примечании, — стоим за пропаганду и агитацию среди крестьян, когда она ведется толково, с разъяснением наших социал-демократических убеждений д о  к о н ц а, когда она стремится р е в о л ю ц и о н и з и р о в а т ь  г о л о в ы  к р е с т ь я н, а не побуждать их к «бунтам», но нет оснований выдвигать эту деревенскую пропаганду и агитацию на первый план. Главной революционной задачей дня является пропаганда и агитация среди промышленного и интеллигентного пролетариата,

а также среди войск. Для успешности этой пропаганды и агитации социал-демократам очень важна единая организация, единая программа, единая тактика, но, конечно, создание этого «единства» требует еще серьезной и обдуманной работы; поспешность может только повредить.

При современных русских условиях, когда наш главный враг — господствующие классы — заслонен самодержавным городовым, надо особенно опасаться смягчать классовую точку зрения. Только твердо стоя на пролетарской точке зрения и решительно отказываясь от каких бы то ни было сделок с буржуазией, мы можем добиться в момент неизбежного падения самодержавия существенных улучшений для трудящихся масс. Чем яснее в этот момент будет классовое сознание пролетариата, тем лучше.

Социал-демократам всегда следует помнить известный текст: «Вы куплены дорогою ценою: не делайтесь рабами человеков», при чем слово «человеков» следует, конечно, заменить словом «мещан» или более модным «умеренных отцов».

Выражение «умеренные отцы» я заимствовал из первого номера газеты Струве «Освобождение», который вышел незадолго до третьей книжки «Жизни». Струве выступил от имени «умеренных отцов» с либеральной программой [83]. Я хотел написать обстоятельную критическую статью об эволюции Струве и его «Освобождении», которое, как мне казалось, не хотело раскрепощения рабочего класса, но тут я натолкнулся на сопротивление Муринова, который считал необходимым дружественный нейтралитет по отношению к Струве. Надо заметить, что Струве перед выходом первого номера «Освобождения» пытался вступить в переговоры с редакцией «Жизни», но я от всяких переговоров уклонился, считая их совершенно бесполезными. Муринова тянуло к Струве, но он вынужден был тоже отказаться от этих переговоров, так как против Струве было большинство нашей организации.

В вопросе о полемической статье против Струве пришлось уступить мне, но перед этим мы обменялись с Муриновым (я находился в то время в Англии, а Муринов — в Париже) очень резкими письмами, которые чуть не повели к разрыву. Струве и «Освобождение» я оставил в покое, но «умеренных отцов» и вообще либеральную оппозицию высмеял в «Шутках русской жизни», которые я помещал в каждой книжке нашего журнала.

Пародируя некоторые сцены из шекспировского «Гамлета», я написал драматическую шутку с волшебными превращениями, под названием «Константин, принц русский».

В этой шутке я предугадал смерть Плеве от бомбы Сазонова. Случайно, я предугадал даже, что взрыв растреплет все тело министра, и около разбитой кареты, как впоследствии сообщалось в иностраных газетах, лежали лохмотья парадного мундира и многочисленные звезды и ордена. Предугадал я, что в конце концов вместе с царем низвергнута будет и оппозиция, а Конституцию совсем иную, чем ожидали «умеренные отцы», возьмет за руку строгая Свобода под революционное пение рабочих.

Эта шутка в свое время нравилась многим из тех, мнением которых я очень дорожил, в особенности моему другу и товарищу по редакции Ф. Розину. С мнением Розина я очень считался при составлении проекта программы российской социал-демократической рабочей партии, который, после одобрения его всей нашей организацией, был напечатан в четвертой книжке «Жизни».

В четвертой книжке «Жизни» мы поместили не только наш проект социал-демократической программы, но и проект, выработанный «Зарей» и «Искрой» [84]. Этим мы хотели облегчить товарищам критическое отношение к нашему проекту.

Теоретическая часть программы «Жизни» была почти вдвое короче теоретической части программы «Зари» и «Искры». Это объясняется не упущением тех или других положений исторического материализма, а чрезвычайно сжатым стилем нашей программы.

Я думал и думаю до сих пор, что каждый член партии должен наизусть знать партийную программу, поэтому в ней не должно быть ни одного лишнего слова.

При составлении программы я имел в виду прежде всего, что она должна быть программой сознательных деятелей. Пролетарий в ней является сначала объективным мыслителем, наблюдающим весь ход общественного развития, в котором прошлое, настоящее и вытекающее отсюда будущее истории его собственного класса является наиболее важным звеном в общей практической цели. Этой объективной мысли соответствует теоретическая часть программы. Здесь все должно быть совершенно объективно, здесь нет места пожеланиям, здесь должны быть лишь подчеркнуты те явления в ходе общественного развития, которые характеризуют историческую роль пролетариата; но и сам пролетариат и его партия выступают здесь, как явления наблюдаемые.

В практической части программы вступает в свои права категория свободы. Здесь пролетариат выступает как деятель, как вершитель своей судьбы. Здесь он субъект, а не объект. Здесь выдвигаются его желания, вытекающие из его классовых интересов и потребностей,

желания, осмысленные пониманием хода общественного развития и своей исторической роли.

«Жизнь» решительно высказывалась за федерацию и автономию и вместо права на самоопределение наций выставляла право областей на полное государственное отделение. В программе «Жизни» будущее устройство России обрисовывалось следующим образом:

«Народная союзно-областная (федеративная) республика. Деление России на области, согласно национальным и историческим особенностям земель, входящих в состав современной русской империи или с нею соединенных. Предоставление полного самоуправления каждой из областей в ее внутренних делах. Право области, в случае требования большинства ее жителей, выраженного всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов, на полное государственное отделение. Деление областей на территориальные единицы (общины) с широким бессословным самоуправлением.

Союзное собрание для дел общих всем областям (внешняя политика, военные дела, пути сообщения, почта, телеграф). Областные собрания для внутренних областных дел. Общинные собрания для дел общинных.

Всеобщая, прямая, равная и тайная подача голосов лицами обоего пола, достигшим двадцатилетнего возраста, при всех выборах и голосованиях.

Пропорциональная система выборов. Принятие на общественный (союзный, областной, общинный) счет расходов по выполнению выборов.

Одновременное назначение выборов в нерабочий день.

Двухгодичная продолжительность полномочий народных представителей.

Неприкосновенность народных представителей в смысле требования предварительного разрешения соответствующего собрания для судебного преследования его членов. Вознаграждение народным представителям.

Отмена и принятие того или другого областного или общинного закона непосредственным народным голосованием по требованию, подписанному не менее одной двадцатой части избирателей данной области или общины. Во всех остальных случаях законодательная власть принадлежит исключительно собраниям (союзному, областным или общинным).

Программа заканчивалась аграрными требованиями.

«Жизнь» заявляла: «Признавая, что полное устранение хронической нужды сельского населения возможно только при

социалистическом строе, то-есть при переходе всех средств производства, в том числе и земли, в общественную собственность, Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия, кроме всех вышеуказанных демократических требований, выполнение которых, несомненно, улучшит положение малоземельного крестьянства, добивается в его же интересах нижеследующих мероприятий».

В первоначальном проекте программы «Жизни», составленном мною, в практическую ее часть было внесено требование конфискации всех частновладельческих земель и передачи их в пользование крестьянским общинам, товариществам и отдельным малоземельным землепашцам, не пользующимся наемным трудом. Но против этого высказалось большинство нашей организации, и потому в программе осталось лишь требование предоставления в пользование всем лицам, желающим обрабатывать землю собственным трудом, государственных, удельных и кабинетских земель на льготных условиях, а также передача в пользование тем же лицам всех недоимочных имений, заложенных в государственных и общественных банках. Это были два первых требования нашей аграрной программы. Затем следовало:

«Устройство на государственный счет складов сельскохозяйственных машин для отдачи их в пользование крестьянским обществам, товариществам и отдельным лицам. Устройство на государственный счет складов семян и продажи их на льготных условиях тем же категориям для обсеменения их земель.

Устройство мелкого земельного кредита из процентов, не превышающих низкий банковый процент.

Признание недействительными арендных договоров, включающих в себе неустойки.

Облегчение переселений. Отведение государственных, удельных и кабинетских земель в бесплатное пользование переселенцам. Бесплатный провоз переселенцев и снабжение их орудиями и скотом на льготных условиях постепенной беспроцентной выплаты.

Немедленное и одновременное сложение с крестьян всех государственных и земских недоимок.

Отмена выкупных платежей. Отмена всех натуральных повинностей и всех налогов, падающих исключительно на сельское население.

Отмена круговой поруки и всех законов, искусственно поддерживающих общину. Отмена права сельского общества ссылать и наказывать своих сочленов. Отмена права сельского общества стеснять своих сочленов в передвижении».

«Искра» и «Заря» в своей аграрной программе так же, как и «Жизнь», требовали отмены выкупных и оброчных платежй, а также всяких повинностей, падающих на крестьянство, как на податное сословие, требовали и отмены круговой поруки и всех законов, стесняющих крестьянина, но не в этих требованиях была суть программы «Жизни».

Суть программы была в требовании возвращения народу денежных сумм, взятых с него в форме выкупных и оброчных платежей, и возвращения сельским обществам тех земель, которые отрезаны при уничтожении крепостного права, так называемых отрезков.

Около этих двух пунктов загорелась оживленная полемика, продолжавшаяся и после того, как аграрная программа «Искры» была принята большинством 2-го съезда.

В этой полемике принял участие и я; на основании цифровых данных я доказывал, что за сорок четыре года, прошедших со времени реформы 1861 года, в нашей деревне произошел ряд изменений, сведших к незначительному меньшинству то значительное меньшинство сельского населения, которое было заинтересовано в возвращении отрезков. Я доказывал, что большая часть отрезков уже приобретена крестьянами как при посредстве Крестьянского банка, так и помимо его. Не всегда, конечно, отрезки приобретались теми крестьянами, которые лишились их в 61-м году, но экспроприация купленных земель у крестьян представлялась мне совершенно невозможной.

Защищая программу «Искры», Ленин в «Ответе Иксу» писал:

«Вся суть нашей аграрной программы состоит в том, что сельский пролетариат должен вместе с богатым крестьянством бороться за уничтожение остатков крепостничества, за отрезки».

Я возражал на это, что совместная борьба сельского пролетариата с кулаками, если она вообще возможна, принесла бы пользу только кулакам, этим злейшим врагам деревенской бедноты. Отрезки все равно не попали бы в руки бедноты, а попали бы в руки богатеев.

«Задача социал-демократов, — писал я, — не объединять деревенскую бедноту с деревенскими богачами, а отделять ее от них; ее задача организовать бедноту для тяжелой и трудной борбы с деревенскими богатеями. Нет злейшего врага социализма и пролетарского освобождения, как крестьянин-эксплоататор, как мелкий собственник, который «имеет ввиду» не собственную пролетаризацию, а пролетаризацию своих бедных соседей. Литература иностранная и русская дала не мало резко очерченных типов этих хищников. Их знает всякий, кому долго пришлось жить в деревне и проникнуть в глубь крестьянской жизни. Между ними не мало сильных, способных людей,

которые сумеют постоять за «порядок» и собственность, которые сумеют несравненно лучше, чем крупные капиталисты и землевладельцы, оказать сопротивление социалистическому движению пролетариата».

В 1903 году, после ликвидации социал-демократической организации «Жизнь», я переработал программу «Жизни», внеся в практическую часть мероприятия, которые мог провести в жизнь лишь победоносный пролетариат, превратив ее из программы минимум в программу максимум.

Таковы: признание недействительными всех долговых обязательств (долгов государственных, общественных и частных); уничтожение частной собственности на все средства и продукты производства и переход их в распоряжение самоуправляющихся общин и их союзов; превращение крупных предприятий (сельскохозяйственных, промышленных, транспортных и т. д.) в общинные производительные учреждения или передача их эксплоатации рабочим союзам; предоставление хозяевам мелких земельных участков, мастерских и т. п. продолжать самостоятельное ведение своих хозяйств и предприятий, насколько результаты их труда достигают наименьшей производительности общинных учреждений.

Специально аграрная часть программы отпала, но программу рабочего законодательства я сохранил и даже дополнил запрещением работ сдельных и установлением обязательства для всех рабочих и работниц состоять членами профессиональных союзов.

Программе рабочего законодательства я предпослал небольшое вступление, в котором указывал, что и при капиталистическом строе в своей повседневной борьбе пролетарии всех стран для охраны себя от вырождения и для укрепления своих боевых сил стремятся вырвать у господствующих классов свободу союзов и стачек, а также и рабочее законодательство.

Переработанная программа «Жизни» была одобрена небольшой группой моих единомышленников (Куклиным, Сергеевым, Сац и др.). Мы перевели ее на французский и немецкий язык и разослали видным представителям международного социализма с просьбой дать о ней отзыв. Получили ответы от Фридриха Лесснера, Анзеля, Мотлера, Серви, Де Брукера, Дестрэ, Вандервельде и др.

Отзывы, в общем, были благоприятны. Каутский написал мне, что для критического освещения программы нужно написать большую статью, и он, как человек крайне занятой, мог бы это сделать лишь в том случае, если бы программа исходила не от отдельных лиц, а от партии.

Ответ Каутского меня огорчил, но зато очень обрадовал меня ответ старого коммуниста Фридриха Лесснера, друга Карла Маркса и Фридриха Энгельса, члена союза коммунистов, участника знаменитого кельнского процесса 1852 года. Фридриха Лесснера я видел только один раз в Лондоне в 1902 году. Высокий старик с белой шапкой волос, с седой бородой, с мягким, добрым выражением лица, он с юношеским жаром говорил в день Парижской Коммуны о неизбежном и близком торжестве коммунизма. Такой же верой проникнуто и его письмо к нам:

«Лондон, 3 сентября 1903 г.

Дорогие партийные товарищи,

Ваше уважаемое письмо и программу я получил, и очень вас за них благодарю. Я сомневаюсь, удастся ли мне ответить вам так, как это необходимо в данном случае, так как я себя чувствую не так хорошо, как хотелось бы, да и возраст мой уже преклонный — мне скоро исполнится семьдесят девять лет.

Как ни как, а я с 1846 года в пролетарском движении, отдал ему все, что было в моих силах, чтобы способствовать современному социалистическому движению, достигнуть той мощи, свидетелями которой мы являемся. Интернационалистом сделался я в 1847 году под влиянием Карла Маркса и Фридриха Энгельса, под влиянием Коммунистического Манифеста, и с тех пор я не мог отойти от движения.

С тех пор мои мысли и стремления были направлены особенно на то, чтобы по мере своих слабых сил помочь русским и польским рабочим освободиться от страшного гнета и ужасных истязаний со стороны казацкого режима и низвергнуть капиталистических разбойников.

И я не потерял надежды, что эта неизбежная революция близка и что ею навсегда будет положен конец террористическому господству реакционеров. У нас всюду, где господствуют капиталисты, общие друзья и общие враги. И мы должны быть особенно осмотрительны в наших действиях, так как освобождение рабочего класса не может быть осуществлено только в одной стране.

Капиталисты действуют еще более интернационально, чем многие рабочие. Если пролетарская революция разразится только в одной стране, то можно быть уверенным, что капиталисты других стран придут на помощь капиталистам этой страны, так как они хорошо понимают, что пролетарская революция распространится и на их страны.

Поэтому необходимо, чтобы социальная революция вспыхнула во всех капиталистических странах, как только она разразилась в одной из них: тогда революция победит повсюду. Об этом должен позаботиться Интернационал. Это должно быть осознано повсюду нашими товарищами.

Теперь, дорогие товарищи, что касается вашей программы, то я с ней вполне согласен, не имею ничего возразить и ничего добавить.

Если бы на мою долю выпало счастье пережить это великое событие, то я мог бы спокойно умереть. Каждым честным человеком должны быть признаны и высоко оценены большие и многие жертвы, принесенные в России нашими партийными товарищами, как мужчинами, так и героически мужественными женщинами. Мое восторженное удивление и мое высокое уважение к великим жертвам стольких товарищей никогда не гаснут, напротив, они все усиливаются при известиях о новых ранах, наносимых казацкими нагайками.

Да найдут эти чувства, исходящие от всего сердца, доступ к чувствующим сердцам.

Мои лучшие пожелания геройски-мужественной Вере Засулич, вам и всем остальным партийным товарищам.

Да здравствует пролетарская революция!

Да здравствует современное социалистическое движение!

Братски ваш, старый партийный товарищ, единственный еще живущий из осужденных по кельнскому процессу коммунистов 1852 г.

Фридрих Лесснер».

## XX

## ДРУЗЬЯ И ВРАГИ (1902 г.)

Рождение освобожденной «Жизни». — Х. Г. Раковский. — Земцы и «Жизнь». — Связь с революционными комитетами. — Письмо И. И. Сергеева. — Подполье в 1902 году. — Арест и бегство Пунги. — Мартынов и Акимов. — «Горе Натальи». — Отношение к «Жизни» нацменьшинств. — Переезд в Женеву. — В. Л. Бурцев. — П. А. Краков. — В. А. Вейншток.— Горкин и Надеждин. — Е. К. Брешко-Брешковская. — Е. Е. Лазарев. — Л. Э. Шишко. — Жуковская о Бакунине. — Г. В. Плеханов. — Марксистский клуб.

Роды были длительные и трудные. Ребенок родился крупный, вес выше нормы. Родные ликовали и предвещали ему жизнь долгую и счастливую. Одна из тетушек взяла его на руки и протанцовала

с ним по комнате. Только отец, он же акушер, смотрел угрюмо и отмахивался от поздравлений. У него было предчувствие, что ребенок недолговечен.

Таково было рождение первой книжки освобожденной «Жизни». Все ликовали. Алевтина Михайловна Муринова схватила книжку и стала с ней весело вертеться, выкрикивая:

— Наконец-то, наконец-то! Какая большая и какая интересная!

Я смотрел сумрачно, предчувствуя враждебное отношение большинства сотрудников и читателей подцензурной «Жизни».

С нетерпением ожидал я известий о том, как встретили «Жизнь» в России. Первый транспорт под личным наблюдением Весмана благополучно миновал границу.

На севере «Жизнь» распространяла А. А. Сац, на юге И. И. Сергеев. Два моих друга, преданных и самоотверженных.

Первое известие получено было мною от Х. Г. Раковского, который, как я уже упоминал, был сотрудником легальной «Жизни» и очень сочувственно относился к ее возобновлению за границей.

С Раковским я познакомился в 1899 или 1900 году в Петербурге. Он был тогда еще молод. К его красивому лицу очень шли изящные черные усики и небольшая черная бородка. Живой, изящный, утонченно вежливый, с хорошими манерами, по-европейски одетый, он походил на интеллигентного француза. Болгарин по происхождению, румын по подданству, он был французом по образованию, так как окончил парижскую медицинскую школу. По-французски он говорил превосходно, по-русски — с большим трудом. И при разговорах на русском языке иногда прибегал к помощи своей жены, чистокровной русской. Жена в то время перевела на русский язык его работу «Современная Франция», написанную им на французском языке. «Современная Франция» была издана «Знанием» под псевдонимом «Инсаров».

У Раковского уже в то время было громкое имя революционного марксиста, с успехом выступавшего на международных конгрессах. Русское правительство считало его опасным иностранцем и предложило ему покинуть Россию.

Помню, что я, пользуясь дружбой брата с Н. С. Таганцевым и другими учеными сановниками, усиленно хлопотал об отмене распоряжения о высылке Раковского и, кажется, мои хлопоты увенчались успехом. Во всяком случае в 1902 году Раковский мог легально поехать в Россию. Он вращался тогда в самых различных кругах [85].

По возвращении из Петербурга в Париж Раковской написал мне письмо в Лондон, где я подготовлял к выпуску вторую книжку. Он

спрашивал, получил ли я секретные документы, которые он достал в России для опубликования в «Жизни». и добавлял несколько слов об отношении петербургской публики к «Жизни».

«В письме мне трудно передать все различные суждения, которые мне приходилось слышать о «Жизни», но их можно характеризовать двумя словами: впечатление хорошее среди интеллигенции, неудовлетворительное среди литераторов. Последние очень и очень недовольны вашими суждениями относительно русских писателей. О других отзывах о «Жизни» я с вами поговорю подробнее, когда увидимся...»

«Другими отзывами» были отзывы земских деятелей. Они были почти так же неблагоприятны, как отзывы литераторов. Земцам больше нравилась «Искра».

О сочувствии земцев «Искре» Раковский сообщил Мартову, как это видно из письма последнего к Ленину от 24 июня 1902 года, в котором он пишет, между прочим:

«Инсаров (Раковский) сообщает о большом успехе «Искры» среди земцев, говорит, что, несомненно, за ней теперь максимум влияния на публику и что борьба с «Освобождением» будет очень легка, если мы усилим политический характер газеты, и по мере того, как будет разоблачаться умеренность теленка (Струве). Я думаю, что он прав, и что, с другой стороны, вопиющая и очевидная несостоятельность «Жизни» убедит всех и всякого, что искать замены «Искры» чем-либо другим не приходится...»

Мартов относился к «Жизни» еще более враждебно, чем Плеханов. Особую неприязнь он чувствовал почему-то лично ко мне, хотя мы с ним никогда не встречались.

У Муринова, тяготевшего к Струве, Мартов часто бывал и почти дружил с ним.

Отрицательное отношение земцев к «Жизни» дал нам почувствовать достаточно сильно следующий факт:

«Саратовский помещик и земец Н. Н. Львов, будущий лидер прогрессистов в Государственной Думе, очень сочувственно относившийся к легальной «Жизни», отправился в Париж с намерением передать на издание заграничной «Жизни» 30.000 рублей, вероятно собранные им среди богатых земцев. Но прочитав в Париже первую книжку, он не захотел даже повидаться со мной, а деньги передал, вероятно, Струве на «Освобождение».

Революционной части интеллигенции первые книжки «Жизни» понравились; в этом Раковский был прав. Помню горячо и искренне написанные поздравительные письма от некоторых из этих интеллигентов.

Но мне важно было сочувствие не столько революционных интеллигентов, сколько революционных рабочих. К рабочим «Жизнь» могла попасть только через подпольные организации, через «комитеты». С южными комитетами связь устанавливал И. И. Сергеев, не раз ездивший нелегально в Россию, как член почтового комитета.

После первого возвращения из России Сергееву не удалось повидать меня, так как он проехал прямо в Лондон, а я в это время был в Париже. Свои впечатления он изложил мне в письме, которое хорошо рисует подпольную атмосферу 1902 года.

«... Вы уже знаете, — писал он мне, — что приступили к делу без всяких связей с комитетами, знаете и то, что я, как южанин, должен был отправиться на юг. Мне дана была carte blanche, немного денег, кое-какие советы и открытые двери в Россию. Не правда ли, широкое поле деятельности? На пасху я уже был среди шпионов, дворников, городовых и патрулей солдат. Время от пасхи до середины мая старого стиля — самое отвратительное: на всех нападает паника и какой-то животный страх за дело, за свою собственную шкуру; все хотят быть тише воды, ниже травы. Говорят, что такое состояние чувствуется только в этом году: жалуются на безлюдье, на безденежье, на неорганизованность. И вот, в такое-то время выходит первая книжка «Жизни». «Ах, как не во-время! До «Жизни» ли теперь». — «Массовые аресты повсюду, все прячется, а вы литературу предлагаете. Да вас за провокатора сейчас же объявят!»

«Вот если б вы явились месяца через два, тогда другое дело: охотно помогли бы, а теперь нет, трудно!» — Впрочем, я, кажется, ударился в техническую сторону дела: это пусть пока будет известно только «почтовому комитету», лучше прямо приступлю к практическим результатам, достигнутым на юге, юго-востоке, средней полосе России и Кавказе. Этот почтенный район мне хорошо известен, тогда как западная сторона, северная и столицы принадлежат к другим районам, куда с юга не хотели вмешиваться и даже отказались от связей с московским рабочим комитетом. Итак, первый номер «Жизни» распространен в «почтенном» районе. Распространен он посредством комитетов крупнейших промышленных центров, посредством почты, железной дороги и личной передачи, распространен так, как ни одно из изданий существующих или существовавших групп — генерал «почтового комитета» может подтвердить вам это. Первый комитет, с которым пришлось иметь дело, состоял исключительно из самых рьяных последователей «Свободы»; во главе его находится один из основателей «Свободы», автор статьи «Евреи ли — наши враги?» Все это стало до очевидности ясным впоследствии, в особенности

вчера, когда я просмотрел оттиск из «Свободы». Их отзыв вам известен: генерал уж докладывал о нем. Напомню только их критику. Вот один из членов, прочитав только одну статью «По поводу убийства Сипягина», кричит: «Разве можно так писать? Это значит — не знать жизни: террор теперь не осуждается, а осуждать его—значит итти в хвосте. Вы вот почитайте-ка, что говорит по этому поводу «Свобода», единственная организация, понимающая жизнь, — об этом вам вся Россия скажет! Заранее предупреждаю: «Жизнь» не будет иметь никакого успеха». — «Да, эта статья неудачна, — говорит наиболее дельный и симпатичный изо всего комитета, — к чему тут беспрерывное упоминание «редакция «Жизнь»?» Нам и без того уже надоели, опротивели неустанные и назойливые напоминания: «Группа «Освобождение Труда» и раньше говорила, мы всегда говорили, мы это и раньше предвидели, когда говорили, группа «Освобождение Труда» все время твердила и т. д., и т. д. без конца, до тошноты». — Согласитесь, что это чорт знает что, что такое нахальство отбивает всякую охоту примыкать к такой организации». — Гг! Нельзя же ставить крест над книжкой, не читая ее! — Да что читать-то в ней? —Как, что?! А «Ткачи»? А Бебель? А Лагардель? А... —Ха, «Ткачи»!— говорит один, перебивая. — «Ткачи» давно известны, Бебель — не русский, Лагардель — француз, да и не для рабочих их статьи. Что, собственно, «Жизнь» дает? — Читайте и увидите! Читали ли вы, напр., внутреннее обозрение? — В нем нет ничего революционного, это просто либеральная статья, ни за что ни про что ругающая русские журналы, тогда как в «Русском Богатстве» внутреннее обозрение Мякотина несравненно лучше».

И это говорит человек, с которым я вместе читал внутреннее и иностранное обозрение и который восторгался и хвалил перед тем обе эти статьи! Нападки посыпались со всех сторон.

«К чему статьи о свободной школе? Разве могут дети рабочих учиться в них? Нет, этот журнал годен только для интеллигенции, для либералов, но отнюдь не для рабочих — в нем рабочему читать решительно нечего. Мы, представители рабочих, трудящиеся между ними, не желаем отрывать от этой работы свои силы и тратить их на распространение «Жизни» между радикальной и либеральной публикой!— Да, гг., — отвечаю я, — этот журнал совсем никуда не годен, даже для радикальной публики, если мы будем смотреть на него с точки зрения «Свободы». Одно из двух: или мы будем говорить о революции, тогда вы должны распространять «Жизнь» и давать мне нужных людей, или же будем до небес превозносить «Свободу», лубочную

литературу, но тогда я и сам с вами не желаю иметь никакого дела и нам нечего говорить о русской революции.

Их возмущает мое сравнение «Свободы» с лубочной литературой. «Вы за границей жили, от жизни отстали, рабочих совсем не знаете, крестьян тоже». — Ну, а вы?

«О-о! мы отлично знаем: теперь язык рабочих именно такой, как в 1-м номере. «Свободой» рабочие зачитываются, «Свободу» повсюду спрашивают...»

На первых порах все-таки пришлось поверить и написать генералу о том, что «Свобода» всюду господствует, что «Жизни» надо брать пример со «Свободы».

По счастью, вы не согласились, да и нельзя конечно согласиться с тем, чтобы брать пример с лубочной литературы.

Широкое распространение «Свободы» объясняется следующим: 1) во всей России чувствуется страшный недостаток на литературу, спрос на нее громаднейший, 2) требуют не научных трудов, даже не серьезных статей, а беллетристику, и притом такую, чтобы на чувства била, т.-е. или сердцещипательную или смешную, а в промежутках — популярные брошюры, написанные простым, понятным языком. Боевая беллетристика требуется сильно, но таковой нет, а за неимением ее «Свобода» пользуется большим успехом. Сами «свободовцы» говорят: «Дайте нам лучшую литературу, и мы будем распространять ее». Какое действие производит популярная литература, можете судить по следующему примеру: один юнец, никогда не читавший нелегальной литературы, прочел воспоминания Дебогория-Мокриевича и воскликнул: «Как бы я хотел быть самым последним слугою у одного из действующих здесь лиц!» Библиотека «Жизни» безусловно всем нравится. Жаль только, что «Ткачей» мало издали, да в «Пролетариате и армии» встречается масса иностранных слов, такая масса, что рабочие вряд ли поймут эту брошюру. Обрадовался, когда увидел № 5 и 6 «Библиотеки»: такие листовки идут по 1200 экземпляров на пуд и предназначены главным образом для рабочих, распространены будут, следовательно, в громадном количестве, поэтому таких листовок необходимо печатать как можно больше. Вообще, те брошюры, которые предназначены для рабочих, нужно печатать в пять раз больше, чем брошюры для всеобщего распространения. Например, «Дело Павловских крестьян»—достаточно 1000 экз. или 2000, а «Ткачей», «Сказку» и «Благотворительность» — 5, 6 и более тысяч. Книжки наши чересчур толстые. Они неудобны для всего: для перевозки, для хранения, для чтения. Некоторые просили, чтобы статьи оканчивались таким образом, чтобы книжку можно было делить

на части и читать ее по частям. — Самая скверная статья, которая безусловно всех возмущает (и меня в том числе),—это статья нашего друга Бонча-Бруевича «6 лет в закрытом учебном заведении». Для ее помещения нет никаких оправданий, и № 1 много бы выиграл, если б ее совсем там не было. Правда, друзья «Жизни» находят для нее оправдание, говоря: «Она все-таки называет по имени учебное заведение, знакомит наглядно с положением дел»... Но подобной защите они и сами не придают никакого значения. Они только желают, чтобы на будущее время ничего подобного не было, они хотят, чтобы книжка была потоньше: пусть лучше меньше статей будет, но зато статьи через это будут лучше, и «Жизнь» от этого только выиграет. Другая статья Бонча-Бруевича о сектантах производит очень и очень хорошее впечатление: она всем нравится и все ее хвалят. Отсутствие программы у организации «Жизнь» доставило мне много приятных, а затем и горьких минут: читает какой-нибудь «свободовец», «искровец» или «социалист-революционер», или, вернее, перелистывает книжку и чего-то в ней ищет. Лицо его несколько раз меняется, наконец принимает разочарованный вид. «Да, у «Жизни» никакой программы нет!»—восклицает он. С этого момента удовольствие следить за его физиономией пропадает и возникают горькие мысли на тему о любви русских революционеров к критике. Конечно, критика очень часто поверхностная, только смешит, но когда видишь, что зуд критики до того ослепляет революционера, что он обращает внимание не на содержание статьи, не на сущность ее, а на то, кем она написана и когда («Ткачи», Бебель—немец, Лагардель—француз), ищет программы только с тою целью, чтобы к ней придраться, покритиковать и тем показать свое революционное невежество и узость, то тогда злость разбирает на такого критика и приходится жалеть, что с такими критиками приходится считаться и иметь с ними дело. Майский листок «Жизни» «даже по внешнему виду сильно импонирует», хотя некоторые статьи, как, например, «Праздники наслаждения и праздники борьбы» К. Каутского и «Майское утро народов» непонятны рабочим. Об отзывах друзей «Жизни» не говорю. А что таковые друзья уже есть за такое короткое время, можете судить по следующему факту: у меня, кроме долгов, ничего не было (генерал оставил меня без всяких средств: один адрес не расшифровал, а другой, по неосторожности, на свечке сжег), в одни сутки они собрали около 200 рублей, для чего позаложили все, что могли, позанимали у кого могли, снабдили меня всем необходимым и простились, как с самым близким и дорогим родственником. Мало того: они просили хоть раз в две недели присылать открытки, чтобы они знали, что я еще жив; они будут распространять наши издания,

собирать для нас деньги; просили не забывать их и всегда снабжать литературой. Друзья эти — бывшие искровцы. Свободовцы предсказывают мне, что все искровцы со временем станут жизневцами, для чего стоит мне лично проехаться по комитетам. — Поживем — увидим...»

«...В настоящее время, — пишет он в другом месте, — российские комитеты признают только три организации: «Зарю» и «Искру» или искровцев, свободовцев и социалистов-революционеров. Приверженцев «Рабочего Дела» [89] не существует, разве остались в столицах (Москве и Петербурге), да и то... сомнительно. Многие думают и говорят, что «Жизнь» займет место, некогда занимаемое «Рабочим Делом» в эпоху его расцвета. К таким выводам приходят на основании того, что — «Жизнь» хочет быть органом всех работающих в России товарищей.

Изд. «Рабочее Дело» мне не встречалось, да о нем и не говорят, как будто его и не существует. «Искра» одно время имела сильное распространение, но успехом среди рабочих не пользуется [90]. В настоящее время ее очень мало. Ее любят либеральные круги, учащаяся молодежь, радикальная публика. Рабочие сами не просят, но им дают, читать «Искру». Очень может быть, что и наши книжки не попадут к рабочим (толсты очень), но тогда нужно обратить самое серьезное внимание на «Библиотеку Жизни»: необходимо выпустить побольше (или, вернее, поменьше, но зато получше) популярных брошюр и беллетристических произведений...»

«... Только что получил письмо из одного большого района. Просят Герцена, Лаврова и старые народовольческие издания. На первом плане стоит «Андрей Кожухов» и «Подпольная Россия» [91].

Что это доказывает: то ли, что современная литература не удовлетворяет, или же — мы от действительности переносимся в мир героев? Последнее меня прямо пугает...»

После второго возвращения из России Сергеев писал мне:

«...Вторая книжка мне понравилась больше, чем первая, да это, впрочем, многие говорят. Одна «искровка» пишет так: «мне очень нравится «Жизнь», и я от всей души желаю ей успеха. Вторая книжка больше нравится, читала ее с удовольствием, но откровенно говорю: для ее жизненности побольше беллетристических произведений надо, а то недостаток их даже во второй книжке чувствуется».

Да, вторая книжка хороша; это приятно. Читал о крестьянах «Голос из деревни»; в каждой строчке видно, что писал социалист-революционер [92]. Зато как обрадовался, когда прочел вашу заметку, где вы высказываете свой взгляд на деревню! Так и надо... Удивительно, как это у вас кстати и хорошо вышло и о Бонче тоже.

И в самом деле: у нас есть «комитетские», которые не знают разницы между соц.-революционером и соц.-демократом, которые не знают, что такое демократические требования, социалистические и пролетарские. Есть много «комитетских», которые считают себя «свободовцами», «искровцами», «социалистами-революционерами» и т. д. не по убеждению, а только потому, что во главе, например, «Свободы» стоит очень хороший человек, так что принадлежность к партии основывается... на симпатии к человеку. Мешанина изрядная, но спорить с таким «убежденным» человеком, в особенности «террористом», — напрасная трата времени: доводы плохо действуют. Этому способствует и отсутствие литературы «воспитывающей». Судя по первым двум книжкам «Жизни», в особенности второй, — наши задания займут видное место. Они попадают, как говорится, в цель. На первых порах многие будут злиться, ругаться, а все-таки в конце концов преклонятся перед «Жизнью». В это я глубоко верю, верю сильно. О, если б мне прожить на свободе еще хоть шесть месяцев! Я бы своими глазами увидел все это... Да и как не верить! Хоть и мало у нас «идеологов» в комитетах, но они есть — Южный съезд тому порукой [93]. И вот эти люди единогласно отвергли террор. Возьмите вы газеты соц.-революционеров (молодежь ими страшно увлекается). Сколько в них громких фраз, сколько прекрасных и ходульных слов и как мало пищи для ума! Ох, эти громкие, трескучие фразы! Как больно и обидно за революционеров становится, когда их фразы вызывают смех у той публики, у которой они должны были вызвать слезы!..»

На подмогу Сергееву и Сац мы направили в Россию для подпольной работы Пунгу. Расставаться с этим энергичным, молодым человеком, хорошо владеющим иностранными языками, нам было очень жаль, так как он был очень полезен и за границей. Но Пунга рвался на опасную работу. Я его уговаривал не брать с собою наших изданий, но он не послушался. В Берлине он заказал большой сундук с двойным дном и запрятал туда большое количество наших изданий, в особенности нашей программы.

Из Берлина Пунга прислал мне прощальное письмо, написанное в бодрых тонах.

«Дорогой друг! — писал он. — Пишу вам накануне отъезда. Виделся я в Дрездене с представителем Киевского комитета. Какой славный человек. Я у него пробыл день и ночь, и обо многом беседовали. Условились, конечно, относительно доставки нашей литературы и о многом другом. Все передал здесь «почтовому комитету».

В разговоре он выразил мнение, что после прочтения всех номеров «Жизни» он находит и думает, что мнение его товарищей будет

такое же, что наш журнал — один из лучших социал-демократических журналов и ему предстоит в России большая миссия. Особенно его восхищают наши «Листки».

Я его застал как раз при разборе нашей программы. Он находит, что она гораздо полнее программы «Искры» и оставляет очень серьезное и глубокое впечатление. Но и у нас он находит некоторые промахи и пропуски. Я его просил, чтобы он вместе с другими товарищами в России разобрал нашу программу и прислал бы нам в «Жизнь» заметку по поводу нашей программы. Он обещал это сделать немедленно по приезде в Киев. Так что в скором времени получим критику нашей программы со стороны Киевского комитета. Он теперь уже вернулся. В общем он очень доволен программой и вообще нашими изданиями. Он также ручался, что если состоится всероссийский съезд, то непременно будет приглашена наша организация «Жизнь». Он говорил также о том, что появление «Жизни» и ее серьезный бесполемический тон заставил другие заграничные организации взяться серьезно и энергично за дело, намекая при этом на «Рабочее Дело», с которым он имел переговоры. Конечно, он также обещался присылать сведения и статьи нам...

... Ну, до свидания, дорогой товарищ, следующее письмо — из России. Очень спешу...»

Ехал Пунга с английским паспортом, изящно одетый, в первом классе скорого поезда. В купе с ним ехали два англичанина, тоже с виду очень солидные. По дороге они познакомились.

На русской границе в Александрове Пунга обратил внимание, что его сундук был поставлен отдельно от другого багажа.

— У меня, — рассказывал он впоследствии, — мелькнуло опасение, не догадались ли, что сундук с двойным дном и не следует ли мне не признавать его за свой, но я тотчас же устыдился этой мысли.

Когда таможенный чиновник спросил, чей это сундук, я тотчас отозвался и подошел, чтобы его открыть. Со мной вместе подошли мои дорожные знакомые. Как только сундук открыли, таможенный чиновнич тотчас вынул особую мерку, показавшую, что дно двойное. Я понял, что провалился, и хотел сунуть одному из ехавших со мной «англичан» записную книжку, где были зашифрованы многочисленные адреса. В этот момент «англичанин» бросился на меня и к нему на помощь, чтобы скрутить мне руки, ринулся и другой дорожный знакомый. Тут я понял, что это были переодетые сыщики. Я вырвался из их рук и двумя сильными ударами кулака по головам сбил их обоих с ног и заметил, как они шлепнулись, а их изящные цилиндры покатились по полу.

Я успел вырвать листки с адресами из записной книжки и сунул их в рот, чтобы проглотить, но в этот момент на меня набросилось несколько жандармов, повалили на землю и сильно сжав горло, заставили выплюнуть листки.

Пунга был посажен в варшавскую цитадель. Е. И. Черткова ходатайствовала об его освобождении, так как он «очень хороший молодой человек и выпестовал и воспитал ее внука», но ей вежливо ответили, что Пунгу привлекают четыре жандармских управления по четырем делам и что выпустить его никак нельзя. Но все же благодаря ее протекции «за ним, — как писал мне Сергеев, — ухаживают и предоставляют такую свободу, какой не пользуется никто другой».

Приговор Пунга получил суровый — восемь лет Восточной Сибири, но вместо Восточной Сибири его послали в Архангельскую губернию, откуда он благополучно бежал за границу.

Благодаря той же Чертковой Пунга получил возможность окончить в Германии высшую техническую школу и сделался директором одного из заводов на Урале.

Из русских эмигрантов сочувственно относились к «Жизни» и поддерживали ее, не вступая однако в члены нашей организации, очень многие. Я уже упоминал Тахтарева и Лохова, которые были членами «Петербургского Союза Борьбы за освобождение рабочего класса» и принимали участие в организации нелегальной «Рабочей Мысли».

Иногда приходили на нашу редакционную квартиру в Париже «рабочедельцы» Кричевский, Мартынов и Акимов. Кричевский производил впечатление человека серьезного и твердо убежденного в правильности позиции «Рабочего Дела». У Мартынова вид был тощий, понурый, болезненный. Говорил он мало и вяло. В нем трудно было предугадать будущего «истребителя меньшевиков», как стали его называть с тех пор, как он, перейдя на сторону коммунистов, написал ряд резких статей против своих прежних единомышленников.

Акимов-Махновец, которого в то время называли «мартыновской балалайкой», был мужчина полный и цветущий, с толстым красным носом; говорил много и певуче. После революции 1905 года Акимов увлекся кооперацией, а после революции 1917 года пытался быть истребителем большевиков, но это ему оказалось не по силам. Жил бессмысленными мечтаниями о низвержении советской власти, которой предпочитал даже монархию.

По взглядам к «рабочедельцам» был близок Колокольников, который, как я уже упоминал, поместил в «Жизни» статью «О зубатовщине».

Хорошо относился к «Жизни» и считал ее своим органом русский социал-демократ В. Гардер, живший в Христиании. Через него у нас начали завязываться связи с норвежскими социал-демократами. Гардер пользовался материалом «Жизни» для своих статей о России в норвежской рабочей печати. Благодаря ему в норвежских и шведских журналах появился перевод рассказа «Горе Натальи», помещенного в четвертой книжке «Жизни».

Рассказ этот, правдиво рисующий тяжелую судьбу русской крестьянки, у которой за недоимки описывают последнюю корову и продают ее местному кулаку, подписан инициалами «В. Л.». Не помню, кто скрывался под ними.

Надо заметить, что вообще многие рассказы, статьи и заметки «Жизни» переводились на иностранные языки и появлялись в социалистических органах — французских, немецких, английских, шведских, норвежских, польских, русинских и т. д.

«Жизнь» была единственным русским революционным органом, который определенно без всяких оговорок выставил в своей программе право каждой области на государственное отделение. Этим, вероятно, объясняется особенно сочувственное отношение к «Жизни» представителей национальных меньшинств, в том числе галицийских украинцев, один из представителей которых, М. Лозинский помещал интересные корреспонденции в «Листках Жизни».

Друзьями моими были старые народовольцы, жившие в Лондоне, А. Теплов и Э. А. Серебряков, брошюру которого «Политика и офицеры» мы издали, как один из номеров «Библиотеки Жизни». Дружески относился ко мне, а через меня и к «Жизни», П. А. Кропоткин. Помню, он убеждал меня всеми силами противиться переносу издания «Жизни» из Лондона в Женеву.

— Женева, — говорил Кропоткин, — очаг эмигрантских интриг, которые проникнут и в вашу организацию. К тому же Женева кишит сыщиками и провокаторами и оттуда гораздо рискованнее переправлять литературу в Россию, чем из Англии.

Я был вполне согласен с Кропоткиным, но на осеннем съезде нашей организации оказался по этому вопросу в меньшинстве.

Для всех было очевидно, что редакция, контора и типография должны быть в одном городе, а не в двух, как это было до тех пор (в Париже и в Лондоне), но спор шел о том, какой выбрать город? Париж не подходил, так как можно было опасаться, что французское правительство в угоду русскому нас так или иначе прихлопнет. Выбирать приходилось между Лондоном и Женевой. О Лондоне не хотели и слышать Куклины и Муриновы. Латыши колебались, но тоже

почему-то больше склонялись в сторону Женевы. Сергеева и Сац на съезде не было; мне пришлось подчиниться большинству.

Переезд в Женеву, стоивший, кстати сказать, очень дорого, так как пришлось туда перевозить типографию, был началом конца «Жизни».

В Женеве я встретился со многими революционными знаменитостями. Их образы теснятся в моей голове, заслоняя друг друга. Но вот вперед высунулась ищущая физиономия В. Л. Бурцева. С него и начнем.

Владимир Львович Бурцев—в своем роде единственный, но его «собственностью» является не весь мир, как у «единственного» в знаменитой книге Макса Штирнера, а лишь мир сыска и провокации. Наружность у него для такого мирового владычества подходящая.

Маленький, узенький, с седенькой бородой, всегда вытянутой вперед и немного вниз, с физиономией добродушной ищейки в очках. Ходит быстро, нервно и все время как будто что-то ищет не глазами, а длинным острым носом, ищет не сознательно, а инстинктивно.

Розыском провокаторов Бурцев занялся уже с поседевшими волосами; на этот путь он был увлечен изучением русского революционного движения, в котором его особенно интересовала заговорщицкая, конспиративная, террористическая сторона. Революции, как роста сознания рабочего класса и как протеста коллективной совести против нарушения основных моральных законов, он не замечал; для такой революции он был слеп и глух, а нюха для изучения ее не требуется.

Строго партийным человеком он никогда не был, не потому, чтобы он был выше партий, а потому, что ему были чужды всякие «теории». Называл он себя народовольцем и даже издавал журнал «Народоволец», но ему была дорога не программа народовольцев, в конечном счете социалистическая, а их тактика. Он увлекался политическим террором, особенно цареубийством.

Программа Бурцева долгое время сводилась к очень краткой формуле: убей царя, остальное приложится.

Он нападал на социалистов-революционеров за то, что те занимаются казнями сановников, а не сосредоточивают все свои силы на казни царя. Как все террористы-государственники, он политическое убийство возводил на государственную высоту казни.

Сам он никаких покушений не совершал, в боевых организациях, кажется, не состоял, но в своих заграничных изданиях так энергично агитировал за казнь царя, что английским судом присяжных был

обвинен в подстрекательстве к убийству и посажен на полтора года в лондонскую каторжную тюрьму.

В культурных западно-европейских тюрьмах сидеть куда хуже, чем в русских некультурных. Бурцева сначала заставляли таскать кирпичи, а когда это оказалось ему совершенно не по силам, засадили за вязанье чулок.

Характерно для англичан, что они с одной стороны посадили Бурцева в каторжную тюрьму за подстрекательство к убийству, не желая признать убийство царя закономерною казнью, с другой — спасли его от преследования русской полиции на своем пароходе в Константинополе. Капитан парохода, считая свое судно английской территорией, не только отказался выдать Бурцева агентам русских властей, но и заявил, что для защиты политического беглеца, нашедшего у него убежище, прибегнет к силе оружия. Русским охранникам пришлось благородно ретироваться. Английское общественное мнение было очень довольно решительностью капитана: ему был поднесен почетный кубок в благодарность за стойкую защиту права убежища.

Но не суровые английские присяжные и не благородный английский капитан сделали имя Бурцева всемирно известным. Всемирно известным сделал его Евно Азеф, самый знаменитый из провокаторов.

В 1902 году, когда я познакомился с Бурцевым, Евно Азеф был еще вне всяких подозрений, а Бурцев только еще принюхивался к розыску провокаторов.

Надо заметить, что чутье у Бурцева было хорошее, но и он иногда ошибался.

Помню, в Париже в 1903 году около меня увивался молодой «анархист» Володя Бродский. Он предлагал свои услуги, чтобы перевезти меня через границу в Россию, и не только меня, но и транспорт с моими книгами. Было в нем что-то подозрительное, но его товарищи анархисты считали его выше всяких подозрений и говорили, что революционную благонадежность товарища Володи может подтвердить Бурцев.

Я обратился к Бурцеву, и тот определенно заявил, что на Володю Бродского я вполне могу положиться, и в то же время указал на другого анархиста, как на лицо, с которым нужно держаться осторожно.

Вскоре после разговора с Бурцевым я застал Володю Бродского в моей комнате в отеле «Одеон», куда он проник в мое отсутствие, как хороший знакомый, и застал как раз в тот момент, когда он шарил в моем письменном столе.

— Зачем вы полезли в мой стол? — спросил я раздраженно.

— Я искал бумагу, чтобы написать вам записку, — нашелся Володя.

Этот случай усилил мои подозрения, и я заявил об этом товарищам Володи. Те излили на меня потоки своего негодования, но через несколько дней явились ко мне и смущенно заявили, что с несомненностью обнаружилась служба Володи в Парижском отделении русского департамента полиции и что из-за Володи произошел на границе провал транспорта литературы.

А тот товарищ, против которого предостерегал Бурцев, оказался хорошим революционером.

В Женеве Бурцев кроме «Народовольца», из-за которого он и сидел в лондонской тюрьме, издавал еще небольшие листки с призывом не только к индивидуальному террору, но и к вооруженному восстанию.

У Бурцева было только два товарища и в то же время сотрудника: Краков и Вейншток, живший под фамилией Александрова.

Краков по виду казался полной противоположностью Бурцева. Красивый брюнет, спокойный, выдержанный, замкнутый. Вейншток, тоже высокий, красивый брюнет, казался человеком с большим революционным темпераментом и как человек, недавно бежавший с ссылки и даже чуть ли не с каторги, презрительно относился к старым эмигрантам, ушедшим в теорию.

Вейншток-Александров еще до революции 1905 года вернулся в Россию, попал как-то в капитаны волжского пароходства, а затем сделался секретарем «Вестника Знания», куда ему удалось затянуть и меня.

С Краковым мне тоже пришлось встретиться в России. Встреча эта была для меня крайне неприятна.

В 1908 или 1909 году, когда гремели разоблачения Бурцева, Муриновы рассказывали мне, что вернувшиеся из Парижа Кускова, Прокопович и Богучарский видели у Бурцева список провокаторов, и в списке этом оказался даже бывший друг его, Краков. Это известие меня сильно поразило, и я, зайдя в «Вестник Знания», рассказал об этом двум-трем ближайшим сотрудникам, в том числе Горкину, который в 1902 году работал в организации «Свобода» под псевдонимом «Петровский».

Горкин, оказавшийся приятелем Кракова, передал тому мое сообщение. Недели через две я получил от Кракова, жившего в то время в Петербурге и работавшего в каком-то большом торговом предприятии, заказное письмо с обратною распиской. Краков вызывал меня на третейский суд по обвинению в распространению о нем клеветы.

Он приводил при этом выписку из письма Бурцева в ответ на посланный ему запрос.

Бурцев заявлял, что не обвинял Кракова в провокации, а лишь осуждал его за то, что он отошел от революционной работы.

Я отправился к Муриновым и спросил их, могу ли я сослаться на них при разборе дела. Но те испуганно заявили, что просят меня ни в коем случае не запутывать их в это дело, а лучше переговорить с Кусковой, которая видела список у Бурцева.

Отправился к Кусковой, та тоже сжалась, выразила возмущенное удивление отпирательству Бурцева, но выступать свидетельницей на третейском суде не пожелала, указывая, что и третейский суд мог бы превратиться в провокацию.

— Вам следовало бы, — говорила она, — обратиться к Богучарскому, которому Бурцев говорил, как и мне, что Краков — провокатор, но Богучарский, как вы знаете, арестован.

Положение получилось отвратительное. Я поехал к Кракову, который встретил меня подчеркнуто вежливо, и сказал ему:

— Лицо, которое является первоисточником сообщенного мною слуха, в настоящее время арестовано. Я просил бы отложить третейский суд, пока это лицо не будет на свободе. Во всяком случае я сожалею, что был передатчиком сообщения, как видно из письма Бурцева, не верного.

Краков тотчас со мной согласился, и мы расстались, мирно пожав друг другу руку.

До сих пор не знаю, как произошло это недоразумение, но во всяком случае Краков не был провокатором. После революции 1917 года он заведывал конторою «Былого», выходившего под редакцией Щеголева.

От Бурцева вообще шли тени подозрений, многим портившие жизнь.

Упомянутый выше Горкин-Петровский, высокий сухощавый брюнет с темными кругами под нервными глазами, был в Женеве единственным соратником руководителя «Свободы» Надеждина. Надеждин, чахоточный и озлобленный, с неизменной папиросой во рту даже во время своих докладов, резко нападал на все тогдашние революционные партии и течения, высказываясь одновременно за пролетарские массовые выступления в духе социал-демократов и за индивидуальный террор в духе социалистов-революционеров.

Видных социалистов-революционеров в Женеве в то время было очень много. Была там и знаменитая «бабушка русской революции» Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская.

Брешко-Брешковская еще в 70-х годах, как революционная народница, была сослана на каторгу, откуда бежала и, вновь арестованная, снова очутилась на каторге, где была приговорена к наказанию плетьми. Она не просила снисхождения.

«Позорите других, позорьте и меня!» Но наказать ее плетьми все же не решились.

Я познакомился с Е. К. Брешко-Брешковской в середине 90-х годов в Петербурге. Она к.тому времени отбыла срок каторги и ссылки и получила возможность выбирать место жительства по своему усмотрению. Было ей тогда лет пятьдесят. Высокая, плотная женщина, пожилая, но далеко еще не старая. Коротко остриженные густые темно-русые волосы серебрились обильной сединой. Красное, как бы обветренное лицо, с грубоватыми чертами и не слишком выразительными глазами, смотрело радушно. Курила бабушка почти беспрерывно, но с толком, с расстановкой, без нервности, как и полагается пожилой положительной женщине, без предрассудков. Окружена была молодежью, особенно девушкам-сибирячками. Они радостно кружились вокруг нее и смотрели на нее с обожанием.

Всем внучатам бабушка говорила «ты», но с большинством взрослых держалась еще на «вы». Впоследствии она говорила «вы» лишь людям правительственного лагеря и тем из революционеров, которым почему-нибудь не доверяла. Попасть у ней на «вы» значило попасть в немилость.

Во время первого нашего знакомства Екатерина Константиновна очень хлопотала о своем сыне Николае Николаевиче, юном вертлявом брюнетике со смазливым лицом, на котором особенно бросались в глаза хорошенькие, остренькие усики. Он писал больше повести, и мать старалась провести его в хорошую литературную среду, что ей не удалось. Николай Николаевич попал в бульварную прессу, где вполне акклиматизировался и приобрел славу сотрудника на все руки.

В Женеве в 1902 — 1903 году она выглядела уже старухой, но очень крепкой. Жила она на окраине, в доме с хорошеньким садиком. По обыкновению окружена была молодежью; были тут и девушки, и юные матери с грудными детьми. Бабушка была в центре, окруженная, как сиянием, восторгом внучат. Восторг ей, видимо, нравился. К слову «бабушка» начали прибавлять слово «революции», что придавало ему неприятный привкус какого-то почетного титула.

К ней являлись юноши и девушки из вне-партийных, вне-революционных кругов, и она их посвящала в революционеров, а затем наиболее избранных благословляла на террор, предавая в распоряжение зловещего Евно Азефа. Перед Азефом она преклонялась даже

в буквальном смысле: рассказывали, что на одном партийном собрании после убийства Плеве она отвесила ему поклон до земли [94].

«Бабушка» благословила на террор несчастную Татьяну Александровну Леонтьеву. Леонтьева, аристократка по матери, мечтала о великом счастье убить на придворном балу самого царя, а убила в швейцарском отеле какого-то мирного немецкого коммерсанта, приняв его за русского министра внутренних дел П. Н. Дурново.

Меня бабушка очень хотела втянуть в партию социалистов-революционеров.

Гуляя со мной по саду, она говорила добродушно-наставительно:

— Чего держишься в сторонке? Иди к нам, с миром надо работать, а не в одиночку. Разногласия — вздор. Вон сухое дерево! Решили срубить, чего же тут толковать, как рубить. Взял топор и срубил.

Не помню уже всех ее доводов, но помню, что они были до неловкости примитивны и направлены против вреда излишних умствований. Это было нечто в роде вариации на басню Хемницера «Метафизик». Спорить с ней было невозможно; как старый верующий человек, она возражений не воспринимала, пропуская их мимо ушей.

Должно быть, она думала, что сумела повлиять на меня; по крайней мере простилась по-дружески и даже расцеловалась.

Шел от нее с той неловкостью в душе, с какой должен итти неверующий после беседы с Иоанном Кронштадтским.

Тогда бабушка была еще Иоанном Кронштадтским, но ее уже старались превратить в какую-то Иверскую или Казанскую. Жестоко живого человека превращать в икону, хотя бы чудотворную. Надо отдать справедливость бабушке: против превращения в икону она, видимо, боролась.

С Брешко-Брешковской я чувствовал себя неловко. А вот с другим старым революционером, бывшим народником и народовольцем, а затем социалистом-революционером, Егором Егоровичем Лазаревым чувствовал я себя совсем просто и мы быстро подружились, хотя взгляды у нас были разные.

Правоверных эсдеков Егор Егорович недолюбливал, но меня он считал еретиком с анархическим уклоном и потому выделял своею особою приязнью. Одно время мы с ним были соседями, оба жили над Клараном, я пониже, он повыше, в деревне Божи. У него была там ферма и кефирное заведение, кроме того нечто в роде маленького пансиона для приезжих русских. Работ, хлопот и забот — уйма, справлялся с ними он только благодаря другу-жене, такой же энергичной работяге, как и он.

Кефир был превосходный и мог бы дать хороший доход, но в действительности Лазарев еле сводил концы с концами, так как много кефира шло бесплатно неимущей эмигрантской братии. Моим детям он также ежедневно присылал по две бутылки кефира, а об уплате за него я не смел и заикнуться. В пансионе многие кормились бесплатно. При всем том он ухитрился не мало работать и для революции, состоя членом партии социалистов-революционеров. Писал брошюры для крестьян, хлопотал по организационным делам, примирял поссорившихся и т. п. Всегда бодр и почти всегда весел. Как теперь вижу невысокую сухую фигуру в неизменной темно-серой пакидке и круглой мягкой шляпе. Лицо типично-великорусское, мужицкое: худое, со втянутыми щеками, над которыми торчат острые скулы, с задорным острым носом и смышлеными серыми глазами; бородка жиденькая, седенькая. Говорит в нос, немного гнусавя, всегда почти с шуточкой, с присказкой. Нельзя называть его господином, не идет к нему и название товарищ; он попросту дядя, дядя Егор.

Егор Егорович много раз сидел в тюрьме, бывал и в ссылке, но вспоминать об этом не любил. В какой-то свободный промежуток между тюрьмой и ссылкой он познакомился с Львом Николаевичем Толстым и даже некоторое время жил у него в доме. Толстой его очень полюбил: сначала как мужика, каким он и был как по происхождению, так и по натуре, а затем и как революционера. Он вывел его в своем романе «Воскресение» под фамилией Набатова. Характеризовал его ярко и верно.

Таким же простым и цельным человеком, как Лазарев, был и Л. Э. Шишко, когда-то член кружка чайковцев. В 1902 году, когда я с ним познакомился, вид у него был чрезвычайно болезненный. Видно, не легко прошли для него годы тюрьмы и ссылки, но не было в нем ни малейшей озлобленности. По натуре человек мягкий, я бы сказал нежный, он, как социалист-революционер, стоял за террор отнюдь не из чувства мести, а из страстного желания приблизить момент полного раскрепощения крестьянства, которое он не мыслил без раскрепощения земли от частной собственности.

И Лазарев, и Шишко мирились с теоретическим главенством В. М. Чернова, но, как мне казалось, недолюбливали его.

— Если Чернов и другие наши ученые слишком мудрить будут, то мы от них отколемся и свою мужицкую партию образуем, — говорил мне как-то Лазарев.

В стороне от партийных и фракционных боев стояла старушка Жуковская, вдова известного анархиста, одного из друзей Бакунина [95]. В Женеве она жила на покое.

Я навестил ее, и она мне много рассказывала о Бакунине, которого хорошо знала и, видимо, очень любила.

Слушая ее рассказы, я ясно представлял гигантскую фигуру апостола духа разрушающего, выражение глаз которого было то грозным, почти свирепым, то мягким, простодушным, детски-наивным.

Как женщина, Жуковская не могла не затронуть интимной стороны жизни Бакунина. Между прочим, она рассказала, как Бакунин в молодости пережил несчастную влюбленность и в отчаянии решил покончить с собой. Целую ночь в одном белье он пролежал под холодным дождем в осеннюю стужу на земле, но даже насморка не схватил.

Был с визитом я и у Г. В. Плеханова. Первый раз я видел Плеханова еще в 1890 году. Тогда он был молод. Изящная фигура, интеллигентное лицо с небольшой бородкой клином и густыми черными бровями, по-мефистофельски изогнутыми над живыми, насмешливо-стреляющими по сторонам глазами.

Мы встретились с ним на вокзале, где вместе провожали русско-итальянскую революционерку Кулешеву [96]. Пришли провожать Кулешеву и три русских студентки Бернского университета: две молоденькие девушки и старая нигилистка Воронцова, фиктивная жена известного экономиста-народника Василия Павловича Воронцова (В. В.), с которым Плеханов вел ожесточенную полемику [97].

Воронцовой было тогда уже под пятьдесят лет, но она очень усердно училась на медицинском факультете, возобновляя занятия, прерванные в 70-х годах арестом и заключением в Петропавловскую крепость.

Когда Кулешева познакомила Плеханова с Воронцовой, тот, приподняв свой котелок, с подчеркнутой любезностью спросил, не родственница ли она известного экономиста?

Воронцова с усмешкой ответила, что родство ее с Василием Павловичем фиктивное. Брови Плеханова еще более изогнулись и выразительно поднялись.

Молоденькие курсистки из стеснения отошли в сторону. Глаза Плеханова несколько раз стрельнули в них, и затем он со смаком сказал:

— Одна — прехорошенькая.

Добавил еще какую-то галантную штуку, которую я забыл. Но хорошо помню, что Воронцова со свойственной старым нигилисткам прямотой сказала:

— Эх вы, революционные вожди! Как только увидят хорошенькую женщину, так непременно выпалят какую-нибудь пошлость.

От первой встречи с Плехановым у меня осталось несколько неприятное впечатление.

Но в 1902 году он, можно сказать, обворожил меня и как радушный хозяин, и как интересный, умный собеседник, умеющий говорить и слушать. Мне тогда и в голову не приходило, что он, как теперь это видно из писем к Ленину, враждебно относился к «Жизни, а следовательно, и ко мне лично.

Разговор вращался главным образом около литературы, которую Плеханов любил и хорошо знал. С большим интересом Плеханов расспрашивал меня о Горьком.

Очень хорошее впечатление произвела на меня и жена Плеханова, Розалия Марковна. С одной из дочерей Плеханова я познакомился еще раньше в Париже, где она останавливалась в нашей редакционной квартире, как знакомая Бонча-Бруевича. Меня поразило, что она очень плохо говорила по-русски и была почти совсем не знакома с русской литературой. Не читала даже Некрасова, которого так любил и понимал ее отец. А ей было уже лет восемнадцать.

Кажется, в первое же посещение Плеханов предложил мне быть одним из членов-учредителей организуемого им в Женеве марксистского клуба. Я согласился и был на организационном собрании.

Плеханов на этом собрании почти ничего не говорил, был почему-то не в духе. В мою память врезалась его фигура. Он сидел, прислонившись к стене в черном котелке, скрестив руки на груди. Лицо усталое, бледное, болезненно одутловатое, которому высоко приподнятые брови придавали выражение застывшего не то недоумения, не то недовольства.

Вскоре после этого я узнал Плеханова, как оратора.

## XXI

## РУССКАЯ ЖЕНЕВА, КОНЕЦ «ЖИЗНИ» И ТИПЫ ЛАТЫШЕЙ

В. И. Ульянов-Ленин. — Исторический диспут. — В. М. Чернов. — Речь Плеханова. — Два террора. — Гоц и Минор. — Последний съезд организации «Жизнь». — Роспуск организации. — Библиотека русского пролетария. — Письмо Ф. Розина.

Осенью 1902 года в одной из зал Женевы состоялся диспут о социалистах-революционерах. Докладчиком выступал В. И. Ульянов-Ленин, приехавший из Лондона, где в то время издавалась «Искра».

На этом диспуте я впервые увидел Ленина. Искал сходства с его покойным братом Александром. Сходства не было. В семье Ульяновых, видимо, два типа. На Александра Ильича похожа его старшая сестра

Анна Ильинична. С Владимиром Ильичом есть сходство у младшей сестры Марьи Ильиничны.

Ленину было тогда 32 года, но казался он значительно старше. Уже тогда у него была солидная плешь, обнажавшая хорошо вылепленный череп с остатками рыжих волос. Лицо с сильно развитыми скулами и с выдающимся подбородком, прикрытым рыжею бородкою, знакомо теперь всем и каждому. Вся суть его была в глазах, карих, умных, смеющихся и лукаво, и ласково. Глаза эти я хорошо изучил впоследствии, когда говорил с Лениным с глазу на глаз в 1918 и в 1920 годах.

Небольшого роста, коренастый, с быстрыми, уверенными жестами, Ленин производил впечатление человека, устремленного вперед и не умеющего защищаться иначе, как нападая.

Разнося теорию и практику социалистов-революционеров, Ленин хлестал их резкими словами, как хлыстом. Раз, раз, раз! Без пафоса, но с наслаждением. Рикошетом попадало и «хвостистам». Без колебаний, без сомнений.

Социалисты-революционеры по сути своей партия мелкобуржуазная, но и свою мелкобуржуазность они не умеют выявлять настоящим образом. Они смешивают ее с чуждой им идеологией пролетарской. Все замазывают и ничего не договаривают. Суются к рабочим, чтобы затуманивать их классовое сознание. Они вредны, и мы должны бороться с ними. Их террор не имеет ничего общего с настоящим революционным террором, террором якобинцев. Мы якобинцы, но мы связаны с пролетариатом, как общественным классом. Наша программа и наша тактика проверены законами общественного развития.

Таково было ядро доклада Ленина. Ленину отвечал В. М. Чернов. Я его видел тоже в первый раз. Был он, кажется, ровесником Ленину, В меру упитанный, весь какой-то мягкий, с густыми русыми волосами и русой подстриженной бородкой, с заметной косиной в лукавых глазах и слегка подслащенной улыбкой на толстых губах, он мог быть принят или за хозяйского сынка, или за старшего приказчика, вылезающего в хозяева; во всяком случае его можно было бы выпустить на сцену без всякого грима во многих комедиях Островского.

Чернов явился с целой кипой книг, в том числе с тремя томами «Капитала» Маркса, цитатами из которого пытался обосновать программу социалистов-революционеров. Переходя от обороны к нападению, он уличал искровцев в извращении марксизма.

Речь Чернова произвела на колеблющихся известное впечатление. На подмогу Ленину под шумные аплодисменты поднялся на кафедру Плеханов. Говорил он с продуманной жестикуляцией, говорил красно,

точнее пестро: так и сыпались остроты, цитаты из Крылова, из Гоголя, из Щедрина. Несмотря на это или именно поэтому, слушать его было жутко, ибо легкая шутливая форма особенно ярко оттеняла жесткость содержания.

Нападая на террор социалистов-революционеров, он восхвалял террор великой французской революции, террор Робеспьера.

— Каждый социал - демократ, — говорил Плеханов, — должен быть террористом à la Робеспьер. Мы не станем подобно социалистам-революционерам стрелять теперь в царя и его прислужников, но после победы мы воздвигнем для них и многих других гильотину на Казанской площади...

Не успел Плеханов закончить этой фразы, как среди жуткой тишины переполненной залы раздался отчетливый возглас:

— Какая гадость!

Сказано это было громко, но спокойно, убежденно и потому внушительно.

Плеханов побледнел, вернее, посерел, и на минуту смешался. Окружившая Плеханова толпа молодых поклонников и поклонниц поддержала своего учителя неистовыми аплодисментами, а по адресу протестанта понеслись негодующие крики: «Вон, вон его!»

— Это, наверное, кто-нибудь из русского консульства, — сказал мне В. Д. Бонч-Бруевич.

Но протестантом оказался не служащий русского консульства, а редактор «Свободы» Надеждин.

Неделикатный возглас сбил Плеханова, и он потом никак не мог найти верного тона.

Ленину на этот раз помог не он, а социалисты-революционеры Гоц и Минор.

Гоц был слишком откровенен и признался, что среди социалистов-революционеров нет определенного отношения к теории Маркса. А простодушный Минор в своей речи разносил не столько Ленина, сколько Чернова, хотя, конечно, не замечал этого. Чернов в особую заслугу партии с.-р. ставил, что она придает огромное значение рабочему законодательству и введению восьмичасового рабочего дня, а Минор говорил, что о таких пустяках в настоящее время грешно и преступно хлопотать. «Свалим самодержавие, тогда видно будет, что нужно делать».

Надо было видеть наслаждение, с каким Ленин слушал речи Гоца и Минора, надо было слышать, с каким убийственным сарказмом он произносил заключительное слово, сталкивая лбами Чернова, Минора и Гоца.

— Минор, — вот настоящий идеолог партии с.-р. Вы слышали, как он выкидывал за борт ненужный мелкой буржуазии восьмичасовой рабочий день. Учитесь у него, господин Чернов. А как превосходно выяснил сущность научного мировоззрения своей единой партии уважаемый господин Гоц. Одни из товарищей за Маркса, другие — против Маркса, а третьи одновременно и за Маркса, и против него. К эти последним принадлежит, вероятно, и товарищ Чернов.

Парируя обвинение в искажении цитат, Ленин с лукавою усмешкою сказал:

— Нас обвиняют в том, что мы, цитируя орган с.-р., выпускаем некоторые слова; каюсь, мы делаем нечто большее, мы вставляем целые фразы в цитаты из их литературы, так как они не смеют или не умеют доводить свои мысли до конца.

Речи Ленина и Плеханова меня взволновали и заставили серьезно задуматься, могу ли я работать в союзе с теми, кто считает, что каждый социал-демократ должен быть террористом à la Робеспьер и что социал-демократы якобинцы, связанные с рабочей организацией. Задуматься приходилось тем более, что ближайший мой товарищ по редакции «Жизни» В. Д. Бонч-Бруевич подписывался под каждым словом речей Плеханова и Ленина.

Якобинцем я быть не мог, якобинскому террору я не сочувствовал.

Много я передумал в то время о своих разногласиях с лидерами тогдашней русской социал-демократии и в конце концов решил, что мне лучше уйти из марксистского клуба, основанного Плехановым. Я написал ему об этом письмо. Он старался уговорить меня остаться, но я все же ушел.

Встал передо мной и другой, несравненно более важный вопрос о дальнейшей судьбе нашей организации и вместе с тем «Жизни». Жили мы все как будто в дружбе, но идейного единства не было. Да и территориально мы были разобщены.

Соскис остался в Лондоне, Муриновы — в Париже, Ермолаев, Сац, Сергеев — почти все время находились в России, Пунга сидел в Варшавской цитадели, Весман показывался все реже и реже и становился все более замкнутым и молчаливым. Он переживал внутренний кризис, который закончился тем, что, приехав в Ригу, добровольно отдался в руки жандармских властей и был, разумеется, посажен в тюрьму. Хилков держался чрезвычайно корректно, но пролетарская психология ему была совершенно чужда. Бонч-Бруевич, после того, как в Женеву приехала его жена, Вера Михайловна, ярая плехановка, охладел ко мне и, видимо, подготовлял почву для поглощения

«Жизни» «Зарей» и «Искрой». С Куклиным отношения у меня были попрежнему хорошие.

Куклин к первым десяти тысячам, данным в Лондоне, прибавил потом еще тридцать тысяч. Готов был отдать и все свое состояние, но я его от этого удержал. Когда мы в Париже поехали с ним в банк, где хранились его деньги, чтобы перевести на «Жизнь» двадцать пять тысяч, Куклин сказал мне:

— Мне стыдно быть имущим среди неимущих. Берите для «Жизни» все.

— Довольно и того, что вы дали, — ответил я. — Отдадите все — жалеть будете. «Жизнь» может закрыться, заработка вы здесь не найдете, в Россию вам вернуться нельзя, что вы станете тогда делать? Во всяком случае, подождите.

Пожертвовал Куклин организации «Жизни» и свою библиотеку, в которой было очень много ценных и редких книг. Но потом пожалел об этом и на съезде, который постановил переезд в Женеву, заявил, что библиотеку он «Жизни» не жертвовал и считает ее своею собственностью.

Некоторые из членов нашей организации из деликатности поддержали Куклина, но я потребовал, чтобы на голосование был поставлен вопрос, жертвовал Куклин библиотеку нашей организации или нет? Большинство, в том числе и жена Куклина, Марья Алексеевна, голосовали утвердительно, т.-е. за то, что библиотека пожертвована нашей организации.

После этого я предложил проголосовать вопрос, не согласна ли организация вернуть библиотеку Куклину? За это голосовали все, в том числе и я.

В Женеве Куклин сделал свою библиотеку общедоступной и в ее читальной зале можно было встретить самую разнообразную публику.

Куклин чувствовал себя в организации «Жизни» недостаточно свободным, ему хотелось бесконтрольно издавать материалы по революционному движению, что было не трудно, так как в его библиотеке были почти все старые революционные издания. Во всяком случае увлечение «Жизнью» у него прошло.

Взвесив все эти обстоятельства, я пришел к заключению, что наша организация нежизнеспособна и что «Жизни» пришел конец. Я надеялся, что вне организации я лучше использую свои силы и лучше, свободнее сумею развивать и отстаивать свои взгляды.

22 декабря 1902 года состоялся последний съезд нашей организации. На нем было решено распустить организацию и ликвидировать

издательство. Ликвидировать было поручено Куклину, к которому и перешла типография, все издания и небольшой остаток денежных средств, с условием, чтобы все это он использовал в интересах революции на издание революционной литературы.

С Куклиным я вошел в соглашение о моем редактировании «Библиотеки русского пролетария», в которую по моему плану должны были войти наиболее яркие и наиболее популярные сочинения теоретиков социализма; прежде всего, «Манифест Коммунистической Партии» и «Женщина и социализм» Августа Бебеля [98].

Для этой библиотеки нужна была, конечно, типография, которую Куклин не мог поэтому передать «Искре», как, вероятно, хотел Бонч-Бруевич.

«Жизнь» прекратила свое существование как раз в то время, когда ее издания, в особенности ее «Листки», стали проникать в рабочую и даже солдатскую среду, как раз в тот момент, как ее начали понимать и любить.

Были два письма от представителей социал-демократических течений, не удовлетворенных «Искрой». Эти представители приехали за границу, чтобы завязать постоянные связи с «Жизнью», и прочли в 6-й книжке заявление о ликвидации нашей организации.

Многих своих товарищей по «Жизни» я вспоминаю теперь с самым лучшим дружеским чувством. С тремя латышами, Весманом, Пунгой и Розиным, у меня ни разу не было даже намека на недоразумение. Хорошее чувство ко мне сохранилось, видимо, и у Розина.

Сообщая мне в сентябре 1904 года об удачном бегстве Г. А. Пунги, Розин просил меня сотрудничать в латышских социал-демократических изданиях.

«Если у вас, — писал он, — будет свободное время, то мы просим писать для нас или политические передовицы, в роде тех, которые вы помещали в «Листках Жизни», или статьи по теоретическим и программным вопросам, мы были бы вам очень благодарны. Все наши восхищались вашими статьями, и я давно бы обратился к вам с просьбой, только меня стесняло то, что мы не можем предложить вам определенного гонорара...»

## XXII

## КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УКЛОН (1903—1905 гг.)

«Теория и практика пролетарского социализма». — Отход от социал-демократии к коммунизму. — Арест И. И. Сергеева. — 8 положений пролетарской социал-демократии. — Теория стачек. — Стачка солдат, как обеспечение социальной революции. — Вопрос об учредительном собрании. — Выяснение понятия государства. — Гегель. — Лассаль. — Маркс и Энгельс. — Парижская Коммуна, как прообраз социальной революции. — Мое возражение Энгельсу. — Совпадение моих взглядов о государстве с взглядами Ленина.—Мои разногласия с Каутским по вопросу о социальной революции. — Две утопии.

Два с половиной года, с января 1903 г. по июль 1905 г., были для меня временем усиленной мозговой работы. Усиленной и производительной. Творчески читал, наблюдал, думал до конца, пробиваясь сквозь неизбежные противоречия, писал, много писал. Перевел «Манифест Коммунистической Партии», «Женщину и социализм» Бебеля, «От обороны к нападению» В. Либкнехта, проредактировал несколько десятков книг для «Библиотеки русского пролетария», пятьдесят номеров которой излагали и всесторонне освещали международное революционное движение.

Закончил начатую раньше книгу «Германия и ее политическая жизнь» для «Знания». Написал брошюру «Всеобщие стачки». Прочел ряд докладов на злободневные политические темы в русских колониях Парижа, Женевы, Лозанны и Льежа.

Но все это не главное. Главным была «Теория и практика пролетарского социализма», большой труд почти в 1000 страниц убористой печати. Начал его, как пояснение к переработанной мною программе «Жизни», увлекся и получилось нечто более значительное: критический обзор социалистических учений, связанный с обзором международного рабочего движения. Рассуждений в книге не много, она насыщена фактами, из которых вытекают выводы. Книга строго марксистская в том смысле, что я пользовался методом Маркса при изучении общественных явлений. Марксизм — не догма, марксизм — метод, марксизм — уменье рассматривать общественные явления в их развитии, преодолевающем противоречия, марксизм — уменье схватывать динамику жизни.

Работая над книгой, развивался и я, развивался не без противоречий, уходя от социал-демократизма к коммунизму.

Недостатком книги была излишняя резкость, с которой я нападал на тогдашних социал-демократов.

Эта резкость помешала распространению книги. Власти уничтожали ее, социал-домократы бойкотировали, а иногда тоже уничтожали. Впрочем, в Россию попало очень немного «Теории и практики пролетарского социализма». Транспорт с первыми ее выпусками провалился. Вместе с транспортом в лапы жандармов попался и «Красный почтарь» сначала «Жизни», а затем «Библиотеки русского пролетария», мой юный друг Иван Иванович Сергеев.

У меня сохранилось его письмо, написанное перед отъездом в Россию из Берлина, письмо, полное радужных надежд. Он сообщает о том, что в Гомеле сто организованных р у с с к и х рабочих дали в о о р у ж е н н ы й отпор погромщикам и спасли еврейское население.

«От таких вестей, — прибавляет он, — на душе становится прямо-таки светлый месяц май...»

Он просит меня не сердиться на него, что поторопился уехать, не простившись со мной. «Хочется поскорее быть в России...»

А в России его уж поджидали жандармы. Проследить его поездку помогла одна интеллигентная шпионка, притворявшаяся безумно в него влюбленной.

Перейдя границу, Сергеев заметил засаду и, понадеявшись на свои быстрые ноги, бросился бежать. Бежал несколько верст и, казалось, ушел от преследователей. Спрятался в сеновале, но его заметили деревенские мальчишки и указали жандармам.

С арестом Сергеева наша «Библиотека» осталась без самостоятельного транспорта. Революционные организации брали издания «Библиотеки русского пролетария», за исключением выпусков моей книги.

Так, напр., Акимов-Махновец, организовавший транспорт для Петербургского соц.-дем. комитета, находившегося в оппозиции к «Искре» и большинству II съезда, соглашался перевозить все издания «Библиотеки русского пролетария» за исключением выпусков моей книги.

«...Он думает, — писала мне М. А. Куклина, — что ваши брошюры безусловно вредны, так как могут привести пролетариат к революции 48 года: Вы зовете к социальной революции, тогда как пролетариат в состоянии добыть лишь политическую свободу».

Комитет русской читальни в Женеве не разрешил положить выпуски моей книги на стол, где лежали все новинки.

В Женеве была очень небольшая группа товарищей, разделявших мои взгляды. Мы выпустили листок «Пролетарская и «революционная»

социал-демократия», в котором указали восемь пунктов разногласий между нашими взглядами и взглядами, которые излагались в «Искре» и в сочинениях ее руководителей.

Себя мы причислили к социал-демократии пролетарской со следующими основными положениями:

1. Социал-демократия — это рабочий класс, насколько он ведет сознательную классовую борьбу.

2. Идеология рабочего класса и его классовое политическое сознание вырабатываются самим пролетариатом в процессе его борьбы.

3. Революция, к которой стремится русский пролетариат, может быть лишь пролетарской в том смысле, что она будет совершена пролетариатом в его собственных интересах во имя социализма.

4. Союзником пролетариата может быть только трудящаяся масса (малоземельные крестьяне, кустари, ремесленники и т. д.), интересы которой требуют замены капиталистического строя строем социалистическим.

5. Аграрный вопрос разрешается конфискацией всех частновладельческих земель за исключением обрабатываемых самими владельцами без наемного труда.

6. В интересах пролетариата заменить централизованное государство союзом самоуправляющихся общин и предоставить всем народностям, включенным в современную Российскую империю, право на полное отделение.

7. У пролетариата нет отечества. В интересах пролетариата немедленно уничтожить военную службу.

8. Специально свойственным пролетариату способом борьбы является всеобщая стачка с революционно-активными действиями.

С этими тезисами я приступил в январе 1903 года к своей работе, которая сначала выходила отдельными выпусками под названием «Какова должна быть программа русских пролетариев», а в законченном виде появилась в марте 1905 года под названием «Теория и практика пролетарского социализма».

За два с лишком года работы мои взгляды эволюционировали в сторону коммунизма. В предисловии, написанном 1 марта 1905 года, я говорил:

«Изучение пролетарской борьбы и думы, нередко мучительные, думы, содержанием которых являлись такие великие события, как современные всеобщие стачки, и такие мелкие партийные эпизоды, как всевозможные социал-демократические съезды и споры, не могли остаться без влияния на мои убеждения: многое «еретическое»

укрепилось, многое «ортодоксальное» окончательно рухнуло. Если я чувствую теперь связь с социал-демократией, то только с социал-демократией, как борющейся пролетарской массой, а не с социал-демократией, как партией социал-демократических депутатов и литераторов. Я никогда не был социал-демократом — государственником, презрительно относящимся к стачкам и видящим все спасение в захвате государственной власти, но теперь мне хочется подчеркнуть, что я социал-демократ антигосударственный, видящий во всеобщей революционной стачке единственный путь к пролетарской социальной революции, которая должна вместо капиталистического строя установить строй коммунистический, я социал-демократ - коммунист».

Излагая историю стачечного движения более, чем в двадцати странах, я старался показать, как стачки развиваются и вширь и вглубь, как они становятся все более всеобщими, переходя за пределы профессий и областей, приближаясь к великой стачке всех профессий и всех стран. Старался также показать, что каждая стачка, разрастаясь, становится социальной, т. е. экономической и политической одновременно: к лозунгам экономическим присоединяются лозунги политические и наоборот. Я находил совершенно верным замечание одной реакционной немецкой газеты, что всякая стачка — маленькая революция.

Во всякой стачке рабочих имеется зародыш революционного рабочего движения, зародыш пролетарской революции. В каждой отдельной стачке проявляется, во-первых, противоположность интересов хозяина и «его» рабочих, во-вторых, солидарность рабочих между собою, а это — две основы классовой борьбы пролетариата. Стачки в своем развитии неминуемо ведут к созданию рабочих организаций и рабочих союзов.

Ставя преграды ненасытной эксплоатации капиталистов, стачки спасают рабочих от полного физического и духовного вырождения, они вырывают у буржуазии уступки в виде уменьшения рабочего дня, увеличения рабочей платы и т. д.; но это лишь одна сторона их боевого значения. Еще важнее, что развивая рабочую солидарность, приучая рабочий класс к самообладанию и дисциплине, помогая ему сознать свои силы и слабости, наглядно доказывая ему, что он в сущности творец всего богатства, что без его труда нет производства, нет культуры, нет жизни, стачки подготовляют окончательную победу пролетариата над буржуазией, подготовляют социальную революцию, подготовляют экспроприацию экспроприаторов во имя устранения угнетения человека человеком.

Но для окончательной победы пролетариата, — думал я, — для успеха социальной революции стачки рабочих недостаточно. Ей на подмогу должна притти стачка солдат. Когда солдаты отказываются стрелять в своих братьев и переходят на их сторону, тогда успех социальной революции обеспечен.

Во всеобщей стачке рабочие дезорганизуют буржуазию, но себя организуют. Солдаты же, уничтожая военную дисциплину, дезорганизуют самих себя, чтобы усилить организацию пролетариата, против которой была создана их собственная организация. Известное значение, хотя несравненно меньшее, я придавал и массовому отказу от платежа налогов.

Я надеялся, что всеобщая стачка рабочих и солдат вспыхнет при начале той войны, которую подготовляет международная буржуазия, и таким образом будет положен конец войне и господству буржуазии, начнется обновление человечества на началах действительной свободы и действительного равенства.

Но я боялся, что социал-демократические вожаки, депутаты парламентов, профсоюзная бюрократия и так далее в решительный момент изменят интернационализму и облекутся в мантии патриотизма.

В особенности подозрительно казалось мне уклончивое отношение к вопросу о войне немецких социал-демократов. Странным казалось мне и поведение Плеханова на Цюрихском международном конгрессе, где он решительно выступал против всеобщей стачки в момент объявления войны [99]. Даже в речах и статьях Бебеля и Каутского я отмечал патриотические нотки, приятные буржуазии и опасные для пролетариата. Так, например, Каутский в одной из своих статей утверждал, что вопрос о неповиновении солдат не подлежит для нас обсуждению, так как во всей немецкой социал-демократии в настоящее время не думает никто вести в армии пропаганду и возбуждать ее к неповиновению.

Считая, что пролетариат повсюду, в том числе и в России, должен готовиться к своей пролетарской, а не буржуазной революции, я думал, что он может обойтись и без учредительного собрания, может перешагнуть через него.

Вот почему в последней редакции «пролетарской программы», которой заканчивалась «Теория и практика», нет учредительного собрания.

Непосредственно после теоретической части следовала часть практическая, начинающаяся словами:

«Опираясь на всеобщую стачку — трудовую, военную и податную, — борющийся пролетариат стремится покончить с господством

буржуазии, политически проявляющимся в государстве, и положить начало новому общественному строю на следующих началах...»

Первым пунктом стояла «федерация областных и национальных союзов самоуправляющихся общин».

Я придавал большое значение выяснению роли государства в классовой борьбе.

Одна из глав моей книги называлась «Государственная власть и общественное самоуправление».

Она начиналась словами: «Рассеять тот якобы философский туман, которым призванные и непризванные ученые бюрократы окружили понятие государства, лежит поистине в кровных интересах пролетариата».

Больше всего государственного тумана напустил, как известно, философ-бюрократ Гегель. С него я и начал свою критику учений о государстве.

Идеи Гегеля имели, как известно, большое влияние на Лассаля, который утверждал, что государство есть учреждение, в котором должны осуществляться все добродетели человечества.

Лассаль пытался объединить идею рабочего класса с идеей государства. В этом я видел огромную ошибку, чреватую тяжелыми последствиями для немецкого пролетариата, насколько он подпадал под влияние лассалевских государственных идей.

Я напоминал слова Энгельса, что предрассудок насчет государства, особенно у немцев, из философских кружков проник в общее сознание буржуазии и даже многих рабочих.

Правильную оценку государства я находил у Маркса и Энгельса, которые в данном случае были не под влиянием Гегеля, а под влиянием опыта Парижской Коммуны.

Для меня Парижская Коммуна 1871 года была прообразом будущей социальной революции. Коммуна разбивала государственную машину и создавала вместо нее такую организацию общественного управления, которая была как бы противоположностью государственной власти.

Характеристика Парижской Коммуны, данная Марксом в его книге «Гражданская война во Франции», могла, по моему мнению, служить как бы наглядным руководством для пролетариата в момент социальной революции.

В своем отрицательном отношении к государству я был верным последователем Маркса и Энгельса, а меня считали анархистом.

Как далек я был в то время от анархизма, показывает возражение, которое я делаю Энгельсу в той же главе своей книги.

Приведя из предисловия к «Гражданской войне» характеристику государства, как машины для угнетения одного класса другим, я писал:

Оценивая «зло» государства очень верно, Энгельс в указанном предисловии к «Гражданской войне» впадает, к сожалению, в ошибку, которую делают многие анархисты.

У него государственная власть отделяется от всего общества и становится его повелителем.

«Путем простого разделения труда общество создало себе особые органы для охранения своих общественных интересов. Но с течением времени эти органы, и во главе их государственная власть, превратились из слуг общества в их повелителей».

Между тем, в действительности, как в других местах признает сам Энгельс, государственная власть не повелитель всего общества, а орудие господства одного класса над другим.

Ленин в своей известной книге «Государство и революция», написанной им в 1917 году, высказывал о государстве те же мысли, как и я в главе о государственной власти в книге «Теория и практика».

И для него Парижская Коммуна бы прообразом социальной революции, и он для подтверждения своих взглядов пользовался теми же цитатами из Маркса и Энгельса, как я.

В апреле 1918 года в Кремле в помещении Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевич познакомил меня с Н. К. Крупской. Он назвал меня при этом «нашим анархо-большевиком». В последовавшей затем беседе я в кратких словах выяснил Надежде Константиновне свое отношение к государству.

Выслушав меня, она сказала:

— То, что вы говорите, совершенно совпадает с взглядом Владимира Ильича. Прочтите недавно вышедшую его книгу «Государство и революция».

Я прочел и убедился, что Надежда Константиновна была права.

В главе «Экспроприация экспроприаторов» я подробно выяснял, что должен будет предпринять пролетариат на другой день после социальной революции, чтобы осуществить коммунистический строй. Я резко расходился с предположениями и предсказаниями Каутского в его брошюре «На другой день после социальной революции».

Каутский предполагал, что после победы пролетариата капиталисты продадут свои предприятия.

Каутский был озабочен тем, чтобы найти для них хорошего покупателя.

«Какие же представляются капиталистам покупатели, которым они могли бы продать свои предприятия? Часть фабрик, копей и т. д.

могла бы быть продана самим работающим в них рабочим, которые продолжали бы затем производство на кооперативных началах. Другие предприятия могли бы быть проданы потребительным товариществам, наконец, третьи общинам или государству. Но ясно, что капитал обратится в большинстве случаев к наиболее платоспособным и надежным покупателям, а это — государство и общины, и уже по одной этой причине большинство предприятий перейдет в государственную и общинную собственность. Что социал-демократия, раз она достигнет власти, будет стремиться к подобному решению, это — известно».

Точно так же выкупаются земли и денежные капиталы.

Делая выводы из предлагаемого Каутским «выкупа», я писал:

«Итак, «на другой день после социальной революции», после решительной победы пролетариата, после «экспроприации экспроприаторов» положение вещей представляется, по Каутскому, в следующем виде:

Капиталисты всех родов, промышленные, денежные и земельные, превращаются в кредиторов государства, получают попрежнему «хорошие» доходы, но избавляются от всякого «риска» и неприятных столкновений с рабочими, от всех «капиталистических тягот», хлопот, забот, за исключением стрижки купонов государственных бумаг.

Долги государства и общин сильно возрастут, и уплата процентов будет поглощать еще большую часть их бюджетов, чем теперь. А рабочие? Рабочие будут, разумеется, работать, на то они и рабочие. Когда один наш товарищ спросил во время Амстердамского конгресса какого-то местного социал-демократа, почему ни среди делегатов, ни среди публики совсем не видно рабочих, тот резонно ответил: «Рабочие должны работать; заседать же на конгрессах и обсуждать их интересы должны социал-демократы».

Если социальная революция произойдет по рецепту Каутского, то заседать в государственных и общинных учреждениях и обсуждать рабочие интересы будут, вероятно, государственные кредиторы, у которых найдется достаточно свободного времени не только, чтобы «предаваться наукам, искусствам», но и заниматься политикой, быть может, при поддержке той части пролетариев, которая, по уверению Каутского, «из-за денег готова на все», а денег у кредиторов государства будет достаточно.

К счастию, — писал я далее, — способ «экспроприации экспроприаторов» путем выкупа всех капиталистов представляет лишь консервативную у т о п и ю: победоносный пролетариат, повинуясь своему классовому сознанию и инстинкту, не станет выкупать того, что создано вековым трудом рабочих поколений, не станет увеличивать

государственных и прочих долгов, а все их сведет на нет, признав их недействительными.

Вообще, «другой день после социальной революции» выглядел у меня совсем иначе, чем у Каутского.

Уничтожение частной собственности на все средства и продукты производства и переход их в распоряжение самоуправляющихся общин и их союзов. Превращение крупных сельскохозяйственных, промышленных, транспортных и т. д. предприятий в общинные производительные учреждения или передача их эксплоатации рабочим союзам. Предоставление нынешним мелким собственникам права продолжать самостоятельную обработку находившихся в их владении земельных участков и самостоятельную работу в принадлежащих им предприятиях, насколько результаты их труда достигают наименьших результатов, достигаемых трудом в общинных производительных учреждениях. Устранение системы вознаграждения за труд и введенге равномерного удовлетворения потребностей всех и каждого при установлении минимума обязательного труда в зависимости от отношения между трудовой производительностью и потребностями личными и общественными данного общежития.

Я сознаю теперь, что в этих предвидениях было много утопичного, но моя утопия была утопией коммунистической и она должна была бы быть представителю революционного пролетариата ближе, чем утопия Каутского, между тем брошюра Каутского горячо рекомендовалась и распространялась революционными социал-демократами, а моя «Теория и практика пролетарского социализма» ими бойкотировалась. Не спасало ее от бойкота и то, что «утопия» в ней занимала очень скромное место по сравнению с тем, которое было отведено ценным материалам о рабочем движении и изложению социалистических программ почти всех цивилизованных наций.

Эпиграфом для своей книги я взял слова Фридриха Ланге, автора «Истории материализма».

«Счастливые натуры умеют улавливать момент, но никогда мыслящий наблюдатель не имеет права молчать на том основании, что его, как он знает, в данный момент выслушают лишь немногие.

Предисловие к «Теории и практике» я заканчивал следующими словами:

«Я знаю, что моя книга в настоящее время будет бойкотироваться всеми, мечтающими об исключительно буржуазной революции, как вообще бойкотируется все, что пишу, все, что я говорю, но в этом бойкоте я вижу одно из доказательств, что мне удалось отчасти порвать путы рутинной мысли, путы, которыми буржуазные элементы

социал-демократии стараются сдержать революционные порывы международного пролетариата.

«Если вы порвете путы рутинной мысли, — писал в 1881 году Карл Маркс, — то можете быть уверены, что вас станут бойкотировать: это единственное оружие, которым рутинеры умеют владеть в своем первом смущении».

## XXIII

## БРЮССЕЛЬ, АМСТЕРДАМ И ЖЕНЕВА (1903—1905 гг.)

Тяга в Россию. — Во дворце Эмиля Вандервельде. — Амстердамский конгресс 1904 года. — Роланд Хольст. — Жан Жорес и его словесный поединок с Бебелем. — Братание Плеханова с Катаямой. — Евно Азеф. — В бельгийской охранке. — Махайский и махаевщина. — Моя лекция «Коллективизм и коммунизм». — Письмо моих слушателей Плеханову. — Каутский, как первый ревизионист. — Переворот в «Знании». — Письмо Горького ко мне. — Мой разрыв с Горьким. — Отход от меня Куклина. — Возобновленная дружба с Агафоновым.

Литературная работа в период 1903—05 гг. давала мне большое удовлетворение, так как я писал свободно, писал то, что хотел и как хотел. Но характер моей работы — выяснение тактики и практики пролетарского социализма, переводы и редактирование социалистических книг — был таков, что невольно являлось желание принять непосредственное участие в революционной борьбе. А тут еще приходили волнующие известия о массовых стачках на юге России. Потянуло туда, где делалось то, о чем я мечтал, о чем я писал.

В бельгийской деревушке Модаве я познакомился с депутатом бельгийского парламента Хюбеном (Hubin), сыном крестьянина, бывшим рабочим. Во фракции социалистической рабочей партии он стоял на левом фланге. К нему я и обратился с просьбой добыть мне паспорт для проезда в Россию под именем какого-нибудь бельгийского гражданина. Хюбен ответил, что для этого нужно обратиться к председателю социалистической фракции Эмилю Вандервельде. Вместе с Хюбеном я поехал в Брюссель и отправился в палату депутатов. Вандервельде, вызванный Хюбеном из залы заседаний, принял меня в комнате, где депутаты разговаривают со своими избирателями.

Со времени Брюссельского конгресса Вандервельде сильно изменился: оброс жирком, на голове появилась плешка и стал он похож на солидного буржуа.

После крепкого рукопожатия я начал ему излагать свою просьбу. Лицо Вандервельде приняло тревожное выражение, он беспокойно оглянулся вокруг, не слушает ли нас кто-нибудь, и затем заявил, что о таких делах говорить в палате депутатов неудобно, и он просит меня приехать к нему на дом.

Вандервельде жил в окрестностях Брюсселя в собственной, прекрасной «белой» вилле.

Дверь отворила мне изящная горничная в белоснежном фартуке и такой же наколке на голове. Повела меня через анфиладу стильно меблированных комнат по мягким коврам в кабинет Вандервельда. Вандервельд встретил меня очень приветливо и попросил сесть в мягкое кресло, обитое желтой кожей. Я утонул в нем и в кратких словах рассказал, почему я хочу нелегально поехать в Россию и почему обращаюсь за получением паспорта именно к нему.

Вандервельде внимательно выслушал меня, с озабоченным видом помолчал несколько минут и затем заявил, что, так сказать, по партийной линии он мне помочь не может. Фракции неудобно вмешиваться в такие дела, но он может дать мне рекомендательное письмо к одному из своих друзей, который частным образом достанет мне паспорт. Вандервельде сел писать письмо, а я в это время разглядывал его кабинет.

Большая, чрезвычайно высокая комната, похожая на хорошо устроенную библиотеку. По стенам на дубовых полках книги в желтых сафьяновых переплетах, как бы нарочно подобранные для стиля к желтой кожаной мебели. Огромный письменный стол с массивным чернильным прибором. Небольшие, покрытые закрытыми и раскрытыми книгами, дубовые столики на колесиках, которые можно по мере надобности легко и бесшумно передвигать и отодвигать от стола по полу, покрытому ковром. Венецианское окно почти в пол-стены, из него виден примыкающий к вилле сад: сначала пестрый ковер из красных роз, белых лилий и разноцветных гиацинтов, затем небольшой пруд, по зеркальной поверхности которого тихо скользят белоснежные лебеди, вдали группы высоких деревьев. И все это — как раз перед глазами маленького толстенького господина, окруженного премудростью всех веков.

«Однако, — подумал я, — этому вождю бельгийских рабочих живется лучше, чем русскому царю, во всяком случае несравненно спокойнее».

Вкладывая письмо в конверт, Вандервельде сказал мне:

— Я направляю вас к директору одного из здешних банков, который в то же время председатель акционерной компании, собственницы

трамваев в нескольких русских городах. Он может вас направить в Россию в качестве одного из служащих этой компании.

Я взял письмо, поблагодарил и распрощался. Вышел на улицу с чувством какой-то неловкости и досады. Вертел в руках изящный конверт, на котором мелким бисерным почерком выведена была фамилия директора банка и председателя правления трамвайной компании, и стало мне противно итти к этому другу Вандервельде и классовому врагу бастующих русских рабочих.

— Не пойду, — сказал я себе и разорвал запечатанный конверт.

Письмо было написано на «ты» и начиналось обращением: «cher ami» (дорогой друг). Вандервельде просил его оказать мне, как человеку, имеющему большие заслуги в деле борьбы с русским деспотизмом, небольшую услугу, о характере которой расскажу я лично.

Острое чувство досады у меня прошло, но итти к другу Вандервельде с разорванным конвертом я, конечно, не мог.

Новых попыток добыть паспорт в 1903 году я больше не делал, так как стачечное движение на юге России прекратилось, и я последовал совету своих друзей, которые просили меня закончить «Теорию и практику» и лекциями растормошить заграничную публику.

В Россию я приехал лишь летом 1905 года, о чем речь будет впереди.

Летом 1904 года я вместе с Муриновыми и М. А. Куклиной ездил в Амстердам на международный социалистический конгресс.

От латышской социал-демократической печати я получил на этот конгресс корреспондентский мандат и, сидя за столом журналистов около самой ораторской трибуны, мог внимательно следить за прениями этого поучительного конгресса.

За столом журналистов иногда появлялась и апостольская фигура Домела Ньювенгуиса, который, вскоре после Цюрихского конгресса, порвал с социал-демократией и перешел в лагерь анархистов. С насмешливой улыбкой прислушивался он к речам своих бывших товарищей.

Домела в то время пользовался уважением не только анархистов, но и левых социал-демократов.

Из голландских делегатов на Амстердамском конгрессе выделялась представительница левого крыла Генриэтта Роланд Хольст. Роланд Хольст считалась специалисткой по теории всеобщих стачек, и я с нетерпением ожидал ее речи, когда обсуждался вопрос о всеобщей забастовке. Внешнее впечатление чрезвычайно благоприятное.

Стройная, красивая женщина в скромном платье реформ; она говорила приятным голосом, просто и выразительно, без всякой

жестикуляции. Но содержание ее речи показалось мне сумбурным. Она совершенно не понимала социального характера всеобщей стачки и была озабочена, главным образом, тем, чтобы предостеречь рабочих от тех опасностей, которые сопряжены с всеобщей забастовкой.

Решительней всех за всеобщую забастовку высказывался Аристид Бриан. Высокий, красивый брюнет с энергичным лицом, в хорошо сшитом длинном черном сюртуке, он требовал принятия резолюции в пользу признания всеобщей стачки одним из важнейших средств борьбы за освобождение рабочего класса.

— Если мы, социалисты, — говорил Бриан, — отвергнем идею всеобщей забастовки, то анархисты у нас, желающих экспроприировать капиталистов, экспроприируют пролетариат.

Не прошло после этой речи и двух лет, как тот же Бриан, сделавшись министром буржуазного правительства, посылал войска для усмирения французских стачечников.

Впервые на Амстердамском конгрессе я увидел и услышал Жана Жореса.

Толстый, с большим животом, с широким красным глянцевитым лицом, окаймленным жидкой бородой, Жорес походил скорее на пивовара, чем на народного трибуна. И тем не менее он был типичным народным трибуном. Красноречие его было так сильно, так захватывающе, что начинала нравиться даже его наружность. Когда он с воодушевленным лицом порывисто поднимал обе руки вперед и потом грузно опускал их вниз, как бы придавливая противника, то он казался уже не толстым, а мощным.

На конгрессе ему пришлось столкнуться с Бебелем. Бебель по вопросу об участии социалистов в буржуазном правительстве защищал резолюцию радикальную, Жорес — оппортунистическую. По существу был прав Бебель, и я это, конечно, сознавал. Но когда Жорес переходил стремительно от обороны к нападению, мои симпатии были на его стороне.

Особенно памятно мне то место из речи Жореса, где он говорил о восторгах немецкой социал-демократии по поводу ее успехов на парламентских выборах.

— Красное знамя над Берлином, красное знамя над Лейпцигом, красное знамя над Мюнхеном! Красные знамена веют над всей Германией!.. Вы ликуете, вы захлебываетесь от восторга и, однако, вы не смеете оказать гостеприимство в вашей стране международному социалистическому конгрессу. Когда вас оскорбляет ваш кайзер и хозяева требуют, чтобы рабочие подписывали кайзеру верноподданнические адреса, вы говорите им: «подписывайте». У вас нет

революционных традиций, вы не знали ни великой революции, ни Парижской Коммуны. Я боюсь, что вы в решительный момент, когда ваш повелитель, хозяин вашей страны скомандует: «направо, кругом, марш, во Францию для ее разгрома», миллионы ваших избирателей беспрекословно выполнят этот приказ.

Бебель в своей, по обыкновению, пулеметной речи метко разил французских оппортунистов, но своих товарищей, немецких социал-демократов защищал очень слабо.

— Подождите, — говорил он, — когда за нас будет большинство населения, когда мы получим не три, а шесть миллионов голосов, тогда вы увидите, как велика революционная энергия немецкой социал-демократии, тогда мы будем факелом, который зажжет мировую революцию.

Бебелю бешено аплодировали. Мои руки не поднимались для аплодисментов. Сидевший рядом со мной представитель Бунда, неистово аплодируя, бросил все же в мою сторону возглас соболезнования:

— Как жаль, что вы не знаете немецкого языка!

Ему казалось невозможным, чтобы человек, знающий немецкий язык, мог удержаться от аплодисментов речи Бебеля.

— Я кончил немецкий университет, — буркнул я в ответ.

Бурные аплодисменты выпали и на долю Плеханова. Плеханов, выбранный в президиум вместе с представителем японской социалистической партии Катаямой, произнес речь, в которой заявил, что ответственность за преступную войну с Японией ложится не на русский народ, а на его злейшего врага — царское правительство. Плеханов оправдывал не только русский народ, но и всю Японию, в которой он не отделял народ от правительства.

«Не Япония, — говорил Плеханов, — начала эту войну. Она была начата русским самодержавием, жаждавшим грабежей, эксплоатации и завоеваний»...

Плеханов с злорадством говорил о тех поражениях, которые Япония наносит русскому самодержавию на суше и на море. Энергичными взмахами правой руки он показывал, как Япония бьет по колоссу на глиняных ногах. В заключение при восторженных рукоплесканиях всего зала Плеханов крепко пожал руку Катаяме.

Катаяма был, видимо, несколько смущен и в своей ответной речи указал, что положение трудящихся в Японии не лучше, чем в России, и что социалисты там преследуются самым свирепым образом.

Русские на конгрессе были представлены не только социал-демократами, но и социалистами-революционерами. Конгресс происходил

вскоре после убийства Плеве, и социалисты-революционеры должны были чувствовать себя именинниками. Тем не менее они были одиноки, так как огромное большинство иностранных делегатов представителями русского революционного пролетариата считали только социал-демократов и социалистов-революционеров допустили к участию в конгрессе не без колебаний.

На пленуме конгресса от социалистов-революционеров выступал, если я не ошибаюсь, один только Лозинский-Устинов, который в небольшой речи доказывал, что пролетариат должен готовиться не только к всеобщей забастовке, но и к вооруженному восстанию.

Встретился я на конгрессе с Брешко-Брешковской. Она почему-то очень обрадовалась, увидев меня, и громко позвала, когда я проходил мимо. Сидела она в уголку роскошного зала конгресса с каким-то незнакомым мне толстым господином средних лет. Бабушка познакомила нас, назвав только мою фамилию. Господин встал, чтобы пожать мне руку, и его некрасивое лицо с жирными эфиопскими чертами осветилось приветливой улыбкой. Впоследствии я узнал это лицо на помещаемых в журналах и газетах портретах знаменитого провокатора Азефа.

Вскоре по возвращении из Амстердама в Брюссель ко мне явился солидный господин в черном сюртуке и цилиндре, передал мне письмо, учтиво раскланялся и молча удалился. Я распечатал конверт. В нем было, написанное в форме вежливого частного письма, приглашение явиться в отдел тюрем и общественной безопасности, то-есть в учреждение, соответствующее нашему охранному отделению. Подписано оно было шефом (начальником) отдела, который просил меня, согласно французскому обычаю, принять уверение в его высоком уважении.

Пришлось пойти. Повели меня сначала в приемную, стены которой были увешаны снимками с наружного и внутреннего вида образцовых бельгийских тюрем.

Ждать пришлось не долго. Пригласили в кабинет шефа. Полный бритый мужчина, в черном сюртуке, привстал из-за письменного стола, протянул мне руку и попросил сесть против себя на кресло.

В глубине комнаты стоял другой стол, за которым сидел другой господин, который, как я потом заметил, записывал, а может быть, и стенографировал все то, что я говорил.

Шеф прежде всего протянул мне печатный листок и спросил, знаком ли он мне. Это оказалось воззвание социалистов-революционеров по поводу убийства Плеве. Этого воззвания я раньше не видел, так и сказал. Шеф приятно улыбнулся и затем спросил, долго ли я намерен еще прожить в Брюсселе и что меня побудило выбрать для жительства

именно Брюссель. Я отделался какими-то общими фразами, упомянув об удобствах и дешевизне брюссельской жизни.

Шеф снова приятно улыбнулся, открыл папку с документами и начал читать с чувством и расстановкой агентурные донесения о моей жизни за последние два года. С особенным чувством он прочитал донесение о моем присутствии на брюссельском митинге против войны, при чем отмечено было и то, что я подымал руку за принятие соответствующей резолюции.

Прочитав донесения, шеф осведомился, нет ли в этих донесениях каких-нибудь ошибок.

В этих донесениях было много напутано, но так как эта путаница не могла мне повредить, то я не стал возражать.

Любезность шефа все возрастала. Наконец, совсем расплывшись в улыбку, он дружески посоветовал мне на некоторое время покинуть Бельгию, чтобы избежать формальной высылки.

— Если вы будете формально высланы, то уж никогда больше не сможете вернуться в нашу гостеприимную страну, а если дня через три добровольно уедете, то впоследствии можете опять к нам вернуться.

Я последовал совету любезного «шефа общественной безопасности» и поехал читать лекции в Париже и Женеве. Лекции мои на злободневные политические темы («Война и революция», «Буржуазная и пролетарская революции» и т. д.) собирали полные аудитории и вызывали страстные споры между сторонниками и противниками моих взглядов. Иногда дело доходило до рукопашной.

Мне сочувствовали анархисты, хотя я от них отмежевывался, и крайняя левая соц.-революционеров, впоследствии образовавшая партию социалистов-максималистов.

Мое отрицательное отношение к диктатуре интеллигенции находило сочувствие у небольшой группы махаевцев, последователей польского революционера Махайского, руководителя группы «Рабочий Заговор» [100]. Махайский находил у Маркса идеологию не физических, а умственных работников и видел в интеллигенции, как представительнице интересов «белоручек», главного врага пролетариата.

Сам Махайский, приехавший из Якутской области, где он был в ссылке, в Женеву, сначала на основании писем и рассказов своих последователей отнесся ко мне как к единомышленнику и попросил быть председателем на собрании, где он делал первый свой доклад.

Но, как только мы основательно поспорили и выяснили друг другу свои взгляды, так тотчас поняли, что наши разногласия непримиримы.

Социал-демократы, как «большинство», так и «меньшинство», в общем меня бойкотировали. Но были отдельные лица, ныне члены В.К.П.(б), которые в моей критике социал-демократии находили много правды.

Приезжим из России социал-демократам заграничные товарищи советовали на мои лекции не ходить. Перед помещениями, где я читал лекции, ставились даже «пикеты», останавливающие нарушителей бойкота. Но это не всегда помогало. Из подаваемых мне на лекциях записок я видел, что среди слушателей не мало социал-демократов. сочувствующих мне или, по крайней мере, смущенных моею критикой.

Особенно смущала моя лекция на тему «Коллективизм и коммунизм», которую я читал в начале 1905 года, по окончании своей книги: «Теория и практика пролетарского социализма».

В ней я противопоставлял коммунизму с его лозунгом «от каждого по способностям, каждому по потребностям» — тот «социалистический строй», который рисовали Гэд в брошюре «Коллективизм», Каутский в брошюре «На другой день после социальной революции».

Почти несомненно, что эта моя лекция вызвала коллективное письмо Плеханову восьми товарищей, на время приехавших в Женеву. Я сказал бы несомненно без «почти», если бы в письме лектор, прочитавший в Женеве лекцию «Коллективизм и коммунизм», не был обозначен буквою У.

Название лекции мое, содержание лекции, судя по письму, тоже мое; а вот почему У., а не П.?

Под одной буквой никто, как лектор, не выступает; была, значит, фамилия, и почти несомненно моя.

Плеханов, публикуя вместе с своим ответом письмо восьми товарищей, не захотел рекламировать меня, не захотел рекламировать даже буквы П., которая могла читателей навести на мысль, что Плеханов вынужден полемизировать с Поссе.

Письмо «восьми» и ответ Плеханова помещены в первом номере «Дневника социал-демократа», вышедшем в марте 1905 года, вскоре после прочтения мною в Женеве реферата или лекции о «Коллективизме и коммунизме».

Во всяком случае Плеханов возражает на мою критику социал-демократии, если даже произошла такая удивительная случайность, что кто-нибудь другой читал в той же Женеве реферат под тем же названием и того же содержания, как и я.

«Мы, — пишут восемь товарищей, — приехали в Женеву в надежде услышать от наших политических вождей постановку и разрешение о с н о в н ы х вопросов социал-демократии.

Вот уж несколько месяцев мы здесь, однако от наших политических вождей до сих пор слышали разбор только организационных вопросов, а не вопросов принципиальных. Нам в скором времени предстоит ехать в Россию, и таким образом нам никогда не удастся быть свидетелями принципиальной борьбы нашей партии с партиями противников социал-демократии. Недавно г. У. читал реферат на тему «Коллективизм». Мы надеялись, что кто-нибудь из наших вождей будет присутствовать и возражать. Но наши ожидания не оправдались.

А между тем г. У. выступил с тяжкими обвинениями против наших идеалов: социал-демократы против распределения средств по потребностям каждого в будущем государстве; социал-демократы хотят оставить несправедливое разделение труда неквалифицированного в пользу труда квалифицированного, так что, например, директор завода в государстве будущего будет загребать тысячи; социал-демократы хотят сохранить тюрьмы даже для людей, несогласно с ними мыслящих;..... дальше г. У. утверждает, что истинный виновник реформизма не Бернштейн, а Каутский, который в «Эрфуртской программе» отрицает теорию обнищания; Каутский даже желает выкупить земли и средства производства у богачей. Словом, много несимпатичного указывал г. У. в социал-демократии, при этом в основу своего суждения о коллективизме брал брошюру Гэда о коллективизме.

Так вот мы и желаем услышать от вас веское слово по тем же основным вопросам. Во имя чего, во имя какого социализма мы должны звать рабочих к революции?»

В пояснение к этому письму необходимо заметить, что как в своем реферате, так и в «Теории и практике» я, действительно, выставлял парадоксальное утверждение, что точку отправления для «ревизионизма» можно найти в редакционных статьях «Die Neue Zeit» за 1891 год о «проекте новой программы». Статьи эти писались Каутским, автором «Эрфуртской программы».

Из этих статей я приводил две цитаты.

«Научный социализм приготовил основательный конец как государственно социалистической, так и революционной фразе. Если пролетариат должен освободить себя сам, то революция не может быть делом толпы заговорщиков; и если двигательной силой социального переворота является классовая борьба, то отдельная катастрофа, как бы могуча она ни была, всегда может образовать лишь отдельное звено в большой цепи развития от старого общества к новому, но ни в коем случае не единственное звено,

на котором одном сосредоточивалось бы все внимание пролетариата».

В этих словах я видел исходную точку для отрицания «теории катастрофы», по которой пролетариат, завоевав политическую власть, сразу и «по-диктаторски» превращает капиталистический строй в социалистический, по которому пролетариату предстоит «последний и решительный бой».

Отрицание «теории катастрофы» — первый признак ревизионизма.

Отрицание «теории обнищания» — второй.

«Теории обнищания», как я думал, Каутский наносил смертельный удар следующими словами в тех же статьях:

«С точки зрения классовой борьбы представляется бессмысленным не только делание революции, но точно так же и тесно связанное с этим положение: чем хуже, тем лучше; чем сильнее нищета, тем ближе революция».

«Верно, что современный способ производства имеет тенденцию все более повышать нищету низших народных слоев — падающих средних классов и пролетариата. Но тот же способ производства с тою же естественною необходимостью, как нищету, порождает и возмущение против нее, которое, накопляясь все сильнее и сильнее, оказывает все более энергичные сопротивления дезорганизующей тенденции капитализма и при особенно благоприятных условиях достигает того, что движение жизненного положения рабочих из убывающего превращается в повышающее.

Способствовать пролетариату по мере своих сил в его борьбе для улучшения его положения в современном обществе является не только совместимым с принципами социал-демократии, это скорее одна из важнейших ее задач, быть может самая важная ее задача».

В своем ответе Плеханов мою критику международной социал-демократии объясняет тем, что анархисты, полуанархисты и прочие утописты, подобные мне, «не способны возвыситься до точки зрения научного социализма».

Возможно, что и букву У. он присвоил мне, как утописту. Впрочем, в «ответе» достается гораздо больше товарищам Плеханова по партии, чем мне. Беспрерывные споры о меньшинстве и большинстве он называет сказкой о белом бычке. Всю партию он обвиняет в пренебрежении к вопросам теории и этим объясняет, что у русских социал-демократов «чуть не каждые два года является какой-нибудь Колумб, открывающий давно открытую Америку и готовый разорвать партию для поддержки своей будто бы новой «идеи».

«Именно потому, — пишет он дальше, — у нас развелись теперь чижи, поющие за канареек, то-есть люди, пишущие по-марксистски». отстаивающие «ортодоксию» и в то же время отрицающие Маркса ради какого-нибудь Маха или Авенариуса».

В бесконечных организационных спорах Плеханов видел «кару, налагаемую на нас практикой, за наше пренебрежение к теории».

«Если бы мы не пренебрегали теорией, — писал Плеханов, — то слабые места брошюры Ленина «Что делать» бросились бы всем нам в глаза немедленно по ее выходе, и тогда не было бы у нас той смуты, которая раздирает нас теперь».

И это не только в русской социал-демократии.

«Везде теория приносится в жертву мнимым интересам практики».

Таким образом у Плеханова вместо защиты социал-демократии получился разнос ее.

Из России от родных и знакомых я получал очень мало писем. Не знал, что делается в литературных кругах. Не имел сведений и о «Знании». За все время моего пребывания за границей Пятницкий не написал мне ни одного слова. Горький тоже замолк после письма, написанного чужим почерком и подписанного буквой А. Кто-то из русских, приехавших в Швейцарию из России, сообщил, как слух, что Горький скупил все паи «Знания» и сделался его единоличным собственником. Слуху этому я не поверил, так как не мог себе представить, чтобы Горький решился на это, не предупредив меня, тем более, что я оставался пайщиком, правда с паем, заложенным тому же Горькому.

Весной 1901 года во время пребывания Горького в Петербурге были проведены итоги наших денежных отношений со «Знанием». Я оказывался должником «Знания», а Горький, напротив, кредитором. Горький предложил покрыть мой долг «Знанию», на что я соглашался под условием залога своего пая Горькому.

Горького мое предложение возмутило. Он меня ругательски выругал, указывая, что при наших дружеских отношениях залоговые операции прямо непристойны. Мое предложение было, однако, энергично поддержано Пятницким, и в конце концов Горький махнул рукой:

— Ну, чорт с вами! Делайте, как хотите. Меня это не касается.

Тем более поразило меня письмо Горького, неожиданно полученное после годового молчания.

Письмо было деловое, написано короткими, четкими фразами, которые, как мелкие гвозди, вбивались в голову адресата-читателя. Напоминалось, что я взял у Горького деньги в долг и сделал надпись на своем паевом удостоверении, что пай переходит к Горькому в случае моей смерти или неуплаты долга. Долга я не уплатил, отсюда логический вывод, что пай принадлежит Горькому. Но это необходимо оформить. Горький, впрочем, сам брать моего пая не хочет, а передает его своей жене, Екатерине Павловне. Далее очень подробно указывалось, как я должен совершить эту передачу, при чем подчеркивалось, что я непременно должен засвидетельствовать свою подпись в русском консульстве.

О происшедшей в «Знании» перемене ничего не говорилось. Но почти одновременно я получил письмо от Всеволода Протопопова, который подробно излагал историю скупки паев.

Я написал Горькому довольно резкое письмо.

Горький ответил мне письмом грубым.

Привожу его полностью:

«Да, — писал Горький, — я купил паи «Знания». Мне нужно было сделать это для дальнейшего развития книгоиздательства, стесненного при старом порядке целой сетью ненужных мелочей, что, впрочем, ты и сам превосходно знаешь.

Ты не был извещен о покупке не потому, что я не хотел извещать тебя, а по силе чисто практических помех, — оказии достаточно солидной не было, а в письмах писать о многом неудобно. В нашем случае это неудобство особенно ясно видимо.

Ты гарантировал себя от известного риска, но своевременно забыл сделать это по отношению к «Знанию», и оно осталось в очень неопределенном положении, которое с течением времени становится все более угрожающим. Полагаю, тебе должно бы быть понятно, почему именно я вынужден был обратиться к тебе с предложением, столь возмутившим тебя, что ты даже поглупел, как это видно из твоего письма. Мой дорогой, нужно же мне было напомнить тебе о том, что сделать ты был обязан и — забыл сделать.

Ты пишешь, чтобы я составил и прислал тебе заявление о передаче тобою мне прав и обязанностей по делам «Знания» — подобное заявление уже составлено нотариусом и вписано в посланную тебе А. И. доверенность. Если хочешь — можешь воспользоваться этой формой, но имей в виду, что если твоя подпись не будет засвидетельствована — заявление не будет иметь никакого практического значения: ни один нотариус не согласится на основании его сделать надпись на основном договоре.

Прошу тебя понять следующее: нужно оформить твой выход из т-ва на бумаге и тем снять с т-ва понятный тебе риск. Это совершенно не значит, что я или К. П. имеем что-либо против твоего фактического участия в деле — мы считает его не только желательным, но и крайне важным, — твои материальные интересы никто из нас не собирался нарушить и никто не рассчитывал задеть твое самолюбие, видимо крайне нездоровое.

Подробный ход перемен, происшедших в «Знании», и объяснение причин, вызвавших эти перемены, я просил изложить для тебя К. П., так как сам не сумею сделать это достаточно кратко, сдержанно и выразительно. Подо всем, что напишет тебе К. П., я, не читая, подпишусь, такова степень моего доверия к его уму и благородству.

Письмо ты написал — скверное. Вообще — скверное. Самое же плохое в нем это то, что ты, видимо, намеренно перенес мой отзыв о человеке, который никогда не имел никакой цены в моих глазах, на человека, которого я очень люблю, уважаю и который всегда — поскольку я это знаю — относился к тебе безукоризненно и истинно по-товарищески, заботливо. У меня — хорошая память, и я могу дословно воспроизвести наш разговор о Пят., Протоп. и Колп. Это не в К. П. я видел тяготение к мещанству, а в Протоп. и главным образом — Дмитрии, ибо Всеволод — слишком глуп для жулика. (Можешь сообщить ему это, при случае, от моего имени.) Именно Прот. Д. я назвал буржуем, а не К. П. Время блестяще оправдало мой отзыв о Протоп. и очень высоко подняло в моих глазах К. П. Что же касается Протоп., Поповой — я не подам им руки и при встрече непременно сообщу мое мнение о них — в глаза им.

Да, ты поступил не ладно. Я долго думал над этим местом твоего письма, пытаясь понять, зачем ты это сделал? Мне кажется — ты перехитрил: видимо, ты думал, что я не покажу твоего письма К. П., если ты напишешь о нем такую штуку? Но оскорбление, наносимое кем-либо людям, которых я уважаю, — оскорбляет прежде всего меня, — ты это знаешь по личному опыту.

После питерской истории, когда тебя там травили мещане-литераторы, ты назвал меня хорошим товарищем, а однажды, на Невском, сказал мне, что я «глубже и серьезнее отношусь к жизни и людям». Я мало изменился, если не считать того, что мой скептицизм к вашему брату, интеллигенту, — еще вырос.

Ну, будет. Ты бросил в меня дрянное обвинение в мещанстве, в стремлении нажить капиталы.

Поздно. Я уже нажил. Начинаю проживать.

В заключение скажу вот что — не делай ничего сразу, это хороший, товарищеский совет. Прощай.

А плохо делают за границей русскую историю!

А. Пешков».

Прочитав это письмо, я понял, что нить, еще соединявшая меня с Горьким, перерезана. Ничего не ответил, но передачу пая оформил.

За разрывом с Горьким последовал разрыв с Г. А. Куклиным. Горький очень большой человек. Куклин человек очень маленький. Горькому я ничем не обязан, а Куклину обязан многим. Без поддержки Куклина не было бы заграничной «Жизни», не было бы «Библиотеки русского пролетария», не были бы опубликованы мои переводы «Женщины и социализма», «Коммунистического манифеста» и других нужных пролетариату книг, не была бы, вероятно, опубликована и моя «Теория и практика».

С Куклиным я никогда не ссорился, с Куклиным у меня не было никаких недоразумений, и мы разошлись потому, что Куклин в конце концов не выдержал натиска тех, которые считали необходимым в партийных интересах нас поссорить.

Весной 1905 года Куклин отрекся от солидарности со мной и примкнул к большинству социал-демократической партии, в которую он официально вступил после 3-го съезда. Он передал партии типографию и все свои издания. К партии же перешла после его смерти (в 1906 году) и его библиотека.

За эти годы я вернул себе дружбу В. К. Агафонова, с которым мы в 90-х годах разошлись из-за сущих пустяков, но разошлись основательно.

Весной 1905 года Агафонов приехал в Женеву, заходил ко мне и, не застав дома, оставил записку с просьбою притти к нему в отель. Я пришел, и мы, дружески обнявшись, стали вспоминать переживания нашей молодости.

Через несколько месяцев после этого я в качестве нелегального нашел себе убежище в петербургской квартире Агафонова.

## XXIV

## В ТЕНЕТАХ ЛЖИ (1905 г.)

Гапон и революционные организации. — Защита Гапона Плехановым. — Ленин о Гапоне. — Воспоминания Н. К. Крупской. — Таинственные письма. — Тов. Михаил. — Первая встреча с Гапоном. — Письмо Горького Гапону. — Красный адмирал Матюшенко. — Лозинский-Устинов. — Н. Н. Ге.—М. А. Кудрявцева.—В Стокгольме с Гапоном.—Л. П. Хомзе.— Неовиус и Цилиакус. — На революционной яхте. — В финляндских шхерах. — Среди опасностей. — В ожидании Горького. — На что надеялся Гапон 9 января? — Конспиративный съезд. — Разорванные тенета. — В Петербурге на нелегальном положении. — В купэ с жандармом и сыщиком. — Надвигающаяся буря.

9 января 1905 года я был в Брюсселе. Сообщения газет о расстреле в Петербурге рабочих процессий, шедших с петицией к царю, во главе со священником Гапоном, конечно, волновали меня, но в то же время вызывали и недоверие. Особенно странным казался поп Гапон в роли вождя всего петербургского пролетариата. Никогда я не слышал его необычной для священника фамилии, никто из приезжавших делегатов не упоминал о нем. Но приходили новые сообщения, новые подробности. Появилось воззвание Гапона, проклинавшего царя-кровопийцу и отлучавшего его от церкви. Пришлось поверить, но роль Гапона казалась мне подозрительной. Героем я его признать не мог. В его воззвании чувствовалась мне фальшь.

В феврале и марте я был в Женеве. Мои знакомые говорили, что Гапон под чужой фамилией живет в Женеве; говорили, что он был на моей лекции о «Коллективизме и коммунизме», советовали постараться повидать его.

Узнал я также, что заграничные революционные организации всех толков относятся к Гапону с полным доверием и даже борются из-за него. Эсэры считают его «своим», но «эсдэки» не хотят его уступать и тянут к себе. Говорили, что особенно хорошо к Гапону относятся «верхи». Гапон, — рассказывали мне, — ни к кому не примыкает, поставив своей задачей объединить все партии и фракции для совместной борьбы с самодержавием.

Все это оказалось верным. Сочувственные Гапону статьи появлялись не только в органе эс-эров «Революционная Россия», но и в «Искре», выходившей под редакцией Плеханова, и в газете «Вперед», которую редактировал Ленин после ухода из редакции «Искры».

Плеханов, защищая Гапона от нападок эс-дековских комитетов восточного района, писал в № 93-м «Искры», что Гапона нужно не обижать, а благодарить за его сочувствие рабочему классу. Его следует похвалить за то, что он «попрал верой в царя веру в царя, стихийностью — стихийность», что следует пожелать ему «удачи на совершенно новом для него пути **сознательного революционера**».

Ленин вполне одобрил выработанный Гапоном проект соглашения между революционными партиями и фракциями. Ленин вместе с другими большевиками присутствовал на соглашательской конференции, устроенной Гапоном. Эту конференцию большевики покинули не из протеста против Гапона, а из протеста против участия в конференции представителей мифической латышской социал-демократической организации. Покинули конференцию они вместе с товарищем Розиным и другими делегатами объединенной социал-демократической латышской партии [101].

Давая отчет об этой конференции на третьем съезде партии, Ленин, между прочим, говорил:

«За границу приехал т. Гапон. Повидался с с.-р., потом с «Искрой», затем и со мной. Он говорил мне, что стоит на точке зрения С.-Д., но по некоторым соображениям он не считает возможным заявить это открыто. Я ему сказал, что дипломатия вещь очень хорошая, — но не между революционерами. Нашего разговора не передаю — его содержание изложено во «Вперед». На меня он произвел впечатление человека безусловно преданного революции, инициативного и умного, хотя, к сожалению, без выдержанного революционного миросозерцания. Через некоторое время я получил от т. Гапона письменное приглашение на конференцию социалистических организаций, имевшую цель, по мысли Гапона, согласование их деятельности. Вот список тех 18 организаций, которые, по этому письму, были приглашены на конференцию т. Гапона».

Очень интересны воспоминания Н. К. Крупской о первой встрече Ленина с Гапоном.

«Через некоторое время, — пишет Н. К. Крупская, — после приезда Гапона в Женеву к нам пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала Владимиру Ильичу, что его хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер. Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол.

Гапон был живым куском нараставшей в России революции, человеком, тесно связанным с рабочими массами, беззаветно верившими ему, и Ильич волновался этой встречей.

Один товарищ недавно возмутился: как это Владимир Ильич имел дело с Гапоном!

Конечно, можно было просто пройти мимо Гапона, решив наперед, что от попа не будет никогда ничего доброго. Так это и сделал, например, Плеханов, принявший Гапона крайне холодно. Но в том-то и была сила Ильича, что для него революция была живой, что он умел всматриваться в ее лицо, охватывать ее во всем ее многообразии, что он знал, понимал, чего хотят массы. А знание массы дается лишь соприкосновением с ней. Как мог пройти Ильич мимо Гапона, близко стоящего к массе, влиявшего так на нее!

Владимир Ильич, придя со свидания с Гапоном, рассказывал о своих впечатлениях. Тогда Гапон был еще обвеян дыханием революции. Говоря о питерских рабочих, он весь загорался, он кипел негодованием, возмущением против царя и его приспешников. В этом возмущении было не мало наивности, но тем непосредственнее оно было. Это возмущение было созвучно с возмущением рабочих масс.

«Только учиться ему надо, — говорил Владимир Ильич. — Я ему сказал: «Вы, батенька, лести не слушайте, учитесь, а то вон где очутитесь», — показал ему под стол.

По словам Н. К. Крупской, о т ч а с т и под влиянием бесед с Гапоном, Ленин убедился, что «лозунг об отрезках недостаточен, что нужно выдвинуть более широкий лозунг — конфискации помещичьей, удельной и церковной земли».

Всего этого я в марте 1905 г. не знал, но если бы и знал, не стал бы искать встречи с Гапоном.

Я уехал из Женевы, не встретившись с ним. В Бельгии, в Льеже мне пришлось подвергнуться довольно серьезной операции. После операции я поехал подлечиться в люксембургский городок Мондорф. Сюда мне из Брюсселя были пересланы два таинственных письма, подписанных совершенно неизвестной мне фамилией, начинающейся, если не ошибаюсь, на букву Г. В письмах выражалось сочувствие моим взглядам, хвалилась составленная мною «пролетарская программа» и моя книга «Теория и практика», а затем шло приглашение немедленно приехать в Женеву для переговоров, имеющих огромное значение для революции в России. Письма были написаны в тоне человека, чувствующего за собой право распоряжаться революционными силами. Упоминалось в письмах и о «9 января». Это упоминание навело меня на мысль, не исходят ли письма от Гапона. В справедливости своей догадки я убедился, получив письмо от одного из своих горячих сторонников, наборщика Михаила.

Михаила не позабудешь. К его нескладной, развинченной и размашистой фигуре вполне подходила нескладная физиономия, на которой ходуном ходили нос, щеки, выпученные косые и близорукие глаза под изогнутыми очками, а громадный рот со скверными зубами раскрывался почти до ушей и брызгал слюной, когда товарищ Михаил, тяжело ворочая языком, напирал на противника всем своим существом: и несуразно длинными руками, и тощей грудью, облеченною в грязную рубаху, выбивающуюся из потертого коричневого пиджака, и в особенности своей бунтующей физиономией.

Смеялся Михаил зло. Вообще старался быть злым. Изредка по лицу его скользила улыбка добродушной иронии, характерной для многих евреев.

Михаил был типичным евреем из Гомеля. Своего еврейства, разумеется, не скрывал, но ни сионизму, ни бундизму не сочувствовал. Считал себя белоруссом. Под псевдонимом М. Белорусса в «Библиотеке русского пролетария» была напечатана его брошюра «Рабочие и интеллигенция», в которой он старался доказать, что интеллигенция больше вредит, чем помогает рабочему движению.

Брошюра написана была не плохо. Но выступления на диспутах Михаилу не удавались. А выступать он любил и проваливался. Горячился, путался.

Меня Михаил очень ценил и даже, видимо, искренне любил. Защищая мои взгляды, готов был вступить с противником в рукопашную, но, к сожалению, меня он далеко не всегда верно понимал. У меня к Михаилу отношение было хорошее, товарищеское.

В письме, полученном мною в Мондорфе, Михаил требовал, чтобы я немедленно приезжал в Женеву для переговоров с Гапоном, который всецело на «нашей» стороне. Сообщал также, что ездил в Англию к Кропоткину и убедился, что Кропоткин считает Гапона большой революционной силой и поддерживает его своим авторитетом. Кропоткин, по словам Михаила, настойчиво советовал мне вступить в союз с Гапоном.

Мое недоверие к Гапону не прошло, но я считал невозможным отказаться от свидания с ним Поехал в Женеву, вместе со мной поехала одна из моих единомышленниц и друзей Мария Александровна Кудрявцева. По приезде немедленно отправился вместе с Михаилом к Гапону.

Первое впечатление было неблагоприятно.

Маленький, сухой, тонконогий, черный, с синеватым отливом на бритом лице, с большим носом, сдвинутым влево, Гапон смотрит своими черными глазами вниз и в сторону, как бы стараясь скрыть

от вашего взора то, что творится в его душе, и в то же время зорко посматривает за вами.

В России, с длинными волосами, с окладистой бородой, в широкой и длинной рясе, он производил, конечно, совершенно иное впечатление, чем здесь, за границей, стриженый и бритый, одетый по-велосипедному.

Встретил он меня преувеличенно радостно и, крепко пожав руку, тотчас заявил, что моя книга «Теория и практика пролетарского социализма» всецело выражает то, что всегда думал он, Гапон, и что думает и к чему стремится весь трудовой русский народ.

Свою гражданскую жену, увлеченную им шестнадцатилетнюю воспитанницу приюта, где он состоял священником, Гапон представил мне небрежно.

Это была бледная, болезненная, видимо очень робкая женщина, любовно следившая за своим властелином, готовая исполнять все его приказы, — впрочем, пустячные: сходи за пивом, принеси папирос и т. п.

Началась беседа. Я говорил о своих разногласиях с партийными социал-демократами. Гапон во всем со мною соглашался. Он соглашался, что грядущая революция будет пролетарской, а не буржуазной, так как буржуазную революцию заменила у нас в 60-х годах эпоха великих реформ; соглашался, что в партийной программе следует всегда выставлять наибольшие требования, ибо наименьшие выставляет сама жизнь; соглашался, что свойственным рабочему классу орудием борьбы является всегда и всюду всеобщая стачка, стачка не только рабочих, но и солдат.

Вероятно, он соглашался также и с тем, кто находил мои взгляды утопическими или попросту вздорными.

Всякие программные и даже тактические разногласия казались ему несущественными, ненужными. Зачем объединяться на программе и тактике, на теории и практике, когда можно объединиться на нем, на Гапоне, на самой судьбой избранном вожде рабочего народа.

Зная о моей былой дружбе с Горьким, Гапон, как нечто особенно важное, показал мне письмо, полученное им от Горького незадолго до моего приезда.

Признавая за Гапоном большие заслуги в деле революции, преклоняясь перед ним как отважным вождем, стоявшим под пулями 9 января, Горький настоятельно призывал его вступить в ряды Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии, которая, несмотря на все ее ошибки, является единственной организацией, выражающей революционную волю пролетариата.

Гапон, польщенный похвалами Горького, пояснял письмо в том смысле, что от его, Гапона, отношения, положительного или отрицательного, зависит судьба социал-демократической партии.

— Они за мной, — говорил Гапон, — ухаживают, они всеми силами тянут меня к себе, но я не поддаюсь. Я им нужен, а мне они не нужны. За мной шли на смерть десятки тысяч петербургских рабочих, пойдет и весь русский народ, а кто пойдет за ними? Они умеют грызться между собою из-за пустяков, но для единых решительных действий у них не хватает пороху. Не к ним, а ко мне «потемкинцы» прислали своего красного командира... Да вот и он, — легок на помине!

В комнату вошел низкорослый крепкий мужчина с калмыцким скуластым лицом и оттопыренными ушами. Это был матрос Черноморского флота Матюшенко, руководитель восставшего экипажа броненосца «Потемкина».

Броненосец «Потемкин» был первым военным судном, на котором еще летом 1905 года андреевский флаг был заменен красным революционным знаменем.

Не встретив поддержки со стороны матросов большинства других судов Черноморского флота, «Потемкин» вошел в румынский порт Констанцу, где и сдался румынским властям под условием, что взбунтовавшийся экипаж не будет выдан русскому правительству.

Матюшенко приехал в Женеву делегатом от «потемкинцев» для переговоров с представителями революционных партий, но прежде всего с Гапоном.

— Не помогли нам божьи попы, поезжай отыщи чортова попа, может он поможет, — говорили, шутя, «потемкинцы», провожая Матюшенко.

«Чортов поп» сразу подружился с красным адмиралом: похлопывал его по плечу, говорил ему «ты» и... во всем соглашался. Матюшенко, впрочем, в теорию не вдавался. А практика сводилась у него к уничтожению — именно к уничтожению, а не к устранению — всех начальников, всех господ, и прежде всего офицеров. Народ делился для него на господ и подчиненных. Примирить интересы тех и других невозможно. В армии и флоте господами являются офицеры, подчиненными — нижние чины. Освободиться нижние чины могут лишь тогда, когда офицеры будут «попросту» уничтожены. Сам он во время бунта на «Потемкине» собственноручно убил двух или трех своих начальников. И ему казалось, что суть революции в подобных убийствах. В этом духе он писал кровожадные прокламации к матросам и солдатам, призывая их к убийству офицеров. Он думал, что при

такой программе легко привлечь на сторону революции всех матросов и большинство солдат. Казакам он не доверял, считая их «продажными шкурами», и в одной из своих прокламаций рисовал веселую картину, как матросы «поливают свинцовым дождем» попавших в засаду казаков.

Жестокость у Матюшенки уживалась с добродушием и даже своеобразною нежностью. Я видел, как в доме одного революционера он ласково играл с маленькими детьми, и на его некрасивом лице светилась в это время хорошая улыбка.

За границей он тосковал, рвался на родину, мечтал вторгнуться со своими «потемкинцами» в пределы России, чтобы поднять там общее матросское восстание. Себя он считал обреченным на смерть в бою или на эшафоте.

— Уж если я пошел на такое дело, то нельзя мне за свою жизнь держаться. Скоро меня порешат. Так тому и быть.

Жить на эмигрантском положении он считал бесчестным, чем-то в роде предательства. В его представлении настоящий революционер тот, кто не только убивает, но и сам погибает.

Первая встреча с Гапоном превратилась в конспиративное совещание. В нем, кроме Гапона, Матюшенки, Михаила и меня, принял участие молодой писатель и революционер Устинов, известный в эмигрантских кругах под псевдонимом Е. Лозанского. Он, как я упоминал, выступал на Амстердамском конгрессе в защиту вооруженного восстания.

Это был высокий, широкоплечий блондин с крупными чертами лица. Свою публицистическую и революционную деятельность Устинов начал с доброжелательной критики социал-демократизма, играл затем видную роль в партии социалистов-революционеров, занимая крайний левый фланг. Его можно считать одним из первых теоретиков максимализма. Впоследствии он примкнул к махаевскому течению, которое характеризовалось резко отрицательным отношением к партийному социализму, интеллигенции, парламентаризму и т. д. В момент совещания он находился на перепутьи от максимализма к махаевщине и разделял некоторые из моих взглядов, положенных в основу «Теории и практики пролетарского социализма».

Гапоном он интересовался, но не увлекался. Наблюдал его и, видимо, начинал понимать. Я заметил легкую усмешку в его глазах, когда Гапон таинственно и важно заявил, что пора действовать, ибо победоносная революция настойчиво стучится в дверь.

Из Англии идут корабли с оружием для русских рабочих. Придет оружие, придет Гапон, и восстание разольется по всей стране.

— Но меня одного мало, — скромно замечал Гапон, — нужны помощники, нужны смелые товарищи. Кто же готов немедленно ехать в Россию и бороться за свободу народа?

Матюшенко своим хриплым голосом тотчас выразил согласие ехать когда угодно и куда угодно, лишь бы не киснуть здесь за границей. Он, впрочем, находил, что ему лучше всего ехать через Румынию, чтобы вторгнуться в Россию вместе с «потемкинцами».

Михаил выкрикивал, что надо опасаться не столько правительства, сколько партийных социалистов, которые тормозят прямую борьбу пролетариев за их полное освобождение. Он предлагал свои услуги в качестве пропагандиста истинно-пролетарских идей и соглашался ехать в Россию нелегально через австрийскую границу, чтобы встретиться с Гапоном и другими товарищами в Петербурге.

Что говорил Устинов, не припомню, помню только, что держался он очень сдержанно. Я тоже занял выжидательную позицию.

Эмигрантская жизнь мне опостылела, тянуло в Россию, в народную гущу, но осуществить это желание, не имея связей в партийных кругах, при враждебном отношении ко мне многих «правоверных» было не легко.

Приглашение Гапона давало мне возможность не только проехать в Россию, но и проникнуть в те рабочие слои, которые еще не были затронуты партийной пропагандой.

С другой стороны Гапон не внушал мне большого доверия, рассказы его о десятках и даже сотнях тысяч преданных ему рабочих, о кораблях, идущих в Россию с оружием для петербургского пролетариата, казались мне фантастическими.

Старался я заставить Гапона более подробно выяснить цель поездки, но Гапон ловко увертывался, и я получал лишь общие фразы о готовности умереть вместе с братьями, спаянными кровью, о необходимости сблизить крестьянина с рабочим и т. д.

Не удалось мне выяснить, входит ли в план Гапона организация политических убийств. Как раз в тот момент, когда я поставил вопрос о терроре что называется в упор, и Гапон, убегая в сторону своими темными глазами, задумался, как ловчее мне ответить, дверь в комнату отворилась, и на пороге появилась высокая, красивая девушка.

Очень красивые люди заставляют почувствовать свою красоту прежде, чем успеешь ее рассмотреть и осознать.

Так и при появлении этой девушки я, да, вероятно, не я один, почувствовал, что она красива, не успев ее рассмотреть.

Все встрепенулись, все как будто стали на момент красивее и, быть может, лучше. Гапон же весь просиял и бросился ей навстречу.

Стройная блондинка с льняными волосами, с серьезными серыми глазами, с тонкими нервными губами, она казалась недосягаемой для этого маленького вертлявого человека, напоминающего жокея или в лучшем случае актера, но никак не священника и народного трибуна.

И однако она пришла только к нему и только для него.

Гапон самодовольно улыбнулся, крепко пожимая ее руку, а его болезненная жена, убиравшая со стола пивные бутылки, смутилась и как будто еще более осунулась.

Вошедшая девушка ни с кем из нас не поздоровалась, перекинулась с Гапоном несколькими фразами делового и, повидимому, конспиративного характера, мало понятными для непосвященных, и исчезла.

Не дожидаясь расспросов, Гапон стал с жаром рассказывать, что приходившая к нему девушка — необычайный человек и очень ценный товарищ. Происходит она из очень богатой аристократической семьи, имеет связи в высшем петербургском обществе, получила прекрасное образование, изучала химию в Оксфордском университете, говорит почти на всех европейских языках. Революционеркой ее сделало 9-е января, а до того времени она была монархистской. Теперь она решила отдать свою жизнь на борьбу за освобождение трудового народа и будет работать вместе с нами.

Вскоре после того совещание наше прервалось, так как стали появляться лица «посторонние».

Пришел, между прочим, Николай Николаевич Ге, сын известного художника. Это был добродушный, живой, остроумный человек лет сорока, вносивший всюду, куда он являлся, атмосферу какой-то легкости. При нем невозможно было говорить о заговорах, революционных подвигах и других страшных и возвышенных вещах. Он умел заразить окружающих обывательской жизнерадостностью и в то же время тем эгоизмом, который нашел себе выражение в припеве: «Ни на чем, вот на чем свое дело я построил», припеве, который Штирнер взял как эпиграф для своей книги «Единственный и его собственность».

Ге не был ни революционером, ни реакционером, но мог ладить с теми и другими. Не выносил он, кажется, только главу «толстовцев» В. Г. Черткова, что не мешало ему искренне любить Л. Н. Толстого, с которым его связывали отношения поистине родственные, отношения между отцом и сыном. Толстой очень любил Николая Николаевича, несмотря на его многочисленные грехи против той заповеди, которую Лев Николаевич считал наиболее важной.

Ге завел речь о так называемой Булыгинской Думе, указ о которой только что был опубликован [102]. В отсутствие Ге мы считали бы ниже своего достоинства говорить об этой бюрократической выдумке, но в присутствии Ге завязался очень интересный спор, следует ли участвовать в выборах этой Думы или нет. Ге уверял, что следует, и выражал уверенность, что Л. Н. Толстой будет сочувственно относиться к Булыгинской Думе, так как она в конце концов превратится в мужицкий сход. Голоса разделились: одни стояли за выборы, другие — за бойкот. Гапон делал много ценных замечаний, но определенного мнения не высказывал: выходило так, как будто он и за выборы, и за бойкот. Все же в беседе о легальной Думе Гапон казался проще и искреннее, умнее, чем при конспиративных разговорах о заговорах и восстаниях.

М. А. Кудрявцева, которой я рассказал о беседе с Гапоном, попросила меня познакомить ее с ним. Я согласился, но взял с нее обещание, что она не будет брать от Гапона никаких поручений, не посоветовавшись раньше со мной.

М. А. Кудрявцева была молодая, пышущая здоровьем женщина. Увидев ее, он как-то особенно оживился и тотчас впал в разговоре с ней в тон не то дружеский, не то фамильярный. Я потом заметил, что так он держался со всеми молодыми женщинами, присутствие которых его как бы наэлектризовывало.

Кудрявцева, человек скромный и даже застенчивый, конфузилась. После получасовой общей беседы Гапон пригласил Кудрявцеву в соседнюю комнату для каких-то таинственных переговоров. После этих переговоров Мария Александровна вышла несколько смущенной, Гапон сиял и, прощаясь, дружески похлопывал по плечу и меня, и Марью Александровну.

Когда мы возвращались от Гапона, я спросил М. А., о чем с ней говорил Гапон. Она смущенно ответила, что не сдержала данного мне обещания и согласилась по поручению Гапона поехать в Петербург для передачи его друзьям каких-то очень важных писем.

— Не понимаю, как я могла согласиться. Точно гипноз какой-то.

Я убеждал ее отказаться от поручения, считая его очень рискованным, но М. А., действительно, точно загипнотизированная, поехала по поручению Гапона в Россию и выполнила свою миссию точно и благополучно.

Для Гапона было характерно то легкомыслие, с которым он давал ответственные поручения почти незнакомым людям, и та сила внушения, которой он временно подчинял их своей воле.

Михаил на деньги, полученные от Гапона из «революционного фонда», уехал в Россию. Красивая незнакомка, по словам Гапона, тоже уехала в Россию с каким-то важным поручением. Устинов держался в стороне.

Мы же трое, Гапон, Матюшенко и я, люди совершенно различные по происхождению, воспитанию и даже взглядам, все более сближались. По утрам мы обыкновенно вместе завтракали в кафе, около городского театра, по вечерам я заходил к Гапону, где всегда бывал и Матюшенко. Матюшенко приносил с собой написанные им воззвания матросам и солдатам и просил меня выправлять их слог. Я смягчал «кровожадность» содержания, но оставлял в неприкосновенности их характерный солдатский стиль.

Неблагоприятное впечатление, которое в первый вечер произвели на меня Матюшенко и Гапон, если не исчезло, то значительно смягчилось, вероятно потому, что говорили мы не столько о делах революционных, сколько о делах житейских. При простых разговорах и лица у моих собеседников были простые, даже Гапон не убегал в сторону своими темными глазами, а смотрел более или менее прямо. Но все же приходилось сталкиваться хотя бы по самому основному вопросу, вопросу о политических убийствах, и столковались на том, что во всяком случае наша совместная деятельность ничего общего с террором иметь не будет.

В конце концов решено было, что мы с Гапоном поедем в Стокгельм, чтобы оттуда, при содействии финляндских революционеров, пробраться в Россию, прежде всего в Петербург, для пропаганды среди рабочих всеобщей революционной забастовки. А Матюшенко направится в Румынию, откуда проберется в Россию и, установив с нами связь, начнет работать в Черноморском флоте, при чем он соглашался смягчить свою «убийственную» точку зрения и агитировать главным образом за отказ стрелять в восставший народ.

Но на другой день после этого решения Гапон повел иную линию и стал уговаривать меня ехать с Матюшенкой в Румынию и оттуда пробираться в Россию. Соблазнял он меня возможностью установить связи с матросами и солдатами, познакомиться с рабочим настроением на юге России, который в 1903 году был ареной массовых забастовок. Интересно было и само путешествие через Италию и Венгрию. Радовался совместной поездке и Матюшенко. К общему удовольствию я согласился.

Гапон, дружески распростившись, укатил, предварительно направив нас к Д. А. Хилкову, который должен был дать все необходимые указания для безопасного проезда в Румынию.

Из разговора с Хилковым выяснилось, что, во-первых, у Гапона есть какое-то соглашение с Ц. К. партии социалистов-революционеров, что он от меня скрыл; во-вторых, что партия эсеров считает Матюшенко как бы своею собственностью и боится потерять ее, если Матюшенко поедет вместе со мной, за которым, как лицом неконспиративным, живущим под своею фамилией, выступающим в различных европейских городах с докладами на публичных собраниях, наверное установлена интернациональная полицейская слежка.

Вопрос был поставлен так, что мне пришлось отказаться от поездки с Матюшенкой. С ним была отправлена жена Михаила, энергичная, живая, смелая еврейка, по профессии швея, на которую можно было положиться, что она не растеряется при самых затруднительных обстоятельствах.

Они отправились на восток, я же спешил на север, чтобы догнать Гапона в Стокгольме.

Приехав в Стокгольм, я немедленно отправился к Неовиусу, члену партии пассивного сопротивления, с которым, как я знал, должен был повидаться Гапон.

В Финляндии существовали в то время две партии, поставившие своей задачей борьбу с русским правительством: пассивисты и активисты, или партия пассивного сопротивления и партия активного сопротивления. Пассивисты отказывались выполнять распоряжения русских властей, насколько они противоречили финляндской конституции, агитировали за отказ от выполнения воинской повинности, выясняли незакономерность действий русского правительства европейскому общественному мнению и т. п.

Активисты, помимо этого, считали необходимым подготовлять вооруженное восстание и устранять путем террористических актов наиболее ретивых из царских чиновников.

Вербовались обе партии преимущественно из финляндской буржуазии и интеллигенции шведского происхождения.

Социализм они игнорировали, с финляндскими социал-демократами не имели ничего общего, но старались установить связь не только с оппозиционерами, но и революционными русскими партиями, при чем оказывали им многообразную поддержку в борьбе с общим врагом — самодержавием.

Пассивисты тяготели главным образом к либералам, группировавшимся вокруг Милюкова и Струве, активисты — к социалистам-революционерам.

Между собою обе партии жили без вражды, но, конечно, активисты смотрели на умеренных пассивистов свысока, с некоторым пренебрежением.

С русскими революционными организациями за границей партия пассивного сопротивления сносилась через Неовиуса, партия активного сопротивления — через Цилиакуса.

Неовиус был пожилой, очень серьезный, очень корректный господин, небольшого роста, худощавый, в очках, похожий на учителя гимназии или, пожалуй, на чиновника государственного контроля.

Цилиакус, напротив, был человек прямо гигантского роста и сложения: мог бы в этом отношении потягаться с самим Бисмарком. Несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, он поражал жизнерадостностью и неистощимой энергией.

Неовиус говорил правильным русским языком, но говорил скупо, деловито и только о деле.

Цилиакус говорил ломаным русским языком, с сильным акцентом, но говорил много, живо, весело, пересыпая речь шутками. Любил рассказывать русские анекдоты не совсем скромного содержания, и они казались смешными главным образом потому, что произносились коверканным языком.

Я с ним познакомился, если не ошибаюсь, в 1904 году, когда он объезжал видных русских революционеров всех толков с целью создания единого фронта для борьбы с самодержавием. Его стараниями был собран Парижский конгресс, на котором социалисты заседали вместе с либералами, конгресс, на котором видную роль играл П. Н. Милюков, а секретарем был пресловутый Азеф, пользовавшийся тогда неограниченным доверием в революционных кругах [103].

Ко мне в Брюссель Цилиакус явился, видимо, тоже с целью использовать меня в борьбе с самодержавием для освобождения не столько русского народа, сколько Финляндии.

Он стоял за уплотнение революции, я же тогда был сторонником ее углубления, и потому деловой разговор у нас не налаживался. Но зато неделовые рассказы Цилиакуса о его всесветных приключениях были очень занятны.

Этот удивительный человек изъездил и исходил пешком чуть ли не весь земной шар. Жил в Японии и Китае, пешком перерезал от океана к океану Южную Америку, бывал в Африке и всюду чувствовал себя как дома. Это был авантюрист высшей марки. Революция манила его главным образом связанными с ней приключениями.

В разных странах он, вероятно, охотился на разных зверей и теперь у себя на родине увлекался охотой на русское самодержавие.

В Стокгольме мне пришлось вести деловые разговоры как с Неовиусом, так и с Цилиакусом.

К Неовиусу я попал очень удачно: у него как раз в это время оказался Гапон. Мое неожиданное появление смутило его, но — ничего не поделаешь — пришлось ему сделать вид, что он очень рад моему приезду.

Его смущение стало мне понятным, когда, выходя вместе со мной от Неовиуса, он сообщил мне, что по странному стечению обстоятельств здесь, в Стокгольме, находится и тот ценный товарищ, та красивая девушка, которая с важными поручениями уехала из Женевы в Россию. Я догадался, что приехала она вместе с ним, встретившись по дороге еще в Швейцарии, и что попытка отправить меня через Румынию стояла в связи со «странным стечением обстоятельств». Я отнесся ко всему этому просто, и Гапон, убедившись, что имеет дело с человеком не осуждающим, а по-человечески рассуждающим, успокоился, но все же нашел нужным пояснить мне, что Лариса Петровна отдала в его распоряжение всю свою душу, и он, зная, как драгоценна эта душа, чувствует свою великую ответственность перед богом. Говоря это, он подчеркивал слово «душу», как бы желая дать понять, что между ним и Ларисой Петровной связь чисто духовная.

Впрочем, дня через два он так освоился со мной и своим положением, что без стеснения и церемоний принимал меня в номере гостиницы, где жил с Ларисой Петровной по-семейному. Говорил ей при мне «ты» и даже допускал фамильярности, обычные для не слишком застенчивых молодых супругов. Ларису Петровну фамильярность Гапона коробила. Она была молчалива, сурова и явно избегала таких оборотов речи, из которых было бы видно, что она с Гапоном на «ты».

Всегда помня слова Христа: «кто без греха, тот первый брось в нее камень», я не осуждал ни Гапона, ни Ларису Петровну, но временами мне было почему-то нестерпимо ее жаль.

Особенно памятен мне один вечер в Стокгольме, когда мы втроем были в Королевской Опере на «Сельской чести» и «Паяцах» в очень хорошей постановке, с участием какой-то итальянской знаменитости.

Гапон сидел в ложе бельэтажа, между Ларисой Петровной и мной. В наиболее сильных местах, когда всех захватывала музыка и пение, когда в зрительном зале царила священная тишина, Гапон обращался то ко мне, то к Ларисе Петровне и довольно громко спрашивал: «О чем поет вон этот долговязый в красном кафтане? А чего вон этот беснуется? Ревнует, что ли? Да объясняйте же, чорт возьми, решительно ничего не понимаю»...

Он не слушал музыки. Его, как детей, в опере интересовали только фабула и обстановка, и он злился, когда мы отмалчивались. У Ларисы Петровны нервно дрожали губы. Сильное впечатление от музыки смешивалось с досадой, неловкостью, стыдом.

По выходе из театра Гапон, придя в веселое настроение, хотел галантно взять ее под руку, но она нервно отшатнулась.

Тяжело ей бывало. Особенно тяготилась она посещением дорогих ресторанов, где Гапон заказывал изысканные закуски и вина.

— Чего скалыжничать! — как бы оправдывался он. — Может, недолго мне и жить осталось. Повесят, тогда не до гастрономии будет.

Стокгольм ему нравился, и он не жалел, что отъезд в Россию приходилось откладывать со дня на день.

Сначала ждали Цилиакуса, с которым Гапону необходимо было переговорить. Приехал Цилиакус, начались бесконечные разговоры, как безопаснее пробраться в Финляндию.

Гапон уговаривал меня ехать вперед одному «для подготовки почвы». Ехать он советовал обычным путем, на пароходе в Гельсингфорс, и предлагал «хороший» заграничный паспорт на имя болгарского подданного Футера. Мне этот паспорт казался почему-то подозрительным, да и не совсем удобно было проезжать через финляндскую границу в качестве болгарина, не зная ни слова по-болгарски. Гапон стыдил меня за мою мнительность, тем не менее ехать с паспортом Футера я отказался.

Когда через несколько дней после этого Гапон стал говорить, что он немедленно поехал бы в Финляндию, если бы у него был надежный паспорт, то я не без ехидства сказал:

— У вас же есть паспорт Футера, воспользуйтесь им!

— Ишь, нашли дурака, — ответил Гапон, — с таким паспортом наверняка влопаешься.

— А как же вы посылали меня с этим паспортом?

— Ну, вы другое дело...

— Почему ж другое дело?

— Вы несравненно менее опасны для правительства, чем я. Вас в крепость посадят, а меня повесят.

— Но ведь моя меньшая опасность не делает паспорт Футера более надежным.

— Так вы же не соглашались ехать с этим паспортом, — на этот раз резонно закончил разговор Гапон.

В конце концов решено было ехать без всяких паспортов, контрабандным путем, на паровой яхте, которую в наше распоряжение предоставлял Цилиакус.

Яхта эта была когда-то увеселительной и принадлежала какому-то богатому любителю морских прогулок, теперь же превратилась в яхту революционную. Она пришла в Стокгольм из Англии, где на ней английскими властями, по требованию агентов русского правительства, был произведен обыск, в результате которого с нее снято было несколько пулеметов, предназначавшихся для финских и русских революционеров. По разоружении она была отпущена на свободу. Теперь вместо пулеметов ей приходилось везти еще более опасное орудие, как думали финляндские революционеры, — везти самого Гапона.

Для выработки маршрута Цилиакусом созвано было нечто в роде военного совета с участием капитана яхты, молодого шведа, сочувствующего русской революции, главным героем которой он, как и все иностранцы в то время, считал Гапона.

— Можно, — говорил капитан, — без большого риска проехать в стороне от таможенных пунктов, избегнув сторожевых судов, крейсирующих для ловли контрабандистов; но еще проще проехать ночью на ярко освещенной яхте, уставив стол в кают-компании винами и закусками, и, для пущего эффекта пустив в ход граммофон, проехать прямо через главный таможенный пункт. Дежурный чиновник окрикнет, мы ответим, что совершаем увеселительную прогулку, и нас пропустят, не задерживая и не осматривая.

Зашла речь и о том, кто поедет. Гапон хотел, чтоб ехала Лариса Петровна. Но мы с Цилиакусом запротестовали. У ней был свой вполне законный заграничный паспорт, в революционных организациях она не участвовала, слежки за ней не было — зачем же ей ехать в Россию контрабандным и как ни как все же не совсем безопасным путем? Гапон уступил. Итак, кроме экипажа, на яхте в качестве пассажиров должны были ехать только мы двое. Лариса Петровна уехала в Гельсингфорс с обычным пассажирским пароходом.

Все было улажено, но перед самой отправкой на яхту Гапон заколебался и стал доказывать, что лучше ехать мне одному, а ему выждать каких-то сообщений из Англии.

— Вам лучше всего, — сказал я раздраженно, — отправиться обратно в Женеву и ждать там революции и амнистии.

— Ну-ну, — успокаивал меня Гапон, — не сердитесь, это я пошутил. Хотел вас испытать. Ведь со мной-то куда опаснее ехать, а вот вы не трусите, как раз со мной ехать хотите. Едем, товарищ!

И мы поехали. Провожал нас Цилиакус.

Мы сидели в изящной кают-компании, устроенной на верхней палубе, закусывали, пили чай. Прислуживал повар яхты, китаец с длинной косой. Цилиакус ломаным языком рассказывал русские

анекдоты. Настроение у всех троих было обывательское, и о революции вспомнили лишь в момент прощания. Собираясь уходить, Цилиакус расцеловался с нами и, обращаясь к Гапону, внушительно сказал:

— Смотрите, зажигайте там, в Питере, скорее, нужна хорошая искра. Жертв не бойтесь. Вставай, подымайся, рабочий народ. Не убыток, если повалится сотен пять пролетариев, свободу добудут. Всем свободу.

Цилиакус ушел, а я, вспоминая его наставление, чувствовал, как на душу надавливает какая-то тяжесть.

— Скверно у меня на душе, Георгий Аполлонович, — сказал я Гапону. — Этот добродушный швед смотрит на русских рабочих, как на революционное мясо для замены в Финляндии русско-бюрократической власти властью шведско-буржуазной. Человек он милый, анекдоты рассказывает хорошо, но что ему Россия, что ему русский рабочий, и что он русскому рабочему?

— Наивный вы человек, Владимир Александрович, — ответил Гапон, — неужели вы думаете, я не вижу насквозь всех этих шведов и чухон? Они хотят использовать меня, а на деле использую их я. Ни одним русским рабочим не пожертвую я ради их буржуазных затей. Клянусь вам!

Но клятва не успокоила меня. На душе было попрежнему тяжело. Чувствовалось, что втягиваюсь я в какую-то ложь.

В соседней каюте нас ожидали две койки с свежим, белоснежным бельем. Гапон как лег, так тотчас уснул сном праведника, я же долго ворочался, отгоняя какие-то уродливые хари, назойливо и насмешливо смотревшие в мои закрытые глаза. В конце концов забылся.

Проснулся я, когда яхта, стоявшая вдали от берега, развела пары и снялась с якоря.

Чуть светало. Красавец Стокгольм слабо выделялся сквозь окутавший его туман. Ни свистка, ни команды. Зашумела машина. Яхта нервно вздрогнула, и туманный Стокгольм стал медленно удаляться. Мы держали курс на северо-восток, к Аландским островам. Брызнули лучи солнца, разгоняя туман; весело смотрели просыпавшиеся островки, и в зелени их блестели окна изящных дач; угрюмо и подозрительно проводил нас какой-то замок, и, наконец, раскрылось море, безбрежное море, на легких зеленоватых волнах которого нежно покачивались белые паруса... Хорошо! Полною грудью вдыхал я свежий утренний воздух. Новые силы наполняют помолодевшую грудь, и хочется обнять молодой, как будто для новой жизни просыпающийся мир.

Удивительно славными кажутся мне молодые люди, так любовно обслуживающие нашу революционную яхту. Настоящий интернационал. Швед, англичанин, немец, китаец и три финляндца. По словам капитана, все это испытанные революционеры. Им не назвали наших фамилий, но сказали, что они везут видных русских революционеров. И они гордятся этим и смотрят на нас с Гапоном с тою милою ласкою во взоре, с какой всегда смотрит труженик, пробудившийся к новой сознательной жизни, на интеллигентного революционера.

Поздно вечером мы подошли к узкому проливу между островами, на которых была устроена таможня. Наступил решительный момент. Все подтянулись. Казалось, даже сама яхта, вздрогнув всем корпусом, выпрямилась и пошла медленным, внушительным шагом. Кают-компания ярко освещена, китаец-повар, широко улыбаясь своим бабьим лицом, уставляет стол замысловатыми кушаньями, приготовленными на европейско-китайский лад. Вокруг стола, нервно потирая руки, ходит Гапон.

Я выхожу на открытую палубу. Густая темнота августовской ночи гасит слабые огни нашей яхты, бессильно пытавшейся прорвать ее. Но лицо нашего лоцмана, красивого юноши, стоявшего на носовой части, выделяется в темноте, освещенное приподнятым в руке фонарем. Выражение у него нервно-сосредоточенное. Справа мелькнули огоньки, и тотчас раздался окрик. С яхы по-шведски ответили какой-то веселой шуткой, весело откликнулся и берег. Голоса перекликались, сгоняя с лица юноши-лоцмана нервную сосредоточенность. Наконец, раздались прощальные приветствия. Из груди юноши-лоцмана вырвалось торжественно-радостное: «Провезло».

Казалось, вся яхта облегченно вздохнула и пошла легко, свободно. Я вернулся в кают-компанию. Гапон, сияя, хлопнул меня по плечу и весело воскликнул:

— Ловко, товарищ!

Пришел радостно улыбающийся капитан и объявил, что мы, пройдя до одного из ближайших островов, бросим якорь и заляжем до утра.

— Будем спать и видеть радужные сны уже в русских водах.

На этот раз и я спал сном праведника. Утром встал бодрым, свежим. Выйдя на палубу еще дремавшей яхты и окинув взором чарующую картину фиорда, я невольно подумал:

«Хорошо жить на этом свете!»

Со всех сторон нас обступали гранитные островки с темно-зелеными сосновыми рощами; причудливо извиваясь, блестела зеркальная поверхность воды, блестела и золотилась под лучами теплого и ласкового солнца, не спеша встававшего из-за темного леса. Бледно-голубое

небо было совершенно чисто. От воды и леса к небу подымались легкие белоснежные облака; на пути они постепенно таяли и рассеивались, как бы поглощаясь бесконечной небесной синевой. Не так ли рассеиваются в бесконечном духе человеческом чистые души в любви живших и в любви умерших людей...

Подошел Гапон, посмеиваясь и поеживаясь от утреннего холодка. Я почувствовал на себе его косой взгляд, и моя душа стала постепенно отделяться от божьего мира.

Из-за островка слева от яхты, нарушая тишину гулкими, мерными всплесками весел, вынырнула лодка с тремя финками в пестрых одеждах и скрылась за другим островком. Лодка исчезла, но долго еще слышны были постепенно замирающие всплески весел. Тихо. Светло. Чужды душе человеческие страсти, заговоры, споры, революции, войны.

Вдруг с правой стороны бесшумно появляется большой пароход с развевающимся трехцветным русским флагом. Пароход идет прямо на нашу яхту. На капитанской вышке видна небольшая женская фигура в белой студенческой фуражке.

Пароход подошел вплотную к нашей яхте, дама в белой студенческой фуражке перешла к нам. Поздоровавшись с капитаном, как со старым знакомым, она перекинулась с ним несколькими отрывистыми фразами.

Оказалось, что наши финские друзья прислали нам навстречу одного из своих наиболее решительных революционных деятелей, госпожу Реймс, с тем, чтобы мы под ее охраной без всякого риска добрались до подготовленного нам убежища.

Реймс, жена богатого коммерсанта в Або, была худенькой блондинкой лет тридцати, с исхудалым бледным лицом, оживленным умными, пытливыми голубыми глазами. Она хорошо говорила по-немецки, и я мог свободно с ней объясняться, Гапону же, не знавшему ни одного иностранного языка, приходилось только улыбаться. Улыбался он сладко, выразительно, так как Реймс, при взгляде на которую почему-то вспоминались драмы Ибсена, сразу очень ему понравилась: она, как он говорил, была из «его женщин».

Мы перешли на пароход, сердечно распрощавшись с нашим интернационалом. После отхода парохода яхта должна была отправиться в обратное плавание. Этого требовала разумная осторожность, так как не исключалась возможность, что агенты русского правительства в Стокгольме узнали об уходе революционной яхты и дали знать о задержании ее в Финляндию.

На пароходе мы говорили о финской природе, о норвежской литературе, деловых же, революционных тем не касались. Не знали мы,

куда нас везут, и чувствовали, что спрашивать об этом не полагается.

Через несколько часов пароход остановился у пустынной пристани. Мы вышли и, с усилием таща чемоданы (у Гапона был чемодан большой и тяжелый), стали подыматься на крутую, лесистую гору. Пароход дал свисток и пошел дальше. Не успели мы добраться до половины горы, как Реймс остановилась и попросила нас вернуться обратно. Гапон зачертыхался, но пошел покорно. Мы поняли, что вся это процедура нужна была для сокрытия следов. На пристани никого не было. Реймс свистнула. Из соседних камышей выплыла лодка с двумя рослыми финскими крестьянами. Молчаливые приветствия. Ловко подхвачены чемоданы, а за ними и мы. Под тихими, но мощными ударами весел лодка помчалась к противоположному берегу фиорда, долго крутилась в изгибах и, наконец, остановилась в небольшой лесистой бухте. Молча помогли нам лодочники выбраться на берег и, взяв на плечи наши чемоданы, повели нас по извилистой лесной тропинке.

Уже смеркалось, когда мы неожиданно натолкнулись на одиноко стоящий бревенчатый домик. Здесь нас ожидал вкусный ужин, чистые постели и вообще домашний уют.

Это было конспиративное убежище для почетных, т. е. наиболее опасных революционеров. Сопровождавшие нас крестьяне, люди, по словам Реймс, надежные и преданные партии активистов, говорили, к сожалению, только по-шведски. Объясняться мне с ним было трудно, тем не менее за ужином я нашел уместным поднять рюмку за свободу Финляндии, при чем назвал Финляндию по-фински: «Суоми» (Suomi).

К моему величайшему изумлению оба крестьянина моим тостом остались очень недовольны и, поставив рюмки на стол, не захотели со мной чокнуться. Вмешалась Реймс, и дело объяснилось. Оказалось, что эти крестьяне — ярые шведоманы, ненавидящие финляндцев финского, а не шведского происхождения. Для шведоманов существует только Finland, Финляндия, и они не хотят знать никакой Суоми. А я как раз предложил тост за свободу не Финляндии, а Суоми, думая польстить финским революционерам. Меня приняли за финномана, госпожа Реймс с трудом рассеяла недоверие, закравшееся в души добрых финляндцев, ненавидящих финнов.

Утром мы покинули революционное убежище, выбрались на дорогу, сели на ожидавшие нас двуколки, похожие на боровичские таратайки, и помчались к станции железной дороги.

Перед посадкой в поезд Гапон волновался из-за своего чемодана, в котором, по его словам, были «опасные штучки».

— Как бы не стали осматривать чемодан, — говорил он шопотом. — Тогда мы пропали.

Вероятно, для своего успокоения он поставил чемодан около скамьи, на которой мы сидели с Реймс, а сам, как человек курящий, перебрался из нашего отделения для некурящих в соседнее.

Вообще Гапон, оберегая себя, проявлял много мелочного эгоизма и детской наивности. Впоследствии, когда нам приходилось в Гельсингфорсе гулять вместе, выходило почему-то всегда так, что мой зонтик оказывался в его руках, а толстая палка, подаренная ему каким-то почитателем, — в моих.

Секрет объяснился, когда я нечаянно повернул рукоятку палки и увидел спрятанный в палке внушительный кинжал. Вспомнил я, как незадолго перед тем Гапон толковал о запрещении иметь палки со скрытым в них оружием.

— Такая палка — лишняя улика и во всяком случае отягчающее вину обстоятельство, — говорил он.

Проехав часа два, мы вышли на небольшой станции, где нас ожидал член партии активистов М.

М. считал себя прежде всего революционером, затем поэтом и только напоследок, так сказать на худой конец, народным учителем. И походил он больше всего на поэта. Длинная, слегка сутуловатая фигура, бледное нервное лицо, длинные каштановые волосы, беспокойный взгляд голубых глаз. Господин М. сменил госпожу Реймс. Расставаться с ней было очень жаль. Мы успели подружиться. Гапон хотел как-то особенно, по-своему, отблагодарить ее за хлопоты о нас. Он просил меня купить в Гельсингфорсе два золотых креста.

— Один я подарю, — говорил он, — Ларисе Петровне, другой — Реймс. Я всегда дарю на память золотые кресты женщинам с родственной мне душой.

Души Ларисы Петровны и особенно Реймс были далеко не родственны душе Гапона, но, несомненно, он мог производить сильное впечатление на хороших, но несколько неуравновешенных женщин.

Помню, я спросил Реймс, какого она мнения о Гапоне.

— Feuersmann (огненный человек), — ответила она.

М. оказался для нас товарищем-охранителем менее приятным, чем Реймс. Реймс была всегда ровна, спокойна и совершенно бесстрашна. М. тоже не был трусом, но спокойствием и ровностью не отличался. Это, напротив, было само беспокойство не за себя, а за вверенного ему партией Гапона. Ехать на извозчике в школу, где он жил и где мы должны были найти приют, казалось ему опасным, и нам пришлось совершить довольно длинный путь пешком. Брать

носильщика тоже опасно, и М. пришлось самому тащить на себе тяжелый чемодан Гапона, так как владелец его предпочитал ходить налегке. Но всего неудобнее было запрещение говорить по-русски в присутствии посторонних лиц, даже прислуги. Гапону приходилось или мычать, или вызывать меня для разговора чуть не на чердак.

Волновался не только М., волновалась и его жена, миловидная женщина, далекая от политики, всецело поглощенная хозяйством и детьми. Мы с Гапоном представлялись ей чем-то в роде бомб, готовых в каждую минуту взорваться. Обстановка для серьезных разговоров и решений неблагоприятная. Между тем решения приходилось принимать ответственные, а для меня и неожиданные.

К Гапону для деловых переговоров явился представитель петербургского социал-демократического комитета. Гапон нас «познакомил», но фамилии комитетчика не назвал. Наружность у него была интеллигентная и, можно сказать, изысканная. Движения мягкие, округленные, голова острижена бобриком, аккуратная бородка, хорошо сшитый костюм, чистые манжеты и воротничок, приятный баритон, знание иностранных языков, хороший французский выговор, — вообще все в порядке — comme il faut.

С Гапоном обнялся и расцеловался, как со старым товарищем, со мной поздоровался сухо и сразу дал понять, что меня товарищем не считает.

Пробыл он недолго, переговорил конспиративно с Гапоном и затем исчез.

Гапон этим разговором остался очень недоволен и, позвав меня на чердак, стал осыпать социал-демократов прямо площадной руганью.

— Вы знаете, вы должны знать, что это за... (последовало крепкое выражение).

— И попутал же меня чорт связаться с этим... (еще более крепкое выражение).

Подвели меня, негодяи. Что я теперь буду делать? И Мартына * как на грех нет. Где-то застрял. Вероятно арестовали. Вот этот не выдал бы. А теперь вся надежда на вас. Вас я узнал, вас полюбил. Вы человек прямой, бесстрашный, недаром социал-демократические иезуиты вас не выносят. Знали бы вы, что они о вас говорят!

— Но в чем дело? Я ничего не понимаю и понять не могу, так как не посвящен в вашу конспирацию.

— А в том дело, что я для социал-демократов добыл массу оружия. Пароход с транспортом оружия должен не сегодня-завтра прибыть;

* «Мартын», как я впоследствии узнал, была революционная кличка социалиста-революционера инженера Рутенберга.

необходимо принять оружие от финляндцев, переправить его контрабандой в Петербург, а у социал-демократов ничего не готово: нет людей, нет средств, и они теперь в последнюю минуту отказываются от соглашения... Голубчик, возьмите вы на себя переговоры по этому делу с финляндцами, примите вместе с ними оружие, а тем временем приедут из Петербурга мои товарищи, не какие-нибудь партийные теоретики, а настоящие рабочие-практики, братья, кровью со мною спаянные; кроме того, я снесусь с Горьким, потребую, чтобы он немедленно дал обещанные деньги, и все устроится наилучшим образом. Мне же пока лучше не соваться в это дело, тем более, что эти чухны, как нарочно, ни слова не понимают по-русски. Поезжайте сегодня же в Гельсингфорс, кстати повидайтесь с Ларисой Петровной и немедленно присылайте ее сюда.

В душе моей, когда я слушал Гапона, поднялось возмущение: с одной стороны мне как будто не доверяют, не говорят ничего определенного об организации, заинтересованной в получении оружия, с другой — навязывают мне опасное поручение, с которым не мирится мое представление о настоящей пролетарской борьбе. Но возмущение гасилось сознанием, что в своем ложном положении виноват прежде всего я сам. Уклоняться было противно, — именно противно, более удачного слова не подберу.

— Хорошо, я согласен.

Гапон бросился было меня обнимать, но я уклонился, и дело ограничилось крепким рукопожатием.

В Гельсингфорсе я поселился в квартире интеллигентной активистки, госпожиНиландер.

Это был сборный пункт для видных членов партии активистов, и я оказался окруженным избранным европейски-образованным обществом, не имеющим ничего общего ни по облику, ни по языку, ни по всему своему быту с финнами, составляющими огромное большинство населения Финляндии.

Наблюдая этих литераторов, адвокатов, инженеров, студентов, образованных дам, говорящих о необходимости террора и вооруженного восстания, я почему-то вспоминал наших декабристов и народовольцев.

Но у активистов народолюбие гораздо более, чем у декабристов и народовольцев, поглощалось ненавистью к русскому самодержавию.

Для любви и деятельной заботы о народной свободе, немыслимой без коренного изменения социального строя, ничего не оставалось. За немногими исключениями все это были господа, — правда, хорошие

господа, но все же господа с привычками просвещенных крепостников.

По утрам, например, в спальню являлась молоденькая горничная в белом фартуке и белом чепце на голове и подавала на серебряном подносе активисту, потягивающемуся на постели, горячий кофе с жирными сливками и сладким печеньем.

В ванне и активистов и пассивистов мыла женская прислуга, которой они так же мало стеснялись, как римские матроны своих рабов. Вообще от их жизни веяло добрым старым помещичьим духом. И в то же время у многих из них на ночном столике лежал заряженный браунинг, которым они не побоялись бы воспользоваться для вооруженного сопротивления в случае внезапного обыска.

Из активистов и пассивистов в 1917 году, вероятно, составлялись кадры белогвардейцев, но в 1905 году активисты жили в мире с красной гвардией капитана Кока [105].

Ко мне отношение было самое деликатное, предупредительное. В доме Ниландер, как впоследствии в доме Гуммеруса, я чувствовал себя желанным и почетным гостем. Тем неприятнее мне было мое ложное положение российского делегата по приемке транспорта с оружием.

Из переговоров я выяснил, что оружие направляется из Англии в Финляндию по соглашению с какой-то русской революционной организацией, в которую входят представители различных партий, в том числе Гапон, как общепризнанный вождь русской революции [106].

Финляндцы обязались доставить оружие на русско-финляндскую границу, где оно должно быть принято русскими революционерами. Получено было известие, что пароход находится уже в финляндских водах, и с разгрузкой, а также перевозкой нельзя было медлить ни одного дня. Меня спрашивали, подготовлена ли приемка оружия на русско-финляндской границе, и когда будет уплачена условленная сумма.

На эти вопросы я ничего не мог ответить, и очень кстати явилась Лариса Петровна, успевшая побывать у Гапона и явившаяся в Гельсингфорс с настоятельной просьбой немедленно ехать к Георгию Аполлоновичу.

— Что случилось? — спросил я.

— Да просто ужасно нервничает. Поезжайте, вы его успокоите.

— Ну, не знаю, успокою ли, но переговорить с ним серьезно и мне необходимо.

Поехал я к Гапону с двумя молодыми активистами не по железной дороге, а морем, на революционной моторной лодке. Выехали

к вечеру. Дул довольно сильный ветер, но сначала все шло хорошо. Лодка бойко бежала в открытое море, подгоняемая торопливыми постукиваниями мотора. Ветер все крепчал. По потемневшему морю забегали резвые барашки и наш мотор стал капризничать, давать перебои, останавливаться. Моим опытным спутникам несколько раз удалось его исправлять, но в конце концов он окончательно забастовал. В лодке были два весла. Сели за весла, но при сильном ветре тяжелую моторную лодку двигать веслами было очень трудно. Добраться до места назначения не было возможности, и мы решили пристать к ближайшему острову, на котором, по словам моих спутников, жил на даче какой-то солидный финляндский судья. Решено было искать у него пристанища, выдав меня за немецкого туриста, доктора Брауна.

Была уже ночь, когда мы добрались до дачи судьи. В доме было темно и тихо, все спали. Наш стук нарушил покой судьи, но, узнав, что приют просит немецкий доктор-турист, ни судья, ни его семья не рассердились, а, напротив, встретили нас самым радушным образом. Напоили, накормили и спать уложили. Но прежде чем лечь спать, мне пришлось за стаканом чая долго беседовать с судьей о Германии и России. О Германии рассказывал я и нарисовал картину, вероятно, близкую к действительности, так как в то время основательно знал германскую внутреннюю жизнь; о России же рассказывал судья, и рассказывал вздор и небылицы. Узнав, что я из Финляндии хочу ехать в Россию, чтобы познакомиться с ее политической жизнью, он не советовал меня делать этого, так как в России я буду постоянно находиться между правительственной виселицей и революционной бомбой.

— Что лучше, это дело индивидуального вкуса, — добавил, улыбаясь, судья.

Я дал понять, что к моему вкусу более всего подходит правовой порядок, к которому стремятся финляндские конституционалисты, чуждые всяких крайностей.

Судье мои взгляды понравились.

— Das ist grade was ich meine (это как раз то, что я думаю, — повторил он, когда я излагал политические взгляды доктора Брауна.

Мои спутники, видимо, были в восторге от того, как я исполнял свою роль; очень доволен был и я сам, а между тем ведь я морочил человека в благодарность за гостеприимство, я лгал, а ложь «хорошим средством» назвать, разумеется, нельзя.

Но плох тот конспиратор, который не умеет хорошо лгать!

Выспались мы отлично; хорошо отдохнул, вероятно, и мотор нашей лодки, по крайней мере утром он доставил нас до гапоновского убежища быстро, без капризов.

Гапон, осунувшийся и раздраженный, встретил меня словами:

— Ну, славу богу, что вы приехали. Немедленно везите меня отсюда, не могу я больше здесь оставаться.

Присутствовавший при встрече М. замахал руками, давая понять, что говорить по-русски опасно. Но Гапон только злобно сверкнул в его сторону своими черными глазами и продолжал еще громче:

— Сил моих нет. Одолели охранники проклятые. Кормят и поят, правда, на убой, но держат взаперти и рта разинуть не дают. Как только откроешь рот, чтобы слово сказать, так со всех сторон: тсс!.. тсс!.. Я во сне теперь вижу какие-то испуганные хари, какие-то изогнутые длинные пальцы и слышу проклятое: тсс!.. тсс!.. Они, видите ли, выдают меня за финна, а мне приходится быть глухонемым.

С трудом убедил я М., что без русского языка нам с Гапоном не обойтись. Сообщил я Гапону о глупом положении, в которое меня поставили вопросы финляндцев.

Гапон заволновался и снова стал ругать социал-демократов.

Для меня было ясно, что из глупого положения может вывести лишь какая-нибудь счастливая случайность.

«Счастливой случайностью» явилось несчастье, постигшее пароход «Джон Графтон», везший революционный транспорт оружия. Об этом нам сообщил страшно взволнованный М. По его словам, «Джон Графтон» сел на мель у северного берега Финляндии, недалеко от того места, где высадились мы с Гапоном. Сняться с мели, несмотря на все усилия, не удалось. Небольшая часть оружия была выгружена и спрятана, но большую часть пришлось побросать в воду, так как «Джон Графтон» обратил на себя внимание двух финляндских таможенных чиновников, которые подъехали к нему на лодке и, не получив удовлетворительных объяснений, уехали обратно, чтобы известить финляндские и русские власти. Экипажу удалось скрыться [107].

Обнаружение большого транспорта с оружием должно было вызвать переполох в русских сферах.

Следовало ожидать обысков для отыскания увезенного с парохода оружия и для открытия нитей заговора. М. и другие видные активисты должны были быть начеку и ждать с часу на час нашествия жандармов и солдат.

Таким образом, «счастливая случайность», выводившая нас из глупого положения, ставила нас в то же время в положение очень опасное.

Переполох в сферах был, действительно, сильный. Правительство нашло нужным довести до общего сведения о неудачной попытке доставить русским революционерам большое количество оружия на английском пароходе, при чем в сообщении были приведены слова, которые государю императору было благоугодно начертать на докладе о дерзкой попытке революционеров. Государь начертал: «Скверное дело».

Петербургские либералы шутили, что в действительности Николай II начертал не «скверное дело», а «дело скверно», так как дело самодержавия, должно быть, очень скверно, если революционеры закупают оружие целыми кораблями.

Но нам было не до шуток.

Известие о катастрофе с «Джоном Графтоном» пришло вечером.

Все согласны были, что Гапону необходимо уехать в более безопасное место, и пока лучше всего в Гельсингфорс. Но как ехать? По железной дороге, наверное, шныряли шпики, и было легко обратить на себя их внимание, как при посадке, так и высадке; к тому же и поезда нужно было ждать до утра.

Ехать морем, но море как раз было на редкость бурное, и я, переживший уже капризы революционного мотора, советовал переждать до утра, тем более, что обыск в деревне, далеко от места катастрофы, казался мне мало вероятным. Но Гапон, сильно волнуясь, настаивал на немедленном отъезде морем.

— Я предпочитаю утонуть, чем быть повешенным, — говорил он.

Его желанию пришлось в данном случае подчиниться.

Сопровождать нас кроме студента О., «смелого мореплавателя», решил и сам М. Жене было страшно отпускать мужа и отца маленьких детей в это опасное путешествие, но она, трогательно-скорбная, ни одним словом его не отговаривала. Она понимала, что ехать в данном случае — дело чести.

Когда мы вышли из дому, нас сразу охватило темное ненастье: порывы мокрого ветра злобно били по лицу, как бы отгоняя нас от сердито ворчавшего моря.

И мы все же поехали, привязав к корме моторной лодки небольшую шлюпку в качестве спасательной.

Сначала лодка, ныряя между волнами, бодро шла вперед.

Наши спутники сосредоточенно следили один за мотором, другой за рулем, изредка перекидываясь отрывистыми и как будто сердитыми словами. Мы с Гапоном устроились на кормовой части, стараясь по возможности укрыться от дождя и волн, хлеставших иногда через борт.

У Гапона почему-то настроение было почти игривое.

— Ну что, — говорил он, переходя на ты, — небось, недоволен, что связался с чортовым попом? Это тебе не теории и практики писать. Как бы к водяному на ужин не попасть. Я-то плаваю, как рыба, а вот как-то ты выплывешь, товарищ?

— Кому быть повешенным, тому не утонуть, — ответил я в тон Гапону.

— Правильно!

Но вскоре наша игривость исчезла.

Мотор стал давать перебои и останавливаться. Несколько раз О. удавалось его «уговорить», и он снова начинал работать, но наконец остановился решительно и бесповоротно. Лодка закрутилась. Спасательная шлюпка глухо и болезненно колотилась о корму.

— В шлюпку! — строго скомандовал О.

Один за другим мы перепрыгнули в шлюпку, каким-то чудом не перевернув ее. Моторная лодка была брошена на произвол судьбы.

Наши спутники ожесточенно гребли, но шлюпка, казалось, не подвигалась вперед, а лишь вздымалась на волну и скатывалась с нее в пучину. Невероятным казалось, что волна снова подымала нас вверх, чтобы снова бросить в пучину. Жутко!

Но мы все же подвигались вперед. Вдали замерцали бледные слезливые огоньки. Огоньки Гельсингфорса. Еще несколько усилий наших сильных и стойких товарищей, и мы спасены. Но вот волна ударила со стороны и, окатив нас, как бы втиснула шлюпку в воду. Я взглянул на Гапона и с недоумением заметил, что он белеет на черном фоне ночи.

— Что с вами?

— Что?! Разделся. Разве не понимаете, что еще удар волны, и мы...

Не успел он докончить фразы, как в лодку ударила новая волна, и я почувствовал, что погружаюсь в холодную влагу вместе с кормой, но в то же время что-то сильно стукнуло и треснуло. Я ощутил сотрясение, и оно меня почему-то обрадовало и встряхнуло. Дно лодки ускользнуло из-под моих ног, но в тот же момент меня кто-то цепко схватил за руку, и я больно ударился о что-то твердое и острое.

Только уже стоя на скале и отряхивая с себя воду, я сообразил, что произошло. В момент крушения лодка была уже у скалистого берега. На него выскочили наши ловкие мореплаватели и вытянули нас. Гапон успел захватить даже часть своей одежды и, натягивая брюки, хвалил меня за то, что я не струсил.

Скалистый берег, на который мы выбрались, подходил к одной из окраин Гельсингфорса. О. отыскал извозчиков, и скоро мы отогревались в одной из конспиративных квартир радушных активистов.

Освободившись от забот о приемке оружия, мы должны были подумать, как же нам лучше открыть дверь, в которую настойчиво стучится революция. Мне хотелось прежде всего ознакомиться с настроением гапоновских рабочих, и я намеревался немедленно ехать в Петербург, но Гапон был почему-то против. По его мнению, нужно было повременить в Финляндии и постараться вызвать сюда товарищей из Петербурга. Особенно желал он вызвать Горького.

— Зачем вам так нужен Горький? — спрашивал я.

— Горький должен дать денег. Он обещал сто тысяч, и я заставлю его выполнить обещание. Для всякого дела, а особенно для революционного, нужны деньги, большие деньги. У меня скоро будут миллионы. Дадут английские трэд-юнионы. Хлопочет Кропоткин. Но время не ждет, и теперь необходимо надавить на Горького.

— Не в деньгах дело, — возражал я. — Дело в организованности и настроении рабочих.

— О рабочих не беспокойтесь. Я не терял с ними связи. У меня с ними были постоянные сношения через делегатов, приезжавших в Париж, в Лондон, в Женеву. После 9 января совершена большая организационная работа. Вот подождите, сами увидите, когда устроим здесь свой рабочий конгресс в пику всем этим эсдекам и эсерам. Я посылаю в Петербург Ларису Петровну. Она там все наладит. главные деятели отделов тотчас же приедут ко мне, как только узнают, где я.

Лариса Петровна ездила к Горькому и к гапоновским рабочим в Петербург, но никто не спешил на свидание с Гапоном. Гапон волновался, сердился. Многое скрывал от меня. Встречался он, как я мог догадаться, с какими-то видными русскими революционерами, но мне об этом не сообщал.

Со мной он часто заговаривал о Ларисе Петровне. Уверял, что мне она особенно доверяет, прислушивается к каждому моему слову.

— Вы для нее непререкаемый авторитет, уверяю вас, — говорил Гапон, — и вы должны использовать его в интересах революции. Она еще молода, неопытна, колеблется. Ее нужно укрепить в ее решении...

— Каком решении?

— Вы же знаете, что она решила пожертвовать собой для народа... Она мечтает о подвиге. Я ее подготовляю к убийству Витте.

— Убийству Витте?

— Ну, да. Что вы так на меня уставились? Знаю я ваши принципы. Их надо бросить, если хотите серьезно заниматься революцией. Вот те овцы, которые сопровождали «Джон Графтона», вероятно были заражены вашими принципами, оттого мы и остались без оружия. Пришли на пароход два чиновника, а они их с поклоном назад отпустили, как бы прося донести. Я бы ткнул этим чиновникам в бок кинжалом и выбросил бы за борт. Вот как должен действовать настоящий революционер.

— Но какое это имеет отношение к задуманному вами убийству Витте? Для чего убивать Витте?

— Вы против самодержавия? — ответил Гапон вопросом на вопрос.

— Ну, против...

— А кто же главный устой самодержавия, как не Витте? Он самый умный, самый толковый из слуг самодержавия. Его и надо устранить. Он гораздо вреднее такой полицейской собаки, каким был Плеве.

— Мы с вами, Георгий Аполлонович, в этом вопросе все равно не сойдемся. Но подумайте: ведь, совершая покушение на Витте, Лариса Петровна сама должна почти наверное погибнуть.

— Ну что же... и погибнет. Все мы погибнем.

— Но ведь вы ее любите?

— Революция выше личных чувств. Нет, уж вы, Владимир Александрович, постарайтесь. Прямо не надо убеждать, а этак косвенно, исподволь. Выясняйте роль Витте в укреплении самодержавия, иллюстрируйте его двуличность и пр. и пр. У вас в «Листках Жизни» была хорошая ядовитая статейка о нем, вот именно в таком роде. Не надо говорить: «убей», — это было бы глупо, а надо так сказать: «не убей», чтоб человек пошел и убил. Так-то!

Я промолчал. Душу охватила жуть.

Лариса Петровна то исчезала, то появлялась, всегда сосредоточенная, занятая, суровая, никогда не улыбающаяся. Вообще она не умела улыбаться. Финляндцы от нее были в восторге, в Гапоне же заметно разочаровывались. Возиться с ним начинало надоедать.

Из Гельсингфорса нас перевезли в какую-то глухую усадьбу, где должна была состояться наша встреча с Горьким и с рабочими, членами гапоновской организации.

Хозяйка усадьбы, пожилая, скромная женщина, должно быть с трудом сводившая концы с концами в своем маленьком хозяйстве, приняла нас к себе неохотно, лишь в угоду своему сыну, молодому финскому ученому, члену партии активистов. Он жил в Гельсингфорсе,

лишь изредка наведываясь к матери. Пребывание двух таинственных русских революционеров внесло не мало тревоги в душу и жизнь активистки поневоле.

Из предосторожности она отпустила прислугу и старалась не пускать в дом, где мы жили, никого из посторонних. Уходя по делам, она запирала нас на замок. Отведена нам была комната с одной кроватью, так что одному из нас приходилось спать на полу.

Я уже упоминал, как мне однажды пришлось ночевать с Горьким в Козьмодемьянске, в скверном номере, где тоже была только одна кровать, и как долго мы с ним препирались, навязывая друг другу кровать. Горький в конце концов осилил и уложил меня на кровать, а сам растянулся на полу. Гапон походил не на Горького, а на его наивно-эгоистичного спутника, описанного им в его чудесном рассказе «Мой спутник».

Препираться нам с Гапоном не пришлось. Войдя в комнату и окинув ее быстрым взглядом, он подошел к кровати, сел на нее и положил на ночной столик свои часы. Занято, мол.

Гапон страдал не столько самолюбием или себялюбием, сколько самопредпочтением, или себяпредпочтением, и бывал при этом наивен до трогательности.

В этой же усадьбе мне как-то перед поездкой в Гельсингфорс нужно было побриться. Гапон дал мне безопасную бритву, тупую, заржавленную, которая больше царапала, чем брила. Я ругал бритву, а Гапон весело посмеивался.

Затем, когда я кое-как окончил операцию, он послал меня к хозяйке попросить еще горячей воды.

— Глядя на вас, хочу и я побриться.

Ну, подумал я, принося воду, теперь твоя очередь царапаться, а моя смеяться.

Но каково же было мое изумление, когда Гапон полез в свой неисчерпаемый чемодан и достал оттуда совершенно новую, острую безопасную бритву и стал ею бриться. Мне пришлось посмеиваться совсем иначе, чем Гапону.

Это новое самопредпочтение не помешало Гапону выбрать девизом своей жизни слова Христа: «Будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный».

Об этом он заявил совершенно серьезно и очень внушительно во время одной из наших вечерних бесед в финской усадьбе, в присутствии сына хозяйки. Мы тогда все трое говорили о девизах своей жизни, и, может быть, Гапону лучше было бы взять тот девиз, который я в то время считал своим: «Quand-même» (во что бы то ни

стало). Тем не менее лицемером Гапона нельзя было назвать. Пожалуй, он старался лицемерить, но мог только лукавить.

Он много и живо рассказывал мне о своей жизни, богатой переживаниями и приключениями, рассказывал обыкновенно без прикрас, и у меня на основании этих рассказов составилось о нем представление, как о способном, лукавом мужичке, поднявшемся на высоту исторической личности, благодаря своей легкости. Закон, по которому все легкое подымается в высь, применим к явлениям не только физическим, но и политическим. На основании того же закона впоследствии поднялся в высь и Керенский.

Гапон был участником событий исторических и в то же время трагических, но в его рассказах преобладала сторона анекдотическая.

Со смаком рассказывал он, как, будучи скромным тюремным и приютским батюшкой, добился влияния в великосветских домах. Гапон почему-то с особенным вниманием останавливался на тех великосветских домах, которые прибегали к его советам в затруднительных случаях своей семейной жизни.

— Приглашает меня, — рассказывал Гапон, — одна великосветская дамочка, смотрит на меня с благоговением своими бархатными глазками и говорит проникновенным голосом: «Батюшка, помогите мне вашим советом, я знаю, никто, кроме вас, не поймет меня. Вы знаете, мой Коля в таких летах, когда мужчине трудно не увлекаться... трудно... ну, понимаете... не жить физиологически. И я ужасно боюсь, что Коля сойдется с развратной женщиной, может заболеть, поэтому я решила взять в горничные молоденькую и совершенно чистую, невинную девушку. Пусть он лучше с ней сойдется. Но я не знаю, хорошо ли я поступаю с христианской точки зрения? Ради бога, скажите мне, отец Георгий, успокойте меня. Я совсем измучилась».

— Ну, что же вы ей сказали? — заинтересовался я.

— А я сказал: наймите горничную молоденькую и хорошенькую, но только... не совсем невинную.

И Гапон лукаво рассмеялся.

Рассказывая о подготовке рабочего шествия 9 января, Гапон с особенным удовольствием останавливался на своем последнем свидании с тогдашним своим другом, петербургским градоначальником Фулоном.

Фулон, как и другие носители власти, покровительствовал Гапону в его деятельности среди рабочих, так как Гапон выдавал себя за убежденного сторонника самодержавия и православия. Его легальное «Собрание» рабочих должно было быть противовесом нелегальным

социалистическим организациям. В Гапоне власти видели красноречивого проповедника здоровых монархических начал. И, действительно, на гапоновских собраниях пели «Боже, царя храни», служили молебны за здравие государя императора, посылались верноподданнические телеграммы. Почетным гостем этих собраний являлся градоначальник, снимавшийся на одной группе с Гапоном и его рабочими.

Но постепенно под этим благонадежным покровом стала зарождаться крамола, ибо где объединение рабочих, там в конце концов непременно и протест против власти капитала. Гапон понял, что ему не удержать «своих рабочих» в полицейских рамках. Он почуял силу стихийного движения и счел выгодным рискнуть, став во главе стихии, в надежде, что она вынесет его к почету и власти. Началась подготовка 9 января. Фулон получает массу агентурных сведений о том, что Гапон не успокаивает, а подстрекает рабочих к устройству опасной демонстрации. Фулон не хочет этому верить, не соглашается подписать приказ об аресте Гапона, не переговорив с ним предварительно.

— Фулон, — рассказывал мне Гапон, — пригласил меня к себе и, страшно расстроенный, сообщил мне о полученных им донесениях относительно моей опасной агитации. Донесения были верные, но я не смутился.

«Многое тут верно, генерал, — сказал я, — но те, кто доносит вам, не знают рабочих, не понимают, что не нужно им противоречить, нужно умело завоевать их доверие и затем, в последнюю минуту, использовать его, чтобы удержать их от безумной затеи пробиваться к государю императору для подачи петиции. Уверяю вас, что если вы предоставите мне полную свободу действий, если вы без моего ведома не позволите арестовать никого из рабочих нашего «собрания», то все обойдется благополучно, и мне удастся успокоить разыгравшиеся страсти. Если же вы прибегнете к репрессиям, то может произойти взрыв, и от него погибнем мы оба, да не только мы...»

Фулон задумался и потом сказал:

«Вот что, батюшка; я человек военный, простой и бесхитростный, человек верующий, и привык с уважением относиться к служителям нашей церкви... Дайте мне свое иерейское слово, что вы не допустите выступления рабочих, и я вам поверю, я не позволю тронуть ни вас, ни ваших рабочих».

Он смотрел на меня строго, внушительно.

Я не моргнул и с величайшей искренностью заявил:

«Даю вам свое иерейское слово, что никакого выступления не будет».

Славный был старик. Поверил мне и даже обнял. А я обманул, и, когда давал слово, знал, что обманываю. Без этого нельзя. Не обманешь — революции не сделаешь [108].

Он засмеялся, но смех вышел деланный.

— На что же вы рассчитывали, — спросил я, — когда 9 января вели рабочих на Дворцовую площадь к царю?

— На что? А вот на что!

Если бы царь принял нашу делегацию, я упал бы перед ним на колени и убедил бы его при мне же написать указ об амнистии всех политических. Мы бы вышли с царем на балкон, я прочел бы народу указ. Общее ликование. С этого момента я — первый советник царя и фактический правитель России. Начал бы строить царствие божие на земле...

— Ну, а если бы царь не согласился?

— Согласился бы. Вы знаете, я умею передавать другим свои желания.

— Ну, а все же, если бы не согласился?

— Что же? Тогда было бы то же, что и при отказе принять делегацию. Всеобщее восстание, и я во главе его.

Немного помолчав, он лукаво улыбнулся и сказал:

— Чем династия Готорпов лучше династии Гапонов? Готорпы — династия гольштинская, Гапоны — хохлацкая. Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течет кровь чисто-мужицкая, притом хохлацкая. Отец у меня — простой мужик, землю пахал в Полтавщине. А ловко это было бы! Все же я почище Николашки. Что он знает, что он понимает? А я через всю народную жизнь прошел, нужды народные с молоком матери всосал. Вас бы министром просвещения сделал; князя завоевывать Китай послал... Хе-хе-хе!

— А пока, — прервал я Гапона, — мы скрываемся от царских жандармов в каком-то финском захолустьи.

— Подождите... дайте срок. Вот приедет Горький, приедут мои рабочие...

Но Горький не ехал, а из рабочих приехал один только Кузин. Тщедушный, егозливый, робко-угодливый, он мало походил на гордого пролетария. Про Гапона в третьем лице он почтительно говорил: «они-с» и приниженно съеживался, когда Гапон покровительственно похлопывал его по плечу, называя товарищем.

— Ну, как наши? Идет у них работа? — спрашивал Гапон.

— Идет, как не итти, Георгий Аполлонович.

— Ждут, небось, меня?

— Как же не ждать? Ждут, Георгий Аполлонович.

Но на мои вопросы в отсутствие Гапона Кузин отвечал совсем иначе. Я интересовался, как и где собираются рабочие, есть ли агитационные листки, каковы отношения между гапоновскими организациями и организациями социал-демократическими.

Кузин путался, мялся, но в конце концов становилось ясно, что гапоновские организации не ушли в подполье, а просто развалились под ударами той самой полиции, которая им сначала покровительствовала. Гапона помнили, но не ждали, и сколько бы он ни топал теперь ногой, из земли не вырос бы ни один рабочий легион.

На мой вопрос, можно ли надеяться, что на съезд в Финляндию приедут представители от всех одиннадцати отделов гапоновского «Собрания» [109], Кузин вместо прямого ответа стал жаловаться на свирепость тогдашнего полицейского диктатора Трепова [110] и на равнодушие рабочих.

Кузин уехал, ждать Горького стало еще скучнее, и я был очень обрадован, когда нас снова перевезли в Гельсингфорс, — и перевезли снова с хорошей встряской.

Лежим мы как-то вечером с Гапоном: он на кровати, я на полу. Он разглагольствует о свободе русского народа и гапоновской славе, я же молчу и думаю о призрачности революционных лозунгов и бренности человеческой славы. Мои думы прерывает сильный стук в наружную дверь. Замолкает Гапон. Прислушивается. Стук усиливается. Вспоминаю, что хозяйка ушла и, по обыкновению, заперла нас на замок. Гапон быстро подымается и, спешно одеваясь, шепчет мне:

— В случае чего айда в окно!

И как раз в этот момент окно задребезжало от энергичного удара. В темноте за окном неясно колеблются какие-то фигуры. Друзья или враги?

— Doctor Braun ist da? (Здесь доктор Браун?)

А, значит свои. Открываю окно.

— Скорей собирайтесь. Через какой-нибудь час дом оцепят солдаты...

— Айда в окно! — решает Гапон. — Вещи придется бросить. Захватим только бумаги и уничтожим их по дороге.

К счастью, возвращается хозяйка, финляндцы входят к нам и быстро начинают паковать наши чемоданы, посылая нас вперед к морю. Мы выходим, и я не могу сообразить, куда итти, но Гапон быстро ориентируется и начинает утекать. Ловко перепрыгивает он через заборы и канавы и несется вперед с легкой припрыжкой, а во все стороны летят, белея в темноте, лепестки уничтожаемых

бумаг. С трудом поспеваю я за ним, спотыкаюсь, падаю, ругаюсь и умоляю, чтобы он не так спешил... Наконец мы у моря. У берега маячит парус. Через несколько минут прибегают с чемоданами запыхавшиеся товарищи, и мы, при попутном ветре, на полных парусах мчимся к Гельсингфорсу.

— Везет нам! А вы еще не верите в нашу счастливую звезду, — говорит Гапон, нервно потирая руки.

Яхта лихо склонилась на правый бок и несется к приветливо мигающим огонькам Гельсингфорса по бурлящей воде, обдавая нас веселыми холодными брызгами.

В Гельсингфорсе Гапона ожидала приятная весть. Лариса Петровна привезла известие, что свидание с Горьким налажено при посредстве капитана красной гвардии Кока. План свидания окружен был особою таинственностью, и даже мне о нем сообщено было лишь намеками.

Насколько я понял, Горький с одной стороны, Гапон с другой, оба в сопровождении финляндских революционеров, должны были отправиться как бы на охоту и сойтись как бы случайно в условленном месте, в лесу, где и столковаться о судьбах революции и России. План этот провалился, о чем мне сообщила Лариса Петровна.

Пришла она ко мне какая-то ошеломленная, с мучительным недоумением в дрожащих глазах со слезами на бледных щеках, с губами судорожно сжатыми. Она плакала беззвучно, как редко плачут женщины и как часто плачут страдающие мужчины.

Несколько минут она стояла молча, точно не могла раскрыть судорожно сжатых губ.

— Что с вами, дорогая? — спросил я.

— Я не виновата, я сделала все, что могла, я ничего не понимаю, — проговорила она с усилием. — Зачем он оскорбляет меня? Нестерпимо. Лучше бы он ударил меня. Да, ударил бы; это было бы так хорошо.

— Но что же случилось?

Из ее сбивчивого рассказа для меня выяснилась следующая трагикомедия:

Лариса Петровна вместе с каким-то финляндским революционером подвезла Гапона к условленному месту в лесу, а сама уехала отыскивать Кока.

Кока долго не могли отыскать, а когда отыскали, то выяснилось, что по какому-то недоразумению Горький приехал не во-время или не туда, куда следует. Не найдя Гапона, он отправился в Куоккалу, где жил на даче [111]. Между тем Гапон ждал в лесу и мок под дождем.

Страшно злился. Выбрался, наконец, совершенно вымокший на дорогу и вдруг видит, в кабриолете едут Лариса Петровна и какой-то осанистый господин с длинными усами, оказавшийся капитаном Коком.

Не дожидаясь объяснения, Гапон бешено накидывается на Ларису Петровну и осыпает ее истинно-русской бранью.

Присутствие изумленного Кока быстро привело Гапона в нормальное состояние, и он даже попытался замять неприятное происшествие шуткой, но шутка лишь усилила боль от полученного оскорбления.

— И как он мог так спокойно шутить, скажите, как он мог?

Она смотрела на меня своими заплаканными, страдающими глазами, требуя ответа. Я молчал, но чувствовал, как мне передается ее недоумение, ее страдание.

Прошло несколько мгновений. Она порывисто подошла ко мне, приблизила к моему лицу свое бледное лицо и крепко поцеловала меня в губы.

Через два дня после этого мы с Ларисой Петровной ехали по направлению к Петербургу на курьерском поезде в отдельном купэ I класса, предоставленном в наше распоряжение все теми же активистами.

Поезд мчался, как бы подгоняя себя веселым стуком колес: скорей, скорей, туда, туда.

Сверху падал мягкий электрический свет, освещая уютную комнатку и постели с заботливо приоткрытыми красными шелковистыми одеялами и белоснежными простынями, приглашающими юркнуть под них, потянуться, улыбнуться и забыться в том, что, по словам мудрой Семилетки, милее всего на свете, — в сладком сне без сновидений.

Нигде не чувствуешь себя таким независимым, свободным, как в своей пароходной каюте или в своем купэ быстро несущегося поезда. Золотые искры вьются в темных окнах и, недовольно отставая, печально падают и гаснут, а мы без устали бодро мчимся скорей, скорей, скорей, туда, туда, туда...

Не нужно прошлого с его ложью, с ошибками, грехами и раскаянием, не нужно будущего с его неведомым, случайным, роковым, с его разочарованием и смертью.

Нужно только настоящее с его полнотою бытия. Но на ее усталом лице уже так много грешного прошлого и в ее дрожащих серых глазах так много рокового будущего.

Сажусь близко к ней, беру в свои руки ее сухую, горячую руку и зову ее разорвать тенета лжи, стараясь не замечать, что ими крепко и хитро запутана и моя душа.

— Освободитесь от него. Он мелкий, ничтожный человек, случайно всплывший на гребень стихийной волны. Вы видите, какой он во всех отношениях маленький!

— Нет, он не маленький. Он — воплощение воли простого русского народа. В нем и недостатки от народа. Он груб, но грубость эта — народная. Он меня оскорбляет, мне трудно с этим мириться, но это потому, что я все еще барышня, белоручка, не сумела вырвать из души всех этих сантиментов. Чтобы быть с народом, надо приобщиться к его грубости.

— Нет, не к грубости народной, а к любви народной надо приобщиться. В грубости слабость народа; сила народа в том, что он умеет жалеть, то-есть любить несчастного, умеет и не завидовать счастливому. А он не умеет жалеть, не умеет любить. Он и вас не любит. Ведь не любит?

— Нет, должно быть любит, если страстность и любовь — одно и то же, — ответила она в раздумьи.

Нет, страстность — не любовь. Страстность — сильное желание наслаждения, страстность — хотение, похоть, но не любовь. Нет, он вас не любит.

— Зачем вы все говорите обо мне? И в вас не говорит ли то же... хотенье? Ах, мне иногда кажется, что во всех вас, господа или товарищи, борьба за революцию прикрывает одно только хотенье.

Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо, и я невольно выпустил ее руку.

— Вы может быть, правы, но тем более нужно рвать тенета революционной лжи. Идите в народ, делитесь с ним своими знаниями, живите его жизнью, приобщитесь к его нужде, научитесь работать по-народному, по-мужицкому, по-бабьему. А вы собираетесь делать бомбы, убивать сановников, пожалуй менее вредных, чем иные революционеры.

Но она не слушала меня, она думала о другом, думала о нем.

— Я ему нужна, как свежий воздух, — говорила она мне. — Без меня он задохся бы в тине жизни.

— Пустяки! Вы для него нужны, как нужен ему табак, вино, хорошая закуска. Вам он кажется демоном. Нет, он не демон. Демон, как и всякий чорт, не в состоянии никого любить, но демона можно любить. Можно любить демона, можно любить сатану, но нельзя любить беса, а он бес, и притом мелкий.

— Если вы так о нем думаете, зачем же вы остаетесь с ним, вы, убеждающий меня бросить его?

Она смотрела на меня сурово.

— Зачем я с ним? Я с ним, чтобы его лучше изучить, разоблачить и обезвредить.

— Боже, как он в вас ошибается, как мало он вас знает и понимает! Он думает, что вы его лучший друг, что вы ему самый преданный человек.

Встала и усталым голосом сказала:

— Я хочу лечь, мне что-то нездоровится.

Я закрыл электричество. Стало темно и тихо, но мы оба долго не могли заснуть, взволнованные беседой.

Поезд мчался попрежнему, но колеса торопливо выстукивали иной припев:

— Некуда, некуда, — слышалось мне.

Утром я вышел в Куоккале, любимом дачном месте петербургских литераторов. Лариса Петровна поехала дальше, в Петербург. Простилась она со мной ласково, дружески. В Куоккалу я ехал, намереваясь повидать Горького, повидать родных и близких мне людей и выяснить, нельзя ли устроить рабочее совещание не в Гельсингфорсе, а вблизи Петербурга.

Горький оказался неуловимым: как раз перед моим приездом он уехал в Москву. Родных же и близких людей мне удалось увидеть, — увидеть и обнять с той радостью, к которой подготовляет тоска четырехлетней разлуки.

Что касается совещания, то, как мне сообщила Лариса Петровна, заехавшая из Петербурга в Куоккалу, гапоновские делегаты немедленно выезжают в Гельсингфорс.

Совещание, наконец состоялось. Гапон называл его «съездом». На этом «съезде», кроме Гапона, Ларисы Петровны, меня и товарища Михаила, пробравшегося через западную границу в Петербург, присутствовали четверо петербургских рабочих: уже упомянутый Кузин, затем Петров, Карелин и Варнашев [112].

Петров, высокий видный брюнет лет двадцати семи, жил на нелегальном положении, получая от Гапона ежемесячную субсидию в двадцать пять рублей, ездил к нему за границу в качестве делегата, околачивался около Горького и других видных литераторов в качестве сознательного рабочего — в общем парень недурной, но и ничем не примечательный.

Карелин — невысокий, худощавый, рыжеватый мужчина лет тридцати пяти — состоял мастером в одной из больших петербургских хромолитографий. Человек спокойный, уравновешанный, очень рассудительный, он принимал деятельное участие в правлении гапоновского

«Собрания», любил почитать книжки по экономическим вопросам и считал себя социал-демократом, тяготея к ревизионизму, то-есть к умеренности.

Варнашев, грузный красивый брюнет, много зарабатывал на каком-то металлическом заводе; и он принимал деятельное участие в гапоновской организации, но, подобно Карелину, на рожон не лез. Знал себе цену, говорил мало, дельно, внушительно.

На финляндцев, уступивших для съезда одну из своих конспиративных квартир и приготовивших обильное и вкусное угощение, малочисленность съезда должна была произвести ошеломляющее впечатление и окончательно убить в их глазах престиж «вождя русской революции».

Но вождь не унывал. Съезд был открыт честь-честью. Председателем по предложению Гапона, выбрали меня, секретарем Ларису Петровну.

Первое слово взял Гапон, чтобы дать отчет о своей революционной деятельности после Красного Воскресенья, 9 января.

— Товарищи и братья, спаянные кровью! — начал он. — Уже более полугода я был оторван от вас. Не для своей безопасности, а для блага трудового народа на время уехал я за границу, чтобы вернуться к вам для мщения царю-извергу и его опричникам, для завоевания свободы рабочему народу.

Вы помните наше Красное Воскресенье. Стройными рядами, с пением молитв, с хоругвями, а главное, с верою в царскую правду, шли мы, чтобы сказать царю о нуждах своих и указать пути к исцелению их.

Смерть или свобода! Таков был наш клич. Нас встретила смерть. Треск ружейный заглушил нашу последнюю молитву о царе; пули одурманенных солдат изрешетили священные хоругви. Но мы не дрогнули, мы бодро шли на верную смерть. Я шел впереди и держал за руку друга и товарища Васильева; он пал насмерть сраженный пулей. Вокруг меня свистели пули, но каким-то чудом я оставался невредим. Повсюду лежали убитые и раненые. Мы, немногие, оставшиеся невредимыми, хотя шли в первых рядах, поняли, что без оружия пробиться к царю невозможно. Меня почти силой увели с места побоища. Мы ушли, но поклялись, что пойдем снова, но пойдем не с хоругвями, а с оружием — и не просить, а свергать. Во дворе, куда меня увели друзья, я сбросил рясу и одел платье одного из товарищей-рабочих. Стали обстригать мои длинные волосы, и братья кровью спаянные, прятали пряди их у себя на груди. Свершилось великое дело. Освободился народ от бессмысленной веры в царя, как своего

батюшку. Просить он больше не будет. Свободу, товарищи, надо завоевывать. Для этого нужна сила, нужна сплоченность, нужно оружие. Своей задачей я поставил сплотить враждующие между собой социалистические партии, привлечь на сторону русской революции рабочих Западной Европы и, наконец, добыть необходимые средства и оружие. Для всего этого необходимо было уехать за границу, но не эмигрантом я ехал, а послом русской революции.

Многое удалось сделать, но во многом пришлось разочароваться.

Разочаровался я, товарищи, в партийных революционерах, во всех этих эсдеках и эсэрах. Нет у них заботы о трудовом народе, а есть у них дележка революционного пирога. Есть, друзья мои, не только казенный, но и революционный пирог. Из-за него они и дерутся, и все жиды; во всех заграничных комитетах всем делом ворочают жиды, и у эсдеков, и у эсэров. Даже во главе боевой организации стоит — жид, и еще какой жирный. Жиды...

В этот момент блуждающий взгляд Гапона упал на Михаила. На покрасневшем лице Михаила играла злая усмешка. Он как будто был чем-то доволен, как доволен ребенок, разгадавший трудную загадку.

Гапон остановился, криво усмехнулся и продолжал уже другим тоном:

— Жиды, товарищи, это не евреи. Евреев я уважаю и люблю, вот хотя бы взять товарища Михаила. Таких, как Михаил, настоящих, стойких пролетариев, не много найдется и между православными...

— Довольно вилять, отец святой, — прервал его Михаил, — продолжайте в старом духе, а посчитаемся мы с вами после.

Продолжать в старом духе Гапону было уже трудно. Он бросил еще несколько громких фраз и затем очень неловко, с явною подделкою под искреннее горячее чувство, обратился к нам с таким призывом:

— Теперь, братья и товарищи, поклянемся, что будем до смерти поддерживать друг друга. Никогда не изменим рабочему народу. Свою жизнь я уже отдал вам, отдал всему рабочему народу. Отдайте и вы свои жизни. Поклянитесь, товарищи, поклянитесь кровью русского народа, пролитою в Красное Воскресенье, что вы пойдете за мною бесстрашно вперед на смерть за свободу.

Он кончил.

Наступило молчание, долгое, неловкое молчание. Нарушил его Карелин. Слегка откашлявшись, заговорил он тоном самым обыденным:

— Что же, Георгий Аполлонович, я, да, вероятно, и все другие, все присутствующие (не всех я знаю) давно уже, еще до знакомства

с вами, работали на пользу трудового народа. Работали до вас, работали с вами. Придется работать с вами — хорошо, не придется — поработаем без вас.

Варнашев солидно поддакивал Карелину. Кузин егозил, но ничего не говорил. Михаил гакнул: не то поперхнулся, не то засмеялся.

Гапон мрачный, блуждающим взглядом исподлобья окидывал присутствующих. Он как будто только теперь заметил, что нас всего семь человек, и люди все свои. Мы сидели вокруг стола, а он нервно ходил по комнате.

Овладев собою, он подошел к столу и деловым тоном заявил:

— Хорошо, товарищи, — значит, работаем вместе. Теперь надо возобновить те полномочия, которые я уже получил от петербургских рабочих для переговоров с английскими трэд-юнионами и другими рабочими и революционными организациями. Без этого нельзя получить денег, а деньги нужны большие.

Я на это заметил, что наше собрание вряд ли может давать кому-нибудь какие-нибудь полномочия, так как мы не знаем, кого мы сами представляем.

Гапон отклонил мое вмешательство, указав, что он имеет в виду товарищей-рабочих: Карелина, Кузина, Варнашева и Петрова, бывших членами правления «собрания» и представителями «отделов».

Полномочие решено было дать, и меня попросили проредактировать текст соответствующего удостоверения.

Когда я писал, что такой-то является уполномоченным, Гапон, стоявший за моей спиной, шепнул мне на ухо: «Прибавьте — и вождем русского рабочего народа».

— Зачем же называть вас вождем русского народа? — спросил я громко.

— Зачем? — произнес он с досадой. — Чтобы сильнее воздействовать. Не о себе я хлопочу.

Уж не помню хорошенько, уполномочили Гапона быть вождем русского народа или нет; кажется, уполномочили.

— Теперь, — заговорил несколько успокоенный Гапон, — надо нам набросать план ближайшей деятельности.

И он стал излагать план подготовки вооруженного восстания, для успеха которого необходимо ослабить правительство и потому нельзя отказываться от террористических действий.

— Думаю, товарищи, что хорошо бы в первую очередь убрать Витте; это самый способный из министров самодержавия, его столп; мы этот столп срубим. Что скажете, товарищи?

Молчание.

Откашлянулся Карелин и скромно выразил сомнение в том, чтобы убийство Витте было одобрено рабочей массой. Худого рабочие от Витте не видят, иные даже надеются, что он подействует на царя в смысле расширения народных прав и, пожалуй, выхлопочет настоящий парламент.

После Карелина заговорил я; в самой резкой форме протестовал я против постановки вопроса о политическом убийстве на этом более или менее случайном совещании, участники которого хорошенько не знают убеждений друг друга.

На себя я указал, как на принципиального противника какого бы то ни было террора, как на человека, не могущего принимать участие в споре о целесообразности убийства того или другого сановника.

— Да я, товарищи, и не предлагаю, чтобы здесь присутствующие принимали на себя ответственность за убийство Витте. Есть для этого другие люди. Никто против желания не будет втянут в это дело. Мне только ваше мнение важно знать.

Карелин, а затем и Варнашев снова заступились за Витте.

— Трепов, вот это другое дело, — сказал Карелин. — Смерть Трепова рабочие встретили бы с радостью. Трепов сжал нас в железный кулак. Дохнуть свободно нельзя. Пока он диктаторствует, ни о какой организации думать нельзя. Опасно пяти человекам вместе собраться.

Гапон вышел в соседнюю комнату, нервно походил там несколько минут и, вернувшись, заявил:

— Что же, друзья, я привык прислушиваться к голосу рабочих. Трепова, так Трепова. Оставим в покое Витте, убьем Трепова. Согласны?

Петров и Михаил заявили, что убить Трепова дело, конечно, благое, раз найдутся для этого охотники.

Кузин заегозил и пробормотал, что Георгию Аполлоновичу виднее, нужно ли убивать и кого именно.

Лариса Петровна промолчала, промолчал и я. Карелин и Варнашев высказались уклончиво, но явно несочувственно: убийствами заниматься дело не рабочее, на это есть боевая организация и т. п. Затем, взглянув на часы, они заинтересовались, когда уходит вечерний поезд на Петербург: как бы на него не опоздать.

— Как, вы уже собираетесь уезжать? — спросил я с изумлением.

— Да, мы народ рабочий; отпуска не взяли, завтра надо на работу. И то, наверное, опоздаем.

— Но мы ждали, что вы расскажете нам о настроении рабочей массы, о подготовке к новому выступлению...

— Что ж, настроение известное. Кто теперь доволен? А выступление — дело стихийное. Может будет, может нет.

В своем решении уехать немедленно Карелин и Варнашев остались непреклонными и уехали.

Совещание расстроилось.

Я пошел к финляндцам и попросил их устроить ночлег для Петрова, Кузина, Михаила и меня в той же квартире, где мы совещались, а Гапона увести куда-нибудь в другое место.

Гапону покидать нас очень не хотелось, но финляндцы заявили, что это необходимо для его безопасности. Гапон подчинился. У Ларисы Петровны было свое постоянное пристанище, и она тоже ушла.

Мы остались вчетвером, и у нас началось свое совещание.

Без утайки рассказал я все свои наблюдения за Гапоном и выразил убеждение, что не только не нужно способствовать возрождению его влияния на рабочих, но, напротив, необходимо принять меры к разоблачению его истинной сущности, а сущность эта — властолюбие, не брезгающее никаким средствами для достижения своих целей.

Михаил на этот раз со мной не спорил. Гапон был для него уже негодяем, с которым следует «разделаться».

Петров и Кузин слушали меня со вниманием и, как мне показалось, с чувством какого-то облегчения. Я сказал, быть может, то, что смутно бродило в их душах.

— Правильно вы его поняли, правильно, — оживленно заговорил Петров. — Гнетет он нас и за собой в пучину тянет. Жизнь я потерял с тех пор, как связался с ним. У меня жена, ребенок, а я околачиваюсь без дела; платит он мне по двадцать пять рублей, да не в радость его деньги, будь они прокляты. Душу захватил, впился в нее своими когтями. Вот вы рассказывали, что он Ларису Петровну подуськивает Витте убить и саму на смерть обрек. А со мной еще хуже. Взял он с меня клятву, что я за лучшим своим другом Григорьевым, как сыщик, следить буду и прикончу его, если он против Гапона пойдет [113].

— Хорошо бы освободиться от Георгия Аполлоновича, — шопотом заговорил Кузин, — да ведь они этого не простят, ни за что не простят.

— Что же, убьют, что ли? — спросил я.

— Нет, убить они не убьют, они отравят.

Но и Кузин согласился со мной, что необходимо заставить Гапона открыть свои карты, подвергнув его перекрестному допросу относительно связей его с социалистическими партиями, источников получаемых им средств и т. п.

Решено было, что завтра утром первый выпад против Гапона сделает Петров, откровенно высказав все, что наболело у него на душе. А мы его поддержим. Все дали слово держаться твердо.

Когда я провожал Кузина в отведенную для него комнату, и мы проходили по темному коридору, он вдруг испуганно прижался ко мне.

— Он!.. Смотрите, вон стоит...

— Кто стоит?

— Да он, Георгий Аполлонович.

— Вздор, это вам кажется, Гапон давно уехал.

Я открыл электричество. Никого, разумеется, не было. Бледный Кузин дрожал своим маленьким телом. Он попросил меня побыть немного с ним, так как ему одному страшно. Он лег в постель, а я сел около него.

— Лучше бы, — заговорил Кузин, — не ссориться нам с Георгием Аполлоновичем. Как бы чего не вышло...

— Ну вот... клялись, что не отступим, и тотчас на попятный двор.

— Эх, беда наша! Бывало и раньше — лежишь и думаешь: сгубит он нас. Вредный человек. Водит, водит за нос, да и подведет под обух. Беспременно надо отойти от него. Решишь это крепко-накрепко, а на утро повстречаешься с ним — похлопает по плечу, и нет у тебя более своей воли, не смеешь слова наперекор сказать. И опять затанцуешь по его дудочке.

В конце концов Кузин успокоился и подтвердил мне свое обещание не отступать от принятого сообща решения.

Утром мы встретились в нервном настроении, но, видимо, никто не отказался от вчерашнего решения.

Приехал Гапон и, войдя к нам в комнату, сразу почуял что-то неладное.

— Ну, как, товарищи, хорошо ли отдохнули? — спросил он с кривой улыбкой.

Никто ничего не ответил. Поздоровались молча. Гапон прошелся по комнате, бросая косые взгляды то на того, то на другого из нас. Томительное молчание продолжалось.

Вдруг Гапон круто повернулся ко мне, хлопнул меня по коленке и приговорил искусственно-веселым тоном:

— Славный вы малый, Владимир Александрович, люблю я вас.

В ответ на это встал со своего места Петров и, грубо ударив Гапона по плечу, сурового сказал:

— Перестань лицемерить. Никого ты не любишь!

— Что с тобой, Петров. Какая муха тебя укусила, или финской водки спозаранку хватил?

— Никакая муха меня не кусала, и ничего я не хватал.

«Ну, начинается», — думал я.

Но Петров молчал, молчали и другие.

Кузин семенил на месте, порываясь подойти к Гапону. Гапон же нервно ходил из угла в угол и старался улыбнуться, но вместо улыбки выходила злая гримаса. В этот момент гостеприимная хозяйка приотворила дверь и приветливо пригласила нас в столовую позавтракать.

Все облегченно вздохнули и шумно поднялись со своих мест.

Завтракали, перекидываясь ничего не значащими фразами.

После завтрака Гапон, овладев собой, как ни в чем не бывало стал излагать план революционого издательства и в частности рабочей газеты, редактировать которую предлагал мне.

— Ехать сейчас в Петербург, пожалуй, и рискованно, — говорил он, — надо ознакомить рабочих с нашими взглядами. Вернемся с вами, Владимир Александрович, в Женеву; наладим газету, напечатаем листовок, двинем все это в Россию, зерна падут на благоприятную почву. Много передумал я за это время и согласен с вами, что рабочий может победить только всеобщей забастовкой — и победит. Денег у нас будет много. Печатать будем сотни тысяч...

— Нет, Георгий Аполлонович, никуда я с вами не поеду и ничего я с вами издавать не буду. И не говорите вы мне о ваших деньгах. Мне и то страшно, что я пользовался ими в эту поездку. Жгут руки почему-то ваши деньги. Не знаешь, откуда они идут. Вы постоянно говорите о своем сочувствии моим взглядам, но не верю я этому, не верю вам вообще. Противны ваши подзуживанья убить то Витте, то Трепова; противна комедия с транспортом оружия, которого некому принимать, противно выставление себя вождем русского народа; все противно. Долго я крепился, молчал, на что-то надеялся, но больше не могу. То же вам скажут и другие товарищи.

Гапон позеленел, но не прерывал меня. Он вполголоса как бы поддакивал мне:

— Вот как? Так, так, хорошо. Вот вы каков! Теперь я понял вас. Вот вы каков! Так, так.

Сказав все, что мучило меня, я обратился к Петрову, Кузину и Михаилу, прося их поддержать меня.

К моему изумлению, у Михаила и Петрова лица были недовольные, натянутые, а Кузин весь съежился. Все молчали.

— Так вам нечего сказать?

Молчание.

Я встал и вышел в другую комнату, сильно взволнованный.

Через несколько минут туда вошла Лариса Петровна, на глазах которой произошло мое столкновение с Гапоном.

Я сидел у стола, положив голову на согнутую руку. При ее входе я не пошевелился. Она подошла близко ко мне и несколько минут молча смотрела на меня, смотрела печально, но без злобы, почти ласково. Затем она заговорила каким-то новым для нее голосом, — мягким, нежным:

— Милый, хороший Владимир Александрович. Помиритесь с ним. Умоляю вас, помиритесь. Сделайте это во имя революции. Он нужен революции. Вы его неверно понимаете. Он нужен, нужен...

Я молчал.

— Хороший мой, я вас ценю, уважаю, я вас люблю. Сделайте это для меня. Поезжайте с ним в Женеву; не хотите в Женеву, поезжайте в Россию. Если вы отвернетесь, он погибнет. Это хорошо, хорошо, что вы высказали все, что было у вас на душе. И ему хорошо, что он все это выслушал. Вы без него и он без вас — ничто. Вместе вы — сила.

— Нет, Лариса Петровна, не уговаривайте меня. Я не ссорился. Но работать вместе с Георгием Аполлоновичем я не могу.

Я хотел встать и уйти.

— Умоляю вас. Видите, я унижаюсь перед вами.

Она склонилась и, положив голову мне на колени, беззвучно плакала, подергиваясь плечами.

В тайниках моей души мелькнула злая мысль, — мысль, как я думаю теперь, неверная: она притворяется, она ловит меня, она подослана Гапоном как средство, оправдываемое целью.

И как будто эта мысль передалась ей. Она медленно поднялась и, не взглянув на меня, вышла из комнаты.

Я тоже вышел. В одной из соседних комнат я увидел Михаила и Петрова, оживленно разговаривающих. Кузин егозил около них.

Михаил набросился на меня.

— Разве можно так? Вы нас всех погубите. Мы в его руках. Он донесет, и нас арестуют.

— Но мы же уговорились все ему сказать.

— Совсем не так мы уговорились. Вы вечно увлекаетесь, для вас все дело в эффекте.

— Да, вы не правы, товарищ, — напал на меня и Петров. — Куда мы теперь без него денемся? Денег ни у кого из нас нет даже на дорогу. Я нелегальный. Семья жила только его пособием. Надо

было дать ему высказаться, а вы все вывалили, он же отмалчивался и прав оказался.

— Они этого не оставят, — уныло бормотал Кузин, — они беспременно отомстят.

— Что же теперь делать? — спросил я, совершенно ошарашенный.

— Примириться, а затем пригласить его покататься на лодке и вышвырнуть за борт, — решил Михаил.

Но это предложение не встретило сочувствия. Согласились на том, что я «замажу» свое выступление, дам возможность «спокойно» уехать Михаилу, Петрову и Кузину, переправлю при помощи финляндцев Гапона обратно за границу, а сам проеду в Петербург, чтобы откровенно рассказать о всем происшедшем Карелину, Варнашеву и другим верным людям.

Скверно было у меня на душе, когда я пошел к Гапону, сидевшему в столовой вместе с Ларисой Петровной.

— Георгий Аполлонович, — начал я деревянным голосом, — товарищи указали мне, что я в горячности наговорил вам много лишнего. Они думают, что недоразумения рассеются, когда мы начнем работать; и я готов попытаться. Поедемте за границу, а там видно будет.

— Вот и хорошо, — сказал Гапон безучастным голосом, протягивая мне руку. Видимо, он не совсем доверял моему обещанию работать вместе.

Перетолковав с финляндцами, мы решили, что Михаил, Кузин и Петров немедленно уедут в Петербург; я поеду в Або и при посредстве госпожи Реймс устрою безопасный переезд в Швецию для себя и для Гапона, который в Гельсингфорсе будет ожидать моей телеграммы.

Я, действительно, поехал в Або, чтобы устроить Гапону переезд в Швецию, но сам решил из Або проехать в Петербург и, повидавшись там с гапоновцами и своими друзьями, вернуться за границу, но, конечно, не для того, чтобы редактировать гапоновскую газету. Необходимый мне заграничный паспорт на чужое имя я надеялся достать через госпожу Реймс.

Прямо с вокзала я отправился к Реймс. Она встретила меня, как старого товарища.

В кратких словах я рассказал все, что произошло после того, как мы расстались, и просил помочь мне. Она обещала все устроить и уговорила остаться ночевать у нее, полагая, что останавливаться в гостинице без паспорта не совсем безопасно.

— Мой муж как раз уехал по делам, и вы можете переночевать в его комнате.

— Но будет ли это удобно? Ваш муж, как вы мне как-то говорили, держится совершенно иных взглядов, чем вы. Ему, вероятно, будет неприятно, что его комната послужила убежищем для русского революционера.

— Когда дело идет о безопасности товарища, то нет места никаким неловкостям и условностям.

На другое утро, сидя за кофе, я наблюдал, как заботливо госпожа Реймс снаряжала своих мальчуганов в школу.

И мне стало их жаль, когда я подумал, как часто им приходиться оставаться без своей мамы, которая часто должна надолго уезжать, выполняя партийные поручения. Госпожа Реймс хотела быть настоящей активисткой, готовой выступить с оружием в руках для завоевания свободы.

Отправив детей в школу, распорядившись по хозяйству, она уходит упражняться в стрельбе из браунинга.

Муж сначала смеялся, потом злился, наконец примирился и замолчал.

Жили они вместе, чуждые друг другу. У каждого было свое святая святых. У него — торговля, у нее — революция.

Но какая революция?

В один из вечеров, которые я провел в Або, мы до поздней ночи толковали на эту тему с Реймс и одной из ее подруг, тоже активисткой.

Для них — все сводилось к освобождению Финляндии из-под ига русского самодержавия. Я рисовал иные идеалы. Я говорил о том строе, где нет ни русских, ни шведов, ни финнов, где все братья и сестры, где нет властвующих и подчиненных, где всем дана одинаковая возможность развивать свои духовные силы, где каждый дает по способностям и получает по нуждам или потребностям, где нет войн, судов, наказаний, — я говорил о строе любви, труда, свободы и великой радости.

Вот за что стоит бороться, вот за что стоит умереть. Но путь к этому лежит не через ложь и убийство, а через правду и отказ от насилия.

Если бы я все это говорил мужчинам-активистам, они не дали бы мне кончить, прервав меня громкими... зевками.

Женщины-активистки слушали с затаенным дыханием, слушали с горящими глазами, хотя говорил я запинаясь, подыскивая слова, говорил на немецком языке, — языке, чужом и мне и им.

Если б я сказал: «идемте», они, вероятно, бросили бы все и пошли. Но разве я мог звать итти на борьбу за радостный мир правды и любви, когда сам еще путался в тенетах лжи?

Гапон не дождался моей телеграммы. Он сам телеграфировал Реймс, что приедет тогда-то, таким-то поездом и просит задержать меня до его приезда.

Реймс была всецело на моей стороне и приняла меры к тому, чтобы я мог уехать в Петербург до приезда Гапона. Она достала мне заграничный паспорт на имя какого-то капитана финляндской гвардии, и я уехал на поезде, отходящем за полчаса до прихода поезда, на котором должен был приехать Гапон.

Для Гапона тоже был приготовлен хороший заграничный паспорт и занята каюта на пароходе, уходящем часа через два по приходе поезда.

Реймс обещала мне посадить Гапона на пароход перед третьим свистком, уверив его, что я уже на пароходе.

— Не беспокойтесь, он уедет за границу, и вернуться ему в Россию с нашей помощью уже не удастся.

Она выполнила свое обещание. Как я впоследствии узнал, Гапон приехал в Стокгольм приблизительно одновременно с моим приездом в Петербург. В Петербурге я повидался с Варнашевым, Карелиным и с его женой.

О жене Карелина Гапон говорил мне, как о женщине необыкновенной духовной силы, женщине, способной стать во главе женского пролетариата [114].

Я встретил высокую, полную женщину лет тридцати-сорока, с лицом «гладким» и «без особых примет». Похожа она была на экономку или акушерку, и, действительно, занималась она акушерской практикой, а раньше была горничной.

Человек неглупый, с большим жизненным опытом, она ничему не удивлялась; рассуждала здраво, не увлекаясь. Мой рассказ о том, что произошло в Гельсингфорсе, и о том, как я переправил Гапона за границу, она выслушала спокойно, так же спокойно, как «на практике» она выслушивала рассказы о семейных скандалах.

Я в ярких красках обрисовал беспринципные шатания Гапона, а она спокойно повторяла:

— Я хорошо знаю Георгия Аполлоновича. Знаю, знаю, что он увлекается.

Так же равнодушно отнеслись к моему разрыву с Гапоном Карелин и Варнашев. Оба были, видимо, рады, что Гапон не приехал в Петербург, а отправился за границу.

Из бесед с знакомыми интеллигентами, оппозиционно-революционно настроенными, я вынес впечатление, что Петербург переживал тогда (начало сентября 1905 года) период затишья. Затишье перед бурей.

Прожив несколько дней на нелегальном положении без прописки у Агафонова, я решил ненадолго поехать за границу, устроить там свои личные дела, хорошенько осмыслить все пережитое за последнее время и затем уже вернуться окончательно в Россию легально, хотя бы меня и ожидала тюрьма или ссылка.

На Варшавский вокзал меня сопровождал Агафонов, обещавший проследить, нет ли за мной слежки, и в случае замеченной опасности помочь мне скрыться.

Мне посчастливилось занять совершенно свободное купэ II класса, что для меня, как вновь испеченного капитана финляндской гвардии, не говорившего ни по-фински, ни по-шведски, было во всех отношениях очень удобно.

Но... перед самым третьим звонком, стоя в коридоре у окна, я вдруг увидел, что Агафонов делает мне тревожные знаки... В тот же момент в вагон вошел бравый жандармский унтер-офицер, а за ним проскользнул небольшой черноватый субъект с колючей физиономией, в потертом котелке. Оба они уверенно повернули в мое купэ и заняли свободные места: жандармский унтер-офицер против меня, субъект с колючей физиономией — рядом со мной.

При всей своей конспиративной неопытности я сразу узнал шпика в господине с колючей физиономией.

В первую минуту меня потянуло схватить чемодан и выпрыгнуть, но тотчас победило сознание, что это будет глупо. Если жандарм со шпиком явились для меня, то, выпрыгнув, я не уйду от них, а если не для меня, то своим бегством я выдам себя, и тогда они уж будут для меня.

Поезд тронулся. Мои соседи не разговаривали, но изредка переглядывались.

Вошел было какой-то новый пассажир в сопровождении проводника, сделавшего под козырек не столько жандарму, сколько котелку с колючей физиономией.

— Здесь все места заняты, — заявил котелок, — и проводник беспрекословно повел пассажира в другое купэ.

Итак, я в осадном положении. Перед Гатчиной мои спутники вышли на площадку. Через несколько минут я тоже вышел, осторожно отворив дверь, и до меня долетели слова котелка: «В тот ли вагон ты привел меня? Что-то уж больно не похож...» После Гатчины

я расположился спать. Шпик любезно попросил позволения поднять спинку и улегся надо мною. Жандарм растянулся напротив.

Я был уверен, что по дороге или на границе меня арестуют, а пока хотят выследить, не будет ли у меня каких-нибудь интересных встреч. После пережитого предстоящий арест меня не пугал, а скорее успокаивал.

Проспал я до самой Вильны. Проснувшись, я увидел, что шпик и мой жандарм разговаривают с другим жандармом, повидимому только что вошедшим.

От Вильно до границы я ехал без старых спутников, но с новым жандармом.

В Вержболове отобрали для проверки паспорта, в том числе и мой капитанский.

После второго звонка пришел жандарм с проверенными паспортами. Все паспорта оказались на лицо, за исключением... капитанского. Меня, как беспаспортного, любезно высадили из вагона вместе с вещами.

«Вот оно, — подумал я, — значит, оказался все же похож».

Раздался третий звонок.

Вижу, бежит жандарм, подбегает к поезду и кричит:

— Паспорт остался. Финляндский. У кого финляндский паспорт?

Это был мой капитанский. Вскакиваю в вагон, на ходу подхватываю из рук любезного жандарма свой чемодан и... через несколько минут нахожусь уже вне жандармской досягаемости.

Возможно, что следили не за мной, возможно и за мной, но принимали за кого-нибудь другого, — кто знает, не за Гапона ли, долгое пребывание которого в Финляндии вряд ли оставалось тайной для тайной полиции, одним из агентов которой был Азеф.

Из Берлина я проехал в «свою» Бельгию, милую затейливую Бельгию с ее упорным трудом и безудержным весельем, с ее гигантскими акционерными заводами и рабочими кооперативами, с ее церковными процессиями и всеобщими забастовками, с ее провинциальной обыденщиной и революционным интернационализмом.

Тяжелым сном казались мне и конспиративная поездка, и дружба с Гапоном.

Думал, что с ним у меня все кончено, но оказалось — не совсем все.

В Стокгольме перед отъездом с Гапоном в Финляндию я все свои документы, в том числе свой заграничный паспорт, оставил на хранение Неовиусу.

По приезде в Бельгию я написал ему письмо, прося переслать мне обманным образом захваченные документы. Но вместо документов я получил от Неовиуса сконфуженное сообщение, что все мои документы отданы им моему «известному другу» (то-есть Гапону), который, проезжая из Финляндии, взял по моему поручению все мои бумаги. Я выяснил недоразумение, и Неовиус потребовал от Гапона, чтобы тот вернул мне обманным образом захваченные документы.

От Гапона заказное письмо с документами пришло в Брюссель не на мое имя, а на имя моей жены, которая была в то время в России. Почтальон не хотел отдать мне пакета, но перед хорошей взяткой устоял и честный бельгиец. Пакет был в моих руках. В нем, кроме документов, оказалась записка к моей жене. Записка, написанная рукой Гапона, но подписанная вымышленной фамилией, любезно сообщала, что «ваш муж—предатель».

Я немедленно сообщил об этом Устинову и просил его предложить Гапону третейский суд из видных иностранных социалистов.

На этом суде, писал я, Гапон должен будет рассказать все то, что побудило его назвать меня предателем, а я, с своей стороны, расскажу все то, что знаю о Гапоне и что побуждает меня не только порвать с ним, но и предостеречь других от совместной с ним деятельности.

Устинов ответил, что Гапон просил его передать мне сожаление по поводу неудачного выражения. Он, разумеется, не считает меня предателем в том смысле, как это выражение понимается в революционных кругах. Называя меня предателем, он имел в виду, что я обманул его дружеское ко мне доверие. Во всяком случае он просит отложить третейский суд до более благоприятного времени. Теперь не до третейских судов. Надо всем сплотиться, так как начинается решительная схватка в борьбе за народную свободу.

Я не стал настаивать, так как, действительно, известия, приходившие из России, были таковы, что, казалось, исполняется пророчество Чехова, вложенное в уста Тузенбаха: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку».

## XXV

## ДНИ СВОБОДЫ И НАЧАЛО РЕАКЦИИ (1905 — 1906 гг.)

В городе мертвой красоты.—Манифест 17 октября.—Встреча с П. Б. Струве. — На пути в Россию. — Встреча с В. М. Черновым. — Свобода слова и собраний. — Моя речь на офицерском собрании. — В редакции «Журнала для всех». — Максимализм М. А. Энгельгардта. — «Половой вопрос» Фореля. — Недоразумение с М. П. Арцыбашевым. — Васнецов. — «Голос Рабочего». — Горшков, Васильев и Желудков. — А. С. Токарев. — Рабочий кружок М. А. Куклиной. — Возвращение в Россию Гапона. — Матюшенский и Рутенберг. — Гапон и охранное отделение. — Трагедия Черемухина. — Смерть Гапона. — Последняя встреча с Л. П. Хомзе. — Ее самоубийство. — Казнь Матюшенко. — Первый Совет Рабочих Депутатов. — Хрусталев-Носарь. — Ноябрьская забастовка. — Троцкий-Яновский. — Революционный манифест. — Союз защиты свободного слова. — Разрыв с «Журналом для всех». — Реакция. — Моя лекция 6 декабря 1905 года. — Журнал «Трудовой Союз». — «Сим победиши». — Библиотека рабочего». — Мой перевод Манифеста Коммунистической партии. — 129-я статья. — Суд над книгой. — «Освободительное движение».

Недели через две после моего возвращения в Брюссель вернулась и М. А. Кудрявцева. Она привезла много ценных наблюдений, свидетельствующих, что «затишье» прошло, «буря надвигалась».

У меня была мечта перед новой и окончательной поездкой в Россию хоть неделю побыть в Италии, куда меня тянуло еще в годы моей юности, но известия из России были таковы, что осуществлять эту мечту сделалось так же стыдно, как и в 1892 г., во время голода и холеры. Я позволил себе проехать лишь во фламандский город Брюгге или Брюж, не раз воспетый бельгийскими поэтами. Его называли северной Венецией, так как он весь пересечен каналами, омывающими стены старинных домов. Когда-то он был оживленным торговым портом, но море отошло от него, и он замер, отдав свою жизнь Антверпену. Мне казалось, что я попал в город, усыпленный несколько столетий тому назад. Красиво, но мертво. Помню старинные дома фламандской архитектуры, помню тихие каналы, усыпанные желтыми листьями, с почти неподвижными сонными лебедями, помню шуршанье «листьев осени» под ногами, помню старомодную гостиницу, похожую на старинный дом в русской усадьбе, помню часовню в виде пещеры, в которой хранится сосуд якобы с каплей крови Христа, пролитой на кресте, каплей, которая, по словам верующих, в былые времена «кипела» в страстную пятницу... Все это помню; а людей не помню, — их как будто не было, или они спали...

И вот из этого мертвого города я прямо направился в Берлин, чтобы оттуда во что бы то ни стало пробраться на родину, где приостановка железнодорожного движения и подневольной работы предвещала новую эру мощного движения, свободы, творчества.

В день моего приезда в Берлин туда пришла телеграмма о манифесте 17 октября, которым на обязанность правительства возлагалось «выполнение непреклонной воли» государя: «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной свободы совести, слова, собрания и союзов», «привлечь к участию в Гос. Думе те классы», которые, по булыгинскому проекту, были лишены избирательных прав, «установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Гос. Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий властей».

Издать этот манифест Николая II вынудила всеобщая забастовка.

Николай II, когда ему в 1913 г. советовали для успокоения народа провести в жизнь то, что он обещал 17 октября 1905 г., говорил: «Это было вынужденно и преждевременно».

Жаль, что он не «повременил». Тогда, может быть, волна революции смыла бы его трон уже в 1905 г.

Свободы, возвещенные манифестом, были уже завоеваны «явочным порядком». Манифест лишь ослабил силу забастовки и явочного порядка.

По приезде в Берлин я немедленно отправился в общество международных сообщений, чтобы взять билет в Гельсингфорс через Стокгольм.

У соседней кассы я услышал знакомый приятно-надтреснутый баритон, просивший билет в Петербург через Штеттин.

Я повернулся и увидел внушительно-сутуловатую фигуру и нарочито ученое лицо, все как бы укутанное густыми рыжими волосами, под которыми стыдливо прятались некрасиво оттопыренные уши, попавшие на эту, если не умную, то во всяком случае способную голову по какому-то странному недоразумению. Это был Петр Бернгардович Струве, или Peter von Struve, как он подписывал свои ученые статьи в немецких социал-демократических журналах.

На минуту мы забыли все наши разногласия и крепко обнялись.

В эмиграции мы не встречались, да и не хотели встречаться. Мы двигались в разные стороны. Струве от социал-демократии уходил вправо к национал-либерализму, я — влево к коммунизму, как мне казалось, или к анархо-синдикализму, как казалось тем, кто наблюдал мою эволюцию со стороны.

Струве проповедовал утверждение законности, я звал к осуществлению свободы явочным порядком, то-есть к нарушению закона.

Струве опирался на земскую оппозицию, я надеялся на всеобщую забастовку рабочих и солдат.

Но в этот памятный октябрьский день нас объединяла радость, что мы можем, наконец, вернуться на родину для свободной пропаганды своих идей. Конечно, если бы мы стали рассуждением разлагать свое радостное настроение, то Струве сказал бы, что он радуется провозглашенной манифестом конституции, а я сказал бы, что радуюсь первой победе великой всеобщей стачки, победе, которая является залогом, что в конце концов тем же путем будет побежден и капитализм.

Мы поехали со Струве в гостиницу, где он остановился, и часа два провели в дружеской беседе. Беседовали, а не спорили. Струве так хорошо улыбался, что, уходя, я думал: а все же он славный, и было жаль, что для возвращения в Россию мы выбрали разные пути: он через Штеттин, я — через Стокгольм.

Пароход, везший меня из Стокгольма в Гельсингфорс, переполнен был русскими, вынужденными ехать кружным морским путем, так как русские железные дороги еще бастовали.

Ехали сановники, ехали революционеры, ехали и просто обыватели.

Просматривая лист с фамилиями пассажиров, я был неприятно поражен: в глаза бросилась знакомая фамилия Футера. Неприятное чувство еще усилилось, когда я увидел, что Футер помещен в ту же двухместную каюту, в которой должен ехать и я.

На имя Футера, неведомого болгарина, был, как помнит читатель, паспорт у Гапона для проезда в Россию.

В августе мы оба не захотели воспользоваться этим паспортом, но теперь, после 17 октября, когда опасность ареста почти исчезла, Гапон, — думал я, — решил воспользоваться этим паспортом, чтобы вернуться в Россию. И злая судьба столкнула нас не только на одном пароходе, но и в одной крохотной каюте. Так думал я, и на душе было тревожно и тягостно. Непонятно мне было, что выйдет из этой встречи, а непонятное страшит.

Долго я не входил в свою каюту, не показывался и Футер. Наконец, я пересилил себя, устроился на своей койке и, убаюканный легкой качкой, скоро уснул.

Проснулся я, когда уже было светло. Мой спутник, вошедший в каюту, когда я уже спал, теперь одевался, стоя ко мне спиной.

— Слава богу, не Гапон! — с чувством облегчения подумал я. — Совсем другая фигура!

Спутник обернулся, и я не без удовольствия узнал в нем одного из вождей партии социалистов-революционеров, Виктора Михайловича Чернова, на этот раз слегка подгримированного.

Я понял, что паспорт на имя Футера был партийный и лишь временно находился в распоряжении Гапона. В. М. Чернова я узнал с удовольствием, хотя и не подозревал тогда, что судьба предназначала его на пост селянского министра земледелия и председателя однодневного Всероссийского Учредительного Собрания.

Чернов, напротив, увидев меня, не выразил никакого удовольствия и, рассчитывая на свою маленькую загримированность, попытался даже от себя отречься, но, увидев, что это не удается, нарушил конспирацию, и мы, вероятно к обоюдному удовольствию, скоротали время в товарищеской беседе.

Помню, что, беседуя со мной на пароходе, подвозившем нас к берегам Финляндии, Чернов говорил очень дружелюбно о социал-демократах и надеялся на образование единого революционного фронта.

Недалеко от Гельсингфорса нас остановил пушечный выстрел из Свеаборга. Подъехала лодка с военными властями, и после кратких переговоров мы были отпущены на родину.

Перед выходом на берег Футер-Чернов вынул из кармана браунинг и на всякий случай осмотрел, в исправности ли он.

Но прибегнуть к браунингу никому не пришлось. В Гельсингфорсе вся власть принадлежала бастующим рабочим. Жандармы и полицейские попрятались; порядок образцово поддерживался самими рабочими, одетыми в черные праздничные пиджаки с красными повязками на рукавах.

В Гельсингфорсе я зашел к некоторым из своих знакомых активистов. Встретили они меня не особенно приветливо. Вид у них был надутый, недовольный. Жаловались на бестактность рабочих, нарушающих единство настроения такими несвоевременными требованиями, как восьмичасовой рабочий день, повышение заработной платы и прочее. Лицо мое при этом становилось, вероятно, веселее и довольнее: подобная бестактность мне очень нравилась. И я поехал в Петербург с большими надеждами на бестактность русских рабочих.

В день моего приезда в Петербург была объявлена амнистия. Опустели казематы Петропавловской крепости и Шлиссельбурга. Вышли на волю, между прочим, Лукашевич и Новорусский, просидевшие в Шлиссельбургской крепости 18 лет. Новорусский поразил меня своим бодрым и моложавым видом. Он казался моложе меня, хотя был лет на пять старше. Шлиссельбуржцы спасли себя, отвоевав право на разумный труд. Новорусский в заключении научился разным

ремеслам и сделался опытным огородником и садовником. Из одного зернышка садовой земляники, найденного в какой-то книге, он на дворе крепости создал «земляничную культуру» с гигантскими ягодами, попавшими даже на какую-то выставку садоводства. Много читал и вышел из крепости хорошим естественником, а другой шлиссельбуржец, Н. А. Морозов, после двадцати лет заключения, вышел ученым математиком и астрономом.

Освобожденные узники попали в атмосферу безграничной свободы слова и собраний, которой раньше никогда еще не дышал Петербург. Драконовские законы против этой свободы формально не были отменены, но с ними никто не считался, да и не смел считаться. Союз типографских рабочих запретил набирать те рукописи, на которых была пометка о разрешении цензуры. Явочным порядком ежедневно возникали новые газеты и журналы. В юмористических изданиях, которых появилось очень много, беспощадно издевались не только над министрами, но и над самим царем.

Митинги и всевозможные собрания, разумеется, без всякого разрешения или уведомления полиции, устраивались повсюду: в концертных залах, театрах, учебных заведениях, научных обществах и частных домах.

На другой же день после моего приезда Агафонов потащил меня на офицерское собрание в особняк баронессы Икскуль на Кирочной улице.

В зале рядами были расставлены стулья, на которых сидели офицеры разных рангов и разных видов оружия.

Перед ними за небольшим столиком сидел старик с волнистыми седыми волосами и очень моложавым и красивым лицом. Седенькая бородка кокетливо подстрижена; черный сюртук изящно облегает стройную талию. Это был Иванчин-Писарев, бывший народоволец, заведующий хозяйственной частью «Русского Богатства». Он руководил прениями. Баронесса сновала между ораторами, все штатскими, подзуживая их, чтобы говорили смелее и определеннее.

Тут были представители различных направлений, но больше всего «кадетов». Одним из первых говорил Струве. Струве брал уроки ораторского искусства, но это ему мало помогло. Запинаясь и давясь, он выплевывал слова о необходимости сочетать свободу с порядком и законностью. «Без свободы анархия и гибель».

Затем с эффектной, но малосодержательной речью выступил «русский Мирабо» Ф. И. Родичев. После Родичева что-то бледнорозовое сказал русский бернштейнианец С. Н. Прокопович. Выступали и другие, менее известные ораторы. Все старались накачать офицеров если

не революционным, то оппозиционным сознанием. Офицеры слушали, молчали, изредка реагируя очень сдержанными аплодисментами на это накачивание.

Икскуль стала усиленно просить меня, чтобы я тоже выступил с речью. Я сначала отнекивался, но в конце концов согласился. В своей речи я сказал, что войска, возвращающиеся из Манчжурии, должны быть встречены приветливо и радостно. Им нужно показать, что граждане, оставшиеся в тылу, не винят их за понесенные поражения. Инвалиды должны быть поставлены в наивозможно лучшие условия. Помощь эта не должна носить характер благотворительности, а выполнения долга перед людьми, более других пострадавших от глупости и алчности правящих кругов. Безземельные демобилизованные солдаты, раз они желают поселиться в деревне, должны быть наделены землею в первую очередь, для чего немедленно должна быть экспроприирована часть помещичьих земель. Демобилизованным городским рабочим должен быть предоставлен заработок не хуже того, который они имели до войны.

Вообще, — говорил я, — самая неотложная задача — это такое возвращение к мирному труду, чтобы не было ни одного человека, страдающего от безработицы.

На мою речь военные реагировали единодушными аплодисментами. Какой-то полковник даже подошел ко мне и демонстративно пожал руку. Напротив, кадетские ораторы моей речью были крайне недовольны.

В. С. Миролюбов, встретивший меня на одном из собраний, без всяких предисловий предложил мне фактическое редактирование «Журнала для всех».

Во время моего пребывания за границей я им же был отстранен от сотрудничества в его журнале, так как он опасался, что мой псевдоним будет открыт и «Журнал для всех» — закрыт. Журналу он после моего отъезда придал мистическое направление. Теперь он хотел придать ему направление наиболее левое, наиболее революционное и свободное от всякой мистики.

У «Журнала для всех» было в то время около семидесяти тысяч подписчиков, и я не мог отказаться от возможности беседовать с такой обширной аудиторией.

Передавая мне фактическое редакторство, Миролюбов ограничил мою волю редакционным собранием ближайших сотрудников. Ближайшими сотрудниками он пригласил В. Я. Муринова, Михаила Александровича Энгельгардта и Василия Павловича Воронцова (В. В.). Конечно, и сам он входил в редакцию с решающим голосом.

Против такого состава редакции я не возражал. С Муриновым я так или иначе сработался еще в «Жизни». Воронцов в значительной степени преодолел старо-народническую точку зрения и осознал революционную роль пролетариата. Михаил Александрович Энгельгардт, сын известного автора «Писем из деревни», хозяина-практика, устроившего в своем имении Батищеве нечто в роде высшей трудовой школы для интеллигентной молодежи, был полной противоположностью своему брату Николаю.

Рыжий Николай, здоровый и цветущий, побродив по народническим изданиям, осел в «Новом Времени»; черный Михаил, болезненный и с виду исковерканный, из народника превратился в максималиста. Он стоял за революционный захват крестьянами помещичьих земель, рабочими — фабрик и заводов, и был сторонником массового красного террора. Он даже высчитал, что для укрепления социалистического строя в России необходимо уничтожить не менее двенадцати миллионов контр-революционеров, к которым он причислял кулаков и почти всех казаков, не говоря уже о помещиках, банкирах, фабрикантах и попах.

Эта теоретическая кровожадность сочеталась у Михаила Александровича с величайшею личною незлобивостью. Не много я встречал таких добрых, отзывчивых тружеников, как он. Работал он с утра до поздней ночи, переводя для Павленкова книги самого различного содержания с различных языков, которые он прекрасно знал, писал статьи по самым различным вопросам, перерабатывал небольшой энциклопедический словарь и т. д. Ему нужен был большой заработок не для себя, а для семьи, большой и требовательной. Кстати сказать, им был переведен известный труд Фореля «Половой вопрос». Труд этот появился на немецком языке как раз перед моим отъездом в Россию, и я взял его с собою и начал даже переводить, но увидя, что у меня на это не хватит времени, уступил перевод Энгельгардту, оставив за собою редакцию. Книга вышла с моим предисловием и с дополнениями Энгельгардта и моими. Книга имела большой успех, дала большой доход ее случайным издателям, а мы с Энгельгардтом получили грошевые гонорары.

Моя работа в «Журнале для всех» началась с чтения уймы рукописей, которые передал мне Миролюбов. Больше всего было беллетристики и стихов, почти сплошь бездарных. Имена авторов рассказов и стихов мне были совершенно неизвестны, так как за время эмиграции я мало следил за легальной русской литературой.

Из рассказов и повестей мое внимание обратила повесть «Утро жизни», подписанная М. Арцыбашев. Повесть написана была ярко, и тем не менее я наметил ее «к возврату», так как ее эротизм

переходил в порнографию. Со сладострастным смаком и возбуждающими деталями описывалось в ней, как студент овладевает девственной курсисткой.

Я считал и считаю до сих пор, что при описании любовных сцен художник не должен переходить тех границ, которые ставил себе в своем творчестве Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров и Чехов. В этой же повести всякие границы были перейдены.

Передавая Миролюбову результат просмотра рукописей, я, между прочим, выразил сожаление, что несомненно талантливая вещь какого-то Арцыбашева не может быть напечатана вследствие ее чрезмерного эротизма. Глаза Миролюбова лукаво сощурились, и он сказал мне:

— Арцыбашев придет ко мне сегодня. Вы ему сами скажите свое мнение. Но предупреждаю вас: Арцыбашев почти совершенно глух, и вам придется свое мнение прокричать ему в ухо.

Как раз в это время в комнату вошел молодой невысокий человек с правильными чертами лица, с довольно длинными темно-каштановыми волосами, откинутыми назад. Одет он был в синюю косоворотку и высокие сапоги. Смахивал на студента семидесятых годов.

Вошел, как свой человек, и, не заметив меня, сказал Миролюбову:

— Зашел к вам отдохнуть: чуть не целый день дуюсь в трактире на бильярде.

Увидел меня и остановился. Миролюбов прокричал ему мою фамилию, а мне сказал:

— Вот это и есть автор, повесть которого вы забраковали.

Арцыбашев как будто обрадовался, услышав мою фамилию, крепко пожал мне руку и весело сказал:

— Как хорошо, что вы согласились редактировать журнал!

Миролюбов прокричал Арцыбашеву, что я читал его повесть и хочу сказать ему свое мнение. Арцыбашев с приятной улыбкой подставил мне ухо.

Я начал издалека. Прежде всего упомянул, что у него есть несомненно художественное дарование, что можно надеяться, из него выработается талантливый писатель, но...

К моему изумлению, Арцыбашев не дал мне кончить, приятная улыбка на его лице сменилась недовольством и он отодвинул от меня свое ухо.

— Что вы мне рассказываете о моем даровании и обещаете, что я сделаюсь писателем! Неужели вы меня не знаете?! Неужели вы не читали моих рассказов? Они уж вышли отдельной книжкой, о них трубила печать.

В «Мире Божьем» Ангел Иванович Богданович написал о них восторженную статью.

Увы, я, действительно, тогда Арцыбашева не читал и не знал.

Миролюбов ехидно усмехнулся. Ему как будто было приятно, что мы с Арцыбашевым, так сказать, взаимно осадили друг друга.

Несмотря на известность Арцыбашева, я все же не соглашался принять его «Утро». Миролюбов боялся потерять писателя с именем и был недоволен моим упорством.

Уже тогда я почувствовал, что Миролюбов пригласил меня и создал редакцию для виду, а в действительности хочет остаться полноправным хозяином журнала.

Несмотря на мои протесты, повесть Арцыбашева была напечатана в одном из номеров за 1906 год, как раз перед уходом моим из «Журнала для всех». Но для ухода были причины более серьезные, чем этот арцыбашевский конфликт.

Любопытно, что осенью 1908 года мой первый конфликт, как фактического редактора «Нового журнала для всех», с его издателем Н. А. Бенштейном произошел тоже по поводу эротизма Арцыбашева.

Арцыбашев, узнав, что я приглашен фактическим редактором, передал Бенштейну свою повесть, названную им «Роман маленькой женщины». Передал со словами:

— Я писал это специально для стыдливого ригориста Поссе. Этой вещью он, наверное, останется вполне доволен.

Я взял рукопись, стал читать и вижу, что действительно написано сдержанно, в тургеневских рамках. Но как раз в последней главе Арцыбашев закрутил такую порнографию, что тошно стало.

Я решительно заявил, что не могу остаться фактическим редактором «Нового журнала для всех», если «Роман маленькой женщины» будет напечатан в том виде, как его представил Арцыбашев.

Бенштейн был страшно недоволен моим заявлением, но все же сумел убедить Арцыбашева отбросить порнографический конец. «Роман маленькой женщины» был напечатан без конца. В собрание своих сочинений Арцыбашев вовсе не поместил этого «романа».

Первую статью в «Журнале для всех» я посвятил победоносной всеобщей забастовке. Она сразу определила новое направление журнала и вызвала протесты со стороны друзей старого направления. Известный художник Васнецов, получавший «Журнал для всех» бесплатно, написал Миролюбову письмо, в котором очень резко отзывался о моей статье и просил больше не высылать ему журнала.

У Васнецова мы были с Горьким в 1900 году, когда он заканчивал своего «Баяна». У него был дом в старо-русском стиле, и сам он

был похож на русского боярина. Прочитав мою статью, он, вероятно, лишний раз болезненно почувствовал, что пришел конец всякой иконописи, даже такой художественной, как его картины-образа в киевском Владимирском соборе.

Вошел я еще в редакцию газеты «Голос Рабочего». Ее основали три наборщика: Горшков, Васильев и Желудков. Горшков был черный долговязый малый, не слишком развитой, но в отстаивании своих взглядов довольно упорный. Васильев был маленький, полный белобрысый юноша, очень корректный, и походил на хорошо воспитанного молодого человека из небогатой, но благородной семьи. Желудков был высокий курчавый парень из девичьих пересмешников, из глаз которого никогда, казалось, не исчезала лукавая усмешка. Они считали себя синдикалистами.

Кроме меня, они пригласили еще молодого литератора, сотрудника «Вестника Знания», Александра Сергеевича Токарева, писавшего под псевдонимами Бакурцев и Недров, тоже считавшего себя синдикалистом. Токарев, человек неглупый и талантливый, но, к сожалению, болезненно мнительный и нервный, прочитав мою «Теорию и практику», сделался горячим сторонником моих взглядов. Он подробно и верно изложил их в своей книге «Рабочий вопрос», изданной Брокгаузом и Ефроном.

Вошел в редакцию и Махновец-Акимов, но оказался элементом чуждым и все время оставался при особом мнении, мы же впятером работали дружно.

М. А. Куклина, приехавшая в Петербург тотчас после разрыва с мужем весной 1905 года, устроилась учительницей в Смоленской воскресной школе за Невской заставой и образовала кружок из заводских рабочих, разделявших наши взгляды. Я, конечно, сблизился с этим кружком.

Приходилось мне встречаться и беседовать также с бывшими гапоновцами Карелиным, Кузиным и другими.

Это рабочее окружение оказало на меня влияние в том смысле, что укрепило мой анархо-синдикализм, который я отождествлял с коммунизмом. Время было такое, что требовалась определенность.

В один из ноябрьских дней я выступал на рабочем собрании в Нобелевском Народном доме, на Выборгской стороне. Собрание было созвано бывшими гапоновцами. Во время перерыва ко мне подбежал Кузин и испуганно прошептал:

— В Петербург из-за границы приехал Георгий Аполлонович. Как бы он сюда не приехал.

— Ну что ж, пусть приезжает, — ответил я.

Но после перерыва прения не состоялись и ответы на записки слушали невнимательно. Слух о приезде Гапона распространился и взволновал рабочих.

Вернувшись в Россию, Гапон попытался восстановить свое влияние в рабочей среде. К нему пошли многие из старых товарищей, «кровью спаянных», в том числе Карелин, Варнашев, Кузин и даже Петров. Из интеллигентных революционеров Гапон возобновил дружбу с журналистом Матюшенским, бывшим и социал-демократом и социалистом-революционером, а также с инженером Рутенбергом, видным членом партии с.-р. С обоими его связывало Красное Воскресенье. Матюшенский помогал ему в составлении петиции царю; Рутенберг исправлял и дополнял обращение Гапона к братьям-рабочим; в этом обращении Гапон напоминал о данной клятве бороться для завоевания свободы.

Рутенберг помогал Гапону скрыться 9 января.

После залпа, которым был, между прочим, убит рабочий Васильев, председатель гапоновского собрания, шедший рядом с Гапоном и даже державший его за руку [115], рабочие перебросили упавшего на землю Гапона через забор на какой-то пустырь, где ему остригли волосы и переодели. Затем Рутенберг отвез Гапона на квартиру Пятницкого и Горького на Знаменскую улицу в дом № 20, где когда-то была редакция «Жизни». Гапон, по словам Пятницкого, производил впечатление человека глубоко потрясенного и несколько оживился лишь тогда, когда выпил поднесенный ему бокал крепкого вина.

Кажется, в тот же день из квартиры Пятницкого, где можно было ожидать обыска, Гапона перевезли в квартиру почетного академика Батюшкова, который пользовался репутацией человека взглядов крайне умеренных. От Батюшкова Гапон сначала перевезен был в какую-то помещичью усадьбу, а затем переправлен за границу.

Гапон рассказывал мне, что на вокзале перед его отъездом из Петербурга за ним внимательно наблюдал жандармский офицер. Заметив это, Гапон подошел с папироской к офицеру и спокойно попросил закурить. Жандармский офицер успокоился, и Гапон этим трюком, может быть, спас себя от ареста.

В то время ему не избежать бы виселицы.

Теперь, в дни свободы Гапон, «разочаровавшись» в революционерах, опять пошел к царскому правительству, но не для того, чтобы закурить папироску, а чтобы получить 30000 рублей на восстановление «отделов» своего «Собрания» [116].

Министр торговли и промышленности Тимирязев по распоряжению Витте выдал Матюшенскому 30000 рублей для передачи вновь

образовавшемуся рабочему комитету, в который вошли между прочим Карелин, Варнашев и Кузин. Матюшенский сказал, что получил только семь тысяч рублей и, отдав их комитету, с двадцатью тремя тысячами рублей скрылся в Саратов. За ним погнались рабочие Кузин и Черемухин. Им удалось задержать Матюшенского при содействии сыскной полиции и отобрать у него двадцать одну тысячу рублей, две же тысячи Матюшенский успел истратить.

С Матюшенским я столкнулся в 1912 году в Благовещенске на Амуре, где он издавал газету прогрессивного направления. Это был высокий, худой старик с шапкою седых волос. Ко мне он прицепился и назойливо просил переехать из гостиницы к нему на квартиру. Я его отшил довольно грубо.

Сведения о том, что происходит в гапоновском лагере, я получал главным образом через Карелина и Кузина, которые старались не порывать со мной связей.

Слухи о сношениях Гапона с охранным отделением они называли клеветой, но не отрицали, что он хлопочет об открытии «отделов» и требует уплаты убытков.

По открытии отделов предполагалось, по их словам, приступить к широкому социальному строительству: устраивать кооперативные мастерские, земледельческие колонии и тому подобное.

Рассказывали, они об этом без увлечения, видимо сами не веря в осуществимость грандиозных мечтаний. Не могли они умолчать, что доверие к Гапону в рабочих кругах все падает, что на его собраниях бывает мало народу,что среди ближайших сотрудников много несогласий, и вокруг всех и каждого вьется интрига. Кузин рассказал мне и о Ларисе Петровне, рассказывал тревожно. Она принимала участие в гапоновской организации, но рабочие очень косо смотрели на ее близость к Гапону, тем более, что вернувшаяся из-за границы гражданская жена Гапона пользовалась их симпатиями.

Гапон жил с женою и, вероятно, для того, чтобы положить конец кривотолкам о Ларисе Петровне, сосватал ее Черемухину. Наладилась свадьба, но Черемухин узнал, что кривотолки имеют свое основание. Преданный Гапону до такой степени, что обещал ему убить «предателя» Петрова, Черемухин затосковал и застрелился на глазах у Гапона [117]. Вот как описывал Гапон эту трагическую смерть Рутенбергу, ни словом не упоминая о Ларисе Петровне.

«Я произнес страстную речь. Напомнил кровь товарищей, убитых 9 января. Атмосфера сгустилась. Я чувствовал, что что-то сейчас должно случиться. Молния заблестит, гром грянет. А как раз после меня пришлось говорить Черемухину. Я же ему револювер дал. Он

парень честный, хороший. Он решил убить Петрова. В тот же вечер он мне сказал: «решено», — то-есть что убьет его, как изменника. Сидел он против меня на другом конце стола. Поднимается и вдруг заявляет: «нет правды на земле!» и трах, раз, два, три. Последнюю пулю прямо в лоб себе поставил и спустил. Здоровые парни около него сидели, но от неожиданности не успели помешать. Я бросился к нему. Рабочие меня обступили, схватили за руки и часа полтора упрашивали, чтобы я не убивал себя».

Тучи над головой Гапона сгущались все грознее. Он уговаривал Рутенберга вступить в переговоры с руководителем политической полиции Рачковским, чтобы получить от него крупную сумму денег обещанием раскрыть какой-нибудь террористический заговор. Рутенберг делал вид, что готов вступить в переговоры с Рачковским, и даже пошел к нему на конспиративное свидание. Свидание не состоялось по вине Рачковского, но Рутенберг продолжал игру. Задачей игры было убить Гапона и Рачковского, заманив их в западню. Играл Рутенберг с ведома своих товарищей по партии. Особенно настаивал на казни Гапона Евно Азеф. «Он думал, что с Гапоном надо было покончить, как с гадиной. Для этого, — рассказывал Рутенберг, — я должен вызвать его на свидание, поехать с ним вечером на своем извозчике-рысаке петербургской Боевой Организации) в Крестовский сад, остаться там ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, ткнуть Гапона в спину ножом и выбросить из саней».

Но другие эсеры, в том числе член Центрального Комитета, скрытый Рутенбергом под прозрачным псевдонимом Краснова, настаивали, что Гапона нужно убить на месте преступления, то-есть во время его свидания с Рачковским, чтобы не создавалась легенда об убийстве его революционерами из зависти. Много спорили, строили разные планы казни. Создали даже целую организацию якобы для убийства мин. внутр. дел Дурново, а в действительности для того, чтобы заставить Рачковского охотнее искать свидания с Рутенбергом, как руководителем террористического предприятия в Петербурге. Симуляция покушения на Дурново не удалась, Рачковский на удочку не пошел. Тогда Рутенберг на свой страх решил заменить недостающую «улику», то-есть Рачковского, свидетельскими показаниями.

«Я обратился, — докладывает Рутенберг в своем «отчете», — к группе рабочих, членам партии, рассказал им, в чем дело. Один из них Гапона хорошо знал, — так же, как Гапон его.

Видя во мне представителя партии, вполне мне доверяя, рабочие все-таки не могли примириться с мыслью, что Гапон — полицейский

провокатор. Было решено, что я предъявлю в их присутствии Гапону обвинение. Чтобы он не мог отречься от всего, должен был быть, кроме меня, еще свидетель. Гапон должен быть выслушан. Получался вторичный суд».

Изобретательный Рутенберг устроил беседу с Гапоном на извозчике, которым переодет был один из рабочих член партии с.-р. Рутенберг ловко вел разговор, а Гапон неловко болтал о своих свиданиях с Рачковским.

«Рассказ извозчика, — докладывает Рутенберг, — поразил поджидавших его товарищей. Было решено арестовать Гапона, обезоружить его (он всегда носил при себе револьвер) и, предъявив ему обвинение и свидетельское показание, потребовать от него объяснения. Потом решить его участь».

Во вторник, 28 марта 1906 года, Рутенбергу удалось заманить Гапона на одну из дач в Озерках. Дача была нанята специально для казни Гапона. В одной из ее комнат спрятаны были рабочие, члены партии с.-р., которые должны были играть роль свидетелей, судей и палачей.

В соседней комнате Рутенберг беседовал с Гапоном. Ловкими наводящими вопросами он дал возможность «свидетелям» услышать от Гапона подтверждение, что он назвал Рачковскому Рутенберга членом боевой организации, взялся его соблазнить в провокаторы, взялся выдать Боевую Организацию и написать покаянное письмо Дурново. Наступил момент суда.

Я дернул замок, — рассказывает Рутенберг, — открыл дверь и позвал рабочих.

— «Вот мои свидетели! — сказал я Гапону.

То, что рабочие услышали, стоя за дверью, превзошло все их ожидания. Они давно ждали, чтобы я их выпустил. Теперь они не вышли, а выскочили прыжками, бросились на него со стоном: «А-а-а-а!» и вцепились в него.

Гапон крикнул было в первую минуту: «Мартын!», но увидел перед собой знакомое лицо рабочего и понял все.

Они его поволокли в маленькую комнату, а он просил:

— Товарищи! дорогие товарищи! Не надо.

— Мы тебе не товарищи! Молчи!

Рабочие его связывали. Он отчаянно боролся.

— Товарищи! Все, что вы слышали, — неправда, — говорил он, пытаясь кричать.

— Знаем! Молчи!

Я вышел, спустился вниз. Оставался все время на крытой стеклянной террасе.

— Я сделал все это ради бывшей у меня идеи, — сказал Гапон.

— Знаем твои идеи!

Все было ясно.

Гапон-предатель, провокатор, растратил деньги рабочих. Он осквернил честь и память товарищей, павших 9 января. Гапона казнить...

Гапону дали предсмертное слово.

Он просил пощадить его во имя его прошлого.

— Нет у тебя прошлого! Ты его бросил к ногам грязных сыщиков! — ответил один из присутствующих.

Гапон был повешен в 7 часов вечера во вторник, 28-го марта 1906 года».

Так погиб герой 9 января.

Похоронили его на Успенском кладбище, похоронили торжественно. За гробом шло много рабочего люда. На могиле гапоновцы клялись отомстить за своего вождя. В его измену народному делу они не верили. Одни думали, что Гапон убит охранниками, другие винили в убийстве партийных вожаков-евреев, интриги которых якобы хотел раскрыть Гапон.

Я был на Успенском кладбище в 1908 году, через 2 года после смерти Гапона. На кресте, увешанном венками, было много надписей, в которых воздавалась хвала вождю рабочего народа и угрожалось местью его палачам.

Жена Гапона с ребенком нашла себе приют у рабочих. Она, конечно, не верила, чтобы ее муж продался тайной полиции.

Не верила этому и Лариса Петровна. Судьба столкнула меня с ней в 1907 году, на одной из станций Сибирской жел. дор. Я стоял около своего вагона, когда она пробегала мимо с чайником за кипятком. Узнав меня, остановилась в нерешительности, здороваться или нет. В нерешительности был и я. Волна жутких воспоминаний пробежала по нашим душам и соединила их. Мы одновременно протянули друг другу руки.

Лариса Петровна ехала в третьем классе, я — во втором. В моем вагоне было мало пассажиров. Она перешла ко мне, и мы могли свободно беседовать. Не сразу решились вспомнить старое и поделиться мыслями о том, что произошло с того момента, когда она ушла, не добившись от меня обещания примириться с Гапоном.

Говорили о сибирской природе, говорили о кооперативном движении, но в конце концов заговорили и о «нем».

— Теперь вы убедились, что я был прав, когда я убеждал вас отойти от него. Помните нашу поездку из Гельсингфорса в Петербург?

— Помню, хорошо помню, но я попрежнему думаю, что он был нужен русской революции.

— Как, до сих пор! Но ведь несомненно доказано, что он писал покаянное письмо Дурново [118] и вел переговоры с охранниками о выдаче Боевой Организации.

— Все это я знала; он не скрывал этого. Но это были первые шаги широко задуманного плана. Если б его не убили, не была бы разогнана Государственная Дума, не осилила бы революцию жандармская клика. Он хотел пробраться в лагерь врагов и взорвать его изнутри.

— Но он хотел предать революционеров?

— Кого он предал? Вас он предал? Нет ни одного человека, который был бы арестован из-за него. Поверьте, его убили провокаторы, которые играют видную роль в той же Боевой Организации. Они боялись его.

— Ну, а история с Черемухиным?

Легкая краска пробежала по лицу Ларисы Петровны.

Мы оба молчали.

Прислушиваясь к стуку колес, припоминая, как они когда-то выстукивали: «скорей, скорей, туда, туда», я стал вглядываться в лицо Ларисы Петровны. Теперь только я заметил, как сильно она изменилась. Огрубела, потускнела. Особенно поразительна была перемена в глазах. Они быстро двигались из стороны в сторону, дрожа и мелькая. Было страшно смотреть в них, так как именно эта подвижность делала их нежизненными, точно их двигала не человеческая душа, а какой-то установленный за ними механизм.

Когда Лариса Петровна снова заговорила, то и голос ее показался мне нежизненным.

«Точно кто-то похитил душу ее», — подумалось мне.

— Ну, а какова теперь ваша личная жизнь? — спросил я ее.

— Ах, какая там личная жизнь? Помните, вы говорили, что похоть, или, как вы выражались, хотенье, не имеет ничего общего с любовью. Это очень верно. Так вот хотенье у меня есть, а любви и жизни нет.

— Но не просыпается ли в вас инстинкт матери? Не является желанье оживить душу любовью материнскою?

— Иметь детей! Нет, у меня детей не будет: Bin nicht so dumm (я не так глупа), — сказала она почему-то по-немецки.

А глаза забегали еще быстрее.

На одной из следующих станций она получила какую-то телеграмму и сказала, что будет здесь ожидать сибирского экспресса, в котором едет один из ее друзей.

Мой поезд медленно отходил от станции. Я поклонился ей в последний раз. Она ответила безучастно. На душе моей почему-то стало грустно и жутко.

Через несколько лет после этого я встретился с Горьким, и у нас зашла речь о Гапоне и о Ларисе Петровне.

— Не знаешь, где она теперь? — спросил я Горького.

— А разве ты не слыхал? Она еще в 1909 году покончила жизнь самоубийством в Владивостоке. Она оставила свои записки о Гапоне, о своих встречах с революционерами. В них много говорится и о тебе, и обо мне, много небылиц. Она, несомненно, была человек ненормальный. Ее записки сплошной кошмар, и революция представляется какой-то бесовщиной.

Мы обсуждали с Кропоткиным вопрос о том, можно ли печатать эти записки, и пришли к заключению, что нельзя.

Вскоре после «казни» Гапона погиб на виселице и красный адмирал Матюшенко.

В августе 1905 года Матюшенко в сопровождении жены Михаила благополучно добрался до Румынии. Отсюда он проник в Россию и агитировал среди черноморских матросов. После подавления матросского восстания в Севастополе он на время уехал за границу; был между прочим на Капри у Горького. Но опять затосковал по родине и вернулся в Севастополь в разгар столыпинских казней. Его арестовали, заперли в какой-то особенный бетонный каземат, устроенный для исключительно опасных преступников, судили и, разумеется, казнили [119].

Описание его казни я слышал от одного из очевидцев. В доме хороших знакомых я случайно попал в компанию морских офицеров.

Заговорили о смертной казни, кажется по поводу появившейся тогда статьи Толстого «Не могу молчать» с ее знаменитой «намыленной веревкой».

— Хоть бы расстреливали, а не вешали, — сказал я.

— Вы это потому говорите, что не присутствовали ни при расстреле, ни при повешении, — заметил молодой офицер с красивым интеллигентным лицом. — Я присутствовал в Севастополе при расстреле матросов, приговоренных к смертной казни за мятеж, присутствовал и при повешении. Расстрел несравненно ужаснее. Никогда не забуду жуткой картины расстрела. Приговоренных было одиннадцать человек. Привязали их веревками к столбам, около которых вырыты были ямы для их тел. Дали залп. Человека три повисли на веревках мертвыми. Остальные, лишь раненые, рванулись, — веревки ослабли; бегают вокруг столбов в крови, кричат, стонут. Дают новый залп, по обезумевшие

солдаты промахиваются; стон и крики подстреленных продолжаются. Тогда начинают стрелять пачками. И все же добивали из револьверов. Сплошной ужас. Нет, виселица гораздо проще, гораздо гуманнее. Видел я, как вешали пресловутого красного адмирала Матюшенко. Смотреть на казнь во дворое венной тюрьмы собралось много матросов. В нашем экипаже вызывали желающих присутствовать при казни. Пожелали почти все. И офицеры пошли. Знаменитость, как ни как. Казнь назначена была ранним утром. Еще не рассветало. Тюремный двор слабо освещал электрический фонарь. В конце двора маячила виселица. Палач, широкоплечий, коренастый, в черной маске, ходил громадной тенью по освещенной стене тюрьмы. Преступника долго не приводили, а офицеры заинтересовались палачом. Окружили и стали расспрашивать. Оказался очень разговорчивым.

— Я, — говорит, — работаю не из-за денег, а по долгу совести. Состою членом союза русского народа. Конечно, всякий труд должен оплачиваться, к тому же человек я семейный: жена, дети, учить надо. Но только кабы не по долгу совести, за веру, значит, царя и отечество, то не стоило бы и мараться. Невелики деньги. Намедни семерых скрутил, все самых настоящих революционеров, а и радужной не заработал. Отчаянные были. Вывезли их, прочли им приговор. От креста отказались, потому нехристи, а запели свою песню: мы, мол, жертвою пали в борьбе роковой. Я один на всех. Одному петлю на шею. Покончил (делает правой рукой, сжатой в кулак, крутой поворот, как при завинчивании). Поют. Я другого (тот же жест). Поют. Я третьего (тот же жест). А как только трое осталось, перестали петь. Да, перестали. Так-то.

— Ну, а как держался Матюшенко? — перебил я рассказ офицера о палаче.

— Удивительно спокойно. Приговор ему читали долго, больше часу. Перечисляли все его преступления, чуть ли не против всех статей уголовного и военного кодекса. А он стоит, не дрогнет. Только по временам сплюнет в сторону. Кончили читать. Подошел священник. Он его слегка отстранил рукой и пошел твердо и легко к виселице, так что еле палач поспевал... Потом видно было, как большая тень от повешенного качнулась на стене.

— Нет, уверяю вас, петля гораздо гуманнее винтовки.

В октябрьские дни свободы в Петербурге, как писал в «Новом Времени» Суворин, было два правительства: правительство графа Витте и правительство Носаря-Хрусталева, председателя Совета Рабочих Депутатов. Петербургский Совет Рабочих Депутатов, первый

в России и первый во всем мире, образовался в разгар всеобщей стачки. Первое заседание Совета происходило 13 октября.

Он состоял из делегатов от рабочих, по одному на 500 человек, и считался беспартийным, но к нему присоединились с совещательным голосом представители партии.

Хрусталев-Носарь был беспартийным интеллигентом, помощником присяжного поверенного.

Одним из первых постановлений Совета Рабочих Депутатов было постановление о введении в Петербурге на всех фабриках и заводах восьмичасового рабочего дня явочным порядком.

Инициатива этого постановления исходила из рабочей среды, и оно было проведено энергично и дружно.

Рабочие оставляли мастерские после восьмичасовой работы и расходились по домам.

Вслед за этим постановлением последовало объявление Советом Депутатов всеобщей политической забастовки во имя солидарности с восставшими кронштадтскими матросами, которым угрожал военно-полевой суд, а также с пролетариатом Польши, где 28 октября было введено военное положение.

Вторая массовая забастовка, назначаемая вскоре после первой, обычно заканчивается неудачей. Я в этом убедился, изучая ход забастовочного движения во всех цивилизованных странах в течение второй половины XIX века.

Так было и с забастовкой, назначенной на 3-е ноября. Началась она очень недружно и стала быстро ослабевать, так что уже седьмого ноября Совет Депутатов вынужден был официально прекратить ее, не добившись ни одного из выставленных требований: «долой полевые суды, долой смертную казнь, долой военное положение в Польше и во всей России».

Воспользовавшись неудачной забастовкой, администрация многих заводов на время закрыла их, чтобы снова ввести прежнее рабочее время и старые распорядки. Создалась масса безработных. В рабочей среде начался разлад. Если не все, то многое, завоеванное в октябре на экономической почве, было теперь потеряно.

Правительственная реакция усилилась. Совет Рабочих Депутатов повысил революционный тон, но значение его пало.

26 ноября Хрусталев был арестован. Вместо него был избран президиум во главе с Бронштейном-Троцким, выступавшим тогда под именем Яновского. В президиуме принял участие и Гельфанд-Парвус, составивший себе имя в качестве одного из лидеров немецкой социал-демократии и окончивший жизнь злостным спекулянтом.

По поводу избрания Троцкого-Яновского Парвус писал в «Русской Газете»:

«Выбирая тов. Яновского, собрание знало, что выбирает своим идейным руководителем лицо, не только признающее нашу программу, но подчиняющееся всем решениям нашей социал-демократической партии. Вверяясь товарищу Яновскому, Совет Раб. Депутатов вверил себя социал-демократической партии».

Троцкий-Яновский вступил в исполнение обязанностей председателя, угрожая правительству Витте вооруженным восстанием. По его предложению была принята следующая резолюция:

«Совет Рабочих Депутатов временно избирает нового председателя и продолжает готовиться к вооруженному восстанию».

Но влияние Совета продолжало падать. Правительство, в котором власть забрал обер-сыщик П. Н. Дурново, сторонник решительных действий, ободрилось.

2 декабря Советом Рабочих Депутатов вместе с Центральным Ком. соц.-дем. партии, Комитетом Всерос. Крест. Союза и другими революционными оргнизациями был выпущен Манифест, в котором население приглашалось выбирать свои вклады из государственных сберегательных касс, в Манифесте по ошибке названных ссудо-сберегательными, требовать всех уплат золотом и на золото же разменивать в банках кредитные билеты.

Социалистические газеты, напечатавшие этот Манифест, были конфискованы, а затем и совсем закрыты. Напечатан Манифест был и в нашем «Голосе Рабочего». В этом номере была помещена моя передовая резкая статья и перевод «Интернационала» из заграничной «Жизни».

«Голос Рабочего» был, конечно, тоже конфискован, и газета прекратила свое существование.

В разгар дней свободы в Петербурге был образован Союз редакций повременных изданий для защиты завоеванной свободы слова. В этот Союз входили редакции почти всех петербургских газет и журналов, входило даже «Новое Время». Союз этот постановил, между прочим, что в случае, если какой-нибудь печатный орган подвергнется правительственной репрессии за ту или другую статью, то эта статья должна быть перепечатана всеми другими повременными изданиями. Конфискация социалистических органов за напечатание Манифеста требовала выполнения этого постановления. Вопрос этот обсуждался на заседании Союза 2 декабря, в день конфискации.

От «Журнала для всех» в Союз входили Миролюбов и я. Миролюбов энергично настаивал, чтобы Манифест был немедленно всеми

перепечатан. Я его поддерживал. Представители многих других органов проявляли колебание, указывая, что Манифест не статья, а революционный акт, которому они не сочувствуют, но в конце концов единогласно было решено Манифест перепечатать. Только представитель «Нового Времени» Гольдштейн оговорился, что окончательное решение зависит от А. С. Суворина. Поздно ночью он звонил во все редакции и сообщил, что Суворин печатать Манифест отказывается. Другие не звонили, но Манифест не появился ни в одной из газет, вышедших на другое утро.

После заседания я пошел к Миролюбову, чтобы обсудить, как нам выполнить постановление Союза, котоpe мы так рьяно отстаивали.

Декабрьский номер «Журнала для всех» заканчивался печатанием.

— Придется что-нибудь выкинуть, чтобы поместить Манифест.

— Это невозможно, последний лист уже в печати, — ответил Миролюбов.

— Но обложка еще не печатается. Поместим на обложке.

— Где же на обложке? На ней оглавление.

— Поместим на последней странице.

— А «Кодак» вы забыли?

— Какой «Кодак»?!

— Объявление о фотографическом аппарате. «Кодаком» последняя страница абонирована на целый год.

— Ну, знаете, для такого исключительноо случая «Кодаком» можно, я думаю, пожертвовать.

Но Миролюбов оказался непоколебим. Впрочем, он заявил, что постановление Союза все же будет выполнено и Манифест появится в январском номере «Журнала для всех».

Перед выходом этого номера Миролюбов предложил редакции, т. е. мне, Муринову, Воронцову и Энгельгардту, решить вопрос, следует ли при совершенно изменившихся условиях печатать Манифест.

Мы отказались решать этот вопрос, так как не несем материальной ответственности за издание. Миролюбов требовал категорического ответа и стал язвить почему-то Муринова, издеваясь над его боязнью говорить то, что думаешь...

Муринов не выдержал и сурово сказал:

— Если вы непременно хотите знать мое мнение, то вот оно. Вы обязаны были напечатать Манифест в декабрьском номере. Вы этого не сделали, решив напечатать в январе. Теперь вы тоже не хотите печатать, но вам нужно наше прикрытие. Я его не даю. Манифест нужно напечатать.

Миролюбов обозлился. Сморщив нос, он загнусил, упрекая Муринова за легкость, с которой он хочет погубить большое дело, не им созданное...

Тут не выдержал я. Вскочил со стула, хлопнул кулаком по столу и ушел, крикнув: «Не могу больше выносить этой лицемерной комедии!»

Так кончилось мое редакторство и сотрудничество в «Журнале для всех».

Реакция все усиливалась. 3 декабря 200 депутатов Сов. Раб. Деп., собравшиеся на заседание в Вольно-Экономическом обществе, были арестованы.

В. М. Чернову, говорят, удалось спастись от ареста, выскочив в окно. Он часто попадал в рискованные положения, но ни разу не был арестован и ни разу не сидел в тюрьме [120].

Революционные партии и небольшая группа, уцелевшая от Сов. Раб. Деп., объявили на 8 декабря политическую забастовку, но в Петербурге она прошла еще слабее, чем ноябрьская. Николаевская железная дорога продолжала «работать», и это дало правительству возможность перебросить Семеновский полк в Москву, где всеобщая забастовка перешла в вооруженное восстание.

6 декабря, в тот день, когда в Москве началось вооруженное восстание, я читал лекцию в зале Тенишевского училища на тему «Коллективизм и коммунизм» в пользу безработных. Это была моя первая платная публичная лекция в России.

В этой лекции, не зная еще, что первые выстрелы в Москве уже раздались, я высказался против вооруженного восстания, считая, что оно при сложившихся условиях неизбежно обречено на поражение. Не восставать с оружием в руках, а организовываться в союзы и кооперативы — такова задача дня, — говорил я.

Для участия в прениях записалось очень много ораторов. Когда их список был оглашен, то «партийцы» увидели, что среди записавшихся нет ни одного солидного имени, и решили сорвать прения. Кто-то из них заявил, что в зале присутствует полиция. И предложил даже принять резолюцию, в которой говорилось, что петербургские прачки и кухарки проявляют больше политического такта, чем Поссе, так как отказываются собираться в присутствии полиции, а Поссе допускает полицию на свою лекцию.

За полицейского был принят военный врач, сидевший во втором ряду. Наиболее рьяные партийцы бросились на него, чтобы вытолкать из зала. Он с трудом вырвался и спасся, взобравшись ко мне на эстраду.

Резолюция, конечно, провалилась, и небольшая группа недовольных ушла из зала со свистом.

Несмотря на реакцию, я считал возможным продолжать организационную работу. Особенно большое значение я придавал созданию рабочих кооперативов, так как для успешной борьбы рабочие должны быть объединены не только профессионально, но и территориально, и это территориальное объединение должно быть основано на общих экономических интересах.

Для порпаганды и агитации за создание рабочих кооперативов мною был основан журнал «Трудовой Союз», официальным редактором которого была М. А. Куклина.

Первый номер «Трудового Союза» вышел 26 февраля 1906 года. На первой странице был помещен снимок с удивительной скульптуры Моро-Вотье «Жертвами революции» с эпиграфом на Виктора Гюго: «Все, чего мы требуем от будущего, это справедливости, а не мести».

Затем следовала моя статья «Сим победиши». Она начиналась с характерных для того времени слов генерала Хоруженко, который, оправдываясь перед «Новым Временем», обвинявшим его в растерянности и нерешительности при подавлении восстания в Прибалтийском крае, заявил:

— Я полагаю что с двумя гранатами я всей Курляндии завоевать не мог. Это только Иисус Христос семью хлебами накормил пять тысяч.

Приводил я и не менее характерные слова полтавского губернатора, сказанные господину Тенеромо:

— Говорю вам, что, если бы теперь, в наши дни, сюда, в Полтаву, прибыл Христос и начал свою проповедь о перемене жизни, я принужден был бы отдать приказ полицмейстеру Иванову — арестовать Христа... И он был бы арестован.

В Голутвине и Перове, — писал я, — где усмиряли Мин и Риман, Христос наверное не был бы арестован, — он был бы расстрелян.

В том же номере были помещены статьи: «Чего у нас нельзя отнять?» С. Львова, «Накануне расцвета мирового рабочего движения», «Призрак прибалтийского сепаратизма», «Ф. М. Достоевский о смертной казни и телесном наказании» и т. д.

Еще раньше «Трудового Союза» я начал издавать «Библиотеку рабочего», которая выходила небольшими книжками каждую неделю. Первой книжкой я выпустил свой перевод «Манифеста Коммунистической Партии» с приложением своего очерка «Коммунистические идеи», в котором постарался показать, как постепенно из утопического социализма под влиянием рабочего движения выработался

социализм научный. «Манифест Ком. Партии» был мною, как я уже упоминал, переведен еще в 1903 г.

В предисловии я указывал, что в переводе «Манифеста», при существовании перевода. Плеханова, меня побудили неточности плехановского перевода. Чтобы не быть голословным я привел целый ряд примеров. Плеханов выпустил слова Манифеста, что «буржуазия является безвольным и неспособным к сопротивлению носителем прогресса крупной промышленности».

«Бессовестную» свободу торговли заменили «чуждой идеальных соображений». Знаменитый «идиотизм деревенской жизни» заменил «отупляющей обстановкой деревни». Выпустил «церковь», которую, по словам Манифеста, христианство противопоставляло государству. Совершенно исказил чрезвычайно важное место об условной революционности средних сословий, заменив слова «в виду» и «таким образом» словами «постольку, поскольку».

В моем переводе Манифест называется не «Коммунистическим Манифестом», а так, как назвали его Маркс и Энгельс и как всегда издавался и издается в подлиннике (на немецком языке), а именно «Манифест Коммунистической Партии», при чем Маркс и Энгельс названы тоже, как в подлиннике, авторами лишь предисловия к Манифесту, а не самого Манифеста.

Маркс и Энгельс считали важным подчеркнуть, что Манифест исходил не от них лично, а от всего союза или партии коммунистов, которые на втором союзном конгрессе в течение девяти дней обсуждали проект Манифеста.

В «Библиотеке Рабочего» я издал в переработанном виде несколько глав из «Теории и практики пролетарского социализма».

Первые четыре выпуска прошли благополучно, но пятый, самый невинный, с изложением социалистических программ, был конфискован, и я был привлечен к суду по 129 ст. за призыв к ниспровержению существующего строя.

Выпуск был конфискован в момент выхода и не получил распространения, поэтому следователь прекратил против меня преследование. Я потребовал снятия конфискации, но на это не соглашалось Гл. Упр. по делам печати, находя содержание выпуска преступным.

Началось единственное в своем роде судебное дело по обвинению не человека, а книги. Книге назначен был даже казенный защитник. Но, конечно, главным защитником был я. Дело сначала рассматривалось Петербургской Судебной Палатой, которая, после речей прокурора и моей, книгу оправдала. Прокурор опротестовал приговор, и дело было перенесено в Сенат. Докладывал дело обер-прокурор Чайковский,

брат известного композитора. Перед заседанием он подошел ко мне и стал расспрашивать, что такое синдикализм. Мои объяснения выслушал с большим интересом и в своем докладе признал протест прокурора необоснованным. Надо заметить, что прокурор особенно налегал на преступность «Эрфуртской программы немецкой соц.-демократии», которая была у меня приведена полностью.

И Сенат оправдал книгу. Конфискация была снята. Но вслед за этим каждый выпуск «Библиотеки Рабочего» конфисковывался уже после того, как часть его была распространена. Были конфискованы и остатки первых четырех выпусков. Каждая конфискация сопровождалась привлечением меня к ответственности по 129 ст. и в то же время задерживала начало процесса по предыдущей конфискации. В результате дело затянулось до какой-то амнистии.

В 1906 г. я несколько недель был фактическим редактором журнала «Освободительное Движение».

Затянул меня в этот журнал милый, но легломысленный молодой беллетрист Семенов-Волжский с удивительно красивыми синими, васильковыми глазами.

Издателем журнала был кн. М. В. Церетелли, которого Семенов рекомендовал мне, как революционера, долгие годы пробывшего в ссылке.

К участию были привлечены известные литераторы, в том числе Сергеев-Ценский, Куприн, Ремезов и мн. др. Церетелли, якобы получивший большое наследство, хотел поставить издание на широкую ногу. Нанял роскошную квартиру на Невском, назначил высокие гонорары и пр.

Во время печатания первого номера я получил письмо от группы соц.-революционеров, которые советовали мне остерегаться Церетелли, так как есть основание думать, что он провокатор, проваливший транспорт с оружием. Кроме того, я получил анонимное письмо, в котором сообщалось, что М. В. Церетелли, действительно, был в ссылке, но не как политический, а как уголовный преступник за целый ряд мошеннических проделок.

Я отправился в редакцию и сообщил о полученных письмах секретарю редакции Васильеву. Тот пошел к Церетелли и через полчаса вернулся, сказав, что князь меня просит притти поговорить с ним.

Князь, красивый мужчина восточного типа, не производил впечатления человека, смущенного сообщением Васильева.

Попросив меня сесть, он сказал:

— Провокация — вздор. Я, напротив, оказал большие услуги революции во время московского восстания. Что касается нарушения уголовных законов, то это правда. Но ведь это было уже давно... И неужели вы с вашими, как мне кажется, анархическими взглядами, не можете освободиться от буржуазных предрассудков. Виноват был не я, виновато буржуазное общество. Что же нам мешает вместе бороться? Если вы уйдете, уйдут и другие сотрудники, я принужден буду прекратить издание, вы погубите хорошее дело и, может быть, вновь толкнете меня на путь уголовных преступлений.

— Я не намерен вас ни оправдывать, ни осуждать, — ответил я. —Мне только кажется, что вам следовало бы взяться за дело более скромное, чем издание журнала, одна из задач которого всесторонне освещать историю революционного движения. Во всяком случае я от всякого участия в вашем журнале отказываюсь.

На другой день я поместил в газетах письмо, что не принимаю никакого участия в журнале «Освободительное Движение».

Надо заметить, что некоторые сотрудники были очень недовольны моей «нетерпимостью».

Первый номер все же вышел. А затем «князь» куда-то исчез.

Ко мне пришла его невеста, богатая вдова, которую я несколько раз встречал в редакции. Со слезами рассказал она мне, что князь взял у пей 40000 рублей и с ними скрылся, не оставив ей даже записки.

Она спрашивала, что ей теперь делать.

Я мог только ей посочувствовать.

Где и как в последующие годы боролся «князь» с буржуазным обществом, я не знаю.

Огромная вывеска «Освободительное Движение» над верхним этажом одного из домов на Невском красовалась долгие годы, наводя на грустные размышления.

## XXVI

## У ИСТОКОВ РАБОЧЕЙ КООПЕРАЦИИ (1906—1908 гг.)

«Идеалы кооперации». — От слов к делу. — Учредительное собрание «Трудового Союза» — Механическая пекарня. — Быстрый рост. — Торжественное собрание.—Радужные надежды. — Враждебные силы.—В даль и глубь России. — Болезни чрезмерного роста. — Союз торговцев.—Административные репрессии. — Е. Т. Ионов. — Бурное собрание. — Совет «Трудового Союза». — Н. А. Скрыпник. — Ревизия Жеденева. — Роспуск Совета. — Первый всероссийский кооперативный с'езд. — Моя крамольная речь о задачах кооперации в России. — Борьба со Строевым. — Срыв с'езда. — Кризис «Трудового Союза». — Упорство старых пайщиков в его защите. — Оптовик, побежденный мощью кооперации. — Закрытие «Трудового Союза» Столыпиным. — Что осталось от «Трудового Союза». — Идеал и действительность.

Организационную кооперативную работу надо начинать в городе и надеяться не на коммунистическое сознание трудящихся, а на их разумные эгоистические интересы, надо начинать с того, что Штирнер называл «союзами эгоистов», т. е. с потребительных обществ, превращающихся в общества потребительно-производительные.

Из эгоизма вырастет коммунизм, ибо коммунизм — это наилучшее понимание своих эгоистических интересов.

Так думал я в 1905 году, в «дни свобод». Эту мысль я положил в основу своей наиболее популярной лекции — «Идеалы кооперации». Она была мною издана отдельною брошюрой, которую в большом количестве перепечатал Московский союз потр. обществ. Мне говорили, что она была переведена на несколько славянских языков.

Во время первой Думы я решил, что пришло время от слов перейти к делу. Еще до ее роспуска был на утверждение петербургского градоначальника подан устав потребительного общества, подписанный мною, М. А. Куклиной и рабочими заводов за Невской заставой, входивших в кружок, образованный Куклиной.

Общество, по моему предложению, было названо «Трудовым Союзом». Название всем рабочим пришлось по душе.

Устав был составлен точно по уставу «нормальному», выработанному Моск. союзом потр. общ. Многое хотелось в нем изменить, но я на это не решался, чтобы не создавать возможности формальной придирки для отказа в утверждении.

В конце июля или в начале августа устав был утвержден.

12 августа (по ст. ст.) 1906 года в моей квартире на Кирилловской ул., в д. № 6, состоялось учредительное собрание Трудового Союза.

На нем присутствовало двадцать пять заводских рабочих и человек пять-шесть интеллигентов, в том числе М. С. Ермолаев, М. А. Куклина, Д. В. Странден, А. С. Токарев и я.

Как раз во время нашего «учредительного собрания» максималисты произвели взрыв на даче министра внутр. дел П. А. Столыпина. От взрыва, как известно, пострадало несколько человек, в том числе дочь Столыпина, но сам он остался невредим [121]. Столыпин пережил «Трудовой Союз», закрытый его распоряжением в 1909 г.

На нашем собрании председательствовал я. Мне единодушно предложено было и место председателя правления, но я отказался. Мне хотелось сохранить за собой право избираться председателем общих собраний. Кроме того, я считал необходимым, чтобы во главе правления стоял рабочий от станка.

Председателем правления был, по моему предложению, выбран рабочий Невского судостроительного завода (Семяниковского) Егор Осипович Благородный. Тов. председателя Д. В. Странден. Секретарем М. А. Куклина. Казначеем М. С. Ермолаев. Кроме того, в правление вошли рабочий Александровского вагоностроительного завода И. С. Малихин и рабочий Обуховского завода М. И. Медведев.

В кандидаты правления были выбраны инженер Н. С. Лавров и заводские рабочие: Барышев, Волков, Фурсов, Штрейс, Фойницкий, Молчанов и Сидоров.

В ревизионную комиссию были выбраны рабочий Михайлов и два интеллигента — Самойлов и Невструев.

Рабочие, учреждавшие Трудовой Союз, были люди простые, скромные, непьющие, некурящие, по большей части семейные, с многолетним трудовым стажем. Партийных и гапоновцев между ними не было.

Сущность и задачи кооперации они хорошо себе уяснили из частых бесед со мною и М. А. Куклиной.

Они согласились со мною, что в начале надо действовать осторожно, и наше маленькое учредительное собрание постановило начать кооперативную деятельность с открытия не лавочки, а небольшой пекарни за Невской заставой, чтобы был у нас свой кооперативный хлеб.

После собрания началась вербовка новых членов, начались и поиски помещения для пекарни. Вербовка шла удачно, но отыскать подходящее помещение оказалось очень трудно, так как мы считали необходимым, чтобы помещение было безупречным в санитарном отношении, а все помещения приспособленные под пекарни, были в то время антисанитарными.

При поисках этих мы натолкнулись на большую и прекрасно оборудованную механическую пекарню, устроенную немцем Пошманом. Пекарня бездействовала, так как при неполной нагрузке приносила владельцу убыток, а достаточного сбыта хлеба Пошман почему-то не мог добиться.

У наших рабочих разгорелись на эту пекарню глаза.

— Вот бы нам такую пекарню! Тогда бы в наш союз рабочие валом повалили.

Пекарня продавалась, но Пошман требовал за нее вместе с участком земли, на котором было построено два деревянных дома, заселенных рабочими семьями, 60000 рублей. Где же взять такие деньги, когда наш паевой капитал не достигал еще и тысячи рублей?

Рабочие знали, что среди учредителей Трудового Союза есть человек с хорошим средствами, Михаил Сергеевич Ермолаев, недаром избранный казначеем правления. Обратились к нему, и он решил в компании со своим братом, Константином Сергеевичем, приобрести у Пошмана пекарню и отдать ее в аренду Трудовому Союзу на десять лет с тем, чтобы она за это время была выкуплена ежегодными погашениями.

Мне пекарня тоже очень нравилась, но я был решительно против всей этой комбинации с покупкой и арендой. Во-первых, тут замешивалась благотворительность, так как условия аренды были крайне невыгодны для Ермолаевых — это раз, а во-вторых, я опасался, что пекарня при недостатке у нас оборотных средств останется такой же убыточной, как она была и у Пошмана.

Но меня не послушались. Пекарня была приобретена и пущена в ход. Пекаря были приглашены через союз булочников и кондитеров. Первый день выпечки кооперативного хлеба был для нас большим праздником. Хлеб на этот раз вышел чудесный, или, во всяком случае, казался нам таким.

Почти одновременно с открытием пекарни открылась и первая кооперативная лавка за Невской заставой, в Муравьевском переулке, около Александровского вагоностроительного завода, с которого в то время больше всего было пайщиков. Затем вскоре открылись лавки в селе Александровском, около Обуховского завода, в Мурзинке и на большом Смоленском проспекте, около хлебопекарни.

Число пайщиков быстро возрастало. Тяга к Трудовому Союзу началась не только в Невском районе, но и в других рабочих районах. Особенно дружно поднялся Василеостровский район, где за вступление в Трудовой Союз горячо агитировал бывший гапоновец А. Е. Карелин,

работавший в хромо-литографии Маркуса. С Балтийского завода в Трудовой Союз вступило сразу несколько сот человек.

Открылись лавки в Галерной гавани, на 15-й линии, на острове Голодае. За Васильевским потянулись Коломенский район с Франко-русским заводом, Выборгская сторона, Петербургская и т. д.

Третье общее собрание 8 апреля 1907 года пришлось собрать в огромном зале Калашниковской биржи, но и он с трудом вместил явившихся на собрание членов Трудового Союза.

Собрание прошло с исключительным подъемом. В конце собрания я произнес речь о задачах нашего Союза, выражая надежду, что вскоре он объединит всех трудящихся Петербурга, а затем, по его примеру, такие же трудовые союзы образуются во всех других рабочих центрах России. От организации потребления трудовые союзы перейдут к организации производства предметов первой необходимости, и в конце концов члены трудовых союзов сделаются способными взять в свои руки всю хозяйственную жизнь страны и положить начало новому трудовому строю, где каждый свободно работает по своим силам и способностям и получает все необходимое для удовлетворения своих не только физических, но и духовных, культурных потребностей.

Тогда я во все это верил, и моя вера передавалась слушателям. От сильного волнения многие, не только женщины, но и бородатые мужчины, плакали. Им тогда казалось, что найден верный путь от нужды и злобы к радости и любви.

Меня окружили, пожимали руку, обнимали, целовали, и по моим щекам текли хорошие слезы. В этих слезах радость смешивалась с грустью, с предчувствием, что прекрасным надеждам, захватившим 2000 рабочих людей, не суждено осуществиться и Тридовой Союз погибнет под натиском враждебных сил, а сил этих было так много, они шли на Союз со всех сторон, они свивали гнездо и в среде его членов.

После этого собрания рост Трудового Союза пошел еще быстрее. К октябрю 1907 года в Трудовом Союзе было около 8500 членов, число лавок возросло до 19-ти; кроме паровой пекарни работали еще четыре небольшие пекарни в различных районах Петербурга.

Летом 1907 года я отправился в путешествие по России, чтобы познакомиться с потребительными обществами, из которых ни одно не могло считаться свободным рабочим кооперативом, ибо все потребительные общества с рабочим составом членов находились в зависимости от фабрично-заводской администрации, которая пользовалась ими в своих интересах.

Я запасся мандатом от московского союза потребительных обществ, с руководителями которого В. Н. Зельгеймом, Д. С. Коробовым и Каблуковым у меня установились товарищеские и почти дружеские отношения. Кроме того, я заручился согласием редакции «Товарища», в то время наиболее левой газеты, руководимой проф. Ходским, Кусковой и моим старым другом В. С. Голубевым, регулярно помещать мои путевые очерки [122].

Эти очерки я назвал «В даль и глубь России». Они были посвящены, главным образом, описанию различных кооперативов, преимущественно в рабочих районах. Я побывал в Мытищах, Орехове-Зуеве, Сормове, Перми, Мотовилихе, в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и т. д.

Этою поездкою я воспользовался для чтения лекций по кооперации, в особенности для распространения идей, положенных в основу Трудового Союза.

На Урале мои лекции сначала были разрешены губернатором Болотовым, но потом его же телеграфным распоряжением запрещены. Болотов думал, что кооперация с государственной точки зрения вещь безобидная и даже полезная. Но когда ему донесли, как я понимаю задачи кооперации, то он и возмутился и испугался. И полетели запретительные телеграммы.

В Екатеринбурге полицмейстер сначала был со мной чрезвычайно любезен, но, получив телеграмму Болотова, не только запретил лекцию, но и посоветовал мне уехать возможно скорее, чтобы не попасть на казенную квартиру.

Когда я уезжал из Екатеринбурга, то стены его запестрели, вместо уже отпечатанных афиш о моей лекции, афишами о новой пикантной оперетке «Хулиганы».

Свои очерки «В даль и глубь России» я начал в «Товарище» статьей о Трудовом Союзе. Статья эта, перепечатанная органом московского союза потребительных обществ, считалась в то время своего рода манифестом новой трудовой кооперации.

Моя поездка «В даль и глубь России» имела большое значение для распространения новых кооперативных идей, но для нашего Трудового Союза она оказалсь вредной. Я уехал как раз в тот момент, когда начались болезни чрезмерно-быстрого роста и когда против Трудового Союза, с одной стороны, ополчились лавочники, образовавшие для борьбы с ним даже свой союз частных торговцев, с другой стороны некоторые партийные деятели, в том числе очень влиятельный в рабочей среде секретарь союза металлистов социал-демократ Малиновский, оказавшийся впоследствии провокатором.

Состав правления Трудового Союза к тому времени совершенно изменился, и во главе его вместо Благородного стал бывший гапоновец А. Е. Карелин, человек честный и корректный, но нерешительный и очень занятой своей профессиональной работой.

Отсутствие в такое время наиболее авторитетного руководителя Союза, каким был я в глазах рабочих, несомненно повредило нашему делу.

Меня, по возвращении, засыпали сообщениями о разных невзгодах. В двух лавках у заведующих пропали крупные суммы денег, при чем есть основание предполагать, что они их растратили или утаили, механическая пекарня приносит большой убыток, пекаря пьянствуют, не считаются с заведующим, хлеб часто получается не съедобный. Подстрекаемые врагами Трудового Союза, пекаря доходят до того, что нарочно бросают в месильную машину всякую дрянь, раз бросили даже крысу. Увольнение создает конфликт с союзом булочников и кондитеров, который занял по отношению к Трудовому Союзу враждебную позицию. Возникают конфликты и с приказчиками, которые не хотят отказаться от обычаев, существующих в частных лавках, например, от получения «подарков» от поставщиков товаров. Некоторых приказчиков, несомненно, подкупает «союз торговцев», подговаривая их делать всякие пакости Трудовому Союзу. Около наших лавок «союз торговцев» открывает свои лавки, где продает товары явно в убыток, лишь бы подорвать торговлю в наших лавках. Градоначальнику торговцы подают слезные жалобы, указывая, что, благодаря Трудовому Союзу, они несут миллионные убытки. Делаются и злостные доносы. Фургоны Трудового Союза с хлебом останавливались полицией, которая искала в них бомб. С лавок Трудового Союза полиция срывала вывески на том основании, что на них было написано просто «Трудовой Союз», а не «потребительное общество под названием Трудовой Союз». Два дельных члена правления арестованы и высланы из Петербурга. Кем-то среди рабочих распространяются листовки, в которых я называюсь агентом буржуазии, и утверждается, что я устроил Трудовой Союз, чтобы сбыть по выгодной цене принадлежащую мне паровую пекарню, при чем спекулируется на некотором сходстве фамилий Поссе и Пошман. Лавочным комитетам для проверки лавок полиция мешает собираться и т. д.

Были, конечно, и приятные новости. Рабочие стали замечать, что под влиянием Трудового Союза цены на предметы первой необходимости, раньше поднимавшиеся, теперь стали понижаться. Оборот некоторых лавок неуклонно повышается. Рабочий лесопильного завода Первухин, получивший за увечье триста рублей, принес эти деньги

полностью в пай, в Трудовой Союз. В Московско-Нарвском районе, не захваченном еще Трудовым Союзом, тоже началась тяга к нему и т. д.

Подробно ознакомившись с положением дела, я увидел, что прежде всего необходимо поспешить с приглашением опытного человека для руководства хозяйственной частью союза.

Еще до моего отъезда «в даль и глубь России» А. Е. Карелин рекомендовал в заведующие хозяйственной частью Трудового Союза своего старого знакомого Ефима Тимофеевича Ионова. Ионов, сын крестьянина Ямбургского уезда, учился в двухклассном училище, а затем в гатчинской учительской семинарии, затем 12 лет был сельским учителм, занимаясь в летнее время сельским хозяйством, при чем старался научить крестьян усовершенствованным способам обработки земли. В «Сельском Вестнике» помещал статьи под названием «Думы пахаря».

С его участием в Петербургской и Новгородской губерниях было организовано более десяти вполне жизнеспособных общественных лавок. С 1904 года он состоял заведующим земским сельскохозяйственным складом Ямбургского уезда и увеличил обороты склада с шестидесяти шести тысяч до ста девяноста тысяч.

Жил он на станции Волосово, куда мы и поехали с Карелиным, чтобы переговорить с ним о переходе в Трудовой Союз.

Небольшого роста, кряжистый, с совершенно круглой, коротко остриженной рыжеватой головой, в очках, Ионов произвел на меня впечатление человека дельного, упорного и умеющего постоять за себя. Свою шарообразную голову он держал немножко низко и вперед, как бы собираясь пробиться ею через жизненные препятствия. Ионов не прочь был перейти в Трудовой Союз, но пожелал раньше подробно ознакомиться с положением его дел и посмотреть, можно ли спеться с правлением Союза.

Решено было, что он поработает один месяц на пробу. Проба, казалось, была удачная. Ионов хорошо изучил дела Союза и верно отметил главные недостатки его хозяйства. С членами правления у него установились хорошие товарищеские отношения, но... вот тут-то и заковыка! Ионов очень высоко ценил себя и пожелал заключить с Союзом договор на таких условиях, что рабочие — члены правления прямо ахнули, тем более, что все они в Трудовом Союзе работали безвозмездно, как безвозмездно выполняла свои довольно сложные обязанности и М. А. Куклина, бессменный секретарь правления.

Ионов требовал 200 рублей в месяц и неустойку в размере годового жалованья в случае закрытия Союза или увольнения.

Эти условия казались и мне неприемлемыми, так как я предвидел, что рабочая масса увидит в требовании неустойки кулацкую замашку и с самого начала отнесется к заведующему враждебно. От услуг Ионова, проработавшего июль месяц, пришлось отказаться. Однако, после моего возвращения, кандидатура Ионова вновь выплыла, так как другого подходящего лица не находилось. Был момент, когда я думал взять на себя заведывание хозяйственной частью и притом безвозмездно, но, увидев скептические улыбки своих друзей, считавших меня непрактичным, я от этой мысли отказался.

После долгого обсуждения правление пошло на условия Ионова, и 10 октября 1907 года договор с ним был подписан.

14 октября состоялось общее собрание членов Трудового Союза в помещении Соляного городка. Собралось около трех тысяч человек, так что вначале была прямо давка. До конца собрания многие не досидели, точнее не достояли, и ушли. Собрание продолжалось с 11-ти часов утра до 10-ти часов вечера. Прошло оно бурно, и мне, как председателю, пришлось проявить неимоверные усилия, чтобы довести его до более или менее благополучного конца. Злостных попыток сорвать собрание было не мало. На этот раз на собрание явились партийцы, как эсдеки, так и эсеры, незадолго перед тем записавшиеся в члены Союза и внесшие лишь по полтиннику вступных; у некоторых из них было явное желание взорвать Союз изнутри.

Кроме того, на это собрание впервые явилось несколько человек сильно выпивших. Это тоже были новые, только что вступившие члены, но они горланили больше всех. Как я и ожидал, большинство собравшихся были возмущены условиями договоров с Ионовым. На его круглую мужицкую голову посыпались нападки и оскорбления. Особенно резко выступали против Ионова члены некоторых лавочных комитетов, так как одной из реформ, которые Ионов считал необходимыми, была централизация закупок, которые до тех пор производились на местах с участием лавочных комитетов.

На общем собрании 14 октября предполагалось избрать Совет Трудового Союза. В нашем уставе было указано, что общее собрание может избрать, кроме правления и ревизионной комиссии, Совет, но не указывалось, какой должен быть его состав и каковы его функции. Мы решили выбрать Совет по кандидатским спискам, составляемым на фабриках и заводах, с таким расчетом, что фабрики и заводы, имеющие от 30 до 200 членов, выставляют одного кандидата, от 200 до 500 — двух кандидатов, от 500 до 800 — трех и т. д.

Намеченные кандидаты печатаются на отдельных листах, которые раздаются всем членам, прибывшим на собрание. Каждый может или принять предложенный список, или заменить нежелательных кандидатов теми членами, которых он желает видеть в Совете. Лицам «разных профессий», не связанных с тем или другим заводом или фабрикой, оставляется два места. Все присутствующие члены вписывают в список двух лиц, которых они желают избрать из числа представителей разных профессий.

Совет, по мысли правления, должен был быть высшим наблюдательным органом Трудового Союза и разрешать конфликты между правлением и служащими и работающими в кооперативных лавках и предприятиях Союза.

На собрании 14 октября ни выбрать Совета, ни утвердить инструкцию Совету не удалось. Пришлось созвать еще одно экстренное общее собрание 16 декабря.

На этом собрании я уже не председательствовал. На прежних собраниях выдвигалась в председатели только моя кандидатура. Теперь же выдвинуто было несколько кандидатур, и я от баллотировки отказался. Выбранным оказался рабочий Шилин, социалист-революционер, один из кандидатов в члены Государственной Думы от рабочей курии.

Большое участие в прениях принимал уже упомянутый эсдек большевик Малиновский. По его предложению, число членов Совета от «разных профессий» было увеличено до четырех. Избранными от «разных профессий» оказались: меньшевик, доктор Хейсин, большевик Ермолаев, акушерка Карелина, жена председателя правления, бывшая гапоновка, и я.

Под фамилией Ермолаева, выбранного в Совет, скрывался Николай Алексеевич Скрыпник, в настоящее время видный член УКП(б) и Наркомпрос Украины. Скрыпник держал себя в Трудовом Союзе корректно и, видимо, старался укрепить его, а не взорвать изнутри. От рабочих в Совет вошли представители ста фабрик и заводов.

После первого же собрания Совета от градоначальника было получено распоряжение о недопущении дальнейших заседаний, так как Совет не предусмотрен уставом Трудового Союза. Совет, как я указывал, уставом был предусмотрен, но нормальный устав не предусматривал возможности такого кооператива, в Совет которого входят представители от большинства фабрик и заводов Петербурга. В градоначальстве, куда мы ходили для объяснений, прямо сказали, что Совет Трудового Союза правительством рассматривается как

замаскированное возобновление Совета Рабочих Депутатов, и потому он не может быть терпим.

Еще до выборов Совета градоначальником была назначена ревизия дел Трудового Союза. Ревизором был назначен чиновник особых поручений при градоначальнике Жеденев, член Союза русского народа. Жеденев когда-то был земским начальником, самодурные затеи которого были разоблачены в корреспонденции, напечатанной в «Неделе». Жеденев явился в редакцию «Недели» и потребовал от секретаря редакции М. О. Меньшикова обещания немедленно напечатать опровержение. Меньшиков что-то возразил, тогда Жеденев выхватил револьвер и выстрелил в Меньшикова, ранив его в руку. Наказания за этот дикий поступок Жеденев как-то избежал: кажется, был признан действующим в состоянии невменяемости.

От такого ревизора я ждал самого худшего, тем более, что «Русское Знамя», орган «Союза русского народа», не раз доносило на наш Союз, требуя его закрытия.

К моему удивлению Жеденев держал себя во время ревизии с утонченной вежливостью. Купил, между прочим, «Библиотеку рабочего», чтобы составить доклад градоначальнику о моих убеждениях. После доклада Жеденев сообщил мне, что градоначальник признал мои политические убеждения вредными и революционными от начал до конца, но ему очень понравилось, что я высказываюсь против политических убийств, и за это мне многое можно простить.

Выслушав это, я в первый раз в жизни усомнился, прав ли я, отрицая террористические акты.

Ревизия, по словам Жеденева, была вызвана массою доносов, но он будто бы в своем отчете все эти доносы опровергнул.

В начале января 1908 г. в Москве был созван первый кооперативный съезд. Собрались представители всех видов кооперации: потребительской, промысловой, производительной и кредитной. Пер-
произнес речь «о задачах кооперации в России».

На открытии съезда я, по поручению организационного комитета, произнес речь «о задачах кооперации в России».

Моя речь неоднократно прерывалась аплодисментами и закончилась тем, что в отчетах обыкновенно называется овацией.

Овация отчасти объяснялась тем, что мою речь дважды прерывал представитель полиции пом. пристава Строев, требуя от председателя профессора А. С. Посникова, чтобы он запретил мне «развивать разрушительные идеи противоправительственных партий».

Строев был в то время одною из достопримечательностей Москвы. Рассказывали, что он раньше был офицером какого-то московского

полка и во время декабрьского восстания 1905 г. отказался вывести свою часть против народа. Был арестован и ему угрожал расстрел. Тогда он написал унизительную просьбу о помиловании, в которой просил дать ему возможность в борьбе с революцией загладить свою вину.

Его помиловали и сделали околоточным, а затем повысили до пом. пристава. Строев старался и скоро приобрел славу талантливого истребителя крамолы. Его посылали представителем полиции на такие съезды и собрания, где требовалась особая «бдительность» и решительность.

Во время моей речи «бдительность и решительность» Строева проявилась в тот момент, когда я сказал, что «дух кооперации — дух созидающий, но в то же время и дух разрушающий гнет человека над человеком». Проф. Посников со Строевым не согласился и просил меня продолжать речь дальше. Второй раз Строев, уже озленный, вскочил и снова потребовал прекращения моей речи, когда я бросил какое-то ироническое замечание по адресу пугливой полиции.

Моей речью остался недоволен не только Строев. Ею был недоволен и организационный комитет уже по одному тому, что она послужила если не причиной, то поводом для натиска «властей предержащих» на съезд.

Строев в своем докладе по начальству предлагал немедленно закрыть съезд. Пришлось ездить к градоначальнику, телеграфировать Столыпину и т. д. Авторитету Строева был противопоставлен авторитет генерала Гибнера, бывшего военного прокурора.

Гибнер был одним из основателей Московского союза потр. обществ и организатор офицерских «экономических обществ». На съезде он был выбран председателем потребительной секции, а я — товарищем председателя. Во время съезда и борьбы со Строевым он как-то сказал: «Левым меня даже Строевы сделать не могут, но я начинаю выпрямляться».

Хлопоты отсрочили закрытие съезда, но все же ему пришлось прекратить свою работу раньше, чем предполагалось.

Во время работы секций сделалось известным, что распоряжение о закрытии подписано. Тогда президиум прервал работу секций и устроил общее собрание. Провести его было поручено С. Н. Прокоповичу. Прокопович, открыв собрание, предложил без прений проголосовать все резолюции, выработанные секциями. Резолюции поднятием рук были единогласно приняты.

«Объявляю Первый всероссийский кооперативный съезд закрытым», — провозгласил Прокопович.

Таким образом административное закрытие опоздало. Тогда радовались и этому.

В общем поведение съезда одобрил даже орган Гучкова «Голос Москвы[123], но про мою речь он писал, что ее было «неприятно и неловко слушать». Зато крестьянам-кооператорам она была близка и понятна. Они подходили к мне и сочувственно пожимали мне руку. Никто из них не винил меня за «срыв съезда». Многие интеллигенты винили меня за это и, укоризненно смотря, советовали мне воздерживаться от «громовых речей», которые совершенно не идут к делу кооперации, всегда спокойной и умеренной. Ставили мне в пример В. Ф. Тотомианца.

По возвращении в Петербург со съезда я скоро убедился, что приглашение Ионова не улучшило, а ухудшило дела Трудового Союза. На местах его распоряжения не выполнялись, а все неудачи ставились ему в вину. Связь лавочных комитетов с правлением не укреплялась, а ослабевала. Ионов, постоянно оскорбляемый, не то озлился, не то впал в уныние; во всяком случае положение Трудового Союза признал безнадежным и стал убеждать правление в необходимости разделения Союза на девятнадцать самостоятельных обществ по числу его лавок, действовавших весною 1908 г.

Я сначала возражал против этого предложения, но затем, убедившись, что члены правления устали от беспрерывных столкновений с «местами», присоединился к нему.

В составленном Ионовым докладе общему собранию предложение раздела Трудового Союза обосновывалось следующими доводами:

«У членов Союза, — говорилось в докладе правления, составленном Ионовым, — пропала вера в дело, прошел первоначальный энтузиазм, наступило разочарование в своих ожиданиях, и они не склонны дать что-нибудь для поддержания дела. Хотя грустно, но надо признать, что у нас хватает духу и энергии только для начала дела, а довести до конца мы не умеем.

Комитеты настолько привыкли к розни и враждебности к центру, что они долго еще будут считать борьбу с центром и его намерениями одной из своих главных задач.

При разделении Союза у каждого общества будет своя одна лавка, каждый комитет станет правлением, а районное собрание — общим. Для этого, конечно, нужно будет утвердить девятнадцать уставов, и все имущество, а также и обязательства Союза поделить между отдельными обществами пропорционально взносов, сделанных их членами. У нас не будет в таком случае Трудового Союза, но лавки останутся и большинство их может при поддержке членов существовать

и дальше. При таком положении члены ближе станут к делу, им надеяться будет не на кого, не на кого будет взваливать и обвинения, и они с большим интересом возьмутся за дело. Увидев недостаток средств, они скорее пополнят их. Им будет видно тогда, на что пойдут эти средства».

К нашему удивлению, предложение это не встретило сочувствия у большинства собрания. Выступили пайщики, работавшие с самого начала, и словами простыми и сильными отстаивали Трудовой Союз.

«Не разъединяться, а еще крепче объединяться должны мы!»

«Последнюю копейку отдадим, а погибнуть нашему детищу не дадим!»

«Только несознательный может желать разъединения».

Такова была суть большинства речей на этом собрании.

При таком настроении лучшей части пайщиков и я не стал настаивать на принятии предложения правления, вернее, предложения Ионова.

Оно было отвергнуто огромным большинством под шумные аплодисменты.

Хорошими словами и аплодисментами кризис Трудового Союза не был, конечно, устранен.

Часть пайщиков, не пришедшая на собрание, стала требовать от правления возврата не только паев, но и вступительных взносов. По уставу вступительные взносы ни в коем случае не возвращаются, а паи могут возвращаться после утверждения общим собранием отчета и в случае, если год заканчивается с убытком, паи возвращаются с вычетом доли убытка, приходящейся на каждый пай.

Правление не имело права отступать от устава и соглашалось возвращать лишь ту часть пая, которая оставалась за вычетом долга.

Тогда недовольные пайщики обратились с жалобой к мировому судье, в районе которого находилось правление. Мировой судья, видимо, терроризованный шумной толпой пайщиков, вопреки уставу и здравому смыслу, постановил «взыскать с Трудового Союза не только полностью паи недовольных пайщиков, но и вступные взносы». Немедленно выданы были исполнительные листы на 10 р. 50 к. каждый.

Правление обжаловало это незаконное решение в Мировой съезд, но не могло приостановить продажи с аукциона обстановки одной из лавок, продажи, произведенной судебным приставом в силу «исполнительных листов».

Но эта подлость не убила Трудового Союза.

Все обязательства правление продолжало выполнять точно и аккуратно.

Как раз в это время один из крупных петербургских оптовиков, поставлявший товары Трудовому Союзу, сказал мне:

— Я не верил в значение и успех кооперативного дела, когда «Трудовой Союз» открывал каждую неделю по новой лавке, когда в него ежедневно вступали по сто и больше членов; но я поверил в мощь кооперации теперь, когда Трудовой Союз, погибая от несчастного стечения обстоятельств, платит рубль за рубль и поддерживает лавки, чтобы передать их своим наследникам — новым обществам.

Каждый отдельный предприниматель при таких условиях, в каких теперь находится Трудовой Союз, давно бы погиб или «вывернул шубу».

Живучесть Трудового Союза возмущала градоначальника, но он не мог, согласно уставу, закрыть Союз, если ревизией не доказаны незаконные действия правления. Он мог лишь предложить правлению собрать экстренное собрание пайщиков и предложить им ликвидировать потребительное общество, в данном случае наш Трудовой Союз.

И он это предложение сделал. Правление по уставу обязано было в данном случае волю градоначальника выполнить.

Экстренное собрание было созвано, но ликвидация была отвергнута почти единогласно. Нашлись рабочие, и рабочие толковые, которые согласились отдать свой досуг на ревизию всего дела, на выяснение причины всех неудач, чтобы затем на основании горького опыта выработать план дальнейшей работы Трудового Союза.

Возможно, что им бы удалось то, что не удалось Ионову.

Но, наконец, вмешался министр внутренних дел Столыпин, имевший право закрывать потребительные общества без объяснения причин.

На развалинах Трудового Союза образовалось четыре небольших кооператива, к которым перешли наши наиболее жизнеспособные лавки. Паровая пекарня перешла к первой петербургской артели пекарей и булочников, которую образовал заведующий пекарней Симонов.

Многие из рабочих - членов Трудового Союза выработались в опытных кооперативных дятелей и занимают ответственные посты в современной кооперации.

— В Трудовом Союзе, — писал я по поводу его гибели, — отразились условия современной русской жизни (т. е. жизни времен

Столыпина). В ней, в этой русской жизни, как и в нашем Союзе, действительность победила идеал. Но не изменилась ли и она при этом к лучшему? Думаю, что да, изменилась и двинулась вперед, несмотря на ужас внешних проявлений ее.

Изменения произошли в народных недрах, в народной душе. Загорелось сознание, и нет сил, которые могли бы его потушить.

Пробудился дух созидающий, дух творческий, и в этом пробуждении залог братства и свободы».

После закрытия Трудового Союза я ходил за Невскую заставу прощаться с его первыми членами, с его учредителями.

Возвращаясь по Шлиссельбургскому тракту в центр Петербурга, я уже не просто думал «quand même», что одновременно означает и «во что бы то ни стало» и «а все же», нет, я чувствовал этот выбранный мною девиз, я чувствовал, как моя воля крепнет, стремясь к поставленной цели во что бы то ни стало. И я уже видел вместо деревянных лачуг, грязных трактиров, безобразных заборов — высокие «народные дома», кооперативные мастерские и склады, трудовые школы, цветущие сады...

Я видел радостный и величавый город «за Невской заставой», город товарищеского труда, всестороннего знания и возвышающих душу развлечений...

Не скоро это будет, «а все же» будет, будет «во что бы то ни стало».

## XXVII

## «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ», «СЛОВО» И «НОВЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ» (1907 — 1909 гг.)

В. В. Битнер. — Хозяйка «Вестника Знания». — Сотрудничество в «Слове». — А. А. Васильев. — М. М. Федоров. — Борьба за отмену смертной казни. — «На темы жизни». — Издевательство Чуковского. — Моя книга в окопах.—Проклятые вопросы.—«Новый Журнал для всех».— Бенштейн-Архипов.

В 1907 г. я начал сотрудничать в научно-популярном журнале «Вестник Знания». В нем в качестве секретарей работали несколько бывших эмигрантов, с которыми я встречался в Женеве: Е. Е. Лазарев, Горкин-Петровский, Вейншток-Александров.

Редактором-издателем был Вильгельм Вильгельмович фон Битнер, работавший раньше в «Научном Обозрении» М. Филиппова [124].

Битнер, рослый блондин с широким лицом, голубыми глазами, хорошо выбритым подбородком и пышными усами, был по виду типичным прусским офицером из дворян. В действительности он был чистокровным немцем, но не прусским, а прибалтийским и бывшим офицером, но не прусской, а русской армии.

Человек не ученый, но начитанный, не талантливый, но способный, энергичный, самоуверенный и самовлюбленный, Битнер с помощью денег своей жены создал не только журнал с большим тиражем, но и крупное издательство.

К «Вестнику Знаний» он давал в виде приложений много книг по всем отраслям знания, нередко очень ценных и почти всегда полезных. К участию в журнале он постепенно привлек солидные научные и литературные силы. Число подписчиков доходило до тридцати пяти тысяч.

Вербовались они, главным образом, из так называемой полуинтеллигенции: народных учителей, фельдшеров, почтово-телеграфных и железнодорожных служащих, «экстернов», то-есть молодых людей, своими силами подготовляющихся в высшие учебные заведения и т. д., но были и настоящие «интеллигенты (врачи, инженеры, юристы), были и настоящие рабочие.

В некоторых городах образовывались просветительные общества «Вестника Знания», устраивающие лекции, литературные вечера и т. д.

«Вестник Знания», несомненно, имел большое культурное значение: он и будил и до известной степени удовлетворял жажду всестороннего знания особенно у тех, кто не мог попасть в университет или другое высшее учебное заведение.

Неприятно было саморекламирование Битнера, неприятно было и вмешательство в дела журнала его жены, толстой, грубой, вульгарной дамы.

Она разыгрывала «хозяйку» и нередко третировала служащих, в том числе даже секретарей редакции.

— Она к нам относится, как римские матроны к своим рабам,— говорил старик Лазарев, — за людей не считает, не стесняясь, в одной рубашке к нам выходит.

Лазарева Софья Павловна (так звали жену Битнера) почему-то особенно не любила.

— Зачем ты держишь этого выжившего из ума революционера? — говорила она мужу, и говорила так громко, что все служащие, в том числе и Лазарев, могли ее слышать.

Ко мне и Вильгельм Вильгельмович и Софья Павловна относились очень предупредительно. Я держал себя совершенно независимо, и

они чувствовали, что при малейшей неделикатности я уйду, а между тем из писем подписчиков они убедились, что у меня не мало друзей-читателей.

Первую статью я написал о «социал-демократах».

В ней я подробно и, думаю, вполне беспристрастно осветил разногласия между «большевиками» и «меньшевиками».

Затем я стал в каждом номере помещать обзоры русской и иностранной жизни под названием «Исторический календарь».

Из отдельных статей особенно большой отклик со стороны читателей «В. З.» нашло мое воззвание о создании союзов возрождения для борьбы с развратом, пьянством, азартом во имя жизни здоровой и красивой.

В виде приложения к журналу Битнер издал мой перевод книги Бебеля «Женщина и социализм».

Но не «Исторический календарь» и не «Женщина» Бебеля крепко связали меня с большинством читателей «В. З.», а книга «На темы жизни», данная тоже в виде приложения к журналу.

Эта книга была составлена из моих статей в газете «Слово», где я сотрудничал в 1908 и 1909 годах.

В «Слово» перешли многие сотрудники «Товарища» после его закрытия правительством, перешел и мой старый друг Василий Семенович Голубев. В «Слове» он сделался заместителем фактического редактора, которым был один из друзей П. Б. Струве, выдержанный и корректный Г. Н. Штильман. Ближайшими сотрудниками были «трудовик» И. В. Жилкин и Антон Антонович Васильев. Васильев принимал довольно близкое участие в «Жизни», где писал под псевдонимом А. Суркова. В период легальной «Жизни» он, тогда только что вернувшийся из ссылки, был ортодоксальным марксистом.

Маленький, щупленький, мальчишеского вида, с чуть пробивающейся бесцветной растительностью на задорной мордочке с «кулачок», он часто наскакивал на П. Б. Струве, доказывая противоречивость и реакционность его взглядов. Со стороны казалось, что маленькая задорная шавка лает на большого породистого пса, стараясь укусить его за ногу. А большой пес с досадой отбрыкивается.

В период «Слова» от марксизма у Васильева осталось очень немного, но он был все же левее Струве.

Струве иногда писал в «Слове». Он был для меня наиболее неприятный сотрудник. Из-за его статей я дважды хотел бросать сотрудничество в «Слове», но меня удерживал В. С. Голубев.

Издателем и официальным редактором «Слова» был Михаил Михайлович Федоров, бывший в «дни свобод» министром торговли

в «кабинете» Витте. Вышел в отставку вместе с Кутлером, с которым у него было нечто общее[125]. «Слово» субсидировалось прогрессивными московскими промышленниками.

Как я мог при своих убеждениях сотрудничать в газете, издаваемой бывшим министром на средства промышленников?

На меня за это нападали не только «левые», но и «правые».

В органе «Русского Знамени» был помещен большой фельетон, посвященный моей литературной деятельности. Перечислены были все мои революционные преступления и выражалось удивление, как я могу сотрудничать в «Слове», которое, конечно, было тоже ненавистно «Русскому Знамени».

Статья заканчивалась приблизительно так:

«Мы считали вас, г. Поссе, своим врагом, но были о вас лучшего мнения».

Нападки «правых» несколько парализуют нападки «левых».

Мне было бы стыдно за мое сотрудничество в «Слове», если бы я при этом кривил душой, подделывался под вкусы промышленников, но этого не было. Мои статьи очень не нравились московским промышленникам, и они поставили Федорову ультиматум изменить направление газеты и прежде всего перестать печатать мои статьи, в противном случае они отказывались от дальнейшей поддержки «Слова».

Федоров не подчинился ультиматуму и предпочел прекратить издание «Слова».

«Слово» было единственной газетой, которую читал Л. Н. Толстой. В «Слово» он прежде всего направил свое знаменитое «Не могу молчать», и оно было напечатано[126].

В «Слове» мне была дана полная свобода клеймить лицемерие третьей Думы, критиковать политику Столыпина и, главное, будить общественную совесть для протеста против смертной казни.

Книга, составленная из моих статей в «Слове», долгое время была любимой книгой многих из тех, которые приняли деятельное участие в революциях 1917 года.

Над моими статьями в «Слове» издевался в «Речи» К. Чуковский, но за эти издевательства я был сторицей вознагражден сочувствием многих рабочих, крестьян и солдат.

Помню, как на одном митинге в Москве в 1917 г., когда на меня революционные патриоты обрушились за мой призыв к немедленному прекращению войны, поднялся солдат, приехавший делегатом с фронта, и громогласно заявил:

— Не дадим товарища Поссе в обиду. Я его вижу и слышу первый раз. Но я и в окопах не расставался с его книгой «На темы

жизни». Много раз мы ее перечитывали с товарищами, потому что в ней сказано то, что таилось в нашей душе, но что выразить мы не умеем.

В окопах читали, вероятно, с особым чувством мою статью о «войне» и ряд моих статей о «смертной казни», которая грозила каждому солдату.

Для статьи о «войне» я использовал и нашу художественную литературу, начиная с Толстого, кончая Вересаевым, и такие правдивые рассказы очевидцев, как «Расплата» Семенова [127].

За вину «власти» расплачивались те, единственной виной которых была покорность, писал я. Вся статья моя была косвенным призывом к неповиновению.

Могли ли мои мысли нравиться тем либеральным публицистам, которые в период «временного правительства» вертелись около английского посла Бьюкенена?! [128]

«Темы жизни» были в то же время «проклятыми вопросами».

Не только война и смертная казнь, но и самоубийство, алкоголизм, проституция, ложь, уродство воспитания нашли свое отражение в «темах жизни». Были, конечно, и проблески света, призывы к творчеству, к борьбе, к жизни.

К работе в «Слове» и «Вестнике Знания» у меня осенью 1908 года присоединилась работа в «Новом Журнале для всех».

«Журнал для всех» был закрыт в 1907 году, и В. С. Миролюбов, привлеченный к суду по ст. 129, уехал за границу до амнистии и вообще «лучших времен».

Популярность «Журнала для всех» захотел использовать Николай Архипович Бенштейн, взявший себе псевдоним «Н. Архипов».

Бенштейн в литературных кругах был совершенно неизвестен, но у него были деньги, была инициатива, была смекалка, а главное была хорошая фирма. Как бы то ни было, но ему удалось заручиться согласием большинства бывших сотрудников «Журнала для всех» участвовать и в его журнале; кроме того он привлек и несколько новых «имен». В секретари редакции он пригласил поэта Л. Андрусона, который долгое время был секретарем у Миролюбова в «Журнале для всех». В завершение всего обратился и ко мне, прося взять на себя фактическое редактирование. Я прежде всего поставил вопрос, есть ли согласие Миролюбова на использование названия его журнала с прибавкой «Новый».

Бенштейн ответил, что с Миролюбовым списывался Арцыбашев, и Миролюбов ответил, что ничего не имеет против появления «Нового журнала для всех». Это подтвердил мне и Андрусон.

Бенштейн, рослый, мускулистый, черноволосый еврей, произвел на меня благоприятное впечатление. Говорил он мало, слегка заикаясь, и потому казался человеком скромным.

После небольшого колебания я согласился редактировать «Новый Журнал для всех».

Работать сначала было весело. Кроме «известных» писателей с большими именами к журналу примкнула талантливая молодежь — Грин, Олигер, В. Муйжель, А. Толстой и др., только еще пробивающиеся к известности.

Наладился недурной сатирический отдел, удалось оригинально составить гоголевский номер в связи с столетней годовщиной рождения Гоголя, мечталось о хорошей постановке общественного отдела, который пока приходилось вести очень осторожно, а потому бледно. Подписчик валил валом. Мартовская книжка печаталась в тридцати тысячах экземпляров.

С Бенштейном отношения сначала были хорошие. Познакомил он меня со своей женой Анной Степановной, молодой, красивой блондинкой с длинными косами светло-золотого отлива, типичной калужанкой. Журналом она очень интересовалась, но в противоположность Софье Павловне Битнер она держала себя чрезвычайно скромно и деликатно со всеми служащими и сотрудниками.

При моих спорах с Николаем Архиповичем она обыкновенно становилась на мою сторону. А споры постепенно учащались.

Бенштейн все чаще давал понять, что хотя вы, мол, и редактор, но хозяин-то все же я.

Я старался не обострять отношений и часто шел на уступки. Но когда он «уволил» Андрусона, даже не предупредив меня об этом хозяйском шаге, то я решительно запротестовал.

— Или Андрусон останется секретарем, или я отказываюсь от редактирования и вообще от сотрудничества в «Новом Журнале для всех», — категорически заявил я Бенштейну.

Бенштейн также категорически заявил, что Андрусона он оставить не может.

Моя угроза его не испугала; он, вероятно, хотел избавиться и от меня: был конец апреля, журнал окончательно окреп, успех обеспечен, и я больше не нужен, я даже вреден, так как в цензурном ведомстве на меня смотрели очень косо и мое имя помешало Бенштейну добиться льготы по пересылке журнала. Но он не учел всех последствий моего ухода.

Порвав с Бенштейном, я поместил в газетах письмо, что не принимаю больше никакого участия в «Новом Журнале для всех»,

Многие сотрудники, и сотрудники ценные, узнав о причине моего ухода, с своей стороны поместили письма в газетах о прекращении сотрудничества в журнале Бенштейна.

С Анной Степановной я с тех пор не встречался, и судьба ее мне неизвестна. Слышал только, что с Бенштейном она не живет.

Бенштейн после моего письма в редакцию написал мне открытку, прося прекратить «травлю» его, а после моего разговора в вагоне с Анной Степановной прислал угрожающее письмо, в котором проклинал меня за то, что я его лишил не только журнала, но и жены, которая якобы ушла ко мне и живет со мной. «Эту обиду, — писал он, — может смыть только кровь». Я ответил очень сдержанно. Угроз его я не боюсь, но должен все же указать, что он жестоко ошибается, думая, что я увлек его жену. Я виделся с ней только раз в вагоне железной дороги и не знаю, где она в настоящее время находится.

В ответ получил от Бенштейна письмо покаянное.

«После вашего письма и письма Анны Степановны, полученного одновременно, я теперь ничего не понимаю, — писал Бенштейн, — я потерял способность ориентироваться».

Далее много говорилось о бесчисленных бедствиях, свалившихся на его голову, об отчаянье, о радости смерти, которой однако мешают «обязательства».

«Пишу вам сквозь слезы — так мне скверно. От жены получил письмо — сухое, черствое, чужое. Ваше письмо куда сердечней, и за это я вам глубоко признателен. Простите же меня, если я в чем перед вами провинился. Во мне живут два начала: одно природное, вероятно, хорошее, другое привитое ужасными условиями жизни, средой (гг. Ротенштерны и К°). И первому началу иногда приходится жестоко платиться и страдать за второе, но первое во мне побеждает».

Я поверил Бенштейну и пожалел его. Но верить не следовало. В декабре 1909 г., когда я стал издавать «Жизнь для всех», Бенштейн поместил в газетах «предупреждение», направленное против «Жизни для всех» с указанием, что издательство «Новый Журнал для всех» за деньги, посылаемые в «Жизнь для всех», не отвечает.

Удивляюсь, как газеты могли напечатать такое нелепое и подлое заявление, но факт, что напечатали.

Кроме «Нового Журнала для всех» Бенштейн в 1910 г. издавал еще какой-то журнал, но в конце концов «обанкротился», но не разорился.

После Октябрьской революции он устроился очень недурно. Поставлял дрова в какое-то учреждение, а затем сделался фактическим владельцем большого московского кино «Арс». Беллетрист

С. Семенов-Волжский говорил мне, что дела Николая Архиповича Архипова (Бенштейн исчез окончательно!) идут блестяще, и он теперь персона важная и влиятельная. К материальным успехам присоединились и успехи литературные. Недавно я читал, что Госиздатом выпущен сборник рассказов Николая Архипова.

Как хорошо, что «обязательства», «связавшие» Бенштейна «по рукам и ногам» в 1909 г., не позволили ему убить Николая Архипова.

## XXVIII

## «ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ» (1909 — 1918 гг.)

Цензурные удары. — Перед судом присяжных. — Лаврентьев-Власов. — Дореволюционная Россия. — Письмо русского крестьянина из Аргентины. — А. Неверов. — И. С. Овчинников. — Роман Кумов. — Зорин-Гастев и его «Рабочий мир». — «Песни рабочего» А. Благова. — Демьян Бедный. — А. А. Луговой. — Д. Вольный. — К. Тренев. — «Искатель красоты» В. И. Дмитриевой. — Е. М. Милицына. — Л. С. Козловский. — Парламентские мужички. — Т. Седельников. — Г. И. Лебедев. — «Родная Газета». — Непонятный эзоповский язык. — «В поисках России». — Примирение с М. Горьким. — И. Е. Репин. — Так понимал Репин искусство, счастье и смысл жизни. — А. Ф. Кони. — Потребительное общество «Жизнь для всех». — Всероссийский кооператив просветительной самопомощи. — Обманутые надежды. — Что осталось от «Жизни для всех».

«Жизнь для всех» издавалась с декабря 1909 года по сентябрь 1918 г. Эти 9 лет были временем исключительным, эпохой событий, потрясающих жизнь всех.

В эти годы умер Лев Николаевич Толстой, в эти годы пролились потоки крови в бойнях балканских и в бойне мировой, в эти годы прогремели две победоносные русские революции...

В эти годы у меня были подъемы и падения, были переживания радостные, но еще больше было переживаний горестных и мучительных. Близко подходила ко мне смерть, и я тянулся к ней. Остался жить. А «Жизнь для всех» умерла, или, может быть, только заснула и когда-нибуд обновленная проснется? Такая надежда, такая мечта сверкает иногда в моей голове.

Издателем «Жизни для всех» в первые полгода было товарищество (П. Г. Гаркунов, М. Н. Корсаков, Е. Д. Максимов, В. Я. Муринов, М. В. Побединский и я), во вторые полгода — один Е. Д. Максимов, затем шесть с половиной лет один я и, наконец, с июля 1917 года

до конца — «Всероссийский кооператив просветительной самопомощи «Жизнь для всех».

Идейное руководство журналом и всеми его изданиями все время было в моих руках; даже после передачи журнала кооперативу и превращения секретаря редакции П. Г. Черкасова в редактора книжки «Жизни для всех» составлялись с моим участием и под моим влиянием; так что я несу ответственность за направление «Жизни для всех» за все время ее издания.

Основывая «Жизнь для всех», я задавался целью создать читательский кооператив или общество потребителей интеллектуальных ценностей.

Обыкновенное общество потребителей создается с целью иметь желательные его членам доброкачественные продукты по дешевой цене, преимущественно своего производства. Под «продуктами» в потребительной кооперации понимается лишь то, что удовлетворяет так называемые «физические» или «материальные» потребности, т. е. предметы питания, одежда, дрова, керосин и т. д.; но почему не удовлетворять на кооперативных началах потребность в хорошей книге, хорошей газете, журнале и даже театре, вообще потребность знания и просвещения?

Для создания такого кооператива мало устава и группы учредителей. Такой кооператив — думал я — может образоваться лишь из коллектива читателей-единомышленников, объединившихся вокруг идейного и уже окрепшего повременного издания — журнала или газеты. Читатели-подписчики должны воспитаться, чтобы быть сознательными членами кооператива. Руководители, сотрудники и подписчики объединяются журналом или газетой в одну дружную семью.

«Жизнь для всех» эту воспитательную задачу выполнила удачно. Вокруг нее образовался небольшой, но хороший читательский кооператив. В отделе «Товарищеская беседа» подписчики обменивались мыслями между собой, а также с редакцией и сотрудниками журнала. В трудные минуты они поддерживали издание взносами сверх подписной платы. В ответах на ежегодные опросы редакции они высказывали свои пожелания, указывали на недостатки журнала и т. д. Через журнал завязывались знакомства и начиналась оживленная переписка.

Никаких коммерческих тайн у «Жизни для всех» не было. Ежегодно я печатал отчет о доходах и расходах издательства, сообщал и точные цифры подписчиков, и их распределение по городам и губерниям. Подписчикам предоставлялось право знакомиться с конторскими книгами издательства. С самого начала я заявил, что к решению

вопроса о назначении чистого дохода журнала будут привлечены его подписчики.

Превратить коллектив переписчиков в уставный кооператив я считал возможным только тогда, когда журнал крепко станет на ноги, будет если не приносить прибыль, то, по крайней мере, окупаться и когда политические условия настолько изменятся, что просветительный кооператив будет гарантирован от полицейского вмешательства.

Полиция, к которой я отношу и цензуру, нанесла первый удар «Жизни для всех» в самый момент ее рождения.

Первый «пробный» номер журнала был конфискован 6 декабря 1909 года, в момент его выхода. Правда, в конце декабря удалось выпустить его второе издание с заменой «крамольного» «Одиночества» Муринова «Огоньком» Мартовского, но подписка была уже сорвана. До конфискации она шла очень бойко, после конфискации сразу почти приостановилась. А тут еще Бенштейн напечатал в столичных и провинциальных газетах свое «предупреждение» о снятии с себя ответственности за деньги, посылаемые в «Жизнь для всех».

У «публики» составилось убеждение, что «Жизни для всех» не дадут жить, и лишь немногие решались рисковать своими рублями.

Второй удар полиция-цензура нанесла «Жизни для всех» в конце 1912 года, конфисковав один из томов сочинений Л. Н. Толстого, выходивших в виде приложения к журналу. В нем были помещены полностью «Исповедь» и «В чем моя вера».

Я был привлечен к суду по статье 73-й за кощунство. Судил меня в 1913 году окружной суд с участием присяжных. Защищали меня Зарудный и Переверзев; первый — бесплатно, второй — за сто рублей. Зарудный произнес хорошую, обстоятельную речь, Переверзев — очень скверную и для меня обидную.

В своем последнем слове я от обороны перешел к нападению и резко клеймил судебные власти, осмелившиеся в моем лице посадить на скамью подсудимых Льва Николаевича Толстого. Я упомянул, между прочим, о том, что за границей во время японской войны я одним словом «Толстой» заставлял смолкать французов и бельгийцев, насмехавшихся над русскими, которых так беспощадно бьют маленькие япошки.

— Истинная мощь народа,—говорил я тогда иностранцам,—определяется не уменьем его истреблять другие народы, а теми гениями, которых он порождает. Укажите мне японца, француза, англичанина, немца, которого можно было бы поставить рядом с Толстым.

— И книги этого гения, — говорил я, обращаясь к присяжным, — вам предлагают сжигать. За распространение его мыслей вам

предлагают меня послать в ссылку или посадить в тюрьму. Я горжусь, что сижу на скамье подсудимых за распространение сочинений Толстого, но мне стыдно за того русского, который сидит против меня (я указал на прокурора) и поддерживает обвинение.

Председатель два раза меня прерывал, но я все же свое слово закончил. Присяжные, после нескольких минут совещания, вынесли оправдательный приговор.

Третий удар полиция-цензура нанесла «Жизни для всех» в конце 1913 года, конфисковав написанную мною «Историю царствования Николая II», которая тоже вышла в виде приложения к журналу.

Распоряжение о конфискации было сделано, когда книжка журнала с «Историей Николая II» уже рассылалась подписчикам, и в почтовых конторах задерживали, а затем уничтожали не только «Историю», но и книжку журналов.

Вспоминая всевозможные несчастья, сопровождавшие издания «Жизни для всех», я удивляюсь, что мне удалось сохранить ее до Октябрьской революции и передать издательство кооперативу в хорошем состоянии.

Это не столько моя заслуга, сколько заслуга постоянных сотрудников «Жизни для всех» и многочисленных друзей-читателей.

Из сотрудников самым ценным, самым стойким я считаю Ивана Егорыча Лаврентьева, крестьянского депутата Первой Государственной Думы из Тетюшского уезда Казанской губернии. Начиная с февральской книжки 1910 года, он в течение восьми лет почти для каждого номера присылал очерки деревенской жизни, которые подписывал «крестьянин И. Власов».

Лаврентьев действительно был крестьянином, крестьянином не богатым и трудовым, но очень интеллигентным, много читавшим, много наблюдавшим и много понимавшим. Недолгое время он был сельским учителем, но учительство при тогдашних условиях не удовлетворяло его. Вернулся в свое село Большое Фролово, действительно очень большое, занялся землепашеством и садоводством, а в свободное время вел беседы с односельчанами и описывал в своих простых, правдивых очерках деревенскую жизнь во всем ее многообразии.

Я хорошо узнал его и полюбил по его очеркам, которые часто носили характер личного дневника, но увидел я его уже после Февральской революции, когда он на время приехал в Петербург. Огромный, костлявый, с впалой грудью, с худым загорелым лицом, на котором выделялся большой римский нос, а из глубоких орбит смотрели правдивые и честные глаза.

Вокруг Лаврентьева в Большом Фролове объединялись наиболее сознательные односельчане, и он это объединение называл «нашею артелью». Каждый член этой «артели» был молодец на свой образец. И артель воочию доказывала, как неправы те, которые считают русское крестьянство однообразною массою.

Очерки Власова-Лаврентьева показывали, как росли и развивались члены артели в течение восьми лет. Мне кажется, никому ни раньше, ни после не удавалось так верно описать глубь и ширь деревенской жизни, как это удалось Лаврентьеву в его очерках.

Кроме Лаврентьева-Власова писали в «Жизни для всех» и другие крестьяне: Шелонник (Яков Фиошин), П. Моторин, Иван Гурихин, Иван Кирячек и др.

Кирячек писал из «глуши» не России, а Аргентины, куда эмигрировал в 1905 г., чтобы избежать ссылки в Сибирь. Но Аргентина оказалась для него хуже Сибири.

К крестьянам я отношу и Александра Скобелева, писавшего под псевдонимом Александра Неверова, хотя он ко времени сотрудничества в «Жизни для всех» уже отошел от сохи.

У Неверова много общего с Власовым, но у него есть то, чего нет у Власова — большой художественный талант. Власов — правдивый бытоописатель, а Неверов — правдивый художник.

В начале 1910 года Неверов прислал в «Жизнь для всех» небольшой рассказ «На земле». Имя его нам было совершенно неизвестно. Первым прочитал рассказ Муринов, который тогда помогал мне в чтении рукописей. Прочел и почуял талант. Показал рукопись мне. Первые же строки показали мне, что Муринов прав.

«На земле» было напечатано в мартовской книжке за 1910 год, и с тех пор Неверов сделался постоянным нашим сотрудником. Один за другим появлялись его рассказы: «Баба-Иван», «Егорка родился», «Без цветов», «Отслужившие», «Последнее средство», «Колькин табель», «Пропавшая страна», «Бабья газета», «В глухих местах», «Дома», «Черное и белое», «Среди ополченцев», «От неизвестных причин», «Страх», «Дети», «В казарме», «На полустанке», «Среди умирающих».

На страницах «Жизни для всех» развернулось редкое дарование Неверова. Через «Жизнь для всех» Неверов подружился с Власовым-Лаврентьевым и Муриновым, и у них завязалась оживленная переписка.

Из крестьянской среды вышел еще целый ряд молодых сотрудников «Жизни для всех», в том числе Петр Крестьянский и Иван Семенович Овчинников.

После Февральской революции Овчинников приехал в Петербург, и я с ним подружился. Это был молодой человек, здоровый скромный, искренний и, главное, чистый. От него как-то веяло и внешней, и внутренней чистотой. Улыбался он ласково и немного грустно. В то время он был учителем железнодорожного училища в Красноводске, теперь он уже седьмой год работает в «Гудке», и хорошо работает.

По внешности Овчинников похож был на другого постоянного сотрудника «Жизни для всех» Романа Кумова. У обоих в лице было что-то девичье, у обоих во рту сверкали жемчужные зубы, оба ласково улыбались, но у Овчинникова улыбка была открытая, а у Кумова какая-то скрытая, с поджатыми губами, и в ней, этой скрытой улыбке, как я потом убедился, таилась фальшь.

Убедился я в этом на деле интимном, к «Жизни для всех» не имевшем никакого отношения, и было это мне очень горько, так как Кумова я любил и произведения его оценивал преувеличенно, пристрастно высоко.

К «Жизни для всех» Кумов был привязан, видимо, искренне. За свои рассказы он даже не брал гонорара и также безвозмездно составил сборник «Москва и ее жизнь» и принял участие в составлении сборника «Жизнь для детей».

Его маленькие рассказы написаны в чеховском духе; некоторые из них, как, например, «Несчастье» и «На зимней даче», были хорошим подражанием Чехову, а хорошо подражать Чехову — это не шутка.

Кроме рассказов Кумов поместил в «Жизни для всех» свою драму «Голос крови», которую он посвятил Александру Сергеевичу Зарудному. Драма эта получила премию Островского и ставилась на столичных сценах.

Кумов погиб во время гражданской войны.

Рабочую жизнь освещал А. Зорин.

Помню, пришел в редакцию низенький белокурый кудрявый человек. Распухшая щека повязана белым платком, но тем не менее лицо приятное, интеллигентное. Передал пачку листков, исписанных интеллигентным почерком.

— Не напечатаете ли? Работаю на заводе; если понравится, буду периодически писать о рабочей жизни.

Вид у Зорина был типично интеллигентский.

Прочитал его рукопись, озаглавленную «Рабочий мир» с подзаголовком «современные настроения». Написано живо, ярко, но тоже по-интеллигентски. А между тем видно, что писал человек, действительно работающий на заводе.

Долго Зорин был для меня загадкой, и только после двух лет его постоянного сотрудничества я узнал, что его настоящая фамилия Гастев и что он пошел работать на завод после окончания Петербургского учительского института.

Проработав на заводе, Зорин-Гастев поступил вагоновожатым, затем уехал в Париж, где работал на каком-то металлургическом заводе.

Жизнь французских рабочих Зорин освещал так же умело, как и жизнь рабочих русских. Писал с подъемом, свободно и никогда не подгонял фактов под теорию. Выводы его были жизненны и поучительны. Писал он много, но не многословно, а сжато. Все, что он писал, я помещал без всяких сокращений.

Кажется, в 1914 году он был арестован, и с тех пор его «Рабочий мир» больше не появлялся на страницах «Жизни для всех». После революции Гастев выдвинулся, как своеобразный заводский поэт и как основатель Института Научной Организации Труда (НОТ'а).

В стихах рабочую жизнь, вернее рабочую долю, искренне и трогательно описывал на страницах нашего журнала А. Благов, настоящий рабочий от станка, без всякого образования. Стихосложения Благов не знал, писал, как пишется, пел, как поется, но зато в его песнях-стихах была настоящая рабочая правда, которой нет у большинства поэтов, никогда не стоявших у рабочего станка или ушедших от этого станка; рабочей правды у них нет, хотя они и присвоили себе почетную кличку поэтов пролетарских.

Благов не работал только во время стачек и локаутов, и тогда он голодал, а когда работал — жил впроголодь.

Много было поэтов у «Жизни для всех»; большинство начинающих, некоторые до «Жизни для всех» нигде не печатались. Таковы, напр., Ал. Владимиров и Филарет Чернов, оба талантливые. Филарет Чернов прислал сразу целый цикл стихотворений. Я прочел их с наслаждением и тотчас послал ему открытку: «Вы поэт милостью божьей».

Филарет Чернов был исключен из семинарии за «неспособность» и сделался послушником в монастыре.

В 1916 году в «Жизни для всех» помещал свои басни Демьян Бедный. Мне особенно нравились его вольные переводы басен Эзопа. Он умел их сделать злободневными, политически заостренными.

В настоящее время Демьяна Бедного знают все, в то время знали сравнительно немногие.

И тогда он был таким же сияющим, ликующим, жизнерадостным, как теперь. Эпитет «Бедный» к нему не подходит, вернее — Демьян Ликующий.

Из старых поэтов к «Жизн для всех» с самого начала примкнул Алексей Алексеевич Луговой (Тихонов), который, правда, прежде всего был беллетрист, а потом уже поэт. В «Жизни для всех» он помещал и свои повести, и свои стихи.

Меня он еще во времена «Жизни» почему-то полюбил — и до конца своей жизни словом и делом проявлял ко мне свое дружеское отношение.

«Жизнь для всех» ему была дорога не только как сотруднику, но и как другу-читателю. Он радовался ее успехам и болел душой за ее неудачи.

Я всегда радовался, когда в редакции появлялась высокая, стройная фигура Алексея Алексеевича с типичным лицом красивого северного славянина. Большой, широкий лоб был окаймлен мягкими вьющимися прядями седых волос, из глубоких орбит смотрели серые внимательные глаза, небольшой прямой нос, сжатый рот, скаймленный седыми усами и небольшой густой бородой.

Алексей Алексеевич был сыном костромского купца-хлеботорговца из крестьян. Старик Тихонов знал цену знаниям, и Алексей Алексеевич еще в детстве изучил французский, немецкий и английский языки, а затем в подлиннике прочел европейских классиков. В 1873 году он поступает в технологический институт, но оставляет его, не окончив курса, так как болезнь отца заставляет его взять на себя ведение отцовских торговых дел. Он расширил операции по торговле хлебом и льном; организуя сбыт за границу, много ездил по Европе и Америке. После недолгого успеха — крах, и в1883 году Алексей Алексеевич остается без всяких средств к жизни. С этих пор он всецело отдается литературе и пишет целый ряд романов и повестей, из которых особенный успех имело «Police verso» («Добей его») — ряд ярких картин жестокости толпы к своим бывшим любимцам.

В 90-х годах он редактирует «Ниву», а с начала нового столетия живет в своей любимой Луге, живет скромно и скорее в нужде, чем в довольстве.

Поэтическая семья «Жизни для всех» была очень многочисленна. Я ее любил не только как редактор, но и просто как читатель.

Массу стихов, присылаемых в «Жизнь для всех», я всегда добросовестно прочитывал. Принимал я иногда стихотворения слабые по форме, если находил в них свежую мысль или яркий образ, но я не забраковал ни одного стихотворения с искрой настоящей поэзии, настоящего вдохновения, в этом я уверен.

От поэтов к беллетристам. О Неверове, Кумове, Петре Крестьянском, Луговом я уже вспоминал.

А. А. Луговой писал мне после выхода майского номера «Жизни для всех» за 1911 год:

«Последний номер «Жизни для всех» доставил мне настоящее торжество. Не подумайте, пожалуйста, что это потому, что я увидел там свое стихотворение или что-нибудь по поводу Белинского и проч.

Нет, торжествовал я, прочитав превосходный рассказ Дм. Вольнова «Обрученные»... Прочитал, перечитал, еще раз перечитал и всем рекомендую его... И я радовался, что без всяких «биржевочных» рекламных зазываний к вам в «Жизнь» пришла такая прелестная, свежая, полная поэзии, полная жизни и художественной и житейской правды вещь, как эти «Обреченные». И я сказал себе: «Жив еще бог земли русской».

Рассказы Дм. Вольного, действительно, поражали своею свежестью, правдивостью и любовным отношением к изображаемому.

Вольный любит своих немудреных героев, переживает их радости и горести своею любовью заражает читателя. Из трех рассказов Вольного, помещенных в «Жизни для всех», мне особенно нравился рассказ «Лидочка». Сюжет необычайно прост: молодая девушка, работающая в какой-то конторе в Петербурге, получает отпуск не в июле, как она надеялась, а в январе, и едет в деревню к старухе-матери. Радость встречи, скорбь прощания.

Рассказ небольшой, но написан с таким сильным чувством, что читатель успевает полюбить и старуху-мать, и молодую дочь, успевает полюбить, умилиться и даже заплакать.

Я не помню настоящего имени Дмитрия Вольного. Может быть, я его и не знал. Знаю только, что критики не обратили на него внимания и, кроме «Жизни для всех», я нигде не встречал рассказов, подписанных Дмитрием Вольным.

Критики толстых журналов и столичных газет считали, видимо, ниже своего достоинства разбирать произведения, появляющиеся в «Жизни для всех», среди сотрудников которой не было модных писателей с громкими именами.

Критики не заметили ведь и Неверова, на котором теперь специализируются даже профессора от литературы. Не заметили и К. Тренева, первые рассказы которого «Забытая криница» и «Шесть недель» были напечатаны в 1910 и 1911 году в «Жизни для всех».

Из старых беллетристов, кроме Лугового, писали в «Жизни для всех» Баранцевич, Чириков и Валентина Иововна Дмитриева.

Дмитриеву подписчики «Жизни для всех» ценили выше всех других наших беллетристов. В ежегодных анкетах ее рассказы всегда

получали наибольшее число голосов. Особенный успех имел ее рассказ «Искатель красоты», помещенный в декабрьском номере.

Дмитриеву критики замалчивали, в литературных кругах о ней не спорили, но зато в сырых подвалах, душных мастерских и крестьянских избах находились у нее друзья-читатели; они читали ее с благоговением и ласково-радостно беседовали о прочитанном.

С Дмитриевой я часто виделся, хотя она жила в Воронеже. Виделись в Воронеже, куда я часто ездил, и в Петербурге у Муриновых, с которыми Дмитриева давно была знакома.

Интересный человек! Крепкая, кряжистая, старости не поддающаяся. Склад лица мужской. Из-под густых черных, седеющих бровей зорко смотрят небольшие черные глаза и выискивают повсюду и типичное и своеобразное.

Как писательница, Дмитриева проявляет много любви, добродушия и нежности; она может быть и злой, но свой сарказм она почему-то приберегает больше для бесед. Собеседница она необычайно интересная. За свою долгую жизнь (ей уже лет семьдесят) она много работала и много боролась.

Крестьянка по происхождению, врач по образованию, революционная народница по убеждению, писательница по призванию, Дмитриева не чуждалась общественной работы и политической борьбы.

В Воронеже жила и другая постоянная сотрудница «Жизни для всех» Елизавета Митрофановна Милицына, хорошо знавшая и правдиво рисовавшая крестьянскую жизнь.

Милицына, в молодости, вероятно, очень красивая, чрезвычайно женственна и по внешнему виду, и по внутреннему складу. Есть в ней какая-то наивная восторженность. Восторженно отнеслась она к революции и вступила в коммунистическую партию.

Работая в деревне в качестве «избача», она вздумала разоблачать темные дела бандитов и хулиганов и чуть не погибла. Из партии ее исключили. Впоследствии ее разоблачения подтвердились, примазавшиеся были преданы суду, но в партию Милицына уже не вернулась. Будучи не от мира сего, она живет в нужде, впроголодь.

Критические статьи в «Жизни для всех» писали В. Евгеньев-Максимов, Н. Яковлев, тогда еще студент, И. Гросман-Рощин и Лев Станиславович Козловский. Козловский до революции жил в Париже, увлекался синдикализмом, переводил сочинения его французских теоретиков и сам написал о нем ряд очерков. Прочитав мою «Теорию и практику», проникся ко мне уважением и симпатией. В период «реакции» специализировался на литературной критике. Хорошо знал литературу и русскую, и польскую. Писал в мягких тонах, не столько

критикуя, сколько объясняя и выясняя. Брал тех авторов, в творчестве которых мог найти красивое и ценное. Из русских писателей особенно близок ему был Короленко. Козловского, как и Короленко интересовало не зло, а добро, не бездарное, а талантливое, не безобразное, а красивое. Он мог деликатно пошутить, но не мог никого зло высмеять. Пробовал высмеять свою противоположность Корнея Чуковского, характеризуя его не как критика, а боксера, но вышло все же очень деликатно.

И в жизни Козловский, подобно большинству интеллигентных поляков, был чрезвычайно деликатен.

Черный с легкой проседью, с большими блестяще-темными глазами, с мягким ртом и большим добродушным носом, Козловский, когда говорил с вами, весь сиял ласковой улыбкой, как будто смотреть на вас и слушать вас для него высшее счастье.

«Беседы о самообразовании» вел одно время Н. А. Рубакин; искусству творчески читать учил А. А. Гинкен; научно-популярные статьи писали М. В. Новорусский, А. П. Пинкевич, С. Аржанов и др.

Статьи по кооперации и вообще по строительству писали М. Слобожанин (Е. Д. Максимов), В. Ф. Тотомианц, П. А Миролюбов, которого не надо смешивать с В. С. Миролюбовым, Д. Михеев, Ф. Анисимов и мн. др.

В общественно-политическом отделе принимали участие старый сотрудник «Жизни» Липкин-Неждановъ, писавший теперь под псевдонимом Н. Череванин, В. Цедербаум-Левицкий (брат Мартова), проф. М. Боголепов, Б. Стоянов, П. Черкасов и мн. др.

В 1912 и 1913 гг. был у нас отдел «Бесед с членами Гос. Думы». «Беседовал» сначала Т. Седельников, бывший член Первой Думы, а затем Георгий Иванович Лебедев.

Седельников опросил крестьянских депутатов 3-ей Гос. Думы и дал на страницах «Жизни для всех» любопытную галлерею парламентских мужичков. Даже у самых «правых» Седельников сумел выудить затаенный протест против барства и чиновничества.

С Лебедевым я познакомился во время своей лекционной поездки на Дальний Восток и в Хабаровске. Он был там фактическим редактором одной из газет, но, как раз ко времени моего приезда, разошелся с издателем и искал другой журнальной работы. Приходил ко мне, и мы подолгу беседовали. Выяснилось, что у нас нет никаких разногласий, и я в конце концов пригласил Лебедева к сотрудничеству в «Жизни для всех».

В это время я носился с мыслью издавать, кроме «Жизни для всех», газету если не ежедневную, то, по крайней мере, еженедельную.

Лебедев очень ухватился за эту мысль и после переселения в Петербург настойчиво убеждал меня привести эту мысль в исполнение.

6 (19) декабря 1913 года, ровно через четыре года после выхода первой книжки «Жизни для всех», вышел пробный номер порожденной ею «Родной Газеты». Она вышла в формате и размере больших столичных газет, но таков был только пробный номер. А с января она стала выходить как еженедельное иллюстрированное издание, небольшими тетрадками. Редактировал ее Лебедев, направление давал я своими передовыми статьями.

«Родная Газета» просуществовала только до апреля 1914 года, когда я вынужден был прекратить ее издание, приносившее большой убыток, чтобы сохранить «Жизнь для всех».

До войны предварительной цензуры не было, и я мог писать все, что угодно и как угодно, рискуя, конечно, конфискацией книжки и привлечением к суду. С момента объявления войны была введена так называемая военная цензура, без разрешения которой ничего нельзя было печатать. Приходилось изворачиваться, намекать, иронизировать, насмешливо восхвалять то, что хочешь заклеймить, — вообще, прибегать к тому, что обычно называется «эзоповским языком».

Очень кстати в февральской книжке 1916 года были помещены не только басни Эзопа в переводе Демьяна Бедного, но и несколько поучительных слов об Эзопе и эзоповском языке Адама Бельского (А. Пинкевича).

К сожалению, если и удавалось иногда обмануть цензора или дать ему возможность сделать вид, что он обманут, то еще чаще обманывались простодушные подписчики «Жизни для всех», не понимали иронии и принимали насмешливое восхваление русской действительности буквально за чистую монету, не умея читать между строк.

Кроме «Общественной жизни» я помещал в «Жизни для всех» свой «Дневник читателя» и путевые очерки под названием «В поисках России».

В «Дневнике читателя» я записывал те мысли, которые появлялись у меня при чтении библии и мировых классиков: Шекспира, Гете, Байрона, Мольера и т. д.

Я «искал Россию» по тем городам и селам, начиная от родного Новгорода и Новгородской деревни до Владивостока и Никольска-Уссурийского, в которых я побывал во время своих лекционных скитаний.

Свои очерки, которые растянулись на 12 книжек, я заканчивал оптимистическим порывом, который был вызван письмом крестьян-подписчиков из одной русской деревни. Они писали мне, чтобы я в случае закрытия «Жизни для всех» приезжал к ним в деревню. Они отведут мне хорошую избу и будут кормить меня, будут заботиться обо мне, как о родном отце.

С 1901 года я с Горьким не виделся, с 1903 года я с ним не переписывался. Но я часто думал о нем, и думал не только без вражды, но даже с любовью. В конце 1911 или в начале 1912 года я прочел в каком-то журнале его статью, в которой был призыв к творческому объединению всех, кто стремится к обновлению русской жизни.

Под влиянием этой статьи я решил написать Горькому, который в то время жил в Италии, примирительное письмо и у нас возобновилась переписка. Колебался, писать ли ему на ты или на вы. Написал на вы, но, кажется, вспомнил то хорошее, что было между нами, когда мы были на ты. Одновременно послал ему «Жизнь для всех» за два года и спрашивал, не захочет ли он принять в ней участие.

В ответ получил такое письмо:

«Дорогой Владимир Александрович!

«Жизнь для всех» я читал оба года, и журналец этот весьма не нравится мне: слишком обилен в нем «толстизм», сиречь—китаизм; сотруднички частенько потеют лампадным маслицем, вообще же — рукописание скучное и даже несколько вредоносное.

Конечно, все это демократия, письма она пишет не без усердия, в хорошем изобилии, но, обладая бодрым настроением духа, наша демократия не имеет идеи, и не очень страстно желает совокупиться с ними, на одном же настроении далеко ли ускачешь? Конь с норовом, сбрасывает всадников совсем неожиданно и удивительно не в пору.

Мне кажется необходимым, чтобы демократия вырабатывала себе традиции и чтобы она искала некую идею, коя бы помогла ей сложиться во единое целое и мощное, став душою ее. Роль такой живой и действенной души отнюдь не может играть толстовское учение, мы и без него достаточно азиаты, что совсем не украшает нас.

Нет, В. А., в «Жизни для всех» я не влезу, да и вам бы из нее вылезать пора! Эта позиция не для вашего темперамента, и едва ли достойно вас получать от демократии письма такого тока, как одно из них, кстати, напрасно опубликованное вами.

Уж если где любят плюнуть в лицо недюжинного человека, так это у нас, на Руси!

И пора нам перестать подставлять лица наши для сих целей — ведь это никого не воспитывает в духе уважения к человеку.

Демократия слишком уж громко начинает орать на интеллигенцию; вы знаете, я не поклонник последней, оправдывать ее во грехах не склонен, но, когда ее травят зря, это мне не нравится и я считаю это национально вредным. Надобно не разъединяться, а объединяться, — надобность эта так очевидна, так проста.

Вы, конечно, извините мне мой веселый тон, — о чем же и говорить весело, как не о грустных делах?

Хорошо бы нам повидаться, — не для того, чтобы старое вспоминать, а чтоб совместно посмотреть: нельзя ли что-либо новенькое начать?

Будьте здоровы! Журнал-то все-таки высылайте, коли не жалко. Всего доброго, всего хорошего.

А. Пешков».

Из этого письма я прежде всего увидел, что Горький «Жизни для всех» за два года не прочел, а лишь бегло просмотрел. Если бы прочел, то заметил бы таланты Неверова и Тренева и понял бы революционное значение «Очерков деревенской жизни» Власова и «Рабочего мира» Зорина.

Я задумал дать в виде приложения к «Жизни для всех» томик со старыми рассказами Горького, с теми рассказами, которыми я в свое время увлекался.

Написал об этом Горькому, предложив уплатить за право напечатания этих рассказов по пятьдесят рублей за печатный лист, то-есть столько, сколько мы платили сотрудникам «Жизни для всех» за их новые рассказы. В этом письме я, между прочим, коснулся спора о том, может ли Горький дать еще что-нибудь ценное, новое, или он будет только повторяться, — спора, вызванного отрицательной оценкой последних произведений Горького Айхенвальдом. Сообщал также, что уезжаю для чтения лекций в Сибирь и на Дальний Восток.

В ответ получил такое письмо:

«Дорогой Владимир Александрович!

Назовите рассказы, которые вы хотели бы издать.

Денег вы даете мало, я стал очень беден. Те, кто находит, что «Горького хоронят рано», на мой взгляд не ошибаются, я тоже полагаю, что рано. И — что за длинный труп? Семь лет зарывают его в землю и все не могут зарыть.

Любят на Руси похоронить человека, — не оттого ли так мало у нас живых-то людей?

Если Айхенвальд — женского пола, он, наверное, старая дева.

Будьте здоровы. Желаю успеха в поездке.

А. Пешков.

Alossio, presso di Genova.
29/II — 912».

Спасти от бедности Горького «Жизнь для всех» не могла, и потому от издания сборника пришлось отказаться. Года через три после этого, когда мы с Горьким повидались и снова перешли на ты, он, сравнительно за невысокий гонорар, дал нам право перепечатывать его рассказы, главным образом, из цикла «По Руси», появлявшиеся в то время в «Вестнике Европы» и других толстых журналах, совершенно недоступных огромному большинству подписчиков «Жизни для всех».

Первым в январской книжке 1916 года появился «Ледоход». В феврале появилось «Кладбище», в марте — «Калинин» и т. д. Все эти рассказы вполне гармонировали с рассказами наших постоянных сотрудников и соотвествовали направлению и настроению «Жизни для всех».

Большое имя Горького по ассоциации вызывает воспоминание о великом русском художнике Илье Ефимовиче Репине, который был верным другом-читателем и сотрудником «Жизни для всех».

Познакомился я с Репиным в начале 1909 года, когда был еще редактором «Нового Журнала для всех».

Репин жил тогда в Куоккале со своей молодой женой, Натальей Борисовной. Дача их называлась «Пенатами». По средам радушные хозяева приглашали к обеду своих друзей и близких знакомых. Обеды были чисто вегетарианские, даже без коровьего масла и молока, но тем не менее очень вкусные. Чай и кофе Натальей Борисовной тоже отвергались, и вместо того гостей поили отваром каких-то полевых трав. Вина подавались в изобилии, и хозяева обижались, если гости мало пили.

На одном из этих обедов я был выбран председателем, и у моего прибора были положены правила, в которых излагались обязанности, возлагаемые на председателя, из них первое — пить больше всех.

Я, как принципиальный противник спиртных напитков, не пил вовсе и тем на некоторое время испортил настроение и хозяевам. и гостям.

Вообще, в «Пенатах» было много бытовых затей. Входные двери по средам не запирались, но каждый приходящий, входя в переднюю, должен был ударить в висевший там гонг. Прислуга была, но ее не было видно. У обеденного стола были особые ящики: одни — с чистой посудой, другие — для посуды грязной.

Все эти затеи исходили от Натальи Борисовны, которая в конце концов поплатилась жизнью за свою любовь к новшествам. Она сделала себе зимнее пальто из кусочков дерева и древесной коры, пошла в нем в большой холод, схватила воспаление легких и умерла.

Репин был собеседник очень интересный и часто поражал и радовал оригинальными мыслями и редкими замечаниями. Но бывали случаи, когда он меня огорчал своими увлечениями, которые мне казались нелепыми.

Так, например, в 1911 году он увлекался проектом памятника Льву Николаевичу Толстому, проектом, исходящим от обывателя города Кирсанова г. Красногорского.

Пересылая мне письмо Красногорского с изложением его проекта, Репин писал мне:

«...Найдете ли вы возможным и нужным напечатать его в вашем журнале? Мне кажется оно чрезвычайно интересным и важным. Идее этой нельзя не сочувствовать. Но в какой бесподобной форме она выражена! И особенно принципиально она меня восхищает. Да, именно так должны созидаться великие монументы великим людям.

И вот она, вечно отогнанная, вечно презираемая народная мысль: она жива, и когда дело важное, тогда вдруг из какого-то Кирсанова, безногий сидень берет перо и пишет, да ведь с какой логикой, с какими убеждениями!..

Положим, я несогласен с его взглядом на памятник Гоголю в Москве; но эта грандиозная форма глобуса, со сфинксом, с головою Льва Толстого на верху; далее: храм, капище с порталами — у меня под конец так же рисовалось в общем нечто в роде этого. Храм, в роде св. Софии Константинопольской; но его проект цельнее, определеннее, новее и художественнее даже — задумано богато и, при нынешних средствах, бетона и железа, все это выполнимо...

Очень интересно ваше мнение.

Жду...»

Мне основная идея проекта Красногорского — положить на глобус туловище льва и приделать к этому туловищу голову Льва Николаевича — показалась не только не художественной, но прямо чудовищной.

При свидании я откровенно высказал Репину свое мнение, и мы заспорили.

Я, между прочим, указал, что нельзя личность Льва Николаевича Толстого связывать с идеей льва только потому, что ему при крещении дали такое имя.

— Ну, это, конечно, случайность, — сказал Репин.

— В таком случае это случайность досадная, — вставил молодой художник, присутствовавший при нашем споре и соглашавшийся с моим отрицательным отношением к проекту Красногорского.

Репин остался при своем мнении. Я предложил ему написать за своею подписью статью в «Жизни для всех» с изложением проекта Красногорского и защиты его.

Статья эта появилась в январском номере «Жизни для всех» за 1912 год. В том же номере появилась и статья Репина, написанная по моей просьбе: «Что такое искусство». Статья интересная, но все же говорил об искусстве Репин лучше, чем писал о нем.

Как-то раз во время прогулки по куоккальскому лесу Репин, ухватившись за мое предложение написать статью об искусстве, воскликнул:

— Творчество вселенной во всем ее многообразии — вот оно, высшее искусство! И каждый художник должен брать в пример господа бога, который творил на радость себе. Помните в библии это превосходное «хорошо». Создает бог небо, землю, светила небесные, животных, человека, и после каждого акта творения смотрит на созданное им и видит, что оно хорошо, а когда под конец окинул взором всю вселенную, все, им созданное, тогда воскликнул: «хорошо весьма!»

Так и у каждого художника при взгляде на созданное им поднимается чувство радостного удовлетворения, и он восклицает: хорошо весьма!

С большою охотою Репин принял участие в анкете о счастье и смысле жизни, которая была мною организована в конце 1912 года и о которой я буду говорить в следующей главе.

Своим ответам на поставленные мной вопросы он придавал такое значение, что из Москвы, где он реставрировал свою картину «Иоанн Грозный, убивший сына», изрезанную каким-то изувером, прислал мне телеграмму, спрашивая, получены ли мною его ответы.

Счастье Репин определял, как блаженное настроение, приобретаемое полезным трудом на миру.

«Не может быть счастья, — писал Репин, — у эгоиста, у разбойника, у вора, не может быть счастлив ницшеанец, атеист, так как их успокоение только толстая «полуда» своей совести».

Восторгался Репин Франциском Ассизским, но отвергал аскетизм. Как пример счастливцев выставлял какого-то солдата николаевских времен, который просил, чтобы ему разрешили остаться простым солдатом без выслуги до самой старости и который с особенным наслаждением выполнял в полку самые трудные и самые грязные работы не только за себя, но и за молодых солдат-рекрутов.

«На лице этого праведника, — добавлял Репин, — я и до сих пор помню выражение тихого, глубокого счастья».

Вопрос «в чем смысл жизни» Репин считал праздным недомыслием, таким же, как вопрос о существовании бога, и ссылался при этом на царя Давида: «рече безумец в сердце своем — несть бога». Попутно нападал на декадентство и футуризм, на индивидуализм, который смешивал с самодурством, клеймил самоубийства, как самое большое несчастье и самое тяжкое преступление против создателя. Подчеркивая, что эпидемия самоубийств только в древнем мире в эпоху разложения принимала такие размеры, как у нас в России, Репин заканчивал свои ответы пессимистическими строками:

«Итак, не было еще в мире страны несчастнее современной нам России. В такие годины люди несчастны все; только разве какой-нибудь животный-глупец или бессовестный мерзавец может сказать, что он счастлив».

Прочитав эти ответы, я подумал:

— Какой сумбур в голове этого гениального человека, картины которого заставляли меня так сильно чувствовать и мыслить.

В бога Репин верил, конечно, по-своему, не по-православному. Не знаю, верил ли он в бессмертие души, но знаю, что догмат о воскресении из мертвых возмущал его.

— Мысль о воскресении из мертвых ужасает меня, — говорил он как-то. — Идешь по Невскому проспекту, и вдруг навстречу Иоанн Грозный! Здравствуйте! Дрожь пробирает от одной мысли о таком воскресении.

Литературу Репин знал и любил. Из писателей начала текущего столетия он особенно ценил Леонида Андреева и сравнивал его с гениальным художником Рембрандтом.

К «Жизни для всех» и ко мне лично Репин относился неизменно дружески, хотя понимал, конечно, что между нашими мировоззрениями мало общего.

Илья Ефимович не только числился сотрудником «Жизни для всех», но и написал для нее три статьи, а вот Анатолий Федорович Кони, числясь нашим сотрудником, только все собирался, по его выражению, «постучаться в наши литературные двери с своей работой».

Тем не менее в 1915 году, когда праздновался 50-летний юбилей его служебной и общественной деятельности, наша редакция послала ему привет и корзину с цветами.

На другой день вечером Кони пришел в редакцию.

Редакция наша помещалась во дворе, подыматься надо было по «черной», довольно грязной лестнице; в редакции кроме меня никого не было, я и открыл дверь дорогому гостю. Освободившись от верхней одежды и отдышавшись от усталости, маленькая, высохшая фигурка Анатолия Федоровича, прихрамывая и постукивая неизменной «клюкой», прошла со мной через единственную конторскую комнату в единственную редакционную комнату.

Усевшись на старый жесткий стул, Кони окинул своими пытливыми глазами комнату, в которой, кроме стола и трех стульев не было никакой «обстановки», и с минуту помолчал. Его небольшое, высохшее четырехугольное лицо с тонкими губами и седой бахромкой вокруг подбородка приветливо улыбалось.

— Ваша скромная редакция, — начал он свой ответ на полученное приветствие, — напоминает мне редакции шестидесятых годов; и в вас самих есть что-то, напоминающее журналистов того времени. Я пришел поблагодарить вас за поздравление и цветы, которыми вы порадовали меня, старика. Я получил тысячи поздравлений, меня вчера посетили люди самых различных рангов и убеждений; были великие князья, были министры.

Посетить всех поздравлявших меня я не в силах.

Решил выбрать кого-нибудь одного и, посетив его, поблагодарить в его лице всех остальных. Но кого выбрать?

Мой выбор, дорогой Владимир Александрович, пал на вас. У вас нет ни чинов, ни орденов. Вы никогда не были на государственной службе, но вы верно служили народу и литературе.

Мне оставалось только сконфуженно молчать.

Кони просидел у меня довольно долго. Он любил поговорить, и послушать его было интересно.

Характеризуя тогдашнее русское правительство, Кони сказал, между прочим:

— Когда мне было лет шесть, меня в первый раз повезли в театр. Занавес открылся, на сцене лес. Меня прежде всего заинтересовало,

настоящий это лес или нет. И я все время приставал к старшим: всамделишный или не всамделишный? Они шепчут: смотри, слушай, — а я все: всамделишный или не всамделишный?

Вот и теперь, заканчивая восьмой десяток жизни, я смотрю на наше правительство, и в душе моей поднимается назойливый вопрос: всамделишное оно или не всамделишное?

Я спросил Кони, что он думает о Распутине.

— Я видел Распутина, — сказал Кони, — и говорил с ним. Мужик хитрый и неглупый. Он твердит о необходимости заключить мир с Германией во что бы то ни стало, иначе, по его словам, Россию ждет катастрофа, в которой погибнет династия. Что же, может быть, он и прав, — добавил Анатолий Федорович, и лицо его приняло выражение сухое и строгое.

В «Жизни для всех» помещалось много статей, освещающих кооперативное движение с различных сторон. Но «Жизнь для всех» хотела не только говорить о кооперации, но и делать ее.

В 1915 году, когда стал остро чувствоваться недостаток предметов первой необходимости и цены на них быстро поднимались, редакцией «Жизни для всех» было организовано Петроградское Общество Потребителей «Жизнь для всех». Задачи общества определялись, как объединение петроградцев на основе самопомощи, взаимопомощи и общественной пользы для борьбы с дороговизной жизни.

В правление, кроме меня и Черкасова, было выбрано несколько подписчиков нашего журнала. В наблюдательный комитет вошли тоже сотрудники и подписчики журнала, в том числе А. Ф. Кони, Е. Д. Максимов, А. П. Пинкевич, М. В. Побединский, Е. Н. Чириков и др.

Продукты, которые мы отчасти покупали из первых рук, хранились и продавались сначала в самой редакции. Но вскоре пришлось нанять отдельное помещение, сначала небольшое, а затем большой и хороший магазин на Бассейной улице. Дела нашего общества шли хорошо, и оно, несомненно, несколько облегчило жизнь сотрудникам и подписчикам «Жизни для всех». Оно просуществовало до превращения Петрограда в потребительскую коммуну и было поглощено Петроградским Единым Потребительским Обществом (ПЕПО).

Сам журнал и все его издательство в конце 1917 года перешли к Всероссийскому кооперативу просветительной самопомощи «Жизнь для всех». Устав этого общества намечал очень широкие задачи вплоть до устройства народных школ, народных домов и театров, библиотек и музеев, детских садов и пр., а также организации трудовых артелей, земледельческих колоний и многого другого.

На деле правление его не могло справиться с изданием одной «Жизни для всех» без всяких приложений.

Я не входил ни в правление кооператива, ни в редакционную коллегию. Но правление в сентябрьской книжке 1917 года, выражая мне благодарность за то, что я сохранил журнал в тяжелую пору, под гнетом неблагоприятных правовых и материальных условий, заявляло, что будет у меня учиться стойкости, преданности делу и неуклонному следованию определенной идее, и выражало надежду, что я останусь идейным руководителем журнала.

Обстоятельства личного характера заставили меня уехать в августе 1918 года из России на Украину.

В момент моего отъезда заканчивалась печатанием еще только четвертая книжка «Жизни для всех» за 1918 год. Кажется, она была и последней.

Когда в августе 1919 года я вернулся в Петроград, ни от Всероссийского кооператива просветительной самопомощи, ни от «Жизни для всех» не осталось никаких следов.

Я отлично понимаю, с какими трудностями было связано издание журнала в 1918 году, и я не могу винить правление кооператива за его гибель, но я удивляюсь, что члены правления, и прежде всего его представитель К. Н. Боженко, не нашли нужным повидаться со мной и рассказать мне, как они ликвидировали журнал и все издательство.

Меня им отыскать было не трудно. В 1919 и 1920 году я читал много публичных лекций в Петербурге и Москве, и афишами с моей фамилией пестрели киоски и заборы.

С чувством большой грусти — а грусть всегда включает в себе любовь — рассматриваю я теперь, почти через двадцать лет после рождения «Жизни для всех» и почти через десять лет после прекращения ее издания, книжки журнала. Особенно грустно читать товарищескую беседу и переписку с друзьями-подписчиками.

Вспоминается, как смеялись надо мной в литературных кругах над моими призывами к подписчикам о поддержке журнала взносами сверх подписной платы. Меня сравнивали с Власом, собирающим на построение храма. Я отвечал этим насмешникам в октябрьской книжке за 1913 год:

«... Что же, смейтесь, господа! Но вы не умеете, вернее, вы не можете выгнать торгашей из вашего храма. А мы на наши копейки построим новый храм, куда не пустим торгашей.

К «Жизни для всех» начинают примыкать молодые, сильные, и, главное, чистые люди.

И потому я верю, что «Жизнь для всех» переживет меня.

Один из ближайших сотрудников «Жизни для всех», один из моих друзей совершил недавно поездку по России, говорил со многими нашими читателями и, когда вернулся, то «сильнее, чем когда-либо, была вера его в наше дело и страстное желание работать в нем».

«Из своих встреч с людьми я вынес такое впечатление, что не издавать «Жизни для всех» нельзя, нельзя и нельзя. Теперь я увидел лицо того, на кого мы работаем, — и я говорю вам искренне: оно прекрасно! На него поработать стоит и должно. Я опишу для журнала эти встречи, — вы тоже умилитесь и порадуетесь, как богата людьми наша земля. Пока же я вам скажу, что не пройдет пяти лет, как «Жизнь для всех» будет не только журналом, — она будет целым явлением в нашей общественной жизни, которое будет учитываться всеми».

Ошибся автор этого письма, ошибся и я. Как раз через пять лет после этого ответа насмешникам прекратилось издание «Жизни для всех», но что-то важное осталось от нее и продолжает жить до сих пор.

За последние шесть лет я искрестил СССР во всех направлениях, и не было города, не было городка, где бы я не встретил старого друга-читателя «Жизни для всех». После моих лекций они подходили ко мне, чтобы пожать руку и поблагодарить не столько за лекцию, сколько за «Жизнь для всех». Они говорили, что бережно хранят ее и в тяжелые минуты перечитывают рассказы, стихи и статьи своих любимых авторов.

Многие спрашивают:

— Неужели никак нельзя возобновить «Жизнь для всех»? Она бы нас всех снова объединила, она бы нашла и новых друзей.

И тот же вопрос постоянно поднимается в моей душе и остается без ответа.

С трудом прерывая воспоминания о «Жизни для всех», я не могу не упомянуть молодого художника из Иваново-Вознесенска И. И. Нефедова, который последние три года иллюстрировал «Жизнь для всех» своими рисунками.

По большей части это были картины северной русской природы в различные времена года. В них было много красивой грусти, и сам он был человек красивой грусти и совершенно исключительной целомудренной чистоты. Где-то он теперь? Как бы хотелось увидеть и по-дружески обнять его!

## XXIX

## ОТ «ВЫРОЖДЕНИЯ» К «СЧАСТЬЮ И СМЫСЛУ ЖИЗНИ» (1912 — 1915 гг.)

Анкета о счастье и смысле жизни. — Судьба лекции о «счастье и смысле жизни».
Мои верные, надежные сотрудники. — С'езд по борьбе с пьянством.

В виде приложений к «Жизни для всех» изданы были собрания сочинений Л. Н. Толстого, Н. А. Добролюбова, К. Ф. Рылеева, А. И. Одоевского, Е. А. Баратынского, Д. Веневитинова, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, В. И. Дмитриевой, «Назначение человека» И. Г. Фихте, «Так говорил Заратустра» Фр. Ницше, целый ряд сборников: «Начатки познания России», «Освобождение крестьян», «Петроград и его жизнь», «Москва и ее жизнь», «Русская природа», «Русский быт», «Русский юмор», «Юридическая самопомощь», «Религия» (изложение сущности различных религий), «Жизнь для детей», «Песни славянских народов», «Французские поэты», Альбомы картин русских художников, «Жизненные календари».

Кроме того изданы были «История современной России» и ряд моих работ, представляющих по большей части переработку моих публичных лекций.

В составлении сборников принимали большое участие две мои дочери — Елена и Татьяна. Еленой был составлен сборник «Юридическая самопомощь», Татьяной — «Русская природа», «Русский быт», «Русский юмор», «Песни славянских народов» и в сотрудничестве с Р. Кумовым — «Жизнь для детей».

В «Истории современной России» Татьяной написан вступительный очерк, Еленой — «Общественные движения в царствование Александра II».

Вообще Елена и Татьяна много, старательно и плодотворно работали как в самом журнале, так и в его изданиях. Они были моими надежными и верными друзьями-сотрудниками.

Из моих работ первой была издана «Вырождение и возрождение», В ней я противопоставлял успехи внешней культуры, в том числе гремевшую тогда «победу над воздухом», росту алкоголизма, проституции, психических заболеваний, самоубийств.

Особенно подробно я останавливался на пьянстве в России, которое поощрялось и, так сказать, взращивалось царским правительством

с его «пьяным бюджетом». Пользовался материалами Первого съезда по борьбе с пьянством, работавшего в Петербурге в конце 1909 и в начале 1910 г.

На съезде я читал доклад, название которого не помню, но помню, что в оценку его я положил взаимную зависимость между нищетой и пьянством и в самом начале указал, что пьют у нас, главным образом, потому, что, говоря словами Некрасова, «Жизнь в трезвом положении куда не хороша».

В своей книге «Вырождение и возрождение» я не только отрезвление человечества, но и освобождение от всех других проявлений вырождения ставил в зависимость от успеха кооперативного движения, которому и была посвящена вторая часть книги. Кооперацию я понимал очень широко, подводя под нее все формы самодеятельности и самопомощи.

«Вырождение и возрождение» я раздавал членам съезда «по вопросам воспитания». Съезд был созван в Петербурге в конце 1912 года. На этом съезде я прочел доклад о «влиянии улицы на воспитание», при чем под «улицей» я в данном случае понимал уличные развлечения, в том числе эротические, дедективные и трюковые фильмы кино, порнографическую литературу и тогдашнюю «распивочную» печать.

Вскоре после этого съезда мною коренным образом была переделана брошюра «Брак, семья и школа», входившая в «Библиотеку Рабочего».

В переработанном виде она была издана «Жизнью для всех» и выдержала три издания. Давно уже ее, как и всех других моих книг, изданных «Жизнью для всех», нет в продаже.

В этой книге я высказываюсь за целомудрённый брак, который совпадает со свободной любовью.

Говоря о реформе школы, я развивал те мысли, которые были мною высказаны еще в «Жизни», в статье «Свободная школа».

В конце 1913 и в начале 1914 года в Петербурге состоялось два учительских съезда. На одном из них, именно на съезде имени Ушинского, я сделал доклад о «благотворительности и взаимопомощи».

Я призывал учителей бойкотировать все виды и формы благотворительности, добиваться, как права, такого вознаграждения за труд, которое давало бы возможность не влачить существование, а жить, и усиленно развивать все виды взаимопомощи, принимая активное участие в кооперативном движении.

В 1914 году я стал собирать материалы для задуманной мною книги «Счастье и смысл жизни».

Подготовкой к этой книге были мои лекции на ту же тему. На этих лекциях я просил своих слушателей высказывать в письменной форме свои мысли о счастье и смысле жизни. Одновременно я напечатал в «Жизни для всех» и «Родной Газете» ряд вопросов, на которые просил присылать мне ответы.

Как вы определяете счастье? Если вы стчастливы, то чему вы этим обязаны? Если вы несчастливы, то чего вам не хватает для счастья? В чем смысл жизни вообще и вашей личной жизни в частности? Каково соотношение между счастьем и смыслом жизни? Совпадают ли они? Если не совпадают, — в чем разница?

Всего я получил 665 ответов. Ответы приходили со всех концов тогдашней России от лиц самых различных профессий (учителей, учащихся, рабочих, крестьян, конторщиков, ученых, военных и т. д.).

Из полученных писем я выбрал 270 наиболее интересных и притом таких, в которых были биографические данные.

Эти «Живые письма» составили первый отдел моей книги. Распределил я их на несколько категорий в зависимости от отношения авторов к счастью и смыслу жизни.

Во второй части своей книги, озаглавленной «Вечные искания», я прежде всего рассматривал то, что обычно люди считают условием счастья, смешивая условие с самим счастьем.

Для огромного большинства счастье отождествляется с деньгами. Деньги отождествляются со свободой.

За «поисками счастья» следовали «поиски смысла жизни». В этом отделе я знакомил читателей с различными философскими системами, которые я разделял на две группы: оптимистическую и пессимистическую. К оптимистическим я причислял Спинозу, философская система которого мне наиболее близка и понятна. К пессимистам, конечно, Шопенгауэра.

В последнем отделе книги я сообщал о своих личных переживаниях, счастливых и несчастливых, и в заключение я высказывал свой взгляд на счастье и смысл жизни.

Счастьем я называл душевный или психический подъем при исполнении или представлении желаемого.

Смысл жизни я определял, как *творчество в борьбе, творчество новых, высших ценностей.*

«Весь мир мне представляется, — писал я, — непрерывным, вечным творчеством в борьбе. Нет круговорота, ничто не повторяется, ничто не исчезает, но все изменяется. Созидаются все новые и новые миры, созидаются и познаются высшей из известных нам ценностей — *человеческим разумом.*

Развивается человеческий разум, и вместе с тем растет ценность человеческой личности. Разумом созданы пространство и время, но разумом созданы и вечность, и бесконечность.

... Бессмертие как бы достигается не продолжительностью личного сознания, а его интенсивностью, его сосредоточенностью.

Сам смысл жизни творится, ибо творчество в борьбе становится все более осмысленным...»

«Высшая мудрость — жить не только в настоящем, но творческой мыслью и в будущем. В этой мудрости отражается смысл жизни, но нет в ней обычного счастья, ибо жизнь мыслью в будущем не спасет от восприятия чувством ужаса настоящего. Напротив, чем яснее идеал, тем больнее чувствуется зло действительности. Жить скорбно, жить трудно, но смысл в жизни есть».

Этими словами я заканчивал свою книгу.

У книг есть своя судьба. Есть судьба и у лекций.

У лекции «Счастье и смысл жизни» судьба была довольно счастливая. Родившись в 1913 году, пройдя в 1916 году через печать, как книга, она жива до сих пор, продолжая развиваться, утончаться и пополняться новыми мыслями и фактами.

В момент рождения она чуть не погибла. Первый раз я читал ее в Томске. Ехал я на извозчичьей пролетке с поднятым «верхом» и продумывал предстоящую лекцию. Вдруг сильный удар, треск, и я лежу на мостовой рядом с поломанной пролеткой, а надо мною стоит извозчик и говорит: — Вот чудеса-то. Никак человек-то жив остался, а я думал — беспременно убит.

Оказывается, на нашу пролетку налетел бешено мчавшийся лихач и врезался оглоблей в поднятый «верх» и разбил его. Удар оглобли прошел как раз около моей головы, оцарапав висок. На сантиметр левее, и моя голова была бы вдребезги разбита, и по мостовой разлетелся бы мозг, в котором за минуту перед этим шла усиленная работа над выяснением смысла жизни.

Уцелел мозг, уцелели мысли о счастье и смысле жизни, и в течение пятнадцати лет во многих городах и даже селах я ими будил мысли десятков тысяч слушателей самых различных возрастов, профессий, мировоззрений. Читал рабочим на заводах и фабриках, солдатам и красноармейцам в казармах, крестьянам в сельских школах, студентам в университетах, «всем» в театрах, концертных и лекционных залах.

После революции «философия» отодвигалась на задний план, а на первый план выдвигалась общественность.

Отчеканивалась мысль: Стремление к счастью неискоренимо и законно; для счастья необходимо здоровье и материальная обеспеченность; классовая борьба велась и ведется прежде всего во имя материальной обеспеченности; буржуазия добивалась своего обеспечения эксплоатацией пролетариата; пролетариат добивается обеспеченности и здоровья, устраняя всякую эксплоатацию и создавая новый общественный строй на основе — от каждого по способностям, каждому по потребностям.

Кроме «Вырождения и возрождения», «Брака, семьи и школы», «Счастья и смысла жизни», в издании «Жизни для всех» из моих работ вышли: «История царствования Николая II», «Основы кооперативного движения» и «Любовь в творчестве Л. Н. Толстого».

В «Истории современной России» мною написаны главы: «Крымская война» и «Реформы Александра II».

В книге «Жизнь Л. Н. Толстого» Г. И. Лебедевым написана биография Толстого, мною — «Рост личности Толстого».

## XXX

## ВОЙНА (1914 — 1916 гг.)

Предвестники мировой войны. — Николай II и А. Клопов — Отношение к войне господ и простых людей. — Моя наивность. — «Наши союзники и наши противники». — Лекция в Сарапуле. — «Лектор для швеек». — Под обстрелом черносотенцев. — Епископ Амвросий. — Под запретом.

Мировая война подготовлялась долгие годы, посылая кровавые сигналы многочисленными войнами национальными и колониальными. Ее ожидали, одни «облизываясь», при подсчетах о получаемых от войны барышах, другие ужасаясь, при подсчетах жертв, которые она поглотит.

Вопрос о войне стоял в «порядке дня» всех социалистических конгрессов, начиная с 1889 года; все социалисты «ужасались», но не только не предотвратили войну, а даже оказались в союзе с «облизывающимися.

Мне в своих политических статьях много приходилось писать об опасности мировой войны, и всегда я старался уверить и себя, и читателей, что трудящиеся массы не допустят мировой войны или приостановят ее в самом начале. Мой слабый голос постоянно призывал к разоружению, и не только всеобщему, но и сепаратному.

Мне казалось, что разоружение хотя бы одной из «великих держав» побудит рабочие массы в других странах добиться всеобщего разоружения.

Патриотические возгласы о готовности защищать каждый клочок родной земли до последней капли крови казались мне фальшивыми, и я часто напоминал слова Манифеста Коммунистической партии, что «у рабочих нет отечества».

Многие перед войной настаивали на реформах, пугая Николая II революцией, но безуспешно. У Николая II под влиянием испуга появлялось иногда желание услышать голос правды. Еще юношей в 1887 году, после неудавшегося покушения 1 марта, он обратился к своему преподавателю математики Евтушевскому с просьбой сказать правду, почему студенты так ненавидят их всех («всех нас»), что хотели взорвать бомбами?

Евтушевский был застигнут врасплох и ни нашелся ответить ничего иного, кроме: «у студентов к вам нет ненависти, но семья не без урода».

Об этом Евтушевский рассказывал своему коллеге по обучению Николая проф. И. И. Боргману, моему зятю.

Вскоре по восшествии на престол, испуганный рабочими стачками, Николай выспрашивал «правду» у Анатолия Анатолиевича Клопова [129].

Клопов, по происхождению не то крестьянин, не то мещанин, в молодости был земским статистиком, а под старость попал бухгалтером в управление имениями великого князя Александра Михайловича. Суетливый и болтливый старикашка, со смекалкой и не без «добрых побуждений», сумел обратить на себя внимание великого князя, попал к нему в доверие и начал рассказывать о разных неправдах, творящихся в русском царстве.

Александр Михайлович представил Клопова царю, жаждущему услышать правду. Клопов царю очень понравился и сделался его осведомителем о всяких непорядках и злоупотреблениях. Ему был дан вагон для бесплатных разъездов по всем железным дорогам и подарено небольшое имение около Любани для отдыха. Доклады царю Клопов делал непосредственно помимо министров. По словам Клопова, царь держался с ним очень просто, прямо «по-товарищески», обменивался папиросами, подбирал с полу бумаги, которые роняли старческие руки Клопова, приговаривая: «Я помоложе, мне легче наклоняться» и т. д.

С Клоповым меня в 90-х годах познакомил его приятель А. П. Чарушников в надежде, что я соглашусь редактировать («наводить

стиль») клоповские доклады царю. Я, разумеется, от этой чести отказался, но с Клоповым иногда встречался.

Клопов сначала указывал Николаю на разные мелкие недочеты, и доклады проходили гладко. Но потом осмелел и указал на что-то крупное, задев интересы людей сильных, и на этом сорвался. Во время японской войны Клопов был разжалован из «осведомителей» и отдыхал в своем имении. Так продолжалось долго. Клопов думал, что его совсем забыли, но в начале 1914 г. он был снова приглашен во дворец, и Николай снова просил говорить ему «правду».

Клопов решил быть храбрым и заявил Николаю, что для успокоения народа необходимо провести в жизнь все обещания манифеста 17 октября 1905 г. На что последовал характерный ответ: «Это было вынужденно и преждевременно».

Тем не менее Клопову было предложено написать подробный доклад о тех реформах, которые необходимы для укрепления верноподданнических чувств, особенно необходимых в виду угрозы войны.

В апреле 1914 года Клопов пришел ко мне, нервный, взволнованный, и стал упрашивать, чтобы я пришел к нему на совещание «общественных деятелей» для выработки доклада царю. Я из любопытства пошел.

«Общественных деятелей» было человек пять, мне совершенно неизвестных. Знаю только, что один из них был фабричный инспектор. Говорили все очень радикально. Министров-бюрократов надо гнать; составить министерство из лиц, пользующихся общественным доверием. Думу распустить и назначить новые выборы на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Обеспечить полную свободу слова и т. д.

Клопова такие речи прямо «афропировали», он отмахивался руками и плачущим голосом говорил: «Да ведь если все это провести, то повсюду евреи пролезут, а царь их больше всего боится, да и республики запросят. Пожалуй, скажут: не надо нам никакого царя!

— Да уж не без этого, — смеясь, согласился фабричный инспектор.

Клопов обещал подумать и «попробовать» сказать царю, если не все, что предлагалось, то хоть главное.

Доклад он делал Николаю в Ливадии, но, конечно, как раз главного не сказал.

Во время войны он несколько раз заходил ко мне в редакцию, и я из его слов убедился, что он кормил Николая сущим вздором в роде обхода медалью какой-то сестры милосердия и т. п.

Во время революции он куда-то исчез. В 1927 году я прочел в «Известиях» сообщение сотрудников какого-то советского учреждения о смерти уважаемого товарища, главбуха Анатолия Анатолиевича Клопова.

В начале июля 1914 года я читал лекции во Владикавказе.

Из Владикавказа я проехал по Военно-Грузинской дороге в Тифлис.

В Тифлисе было нестерпимо жарко и пустынно. Трамваи бастовали. Извозчики тоже как будто скрылись. Даже пешеходы попадались редко.

Было около двух часов пополудни 19 июля (ст. стиля) 1914 г.

Я шел по Головинскому проспекту. Когда я проходил мимо аптеки, из нее стремительно выбежал полковник и, бросившись ко мне, как будто я был его хороший знакомый, крикнул: «Германия объявила нам войну». В руках у него был только что выпущенный экстренный листок местной газеты. Мы сели на скамейку и несколько раз прочитали давно ожидаемое и все же такое страшное неожиданное известие. В том же листке мелким шрифтом была напечатана телеграмма из Парижа: «Убит Жан Жорес». Прочитав это известие, я подумал: «В лице Жореса убит символ мира».

— Что-то теперь будет? — пробормотал задумчиво полковник.

— Да, что-то теперь будет? — как эхо, повторил я.

Надвигалось грандиозное, грозное, безумное, отвратительное...

Из Тифлиса я должен был спешить в Батум, где меня ждала моя дочь Таня, приехавшая туда с экскурсией. Но попасть в Батум оказалось чрезвычайно трудно. Распространился слух, что Турция тоже объявила войну, и начинается бомбардировка черноморского побережья. В Батум бросились все, у кого там были какие-нибудь дела, чтобы их ликвидировать. Места брались с бою. За бешеные деньги комиссионер гостиницы «Ориант», где я остановился, достал мне билет первого класса. К вагону через толпу мне удалось пробиться, когда раздался третий звонок. Мой чемодан комиссионер бросил в вагон через открытое окно, но меня в вагон не пропускали пассажиры, теснившиеся на площадке. Поезд двинулся, я вскочил на подножку вагона и, за что-то уцепившись, несколько минут ехал, «вися на воздухе» и рискуя сорваться. Наконец, надо мною сжалились и открыли дверь. Когда все уселись, то оказалось даже два свободных места, из которых одно было занято собакой.

С тех пор мне много раз приходилось рисковать жизнью, пробиваясь в вагоны во время длительного железнодорожного сумбура, и меня постоянно поражала тупая жестокость ловких и удачливых пассажиров к людям старым, слабым, беспомощным.

Батум встретил меня страшным ливнем. По улицам бежали ручьи и реки. Весь мокрый, добрался я до деревянного барака на берегу моря, где приютилась экскурсия. Велика была моя радость, когда я увидел Таню здоровой и веселой. Экскурсия, разумеется, распалась, и мы с Таней решили с первым же пароходом поехать в Новороссийск, а из Новороссийска в Петербург.

Наличных денег у нас не было, но у меня был перевод на один из батумских банков. Пошел в банк. Выдавать денег не могут, так как не получен дубликат перевода.

К счастью, заведующий банком оказался моим читателем, и дело уладилось.

Кассир выдал мне мешочек с золотом, извиняясь, что не может дать бумажек: в банке осталось только золото.

Всю дорогу я к общему удивлению, расплачивался золотом, которое уже стали приберегать. Остаток золотых быстро разошелся в Петербурге, и я много лет потом не видел золотых, но зато сколько разноцветных бумажек с фантастическими цифрами прошло через мои руки.

Из Батума мы с Таней проехали на большом пассажирском пароходе, который в то время назывался какой-то принцессой или великой княгиней, а ныне именуется Чичериным. Со всех пристаней на пароход валом валили пассажиры: большинству невозможно было не только лежать, но и сносно сидеть. «Господа» говорили исключительно о войне. Откуда-то появлялись сенсационные слухи. Утверждали, что на прусской границе произошло большое сражение, окончившееся победой русских. Вильгельм, испуганный вмешательством Англии, запросил мира, и перемирие уже заключено. Этот слух ужасно обеспокоил одного долговязого ротмистра, спешившего из Сухума, где он лечился, в свой кавалерийский полк на западной границе.

— Неужели правда, что уж заключено перемирие? А я так надеялся, так надеялся... Мне мерещился новый 12-й год с его героизмом.

— Не волнуйтесь! — утешал я его. — Никакого перемирия нет. Война продлится очень долго, и вы успеете вдоволь подраться.

— Дай бог, дай бог!

Просто «люди» или «простые люди» без чинов и звания внимательно прислушивались к речам «господ» и что-то соображали.

Надо заметить, что у «простых людей» в начале войны царил в голове невообразимый сумбур. Многим, напр., представлялось, что войну затеяла «поганая Англичанка», поссорившая русского царя с царем немецким. Некоторые в первые дни после объявления войны думали даже, что мы воюем с Англией.

Патриотизмом пылали только господа. В «низах» шло глухое брожение. В деревнях таких опасных губерний, как Саратовская, запасных забирали по ночам и немедленно «угоняли» неизвестно куда, не давая проститься с родными.

Так, по крайней мере, рассказывали нам «простые люди» в Саратове, где мы остановились на перепутье.

На вопрос, как отнеслась деревня к мобилизации, часто слышался ответ: «стон стоит».

Кое-где вспыхнули «бабьи бунты». Бабы отбивали угоняемых запасных. «Господа» утверждали, что эти бунты вызываются немецкими шпионами, переодетыми в женщин.

По возвращении в Петербург я написал статью «о войне» для очередной книжки «Жизни для всех». Сущность ее сводилась к следующему: Война — величайшее бедствие. Какой угодно мир лучше самой победоносной войны. России важны не столько боевые союзники, как доброжелательные посредники, которые попытались бы примирить воюющих.

Была уж введена военная цензура. Цензор, перечеркивая всю статью накрест красными чернилами, выразил свое крайнее удивление моей наивности.

— Так в настоящее время не только писать, но и думать опасно, — сказал он.

Надо заметить, что цензор, приставленный во время войны к «Жизни для всех», был один из лучших с редакционной точки зрения. Досаждать он не хотел, а скорее с некоторой досадой черкал то, что никак оставить было нельзя, не рискуя получить отставку.

Мне все же приходилось туго. Надеялся, что в лекциях можно будет сказать многое, чего нельзя напечатать. Предпринял большую поездку по излюбленной мною Сибири, намереваясь читать цикл лекций на тему: «Наши противники и наши союзники». Но доехать до Сибири не удалось: потерпел крах в камском городке Сарапуле, где сделал первую пробу рассказать правду как о немцах, так и о французах, англичанах и бельгийцах.

Сарапул был в то время уездным городком Вятской губернии; теперь он окружной город Уральской области. Если смотреть на него в летний солнечный день с парохода, то кажется он сказочным Китежем. Манит к себе, белоснежный, узорчатый над красными обрывами камских берегов в темнозеленой рамке хвойных лесов.

Но когда подымешься на гору и пойдешь по пыльным улицам с поломанными деревянными тротуарами, то сказочность исчезает и становится так же скучно, как в обычном уездном городе. Впрочем,

Сарапул был все же много богаче и культурнее горьковского городка Окурова. Развитая кожевенная промышленность, оживленная торговля хлебом и лесом, архиерей, жандармское управление, театр и две газеты: черносотенная «Прикамская Жизнь» и прогрессивная «Кама». «Кама» возникла лишь в 1913 году и состояла в близком родстве с «Жизнью для всех». Редактором ее был наш постоянный сотрудник, даровитый беллетрист и публицист из крестьян Николай Иванович Новиков, полный человек с круглой стриженой головой, в очках, с виду флегматичный, но в действительности энергичный и предприимчивый. Ближайшим сотрудником был Роман Кумов, одно время живший в Сарапуле. Числился сотрудником и я. «Кама» и устраивала мои лекции. В первый раз я читал в Сарапуле за год до войны, летом 1913 г. Мои лекции были вообще первыми лекциями в этом городке. Ходил на них «весь город», не только интеллигенция, но и обыватели, рабочие, даже грузчики. Слушали с жадным увлечением. На людей неискушенных, лекций не слушавших и мало читавших такие лекции, как мои, с оттенком проповедничества и выпадами против сильных мира сего, производят гораздо большее впечатление, чем на людей, «все слышавших и все читавших».

Л. Войтоловский еще в 1910 году, когда я в первый раз читал лекции в Киеве, назвал меня в «Киевской Мысли» «лектором для швеек», желая меня больно уязвить. Но я боли не почувствовал. Я горжусь, что умел своими лекциями заинтересовывать и волновать швеек, фабричных ткачей и прядильщиц, чернорабочих, грузчиков и других «необразованных» людей.

В Сарапуле в первый мой приезд лекция «Любовь в творчестве Толстого» на одну девицу из старообрядческой семьи произвела такое впечатление, что она выбежала на эстраду и, упав на колени, поклонилась мне в ноги.

Такие порывы мне, конечно, тягостны и неприятны. Но я был радостно тронут, когда при моем отъезде из Сарапула на пристани подошли ко мне два грузчика и, протягивая мозолистые руки, сказали: «Слышали вас. Спасибо. Вразумительно все растолковали. Посещайте нас почаще».

В 1914 году при известии о моем приезде сарапульская интеллигенция во главе с судейскими решила почтить меня торжественным банкетом. Все ожидали, что я привезу с собой патриотический подъем.

Первую лекцию читал в театре — о Германии и немцах. В противовес газетным воплям о немецких зверствах, я указывал, что война вообще дело скверное, подлое, жестокое, но что немцы не больше звери, чем англичане, французы и мы, русские. Напоминал

о гениях немецкой литературы, искусства, науки, напоминал о том чему нас научили немцы, и выражал уверенность, что после войны мы будем с немцами в дружбе, будем учиться друг у друга не драться, а работать и творить. Предостерегал от травли немцев, живущих в России, как неповинных в преступлениях Вильгельма.

Слушали, насторожившись. Чувствовалась нервность аудитории, подстрекавшая мою «дерзость».

По окончании слабый всплеск аплодисментов, а за ним гул раздраженно спорящих голосов. Подошел милый Николай Иванович, расстроенный.

— Вас, видимо, не поняли. Удивляются, раздражаются, даже ругают. Кое-кто защищает, но как-то неуверенно.

На следующий день на лекции «Наши союзники» присутствовал весь административно-полицейский аппарат во главе с жандармским ротмистром.

Читал я очень осторожно. Тем не менее во время перерыва исправник спросил жандармского ротмистра, не лучше ли прекратить лекцию? Но тот ответил: «нет, пусть договаривается до конца, пусть потуже затянет себе на шее петлю».

Этот разговор подслушал сотрудник «Камы» и поспешил передать мне.

Мне удалось прочесть еще лекцию о «счастье и смысле жизни».

Между тем в «Прикамской Жизни» появилась большая доносная статья о моей первой лекции. Довольно прозрачно намекалось, что я — германский агент, и начальство призывалось к бдительности.

«Прикамскую Жизнь» издавал черносотенец Ончуков с благословения черносотенного епископа Амвросия. Писал доносную статью постоянный борзописец «Прикамской Жизни» Швецов.

Лекция «Душа женщины» была уже запрещена, о чем меня известил по телефону исправник, добавив, что меня ожидают и другие, более серьезные неприятности.

В этот день в соборе происходило торжественное богослужение по поводу победы русских над австрийцами.

После благодарственного молебна епископ Амвросий произнес «проповедь», в которой, опираясь на статью в «Прикамской Жизни», уже прямо называл меня австро-венгерским шпионом и заранее отпускал грех тем, которые расправятся со мною, как с врагом.

Я как раз в это время был на площади около собора, поджидая исправника, чтобы выяснить причину запрещения лекции.

Ко мне подбежал худенький молодой человек в темных очках, сильно взволнованный, и торопливым шопотом стал уговаривать

куда-нибуд скрыться, так как сейчас хлынет толпа, возбужденная Амвросием: меня узнают и растерзают.

Не успел он кончить, как в соборе поднялся сильный шум, и собор выбросил толпу во главе с каким-то мундирным человеком, оравшим: «бей жида — масона!»

Мне пришлось бы плохо, если бы за меня не заступился член суда Петропавловский. Он громко протестовал против клеветнической «проповеди» Амвросия и успокоил толпу решительным заявлением, что давно знает меня за честного и неподкупного русского писателя.

Мундирный человек, оказавшийся земским начальником, со своим «бей жида — масона» остался в одиночестве.

Толпа начала медленно расходиться. Меня же «пригласил» для составления протокола какой-то полицейский чин.

Протокол оказался заранее составленным по статье Швецова и касался моей первой лекции.

— Вы были на моей первой лекции? — спросил я полицейского.

— Был. Не я один. Был и сам исправник.

— Почему же вы не остановили меня, если, по вашему мнению, я совершал преступление, почему не составляли тогда же протокола, а составили его лишь через три дня после лекции?

— Оторопели-с! Думали, если вы решаетесь так говорить, то, значит, теперь на верхах таков поворот: подготовляют население к заключению мира.

По совету исправника, который очень боялся, что ему влетит за разрешение моих лекций, я поехал в Вятку, чтобы в личной беседе с губернатором ослабить впечатление от статьи «Прикамской Жизни» и «проповеди» Амвросия.

Губернатор Чернявский, слывший «либералом», принял меня любезно и, показав пачку телеграмм, сказал:

— Вот сколько доносов получено на вас, но я знаю эту публику, знаю, что она из мухи делает слона. Мне не хочется усиливать весь этот шум, и я готов оставить все дело без неприятных для вас последствий, если только не выступит против вас столичная печать. Если, скажем, в «Новом Времени» появится нечто в роде статьи «Прикамской Жизни», то я вынужден буду подвергнуть вас административному взысканию.

Из Вятки я поехал в Петербург, решив отложить поездку в Сибирь до окончательной ликвидации сарапульского инцидента.

По дороге купил «Новое Время» и сразу натолкнулся на корреспонденцию из Сарапула, полную негодующих воплей по поводу моих

лекций, в которых я будто бы возносил Германию до небес, а союзников оскорблял, называя англичан — мировыми разбойниками, французов — развратниками, а бельгийцев — пьяницами.

На эту корреспонденцию было обращено всеобщее внимание.

Полетели во все концы земного шара сенсационные телеграммы. Даже в газетах Новой Зеландии сообщалось, что в России нашелся публицист, восхваляющий немцев и поносящий союзников. Один из новозеландских друзей-подписчиков «Жизни для всех», прочитав это известие, запрашивал нашу редакцию о моей судьбе.

Чернявский вынужден был оштрафовать меня на тысячу рублей с заменой в случае неуплаты месяцем ареста.

Мин. внутр. дел послал циркулярную телеграмму о недопущении моих лекций и вообще каких бы то ни было публичных выступлений.

Мне в первый месяц после этого министерского запрещения все же удалось прочитать лекции в Ярославле и Костроме, губернаторы которых, как старые аристократы, будировали против выскочки Маклакова и решились игнорировать его циркулярное запрещение.

В Костроме губернатор разрешил мне прочитать лекции о кооперации рабочим на большой местной мануфактуре. Перед лекцией ко мне явился жандарм и «пригласил» в жандармское управление к «полковнику».

Полковник, старый охранник, любезно попросив «присесть», окинул меня испытующим взглядом и осведомился, тот ли я Поссе, который в 1910 году редактировал «Жизнь» и после ее закрытия уехал за границу и там ее возобновил?

Я ответил утвердительно.

— И вам разрешают читать лекции?! Но у нас о вас есть целое дело.

Он вынул из шкафа одну из «казенных» папок и стал перелистывать мое «дело».

— Ничего не понимаю! — бурчал «полковник». — Лекции?! Хороши должны быть ваши лекции. И, при таком поощрении революционной агитации, удивляются, что мы не справляемся с революцией! Однако не могу вас более задерживать...

Лекцию о кооперации в Костроме я прочитал, но затем в течение почти полутора лет пробиться через «запрещение» не удавалось.

Оно было отменено лишь весною 1916 года.

Административному взысканию вятского губернатора, кроме меня, подвергался и Н. И. Новиков, как устроитель моих лекций. Он просидел

месяц в тюрьме и очень красочно описал в «Жизни для всех» свои тюремные впечатления. На месяц в тюрьму был посажен и редактор «Вятской Речи» за напечатание моего ответа еп. Амвросию. Амвросий не удовлетворился проповедью в соборе, он разразился против меня статьей в «Прикамской Жизни». Опираясь на донос из священников, присутствовавших на моей лекции «Счастье и смысл жизни», он обвинял меня в поругании православной веры и святых икон, о которых я совсем не упоминал.

Поплатился и член суда Петропавловский. За протест против «проповеди» Амвросия он был привлечен к дисциплинарному суду. Я просил А. Ф. Кони заступиться за него. Вероятно, благодаря Кони, дело ограничилось переводом Петропавловского из Сарапула в Шадринск.

Еп. Амвросий был черносотенец убежденный и стойкий.

За свое черносотенство поплатился жестоко. Погиб в Свияжске во время революции.

Огрешенный от лекций, я продолжал гнуть свою линию в «Жизни для всех».

Я неустанно указывал на многоликое зло войны и протестовал против шовинизма и национальной нетерпимости.

Но «нет худа без добра», и это правило верно даже для войны.

Война побудила правительство прекратить производство всех спиртных напитков и запретить их продажу. Эту меру я горячо приветствовал.

Положительным следствием войны, соединенной с трезвостью, была и сильная психическая встряска трудящихся масс. Разлетелось много суеверий и предрассудков, прояснилось сознание. Война приблизила революцию не только хозяйственной разрухой и тяжелыми условиями жизни, но и обострением критического отношения к старому государству и его заправилам.

Для ускорения революции нужны были поражения, а не победы. Революции я ждал, как обновления всей русской жизни, революции я ждал, как прорыва к свободному и радостному творчеству. Вот почему и умом, и чувством я был пораженцем.

С П. А. Кропоткиным у нас были общие идеалы, но он в противоположность мне и умом и чувством был не только оборонцем, но и победенцем. Он жаждал побед союзников, в том числе и русских, надеясь, что поражение Германии и Австро-Венгрии, покончив с двумя милитаристическими монархиями, создаст благоприятные условия сначала для русской революции, а затем и для европейской, а может быть, и всемирной социальной революции.

Моя мысль шла в ином направлении.

Я думал, что русская революция, вызванная поражением России, будет революцией социалистической и повлечет за собой крах не только монархии, но и капитализма если не во всем мире, то, по крайней мере, в Европе, и прежде всего в Германии и Франции.

Но больше всего, искреннее всего я желал скорейшего прекращения войны на каких угодно условиях.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Брат В. А. Поссе, Константин Александрович, был профессором математики Петербургского университета.

[2] Мартов, В.—псевдоним поэта Михайлова, Владимира Петровича (1855 — 1901), доктора физиологии и приват-доцента петербургского университета. Произведения Мартова, ныне совершенно забытые, и в особенности стихотворения его на «гражданские» темы пользовались значительным успехом в 70-е годы и в начале 80-х, когда Мартов сотрудничал в «Деле» и других либеральных и радикальных органах.

[3] Книга Ренана — его «Жизнь Иисуса», вышедшая на французском языке в 1863 г., являвшаяся первой частью его работы «История происхождения христианства». В России книга Ренана долгое время находилась под цензурным запретом и распространялась, как «нелегальщина». Русский перевод этой книги вышел только после революции 1905 года.

[4] Державин, Михаил Егорович, сын дьякона, студент Медико-Хирургической академии, был арестован в 1876 г. за пропаганду среди рабочих в Петербурге. Особым присутствием Сената в начале июня 1877 г. приговорен к тюремному заключению, по отбытии которого подчинен надзору полиции.

[5] Страннолюбский, Александр Николаевич (1839—1903), известный педагог. Окончил морской корпус и с 1867 по 1894 г. состоял преподавателем математических наук в морском училище и др. средних учебных заведениях. В 60-е годы Страннолюбский принимал деятельное участие в движении, направленном к предоставлению женщинам доступа к высшему образованию. Один из организаторов высших женских курсов в Петербурге.

[6] 24 января 1878 г. молодая девушка Вера Ивановна Засулич, явившись на прием к петербургскому полицмейстеру Трепову, выстрелила в него и причинила ему рану. Выстрел Засулич был вызван телесным наказанием, которому по приказу Трепова был подвергнут один политический заключенный в доме предварительного заключения в Петербурге. Покушение Засулич, явившееся одним из первых проявлений начавшейся в то время террористической борьбы против правительства, произвело большое впечатление на общество, либеральные слои которого с восторгом приветствовали покушение. Арестованная и преданная суду присяжных Засулич была ими оправдана.

[7] 3 марта 1878 г. при выходе оправданной судом В. Засулич из здания суда, собравшаяся перед ним толпа молодежи встретила Засулич

шумными овациями и помогла ей скрыться от пытавшихся задержать ее жандармов и полиции. После столкновения с полицией был найден труп убитого революционера Сидорацкого. Причина его смерти до сих пор в точности не выяснена. По одной версии Сидорацкий был убит полицией, по другой он сам покончил с собой.

[8] Агафонов, Валериан Константинович (род. в 1863 г.), геолог, приват-доцент Петербургского университета. Агафонов был постоянным сотрудником журналов «Мир божий» и «Современный мир», где помещал научные обзоры и научно-публицистические статьи. Близко стоявший к партии социалистов-революционеров, Агафонов после подавления революции 1905 г. эмигрировал и, живя в Париже, в эпоху разоблачения Азефа возглавлял оппозицию Центральному Комитету партии с.-р. В 1917 г. принимал участие в разработке парижского архива русской заграничной охранки.

[9] Храповицкий, Алексей Павлович, в монашестве Антоний (род. в 1863), был епископом Волынской и др. епархий. Один из виднейших вдохновителей реакционной политики правительства в эпоху революции 1905 г. и реакции. После Февральской революции Храповицкому пришлось оставить епископскую кафедру. В эпоху Деникина он энергично организует на юге России монархические объединения среди духовенства. Эмигрировав за границу после поражения белых, Храповицкий был одним из организаторов съезда черносотенного духовенства в Карловицах (Юго-Славия).

[10] Храповицкий, Александр Васильевич (1749—1801), сенатор и статс-секретарь императрицы Екатерины II, советчик и помощник в ее литературных работах. Сам Храповицкий выступал в печати, как поэт и драматург, и оставил «Дневник», являющийся весьма ценным источником для ознакомления с эпохой Екатерины II.

[11] «Русский Вестник» — ежемесячный журнал, основанный М. Н. Катковым в Москве в 1856 г. Первоначально «Русский Вестник» был органом умеренно либерального направления, но вскоре же, по мере того, как его руководитель становится вдохновителем идейной реакции, он принимает реакционный характер. Это превращение «Русского Вестника» вполне определилось уже к 1863 г., когда, в связи с польским восстанием, Катков становится на определенно националистическую точку зрения. Роман Ф. М. Достоевского печатался в «Русском Вестнике» в 1879—80 гг.

[12] Автор имеет в виду разбор магистерской диссертации О. Миллера «О нравственной стихии в поэзии», напечатанный Добролюбовым в № 10 «Современника» за 1858 г. В этом разборе Добролюбов выступал в качестве горячего сторонника прав личности, против всяких авторитетов, внешних внушений и насильственно навязываемого долга. В диссертации Миллера Добролюбов усмотрел проповедь смирения, послушания и благонравия.

[13] Ульянов, Александр Ильич, брат Владимира Ильича Ульянова-Ленина, род. в 1866 г. в Нижнем-Новгороде. По окончании гимназии в 1883 г. он поступил в Петербургский университет, на физико-математический факультет. Принимал деятельное участие в студенческой жизни того времени; участвовал в симбирском землячестве, в союзе землячеств, в литературном обществе студентов; участвовал в добролюбовской демонстрации 17 ноября 1886 г., которую В. А. Поссе описывает ниже. Под влиянием жестокой расправы полиции с демонстрантами, примкнул

к террористической группе, организованной в декабре 1886 г. студентами Шевыревым, Говорухиным и Лукашевичем и принявшей позднее название «террористической фракции Народной Воли». Написал для нее программу. Принимал деятельное участие в подготовке покушения на Александра III, являясь душой этого дела. Арестованный после неудачного покушения, приговорен Сенатом к смертной казни, приведенной в исполнение 8 мая 1887 г.

[14] Шевырев, Петр Яковлевич, род. в 1863 г. в купеческой семье. По окончании гимназии поступил в 1883 г. в Харьковский университет, откуда в 1885 г. перешел в Петербургский университет. В декабре 1886 г. организовал совместно с Говорухиным и Лукашевичем террористическую группу, поставившую своею целью подготовку покушения на Александра III. Арестованный после неудачи этого покушения, приговорен Сенатом к смертной казни, приведенной в исполнение 8 мая 1887 г.

[15] Лукашевич, Иосиф Дементьевич, дворянин, род. в 1863 г. в Виленской губ. В 1883 г. поступил в Петербургский университет. Участвовал в террористической группе, организованной Шевыревым, и в подготовке покушения на Александра III. Сенатом приговорен к смертной казни, замененной при утверждении приговора царем бессрочными каторжными работами, которые Лукашевич отбывал в Шлиссельбургской крепости, откуда он вышел в 1905 г. По освобождении жил в Вильно. Автор ряда работ по естественным наукам, Лукашевич последние годы состоял профессором Виленского университета. Умер в октябре 1928 г.

[16] В феврале 1886 г. совет Петербургского университета удостоил золотой медали сочинение А. И. Ульянова, бывшего в то время студентом 3-го курса, на тему «Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata».

[17] 6 декабря 1876 года на Казанской площади по инициативе рабочих, состоявших членами революционных кружков, была устроена после панихиды в Казанском соборе демонстрация, во время которой Г. В. Плеханов выступил с речью, посвященной Чернышевскому и другим борцам за свободу, томящимся в царских тюрьмах, а рабочий Потапов выкинул знамя с надписью: «Земля и Воля».

[18] Шевырев и Говорухин уехали из Петербурга в середине февраля 1887 г. Шевырев отправился в Крым, где и был арестован после неудачи покушения. Его поездка мотивировалась необходимостью восстановления расшатанного здоровья. Говорухин еще раньше Шевырева уехал за границу, узнав, что правительство разыскивает его в связи с пропагандой, которую он во время летних вакаций вел на Дону среди казаков.

[19] Описываемое В. А. Поссе собрание студентов происходило 6 марта в актовом зале университета. Андреевский выступил с речью, в которой призывал студентов загладить нанесенный университету «невыносимый позор» и предложил принять верноподданнический адрес царю от имени профессуры и студенчества. Протесты революционно-настроенных студентов потонули в криках «ура» и пении гимна большинства студентов. Александр III очень холодно отнесся к адресу университета и надписал на нем: «Надеюсь, что на деле, а не на бумаге только, он докажет свою преданность». Вскоре после этого Андреевский был вынужден оставить ректорство.

[20] Штанге, А. Г. — человек, причастный к литературным и революционным кругам Петербурга 80-х годов. Убежденный в бесполезности

революционной борьбы, которая, по его мнению, не может привести ни к каким положительным результатам, Штанге проповедывал необходимость усиленной агитации в «обществе» в пользу конституции, которая представлялась ему в форме земского собора, приноровленного к современным условиям и потребностям. На тему о необходимости созыва такого собора Штанге, между прочим, читал особый реферат в так называемом «экономическом кружке», организованном в 1885 г. А. И. Ульяновым и его товарищами по университету с целью изучения политической экономии. Возможно, что у В. А. Поссе была рукопись именно этого реферата Штанге.

21 В своей защитительной речи Новорусский заявил: «Я разделяю те чувства негодования и ужаса относительно замысла на жизнь государя императора и те убеждения относительно развития гражданской жизни России и преданности русского народа монарху, которые вчера были высказаны г. прокурором». В заключение уже своей речи он выразил надежду, что «на будущем страшном суде» его «невинность будет восстановлена». Новорусский был приговорен к смертной казни, замененной ему царем бессрочными каторжными работами, которые он отбывал в Шлиссельбургской крепости, откуда был освобожден в 1905 г.

22 М. Н. Новорусский не только знал о готовящемся покушении на Александра III, но и, сочувствуя ему, предоставил заговорщикам свою квартиру для подготовки динамита для покушения.

23 Неклюдов, Николай Адрианович (1840—1896), известный криминалист, обер-прокурор Сената и товарищ министра юстиции, в молодости участвовал в петербургских революционных кружках и являлся одним из руководителей студенческого движения 1861 г., в связи с чем подвергся аресту. Тот эпизод с Ульяновым, о котором рассказывает В. А. Поссе, в стенографическом отчете о процессе по делу 1-го марта 1887 г. не отмечен.

24 Казнь 8 мая происходила на дворе Шлиссельбургской крепости. Мужественное поведение казненных подтверждается официальным документом — всеподданнейшим докладом министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого царю. В этом докладе говорится, что, бодро войдя на эшафот, Генералов и Андреюшкин, громким голосом произнесли: «Да здравствует Народная Воля». «То же самое намеревался сделать и Осипанов, но не успел, так как на него был накинут мешок». Ульянова и Шевырева казнили во вторую очередь, вследствие чего им пришлось быть зрителями смерти своих товарищей, но это не повлияло на расположение духа и они так же бодро и спокойно взошли на эшафот, как и их товарищи.

25 Баронесса В. И. Икскуль была не чужда литературе. Один ее роман был напечатан в «Северном Вестнике», когда в состав его редакции входил Н. К. Михайловский. С этого началось знакомство баронессы с либеральными и радикальными литературными кругами Петербурга. Обладая большими связями в бюрократических сферах, Икскуль иногда оказывала значительные услуги литераторам, навлекшим на себя неудовольствие власти.

26 Буланжистами назывались сторонники генерала Жоржа Эрнеста Буланже (1837—1891), возглавлявшего во Франции 80-х годов реакционно-шовинистическое движение, вокруг которого сплотились элементы, недовольные политикой умеренных республиканцев, в руках которых в то

время находилась государственная власть. По социальному составу буланжистское движение отличалось значительной пестротой. На ряду с крупными землевладельцами, добивавшимися монархической реставрации, Буланже поддерживали недовольные существующим режимом слои мелкой буржуазии. К концу 80-х годов безнадежность подготовляемого буланжистами государственного переворота вполне выяснилась и под влиянием этого сам Буланже бежал в Брюссель, где вскоре покончил с собою.

[27] Во вторую половину 80-х годов под влиянием обострения отношений с Германией французское правительство начинает стремиться к сближению с Россией. В 1889 г. Россией и Францией был заключен союзный договор. Этим и объясняется, что «русские во Франции были тогда в большой моде».

[28] Монастырь Шартрез был основан в XI веке Бруно Кельнским, основателем монастырского ордена картезианцев, центром которого был Шартрез. Монастырь этот прославился выделкою ликера, приносившей монастырю большой доход.

[29] «Неделя» — еженедельная газета, выходившая в Петербурге с 1867 г. В 70-е годы «Неделя» была органом правоверного народничества, убежденного в самобытности развития русской жизни и проникнутого сентиментальным идеализированием крестьянства, с якобы присущими ему «мирскими» инстинктами, в которых «Неделя» искала спасения от темных сторон буржуазной цивилизации Запада. В 80-х годах «Неделя» становится органом, проповедующим культурничество и теорию «малых дел» ценою отказа от стремления к широким преобразованиям общественно-политического строя страны.

[30] Канцлер Отто Бисмарк (1815—1898), являющийся до сих пор излюбленным героем немецкой буржуазии, пользовался безграничным доверием императора Вильгельма I и был фактически руководителем германской политики в течение 70-х и 80-х годов. В 1890 г. после смерти Вильгельма I и вступления Вильгельма II, честолюбие которого не мирилось с диктаторским положением, занятым Бисмарком, последний был вынужден выйти в отставку и с этих пор жил почти безвыездно в своем имении Фридрихсруэ, выступая порою с резкой и раздражительной критикой политики Вильгельма II.

[31] С 1885 г. при газете «Неделя» стал выходить ежемесячный литературно-общественный журнал под названием «Книжки Недели».

[32] Конгресс признал возможным участие анархистов на его заседаниях с решающим голосом лишь при условии признания ими политической и в частности парламентской борьбы. Тем самым вопрос об участии анархистов был решен в отрицательном смысле.

[33] Фердинанд Домела Ньювенгуйс, до 1879 г. пастор, был одним из инициаторов и вождей социалистического движения в Нидерландах. С начала 90-х годов Ньювенгуйс выступил с проповедью антипарламентаризма; это было началом умственного перелома, приведшего Ньювенгуйса к анархизму.

[34] Выступавшие на Брюссельском конгрессе докладчиками по вопросу о милитаризме В. Либкнехт и Вальян предложили резолюцию, указывавшую на невозможность уничтожения милитаризма без предварительного устранения его базы — капиталистической организации производства; ответственность за возможные военные конфликты резолюция возлагала на господствующие классы. Слабой стороной этой резолюции

было отсутствие указаний на практические меры борьбы с милитаризмом, что, между прочим, и отметил Ньювенгуйс в своей речи, предложив резолюцию, которая возлагала на социалистические партии обязанность в случае возникновения войны выступить с призывом к всеобщей стачке. Возражения Либкнехта и его сторонников против этой резолюции сводились к указанию на практическую неосуществимость призыва к всеобщей стачке и на опасность этой меры в случае войны с Россией, где за отсутствием влиятельных социалистических организаций всеобщая стачка невозможна, в виду чего проведение этой меры в государстве, находящемся в войне с Россией, фактически сведется к открытию его границ для казацкого нашествия. За резолюцию Ньювенгуйса голосовали только голландские, английские и часть французских делегатов.

[35] В июне и июле 1891 г. немецкий социал-демократ Фольмар выступил в Мюнхене с речами, в которых открыто заявил, что, по его мнению, германские социал-демократы «должны поддержать тройственный союз» (т. е. союз Германии, Австрии и Италии, острие которого было направлено против Франции и России). «Как только, — говорил Фольмар, — наша страна подверглась бы нападению, в Германии будет только одна партия, и мы, социал-демократы, будем не последними в исполнении долга». Речи Фольмара вызвали решительный отпор со стороны Бебеля и В. Либкнехта, охарактеризовавших на Эрфуртском партейтаге германской социал-демократии политику Фольмара, как «национал-либеральную» и оппортунистическую.

[36] На Цюрихском конгрессе голландская делегация во главе с Ньювенгуйсом выступила с предложением принять резолюцию, гласящую: «Конгресс заявляет, что рабочие-специалисты втянутых в войну стран должны на объявление войны правительством отвечать отказом запасных явиться на военную службу (военная стачка), всеобщей стачкой, в особенности в тех отраслях производства, которые связаны с войной, и призывом к женщинам, чтобы они удерживали дома своих мужей и сыновей». Плеханов, выступавший на конгрессе докладчиком по вопросу о войне, в ответ Ньювенгуйсу заявил: «Всеобщая стачка неосуществима на почве современного общества, ибо у пролетариата нет сил для этого. С другой стороны, если бы мы были в состоянии провести всеобщую стачку, это значило бы, что экономическая власть находится уже в руках пролетариата и тогда всеобщая стачка была бы смешною ненужностью».

[37] Выработанный под руководством Бисмарка закон против социалистов был принят германским рейхстагом 18 октября 1878 г. Этим законом администрации предоставлялось право закрывать всякого рода союзы и собрания и запрещать печатание произведений, которые «служат социал-демократическим, социалистическим или коммунистическим стремлениям, имеющим целью ниспровергнуть основы существующего государственного и общественного строя». Закон этот первоначально был принят на 2½ года; затем действие его было продолжено. В 1890 г., после падения Бисмарка, закон о социалистах перестал пролонгироваться.

[38] Журнал «Новое Слово» начал выходить с 1894 г. Основан он был И. А. Баталиным, под руководством которого он издавался в умеренно-либеральном духе и отличался полной бесцветностью. С № 6 за 1895 г. журнал перешел в руки О. Н. Поповой и стал выходить при новом составе сотрудников: Абрамов, Златовратский, В. Воронцов, Кривенко,

Скабичевский и др. Фактическим руководителем «Нового Слова» в этот период его существования был С. Н. Кривенко, который вел журнал в правоверно-народническом направлении, отводя много места на его страницах полемике с молодым русским марксизмом (статьи В. В. против Плеханова и др.).

[39] В. В. — псевдоним известного экономиста-народника Василия Павловича Воронцова (1847—1918). В своих работах В. В. доказывал невозможность развития капитализма в России в виду отсутствия внешнего рынка, на который могла бы работать русская промышленность, и невозможности для нее конкуренции с развитым западно-европейским капитализмом. В. В. был сторонником мелкого производства артельного характера.

[40] С судом чести над Поповой можно познакомиться подробнее по брошюрам А. Попова «Вопрос о четырех нравственных основаниях перед судом чести Союза русских писателей» (СПБ. 1897) и К. Льдова «Вопиющее дело» (СПБ. 1897). Точка зрения противников Поповой наиболее ярко и подробно была развита Скабичевским в фельетонах, помещенных в №№ 197 и 198 газетах «Сын Отечества» за 1897 г., а также Н. К. Михайловским в № 12 «Русского Богатства» за тот же год.

[41] Дед П. Б. Струве, Василий Яковлевич Струве (1793—1864), знаменитый астроном, был профессором Дерптского университета.

[42] Отец П. Б. Струве Бернгард Васильевич Струве, начал свою административную карьеру в Сибири во времена знаменитого Н. Н. Муравьева-Амурского, о котором Б. В. Струве опубликовал интересные воспоминания в «Русском Вестнике» за 1888 г. Позднее Б. В. Струве был астраханским и пермским губернатором. И из Астрахани, и из Перми Струве пришлось уходить с должности с большими скандалами. Краткую, но выразительную характеристику Б. В. Струве дает поэт П. В. Шумахер в одном из писем к П. И. Щукину: «Бернгарда Вас. Струве я знал юношей. В 1851 г. я был в Иркутске, где он доживал свой служебный термин. Потом он был губернатором в Перми. Оттуда его прогнали за жену; перевели в Астрахань, и оттуда выслали метлой за губернаторшу. Потом где он скитался — не знаю... Он немецкий хлыщ, много пострадавший за свою жену, которая была моя невеста. Тогда она была нежное, воздушное существо, с ваперами, идеалами и пр. Из нее вышла печка и стерва. Судьба меня отвела. Она в Астрахани разъезжала с нагайкой, сопровождаемая полицмейстером, и принимала доклады... А сам Струве = 0». (Щукинский сборник. Вып. 7-й М. 1907 г., стр. 186).

[43] В «Иностранном обозрении» В. А. Поссе, помещенном в августовской книжке «Нового Слова», внимание цензора привлекли к себе два места. Во-первых, то, где говорится о смерти испанского премьера Кановаса дель Кастильо, павшего от руки анархиста Анджиолилло; В. А. Поссе говорит об убитом, как о человеке жестоком и как о виновнике убийства вождя кубанских инсургентов Мацео, и выражает сожаление, что Анджиолилло казнен гарротом, а не расстрелян, т. е. «лишен благородной смерти под градом ружейных пуль, как погибли те, за которых он мстил». Во-вторых, цензор нашел бестактным упоминание В. А. Поссе о рассказе путешествовавшего по России французского депутата Базиля, который обратился к денщику знакомого русского офицера с вопросом, кого он любит больше, немцев или французов: «Нам все одно-с», — ответил денщик. — «Ну, а в случае войны, против кого стали бы вы охотнее

сражаться?» — спросил француз.—«Нам все одно-с. Прикажут бить немца — будем бить немца, прикажут бить француза — будем бить француза».

[44] В статье С. Гарюшина «Тенденциозное издательство» внимание цензора привлекла резкая критика издательской деятельности комиссии народных чтений, выпустившей в свет ряд церковно-патриотических книжек «для народа». Статья Гарюшина, по предложению цензора, была вырезана из номера.

[45] Работа Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» вышла в 1894 г. в гектографированном виде без обозначения фамилии автора. Псевдонимом «К. Тулин» Ленин впервые воспользовался в 1895 г., подписав им статью «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве», помещенную в марксистском сборнике «Материалы к характеристике полного хозяйственного развития», уничтоженном по постановлению Петербургского Цензурного Комитета.

[46] Исаак Адольфович Гурвич (1860—1924), экономист марксистского направления, автор вышедшей в 1888 г. книги «Переселение крестьян в Восточную Сибирь», в начале 90-х годов эмигрировал в Соединенные Штаты.

[47] Качоровский, Карл-Август Романович, не только считался народником, но и был им. В начале 90-х годов он принадлежал к петербургской группе народовольцев, а позднее принимал участие в партийной прессе социалистов-революционеров, хотя формально к партии и не принадлежал.

[48] Дело Дрейфуса вызвало большой шум в 90-х годах и привлекло к себе внимание всего мира. В 1894 г. Фердинанд Дрейфус, офицер французской армии, был осужден военным судом на основании документов весьма сомнительного происхождения к пожизненной ссылке в Кайену. Осуждение Дрейфуса послужило началом продолжительной кампании против французского правительства в целях пересмотра дела Дрейфуса. Большое участие в этой кампании принимал известный писатель Эмиль Золя, доказывавший невиновность Дрейфуса. В 1899 г. дело его вновь было пересмотрено военным судом. Снова признанный виновным, Дрейфус, однако, был помилован президентом республики.

[49] «Рабочая Мысль» — нелегальная газета, выходившая в 1897—1902 г., сперва как издание кружка петербургских рабочих, с 1898 г. как орган Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, преобразовавшегося вскоре в Петербургский Комитет РС-ДРП. «Рабочая Мысль» была органом последовательного экономизма, сводившего борьбу пролетариата исключительно к отстаиванию его экономических нужд и интересов.

[50] «Журнал для всех» (с подзаголовком: «Ежемесячный иллюстрированный научно-практический популярный журнал») начал выходить в Петербурге с 1896 г. В 1898 г. издание его перешло в руки В. С. Миролюбова. Вследствие дешевизны (подписная цена 1 руб. в год) и умелого ведения журнала, он пользовался весьма значительным распространением.

[51] Джемс Гартфильд, с 1880 г. президент Соединенных Штатов Северной Америки, умер в 1881 г. от ран, нанесенных ему некиим Гито, получившим отказ на просьбу о должности. Гартфильд принадлежал

к радикальному крылу республиканской партии и приобрел себе большую популярность борьбою против невольничества негров.

[52] Чарушников, Александр Петрович (1852—1913), известный издатель, был арестован в Петербурге в 1879 г. и выслан в Вятскую губ. за сношение с революционерами и хранение нелегальной литературы.

[53] Горький был арестован 7 мая 1898 г. по требованию тифлисского жандармского управления, и тогда же отправлен в Тифлис; поводом для ареста послужило обвинение Горького в революционной пропаганде во время пребывания его в 1891—1892 г.г. в Тифлисе.

[54] Горький был освобожден из заключения 28 мая 1898 г.

[55] М. В. Калитин числился на ряду с Д. М. Остафьевым официальным редактором-издателем «Жизни» с декабря 1898 г. по ноябрь 1899 г., когда его и Остафьева заменил М. С. Ермолаев.

[56] Чириков, Евгений Николаевич (род. в 1864 г.) за участие в студенческих волнениях в 1887 г. в Казанском университете, студентом которого он был, подвергся аресту и высылке.

[57] Горький был арестован в Нижнем-Новгороде 17 апреля 1901 г. одновременно со Скитальцем. Поводом для их ареста послужило обвинение их в приобретении мимеографа для издания революционных воззваний к сормовским рабочим. В виду заключения врачей о том, что пребывание в тюрьме может оказать гибельное влияние на здоровье Горького, 17 мая он был освобожден под домашний арест. 3 июня домашний арест был заменен надзором полиции, а в июне дело по обвинению Горького и Скитальца в виду недоказанности обвинения было прекращено.

[58] 8 января 1895 г. группа ученых и литераторов обратилась к только что вступившему на престол Николаю II с петицией, в которой они ходатайствовали о «принятии русской литературы под сень закона,... дабы русское печатное слово, подчиненное лишь закону, огражденное от непосредственного воздействия светской и духовной цензуры, могло послужить славе, величию и благоденствию России». К петиции была приложена особая записка, содержавшая в себе изображение бесправного положения печати и указание на ряд желательных улучшений законодательства о печати. Петиция была подписана Михайловским, Кареевым, Венгеровым, Семевским, Мякотиным, Скабичевским, Потаниным, Кривенко и др. литераторами. Николай II передал петицию на заключение особого совещания из министра внутренних дел Дурново, министра юстиции Муравьева и обер-прокурора синода Победоносцева. Рассмотрев петицию, совещание это единогласно признало, что «ходатайство о пересмотре цензурных узаконений, с которым выступило несколько лиц, действующих лишь в интересах своего кружка, не призванных возбуждать вопроса, подлежащего усмотрению правительства», не подлежит удовлетворению. На докладе об этом особого совещания, представленном Николаю II, последний положил резолюцию: «Вполне согласен».

[59] По возвращении из Москвы в Нижний-Новгород Горький отправил Л. Толстому письмо, в котором, между прочим, писал, что он гордится тем, что «видел» Толстого.

[60] Под впечатлением первой встречи с Горьким Толстой занес в свой дневник: «Он мне понравился. Настоящий человек из народа».

[61] В дневнике своем за 9 октября 1900 г. Толстой, перечислив всех своих посетителей, упомянул Поссе и Горького, добавив при этом: «эти

менее приятны», — т.-е. менее приятны, чем другие, перечисленные раньше посетители.

[62] «Деревом бедных» кто-то из посетителей Ясной Поляны назвал старый вяз, растущий рядом с домом Толстого. На скамейке под этим вязом обычно каждое утро, поджидая выхода Л. Н. Толстого, собирались нищие и странники.

[63] Толстой имел в виду стихотворение, написанное Вл. Соловьевым по поводу речи, произнесенной германским императором Вильгельмом с призывом к народам христианского мира сплотиться для общей борьбы против угрожающей, по его мнению, Европе «желтой опасности», зародыши которой Вильгельм усматривал в молодом в то время японском империализме, в котором европейские империалисты начинали чувствовать опасного для себя соперника.

[64] Автор имеет в виду статью Толстого «К рабочему народу», написанную в начале лета 1902 г. и в том же году изданную Чертковым в Лондоне в виде брошюры.

[65] Генри Джордж (1839—1897), американский экономист и моралист. В своем основном произведении «Прогресс и бедность» (1879 г.) изложил теорию «единого налога на землю», в котором он видел средство исцеления от социальных зол современности. Налог этот, отменяющий все другие налоги, должен равняться ренте, получаемой от земли ее владельцами. С установлением этого налога земля перестает быть источником дохода отдельных лиц, и земельная рента целиком переходит в распоряжение общества. Л. Н. Толстой долгое время увлекался теорией Г. Джорджа и выступал ее пропагандистом.

[66] «Заказом» назывался старый лес, расположенный по берегу речки Воронки и одною стороною своею примыкавший к Яснополянской усадьбе Толстого. На опушке этого леса находится могила Толстого.

[67] Это была статья «Крестьянский Генрих Блок», помещенная в № 6 «Русского Богатства» за 1909 г. за подписью К—ий и тогда вышедшая отдельной брошюрой с предисловием Л. Н. Толстого.

[68] Маковицкий покончил с собой в 1921 г. в Венгрии, куда он вернулся в 1920 г.

[69] Известный народоволец Н. А. Морозов во время своего многолетнего пребывания в Шлиссельбургской крепости много занимался астрономией и астрофизикой и по выходе из Шлиссельбурга опубликовал ряд своих работ из этой области знания.

[70] В 1901 г. вышла 1-я часть книги Д. Мережковского «Христос и антихрист в русской литературе. Лев Толстой и Достоевский». Книга эта вызвала много отзывов в текущей журнальной и газетной литературе. Радикальная пресса указывала на нее, как на образчик мистицизма, доходящего до «бреда человека, потерявшего под собою почву».

[71] Автор имеет в виду нашумевшее в свое время выступление Милюкова в ноябре 1916 г. в IV Государственной Думе против председателя совета министров Штюрмера. Перечисляя промахи и преступления правительства, Милюков в своей речи ставит вопрос: глупость это или измена. Вскоре после выступления Милюкова Штюрмер вышел в отставку.

[72] В 1905 г. Гурович был назначен начальником канцелярии помощника наместника на Кавказе по политической части. В 1906 г. он вышел в отставку и поселился в Крыму, где и умер в 1915 г.

[73] Автор имеет в виду следующее место из письма Ленина к Потресову от 27 апреля 1899 г.: «О выходе новой книги Бернштейна я знаю... Из статьи о ней в «Frankfurter Zeitung» и в «Жизни» (недурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!) я вполне убедился в том, что я понимал отрывочные статьи Бернштейна неверно и что он заврался действительно до невозможности».

[74] Несмотря на участие В. М. Чернова в марксистских журналах «Новое Слово» и «Жизнь», он уже в 90-х годах определился, как народник, и из теории Маркса принимал лишь некоторые экономические ее положения, напр., «теорию трудовой стоимости», разделявшуюся в то время и некоторыми буржуазными русскими экономистами.

[75] Анархистские взгляды Кропоткина сложились в общих чертах во время поездки его за границу в 1872 г., когда он познакомился с деятельностью I Интернационала, главным образом бакунинской его части. Анархические взгляды Кропоткина нашли себе яркое выражение в выработанной им для кружка чайковцев осенью 1872 г. программе революционной пропаганды в народе и в пояснительной записке к ней под заглавием «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя?»

[76] Черкезову принадлежит ряд работ, направленных против марксизма: «Доктрины марксизма», «Распад среди социалистов-государственников», «Наконец-то сознались» и др.

[77] В 1901 г. П. Н. Милюков отбыл 6½-месячное заключение в тюрьме за председательствование на одной из студенческих вечеринок.

[78] «Пашковцы» — религиозная секта рационалистического характера, возникшая в аристократических кругах Петербурга во 2-й половине 70-х годов; свое название секта эта получила по имени ее основателя отставного полковника Вас. Александр. Пашкова.

[79] Иосиф Пилсудский и его брат Бронислав принадлежали к виленской революционной группе, с которой поддерживали сношения А. И. Ульянов и его товарищи. К судебному процессу по делу 1 марта 1887 г. был привлечен Бронислав Пилсудский. Иосиф же Пилсудский в том же году был выслан в административном порядке в Восточную Сибирь на 5 лет.

[80] В ноябре 1901 г. студенты первого курса Харьковского ветеринарного института подали университетскому начальству петицию об отставке одного профессора, которым они были недовольны за грубое обращение его со студентами и за проявленное им «казенное отношение к науке». По распоряжению властей весь первый курс без какого бы то ни было расследования дела был исключен из института. Распоряжение это вызвало большие волнения среди харьковского студенчества, сопровождавшиеся уличными манифестациями и столкновениями с полицией.

[81] В 1894 г. после смерти Александра III В. О. Ключевский прочитал лекцию, посвященную обзору его царствования и представлявшую собою сплошной панегирик Александра III. Лекция эта сопровождалась свистками и протестами слушателей и вызвала волнения среди московского студенчества.

[82] Автором перевода «Интернационала» был Аркадий Яковлевич Коц (род. в 1872 г.), в то время состоявший студентом Горной академии в Париже. В 1903 г. Коц вступил в РС-ДРП и в течение ряда лет вел агитационно-пропагандистскую работу на юге России. В настоящее время

Коц работает в РКИ. Перевод «Интернационала» был напечатан под псевдонимом: А. Донин.

83 Еще в феврале 1900 г. П. Б. Струве вступил в переговоры с некоторыми земцами относительно издания за границей газеты. Однако осуществить эту мысль ему удалось значительно позднее. В марте 1902 г. в Петербурге состоялась всероссийская кустарно-промышленная выставка, на которую съехалось много земцев и представителей работающей в земстве интеллигенции. Во время выставки состоялось несколько совещаний, на которых было решено приступить к изданию заграничного органа «Освобождение». Вслед за этим состоялось совещание земцев в Москве, на котором была выработана программа нового органа. № 1 «Освобождения» вышел 18 июня 1902 г. в Штудгарте под редакцией П. Б. Струве. В передовой статье Струве писал, что задачей новой газеты является «великое дело борьбы за всестороннее освобождение нашей родины от полицейского гнета, за свободу русской личности и русского общества». Струве заявлял, что редактируемый им орган «обращается не исключительно, но в очень значительной степени, к умеренным, не участвующим в революционной борьбе элементам русского общества». «Слух насильников, — писал он, — приучился к крикам юношей революционеров, но он привык также к молчанию умеренных и отцов. Давно пора им заговорить... Пусть национальное освобождение будет открыто провозглашено общим делом отцов и детей, революционеров и умеренных».

84 Проект программы партии, выработанной редакцией «Искры» и «Зари», был принят на 2-м съезде РС-ДРП в 1903 г. и стал официальной программой партии.

85 Раковский, Христиан Георгиевич (род. в 1873 г.) — видный деятель болгарского, румынского и русского социалистического движения. Во время пребывания своего в Швейцарии в 90-х годах сблизился с русской эмиграцией и в частности с Плехановым и его товарищами по группе «Освобождение Труда». В 1900 г. приехал в Петербург. Вскоре после приезда ему было объявлено требование Департамента Полиции о выезде из России в 48 часов. Благодаря хлопотам друзей Раковского и, в частности, не изобличенного еще в то время провокатора Гуровича, высылка Раковского была отменена, но ему пришлось на время уехать из Петербурга в Ревель.

86 «Свобода» — «революционно-социалистическая группа, организованная Зеленским (Л. Надеждиным) за границей в 1901—1902 гг. и выпускавшая журнал под тем же названием. Группа эта занимала промежуточное положение между социал-демократией и социалистами-революционерами, к которым она приближалась, признавая террор в его «экситативном» (возбуждающем) значении. Группа «Свобода» просуществовала недолго и не смогла сплотить около себя значительного числа сторонников.

87 «Ткачи» Гауптмана и «Пролетариат и армия» Гюберта Лягарделя после напечатания их в № 1 «Жизни» были выпущены отдельным изданием.

88 «Сказка», изданная группой «Жизнь», — «Сказка про то, как царь Ахреян ходил богу жаловаться». «Благотворительность» — переведенная с французского брошюра П. Гези.

89 «Рабочее Дело» — журнал заграничного Союза Русских Социал-Демократов, выходивший в 1899—1902 гг. «Рабочее Дело» было органом экономизма.

[90] Интерес среди русских рабочих к «Искре» был весьма большой. По мере того, как рабочие освобождались из-под власти идей экономизма и начинали понимать значение политической борьбы и связь ее с экономическими интересами и потребностями пролетариата, идеи «Искры» завоевывали себе все большую популярность среди рабочих; это сказалось между прочим и на том, что ко времени II съезда партии большинство с.-д. комитетов в России состояло из сторонников «Искры».

[91] «Андрей Кожухов» и «Подпольная Россия», пользовавшиеся большой популярностью, произведения С. М. Кравчинского (Степняка).

[92] «Голос из деревни» в № 2 «Жизни»—статья А. И. Шингарева.

[93] «Южный съезд» — конференция южных комитетов РС-ДРП, состоявшаяся 6 января 1902 г. в Елисаветграде, на которой присутствовали представители социал-демократических организаций Екатеринослава, Николаева, Одессы, Харькова, Кишинева и от организации «Южный Рабочий». На этой конференции было решено образовать областное объединение и заняться подготовкой всероссийской партийной конференции. Первым вопросом, стоявшим в порядке дня конференции, был вопрос «о сущности самодержавия», соответствующий по своему содержанию обычному впоследствии вопросу о «текущем моменте». Много внимания конференция отвела вопросу о терроре, по отношению к которому ею была занята определенно отрицательная позиция.

[94] Брешко-Брешковская, в отличие от большинства своих товарищей по партии, постоянно относилась к Азефу с нескрываемым недоверием. Удачный исход дела по подготовке покушения на Плеве сломил это недоверие, знаком чего и был земной поклон, отвешанный Брешковской Азефу.

[95] Аделаида Степановна Жуковская, урожденная Левашова, была женой эмигранта-шестидесятника Николая Ивановича Жуковского, бывшего членом I Интернационала и одним из деятельнейших сторонников Бакунина.

[96] Анна Марковна Кулешова, урожд. Розенштейн, в 70-х гг. была членом киевского кружка «бунтарей», затем эмигрировала, вышла замуж за известного итальянского социалиста Турати и принимала до самой смерти своей в 1926 г. деятельное участие в итальянском социалистическом движении.

[97] Любовь Егоровна Воронцова, урожд. Коведяева, была арестована в феврале 1870 г. по делу Нечаева, но судом была оправдана. В 1879 г. подверглась кратковременному аресту по обвинению в хранении типографского шрифта и в сношениях с революционерами.

[98] «Библиотека Русского Пролетариата» — серия книжек, беллетристических и общественно-политических, издававшаяся в 1903—1905 гг. в Женеве Г. А. Куклиным.

[99] О выступлении Плеханова по вопросу о войне на Цюрихском конгрессе II Интернационала см. выше, примечание 36-е.

[100] Махайский — польский революционер, в 90-х годах сосланный в Вилюйск, где он в 1898 г. написал первую часть своей книги «Умственный рабочий», в которой дал изложение своих взглядов на задачи пролетариата и роль конституции в рабочем движении. В этой книге и в других произведениях Махайского и его последователей научный социализм объявляется великим обманом рабочих со стороны интеллигенции и задачи пролетариата сводятся к борьбе за конкретные требования

в целях осуществления «равного дохода» и «равного образования» для всех, при помощи чего Махайский и его последователи надеялись добиться уничтожения эксплоатации одних людей другими. Созданная «махаевцами» организация «Рабочий Заговор» в 1905—6 гг. существовала в Одессе, Варшаве, Петербурге и некоторых других местах, но успехом среди рабочих не пользовалась.

101 В феврале 1905 г. Гапон разослал революционным партиям приглашение на межпартийную конференцию, в которой, между прочим, писал: «Я призываю все социалистические партии России немедленно войти в соглашение между собою и приступить к делу вооруженного восстания против царизма. Все силы каждой партии должны быть мобилизованы. Боевой технический план должен быть у всех общий... Ближайшая цель — свержение самодержавия, временное революционное правительство, которое немедленно провозглашает амнистию всем борцам за политическую и религиозную свободу, немедленно вооружает народ и созывает учредительное собрание на основании всеобщего, равного, тайного и прямого избирательного права». Ленин в статье «О боевом соглашении для восстания» (в № 7 «Вперед», от 21 (8) февраля) писал, что находил «возможным, полезным и необходимым» предлагаемое Гапоном соглашение, а указанную им «ближайшую цель» намеченной вполне правильно. «Пожелаем, — писал Ленин, — чтобы Г. Гапону, так глубоко пережившему и перечувствовавшему переход от воззрений политически бессознательного народа к воззрениям революционным, удалось доработаться до необходимой для политического деятеля ясности революционного миросозерцания. Пожелаем, чтобы его призыв к боевому соглашению для восстания увенчался успехом». — Межпартийная конференция состоялась в Женеве 2 февраля 1905 г. На ней присутствовал, как представитель большевиков, Ленин, который сразу же заметил преобладание на конференции с.-р. элементов. Представитель Латышской СД РП Розин заявил протест против присутствия на конференции представителя фиктивной организации Латышского с.-д. союза и потребовал его удаления. Когда это требование было отклонено конференцией, Ленин, Розин и представители Бунда и армянской с.-д. рабочей организации удалились с конференции.

102 «Булыгинская дума» — положение о созыве государственной думы, опубликованное в августе 1905 г. и выработанное министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. По этому положению Государственная Дума являлась законосовещательным органом; участие в выборах предоставлялось исключительно имущим классам: помещикам, буржуазии и зажиточному крестьянству. Рабочие от участия в выборах были отстранены. Развитие революционного движения в стране, заставившее правительство пойти на уступки и опубликовать манифест 17 октября, привело к тому, что булыгинское положение осталось мертворожденным делом.

103 Конгресс этот был созван в Париже в сентябре 1904 г. по инициативе Циллиакуса. На нем приняли участие представители социалистов-революционеров (Чернов и Азеф), различных национальных партий и союза «Освобождение» (Струве, Милюков и Богучарский). Социал-демократы от участия на нем уклонились.

104 «Мартын» — инженер Петр Моисеевич Рутенберг, член партии соц.-рев. и организатор нарвской боевой дружины этой партии. 9 января

1905 г. после расстрела рабочих Рутенберг помог Гапону спастись от полиции и организовал бегство его за границу. Позднее, когда Рутенбергу стали известны переговоры Гапона с Витте, он организовал убийство Гапона 28 марта 1906 г. в Озерках.

105 «Красная гвардия» в Финляндии возникла в октябрьские дни 1905 г. по инициативе портного Луото. Состояла она из рабочих и была организована в противовес созданной буржуазными партиями студенческой гвардии. Во главе красной гвардии был поставлен «красный капитан» Кок.

106 Оружие было закуплено социалистами-революционерами на деньги, полученные через Конни Циллиакуса от японского правительства. Гапон был привлечен к этому делу Азефом. Социалисты-революционеры рассчитывали использовать гапоновскую организацию в России, о численности и влиятельности которой у них в то время было преувеличенное представление, в целях доставки оружия от финляндской границы в Петербург и распределения его среди рабочих.

107 Пароход «Джон Графтон» сел на мель около острова Калльшера 26 августа 1905 г. Он был обнаружен двумя таможенными чиновниками, которые, поднявшись на пароход, нашли там много оружия и патронов. Команда дала возможность чиновникам удалиться с парохода. Вскоре после этого команда парохода высадилась, а сам он был взорван. Некоторое количество груза команде удалось выгрузить на берег, и оно частью попало в руки властей, обыскавших ближайшие к месту происшествия острова, частью же было взято русскими революционными организациями.

108 И. А. Фулон был назначен петербургским градоначальником в 1904 г. К гапоновской организации он относился с большим сочувствием, надеясь, что она отвлечет рабочих от участия в революционных организациях, и потому оказывал Гапону всемерную поддержку. По свидетельству самого Гапона в его записках, последний разговор его с Фулоном происходил 3 января по телефону. Фулон просил Гапона прекратить стачку на Путиловском заводе, начавшуюся из-за произвольного увольнения администрацией этого завода нескольких рабочих. Гапон заявил ему, что если требования, выдвинутые путиловскими рабочими, не будут удовлетворены в течение ближайших дней, забастовка распространится и на другие заводы и фабрики Петербурга. При этом Гапон заявил Фулону: «Может быть, рабочие захотят подать петицию царю, так не бойтесь: все будет тихо и мирно. Рабочие желали только, чтобы услышали их голос». В заключение разговора Фулон дал обещание, что ни один из рабочих не будет арестован.

109 Организация Гапона называлась «Собрание русских фабрично-заводских рабочих гор. С.-Петербурга» и распадалась на одиннадцать отделов.

110 Дмитрий Федорович Трепов (1855—1906) после 9 января 1905 г. был назначен петербургским генерал-губернатором, а в мае того же года товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией, и шефом жандармов. Пользуясь большим влиянием на Николая II, Трепов в это время имел диктаторские полномочия.

111 На этом свидании с Гапоном, кроме М. Горького, должны были присутствовать представители ЦК большевиков Л. Б. Красин и П. П. Румянцев. Свидание должно было состояться в имении финского сенатора

Тернгрена, смежном с имением известного организатора красной гвардии капитана Кока. По свидетельству лиц, принимавших участие в организации свидания, оно не состоялось в виду того, что Гапон не явился в установленное время.

112 Кузин, Дмитрий Владимирович, до того, как сойтись с Гапоном, был меньшевиком; в гапоновской организации он был секретарем правления. — Петров, Николай Петрович, был председателем невского отдела гапоновской организации. — Карелин, Алексей Егорович, участник социал-демократического движения 90-х годов; до вступления в гапоновскую организацию был большевиком; в гапоновской организации состоял казначеем правления. — Варнашев, Николай Михайлович, был председателем Выборгского отдела гапоновской организации, а в конце 1906 г. председателем ее Центрального Комитета.

113 Рабочий Алексей Григорьев 9 января 1905 года шел в демонстрации рядом с Гапоном и после расстрела дал ему свое пальто, чтобы он мог скрыться. Позднее в нем зародилось недоверие к Гапону, и в феврале 1906 г. Григорьев выступил открыто против него. На следующий же день после этого Григорьев — очевидно, по доносу Гапона, — был арестован.

114 Вера Марковна Карелина, участница социал-демократического движения 90-х годов, играла видную роль в гапоновской организации и пользовалась большим влиянием на самого Гапона. В его организации она вела работу главным образом среди женщин-работниц.

115 Рабочий Иван Васильевич Васильев был одним из учредителей гапоновской организации и первым председателем ее правления. Накануне 9 января он написал своей жене прощальное письмо, в котором просил ее в том случае, если он будет убит, воспитать своего сына в уверенности, что его отец «погиб мученической смертью за свободу и счастье народа».

116 Официально эти деньги считались выданными в возмещение убытков, понесенных гапоновской организацией в связи с закрытием правительством ее отделов после 9 января.

117 18 февраля 1906 г., в присутствии Гапона и всего центрального комитета его организации, рабочий П. П. Черемухин (он же Сычев) выстрелил в себя из револьвера и вскоре скончался от нанесенных себе ран. Черемухин первоначально слепо верил во всем Гапону. Когда Петров начал разоблачать темные проделки последнего, Черемухин, полагая, что обвинения Петрова клевета, решил убить Петрова, к чему его подстрекал Гапон. Однако, когда после поездки за скрывшимся с деньгами Матюшенским для Черемухина выяснился темный источник, из которого эти деньги были получены от Гапона, он изменил свое намерение и решил вместо Петрова убить самого себя, рассчитывая таким путем привлечь общественное внимание к темной деятельности Гапона и разоблачить его сношения с правительством.

118 Письмо министру внутренних дел П. Н. Дурново было написано в январе 1906 г.; в этом письме Гапон, добиваясь официального разрешения на открытие вновь отделов его организации, закрытых правительством после 9 января, доказывал необходимость легализации профессиональных рабочих организаций. В этом письме Гапон между прочим заверял, что особа царя для него священна.

119 Матюшенко вернулся в Россию в июне 1907 г. 3 июля он был арестован в Николаеве с подложным паспортом. Только в августе властям

удалось выяснить личность арестованного, после чего его отправили в Севастополь, где поместили в секретную камеру военно-морского арестного дома. 30 октября военный суд приговорил Матюшенко к повешению. Во время казни Матюшенко держался с большим достоинством и мужеством. Подведенный к виселице, он сказал: «Вешайте, трусы, но придет время и вас перевешают на фонарных столбах».

[120] В. М. Чернов был арестован в апреле 1894 г. в Москве в связи с ликвидацией партии «Народное Право» и провел в тюремном заключении около девяти месяцев, после чего был освобожден на поруки отца. 26 ноября 1905 г., когда полиция явилась в помещение Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов для ареста Хрусталева-Носаря, ею был задержан и Чернов, случайно зашедший в это помещение. Через несколько часов Чернов был освобожден. При аресте членов Совета Рабочих Депутатов 3 декабря 1905 г. Чернов не присутствовал.

[121] Дача Столыпина на Аптекарском острове была взорвана максималистами при помощи бомб 12 августа 1906 г. Убитых при этом и умерших от ран было 32 и около 30 раненых.

[122] «Товарищ» — газета, начавшая выходить в Петербурге с 1906 г. под редакцией экономиста проф. Ходского. Газета эта была органом интеллигентского радикализма и русских бернштейнианцев.

[123] «Голос Москвы» — газета, начавшая выходить в Москве с 1907 г. Издавалась она на средства крупных московских промышленников и являлась органом «Союза 17 октября», лидер которого Александр Иванович Гучков был редактором этой газеты.

[124] «Научное Обозрение» — журнал, выходивший в Петербурге в 1894—1902 гг. под редакцией Мих. Мих. Филиппова. В журнале этом участвовали Струве и Туган-Барановский, бывшие в то время «легальными марксистами», а также Плеханов.

[125] Кутлер, Николай Николаевич (1859—1924), в 1905 г. в кабинете Витте был главноуправляющим землеустройством и земледелием; в марте 1906 г. он вышел в отставку после того, как совет министров отверг выработанный им проект аграрной реформы, предусматривавший отчуждение помещичьих земель и передачу их крестьянам. По выходе в отставку вступил в конституционно-демократическую партию и был членом II и III Государственных Дум.

[126] «Не могу молчать» — так был озаглавлен опубликованный Л. Н. Толстым в мае 1908 г. пламенный протест против виселиц и расстрелов, при помощи которых правительство расправлялось со своими врагами в эпоху ликвидации нашей первой революции.

[127] В. Семенов, морской офицер, принимавший в 1905 г. участие в походе эскадры адмирала Рождественского в Японию, разбитой японцами при Цусиме, опубликовал в 1908—1910 гг. интересные воспоминания об этом походе: «Расплата», «Бой при Цусиме» и «Цена крови».

[128] Бьюкенен, Джордж Уильям (1854—1924) — английский посол в Петербурге с 1910 г. В годы империалистической войны Бьюкенен пользовался большой популярностью среди либерального русского общества, обусловленной тем, что Бьюкенен старался воздействовать на Николая II, дабы убедить его держаться «конституционного пути», в чем Бьюкенен видел залог боеспособности России.

[129] Клопов — герой весьма характерного в истории царствования Николая II эпизода, относящегося к голодному 1898 году. В то время,

когда в прессу проникли тревожные известия о неурожае и голоде, поразивших ряд местностей России, правительство, опровергая справедливость сведений, проникших в печать, отрицало наличность голода. По настоянию министра внутренних дел Горемыкина, председателю богородицкой уездной земской управы гр. Бобринскому, печатно уличившему Горемыкина во лжи был объявлен высочайший выговор. Однако Николай II, повидимому, подозревал, что успокоительные сведения, которые сообщает ему Горемыкин, не соответствуют действительности. Чтобы проверить их, он поручил представленному ему великим князем Александром Михайловичем «титулярному советнику» Клопову произвести негласное исследование в местностях, пораженных неурожаем. Это негласное поручение не осталось, однако, тайной. Клопов был завален многочисленными докладами, записками и проектами различных авантюристов, рассчитывавших выдвинуться и нажиться при посредстве Клопова. С другой стороны, и Горемыкин узнал о поручении, возложенном на Клопова, и принял по отношению к последнему меры, вынудившие Клопова скрываться от полиции.

# ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

# ОГЛАВЛЕНИЕ


Г-6



Цена 4 руб.

**Адрес Издательства (Правление):**
Москва, центр, Ильинка, 15

**Центральный Книжный Склад:**
Москва, Лубянский пассаж, помещ. 25—30

КАТАЛОГИ по требованию БЕСПЛАТНО


2007062625